sci_history

Афанасий
Коптелов
Лазаревич

Точка опоры
ru

rusec
lib_at_rus.ec

LibRusEc kit
2013-06-11
Tue Jun 11 18:35:55 2013
1.0

Коптелов Афанасий Лазаревич
Точка опоры

Афанасий Лазаревич КОПТЕЛОВ
Точка опоры
Роман в двух книгах

В книгу включены четвертая часть известной тетралогия М. С. Шагинян "Семья Ульяновых" - "Четыре урока у Ленина" и роман в двух книгах А. Л. Коптелова "Точка опоры" - выдающиеся произведения советской литературы, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина.

СОДЕРЖАНИЕ:

...МОЖНО БЫЛО БЫ, ВИДОИЗМЕНЯЯ
ИЗВЕСТНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ, СКАЗАТЬ: ДАЙТЕ
НАМ ОРГАНИЗАЦИЮ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И МЫ
ПЕРЕВЕРНЕМ РОССИЮ!
В. И. Л е н и н

К Н И Г А П Е Р В А Я

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Мартовским днем 1901 года две женщины подымались по скрипучей лестнице деревянного дома. Молодой, похожей на курсистку, хотелось взбежать на второй этаж, но она оглядывалась на пожалую, закутанную в пуховую шаль. Та шла медленно, дышала тяжело.
Сверху прорывались сквозь закрытую дверь знакомые звуки фортепьяно.
- Это - у них! - обрадовалась молодая. Пожилая молча кивнула.
Бесшумно переставляя ноги по ступенькам, они поднялись на лестничную площадку, взглянули на табличку. Не ошиблись - та самая квартира, куда спешили они.
Прислушались.
- Бетховен! - сказала Надя полушепотом.
- "Лунная соната"! - добавила мать. - Сама Марья Александровна... Три года прошло... Вот так же тогда играла...
Да, минуло три года с той поры, когда они - тоже проездом останавливались в Москве. Но как все изменилось! Тогда остановка для свидания была разрешена полицией, а теперь... Наде запрещено появляться в университетских городах и фабричных районах. Заехали нелегально. Хорошо, если никто не тащится по следу... Тогда Ульяновы жили возле Собачьей площадки, теперь - неподалеку от Бутырской пересыльной тюрьмы. Тогда они, Крупские, ехали в Сибирь. Надя - в ссылку, к жениху, Елизавета Васильевна - к будущему зятю. Теперь едут на запад, и впереди неминуемая разлука. Тогда в каждом неторопливом и проникновенном звуке "Лунной сонаты" чувствовалась грусть матери. Митя, ее младший, сидел в Таганке, а Володя томился в неведомом Шушенском, в тюрьме без решеток. Но с Марией Александровной были обе дочери и зять. А теперь?..
Тогда шаги по лестнице услышала Фрида, залаяла басовито, как все сенбернары, и, подбежав к двери, стала принюхиваться через притвор. И залаяла еще громче.
Сейчас даже шороха не слышно. Только - музыка, полная глубокого душевного чувства.
И мать с дочерью тревожно переглянулись: неужели они расстались с ласковой и уютной собакой? Марк Тимофеевич так любил чесать пальцами у Фриды за ухом. Аня и Маняша ходили с ней на прогулку...
Теперь Мити нет дома. Марк по утрам отправляется слушать лекции в инженерном институте... А Аня с Маняшей? Где они?..
И что известно им о Володе?
Среди лета он приезжал в Уфу повидаться, намеревался отдохнуть, но праздность не в его характере. Что ни день, то встречи с изгнанниками и ссыльными революционерами, жаркая полемика о путях борьбы, о будущем страны. Так промелькнули две недели. А с Марией Александровной он расстался позднее. Что сказал ей на прощанье?
Затаив дыхание, Надя снова прислушалась. И тут же еще раз переглянулась с матерью. Похоже - Мария Александровна играет в пустой квартире...
Может, случилось что-то недоброе...
Не позвонить ли немедленно?..
И рука Елизаветы Васильевны потянулась было к кольцу проволоки, можно ведь тронуть слегка, чтобы в передней колокольчик звякнул чуть слышно...
Нет, нельзя... Мария Александровна все равно вздрогнет от неожиданности. А в ее возрасте волнения опасны.
Мать с дочерью заслушались. И им уже не хотелось торопить время. Три долгих года они не слышали ничего похожего.
Тихие звуки фортепьяно будили раздумье. И Надя представила себе лесные дали в ночную пору: серебряный диск луны бесшумно катится по небу, на секунду прячется за тучки;

поникшие ветки деревьев, охваченные ростепелью, роняют льдинки в озерную гладь... Володя рассказывал: в окрестностях Шушенского бывало так в его охотничьи зори.
Где теперь Володя? Чем он занят в эту минуту?
У нее в памяти пражский адрес. А у Марии Александровны? Как-то в письме свекровь делилась радостью: получила весточку из Парижа. Сейчас у нее, вероятно, тоже есть письма из Праги. Еще минута, и они войдут в квартиру, расцелуются с Марией Александровной, примутся расспрашивать о жизни, о родных. И первым делом о Володе.
Узнают все, все.
2
Часом раньше Мария Александровна вернулась из Таганки. Впервые не снимая ни шали, ни пальто, прошла в свою комнату и, тяжело вздохнув, опустилась в кресло, усталые руки уронила на колени. Голова часто вздрагивала.
Одна. Совсем одна.
Вот уже четырнадцать лет, как пролегли ее тропки-дорожки к тюремным воротам. Сначала к Саше, старшему мальчику... Он ведь был еще таким юным... Для нее, матери, мальчик... Душевный и упрямый, сердечный и настойчивый... Так рано загубленный.
Две крупные слезины покатились по щекам. Она приподняла уголок шали, чтобы утереть их. После растаявшего снега шаль была влажной, и лицо вздрогнуло от холодка.
Мария Александровна выпрямилась в кресле и снова вздохнула.
И к Саше, и к Ане, и к Володе, и к Мите, и к младшенькой Маняше - ко всем ходила в тюрьмы на свидания. Носила передачи...
И вот снова. Теперь уже по два узелка: один - Мане, другой - Марку. В одно и то же окошко проклятой Таганки.
Пошла третья неделя с той черной ночи, когда увели дочь и зятя. Говорят, по всей Москве хватали смелых, непреклонных, почитающих борьбу с царизмом делом своей жизни. И приурочили аресты к первому марта. Значит, опасались, что подпольная Россия даст о себе знать в двадцатилетие первомартовцев. Но ведь у наших, у социал-демократов, иной путь. Еще в год гибели Саши Володя сказал: "Мы пойдем другим путем". Пока они копят силы... А тюрьмы вместительны... И велика Сибирь, бесконечен кандальный звон...
Одна. Совсем одна. И Фриду на прогулку стало некому водить - пришлось расстаться с такой собакой...
Мария Александровна спустила шаль на плечи, подошла к своему столику, взяла недавнюю карточку, на ней - Митя, Маняша и Марк, у их ног - Фрида. Марк озабоченный, даже удрученный, будто предчувствовал беду.
Поставила карточку на место, взяла письмо зятя, первое из тюрьмы, надела очки и стала перечитывать:
"Давно бы написал я тебе, дорогая мама, да здесь для писем определенные дни. Вот я и ждал вторника. Все у меня здесь прекрасно, а потому чувствую себя великолепно. Опишу тебе мою хоромину. Длина - 6 аршин, ширина - 3 арш., высота 4 1/2 арш.; высоту трудно измерить, так как поверхность потолка сводчатая. Окно полтора аршина высотой и 1 1/2 шириною. Помещено оно на высоте 10 четвертей над полом. В противоположной стене - дверь, и, войдя в комнату, видишь на правой стороне постель и полку для посуды, а также согревательную трубу, а налево в углу то, что не принято называть... Живу я в 5-м этаже. Роскошный вид из окна на всю Москву! Если бы у меня был бинокль, то, вероятно, я разглядел бы если не нашу квартиру, то по крайней мере училище. Был как-то ясный день, и я любовался переливами солнечных лучей на куполе храма Христа Спасителя и на куполах кремлевских церквей. Вид не хуже, чем с Воробьевых гор. Правда, там с иной точки зрения смотришь, но цель - получить удовольствие - одна и та же".
Бодрится Марк. Ни капельки уныния, ни грана недовольства. И все намеренно, наигранно, иначе жандармы не выпустили бы письмо за пределы тюрьмы. А к легкой, едва заметной иронии не сумели придраться.
И Мария Александровна продолжала перечитывать:
"Жизнь здесь крайне правильная... Нельзя только петь, но и то мурлыкать или петь в уме можно, и я часто напеваю так в уме знаменитую арию мельника "Вот то-то!". Около 12 часов дня обед. Обед ценю в 18 копеек по расписанию - очень хорош. Только, к моему

неудовольствию, часто бывают кислые щи, которые я не ем... Около 4 час. дня вечерний чай. Около 7 час. вечера молитва, затем после поверки полная свобода до следующего утра...
Не унывай, наша дорогая, и мужественно переноси незаслуженные лишения! Целую тебя.
Твой М. Е.".
- Не унывай... В одиночестве-то простительна такая минута...
Была большая семья, хлопот и забот - на целые дни. Теперь - никого. Хоть бы Аня вернулась из-за границы... Легко сказать "вернулась бы". Нельзя ей - в Москве сразу схватят. Будет еще одна узница!.. И Володе нельзя. У него там - дело, начатое с таким трудом.
Он скоро не будет одиноким. Надя вот-вот вернется из ссылки и поедет к нему.
Об арестах не писала ей. Зачем волновать? У нее и без того треволнений достаточно. А в Москву Надя и без письма наведается. Не может не заглянуть перед отъездом за границу. Хоть тайком, хоть на часок, а все равно заглянет.
Положив письмо Марка на стол, Мария Александровна провела рукой по груди и словно очнулась:
"Что же это я?.. В пальто и шали в комнате..."
Невысокая, сухонькая, не по годам быстрая на ноги, она вернулась в переднюю, сняла малопривычную для нее шаль, которую надевала только тогда, когда отправлялась на свидание в тюрьму или на рынок за овощами, повесила пальто на вешалку. В кухне она разожгла самовар тонкими березовыми лучинками, положила в него древесного угля и сказала вслух, будто не самой себе, а семье:
- Будем пить чай... А пока я... - Ей хотелось занять не только каждую минуту - каждую секунду, и она направилась к пианино. - Немножко разомну пальцы...
Но прежде чем сесть на круглый стул, она сходила в свою комнату, валенки заменила мягкими туфлями, поверх белых, все еще довольно пышных волос надела ажурную черную наколку, точно собиралась играть не для себя одной. Провела рукой по крышке и бережливо откинула ее.
Не доставая нот с этажерки, села, сосредоточенная, прямая, пошевелила в воздухе тонкими, по-старчески сухими пальцами, на секунду вскинула на потолок полуприкрытые ресницами глаза и, стремительно качнувшись вперед, коснулась клавишей. Не спеша, размеренно и задумчиво.
И звуки "Лунной сонаты" как бы раздвинули стены комнаты, поплыли одинокие облака по густо-синему ночному небу, и лунный луч то скользил по озерной глади, то, затухая, пробегал по листве прибрежного леска, то снова вырывался на простор.
Вдруг Марии Александровне показалось, что она здесь не одна, что кто-то слушает ее игру и вот-вот, не сдержавшись, кашлянет, и она сбилась с ритма, голова вздрогнула больше обычного.
Мария Александровна начала с первого аккорда. Пальцы взлетали, легко и уверенно падали на клавиши. Голова уже не вздрагивала, а плавно покачивалась в такт музыке.
Когда последний аккорд медленно угас, как лунный луч под набежавшей тучкой, Мария Александровна замерла с приподнятой головой.
И тут тихо звякнул деликатный колокольчик, слоено опасался встревожить хозяйку.
Еще и еще раз. Так же тихо и осторожно.
- Сию минуту, - отозвалась Мария Александровна и, накинув пуховый платок на плечи, пошла открывать дверь.

3

- О-о, гостьи ко мне! Долгожданные! - Мария Александровна распахнула дверь. - Входите, дорогие мои! Входите.
Расцеловалась сначала с Елизаветой Васильевной, потом - с Наденькой.
- Вы так налегке?! А где же ваши вещи?
- На вокзале оставили, - ответила Крупская-старшая. - Мы ведь только на часок.
- Ну-у, что вы? Столько лет не виделись и... Я думала, поживете, отдохнете...
- Полицией отдых не предусмотрен, - улыбнулась Надя, сбрасывая шубку. - У нас и билеты до Питера. Хотя мне туда тоже нельзя носа показывать. Да вот маме надо помочь устроиться с квартирой.
- Такая жалость... - вздохнула Мария Александровна. - Но ничего, видно, не поделаешь... - На тревожные взгляды ответила: - Одна я... В ночь на первое марта опять вломились... И увели... в Таганку.
- Да когда же это кончится?! - Елизавета Васильевна, успев раздеться, потрясла дрожащими руками. - На весь бы мир крикнуть: "Люди добрые, скажите - когда?"

- Скоро, мама.
- Э-э, который раз уже слышу.
- Теперь - скоро. Может, через год или два...
- У нас недавно студенты подымались, - сказала Мария Александровна. По Тверскому бульвару да по Никольской ходили с песнями! Больше тысячи человек!
- А потом их - в Бутырки?
- Да, не миновала участь... Но, Елизавета Васильевна, голубушка, всех не пересажают. Стены тюрем не выдержат. Рухнут, как Бастилия.
- В это и я давно верю. Но скорее бы. Чтобы сердце не разрывалось за них. - Елизавета Васильевна кивнула на дочь. - Хоть бы Наденьке удалось выскользнуть за границу.
- Наша Аня успела... А то пришлось бы мне носить по три узелка...
Спохватившись, Мария Александровна подала гостьям чистое полотенце:
- Мойте руки и проходите к столу. У меня как раз самовар вскипел.
- Я принесу его...
- Не беспокойся, Наденька. Я еще сама управляюсь... А вот на стол накрыть помоги. Хлеб нарежь. Там целая булка. Никак не могу привыкнуть к мысли, что я - одна: покупаю как на большую семью.
Разливая чай, Мария Александровна расспрашивала о весточках от Володи: часто ли он писал в Уфу, не жаловался ли на здоровье, сохранились ли его письма?
Надя покрутила головой:
- Приходилось сжигать... Могли ведь с обыском к нам... Рискованно.
- А у меня рука не поднимается уничтожать. Люблю перечитывать.
- Откуда он писал? Где сейчас?
- Сначала присылал из Парижа, и мы ему туда отвечали. Потом - из Праги. Тебе тоже оттуда?
Надя кивнула в ответ и тихо проронила:
- Но что-то замолчал. Может, опять переехал?
- Там он. Правда, уезжал ненадолго, но опять вернулся. Ты не волнуйся. Мне он писал и о пражском катке, и о том, что в Праге "особенно бросается в глаза ее "славянский" характер", и что там многие фамилии оканчиваются на "чек". Да он и сам живет под фамилией Модрачека.
- Это я знаю.
- Господи, даже за границей и то не дают покоя! - покачала головой Елизавета Васильевна. - От родного имени вынуждают отказываться!
- А теперь у него - он тебе не сообщал? - новый адрес.
- Если бы не разговорились, стала бы ты, Надюша, метаться по Праге в поисках, - сказала Елизавета Васильевна.
- Может, не дошло письмо... Не мог Володя не написать...
- Конечно, не мог, - подхватила Мария Александровна. - Где-то зачитали...
Она подошла к комоду, выдвинула ящик и достала из коробки пачку писем, нашла предпоследнее:
- Вот тут он пишет: переехал вместе со своим квартирным хозяином. И вовремя переехал. Его письмо к Маняше со старым адресом взяли при обыске. Но ты, Наденька, не волнуйся, - сейчас Володя живет совсем в другом районе города. И нового адреса у жандармов наверняка нет. - Подала письмо. Читай. И вот в этом последнем он подтверждает тот же адрес.
Надя, порывшись в ридикюле, отыскала маленький блокнотик; записывая адрес, говорила:
- Франц Модрачек - это по-австрийски. А по-чешски - Франтишек.
- Привыкай, привыкай, - сказала мать. - Только уж там при австрийцах Франтишеком-то поостерегись.
Последнее письмо было отправлено Марии Александровне из Вены 4 марта. Надя читала его вслух:
- "Приехал я сюда, дорогая мамочка, за добычей "бумаги" для Нади. В Праге не оказалось русского консульства, а мое прошение о выдаче Наде заграничного паспорта..." - Подняла глаза:
- Он не надеялся, что я получу паспорт в Уфе. Сколько ему было хлопот! - И продолжала читать: "...прошение... обязательно должно быть засвидетельствовано. Вена громадный, оживленный, красивый город. После "провинции", в какой я живу, приятно поглядеть и на столицу. Здесь есть что посмотреть, так что при проезде... - На секунду задумалась, - при проезде (если бы из вас кто поехал) стоит остановиться. Наде я послал для этой цели маленький

Fuhrer durch Wien*". - Пожала плечами. - А я не получила. Выходит, что даже из простого путеводителя стараются что-то вычитать.

---

* Путеводитель по Вене.

И с тревогой в глазах посмотрела сначала на свекровь, потом на мать:
- Как же так? В Прагу п р о е з д о м через Вену?! Но ведь Прага-то ближе к нам. Тут что-то... не согласуется. Что-то не то... Что-то...
- Не волнуйся, Наденька. - Мария Александровна положила ей на плечо по-старчески холодную руку. - Штамп, - вот сама посмотри, - пражский. И адрес тоже. И все мои письма дошли до Модрачека. Не волнуйся.
- Да я ничего... Не волнуюсь... О Вене у него, видимо, случайно вырвалось...
- Ты дочитывай письмо-то, - подбодрила мать. - Тревожиться тебе нечего.
И Надя продолжала читать:
- "Был я здесь, между прочим, в Museum der bildenden Kunste*, "...между прочим". Видимо, спешил вернуться в Прагу, к неотложным делам, ...и даже в театре смотрел венскую оперетку! Мало понравилось. Был еще на одном собрании, где читался один из курсов Volksuniversitatskurse*. Попал неудачно и ушел вскоре.

---

* Музей изобразительных искусств.
* Народного университета.

Шлю привет всем нашим и крепко тебя целую, моя дорогая".
- Он еще не подозревал, что... - Мария Александровна сдержала вздох, - ...что привет придется передавать в Таганку, тайком от жандармов.
- Да, - вспомнила она, - Маня все поджидала чемодан от Володи. Был послан на ее имя через какой-то склад. С нелегальной литературой. Не дождалась... Теперь не знаю - цел ли?
- Должны бы получить... - Надя подняла глаза от письма. - Кто-нибудь наверняка уцелел.
- Из Московского комитета, кажется, все арестованы... Хотя кто-то новенький должен был приехать... Оттуда, от Володи...
Мария Александровна предложила по второй чашке. Елизавета Васильевна не отказалась, Надя с легким поклоном отодвинула свою.
- Можешь прочесть более ранние письма, - сказала свекровь. - Тут есть и рождественское, и новогоднее. В каком-то из них Володя пишет, что живет одиноко и что все еще не наладил свои систематические занятия. Пометавшись после шушенского сидения по России и по Европе, - так у него и написано п о м е т а в ш и с ь, - теперь, говорит, соскучился по мирной книжной работе. Только непривычная заграничная обстановка, говорит, мешает хорошенько взяться за нее.
"Вспомнил наше далекое Шушенское! - отметила про себя Надя, и у нее стало тепло на душе. - Хотя и в ссылке жили, но - вместе. Много там было приятного!"
- Приедешь ты, Наденька, к нему, - продолжала Мария Александровна, и все наладится. Обстановка будет располагать к работе, Володя ждет тебя не дождется. Дни считает. Сама тут увидишь: в каждом письме - о тебе. Тоскует. И скоро будет считать часы, оставшиеся до твоего приезда... А потом, - взглянула на Елизавету Васильевну, - и вы к ним.
- Как только подыщут квартирку... Ни дня не задержусь... Одной-то мне будет очень скучно...
- Оставайтесь у меня.
- Спасибо. Но Питер знакомее... Да и Надюше надо повидать друзей...
- Читай. Я не буду мешать разговором. - Мария Александровна указала глазами на письма. - Да, в одном из них Володя просит Маняшу прислать "его" перьев. Английских. Он привык к ним еще в гимназии. А в Праге не может отыскать. Продают только "своего" изделия: говорит, страшная дрянь. Я припасла коробочку - сейчас достану.
Спустя час гостьи стали одеваться.
- Так быстро... Будто во сне увидела... - Мария Александровна расцеловалась на прощание. - Счастливо вам, мои родные!.. Неизвестно, когда увидимся... Пишите чаще. А Володю, Наденька... - Обняла сноху и еще раз поцеловала. - Вот так! От меня! Крепко-крепко...
Выглянув в дверь, помахала рукой.
И снова - одна в квартире. Запахнув концы пухового платка на груди, прошла по всем комнатам.

"Жаль, Фриды нет... Вместе бы на прогулку... Как-нибудь..."
Остановилась у стола, сдвинула чашки к самовару, тронула хлебницу. В ней лежала половина булки. Взглянула на часы. Приближалась та горестная пора, когда в Бутырках распахивались железные ворота и узники под солдатским конвоем выходили с тюремного двора. Очередной этап! Их погонят на Курский вокзал, запрут в вагоны с решетками на окнах...
В Тюремном переулке она затеряется в толпе плачущих женщин. Одни из них пришли проводить родных, другие просто принесли на дорогу милостыню. Они, утирая глаза уголками шали, будут размашисто креститься и, невзирая на окрики конвойных, с поклоном подавать узелки крайним в колонне:
- Прими Христа ради!..
Она, как бывало уже не раз, тоже сделает шаг вперед и, склонив голову, молча подаст какому-нибудь старому изгнаннику, для которого этап особенно труден. Дойдет ли он до далекой каторжной тюрьмы?
Мария Александровна сварила яйца, вместе с половиной булки да пакетиком соли завернула в марлю, быстро оделась и, опустив на лицо черную вуалетку, вышла из дома.
4
Поезд шел на запад, растрясал черные космы дыма.
Поодаль утопали в снегах сирые деревни. Избы маленькие, кособокие, словно калики перехожие. Островерхие соломенные крыши хмуро надвинуты на тусклые оконышки, будто ветхие войлочные шляпы на незрячие глаза.
"Матушка Русь! - вспомнила Надежда, стоя у окна вагона, строки Некрасова. - Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная..." Но силы-то копятся, - добавила она, - могущества народу не занимать!"
Володя, наверно, пишет очередную статью. У него всегда работы по горло. И для нее там - тревожные новости. У Володи какие-то нелады с Плехановым. Вот уж чего никак не ожидала!.. По свежей памяти Володя записал все для нее: "Приедешь - прочтешь". Может, и в Уфу писал о подробностях? Там со дня на день ждали посылку из-за границы. В адрес пивоваренного завода! Ну и выдумщик Володя! Жандармы наверняка не будут подозревать: какие там политики среди пивоваров! В посылке - хмель! Самый лучший на свете хмель из Чехии!.. Она не дождалась. Не могла откладывать своего отъезда ни на один день, ни на один час...
А в Питере было немало забот и хлопот о комнате для матери. И хорошо, что полиция не прознала о нелегальном приезде! Посадили бы опять за решетку, отобрали бы заграничный паспорт, как у Маняши... Теперь питерские волнения - позади. Остается - граница. Ведь и там могут схватить...
Когда полосатый столб с двуглавым орлом окажется позади, можно будет вздохнуть спокойно... Телеграмма в Прагу послана - Володя встретит на вокзале. Обязательно встретит. Не может не встретить.
А здоров ли он? Не беспокоит ли его опять катар? Не страдает ли снова изнурительной бессонницей?.. Сколько неприятностей свалилось там на его голову - уму непостижимо. Надеялся - пойдет все дружно, гладко, ведь они же все - единомышленники, все марксисты, социал-демократы. Такие опытные политические деятели. И вдруг... Кто бы мог подумать, что с первых шагов обнаружатся какие-то разногласия. И с кем? С Плехановым. С Георгием Валентиновичем, которого Володя так любил, так уважал и ценил. Адепт социал-демократического движения! По мелочам Володя, конечно, не стал бы возражать. Что-то произошло очень-очень серьезное, если он до конца настаивал на своем мнении. Что-то глубоко принципиальное. Потому и живет не в Женеве, а в Праге.
А может, теперь уже все прояснилось? Должны же они найти общий язык...
Хоть бы поезд шел скорее. Тащится, как черепаха. Говорят, на Западе поезда ходят гораздо быстрее...
За окном проплывали березовые рощи, голые, продрогшие на зимнем морозе. На них чернели хлопотливые грачи. Много их, как в Сибири косачей, на которых любил охотиться Володя. И она там несколько раз ходила с мужем на весенние тока, удерживала за поводок азартную Дженни, чтобы не спугнула краснобровых токовиков. А Володя иногда, залюбовавшись, опускал ружье...
Поля за окном все ровнее и ровнее, будто землю прогладили гигантским утюгом. Вчера здесь, по всему видно, появлялись прогалины, а сегодня гуляет поземка, словно заметает следы весны,

наведавшейся раньше времени. Сердится зима, упрямствует. Не зря она поехала в теплой шубе...
Скорей бы, скорей...
Володя с первой же минуты, как при встрече в Шушенском, засыплет ее вопросами: как там в Питере? Что на заводах и фабриках? Он на новости ненасытный. И у нее новостей немало. Хороших новостей! Питерские пролетарии собираются Первого мая выйти на улицу с красными флагами. На Обуховском выпустили прокламацию. Ожидается что-то очень горячее. Мастеровые требуют восьмичасового рабочего дня, включения Первого мая в табель праздников, разрешения выбирать уполномоченных из своей среды.
Ой как нелегко уезжать в такую пору из родной страны. Не на время, а в эмиграцию. Даже слово-то тяжелое. Но для них эмиграция будет недолгой.
Во всей стране, как зимний мороз, нарастает кризис. Газеты пестрят уведомлениями о банкротствах. Фабриканты свертывают производство, увольняют рабочих, оказавшихся лишними. Безработных и голодных все больше и больше. Пороховая бочка скоро взорвется. Подымется российский пролетарий!
В воздухе пахнет весной... Недели через две на этих просторах появятся проталины, будут расширяться день ото дня. И взовьются в небо безумолчные жаворонки".
Как заливисто звенели они на шушенских полях! Володя заслушивался. И она тоже.
Есть ли жаворонки там, в Австро-Венгрии, точнее - в Чехии? Может, долго не доведется послушать. Пожалуй, так. Им будет не до жаворонков.
Поезд приближался к станции, пассажиры звенели пустыми чайниками. Сосед по купе оборвал раздумье Надежды Константиновны:
- Я бегу за кипятком. Давайте чайник - принесу вам.
5
В Прагу поезд пришел на рассвете. Надежда опустила на перрон чемодан и корзину, сплетенную из белых тонких ивовых прутьев, посмотрела вправо, влево - никто не спешил к ней.
Постояла возле вещей, пока перрон не опустел. Володя не появился.
Что же это такое? Не мог же он не приехать на вокзал. Ясно - не дошла телеграмма. Задержали в Петербурге жандармы или охранники? Подшили в дело о проследках?
Но здесь полиция не проявляет к ней никакого интереса, - можно спокойно ехать в город.
И хорошо, что поезд не опоздал, - она застанет Володю дома.
Вот будет неожиданность!
Вокзал утопал в прохладном весеннем тумане. Пахло проснувшимися почками. Не тополями. Какой-то незнакомый, очень тонкий аромат. Вероятно, проклюнулся лист на каштанах.
Здесь уже весна! А она - в шапке, в шубе с меховым воротником.
Ничего. Ранним утром еще не так-то жарко. До квартиры она доберется, а там... Все устроится.
- Пан Модрачек, - рассмеялась Надежда, - знает, на какой улице магазины готового платья.
Сразу купим легкое, такое, чтобы ничем не выделяться из уличной толпы.
Он, наверно, уже научился говорить по-чешски, она немножко знает польский. Кажется, это - родственные языки. Им не будет трудно. А в случае чего выручит немецкий. Вот уже слышится немецкая речь. Даже чаще, чем чешская. Чувствуется Австро-Венгерская империя!
А куда идти?.. Где-то за вокзалом грохочет трамвай. Но она не знает города... И этот багаж... Его и до извозчика не донесешь. Придется тратиться на носильщика. Хорошо, что на границе надоумилась обменять немножко денег, - расплатиться есть чем.
И Надежда наняла извозчика.
Ободья колес пролетки, обтянутые толстой резиной, мягко катятся по булыжной мостовой. Сквозь перламутровый туман проступают скучившиеся дома, крытые красной черепицей. Над ними возвышаются четырехугольные башни церквей с острыми готическими шпилями. Кое-где желтеют маленькие купола.
Злата Прага! Ни с чем не сравнимая! Даже на Варшаву непохожая. Чехам есть чем гордиться. И сколько бы ни старалась империя Франца-Иосифа онемечить их, как бы ни влияла кайзеровская Германия, - Чехия, к радости народа, остается Чехией.
Володя, конечно, уже знает все здешние достопримечательности, и он не утерпит - сегодня же поведет по городу, будет говорить без умолку: "Полюбуйся Влтавой... Хороша?! Как родная сестра Москвы-реки возле Кремля. Только мосты непохожие. Вон самый старый - Карлов мост.

На нем скульптурные фигуры... А вот памятник Яну Гусу... Правда, силища духа? Горим, но не отрекаемся от своих воззрений!.." Где-то по соседству ратуша с диковинными старыми часами. В вагоне ей рассказывали: каждый час открываются окошечки и проходят апостолы...
Где же та площадь? Может, извозчик повезет через нее? Спросила. Тот указал хлыстом, - Старо-Местская площадь осталась в стороне. Они едут через Вршовицы. Извозчик говорит - рабочий район. Понятно. Где же еще жить Володе, как не среди рабочих? Тут дешевле. И - свои люди. Соседи, вероятно, социал-демократы...
Что делает сейчас Володя? Конечно, уже встал, умылся... Может, пьет кофе... О чем думает? Как бьется сердце? Чует ли?.. Ведь через несколько минут они встретятся...
Вот начинается Колларова улица. Узенькая, бедная. Дома высокие, серые. Окна распахнуты, на подоконниках проветриваются перины...
Дом No 384 - на углу Нерудовой улицы. Извозчик остановился, указал на входную дверь. Надежда подхватила чемодан и корзину; расстегнув шубу, стала подыматься по лестнице. Останавливалась на каждой площадке. Хотелось бросить вещи и взбежать налегке. Не решилась оставить. Она не слабосильная. И сама может поднять. Кажется, не выше четвертого этажа. Теперь уже близко...
Перед последним маршем лестницы передохнула, утерла платком вспотевшее лицо. И быстро - наверх.
Сердце колотилось часто-часто... Позвонила. За дверью - легкие шаги. Открыла светловолосая чешка, спросила, кого желает видеть незнакомая фрау. Откуда она приехала с вещами? Наверно, ищет другую квартиру? Надежда принялась объяснять, перемежая чешские слова польскими и немецкими:
- Я, пани, из России. Из Петербурга. Моя телеграмма, вероятно, затерялась. Я - жена пана Модрачека.
Чешка, пожав плечами, рассмеялась, перешла на немецкий:
- До сих пор у него была одна жена - это я.
- Вы, пани, что-то не поняли. Я - жена, - продолжала убеждать Надежда. - Мне нужен Франц... Извините, нужен Франтишек Модрачек.
- Фран-ти-шек, - повторила чешка с потеплевшей улыбкой на лице, ей было приятно слышать чешское имя мужа; повернув голову, позвала: Франтишек! - И не сдержала смеха. - К тебе - жена!
Вышел чех в простых рабочих брюках, концом полотенца, перекинутого через плечо, стер остатки мыла с мягкого подбородка; представился с легким поклоном.
- К вашим услугам, пани...
- Ульянова, - назвалась Надежда.
- Ваш муж Улианофф? К сожалению, не имею чести знать.
- Нет, он - Модрачек.
- Простите, пани, Модрачек - я. Другого нет.
У Надежды снова выступил пот на лице, на этот раз от растерянности. Она недоуменно пожимала плечами, разводила руками, стараясь подыскать недостающие слова.
Заметив вещи за порогом, Франтишек пригласил странную гостью, оказавшуюся, как видно, в незнакомом городе, внес чемодан и корзину:
- Как-нибудь разберемся. - Погладил усы. - Вы - русская? Из Москвы?
- Была в Москве. Там живет моя свекровь.
- Так так... - Модрачек задумался, поворошил пальцем волосы над ухом. - В Москву я пересылал несколько писем...
- Марии Александровне Ульяновой?! Да?
- Похоже... У меня где-то даже хранится квитанция на заказное письмо. Сейчас найду... - Сделав шаг в комнату, Модрачек обрадованно повернулся, проткнул пальцем шевелюру, нависшую над ухом. - Вы, я догадываюсь...
- Тут и гадать нечего, - всплеснула руками чешка, - жена герра Ритмейера! Он хотя и говорил по-немецки, но мне всегда казалось...
- Тебе только казалось, а меня сам пан главный редактор познакомил с ним. И, наверное, герр Ритмейер приедет снова... А квитанцию я найду.
- Уф! - облегченно выдохнула Надежда. Кажется, начинает тайна проясняться.

"Но почему же Володя не написал мне ни точного адреса, ни фамилии?! Вероятно, не мог... Адрес я здесь, видимо, раздобуду и пойду пешком. За вещами съездим вместе".
Модрачек вынес квитанцию. На ней было написано: Frau Ulianoff, Moskau.
- Да это мама моего мужа! - воскликнула Надежда. - Как к нему пройти?
- Его нет в Праге. И он никогда здесь не жил. Только приезжал на один день.
Вот те на! Час от часу не легче!..
От неожиданности и досады Надежда стиснула пальцы в замок.
- Георг Ритмейер живет в Мюнхене.
- В Германии! - изумилась Надежда и тут же подумала: "Вот уже стал Георгом! Ну и Володя! Его псевдонимы да клички нелегко запомнить!" - Георг Ритмейер, - повторила вслух и, достав блокнотик, записала адрес: "Кайзерштрассе, 53, квартира 1".
- Он у вас такой энергичный, такой любезный, - сказала пани Модрачкова.
Гостью пригласили к завтраку. Пока пили кофе, хозяин, управляясь с кнедликами, напоминавшими Надежде клецки, рассказывал по-немецки:
- Я работаю в типографии кооперативного издательства. Как-то осенью, кажется, в сентябре... Ну да, к тому времени созрели сливы...
- И герру Ритмейеру очень понравились кнедлики со сливами, вспомнила пани Модрачкова. - Жаль, что вас не можем так угостить. Обязательно приезжайте осенью.
- Не перебивай, пожалуйста, - попросил Франтишек, - иначе я опоздаю на работу. А вы тут успеете наговориться. - Повернулся к гостье. - Я думаю, вы, фрау Ритмейер, останетесь у нас на день? Удобный поезд, насколько я помню, отходит около полуночи. Вы отдохнете с дороги.
- Спасибо. Я, пожалуй, не прочь...
- Хорошо. Мы еще успеем поговорить после моей работы. А теперь доскажу коротко. Так вот: работаю я в типографии. И однажды перед обедом вызывает меня к себе пан главный редактор газеты "Право лиду" Антонин Немец. Захожу в кабинет. У него сидит молодой, но уже лысый человек с рыжей бородкой. Он? - спросил у гостьи. - Вижу по вашим глазам... Пан редактор представил нас друг другу и сказал: этот человек - за рабочих. Против русского царя. Я как бы с родным человеком встретился, - мы же против Франца-Иосифа, этой старой перечницы. Они - с одного куста горькая ягода. Пан редактор говорит: надо помогать нашему другу. Социал-демократу. Я ответил: сделаю все, что могу. Пошли мы с Ритмейером в кафе, там же возле издательства, заказали по кружке пива и какую-то дешевую еду. Тут и договорились обо всем. Он стал присылать мне письма в двух конвертах. Я распечатывал, большой конверт бросал, а меньший опускал в почтовый ящик. Внизу был мой обратный адрес.
- Да, да, - подтвердила Надежда, - я получала. В городе Уфе. Там я отбывала ссылку.
- У-фа. Возможно, были и туда письма. Я русского не знаю - в адреса не вчитывался. Так же и книги пересылал. А когда приходили письма ко мне, я их перекладывал в другой конверт и писал адрес. И не прямо Георгу Ритмейеру, а через какого-то Карла Лемана. У меня хранятся квитанции. Деньги на марки он мне присылал... Вот и вся моя работа... А сейчас мне пора...
Пани Модрачкова проводила мужа до дверей; вернувшись к столу, стала рассказывать дальше:
- Мы тогда жили в другом месте. Квартира была очень маленькая, да и тюфяка не нашлось, чтобы оставить герра Ритмейера у себя ночевать. Но кнедликами со сливами я его угостила. Никогда, говорит, не едал таких!.. А теперь и для гостя место найдется.
- Муж писал: переехал вместе с хозяевами на другую квартиру.
- Переехал! На бумаге! - усмехнулась пани Модрачкова. - А сам даже не наведался сюда.
- Он всегда очень занят.
- Мой тоже...
Пани Модрачкова стала собирать посуду со стола. Надежда помогла унести ее в кухоньку. Там хозяйка мыла посуду, гостья вытирала полотенцем.
- Вы любите вязанье? - спросила пани Модрачкова. - Я очень люблю. Сейчас покажу прошивки к наволочкам. Вязать очень просто, могу в одну минуту выучить. У меня даже дочурка вяжет. Вон она просыпается. Умоется, попьет кофе, и мы... Хотя вам после дороги необходимо отдохнуть... Нет, нет, меня это никак не затрудняет. А у вас впереди ночной путь. Обязательно усните.
Пани Модрачкова сменила постельное белье, и Надежда улеглась в удобную кровать.

"А ловко Володя жандармов одурачил! - улыбнулась с закрытыми глазами. - Петербургские гончие думают, что Ульянов поселился в Праге, а он... Ищи ветра в поле!.. И Франтишек, к счастью, переехал в другой район".
Успокоившись, она заснула.
И проспала около трех часов.
Проснувшись, Надежда выглянула в окно. Посмотреть бы город. Времени для этого достаточно. И хозяйка с дочкой, вероятно, не откажутся пойти вместе. Но солнце - высоко в небе. Греет по-весеннему. В шубе да шапке, пожалуй, не пройдешь и одного квартала. Да и неловко.
До вечера разговаривала с хозяйкой, забавлялась с ее дочкой, рассматривала и расхваливала наряды. На девочке поверх белой кофточки был надет розовый лиф, зашнурованный на груди, цветастый поясок завязан бантом, белый фартучек, прикрывающий красную складчатую юбочку, оторочен кружевами. Попробовала рассказывать девочке сказки, но та не понимала многих немецких слов - получалось скучно. С разрешения матери переплела ее мягкие, как лен, косички, потом пересмотрела самодельных кукол.
Мать сказала, что прошивки на кофточке самой большой куклы связала дочка, и гостья искренне похвалила маленькую рукодельницу.
Тем временем вернулся Модрачек, принес железнодорожный билет.
- Такая любезность с вашей стороны! - поблагодарила Надежда, доставая деньги.
Модрачек долго расспрашивал о петербургских фабриках и заводах, о типографиях, о тайных собраниях и листовках, о жизни, в ссылке, а полицейской слежке.
- У нас тоже на полицию смерти нет. Ходим по улицам и оглядываемся. Ваш Николай Вторый...
- И последний, - тихо вставила Надежда.
- Я тоже так думаю, - согласился Модрачек. - И наш Франц-Иосиф будет последний. Они оба - черту родные братья! Вы послушайте: у нас не жизнь, а... - Пошевелил пальцами в воздухе, как бы нащупывая там недостающее слово.
- Мученье, - подсказала Надежда.
- Мученье каждый день. Нас, чехов, всюду унижают. Нам даже нельзя зваться чехами. Меня во всех бумагах записали Францем, а я не могу этого слышать. Тьфу! Франтишек я от рождения. И у нас, у рабочих, силы прибавляется. - Модрачек потряс сжатым кулаком. - Мы, как резвые кони, сбросим наездников под копыта. А вы своих тоже - под копыта. И скорее!
- Теперь уже недолго ждать.
- Вот и я немножко помогаю геноссе Ритмейеру.
Поздно вечером Модрачеки, уложив дочку в постель, проводили Надежду на Центральный вокзал. Махали руками, пока поезд не скрылся в темноте.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Был декабрь 1900 года. Над Лейпцигом низко висело хмурое небо. Уныло ползли серые лохматые тучи. Сыпался леденящий дождь, мелкий и нудный.
Непогодица началась еще в Мюнхене, по дороге застилала мутной пленкой окна вагона, и здесь ей нет конца. Пришлось обзавестись зонтиком.
Если и в январе будет такая же слякоть да мокроть, европейская "зима" покажется длинней сибирской.
Помнится, вот так же перед самым рождеством, только по российскому календарю, примчался в гости Глеб Кржижановский. Каждое утро ходили на прогулку, под ногами скрипел снег. От мороза, правда, горели щеки. Зато воздух был неописуемо чистый, как родниковая вода. А на Волге того лучше морозцы умеренные и зима всегда приносила радости. Не то что здесь.
За городом дул промозглый ветер, пронизывал демисезонное пальто. Зябла шея, и Ульянов поднял воротник.
Путь не близкий. Сначала он ехал на трамвае, потом пошел по обочине дороги. Как всегда быстро и стремительно. Можно было бы в городе нанять извозчика, но дорог каждый пфенниг.
Владимир Ильич оглянулся: не тащится ли "тень"? Прошлый раз на пути в Баварию его приметил наипротивнейший тип в котелке, какими кишит Петербург. К счастью, мюнхенская квартира осталась без наблюдения. Не проследили бы здесь.
Позади пустынная дорога, и ни одна душа не знает, куда он пошел, невзирая на этот ненастный вечер. А все-таки осторожность не лишняя. Везде и во всем.

Матери послал письмо через Прагу. В двух конвертах. Там Модрачек распечатает первый конверт и опустит письмо в почтовый ящик: оно придет с пражским штампом. И в письме намеренно завел речь о зимнем спорте. Катается ли Маняша на коньках? В Праге, рассказывают, есть каток с искусственным льдом. Он сам еще не успел посмотреть на эту подделку, но не может не посочувствовать бедным пражцам!.. Пусть в департаменте полиции дотошные читатели чужих писем пометят в досье, что эмигрант Владимир Ульянов живет в Праге! Если угодно, пусть ищут там.

Справа сиротливо стояли голые липы. Давно опавшие листья догнивали на земле, похожей на черную губку, уже неспособную впитывать дождевую воду. За липами раскинулось огромное поле мертвых. Лет восемьдесят пять... Нет, уже восемьдесят семь минуло с той осенней поры, когда тут, застилая небо дымом, гремело сражение, названное историками "Битвой народов". Десятки тысяч убитых с обеих сторон! Вон братской могиле не видно конца. Она поросла травой, теперь жухлой и унылой, как мочала.

Над полем молча пролетел на юг запоздалый грач. Откуда-то забрел тощий козел. Потряхивая сивой бородой, щиплет с холма мертвую траву.

Пройдя возле скорбного поля половину пути, Владимир Ильич услышал частый стук молотков и зубил: в изголовье братской могилы каменщики в глубоком котловане закладывали фундамент памятника. В газетах писали будет величественным, поднимется чуть ли не на сто метров: гранитные фигуры витязей будут сторожить покой погибших.

Невдалеке слева за крестьянскими полями сгрудились острые черепичные крыши деревни Пробстгайд. Там после разгрома наполеоновских полчищ отдыхали на постое русские войска, изувеченные, безногие и безрукие солдаты залечивали в лазаретах раны.

Повернув туда, Владимир Ильич пошел по неширокой мощеной Руссенштрассе, названной так в честь русских войск. Хмурые от старости кирпичные дома, похожие один на другой, разделены каменными оградами. Во дворах хрюкали свиньи, мычали коровы. Струйки молока с легким звоном ударялись о стенки подойников. Опасаться, пожалуй, некого. Но, на всякий случай, Владимир Ильич, как бы всматриваясь в номер одного из домов, краем глаза глянул в даль пустынной улицы.

Ветер утих, и на деревню спустились ленивые от дождя сумерки.

Вот и знакомые ворота. Ульянов прошел мимо длинного дома в глубину мощеного двора, тщательно обтер ноги, отряхнул зонтик и постучал в дверь. Три частых удара, два редких.

2

Ему открыл сам хозяин, высокий, длиннолицый, светловолосый, подстриженный ежиком, с тугими усами, закрученными а ля кайзер Вильгельм.

- Гутэн абэнд! - поздоровался Владимир Ильич, прикрывая за собой дверь.

- Гутэн таг, геноссе Мейер! - отозвался хозяин, называя посетителя не господином, а товарищем, как было уже принято среди немецких социал-демократов.

Еще с первой встречи Герман Рау знал, что перед ним русский революционер, но не спрашивал о его подлинном имени, разговаривал как с немцем и считал не обычным заказчиком, а гостем-единомышленником, незаурядным человеком: не кто-нибудь иной, а Клара Цеткин просила помогать ему во всем.

- Снимайте скорее ваше пальто, - сказал Рау. - Повесим сушить. А зонтик поставьте раскрытым на пол, чтобы стекла вода.

- Спасибо! Спасибо, дорогой друг! - Гость немножко картавил, говорил без особого акцента, чувствовалось - знает немецкий с детства; приложил озябшие руки к печке. - Ужасная погода!

- Перед рождеством у нас всегда такая.

- Завидовать нечему. Ну, ничего. В Пруссии бывает хуже.

- И у нас в Саксонии бывает. А в доме тепло. Грейтесь. Жена приготовит кофе.

- Я уже согрелся, - Владимир Ильич потер руки. - А кофе от нас не уйдет. Сначала - дело.

- Пожалуйста. Я тоже люблю так. А геноссе Блюм там. - Рау кивком головы указал в глубину дома. - С самого раннего утра. Только за обедом немного отдохнул.

- А когда закончите?

- Средний лист уже готов.

- Да?! Это великолепно!.. А никто не видел?

- Я умею хранить тайну. Знаю конспирацию. И рабочие не подведут.

- Хорошо! Очень хорошо! Пойдемте, покажете.

Через длинную жилую комнату они направились в ту часть дома, откуда доносился слабый запах типографской краски.
- Печатник ждет, - рассказывал Рау, идя рядом с заказчиком. - И обещает...
- К рождеству? Это будет отлично.
- Пока я не совсем уверен... Многое зависит от Блюма.
- Я думаю, он не подведет. А мы с вами, - Владимир Ильич, приостановившись, коснулся пальцами локтя типографа, - будем напоминать ему об уговоре, поторапливать. Мне очень хочется, чтобы наш с вами подарок прибыл к российским рабочим не позднее Нового года. Подарок новому веку!
- Будет, будет, - кивал головой Рау. - А царю... Как это говорят?.. От смеха у Рау приподнялись усы, он сжал кулак и двинул торчком, как бы нанося удар под ребро. - Покрепче!
- По-русски говорят: "Под микитки!" И - ко всем чертям!
- Так и надо.
Рау нравился Ульянову, и он был доволен тем, что предпочел Мюнхену крупный саксонский город, мировой центр полиграфической промышленности и книжной торговли. Не зря говорили, что в Лейпциге русский шрифт раздобыть гораздо легче, чем в каком-либо другом уголке Германии. Вскоре все устроилось, хотя и не без некоторых осложнений. Сначала ему рекомендовали типографию газеты "Лейпцигер фольксцайтунг". Побывал там, присмотрелся: типография большая, заказ может выполнить быстро, но... Уж очень много толчется там пришлых людей. Одни с заказами, а другие... Кто их знает откуда они? Немецкая полиция настороже. И через нее сразу все будет известно в Петербурге. Этак сам не успеешь взять газету в руки, а она уже окажется в охранном отделении. Рискованно. До крайности рискованно. Хорошо, что ему назвали эту тихую деревню, крошечную типографию надежного человека. Находка! Лучшего и не придумаешь. Только бы не выследили шпики.
Открыв дверь, Рау пропустил заказчика вперед себя в небольшую комнату, в которой возле стен едва умещались два реала с наборными кассами, стол для верстки газетных полос, немудрое редакторское бюро да простенькие тискальные станки. Если бы не печатная машина за стеклянной перегородкой, типографию можно было бы счесть за подпольную.
- Гутэн абэнд, Иосиф Соломонович! - поздоровался Владимир Ильич с единственным в этот вечерний час наборщиком, стоявшим у реала, над которым горела висячая керосиновая лампа. - Как ваши успехи?
Блюменфельд отложил в сторону верстатку с незаконченной строкой, обтер руки о серый фартук и шагнул навстречу. Владимиру Ильичу для набора "Искры" его рекомендовал сам Плеханов еще в Женеве, где Блюменфельд долгое время заведовал типографией и книжным складом группы "Освобождение труда", но сейчас, придерживаясь конспирации, он ответил:
- Почти все набрано, геноссе Мейер. Вон сверстанные полосы. Дело за передовой.
- Сегодня получите.
У Блюменфельда были аккуратно подстриженные курчавые волосы, каштановые усики, слегка прикрывающие уголки тонких губ. Тщательно выбритые щеки казались синими, а узковатые глаза усталыми.
- Вы, вероятно, плохо спали, Иосиф Соломонович? - Владимир Ильич придержал руку наборщика. - Уж не бессонница ли у вас?
- Пока не страдаю, геноссе Мейер.
- А вид утомленный.
- И вчера, и сегодня с утра до вечера - у реала. Набор, вы сами говорили...
- Да, да, набор не ждет. Дорог буквально каждый день. - Владимир Ильич еще раз взглянул в усталые глаза Блюменфельда. - А вы где-нибудь обедали? Только откровенно.
- А вы - сами? Небось опять...
- Не обо мне речь, - я у реала не стою. А вам приходится дышать свинцовой пылью.
- Фрау угощала меня своим кофе.
- Кофе - это мало. Вам бы надо...
- И вам...
- Зато к ужину я принес сосисок. Попросим заварить. А кофе нам уже обещан.
Той порой Рау в печатном отделении из-под груды бумаги, лежавшей в углу, достал недавно оттиснутый газетный лист и принес заказчику. Владимир Ильич, развертывая лист, приятно пахнущий типографской краской, пробежал глазами по всем четырем страницам. Знакомый

формат "Форвертса", как было условлено, по три колонки на полосе. Бумага тончайшая, почти прозрачная, но достаточно плотная и, главное, эластичная - в жилетных "панцирях" не будет хрустеть. Через стеклянную перегородку беспокойно глянул в угол, откуда типограф принес этот газетный лист. Рау поспешил успокоить заказчика:
- Припрятано хорошо. Рабочие у меня - наши социал-демократы.
- Я на вас надеюсь. - Владимир Ильич слегка приподнял указательный палец. - Никто в Германии не должен видеть газету, пока она не будет распространена в России.
- У меня строго. Посторонних не бывает, - заверил Рау, уходя из типографии.
Блюменфельд взял совок, добавил угля в круглую чугунную печку, стоявшую посредине комнаты, и, погрев пальцы, вернулся к реалу. Правая рука его быстро и легко металась по клеточкам наборной кассы, будто он собирал ягоды в кошелку, ловкие пальцы левой с еле слышным стуком прижимали к верстатке литеру за литерой, пока не набиралась полная строка.
Владимир Ильич, не расставаясь с газетным листом, прошел между реалов к одному из окон. Присмотрелся. Одинарная рама не законопачена, не заклеена. А вторых - зимних - рам здесь вообще не знают. В щели дует холодище.
- Вы, Иосиф Соломонович, поберегитесь. - Глазами указал на второе окно, возле которого стоял наборщик. - Тут недолго и простудиться. На дворе ужасная непогодица, и по всей Европе ходит инфлуэнца.
- И вам бы лучше не стоять у окна.
- Я уже отдал дань простудной напасти.
На дворе, видать, немного похолодало: мимо черных стекол падали пушистые снежинки. Хотя тут же превращались в капельки, стекавшие тонкими струйками. И все же это долгожданные снежинки! А в Шушенском, бывало... Вот в такую же декабрьскую пору катались с Надей на коньках! Правда, она не сразу научилась держаться на льду, делала неловкие шаги, нередко падала. И всегда с веселым смехом. Мороз румянил ей щеки, наращивал пушистый иней на прядях волос, выбившихся из-под шапочки. Домой возвращались будто слегка захмелевшие от чистого воздуха. Хотя и под надзором жили да у черта на куличках, вспомнить есть что. А здесь... Лишь работа приглушает остроту одиночества. Ему не хватает ни дней, ни часов. Помощи пока ждать не от кого. Юлий* все еще налаживает связи где-то на юге России. Потресов заладил одно: "Домой, домой". Уехал ни на что не глядя. Вернется, быть может, только через неделю. Димка* занята со своим малышом. Почти все приходится делать самому. Но теперь уже не так долго ждать Надю: приедет - возьмет в свои руки секретарство, наладит шифрованную переписку с товарищами. А пока... Пока самое сложное - "транспорт!". Ох и трудное же это дело! Нужны деньги, энергичные люди. Успеть бы к Новому году по российскому календарю переправить газету через границу. Прежде всего в Псков Лепешинскому, а уж он сумеет доставить куда надо.

---

* Юлий Осипович Цедербаум (Мартов).
* Инна Гермогеновна Леман, урожденная Смидович.

Не выпуская верстатки из рук, Блюменфельд вышел к Ульянову из-за реала:
- Хочу заранее попросить. Надеюсь, не откажете. Когда запылает наша "Искра"... Позвольте мне самому первый номер... Хотя бы часть тиража...
- Значит, и вы соскучились по родине?
- Очень... Сердце горит. Даже слов не подберу... И хочется товарищам из рук в руки...
- А доводилось через границу провозить нелегальное?
- Однажды немного... Но я уже все продумал...
- Ну что же, вернемся к этому разговору в свое время. А пока за вами - набор, за мной - передовая.
Владимир Ильич направился к редакторскому бюро, придвинутому в угол возле двери. В дневные часы тут обычно Рау редактировал рабочую спортивную газету "Арбайтер Турнцайтунг", правил корректурные гранки. Сейчас на весь вечер место свободное.
Слева стояла большая лампа, почти такая же, как в Шушенском на конторке, только у той, подаренной Надей, абажур был зеленый, а у этой жемчужно-белый. Глаза не привыкли к такому - свет, пожалуй, ярче того. Ульянов сел на удобный стул с невысокой полукруглой спинкой. Ему хотелось вычитать весь газетный лист, но Блюменфельд, повернувшись от реала, заверил, что в этой нет необходимости: в его наборе опечатки не встречаются.

- Ну, если вы ручаетесь... - Владимир Ильич отложил газету, из внутреннего кармана пиджака достал несколько листков черновой рукописи. Это была передовая, написанная им еще в ноябре. Все товарищи по редакции прочитали ее, а Аксельрода он уже успел поблагодарить за его замечания.
Обмакнув перо в чернила, на чистом листе вывел заглавие:
"Насущные задачи нашего движения". Подчеркнул жирной чертой и начал переписывать набело:
"Русская социал-демократия не раз уже заявляла, что ближайшей политической задачей русской рабочей партии должно быть ниспровержение самодержавия, завоевание политической свободы".
Для политической борьбы необходимо расчистить путь, убрать с дороги колеблющихся и сомневающихся, опрокинуть тех, кто называет русский пролетариат "несовершеннолетним", пытается оторвать рабочее движение от социализма и увести его от политических задач. Ему вспомнилось далекое сибирское село Ермаковское, собрание семнадцати единомышленников. Оттуда была предпринята первая атака пошлых позиций пресловутого "экономического направления". Здесь, в центре Европы, он еще острее почувствовал, что модные "критики марксизма" протаскивают старые буржуазные идеи под новым флагом. Необходима бесповоротная борьба за освобождение от политического и экономического рабства, и социал-демократия переходит в наступление.
Взглянув на быстро набросанные строки, - Блюменфельду будет нелегко разбирать его почерк, - он опять стал придерживать перо и выводить яснее каждую букву: "Содействовать политическому развитию и политической организации рабочего класса - наша главная и основная задача".
Вошел Рау, сказал, что кофе уже на столе.
Поблагодарив его, Владимир Ильич повернулся к наборщику:
- Я думаю, мы сделаем маленький перерыв. Не возражаете? В таком случае пойдемте.
3
Ужинали вдвоем.
На гарнир к сосискам хозяйка подала тушеную капусту. Хлеб нарезала тоненькими ломтиками. Кофе был ароматный, крепкий. Чтобы не обжечься, Блюменфельд отхлебнул из ложечки, сказал:
- Рау дал мне адрес одного переплетчика, который может сделать чемодан с двойным дном.
- Да? Здесь? - переспросил Владимир Ильич, отвлекаясь от дум о статьях и заметках, еще не заверстанных в последние газетные полосы. - А то я знал одного в Берлине - делал отлично. И наш человек, социал-демократ.
- За здешнего Генрих ручается. Говорит, хороший мастер.
- Стенки нужны очень плотные. И такие же, как у тех чемоданов, что продают в магазинах.
- Значит, можно заказать? - обрадовался Блюменфельд. - Как только напечатаем, я сразу же начинаю действовать.
- Да, газета не должна лежать в типографии. Ни одного дня. В том вы правы.
Отпивая кофе маленькими глотками, Владимир Ильич думал:
"Кому-то надо поручить транспортировку. Не ему ли? Хотя он как будто недооценивает конспиративность, но у него все же есть некоторый опыт. А кто же будет набирать второй номер? Другого такого наборщика здесь сыскать нелегко. Лучше воспользоваться услугами студента латыша Ролау, которого рекомендовали ему еще в Риге. Знает верный путь. Достаточно дать телеграмму в Цюрих, сразу приедет..."
Управившись с сосисками, Блюменфельд ждал ответа на вопрос о чемоданах, но Владимир Ильич сказал:
- Прежде всего закажите мастеру переплеты. Вы знаете, как это делается? Подскажите ему, если потребуется. А книги для этого я завтра же куплю в Лейпциге.
Про себя решал, кому какие книги послать:
"Глебу на станцию Тайга лучше всего о паровозах. Старковым в Омск какой-нибудь справочник фельдшерицы для Тони. Наде в Уфу... В адрес Нади нельзя посылать - поднадзорная! Но там есть один земец - может передать. Ему, конечно, что-нибудь сельскохозяйственное. И письмо для Нади - тоже в переплет. И непременно шифром".
Прерывая затянувшуюся паузу, добавил:

- Не забудьте предупредить: переплеты не должны отличаться от типографских. Сделает хорошо - заказов будет много.
Вошла хозяйка, высокая, светловолосая, в изящном белом переднике. Владимир Ильич встал первым, поблагодарил с легким поклоном:
- Кофе был отличный!
- Утром будет со сливками, если вы любите.
- Как, геноссе Блюм? Лучше со сливками? И я за сливки.
- Спасибо! - Блюменфельд поклонился хозяйке, слегка шаркнув ногой.
И они вернулись в типографию.
Садясь к редакторскому бюро, Владимир Ильич опять на минуту мысленно перенесся в Приуралье. В Уфе теперь глухая полночь. Надя спит. Быть может, ей снится далекий путь в Германию. Непростой и небезопасный. До самой границы шпики да жандармы. Да и здесь соглядатаи на каждом шагу. А она поедет впервые. Все для нее новое, незнакомое. Надо написать, как ехать и где искать его. А если не дадут паспорта, перейдет границу нелегально. Товарищи помогут.
Рау принес угля, добавил в печку и тихо вышел.
О стекла окон теперь ударялись капли косого дождя. На верстатке Блюменфельда глухо постукивали литеры. Поскрипывало перо под нажимом руки Владимира Ильича, выводившего букву за буквой.
- Вот и все! - воскликнул наборщик, отходя от реала.
- Можете начинать передовую. - Ульянов, полуобернувшись, протянул ему первые листы.
Взглянув на прямые четкие строки, Блюменфельд сказал:
- Вы напрасно так тщательно. Будто для молодого наборщика. Я привык ко всяким почеркам. Даже Аксельрода читаю.
- Ну уж если Павла Борисовича разбираете, тогда я спокоен. А у меня уже остаются последние строчки.
Наборщик не отходил от бюро, и Владимир Ильич спросил:
- Вы еще что-то хотите сказать?
- Все то же. - Голос Блюменфельда звучал упрямо. - Для себя я закажу два чемодана.
Ульянов встал, одной рукой взял его за лямку фартука, тепло посмотрел в глаза:
- Понимаю. Все понимаю, дорогой мой россиянин. И я бы тоже поехал с первым номером, но... Приходится удерживать себя. - Слегка дернул лямку. Кто же будет набирать второй номер? Кто?
- Я, Вл... Я, геноссе Мейер, - поправился Блюменфельд.
- А ваша оговорка, между прочим, свидетельствует о недостаточной конспиративности. Да, да.
- Это от волнения. А о наборе вы не тревожьтесь: я быстро вернусь. Довезу, посмотрю, с каким огоньком в глазах будут читать наши рабочие...
- Вот это всего важнее. Что будут говорить рабочие - расскажете мне потом. Но поедете со вторым номером. Да, да. Только со вторым. Потерпите. - Владимир Ильич кивнул на печатную машину. - Постараемся сделать через месяц. Не позднее. Договорились?
- Ну хотя бы... А этот как же?
- Повезет один латыш. Студент. Фамилия его Ролау. Запомните. А отдельные экземпляры, как договорились, отправим в переплетах книг.
Недовольно хмыкнув, Блюменфельд пошел к реалу.
Владимир Ильич снова сел на свое место, и перо побежало по бумаге с обычной быстротой:
"Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного".
Вот и последний лист передовой готов для набора, и Владимир Ильич, взволнованный и сияющий, как перед большим праздником, отнес его наборщику:
- Теперь дело за вами.
- Можете спокойно ложиться спать, - сказал Блюменфельд все с той же ноткой самоуверенности. - Корректура пусть вас не волнует. Еще не было случая...
- Помню, помню, - прервал Владимир Ильич. - И хочу верить в вашу типографскую непогрешимость.

4

Утро было такое же серое, как в предыдущие дни. Окна сверху донизу заплаканные.

В тесной типографии зажгли керосиновые лампы.

Настала долгожданная минута: Ульянов, Блюменфельд и типограф Рау стояли у машины, считавшейся скоропечатной. Дюжий вертельщик поплевал на руки, взялся за крюк, деревянное цевье которого было до блеска отшлифовано жесткой кожей натруженных ладоней; и, напрягая мускулы, повернул большое колесо машины; заскрежетали шестерни, пришли в движение печатные валы, запахло типографской краской, и влажный газетный лист лег на нетерпеливые руки Владимира Ильича. Есть газета! Есть! Сбылась долгожданная мечта!

Рау и Блюменфельд заглянули с боков. Отлично оттиснулось клише: в середине крупно "Искра", ниже под чертой "No 1, декабрь 1900 года", слева: "Российская социал-демократическая рабочая партия", справа: "Из искры возгорится пламя!" Ответ декабристов Пущкину". Все четко. Все хорошо. А текст... Пожалуй, надо кое-где еще приправить, и Рау вместе с печатником склонился над вторым оттиском.

А Владимир Ильич, хотя внутренняя сторона еще не была оттиснута, вложил в середину лист, напечатанный ранее, и, окинув газету восторженным взглядом, обнял Блюменфельда за плечи, пожал руку Герману Рау, печатнику и вертельщику:

- Данкэ! Данкэ! Данкэ! - едва удержался, чтобы не добавить по-русски: "От всего сердца! От всех российских социал-демократов. От всех марксистов!"

Пройдет какая-нибудь неделя, и новорожденную вот так же будут держать в руках Лепешинский в Пскове, Бабушкин в Иваново-Вознесенске... Глаша Окулова перешлет в свою родную Сибирь... И у всех будет праздник. А для него праздник уже начался. Завтра будут оттиснуты последние полосы.

День рождения газеты запомнится на всю жизнь!

Главное - поскорее переслать "Искру" в Питер Степану Радченко. Ему там очень трудно. Творятся нетерпимые глупости: у рабочих - своя организация, у интеллигентов - своя. В "Союзе борьбы" верховодят "экономисты". "Искра" для них - удар, нашим - подмога в борьбе.

Легким и быстрым шагом Владимир Ильич прошел к редакторскому бюро, зажег лампу под жемчужным абажуром, сел и, как по лесенке, побежал глазами по строчкам первой колонки, чем ниже, тем быстрее и быстрее. Но в середине второй колонки вдруг споткнулся, брови сурово сдвинулись над переносьем, сжатые кулаки опустились на стол.

- Послушайте, геноссе Блюм, что вы наделали?!

- Что, что? - Наборщик всполошенно бросился к нему. - Что там такое? Неужели?..

Острая обида, - первый блин комом! - необычайно взволновала Владимира Ильича. Вскочив на ноги, он ткнул пальцем во второй абзац средней колонки:

- Читайте. Вот отсюда. Читайте вслух.

- "Отодвигают ее..."

- Вы тут сразу проглотили две буквы. Смотрите в оригинале: "Отодвигают же..." Так? Первая погрешность, с которой нельзя примириться. Читайте дальше.

- "Отодвигают эту задачу, во-вторых..."

- А где "во-первых"?

У Блюменфельда щеки стали пунцовыми. Перед другим редактором он бы вспылил: "Не такая уж это крупная... И с кем не бывает...", но сейчас у него перехватило горло, и он чуть слышно проронил:

- Наверно, можно... сократить где-нибудь.

- Ни одной буквы, ни одной запятой! Извольте найти выход из положения...

Рау, принявший случившееся близко к сердцу, поспешил к ним с оттиском последней страницы:

- Мне думается, легче всего сократить вот здесь, а в самом конце полосы поставить поправку.

- Видимо, это единственный выход, - согласился Владимир Ильич, подавляя огорчение. - Но ведь неизбежна остановка машины. И газета сегодня не выйдет. А завтра сочельник, послезавтра рождество...

- Обещаю завтра, - заверил Рау взволнованного редактора.

- Я надеюсь. - Ульянов пожал руку типографа выше запястья, а про себя сказал: "Вперед наука. Ни строчки без последней корректуры!"

Блюменфельд расслабленно присел на угол стола для верстки полос и утер платком лицо: "Теперь, чего доброго, и со вторым номером не разрешит..."
- Я вынужден отложить свой отъезд, - сказал Владимир Ильич типографу и наборщику, - пока не прочту с машины последних полос. Но вы, пожалуйста, без излишней спешки. К вечеру? Это приемлемо.
Предпраздничный ночной поезд был переполнен, - немцы спешили к родным с рождественскими подарками. Ульянова притиснули к стенке вагона. Он, чувствуя себя неуверенно в баварском диалекте, ни с кем не вступал в разговоры. Смотрел на оконное стекло, косо заштрихованное дождем.
Из Мюнхена он сразу же напишет в Цюрих, обрадует Аксельрода: "Сегодня газета должна быть готова". Пожелает ему поскорее отделаться от инфлуэнцы.
Подпись поставит: "Ваш Petroff. Павел Борисович знает все его псевдонимы.
5
На ближней кирке глухо и отрывисто звонил чужой колокол. Будто не литой, а кованый. Даже с трещинкой. И в этом праздничном благовесте не было ничего похожего на разливистый колокольный гул, знакомый с детства.
Владимир Ильич открыл глаза. Сквозь запотевшее окно в комнату пробивался унылый рассвет. А в Уфе сейчас уже день. Может, сияют снега под лучами солнышка. В углу нарядная елка, и в комнате приятно пахнет хвоей. Надя помогает матери накрывать к обеду праздничный стол...
Здесь все чужое. Даже окно узкое - в угоду готике. Стол под серым сукном, похожим на солдатское. Темно-коричневые стулья с высокими резными спинками, как в суде. Над узенькой кроватью картинка - угрюмый замок на вершине горы.
В углу водопроводный кран, под ним раковина не больше пригоршни. А умывальника нет. Только тазик на табуретке да кувшин. Но сливать-то воду некому. Приходится умываться из тазика, как, бывало, на охоте из весенней лужицы.
Владимир Ильич быстро и легко прошелся по комнате, налил в кружку минеральной воды, развернул бутерброды с колбасой, купленные еще на лейпцигском вокзале, и сел завтракать. Нетерпеливо открыл папку с почтой, полученной секретарем редакции Димкой. На уголках писем краткие пометки Веры Засулич. Хорошо, что прочла и ответила первым корреспондентам.
Письмо от Мартова огорчило его. Задержался где-то Юлий. Не то в Полтаве, не то в Харькове. А может, перебрался еще куда-нибудь? Вот пишет: налаживает связи, подыскивает агентов. Уж что-то очень долго.
А не написать ли ему, чтобы поискал для "Искры" надежный путь через границу? Нет. У него, пожалуй, не хватит деловитости.
Сегодня праздник - Димка не приедет. А Вера Ивановна не утерпит, прибежит. Беспокойная, непоседливая.
Ему не было и восьми, когда имя двадцативосьмилетней Веры Засулич прогремело на весь мир. В тот год петербургский градоначальник Федор Трепов, явившись в предварилку, приказал высечь розгами политического заключенного студента Боголюбова. Видите ли, за непочтение! Вера Ивановна, участница тайных сообществ, не знала студента, подвергнутого экзекуции, но не могла стерпеть надругательства над подследственным. Знакомые пытались успокоить ее: "Не вас ведь высекли". Не подействовало. Она запаслась маленьким револьвером "бульдог", повязала поверх шляпки черный платок, накинула на плечи широкую тальму и отправилась на прием к столичному сатрапу. Когда Трепов вышел в приемную к просителям и оказался перед ней, она вынула из кармана револьвер и нажала собачку:
- За Боголюбова!
Вместо выстрела из-под тальмы - тихий щелчок. Осечка!
Но прежде чем ее схватили за руки, она успела, откинув полу, нажать второй раз, и Трепов повалился.
Ее судил коронный суд с участием присяжных заседателей. Председательствовал популярный судебный оратор Кони. Громкий процесс превратился в суд над Треповым. Даже намеренно подобранные присяжные не могли не увидеть в Засулич героиню чистейшего сердца, не стерпевшую оскорбления, нанесенного не одному Боголюбову - народу, всей стране. Веру оправдали. У выхода из здания суда ее поджидала громадная толпа молодежи, которая и уберегла ее от нового ареста, а добрые люди помогли ей скрыться за границу. Там

прогрессивные круги встретили Веру триумфально. В одном демократическом неаполитанском театре о ней даже поставили пьесу...
Обо всем этом Владимир Ильич вспомнил много лет спустя, когда с небольшой надеждой ждал решения судьбы своего старшего брата:
"Ведь оправдали же Веру Засулич..."
Она к тому времени уже была в Женеве видной участницей группы "Освобождение труда", переписывалась с Марксом и Энгельсом, бывала у них в Лондоне, переводила марксистские книги на русский язык. И слава ее не померкла.
А встретились они всего лишь десять месяцев назад, когда Владимир Ильич, возвратившись из сибирской ссылки, тайно наведался в Питер. Александра Михайловна Калмыкова, вдова сенатора, Тетка, как звали ее подпольщики, шепнула ему, что у нее в соседней комнате прячется от посторонних глаз Вера Засулич, приехавшая по чужому паспорту.
- Ее кипучая душа не вынесла эмиграции, - рассказывала Тетка. - Как птица по весне, прилетела на родину. Хочу, говорит, подышать питерским воздухом, хоть одним глазком взглянуть на русского мужика. Ей, в прошлом народнице, интересно знать, каким он стал теперь. Сначала в Женеве для нее раздобыли французский паспорт, язык она знает отлично, но... Внешность подвела. Слава богу, помогли болгары... Идите и называйте нашу Верочку Великой Дмитриевной...
Она представлялась Владимиру Ильичу рослой, крупнолицей, с большими крепкими руками. Потому, вероятно, и не могла сойти за француженку.
Но он увидел маленькую женщину с узкими плечами, бледным продолговатым лицом, острым подбородком и почти непричесанными волосами.
Тогда он еще не знал, что эта женщина считала для себя недопустимой роскошью то, что для других являлось самым необходимым и скромным. Если у нее иногда появлялись свободные деньги, то и при этом друзьям нелегко было понудить ее израсходовать их на какую-нибудь недорогую и необходимую обновку. Веру Ивановну ценили не по одежде, а по уму, по беспредельной преданности революции.
Выхватив левой рукой папиросу из тонких губ, она протянула Владимиру Ильичу правую, маленькую, словно у девчушки.
- Мне рассказывал о вас Жорж Плеханов, - пояснила она тихим голосом. - Он помнит ваш приезд. И возлагает надежды, как на самого способного из своих учеников.
- Вот как! Мне приятно слышать, но... - Владимир Ильич смотрел в круглые светло-серые глаза собеседницы. - Откровенно говоря, я не ожидал...
- Я Жоржа знаю почти четверть века. Он не склонен заискивать. Говорит всегда прямо, иногда даже с ледяной резкостью. А о вас - с огоньком.
- Спасибо. Я как раз собираюсь в Швейцарию, чтобы поговорить с Георгием Валентиновичем о совместной работе. А с вами хотел бы сейчас. У меня есть план...
Они сели на диван в укромном уголке, и Владимир Ильич рассказал об "Искре", которую хотел бы издавать совместно с группой "Освобождение труда". У Веры Ивановны блеснули глаза:
- Как же это умно придумано!.. Значит, мне снаряжаться в обратный путь? А хотелось пожить на родине, летом походить по лугам, белым от ромашек... Но я привыкла подавлять свои желания. Жоржу напишу сегодня же. Вы его еще мало знаете. Это редчайший человек! Эрудит! Первый в Европе знаток Маркса!
- В марксистской эрудиции Георгия Валентиновича я никогда не сомневался.
- Этого и в мыслях невозможно допускать... Поезжайте прямо к нему. Я уверена: он возьмется редактировать газету. Кто же еще, кроме него? Только один он.
Последние слова озадачили Владимира Ильича. Засулич предстала перед ним в ином виде. Хотя он по-прежнему восторгался героиней давно минувших лет, но обаяние ее несколько потускнело, будто на яркую луну набежала тучка...
...Переговоры с Плехановым, претендовавшим на единоредакторство, были долгими и тяжкими. Порой терялась надежда на совместную работу. Обо всем этом записал по свежей памяти для Нади - прочтет, когда приедет.
Теперь их шесть соредакторов. Но Плеханов живет в Женеве, Аксельрод в Цюрихе. Мартов и Потресов все еще не приехали из России. В Мюнхене, кроме него, Ульянова, только Вера Засулич...
И вот она - легка на помине! - входит в комнату, как всегда с дымящей сигаретой:

- Простите за столь раннее вторжение.
- Что за извинение, Велика Дмитриевна?! Спасибо, что пришли. Владимир Ильич сделал несколько шагов ей навстречу. - Могу вас порадовать: сегодня газета должна быть готова! Пишите Георгию Валентиновичу.
- Вы не привезли? А я-то надеялась...
- Оттиски привез. Вот, пожалуйста. Сбывается наша мечта!
- Я так ждала этого дня! - Вера Ивановна села на стул, выпустила струю дыма в потолок и на минуту уткнулась в оттиск первой страницы. Такого рождества еще не бывало! От искры взрывается порох, а его в народе становится все больше и больше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В Нижнем Новгороде металась вьюга, выла в печных трубах, пригоршнями кидала на оконные стекла снежную крупу. Над балконом двухэтажного дома старая липа хлестала длинными ветками по железной крыше.

Щели между вторыми оконными рамами и косяками заклеены полосками бумаги, но где-то проникал острый ветер, и огненный цветок керосиновой лампы, что стояла среди бумаг, приподымался, словно хотел оторваться от круглого фитиля, бросал на портрет Льва Толстого, висевшего на стене, за столом, дрожащие блики.

Просторный и добротный стол с двумя тайниками смастерен знакомым краснодеревщиком по особому чертежу, на высоких тумбах, чтобы Горький не сутулился над ним. И кресло под стать столу - массивное, удобное, с выгнутыми подлокотниками. Алексей Максимович, длинноволосый, бледнолицый и усталый, сидел в нем, глухо покашливая. Отбросив в сторону просмотренные газеты, закурил. Папиросу, как деревенский старик самокрутку, держал большим и указательным пальцами, дым пускал в кулак резкими струями. С тех пор как появилось в газетах правительственное сообщение от отдаче в солдаты ста восьмидесяти трех киевских студентов - "за учинение скопом беспорядков!" - он не написал ни строчки. В груди кипел гнев, не находя выхода. Смотреть молча на безумную жестокость он не мог. А что делать и чем помочь - не знал. Только чувствовал - такому злу нельзя, невозможно не противиться насилием.

В соседней комнате спала Катя с маленьким Максом. Спали в клетках, принакрытых газетами, чижи и щеглы. И ему пора бы в постель, - жене дал слово не засиживаться допоздна, но разве заснешь, когда неспокойно на душе? И табак кажется слабым, пресным. Достал новую коробку папирос, ночью останавливать некому.

На столе - новинка, книга стихов Ивана Бунина "Листопад" с дружеским посвящением. Ее сегодня утром прислал в подарок Валерий Яковлевич Брюсов, пекущийся о делах издательства "Скорпион". Алексей Максимович обрадовался подарку, вспомнил предыдущую книжку Бунина. Там были очень чистые, звучные стихи. Высокая поэзия, редкостное чутье природы! Нетерпеливо начал читать новую, и, казалось, комната наполнилась пряным ароматом осеннего леса. Мягкое тепло ласково лилось в грудь. Хо-ро-шо! Строки мастерски отчеканены и полны лунного сияния.

Подвинул к себе лист почтовой бумаги и, не торопясь, четко вывел первые строчки:

"С благодарностью извещаю, что получил прекрасную книжку стихов Бунина, коего считаю первым поэтом наших дней".

И вдруг рука остановилась. Не ошибочно ли это впечатление? Не лишние ли восторги? Нравилась бунинская живопись словом, но какая-то горчинка ложилась на сердце. Чем дальше, тем острее. Снова развернув книгу, начал перечитывать:

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.

Широкой рукой откинул пряди волос, свалившихся на лоб, провел пальцами по пшеничным усам.

Слов нет - хорошо. Изящно. Тонко. Но разве это нужно сегодня? Разве можно обойтись одной жалейкой?..

Отодвинул книгу. Встал, готовый крикнуть на весь город, на всю волжскую округу: нет! Надобно иное. Жизнь не устроена, полна мерзостей и ужасных жестокостей. О них нельзя не трубить на весь мир.
Убавил фитиль в лампе - огненный цветок укоротился.
Осторожно, чтобы не разбудить жену, прошел в прихожую, по пути глянул на дверь "шаляпинской" комнаты, теперь пустой. Много раз Федор приезжал в Нижний, ночевал в ней, однажды с балкона пел для народа, запрудившего Канатную улицу: "Эй, дубинушка, ухнем!" По-волжски! Листья на старой липе дрожали от его баса. Хоть бы приехал снова, помог бы успокоиться.
В углу прихожей гнутая венская вешалка. С одного полированного рога Горький снял длинное пальто, в котором он выглядел особенно высоким, как пожарная каланча, с другого - кургузую папаху, взял увесистую палку и, спустившись по лестнице, вышел из дома.
Острый ветер налетал из-за Оки, кружился по Канатной. Горький, не спеша, постукивая палкой о заледенелый дощатый тротуар, прошел до угла и, повернув на Полевую, направился к центру города. И тут заметил: от афишной тумбы оторвалась черная фигура, двинулась за ним; руки в карманах борчатки, шапка бадейкой.
Обернувшись, Горький со всей силой стукнул палкой в тротуар. Человек метнулся в сторону переулка, исчез в снежной пелене.
А может, укрылся за другой тумбой?.. Двенадцатый год ходят по пятам, гоняют то в Тифлис, то назад в Нижний, садят за решетку!.. Черт бы всех побрал! Мешают работать. Вьются, как злые оводы вокруг коня, норовят укусить побольнее, запустить червяка под кожу... Дьяволы.
Улица пуста, дома темны. С двухэтажными кирпичными хоромами соседствуют деревянные избы. Разношерстна и неприглядна волжская столица! Кто как хотел, так и строился - по своему карману и разумению. Не до ансамблей тут! А вот поди ж ты - милый сердцу городок! Если бы не эти треклятые...
Подняв воротник и сутулясь больше прежнего, Горький пошел к площади. В нее вливаются девять улиц - почти как в Париже! Где-то читал: там площадь называется Этуаль - Звезда, значит. А у нас - Ново-Базарная! По-купечески, по-азиатски! Доброго названия и то не могли придумать хваленые отцы города. Мозги у них заржавели.
Ветер завывал в голых ветвях одинокого тополя, заплетал ноги обвисшими полами пальто. Нечего сказать, выбрал погодку для прогулки! Если б не спала Катя, не выпустила бы за порог... А что делать? Сидеть за столом - невмоготу. Вот и сейчас окаменел, налился тяжестью кулак.
Взвихрив снег, ветер налетел сбоку, столкнул с тротуара...
А каково сейчас в море?.. Возле Севастополя... Возле Ялты?..
Высокие волны черней одна другой; катятся с ревом и плеском, в тусклом луче маяка на молу взлетают пенистые гребни. И где-то далеко в пучине ночи вздымается девятый вал. Ночью он страшней, чем у Айвазовского, - все разломает, все сокрушит на своем пути.
Когда жил в Крыму, каждый день любовался морем. Иногда оно было ласковым, тихим и даже робким, то бирюзовым, то синим, как ясная августовская ночь, то - под луной - покрывалось серебристой чешуей, то пламенело, раскаленное закатными лучами огромного малинового солнца. Сколько ни смотри - не налюбуешься.
Бывало и так: поутру море отдыхало, не подозревая о близких переменах. Но вот откуда-то из неведомого далека появлялся альбатрос, беспокойно взмывал над бескрайним простором. Широко раскинутые узкие крылья, резкие на сгибах, напоминали черные молнии, и вскоре валом налетал ветер, вздымал белогривые волны, все выше и грознее. А альбатрос... Он летел в море, предвещая шторм людям на кораблях и шхунах. Вестник бури!..
В такие дни волны свирепо били в берега, рождали восторг своей титанической силой. Буря всегда будоражила сердца, добавляла энергии, побуждала к деятельности, к натиску на темные силы, тучей нависшие над страной.
За долгую нервную зиму устал до чертиков. Писал повесть, устраивал в манеже елку для пятисот детей, бледных и худосочных, как ростки картофеля в подвалах. Одетые в тятькины да мамкины обноски, они были до радостных слез ошеломлены и елкой, увешанной яркими игрушками, и мешочками гостинцев, и неожиданными подарками - сапогами, рубахами, кофтами, шапками да платками. Ситца для ребятишек удалось раздобыть бесплатно у Саввы Морозова, крупного фабриканта.

Потом занялся устройством Общества любителей художеств и Общества дешевых квартир для рабочих. А у самого холодище: пять печей - не напасешься дров! Простудился до боли в груди, во всю мочь кашлял ночи напролет. И, вдобавок ко всему, сегодня вдребезги разругался с Катей. Из-за каких-то пустяков. Чехову, помнится, написал: "Это хорошо - быть женатым, если жена не деревянная и не радикалка". Стыдно вспомнить...
В прошлом году Крым встретил теплом, солнышком. За Байдарскими воротами распахнулся изумительный простор, лазоревое море стелилось до горизонта, манило вдаль. Плыть бы по нему под парусами далеко далеко, написать что-то свежее, жгушее душу: о буре и Человеке с большой буквы. Настало время рождения в литературе героического. И самому ужасно захотелось жить как-то иначе, ярче, скорее. Нет, лучше сказать устремленнее, полезнее. А как? И сам еще не знал.
В апреле в Крым прибыл на гастроли Художественный театр, чтобы показать больному Чехову его "Чайку". Гора пришла к Магомету! В те дни драматургу чуточку полегчало, и он отправился на спектакли в Севастополь. Пригласил в компанию. В первый вечер "художники" играли "Эдду Габлер" Ибсена с Марией Андреевой в заглавной роли. После третьего акта премилый Антон Павлович повел знакомить с нею. Поцеловал актрисе руку, сказал с ласковой улыбкой: "Вот - Горький. Хочет наговорить вам кучу комплиментов". А сам исчез. Остались вдвоем. Помнится, тряс ей руку. От всей души. Она, смеясь, краснела, ойкнула от боли. Когда, оробев, выпустил ее руку, потрясла пальцами. Кажется, с губ ее готовы были сорваться слова: "Какая у вас ручища!.." Но она сдержалась, пригласила сесть. Ее не удивило, не шокировало, как других, что он пришел в театр в сапогах. Сказала просто, без иронии: "Да снимите вы свою шляпищу - здесь тепло". Было не только тепло - жарко. И черт знает, как он йог забыть про шляпу. Еще больше оробел. Первую минуту не знал, о чем и говорить. А она добродушно улыбалась, прощая ему неловкость. Спросила: "Вы очень любите море?" Пробудила у него улыбку. И продолжала: "Я тоже люблю. И когда оно штормит, и когда смеется, как в вашей "Мальве"..." А Чехов-то обещал, что он, Горький, наговорит актрисе... Да, он восхищен ее игрой. Но с языка срывались все какие-то угловатые слова...
Он привык при первом взгляде отмечать для себя, какие у человека глаза, какой нос, брови, подбородок... О ней в тот вечер мог бы сказать только: "Какая красивая!" Так и в газетах пишут: "Красавица Андреева..." Когда расставались, опять тряс ее руку, а она смотрела ему в глаза и просила: "Напишите нам пьесу. Правда, напишите. У вас получится". Это он уже слышал и от самого Станиславского, и от Немировича при первом знакомстве, и здесь от Книппер, невесты Чехова... Сговорились они, что ли?..
Тут же узнал, что в жизни Мария Федоровна не Андреева, а Желябужская. Потом, наезжая в Москву, стал запросто бывать у Желябужских в их роскошной девятикомнатной квартире, читал там свои новые рассказы, делился с Марией Федоровной замыслами. Она помогла ему раздобыть книги для сормовских рабочих. И какие книги! Даже "Коммунистический манифест", изданный в Женеве. Сама она, чудесная Человечинка, получала их от каких-то студентов. Вот так актерка! Огненной души женщина!..
После масленицы он по пути в Петербург непременно остановится в Москве, побывает у знакомых на вагоностроительном заводе в Мытищах. Какие-нибудь черточки пригодятся для пьесы, для машиниста Нила. Но первым делом - в Художественный. Правда, спектакли в начале великого поста не разрешают, но, может, на репетиции... А если не там... Опять - прямо на квартиру. К ней! К такой открытой с ним и все еще такой таинственной. У нее, несомненно, уже есть второй номер "Искры", и он с порога гостиной спросит Человечинку: "Что делать? Чем помочь студентам? Как? "Искра" не могла промолчать. Боевая подпольная газета, несомненно, уже сказала свое слово об ужасном варварстве".
...В раздумье Горький дошел до площади. Там на углу стоял лихач, появлявшийся на этом месте каждую ночь. Вороной рысак с белой лысиной от челки до ноздрей. У ряженого извозчика высокая шапка с бобровой опушкой, бородища в половину груди. Садиться в санки бесполезно - зыкнет нелюдимо: "Занятой". И смерит прилипчивым взглядом с головы до ног. Он тут наготове! А где-то по улицам рыскают юркие филеры. Может, к кому-то уже вломились жандармы с обыском. Проклятые порядки!.. Дьявольски бесправная жизнь! И к нему могут снова заявиться. Разбудят маленького Максимку. Напугают Катю, а ей теперь нельзя волноваться: скоро подарит... Быть может, крошечную Катюшку.

Горький резко повернулся и, прикрывая воротником щеку, пошел назад к дому, шагал широко, сердито отдуваясь в пушистые усы.
Окно в его комнате по-прежнему светится тускло, - Катя не добавила фитиля в горелке. Спит спокойно. Никто ему не помешает дописать письмо. Злость в сердце не только не улеглась - закипела с новой силой.
Скинул пальто, отряхнул снег с шапки и, ступая на носки, прошел к столу; опустил ноги на белую медвежью шкуру, прибавил огня в лампе, подергал себя за мокрые усы, подул на пальцы и взялся за перо:
"Настроение у меня - как у злого пса, избитого, посаженного на цепь. Если Вас, сударь, интересуют не одни Ассаргадоновы надписи да Клеопатры и прочие старые вещи, если Вы любите человека - Вы меня, надо думать, поймете".
Покашляв в широкую ладонь, продолжал:
"Я, видите ли, чувствую, что отдавать студентов в солдаты - мерзость, наглое преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов. У меня кипит сердце, и я бы был рад плюнуть им в нахальные рожи человеконенавистников... Это возмутительно и противно до невыразимой злобы на все - на "цветы" "Скорпионов" и даже на Бунина, которого люблю, но не понимаю - как талант свой, красивый, как матовое серебро, он не отточит в нож и не ткнет им куда надо?"
Запечатав в конверт, быстро разделся, дунул в лампу, отчего на минуту резко запахло гарью, и в темноте лег в постель.
Но заснуть не мог.
Скорей бы в Москву... Да застать бы дома Человечинку... И, может быть, вместе в Петербург... У них же, слышно, будут гастроли там...
Перед отъездом жена, чего доброго, опять начнет свое. "Зря ты, Алеша, отдалился от "Русского богатства", от Михайловского. Они к тебе все так хорошо относятся..." Прошлый раз грубовато перебил ее: "Не надо, Катя, об этом". Она, однако, продолжала:
- Даже в юбилейный сборник отказался написать о Николае Константиновиче. Они обиделись.
- Я не мог кривить душой... Говоришь, хорошо относятся "богатеи". А сколько они шишек мне наставили. И на лоб, и на затылок. Даже не изволили дождаться конца новой повести*, принялись дудеть в народническую дуду: "затронутый марксизмом", "сбитый с толку", "трудно разобраться в его "философии". В кавычках, конечно. А я в их разборе не нуждаюсь. И своей философии не выдумывал. Мне советуют...

---

* "Трое".

- Твои-то новые советчики, Алеша, и сбивают тебя с толку.
- Не повторяй, Катя, неправды. Я теперь знаю, куда надобно идти, куда поворачивать.
- Ты не будешь оспаривать - в "Русском богатстве" все лучшие писатели Руси.
- Святой Руси! И ни одного украинца, татарина, киргиза...
- У киргизов нет литературы.
- Есть фольклор. Эпос. Говорят, богатый. И настоящее богатство, Катя, общероссийское, общепролетарское. Так-то вот.
"Русские богатеи" нашли сторонницу! А ему, мастеровому, душно в их хоромах...
Протянул руку за папиросами и спичками, лежавшими на стуле. Закурил.
А ветер все кидал и кидал на оконное стекло снежную крупу.

2

Мария Федоровна укладывала чемоданы, - Художественный театр отправлялся на первые гастроли в Петербург. И все актеры волновались. Как отнесутся высшие чиновничьи круги и что скажут театральные снобы - дело десятое: не для них они создали театр - для народа. Потому и добавили к названию - Общедоступный. А как примут их зрители на невских берегах? Что напишет либеральная пресса? И Мария Федоровна волновалась не меньше других: не забыть бы что-нибудь необходимое.
Волновало и то, что она надолго покинет дом. Дети остаются без материнского присмотра. Хотя и не маленькие уже. Юре - двенадцать, Кате седьмой годок. А все же тревожно за них. К счастью, сегодня приехала сестра, обещала писать каждый день; ненароком добавила горчинки: "Отец-то, как бы там ни было, в доме". Отец!.. К сожалению, отец... Лучше бы сестра не

напоминала о нем... Воспоминания о былом, если их не отогнать вовремя, обожгут сердце, как крапива руки...
...Машенька Юрковская, старшая дочь актрисы Александринки и главного режиссера того же театра, с детских лет мечтала о сцене. Едва дождавшись окончания гимназии, поступила в драматическую школу. Была согрета светом рампы Казанского театра и обласкана вниманием зрителей. Но на двадцатом году жизни, к несчастью, выпорхнула замуж за бородатого чиновника, который через два года уже "разменял" пятый десяток. Они уехали в очаровательный Тифлис. Но, кроме города, южного солнца да гор, теперь и вспомнить нечего. Единственным утешением было увлечение мужа тем же театром: иногда они оба выступали на любительской сцене. Только иногда. А ей хотелось каждый день дышать воздухом театра, жить его волнениями, мечтами о все новых и новых ролях. Там их зрители знали под фамилией Андреевых. Теперь она, слава богу, одна Андреева. В Москве ей многие завидуют. К ее горести, завидуют не столько актрисе, сколько жене тайного советника. Как же - генеральша! Вхожа во дворец генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича! Сама великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра царицы, пишет ее портрет. Тоже нашлась художница! Но ведь не откажешься позировать. И для дела полезно - никто не подозревает в "неблагонадежности". Противнее всего, когда в высшем свете называют ее "мадам Желябужская". Провалились бы они все в тартарары!
Сегодня утром, когда пила кофе у себя в комнате, муж вошел, разглаживая бороду на обе стороны:
- Я решил...
- Не утруждайте себя, - прервала его.
- Вы же еще не знаете, что я хочу сказать.
- Знаю. Вам лестно поехать в одном поезде с труппой Художественного театра!
- С вами... Вас проводить...
- Оставьте меня. Мне надо уложить все в дорогу. Собраться с мыслями. Умоляю: оставьте. И никогда не оказывайте мне без присутствия посторонних никаких знаков внимания.
- Но я же... Я искренне...
- Вы, Андрей Алексеевич... - Встала, выпрямилась перед ним. - Вы очень порядочный человек. Во всем. Кроме ваших отношений с другими женщинами. И вы былого не вернете. Я вам сказала пять лет назад: буду жить под одной крышей только ради детей. Скрепя сердце буду играть роль хозяйки дома. Зачем вы понуждаете меня всякий раз повторять это? Кажется, я пока что исправно играю свою роль...
- Пока что... Пока... - У Желябужского покривился рот. - Вы, что же, кого-нибудь присмотрели... Успели?.. Но на роль Анны Карениной вы не годитесь.
- Я, к вашему сведению, никого не присматриваю. Но вы от меня уже слышали... Могу еще повторить: "Если полюблю кого-нибудь - вам первому скажу об этом". Вам этого недостаточно?
- Сверх всяких мер! Осчастливлен откровенностью! - Желябужский манерно поклонился. - Но, так или иначе, я еду в Петербург. Приказ о прицепке моего служебного вагона отдан. И будет весьма неудобно, если вы...
- "Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!"
- Хотя бы и так. Я дорожу мнением общества. И я решил пригласить в свой вагон Станиславского и Немировича. Вас это устраивает?
- Да. При наличии отдельного купе.
После затянувшегося объяснения у Марии Федоровны все валилось из рук. Клала в чемодан то, что совсем не нужно, и забывала самое необходимое. Приходилось выбрасывать и начинать все сначала.
А ведь ее могли оторвать. С минуты на минуту. В последний день непременно придут званые и незваные. И Мария Федоровна настороженно прислушивалась - не донесется ли из передней звонок. Желанных посетителей из числа тех, кому позволено входить без доклада, она узнала бы по звонку.
Но в доме было тихо. Юра - в гимназии, Катюшу занимает гувернантка. Старый лакей Захар, похоже, дремлет в кресле.

Наконец послышались звонки. Три коротких. Это - Дядя Миша, студент из ставропольских казаков, участник одного тайного кружка, куда ей доводилось хаживать с ним. Его все в доме знают как репетитора, нанятого для Юры.
Вон уже слышны широкие, твердые и уверенные шаги. Его? Есть еще один человек с такой же походкой, но... Взглянула на часы: нижегородский поезд еще не пришел. Это - Дядя Миша. Ну и хорошо. Он, конечно, с новостями. Перед отъездом важно знать, что происходит в мире подлинных друзей, имена которых пока что остаются для нее неведомыми. Быстрым движением руки проверила, на все ли пуговицы застегнут халат, накинула на плечи пуховый платок и встретила студента в гостиной. Он, сутуловатый, курчавый, вошел не раздеваясь. Явно мимоходом. Хотела распорядиться, чтобы подали кофе, отказался:
- Я завтракал.
- Студенту и второй завтрак никогда не лишний. - Понизила голос до полушепота: - Принесли?
Дядя Миша пожал плечами:
- Юре - книгу.
- А мне? - Взяла книгу, перелистала, заглянула под корешок. - Пусто. Ни листочка нет? А я жду второй номер "Искры".
- Был у Грача*. Говорит, о втором номере пока ничего не слышно.

---

* Николай Эрнестович Бауман, один из первых агентов "Искры".

- А что в университете?
- Бурлит, как проснувшийся вулкан. Вот-вот лава выльется на улицу.
- Если понадобится помощь, как-нибудь сообщите.
Задребезжал звонок, долгий, незнакомый.
Мария Федоровна вернула книгу, сказала громко:
- Отнесите к Юре в комнату. - Многозначительно прищурила глаза: Переждите или... На всякий случай до свиданья.
Дядя Миша знал: можно проскользнуть в пустой домашний кабинет Андрея Алексеевича, оттуда есть выход в его служебную половину дома. Там парадная дверь на другую улицу.
Едва он успел скрыться, как Захар внес на серебряном блюдечке визитную карточку и поспешил добавить:
- Их превосходительство!.. Дмитрий Федорович!.. Не прикажете ли позвать Андрея Алексеевича?
- Не надо беспокоить тайного советника, - донесся знакомый голос обер-полицмейстера Трепова, и между бархатных портьер блеснули генеральские эполеты. - Я только засвидетельствовать мое почтение.
- Ах, извините, Дмитрий Федорович! - Андреева поплотнее запахнула платок, наброшенный на плечи. - Я по-домашнему... Сейчас оденусь.
- Мне положено извиняться за такой ранний визит Не мог проехать мимо. Счел своим долгом.
Когда Мария Федоровна снова вышла в гостиную, Тренов щелкнул каблуками, поцеловал протянутую руку:
- Очень рад, что застал вас, прелестная, дома. У вас перед отъездом хлопоты и хлопоты. Я, как вы знаете, большой поклонник вашего дарования, искренне желаю вам в стольном граде самого блестящего успеха. Верю в него. Не преминул бы приехать и насладиться чародейством вашего артистического таланта...
- Что вы, что вы, Дмитрий Федорович!.. Даже заставили покраснеть.
- Вы заслужили, прелестнейшая! Любимица публики! И я, как говорится, рад бы в рай... Но все дела, дела... - Трепов снова щелкнул каблуками и на прощание еще раз поцеловал руку. - Счастливых дней.
Оставшись одна, Мария Федоровна опустилась в кресло, шумно выдохнула:
- Подкинул черт гостя!.. Хорошо, хоть ненадолго.
Спохватилась, вспомнила о Дяде Мише: удалось ли ему ускользнуть никем не замеченным? Хотела было пройти в комнату сына, но в передней снова всполошился звонок, и Захар встретил гостя поклонами:
- Пожалуйте, почтеннейший. Сию минуту доложу.
- Не беспокойтесь. Я моложе вас, - остановил старика мягкий, как шелест бархата, голос, и шевельнулась портьера в дверях. - Мария Федоровна, можно к вам? Не помешаю?

- Савва Тимофеевич! Всегда вам рада! Входите, входите!
- У вас, как в двунадесятый праздник, визитер за визитером. А ведь еще только сочельник. Вам - хлопоты, заботы, тревоги. И я тревожусь за вас. Поверьте, ночь не спал.
Морозов отказался сесть. Невысокий, одутловатый, скуластый, как татарин, он взволнованно ходил по гостиной. Мелкие, как бы вкрадчивые, шаги его глохли в мягком ковре.
- Вы удивлены. А как же мне, голубушка, не волноваться? У меня, я вам скажу, нет ни родных, ни близких. Говорите, жена?! - У Морозова под редкими подстриженными усами посинели губы. - Она ждет не дождется, когда станет вдовой. От вас-то мне таиться нечего - свои люди, и театр - мой дом. В Петербурге для вас - крещенье. А купель-то в Неве ой морозна! Боюсь за вас. Простудиться недолго.
- Мы, Савва Тимофеевич, закаленные, - улыбнулась Мария Федоровна. Вся труппа.
- Хорошо, что не робеете. Но знать вам, голубушка, надо: газетные волки могут наброситься. Необычно для них: театр-то - Художественный, да еще Общедоступный! Знамя для студентов! И мастеровые могут заглянуть на галерку. Будут у вас и завистники, подыщут продажные перья.
- Ничего... Мы с вами еще отпразднуем полувековой юбилей театра!
- Полувековой?! - Морозов остановился, почесал пальцем в жесткой бородке. - Вы отпразднуете, бог даст. А мне... до пятилетнего бы дотянуть.
- Савва Тимофеевич, что с вами? - Мария Федоровна метнулась к гостю, тронула его пальцы. - Здоровы ли вы?.. Рука как ледяная!.. Может, за доктором послать?.. Или - кофе, чаю...
- Спасибо, голубушка! Спасибо, Мария Федоровна! Но мне не до чаю. Узенькие, заплывшие глаза Морозова стали влажными, голос прерывался. - К вам я сегодня не с пустыми руками.
Из внутреннего кармана пиджака фабрикант достал плотный конверт страхового общества и, склонив голову, подал актрисе:
- В счастливый час!..
- Что это?! Савва Тимофеевич, добрый человек! Зачем же вы?!
- На память о грешном капиталисте.
Она думала: в конверте - страховой полис на ее имя. Заботливый театрал застраховал, быть может, ее голос.
Достала хрустящую бумагу и, вздрогнув, глухо ахнула: Морозов застраховал свою жизнь! На сто тысяч! И полис на предъявителя. Руки приопустились.
- Нет, нет... Я не возьму.
- Дареное не возвращают. - Морозов прижал короткие пальцы к карманам, чтобы Мария Федоровна не смогла засунуть конверта. - Только вам одной. Больше - некому.
Она опустилась в кресло, положила полис на ломберный столик, тронула виски:
- Я даже... даже Андрею Алексеевичу ничем не обязана. Сама зарабатываю.
- Ценю вашу гордость не меньше, чем ваш талант. - Морозов расстегнул пиджак, из жилетного кармашка достал простенькие никелированные часы, постучал ими о руку, приложил к уху - не остановились ли опять? - и, успокаиваясь, сел в соседнее кресло. - Вот смотрю на вас: нелепая бессребреница! Готова все отдать другим. И это ценю душевно. Но, поверьте мне, может настать "черный день"... И великие люди на этой грешной земле умирали нищими под забором. Вот и вас когда-нибудь... Тьфу, тьфу, не к слову будь сказано... обдерут, как липку. И чужие, и свои. В особенности "свои". По себе сужу, - вокруг меня шакалы. Каждый родственничек готов вцепиться зубами в горло. Только боятся меня. - Правую руку, пухлую, похожую на женскую, сжал в кулак. - Кто станет поперек моей дороги перееду колесами, не остановлюсь, раздавлю, как мокриц. Вы можете подумать: берегу богатство, хапаю. Не скрою от вас - личный мой годовой доход больше ста тысяч! А куда их? Человек является в мир голым и с собой в могилу ничего не может унести. Хорошо было древним: знали драгоценности, золотую посуду положат с покойником. Все же утешение! На том свете попирует, богатством блеснет. А мы, нынешние?.. Эх, да что говорить. - Махнул рукой. - Может, уже скоро... Как это у марксистов сказано? "Экспроприаторов экспроприируют". Так?
Мария Федоровна молча шевельнула головой.
- Возможно, еще при моей жизни. - Глаза Морозова беспокойно забегали. - Вон во всех университетских городах бунтуют студенты. Фабрики как пороховые бочки. А нет умного человека у руля государства. Слушаю ваших друзей... И все-таки будущее для меня - туман. Я уже собирался было, как Ермак, завоевывать Сибирь. Через своих людей разведывал места.

Прикидывал: в Ново-Николаевске можно бы поставить большую фабрику. Хлопок далеко возить? Я бы - на льне. Там земля родит отменный лен. Я бы развернулся, подмял бы под себя мелкоту. И людям дал бы работу, пока... Пока фабрику не экспроприируют. Вон Горький называет меня "социальным парадоксом"...
- Горький... А он... А его нет в Москве? Не приехал?.. Кажется, собирался...
- Не видно, не слышно... Он бы к вам наведался.
- Обещал пьесу.
- Обещал, так напишет. Я в Горького верю. И меня наш театр удерживает в Москве. За границу уеду - тоскую. Не хватает воздуха. Дышу, как рыба на берегу. И в Сибирь не могу из-за нашего Художественного. Он ведь и мне родное детище. Чем могу - помогаю. Люблю вас всех. И за то ценю, что обходитесь без "высочайшего покровительства", высоко держите голову. А мои родственники готовы объявить меня сумасшедшим: "Савва транжирит капиталы!" Заболею - опеку мне на шею повесят, как двухпудовую гирю... - Подвинул полис поближе. - Берите. Поймите меня, ради бога.
- Хорошо. - Мария Федоровна выпрямилась в кресле. - Если мне доведется использовать...
- Доведется... У меня, - Морозов прижал руку к груди, - милая Мария Федоровна... весь род недужный. И мне не миновать. - Пощупал макушку, покрутил рукой перед глазами. - Чувствую...
У Марии Федоровны подступил комок к горлу.
- Только я не себе... Боже упаси... Отдам до копеечки... Вы знаете, кому и на какое дело. На наше святое, народное!
Морозов низко опустил голову, прошептал:
- Я этого уже не увижу. - Резко поднявшись, метнул лихорадочный взгляд в ее глаза. - Прошу лишь об одном: не забудьте моих стипендиатов, одержимых искусством, Вдова им не даст ни гроша. Оделите их. Всех до единого. Пусть доучиваются.
Поклонившись, вышел из гостиной такими же бесшумными шагами.
Мария Федоровна не могла произнести ни слова. Постояла, прижав к груди конверт с полисом, и медленно пошла к себе.
Села на мягкий пуф, обтянутый бархатом; провела пальцами по глазам.
Перед ней на туалетном столике стояла фотография. Горький! В черной суконной косоворотке. Обнял угол спинки стула. Длинные волосы откинуты со лба. Усы прикрывают уголки рта. Смотрит на нее.
- Не приехал, - укорила шепотом. - А мне так нужен твой совет. Твой! Извинишь, что я с тобой на "ты"? Не могу иначе. Скажи, правильно ли я поступила?.. Ты бы тоже не отказался взять? Для партийного дела?
Поднесла карточку поближе к глазам.
- Не молчи, Алексей Максимович! Скажи на дорогу: "Ни пуха ни пера!" Скажи. Сил прибавится. И уверенности...
Быть может, сотый раз прочитала надпись, сделанную в Ялте: "Хорошему человеку, Марии Федоровне Андреевой. М. Горький".
Поезд мчался сквозь ночь. Служебный вагон, прицепленный в конце состава, кидало на стрелках из стороны в сторону.
После обильного ужина с двумя бутылками бургундского, припасенными Желябужским, все разошлись по купе и быстро заснули. Только Марии Федоровне не спалось.
В коридоре затихли шаги проводника, убиравшего посуду, и она вышла в салон; походила, кутая руки в концы пухового платка. Думы, разворошенные минувшим днем, не покидали ее. Вздохнув, села к пустому столу. Облокотилась, подперла щеки руками. И вдруг как бы увидела перед собой карточку, уложенную в чемодан: "Хорошему человеку..." Мысленно спросила: "А ты, милый человек, помнишь Севастополь? Нашу первую встречу? У меня все врезалось в память до самой мелкой черточки. Тот день и вечер прошел в каком-то горячем трепете. Не оттого, что первое представление в Крыму, что у меня трудная роль Эдды Габлер. Нет. Мне с утра сказали: "Будут Чехов и Горький". Антон Павлович - наш общий кумир, а ты... Ты меня покорил первым рассказом, попавшимся на глаза в журнале. Прочла и подумала: "Какое мощное дарование! Наверно, это - красивый человек с большими проникновенными глазами". Я подымала тебя на пьедестал рядом с Львом Толстым. Было отчего трепетать сердцу! И вот вы вдвоем вошли ко мне. Ты даже не снял широченной шляпы, и я в душе упрекнула: "Какой

невежливый!" Ты был в сапогах, в белой чесучовой косоворотке, перетянутой кавказским ремешком. Высокий. Худой. Грудь впалая. Сутулился, как грузчик. Рыжеватые усы. И черты лица грубые. Долго тряс мою руку и жал изо всей силы. Помнишь? Так долго, что Чехов успел уйти. А ты все басил по-волжски: "Черт знает! Черт знает, как вы великолепно играете! Ей-богу, честное слово!" Этот басок запал в сердце. А у тебя полыхнули голубые глаза, обожгли мои щеки. На губах у тебя заиграла какая-то детская улыбка. Ты, наверно, не подозреваешь, какая она у тебя обаятельная. Ты долго говорил мне о Чехове, нежно и почтительно. Не спросив разрешения, закурил, пуская дым в кулак. А в мою уборную все заглядывали и заглядывали актрисы. На тебя! Заставили меня смутиться... А потом в Ялте ты пришел с Шаляпиным. Помнишь? Вы просили достать денег для духоборов, которые от царского гнета уезжали в Америку. У кого достать? Ну, прежде всего у Саввы Тимофеевича. А теперь вот он отдал мне полис на предъявителя. Правильно ли я сделала, что взяла? Мне хочется скорее-скорее слышать твое слово, круглое, теплое, волжское: "Хо-ро-шо!.. Хорошо, Маруся!.." Хочется, чтобы так назвал... В Петербурге, после спектакля..."
Утром, когда пили чай в салоне, вошла Ольга Книппер.
- А вы читали? - Потрясла газетой. - "Новое время" уже напустилось на нас. Не знаете? - Обмахнулась, как веером. - Я вам прочту.
- От суворинской "Чего изволите?" мы и не ждали доброго слова, сказал Немирович-Данченко, стараясь казаться спокойным. - А то, что они спешат науськать других, - это уж сверхподло.
Ольга Леонардовна волновалась едва ли не больше других - Чехов в письме к ней пророчил: "В Петербурге Вы не будете иметь никакого успеха". Неужели это сбудется?
Начала читать. Автор статьи порицал театр за стремление воплотить на сцене правду жизни.
- А что же еще воплощать, кроме правды? - спросил Станиславский. - И публика скажет свое слово. Молодежь - за нас. Студенты, курсистки примут нашу правду.
3
Уехал Художественный театр, и Москва для Горького опустела. Он помчался в Петербург. Остановился у Поссе, редактора журнала "Жизнь"*.

---

* Ежемесячник "легальных марксистов".

Владимир Александрович сразу же спросил:
- Рукопись привез? Не вздумай отдавать "русским богатеям". Все - мое.
- Мало тебе, что я дал продолжение повести "Трое"?
- Мало. У меня в апрельской книжке заверстан рассказ Бунина. А вчера он прислал второй. Почему Горький не может дать еще что-то?
- Может. Если немного подождешь.
- Рассказ или пьесу?
- Да как тебе сказать...
- Сколько страниц? Ну, говори же. Я рекламу дам.
- Никакой рекламы. Право! Пьеса у меня остановилась. Понимаешь ли, какая штука, толкутся вокруг меня разные люди. Есть хорошие. Машинист один, Нилом звать. Говорят какие-то слова. Самому нравятся. Ей-богу, хорошо говорят. А по местам усадить их не могу... А кроме этого что же? Будет у меня совсем из другой оперы... Две странички. Может, три.
- Стихи? Все равно беру.
- Стихи не стихи - сам не пойму. В голове уже все сложилось остается сесть и написать.
- Так ты садись. Сегодня же.
- Пожалуй, не получится здесь. Из дома пришлю.
- А "Русское богатство" уже прознало о твоем приезде. Вот держи писульку. Зазывают тебя, Алексеюшко, на ужин к самому Михайловскому. Пойдешь?
Вспомнив упреки жены, Горький пожал плечами:
- Не знаю, что и делать...
Обеспокоенно спросил о "художниках". Как их встретили? Первая неделя поста кончилась - зрелища теперь разрешены. Начнут ли они гастроли в понедельник? Хотя и тяжелый день, как говорится...
- А начнут легко, с подъемом. - Поссе прищелкнул пальцами, будто в ожидании своего собственного успеха. - Представь себе, ночи напролет студенты да курсистки стояли в очереди у кассы. Раскупили все на две недели! Рвут с руками! В Петербурге я не видал такого! И не

случайно сие. Посмотри на Невском - студенты ходят толпами, пробуют петь песни, со дня на день ждут большущей демонстрации. Я чувствую, весна приближается, Алексеюшко! Скоро тронется лед на Неве!
Горький подергал ус, мотнул головой, отбрасывая длинные пряди волос, свалившиеся на лоб.
- Наши волгари опередят. Вот увидишь. Не люблю Петербурга.
- Напрасно. Я тебе напомню: здесь работали...
- Знаю - Белинский, Чернышевский, Некрасов, Добролюбов, Салтыков-Щедрин... А ныне - кто? Улицы у вас тут прямые, да люди кривые. За то и не люблю. Много худого народишка. И шпик на шпике, черт бы их всех побрал! Победоносцев - позорище Руси!
- Но есть же иные круги...
- Не спорю - есть. И в питерских мастеровых я верю. В дни стачек показали свою стойкость. И еще покажут, когда грянет гром. Они, а не кто-нибудь другой.
Поссе пожал плечами:
- В тебе, Алексеюшко, заговорил ортодокс.
...Горький не нашел повода отказаться от приглашения на ужин к Михайловскому - в глубине души был по-прежнему благодарен ему за публикацию "Челкаша". Ведь с тех пор открылся для него путь в толстые журналы.
Николай Константинович, небольшой, до нервности живой, в пенсне на черном шнурке, встречал гостей в передней поклонами. Горькому сказал:
- Очень рад, что вспомнили старика. - Придержал руку. - И надеюсь снова видеть вас в журнале.
В гостиной первым навстречу Горькому, узнавая его по волосам и косоворотке, поднялся Петр Филиппович Якубович. Крупное лицо его было бледным - печать, навсегда наложенная тюремными застенками, - глаза с упрямой и беспокойной искоркой, в бороде - ранняя седина. Как революционер восьмидесятых годов, последний из могикан "Народной воли", в свое время приговоренный к смертной казни, замененной восемнадцатью годами каторги, он у многих, даже у новоявленных народников, что опозорили старое знамя, пробуждал к себе всяческое уважение. И Алексей Максимович, не разделяя его политических воззрений, числил Петра Филипповича среди красиво выкованных борьбою душ - Достоевского и Короленко; хотя и получил от него сердитые письма, обрадовался встрече. Якубович ответил взаимностью.
- Вот вы какой! - Крепко пожал руку. - Высокий да сильный!
- А вы думали - хилый? - Горький тоже сжал широкую костистую руку изо всей силы. - Волга-то не зря зовется нашей матушкой!
- Небось двухпудовой гирей крестились? Раз по десять?!
- Нет. По десять раз у нас крестился этакой-то гирей только один Сенька-крючник. Я больше двух раз не мог. А у вас крепкая хватка.
- На силу не обижаюсь - на каторге молотобойцем был. Может, потому и выжил. А гирей креститься - не по моей силе.
- Петр Филиппович, поимейте совесть. - Подошел Пешехонов, народнический публицист. - Позвольте и нам познать силу Алексея Максимовича.
Якубович выпустил руку, но не отходил от Горького ни на шаг, и тот по острым искоркам в глазах догадывался - начнет в разговоре, как в недавних письмах, упрекать: "Напрасно ушли из "Русского богатства". Дескать, "святое место" променяли на "поганый" журнал, именуемый "Жизнью". К счастью, начался общий разговор о "Мертвом доме" Достоевского и "В мире отверженных" Якубовича. "Русские богатеи" хвалили своего собрата. Горький заметил:
- Вот история-то какая: полвека прошло, а у Достоевского-то грамотных да здоровых людей на каторге больше.
- На мою долю выпали отверженные деревней после реформы шестьдесят первого года да испорченные городом ваши, - сверкнул глазами Якубович, ваши "герои".
- У меня герои не все одинаковые, - возразил Горький. - Да и города на Руси разные. У нас вот, к слову сказать, Сормово...
- Что ваше Сормово?! Кого оно дало революции? Не назовете. Некого. Революцию делают рыцари духа, а не ваши босяки.
- Сормовцы не босяки. И я босяков революционерами не считаю.
- Нет, вы считаете. Я берусь это доказать, - кричал Якубович. Считаете, и это развращает молодежь. Вы - анархист, вот что!
- Таковым меня, сударь, еще никто не именовал. Не удостаивался подобной чести.

"Богатеи" знали Якубовича как "великого спорщика", а на этот раз даже они удивились его горячности, пытались развести их в разные углы гостиной, но в это время всех пригласили к столу.
И там Якубович снова оказался возле Горького:
- Батюшка Алексей Максимович, вы уж не сердитесь за мою прямоту. Я говорю остро потому, что ценю ваш талант. А сейчас хочу выпить с вами доброго вина.
И после первой рюмки за здоровье хозяина, обметая бородой плечо соседа, спросил не без вызова:
- Вы читаете новоявленную "Искру"?
- Конечно, читаю.
- Это и видно. А я рву ее, рву, рву.
- Вы так повторяете свой сердитый глагол, словно получили и второй номер.
- Да. Не далее как вчера. Разорвал и бросил в печку.
- Достойно большого сожаления.
- Себя пожалейте.
- А я жду, как праздника.
- Испорченный вы марксизмом человек. И история никогда не простит вам измены народу.
- Народ-то, он разный. Для меня мил тот, что на Выборгской стороне да за Невской заставой. Вот так-то! Вы же веруете...
- А я не скрываю - злобно не приемлю марксизма, ни русского, ни какого другого.
- Марксизм, я вам скажу, един.
Подавляя в глазах усталость, Михайловский что-то рассказывал, пересыпая речь остроумными шутками, но для Горького все заглушал Якубович своей запальчивой ворчливостью. Заметив это, один из гостей, близкий к хозяину, хотел было сесть между ними - Петр Филиппович отстранил его:
- Мы друг другу - от чистого сердца. И за откровенность мы выпьем. Не возражаете, батюшка Алексей Максимович? - Потянулся рукой к бутылкам. Что мы выпьем?
- Ну, можно вот это красное, - указал Горький на бутылку "удельного ведомства No 18". - Говорят, под мясо хорошо.
- Тогда - по бокалу!
- За ваше революционное прошлое! - Горький поднял бокал.
Якубовича попросили прочитать стихи. Он встал, тронул бороду. Голос его походил на стон:
Болит душа, болит! Как пойманная птица,
Тревожно мечется и рвется на простор.
"Из тюрьмы это, что ли?" - подумал Горький, жадно ловя каждое слово. Душа бывшего каторжанина, оказывается, рвется назад "в сторону полночных вьюг", где осталась его "весны могила". Язык клянет тот каторжный край, а "сердце полюбило".
Закончил поэт минорно:
Я что-то потерял и не могу сыскать.
Пока ему аплодировали, Горький незаметно вышел. По улице шагал широко, про себя журил Якубовича:
"Не то, Петр Филиппович! Не стонать надобно, а кричать. На весь мир! Вот так-то".
Встретив его в передней, Поссе спросил с улыбочкой:
- Как погулял, Алексеюшко? Не залучили они тебя в свои сети? Ну и слава богу. А что-то мрачноватый ты?
- Будто в осиное гнездо наступил ногой. Право! Ты подумай - "Искру", не читая, рвут в клочья. Варвары!.. А я второй номер не могу раздобыть. Ты тоже еще не получил? Жаль.
Они прошли в кабинет, сели на диван, закурили.
- Ты, конечно, знаешь, - заговорил Горький. - Мне-то можешь сказать. Кто у искровцев главный?
- Владимир Ильин. Самый непоколебимый из ортодоксальных марксистов. На редкость острый ум, отличный публицист. Печатался у меня в журнале. Даже трижды. Один раз - рядом с твоим рассказом "Двадцать шесть и одна". Может, помнишь? Это, понятно, псевдоним. Довольно прозрачный. Тебе могу назвать настоящую фамилию - Ульянов Владимир Ильич.
- Брат Александра Ульянова?! Да, да, да. Из Симбирска. Вот штука-то! Наша Волга-матушка каких людей дает!

Суворин спустил газетных волков: в "Новом времени" после каждого спектакля "художников" появлялись ругательные рецензии. Им хором вторили театральные критики всех мелких газет Петербурга.
И чем больше неистовствовала пресса, тем горячее встречала галерка полюбившихся актеров. Каждый вечер под безудержный разлив аплодисментов занавес взмывал десятки раз и на сцену валом катилось через весь партер многоголосое: "Спасибо вам", "Спасибо, дорогие!", "Браво!".
Горький зашел, когда играли пьесу Гауптмана "Одинокие". Хотел посмотреть Андрееву в роли Кете еще раз - не смог. Марии Федоровне, стискивая руку горячими пальцами, объяснил:
- Не сердитесь, голубушка!.. Не могу смотреть. Слезы льются от радости за вас! Ей-богу, правда. Чудесная вы Человечинка!..
- Это вы по знакомству. - Улыбнулась тепло и мило. - Перехваливаете.
- Перехвалить невозможно - слов таких нет. И не я один так-то. Мне рассказывали: Лев Толстой смотрел вас в этой роли. Говорит, не видал такой...
- Хватит вам... Не надо так громко, - почти шепотом попросила Мария Федоровна.
- И актриса, говорит Толстой, и красавица!.. Одним словом, влюбился старик! - не унимался Алексей Максимович.
- К счастью, меня ревновать некому...
В белом платье со шлейфом Мария Федоровна выглядела выше, чем обычно, и еще стройнее. Кисейная пелеринка отбрасывала на лицо мягкий свет. А в глазах все еще держалась задумчивость от пережитого на сцене. Казалось, сейчас у нее снова вырвется протест против семейной рутины: "Может быть, и я хотела бы читать книги".
Горький отошел на два шага, провел ладонью по щеке, смял усы:
- До чего же хорошо все в вашем театре! До чего же милые вы люди!..
- Алексей Максимович, родненький!.. Лучше расскажите о себе. Мы пьесу ждем и ждем.
- Не подвигается пьеса. - Покрутил головой так, что колыхнулись волосы вразлет. - В груди кипит. И нигде не найду ответа на мучительные вопросы. Хотел вас в Москве застать, думал - поможете.
- Ради бога. В любую минуту. Но чем?
Приставив ладони ребром к уголкам рта, Горький спросил об "Искре". Оказалось, что и Мария Федоровна тоже не видела второго номера. А вон "богатеи" уже успели изорвать...
- И еще хотел я попросить... - продолжал, озираясь на дверь. - Нужна одна штуковина. Вот так! - Черкнул пальцем по шее. - Нужнейшая. Для наших социал-демократов... Я обещал привезти...
Он так похлопал ладонью о ладонь, что стало ясно - речь идет о мимеографе.
Мария Федоровна заговорщически моргнула:
- Вернусь домой - "будет вам и белка, будет и свисток".
- Поскорее бы. Ждут наши парни... Попробую здесь поискать...
- Ну, а у вас, самого-то, что, кроме пьесы?.. По глазам вижу: есть новенькое. Как-нибудь прочтите мне, ладно?
- Непременно прочту. Звучат у меня в голове "Весенние мелодии". Птичьи голоса.
- Мне рассказывали о вашей страсти - щеглы, снегири, чечетки... И кто там у вас еще?
- Чижики!
- Ах, да... Конечно, помню... Опять что-нибудь напоет вам мечтатель-чиж?
- Расскажет правду о буревестнике. Знаете, в море перед штормом реет над простором, гордый и смелый. Этакая черная молния!
- Чудесно! Вы и меня ею зажгли...
Мигнул свет - в театре дали второй звонок, и Мария Федоровна, извинившись, протянула Горькому обе руки. Он мягко сжал их в своих ладонях, тряхнул и, поклонившись, вышел.
Поссе, пряча правую руку за спину, встретил его широкой улыбкой:
- Пляши, Алексеюшко!
- Письмо? От Кати?
- От "Феклы".
- Не имею чести знать.
- Зато с доченькой ее знаком, которую я тоже заждался. А сегодня она припожаловала! - И Поссе подал "Искру". - Прислали в пакете.

- Второй номер?! Вот ноне праздник так праздник! Долгожданный! Ей-богу. Даже и сказать невозможно.
Приткнувшись на первый же стул, Горький перекидывал глаза с заголовка на заголовок, в конце номера заметил статью "Отдача в солдаты 183-х студентов", под которой стояла сноска: "Номер был сверстан, когда появилось правит, сообщение".
- А все-таки успели сказать свое слово! Молодцы! - На секунду оторвал глаза от газеты. - Ты уже прочел?
- Как же. Это - передовая, их программная статья! И сейчас Питер, я чувствую, покажет себя в лучшем виде. Ну, не буду тебе мешать. Читай.
Горький прочитал статью одним махом, будто в жаркий день выпил залпом стакан воды. И тотчас же снова начал с первого абзаца; теперь читал уже не спеша, останавливаясь на отдельных строках и утвердительно встряхивая головой:
"Да, да. Правительство, в самом деле, переполошилось от студенческого возмущения. Да, чувствует себя непрочно, верит только в силу штыка и нагайки. Верно, правительство окружено горючим материалом. Мы это видим и чувствуем. Да, да, "достаточно малейшей искорки". Пожар загорится! Вот и злобствуют".
Поссе появился в дверях комнаты, и Горький, глядя поверх газеты, которую держал обеими руками, спросил:
- Как думаешь, кто писал? Он?
- Безусловно.
- Светлая голова! И гнева в сердце много! Хо-ро-шо! Вот: "Крестьянина отдавали в солдаты как в долголетнюю каторгу, где его ждали нечеловеческие пытки "зеленой улицы"... Сущая правда! Розги да палки из лозняка. Теперь вот - студентов. Моральная пытка. То же, что и прежде: "попирание человеческого достоинства, вымогательство, битье, битье и битье". Вот тут ты правильно подчеркнул: "Это - пощечина русскому общественному мнению". У меня сердце разрывалось, когда прочитал об отдаче студентов в солдаты. Право слово! Говорят, генерала Ванновского прочат в министры просвещения. Фельдфебеля - в Вольтеры! Ать, два; ать, два... Не выйдет, господа Романовы. Не подействует команда. Не покорятся студенты. Борьба их закалит.
- А в конце статьи - ты обратил внимание? - программа завтрашнего дня. В буквальном смысле слова. Для всех местных социал-демократических организаций и рабочих групп. Собрания, листовки. Все формы протеста. Открытый ответ со стороны народа.
- Золотые слова! - Горький достал из кармана карандаш, отчеркнул на полях: "Студент шел на помощь рабочему, - рабочий должен прийти на помощь студенту". - Верно! И рабочим надо помочь. Вот хотя бы нашим, сормовским.
Горький бережно свернул газету и, подойдя к Поссе, спросил:
- Домой поеду - отдашь?
- Какой разговор.
- И еще надобен мимеограф. Как бы раздобыть? Без своих листовок не обойдемся.
- Вот это труднее. Я, видишь ли, не связан...
- А я должен привезти. Обещал. Ждут, как подарок к празднику. Вспомнив о разговоре с Марией Федоровной, улыбнулся. - Ладно, буду искать. И уверен - найду.
Поссе прошелся по комнате в каком-то петушином задоре и, остановившись возле нахмурившегося друга, сказал:
- У меня, Алексеюшко, есть для тебя еще новость: Суворин готовится отпраздновать двадцатипятилетие своей паскудной газетенки. И его редакцию забросают чернильницами.
- Похвально. Только мало. В чернильнице - капля. А ему надобно все ворота вымазать. Весь фасад - чернилами. Я куплю бутылку...
- Ни в коем случае. Без тебя найдутся забубенные головушки. Конечно, посмотреть издалека занятно бы... Но зачем рисковать? Сам не пойду и тебя не выпущу из дома. Так спокойнее. И мне, и тебе.
- Мне покой не нужен. Буря сердцу ближе.
В тот же вечер Алексей Максимович отправил письмо Кате:
"Настроение у меня скверное - я зол и со всеми ругаюсь... Говорят, что в Харькове 19 была огромная уличная демонстрация, войско стреляло, двое убитых. В Одессе - тоже".

В конце - конспиративная строчка: "...скажи, что я сам привезу все". Катя поймет и кому надо скажет: "Алеша привезет вам мимеограф".
Помимо "Трех сестер" Чехова, "художники" привезли еще одну свою новинку - ибсеновского "Доктора Штокмана". Публика с волнением ждала спектакль: должен же появиться на сцене человек, который скажет властям в лицо частицу правды! Штокман, гордый и в известной мере наивный одиночка, проповедовал духовный аристократизм, но располагал к себе смелостью, честностью и упорством в борьбе с алчными, постыдными и бесчеловечными заправилами города, снискавшими сторонников среди тупых обывателей. В обстановке нараставшей революционной борьбы в своей собственной стране молодежь, переполнившая галерку, на место норвежского полицмейстера ставила местных держиморд, в заводчике, прозванном Барсуком, видела русского Тита Титыча, в продажном редакторе газеты - Суворина.
Спектакль начался в обостренной атмосфере: в фойе торчали переодетые жандармы, в переднем ряду сидели цензоры с развернутыми рукописями и следили за каждой репликой - не сказал бы актер какой-нибудь отсебятины.
Но ничто не могло сдержать восторженного присоединения к протесту, звучавшему со сцены. Первый раз загрохотали аплодисменты, когда Штокман а его играл сам Станиславский - бросил в зал:
- Я ненавижу предержащие власти... - Переждав шквал рукоплесканий, продолжал: - Немало насмотрелся я на них в свое время. Они подобны козлам, пущенным в молодую рощу. Они везде приносят вред, везде преграждают путь свободному человеку, куда он ни повернется. И как хорошо, если б можно было искоренить их, подобно другим животным.
Последнее слово потонуло в новом грохоте аплодисментов. Спектакль превращался в политический протест.
Одобрительная буря достигла особого накала, когда доктор, рассматривая свой изорванный сюртук, говорил: "Никогда не следует надевать свою лучшую пару, когда идешь сражаться за свободу и истину".
Кончился спектакль. На сцену выкатили на тележке подаренную кем-то корзину красных гвоздик. Немирович раздавал цветы актрисам, те кидали их неистовствовавшим зрителям, кричавшим: "Браво! Браво! Молодцы "художники"!"
А на сцену несли огромный венок из живых цветов, обвитых широкой красной лентой: "От журнала "Жизнь".
В ту ночь опасались арестов.
На улицах цокали копыта разъездов конной полиции, гарцевали чубатые казаки. По всему Литейному стояли городовые. Коротенький Эртелевский переулок был в обоих концах перекрыт нарядами жандармов: за надежной охраной Суворин пировал спокойно, окна остались целыми.
В столице ждали более крупных событий. Широко распространился слух, что уже заготовлен приказ о введении военного положения. И многие считали, что слух пущен преднамеренно.
5
4 марта с утра необычно для Петербурга звенела ранняя капель. Солнце грело по-весеннему. С Балтики дул свежий ветер. Нева вспучилась, с треском ломала лед.
В церквах отошла воскресная обедня, и над городом гремел торжественный перезвон колоколов. Был канун четвертой недели великого поста - времени покаяний, и чинные богомольцы растекались большими толпами.
А навстречу им - тоже толпами - шли студенты и курсистки. Шли бородатые профессора и литераторы. Кое-где среди них мелькали одинокие картузы мастеровых: шеренги солдат у Нарвской заставы и на Шлиссельбургском тракте помешали рабочим пройти в центр города. Гневно сдвинув брови, люди спешили к Казанскому собору, примечательному месту, где четверть века назад впервые взвилось красное знамя и демонстранты услышали речь молодого Плеханова. Тогда многих бросили за решетку. Что-то будет нынче? А что бы там ни было - молчать нельзя. И сидеть по углам невыносимо.
Горький смешался с толпой. Поссе, одетый в длинную енотовую шубу, остался в переулке по другую сторону Невского.
- Я лучше отсюда посмотрю...
Рядом с Горьким шел его старый знакомый по Нижнему Новгороду белобородый статистик и публицист Николай Федорович Анненский.

- А вы не слышали о забастовках? - спросил, приложив руку ребром к щеке. - Странно. А я полагал, вам-то уж известно по вашей приверженности к марксизму. Как же, как же. Рассказывают, на Выборгской стороне. Две фабрики. Пять тысяч мастеровых!
- Очень даже возможно, - прогудел Горький в пущистые усы. - Всякому терпению есть предел. Сквер перед собором и Невский уже были заполнены народом. И, как голуби, мелькали листовки, передаваемые из рук в руки. Люди читали: "Мы выступаем на защиту попранных прав человека". На широкой паперти что-то говорил, размахивая студенческой фуражкой, белесый парень. Его сосед развертывал красное полотнище с белыми буквами. Что там написано, издалека разобрать было не возможно. Горький стал протискиваться возле колонн. Перед ним было волнующееся людское море. С каждой секундой нарастал прибой. Недоставало только в небе альбатроса, предвестника бури.
Два студента подняли на плечи третьего, тот выхватил из кармана лист бумаги и, надрывая голос, стал читать. По обрывкам фраз Горький понял студенты требуют отмены "Временных правил", по которым их однокашников отдали в солдаты, требуют уничтожения университетских карцеров и возвращения всех исключенных за "беспорядки скопом". Не просят - требуют. Вот-вот поднимется, как на море, грозный девятый вал и загремит в тысячу голосов: "Долой самодержавие!"
А с обеих сторон улицы бежали, поддерживая ножны шашек, городовые. За ними шеренгами наступали жандармы. На сером коне гарцевал сам градоначальник Клейгельс. В его сторону повернулись тысячи возмущенных людей, грозили кулаками, в наседавших городовых и жандармов полетели галоши, палки и обледеневшие комья снега.
Пытаясь оттеснить демонстрантов с мостовой, полицейские били их ножнами шашек, те не оставались в долгу - наносили ядреные оплеухи, пробовали вырывать шашки. Девушки-курсистки разгневанно плевали в усатые холеные морды жандармов и городовых.
"Вот они, наследницы Софьи Перовской! - отметил про себя Горький. Эти пойдут дальше, смелее, постоят за себя, воздадут за все!"
Генерал Клейгельс был готов к худшему. Хотя закон не позволял ему командовать войсками, он на всякий случай приготовил в нескольких дворах засады. Теперь, видя, что полиции и жандармерии не управиться, он приподнялся на стременах, и по знаку его руки в белой перчатке с гиком вылетели на рыжих конях раскрасневшиеся от водки казаки. Командир сотни лейб-гвардии казачьего полка есаул Исеев гаркнул:
- В нагайки!
Но и это не остановило смельчаков. Сбегав в собор, они вооружились железными прутками от ковровых дорожек. Рабочие, разломав на части деревянную лестницу, стоявшую у фонаря, тоже вступили в рукопашную.
- Бей пьяных иродов! - прокатилось от одного крыла колонн до другого. - Покрепче! Покрепче! Вот так! Вот эдак!
Рухнул на землю городовой. Есаул кричал:
- Кроши бунтовщиков!
Казачья матерщина, свист нагаек, проклятья и крики девушек - все слилось в ужасный гвалт. У Горького горели стиснутые кулаки, он тоже ринулся бы в схватку, но курсистки с синяками на лицах, пытавшиеся укрыться в соборе, притиснули его к колонне.
В центре свалки вскрикнула девушка:
- Ой, ой, глазонек!..
Откуда-то появились три пеших офицера и врезались в самую гущу, выдергивали арестованных курсисток из рук полицейских, вытаскивали из-под копыт казачьих коней. Один артиллерийский офицер сорвал у кого-то шашку и, не обнажая ее, со всего размаха сбил жандарма с коня.
- Честное офицерство с нами! - гремел над схваткой раскатистый бас. Бей по харям!
Кто-то изловчился и запустил железный молоток в голову есаулу Исееву. Тот, охнув, схватился за висок - по белой перчатке потекли кровяные струйки - и уткнулся в гриву коня.
Возле колонн девушки приводили в чувство студента, натирая ему грудь и виски снегом. Какая-то женщина истошно кричала:
- Старуху затоптали!.. Гады проклятые!.. Насмерть!..
У памятника Барклаю де Толли жандармы сбили с ног Пешехонова, пальто на нем распластали от воротника до подола. Анненский бросился на выручку и, потрясая старческой рукой, кричал

что-то Клейгельсу, оказавшемуся неподалеку на своем сером коне. Но дюжий жандарм свалил Николая Федоровича ударом кулака в лицо, наклонился и, крякнув, добавил в подбородок.
К Клейгельсу пробился неизвестно как очутившийся тут член Государственного совета князь Вяземский:
- Прекратите, генерал!.. Побойтесь бога!.. Что вы делаете?.. Что скажет Европа?..
- Выполняю приказ! - козырнул градоначальник. - Поберегитесь, князь.
В соборе еще продолжалась служба. Раскрылись царские врата, и священник вынес золотой сосуд со святыми дарами. Но богомольцы, перепуганные нараставшим гвалтом на паперти, уже теснились у распахнутых боковых дверей.
Курсистки в поисках укрытия хлынули ко входу, над которым золотом горели слова: "Грядый во имя господне". Вслед за ними в собор вломились жандармы, городовые и пешие казаки, едва успевшие сдернуть с чубатых голов меховые шапки с красной тульей. Певчие поперхнулись на полуноте и врассыпную кинулись к боковым дверям.
Схватка не утихала и здесь. Городовые хватали курсисток за волосы и ударяли затылками о стены. Студенты защищали девушек с возрастающим ожесточением. Светловолосый юноша с проломленным черепом, распластав руки, лежал посреди собора в луже крови.
Перепуганный настоятель вышел на амвон, дрожащей рукой поднял крест:
- Смиритесь, заблудшие!.. Не противьтесь властям поставленным от господа бога! Смири-и...
Два студента помешали ему договорить, поддерживая под руки курсистку с окровавленным лицом, потребовали:
- Воды!.. Дайте ей воды!
Настоятель воздел руки к небу:
- Не помогаю бунтовщикам. Смиритесь!
Вспотевшие казаки, окружив остатки демонстрантов, стали "выжимать" их к выходу, где ждали тюремные кареты. Окруженные, торопливо вытаскивая из карманов и муфт, рвали прокламации, чтобы жандармам не попали в руки "вещественные доказательства".
Затерявшись среди бородатых и длинноволосых певчих, Горький вырвался из жандармского невода.
"Жаль, рабочие не подоспели, - думал он, удаляясь от места схватки. Не настала пора. Гребень девятого вала еще где-то за горизонтом. А студиозы молодцы!.."
6
В тот же день Союз взаимопомощи писателей давал обед "художникам" в лучшем ресторане столицы - у француза Контана. После побоища настроение было далеко не праздничным, но отложить было уже невозможно. И хозяева, и гости были возбуждены до крайности, говорили о том, что полиция чувствует себя бессильной, если кликнула на помощь казаков и солдат. А лейб-гвардия, участвуя в избиении безоружных, покрыла себя позором.
Столы были накрыты на полтораста кувертов. На каждом приборе лежали цветы от книгоиздательницы Поповой и золотые жетоны в форме лиры. Мария Федоровна, заранее предупрежденная, что ее куверт на почетном месте - в середине главного стола, взяла жетон, на котором с одной стороны было оттиснуто ее имя, число, месяц и год, на другой: "Спасибо за правду!" По соседству с ней - Станиславский, премьер императорской Александринки Сазонов, Немирович-Данченко, Михайловский... А где же Горький? Почему не на почетном месте? Какая несправедливость!..
А может, не пришел? Попал в это гнусное побоище?.. Вон же много пустых стульев. Говорят, арестовано больше восьмисот человек! Может, и он... И его, раненного, увезли в больницу?! Может, нужна помощь?..
Ее спросили, что положить из закусок, - безразлично кивнула головой, ответила что-то невпопад.
Знатоки гастрономии уже отдали должное изысканной французской кухне, уже звучали тосты и звенели хрустальные рюмки, а она все еще пробегала глазами по огромному застолью: великолепные платья дам, черные смокинги, белоснежные манишки, облысевшие черепа, блестящие, как биллиардные шары... Конечно, Горького в его косоворотке и сапогах могли усадить куда-нибудь в самый конец застолья... Если он здесь... А если?.. Но о беде с таким человеком уже разнесся бы слух по городу... Да вот же он!..
Мария Федоровна даже чуточку приподнялась, вздохнула облегченно. Здесь!
Сосед, известный в столице литературный критик, разгладив усы, поднял рюмку:

- Позвольте чокнуться, дражайшая Мария Федоровна! За ваше здоровье, за высокую правду искусства!
- Благодарю вас, - улыбнулась ему.
- Да вы, ежели обожаете русское... - бубнил сосед. - Севрюжинки откушайте. С хреном!.. Что же вы?.. Скоро уже подадут горячее...
- Благодарю.
Проглотила кусочек рыбы, и опять глаза - в конец стола. Так и есть в неизменной косоворотке!.. Мария Федоровна настороженно посмотрела вправо, влево, на своих друзей по театру и на литературных снобов. Заметили ее нервозность? Ее особый интерес к дальнему концу стола?.. Ну и пусть замечают! Таким писателем, как Алексей Максимович, нельзя не восхищаться. Он идет к вершинам искусства! И такой человек, добрый, мягкий, иногда наивный, как ребенок. Иногда и суровый... Что-то очень исхудал он здесь. Очень-очень. Лицо какое-то серое. Даже отсюда заметно - щеки ввалились. И вон кашляет в кулак... Тревожно за него. Надо посоветовать: пусть едет в Крым. Здешняя сырая весна ему вредна... А поговорить по душам так и не удалось: не виделись наедине. До сих пор не сказала ему о полисе Саввы Тимофеевича. И здесь невозможно - много чужих ушей, падких до сплетен.
Станиславский сказал, что хотелось бы слышать стихи Актрисы поддержали аплодисментами, и Мария Федоровна тоже не осталась в стороне.
Встала поэтесса Глафира Галина, сказала, что прочтет экспромт, и начала с прозрачным намеком на происшедшее сегодня в городе:
Лес рубят, молодой зеленый лес...
Гремели аплодисменты. Соседи по столу наперебой целовали поэтессе руку, ценители ее таланта спешили к ней с дальнего конца стола.
Уловив секунду тишины, поднялся Бальмонт, нараспев прочел четверостишие, написанное на манжете:
То было в Турции, где совесть - вещь пустая,
Где царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький султан.
На месте султана все увидели "маленького полковника" - Николая Второго, и многие стали аплодировать поэту.
Открыто возмутился лишь один Сазонов. Резко отодвинув стул, он встал и громко упрекнул весь зал:
- Не ждал, господа, от вас! Интеллигентная публика и... и так... Даже слов не подберу.
- И не подбирайте, - крикнул ему Ермолаев, кооперативный деятель, официальный редактор журнала "Жизнь". - Не надо ваших слов.
- Я шел на праздник искусства, а не на политическую демонстрацию. Я покидаю это сборище.
Вслед за Сазоновым вышло несколько человек, опасавшихся неприятных последствий.
Тем временем Ермолаев успел сходить в гардероб за своей каракулевой шапкой. Положив четвертную, он пустил шапку по кругу:
- Не забудем несчастных, избитых и брошенных в тюрьму. Посильно поможем. Кто сколько...
- Они совсем не несчастные, - басовито возразил Горький, сердито пошевелил усами. - Человек - борец. Он не нуждается в жалости.
"Великолепно сказал!" - Мария Федоровна раньше всех ударила в ладоши.
Горький смотрел на нее широко открытыми глазами: "Какая она сегодня... необыкновенная! Хоро-оша-ая Человечинка! Красивее всех. И золотистые волосы... И глаза... Темно-карие у нее глаза, лучистые. А им в тон на черном бархатном платье сияет медальон с бриллиантовой звездочкой".
Спокойствие вернулось в зал, когда поднялся сенатор Кони, строгий, сухой, с квадратным лицом, обрамленным коротко подстриженной шкиперской бородкой, знаменитый юрист, с именем которого было связано оправдание Веры Засулич, и потребовал, как, бывало, в судебном присутствии:
- Подсудимые, встаньте!
Станиславский и Немирович-Данченко встали, руки - по швам.
- Господа присяжные, - Кони обвел взглядом зал, - перед вами два преступника, совершивших жестокое дело. Они, по обоюдному уговору, с заранее обдуманным намерением, зверски убили

всеми доныне любимую, давно нам всем знакомую, почтенную, престарелую... рутину! Они беспощадно уничтожили театральную ложь и заменили ее правдой, которая, как известно, колет глаза.
И сенатор предложил применить к обвиняемым высшую меру наказания "навсегда заключить их в... наши любящие сердца".
Аплодисменты слились с восхищенным смехом. Многие, выполняя "приговор", бросились обнимать, целовать "художников".
Подали шампанское. Горький подошел с фужером к Марии Федоровне, сел на освободившийся стул:
- Я - за справедливый приговор!.. И хочу выпить с "обвиняемой". За здоровье, за талантище.
- За вас! - Мария Федоровна порывисто чокнулась, неожиданно для самой себя осушив фужер до дна, показала его Горькому. - Видите? Ни капли не осталось. Только за вас так! Никакого "зла" не остается, если мне что-то и не нравится...
- А что? Что?
- Хотя бы то, что только сейчас вспомнили обо мне... А мне было обидно, что вас куда-то на краешек...
- Не в этом дело, Мария Федоровна, голубушка! У меня все еще - в сердце огонь. Видели бы вы, как студиозы дрались! Бесстрашно! Милые люди, славные парни! Жизнь - драка. И они смело идут, дабы победить или погибнуть. Победят! Я прочитал в новом номере "Искры": "...рабочий должен прийти на помощь студенту". Золотые слова!.. И надо, голубушка, добрая душа, помогать студиозам... ежели которых в Сибирь...
- Поможем, - тихо и твердо ответила она. - Через нелегальный Красный Крест.
- Спасибо. Но "Искре"-то тоже надобна помощь.
Мария Федоровна ответила ему без слов, лишь слегка смежив глаза.
- А как ваша песня о Буревестнике?
- Не могу здесь. Вот уж дома напишу.
- "Гордый и смелый! Этакая черная молния!"
- Запомнили!
- Такое не забывается. Это же, - Мария Федоровна понизила голос до шепота, - вестник революционной бури! Так я понимаю?
- Пророк победы.
- Великолепно! Пишите скорее.
- Вон Поссе слово с меня взял - в апрельскую книжку "Жизни".
Любопытствующие соседи по столу навострили уши. Заметив это, Горький наполнил фужеры, еще раз чокнулся с Марией Федоровной и, покашливая, пошел чокаться подряд со всеми "художниками".

7

Вечером писатели без особого приглашения собрались в своем Союзе взаимопомощи. Каждый чувствовал: нужно что-то делать, как-то протестовать. Немедленно. Не откладывая на завтра.
У Анненского опухло лицо, рассечена нижняя губа, под правым глазом растекался синяк. У Пешехонова ссадина на лбу, царапины на щеках. Но они держались задорно, как победители.
"Синяки - напоказ, - отметил Горький, - словно георгиевские кресты на солдатской шинели!" Вслух сказал:
- Лихо дрались!.. Вовеки не забуду этой битвы! Первая такая...
Поздоровался с худощавым и элегантным Гариным-Михайловским, только что вернувшимся из Кореи:
- Говорят, вас удостоили монаршей чести?
- Как же, как же! Впервые в жизни! - Они отошли в сторонку, и Николай Георгиевич продолжал: - Сознаюсь, шел не без робости. Ведь царь такой великой страны! Пожелал видеть строителя железных дорог. Да не в официальной резиденции, а у своей матушки в Аничковом дворце. И в присутствии императрицы. Не знаю, для чего так. Будто по-семейному. Видимо, хотел себя показать. Дескать, близок к интеллигенции. Я, понятно, приготовился говорить о железных дорогах. Ведь такую магистраль соорудили! Через всю Сибирь - до Тихого океана! Думал, заинтересуется: как строили? Спросит о моих друзьях-инженерах. Где еще строить? Что позаимствовать у Западной Европы? Он же сидит на троне великого государства!.. Явился я минута в минуту, назвался: инженер такой-то. Впереди меня побежал скороход,

принаряженный, этакий молодой петушок. Я иду по ковру. Некрасивый ковер, какой-то ядовито-зеленый. Скороход возвращается и торжественно объявляет: "Их императорское величество просит его благородие инженера Михайловского к себе!"
- Все-таки - "благородие", а не как-нибудь! - рассмеялся Горький. Выслужили себе чин!
- И меня, понимаете, предупредили, что я не могу задавать вопросов должен только отвечать. По возможности кратко. Знай, дескать, сверчок, свой шесток! Вхожу. И вот вижу: передо мной сидит симпатичный пехотный офицер...
- "Маленький полковник".
- Да. Сидит, знаете, покуривает, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но все не о том, что должно бы интересовать российского государя. Мелко, ограниченно и даже глупо. О железных дорогах, которые я строил, ни единого слова. Стало обидно. Это же - дело моей жизни. Спрашивал все больше про корейцев: как они выглядят, что едят, что пьют? Любят ли нас? Старая царица с каменными глазами Будды. Молодая - тоже. В общем, было очень скучно. Напрасно потерянное время!
- Сочувствую! - усмехнулся Горький.
Анненский отыскал знакомого человека, славившегося четким почерком, усадил за стол и, нависая над его головой, диктовал:
- Стало быть, так... Заглавие: "Письмо русских писателей в редакции газет и журналов". - С трудом поворачивая голову, спросил: - Все согласны?
- А потом всех... - послышался тревожный женский голос. - Всех вышлют.
- Не знаете куда?
- Куда Макар телят не гонял.
- Тогда вы... - Разбитая губа Анненского болезненно искривилась в злой усмешке. - Сходите сначала к Макару.
Он снова склонился над головой пишущего:
- Мы полны негодования перед такими зверствами, имевшими, как известно, место в других городах...
За его спиной кто-то громко рассказывал:
- А вы слышали, господа, царь-то сбежал?!
- Как сбежал?.. Куда сбежал?..
- Из Зимнего - в Царское Село! Как только началось побоище... Перетрусил!
- А еще - полковник! - сказала дама в широченной шляпе. - Фи-и!
Анненский продолжал диктовать:
- Мы полны ужаса перед будущим, которое ожидает страну, отданную в полное распоряжение кулака и нагайки... Мы делаем попытку хотя бы огласить факты.
Приняв перо, Анненский первым подписал протест и здоровым глазом поискал следующего:
- Прошу, господа, в порядке алфавита.
- Этого мало, - крикнули ему. - Суворин, к примеру, отнесет письмо в туалет.
- Или перешлет жандармам.
- Надо еще - министру внутренних дел.
- Напишем и министру, - согласился Анненский.
Первое письмо подписали сорок три человека, второе - тридцать девять. Горький поставил свою подпись под тем и другим.
А через день он прочитал в газетах: "Государь император объявляет строгий выговор члену Государственного совета, генерал-лейтенанту князю Вяземскому за вмешательство в действия полиции при прекращении уличных беспорядков".
- Вот как!.. Даже со своим - не мешай, дескать... Значит, испугались, ваше величество!.. Погодите, придет время погрознее!..
...В Петербурге стало тошно. И к тому же тревога за Катю гнала домой: как она одна с малышом? Да и снова она на сносях...
А Максимка-то, озорник, небось соскучился? Ждет с подарками. И сормовцы ждут обещанное... Осторожность никогда не лишняя. Везти с собой мимеограф - дело рискованное: полиция свирепствует. И Горький отправил его в самодельном ящике через транспортную контору в адрес хозяйки одной нижегородской аптеки.

Перед отъездом Поссе подал ему листок с лиловыми строчками. Буквы неровные, корявые - рука у человека дрожала. От волнения? Скорее - от гнева. Заглавие подчеркнуто: "На мотив "Марсельезы", в скобках помечено: "Посвящается студентам".
- Видать, свеженькое.
- Сегодня мне прислали в "Жизнь".
- Мотив-то выбрали боевой. Молодцы!
Покачивая в такт рукой, Горький прочел начало:
Ты нас вызвал к неравному бою,
Бессердечный монарх и палач...
- Хо-оро-ошо! - прогудел в усы. - Сразу - по зубам! - И перекинул взгляд на припев.
Мы шли за свободу, за честь, за народ,
За труд, справедливость и знанье
Себя обрекли на закланье...
Вперед, вперед, вперед!..
Насчет закланья-то они зря. А вот последняя строчка припева боевая.
- Ты посмотри в конец, - посоветовал Поссе и передернул плечами, словно от озноба. - Отчаянные головушки!.. Забывают об опасности.
Перевернув листок, Горький как бы схватил - одну за другой - горячие строки:
Ваш позор лицезреют народы...
Станьте ж, смелые, честные, в ряд!
Со штыками под знамя свободы
Выйдет каждый студент, как солдат.
- Вот это - набат! - Вскинул руки, как звонарь, готовый раскачать язык большого колокола. - На всю матушку Россию!.. Увезу своим.
Дома жена спросила:
- Ты читал в газетах - на Победоносцева было покушение? Это, я думаю, ему и за отлучение Толстого. Но уцелел подлец. Во всех церквах служат благодарственные молебны о здравии.
- Не волнуйся, Катюша. Тебе вредно. - Горький провел рукой по округлившемуся животу жены.
- Маленькую береги.
- Я не волнуюсь, а радуюсь: есть герои в народе!
- Ухлопать одного мерзавца - невелик героизм. Другого на его место сыщут. А вот все до основания смести - и трон, и Синод, и фабрикантов с помещиками - это будет геройство.
- Ты, Алеша, говоришь прямо по-марксистски. Кто же это повлиял на тебя?
- А на меня и влиять не надо - сам из мастеровых, из пролетариев. Горький перенес руку на плечо жены. - Ты, Катя, почитай вон... Я привез второй номер "Искры".
- Думаешь, отрекусь от своих воззрений?! - Катя погладила колючую щеку мужа. - Исхудал ты в Петербурге-то. Поедем в Крым.
- Сейчас для тебя рискованно. А один я не поеду.
- Отдохнул бы там.
- Мне писать надобно. "Художники" пьесу ждут. А об отдыхе... могут позаботиться помимо нашей воли. Неисключено сие...
Вскоре из Петербурга пришли тревожные вести: Союз взаимопомощи писателей закрыт. В "Весенних мелодиях", отправленных в редакцию "Жизни", цензор перечеркнул красным карандашом разговор птиц о свободе, оставил только "Песню о Буревестнике". Журнал вышел - "Песню" отметили во многих газетах: сильная, поэтическая, носящая отпечаток злободневности! Цензура спохватилась, и журнал "приостановили". Читатели поняли: "Не позволят сатрапы дышать "Жизни" - прихлопнут".
Петербургский провокатор Гурович, работавший в редакции журнала "Начало", донес жандармам, что Горький отправил в Нижний мимеограф. Хотя там не удалось найти следов, в департаменте полиции, подготовляя арест, скрипело перо: "Революционная жизнь в Нижнем с приездом Горького опять бьет ключом..." Жандармы опасались, что рабочие вот-вот выйдут на улицу, и среди ночи вломились к Горькому с обыском. Нашли бумажку, на которой незнакомым им почерком было написано карандашом:
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте студентов по стогнам земли,
Чтобы поведать все горе сердечное

Всюду бедняги могли.
Сейте - пусть чувство растет благородное,
Очи омочит слеза.
Сквозь эти слезы пусть слово свободное
Руси откроет глаза.
Потребовали "Весенние мелодии", Горький ответил, что у него нет такой рукописи. В самом деле, он успел отдать ее студентам, высланным в Нижний, и они тотчас же оттиснули на гектографе. "Буревестник" пошел гулять по всей России: в каждом городе его переписывали от руки, перепечатывали на мимеографах. "Пророк победы" был дорог и близок революционным кругам.
За кулисами Художественного театра, вернувшегося в Москву, актеры передавали потрясающую новость: Горький арестован, посажен в острог!
Мария Федоровна едва сдерживала слезы:
- У него же чахотка. Погибнет... такой человек!
- Надо как-то выручать.
- Говорят, жена написала Толстому.
- Мария Федоровна, голубушка, ты же вхожа к Толстым. С Софьей Андреевной знакома...
- Не знаю, придется ли ей по душе... - Андреева с трудом проглотила комок, подступивший к горлу. - Лев Николаевич сам давно в опале... И еще это бесстыдное "отлучение от церкви"...
- Есть слух: его и самого могут...
- Толстого не посмеют...
- Ну-у, башибузуки ни перед чем и ни перед кем не останавливаются.
- Лев Николаевич может уехать в Ясную Поляну. Надо успеть. Слово Толстого - колокол на всю Европу.
- Одна я - не могу. - Мария Федоровна, успокаиваясь, поправила пышную копну волос - Если еще кто-нибудь...
- Конечно, конечно. Вдвоем, втроем...
Толстой был болен. В его дневнике стала появляться обозначенная начальными буквами приписка: "Если буду жив". Но он стремился превозмочь болезнь: "Надо приучаться жить, то есть служить и больному, то есть до смерти". И он охотно присоединил свой голос к многочисленным голосам протеста. "Я лично знаю и люблю Горького, - писал Лев Николаевич, - не только как даровитого, ценимого и в Европе писателя, но и как умного, доброго и симпатичного человека". Упомянул он и о чахотке, и о жене, "находящейся в последней стадии беременности", и о том, что нельзя убивать людей до суда и без суда.
И через месяц Горького выпустили из острога. Но негласный надзор за ним не только сохранили - усилили.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

- Теленок приехал! - сообщила Вера Ивановна, едва успев закрыть за собой дверь.
- Струве?! - переспросил Владимир Ильич, вставая из-за стола. Нежданный гость!
Вера Ивановна села и, закинув ногу за ногу, закурила, но тут же спохватилась:
- Ах, извините. Я все еще не могу привыкнуть, что вы не выносите табачного дыма.
- Ничего. Я открою форточку. - Владимир Ильич прошелся по комнате, держась подальше от дыма, окутавшего собеседницу. - А Теленком вы его называете по вашей доброте. Не иначе.
- В вопросах политики и философии он - теленок на льду. Хотя отчасти и подкован.
- Но какими подковами? Вот в чем дело. А самая подходящая кличка ему - Иуда. Да-да. Самая заслуженная. - Уткнув руки в бока, Владимир Ильич остановился перед Засулич. - Интересно, зачем же он пожаловал к вам?
- Не ко мне. Вас ждет. И у него есть предложение о сотрудничестве.
- В нашей "Искре"?! В органе, по его терминологии, ортодоксов? Свежо предание!
- В это "предание" можно поверить. Он не только от своего имени.
- От Тетки?! Так не привез ли он для "Искры" денег от нее? Мы ведь скоро можем оказаться на мели.
- Деньги у него, как я поняла, есть, но... О них он поведет особый разговор.
- Вы меня заинтриговали. - Владимир Ильич взял стул и, невзирая на табачный дым, подсел поближе. - Какой же разговор у вас с ним уже был?

- Он приехал... - Засулич потушила сигарету о ножку стула, закурила вторую. - И будет говорить от имени своего друга Туган-Барановского.
- Тоже о сотрудничестве?!
- В новом совместном журнале.
Владимир Ильич хлопнул себя по колену:
- Занятно. Иуда решил попытаться "объехать нас на кривой". Не так ли?
- Вы же сами печатались у него в легальном журнале.
- Да, когда боролись с либеральными народниками. И он, ваш Теленок, на том этапе пригодился нам как временный союзник. Не более того.
- А мне кажется, худой мир лучше доброй ссоры.
- Нет, я за ссору. За глубоко принципиальную ссору. - Владимир Ильич встал, опять сделал несколько шагов по комнате. - За войну с идейным противником! Понятно, когда война остается единственным средством для того, чтобы отстоять марксизм. А сейчас... - Тень задумчивости пробежала по его лицу. - Ну, что же... Пусть приходит. Выслушаем. Да не просто, а под протокол.
- Излишняя официальность осложнит отношения.
- А как же иначе?.. Мы же - "высокие договаривающиеся стороны", и в договоре должны следовать пункты.
- В вас заговорил юрист! - усмехнулась Засулич уголками тонких губ. А Петр Бернгардович хотел бы... Как ваш старый знакомый... Для предварительного разговора...
- Прощупать почву? Узнаю изворотливого.
2
Шли дни, а Струве не появлялся. Владимир Ильич понял: выжидает, когда вернется из России Потресов. Пусть выжидает. Втроем, пожалуй, даже лучше.
Вера Ивановна сказала - уехал в Штутгарт, к каким-то немецким друзьям.
- Понятно, к людям его взглядов. Кстати, - Владимир Ильич развернул на столе один из свежих немецких журналов. - Полюбуйтесь на тщеславную подпись: "Peter von Struve". Фон! Не как-нибудь! С шиком! А дома так не подписывался. Он же не имеет этой приставки.
- Да. Но, может, потому, что у него мать урожденная баронесса Розен. Может, слышали, астраханская губернаторша! Потом - пермская. Новоявленная салтычиха. Рассказывают, разъезжала по городу верхом с нагайкой в сопровождении конной полиции. Вместо мужа принимала доклады полицмейстера. И только сенатская ревизия доконала их: губернатора прогнали. И они уехали сюда, в Германию, кажется в Штутгарт. Там Петр Бернгардович и учился. А после смерти отца ушел от матери. Вот тут-то его и взяла на воспитание, к тому времени овдовевшая, Тетка.
- Решил блеснуть перед немцами. Вот пройдоха!
- Ну, уж вы очень резко. Он - видный публицист. И стилист далеко не из последних.
- Н-да. Стилист! А на кой черт нам такие стилисты?! И золотое перо бывает годно лишь на свалку истории.
Вернувшись из Штутгарта, Струве первым делом повидался с Потресовым, только что приехавшим из России, и попросил предупредить, что для большого разговора со всеми придет на следующий день.
Трое соредакторов поджидали его. Вера Ивановна, сидя у окна, уткнулась в какой-то французский журнал. Потресов, густобородый, благообразный, похожий на недавно рукоположенного священника, частенько вынимал из жилетного кармашка часы, посматривал на дверь.
- Важный гость, - усмехнулся Владимир Ильич, - всегда опозданием набивает себе цену.
Открыв дверь, Струве блеснул очками в золотой оправе, пропустил вперед себя жену, потом сам, слегка сутулясь, как бы боясь стукнуться головой о притолоку, шагнул через порог. Он был одет в новенькую сюртучную пару обут в лаковые ботинки.
Острый клин бороды аккуратно подстрижен, а густой рыжей шевелюры давно не касались ножницы парикмахера, и большие оттопыренные уши едва виднелись в космах...
Искровцы поднялись навстречу. Струве первым делом поклонился Вере Ивановне, хотел было приложиться к ее узенькой руке, но, подержав в холодновато-влажных пальцах, счел это излишним. Тем временем Потресов, галантно шаркнув ногой, поцеловал руку Нине Александровне и, уступая очередь Владимиру Ильичу, спросил его и гостью, знакомы ли они.

- Только заочно, по рассказам жены. - Пожимая руку гостьи, Владимир Ильич взглянул в ее потеплевшие глаза. - И по вашим, Нина Александровна, письмам к Наде. В Шушенском она всегда была очень рада им.
- А я вас, питерского Старика, представляла себе немножко другим, с окладистой бородой а ля Карл Маркс.
- И бородой не вышел! - рассмеялся Владимир Ильич, принимая шутку. Не успел отрастить. И, как видно, не дано мне сие. - Повернулся к Струве, указал на стул возле стола. - Петр Бернгардович, прошу вас.
Прошел к своему месту по другую сторону стола и остановился, выжидая, пока сядут гости. Садясь, Струве откинул фалды сюртука; протирая очки платком, обвел глазами искровцев и, слегка заикаясь, заговорил горячо, будто с давними друзьями, которых ему так недоставало в последние годы:
- Александра Михайловна просила нас... - Заметив свою подпись в развернутом немецком журнале, споткнулся на полуслове и неловко промычал: - Э-э... Всем вместе и каждому - э-э - в отдельности... просила кланяться. Она - э-э - по-прежнему питает к вам дружеское чувство и желает полного успеха благородному делу.
- Спасибо! - Потресов приложил ладонь к груди.
- Милейшая женщина! - воскликнула Засулич и что-то горячо шепнула Нине Александровне на ухо.
- Всегда признательны Александре Михайловне за внимание, - сказал Владимир Ильич и посмотрел на гостя с выжидательной прищуркой.
- Давно мы с вами - э-э - не виделись. Кажется, лет пять. Еще до вашего ареста...
- Да, да... Много воды утекло, много случилось в жизни перемен.
- Жаль, что нет Наденьки, - вздохнула Нина Александровна. - Хотелось повидаться.
- И долго еще ей томиться в изгнании? - спросил Струве сочувствующим тоном. - Последние месяцы? Приятно слышать. И, если у нее будет какая-нибудь нужда, мы с Ниной Александровной всегда готовы... Дадим какой-нибудь перевод с немецкого...
- Благодарю вас. Но теперь ей уже не до переводов. - И Владимир Ильич круто повел разговор о том, что волновало больше всего. - А какие новости в Петербурге? Чем живут рабочие? Если вам доводилось бывать в заводских и фабричных районах.
- Да как вам сказать... - Струве опять скользнул глазами по своей, для всех новой подписи. - Э-э... Прямые связи у меня нарушились...
"Да их, прямых-то связей, и не было никогда, - про себя уточнил Владимир Ильич. - Один интеллигентский кружок, да и тот в далеком прошлом".
- Но в неведении друзья не оставляют, - продолжал Петр Бернгардович. - Кое-что и до нас докатывается. Бывают небольшие стачки. И все, надо вам подчеркнуть, экономического характера.
- Все без исключения! - веско добавила Нина Александровна.
- Так-таки и все?! - Владимир Ильич слегка склонил голову к правому плечу. - А по-моему, мы накануне резкого возрастания политических требований. Промышленный кризис, как грозовой гром, прокатывается по России. А гром даст искру, за искрой - пламя! Не так ли?
- Второй номер вашей "Искры" мы от вас ждали-ждали - дождаться не могли, - ловко перевел разговор Струве. - Дома тщетно гадали о ваших затруднениях. Думали: может быть, понадобится наша помощь?
- Деньги у нас пока еще есть. Правда, уже мало. На один-два номера.
- Мы горим нетерпением лицезреть второй.
- Здесь, в Германии, "Искра" распространяется лишь после того, как ее основной тираж разойдется по России. Нам ведь необходимо поддерживать впечатление, что она издается там. Совершенно необходимо. Прошу понять и извинить нас.
- Вы все такой же сверхконспиратор! - обиделся Струве.
- Даже от своих конспирируете! - осуждающе качнула головой Нина Александровна. - И это в цивилизованной Европе!
- К сожалению, цивилизованные шпионы опаснее самобытных. Поживете здесь подольше - убедитесь сами. Да-да. А затруднение у нас только одно доставка. Но со временем и транспорт наладим. Непременно наладим. Через Румынию, Болгарию, Швецию.

- А со статьями как?.. Недостатка не испытываете? А то мы с нашим другом Михаилом Ивановичем Туган-Барановским могли бы участвовать.
- У нас нужда в корреспонденциях рабочих.
- Понимаю, на подверстку всегда требуются маленькие заметки. А теоретические статьи?.. Одним словом, мы готовы договориться о сотрудничестве.
- Уж не собираетесь ли вы перейти в стан "ортодоксов", как любили выражаться?
- Боже упаси! - Петр Бернгардович сложил ладони вместе, будто католик на молитве. - Был и остаюсь ищущим марксистом.
- Не в той стороне ищете.
Нина Александровна чуть не вскочила со стула, Струве потряс склоненной набок головой, словно ему, как бывает при купании, налилась вода в ухо. А Потресов приподнялся с места:
- Владимир Ильич, я думаю, мы выслушаем до конца.
- Вы совершенно правы, Александр Николаевич. Пожалуйста, Петр Бернгардович.
Струве встал, как оратор на собрании. Подчеркнув, что "святое дело освобождения России от ига царизма должно объединить все прогрессивные силы", предложил совместно выпускать здесь, за границей, но для России ежемесячное "Современное обозрение". Книжками листов по пять. При этом, чтобы не отпугивать читателей, на обложке не должно стоять ничего социал-демократического. Основной материал он и Туган-Барановский будут присылать из Петербурга.
"Материал из Питера... Соблазнительно". - Владимир Ильич переглянулся с Потресовым и Засулич, сказал Струве:
- Ваше предложение мы можем принять при двух условиях: если "Современное обозрение" явится приложением к "Заре" и если материал, поступающий от вас, Петр Бернгардович, вы позволите использовать для "Искры".
- Едва ли может пригодиться. Вашу "Искру" многие в России хотели бы видеть популярной газетой.
- Она прежде всего марксистская газета. И мы охотно будем использовать для нее то, что подойдет.
- Благодарю покорно! - поморщился Струве и снова сел, на этот раз забыв откинуть фалды. - Пользуясь моим материалом, вы в своей газете, более оперативной, как я полагаю, начнете разделывать меня - э-э - под орех. - Побарабанил пальцами по столу. - Ну, нет. Не для этого я приехал. - Пошевелил бороду. - По дороге сюда лелеял план о совместном выпуске брошюр. И могу сказать: одна рукопись у нас уже готова к отправке в типографию.
- Какая же? О чем?
- А к чему это знать? - Нина Александровна, побагровев, глянула из-под бровей. - Если бы мы договорились в принципе... А так - пустой интерес с вашей стороны.
- Брошюры - это заманчиво, - поспешил на выручку Потресов.
- Надо с Жоржем посоветоваться, - сказала Вера Ивановна.
- Вот это другой разговор, - подхватила Нина Александровна, успокаиваясь. - По-деловому.
- Посоветуемся со всеми. С Павлом Борисовичем. С Юлием Осиповичем. Он обещается приехать в ближайшие недели. А пока, - Владимир Ильич обмакнул перо в чернила, - все запишем по пунктам.
- Мы предлагаем сотрудничество как равноправные стороны.
- Какие же? С одной стороны, "ортодоксы", а с другой?
- Демократическая - э-э - оппозиция, если вам это угодно записать.
"Он убедил себя в нашем бессилии и диктует нам условия сдачи. Вот нахал! - У Владимира Ильича прорезалась меж бровей резкая черта. - А наши добряки подымают руки, выкидывают белый флаг. Возмутительно!"
- Пусть не пугает вас слово "оппозиция", я же подчеркнул "демократическая", - продолжал Струве и ткнул пальцем в полуисписанный лист. - Наличие оппозиции всегда благотворно. Это вам подтвердит - э-э любой парламентарий, скажем английский.
Тут не выдержала даже Вера Ивановна, бывавшая в английской палате общин на галерее для публики, ее большие серые глаза вдруг потемнели, как темнеет небо, когда с потрясающей быстротой надвигается грозовая туча, и голос зазвенел оглушающе резко:
- Ну, знаете, вы перешли все границы. - Вера Ивановна вскочила, кинула смятую сигарету в угол и рубанула воздух рукой, как секирой. - Не считайте нас такими наивными. Мы против оппозиции типа английского парламентаризма... У нас своя дорога...

Когда она утихла и провела рукой по усталому лицу, Владимир Ильич весомо опустил ладонь на стол:
- Могу добавить: "Искра" не пойдет на уступки.
- Мы подождем, - горделиво вскинул голову Струве. - Подождем, что скажет Георгий Валентинович.
- Вот с этим я согласна, - утихомирилась Вера Ивановна. - Для всех нас важно знать мнение Жоржа.
- Конечно! - обрадовался Струве, кончиком языка провел по губам. - А теперь бы нам всем вместе...
- Хорошо поужинать, - закончила за него Нина Александровна и перевела взгляд на Владимира Ильича. - Только всем. И без протокола, понятно.
Первой встала Вера Ивановна и, кивнув на Потресова, начала уже тихим и мягким голосом, который она сама называла птичьим, рассказывать петербургской гостье, что Александр Николаевич знает недорогой ресторанчик с хорошей кухней.
- Как видите, Peter von Struve, - улыбнулся Владимир Ильич с острой лукавинкой в глазах, - в этом наше с вами мнение полностью совпадает. И я готов дать слово, что не буду портить вам аппетит политическими разговорами.
На улице Потресов взял Ульянова под руку и тихо напомнил:
- У него деньги. На них можно наладить пересылку "Искры".
- Деньги?! Деньги, положим, не его, а Теткины. Она и так не откажется поддержать нас. Да и помимо нее можем достать. Вы не волнуйтесь.
Струве, идя между двух женщин, втолковывал Вере Ивановне:
- Для газеты материал я позволю использовать только с нашего разрешения. В каждом отдельном случае.
- Но, Петер, мы же скоро вернемся в Петербург, - напомнила Нина Александровна.
- Оставим своего - э-э - представителя. В крайнем случае, я могу согласиться на аккуратнейшую переписку по поводу каждой статьи, каждой заметки.
"Его нахальство действительно переходит всякие границы! - отметил Владимир Ильич, глядя на затылок Струве. - Но есть Плеханов... Приедет Юлий... Мы дадим от ворот поворот".
Ночью Владимир Ильич долго ходил по своей комнате из угла в угол, как, бывало, по тюремной одиночке. Его возмущению не было предела. Кто бы мог подумать, что в редакции "Искры", среди людей, опытных в борьбе и осмотрительных марксистов, Иуда найдет себе сторонников! Невообразимо. Дико. Тот самый Потресов, которому часто писал из Шушенского, у которого не однажды спрашивал совета... Честнейшая Вера Засулич... И вдруг они превратились в "Struve-freundliche Partei"*. Так неожиданно. Даже невероятно. Остался пока в одиночестве... И если еще Плеханов... И Аксельрод... А ведь нельзя приглушать искру, когда она только-только начала разгораться. Уступить Струве - значило бы сдаться на милость пресловутым "экономистам". Уступить бернштейнианцам... Нет и нет. Этому не бывать. Нельзя оставлять позиций. Ни в коем случае. Ни на одну минуту. Только наступать. И разрыв со Струве неизбежен. Закономерен. Полный и бесповоротный.

---

* "Дружественная Струве партия".

Владимир Ильич сел к столу и сделал подробную запись для Нади. Приедет - прочтет.
А Юлий приедет - сил прибавится. Ведь он же в свое время присоединился к Протесту семнадцати.
3
Плеханова ждали в Мюнхене уже не первую неделю, но из Швейцарии приехал один Аксельрод. Георгий Валентинович сослался на нездоровье. Мартов по-прежнему задерживался в России.
Струве и на этот раз пришел в сопровождении жены. Заседание было недолгим, но более жарким, чем предыдущее. Аксельрод с первых слов склонился к Потресову и Засулич, и никакие доводы не могли поколебать "дружественную Струве партию". Владимиру Ильичу не оставалось ничего другого, как записать в протокол свое особое мнение.
Обстановка в редакции осложнилась, и надежда оставалась только на Плеханова. К сожалению, довольно шаткая.

Садясь за очередное письмо к нему, Владимир Ильич снова вспомнил многодневные и тяжкие переговоры с Георгием Валентиновичем о составе редколлегии "Искры" и журнала "Заря". Плеханов держался высокомерно, всячески давал понять, что он желает быть единоличным редактором, что его не устраивают даже два голоса, которые пришлось пообещать ему. Временами казалось, что все потеряно, что "Искра" погашена. И кем? Плехановым! Ужасно! Чудовищно! И от ореола Плеханова не осталось следа. Тогда спрашивал себя: что делать? Уезжать ни с чем? Выручила Засулич, заявившая, что она согласна переселиться в Мюнхен. Плеханов сразу смягчился и попросил Розалию Марковну приготовить кофе.
А что ответит на известие о переговорах со Струве? Ведь еще недавно он, Георгий Валентинович, так блестяще, по-марксистски убедительно выступал против бернштейнианцев и российских "экономистов". А сейчас? На чью сторону он встанет в редакции?..
И перо Владимира Ильича быстро-быстро бежало по бумаге:
"...Дело слажено, и я страшно недоволен тем, как слажено. Спешу писать Вам, чтобы не утратить свежесть впечатления".
И сразу же - об Иуде, который ловко обошел половину членов редколлегии. Трое единодушно встали на его сторону. Трое против одного! А план его сиятельства Иуды ясен: он намерен оттереть не только тяжеловесную "Зарю", но и "Искру". Он человек обеспеченный, пишущий много, имеющий хорошие связи, и материалом он, вне сомнения, задавит, займет девяносто девять процентов журнальной площади, а они, искровцы, - при этом Владимир Ильич подумал о Потресове и Аксельроде, - лишь изредка смогут давать в "Современное обозрение" кое-что; для своей газеты и то, видите ли, не успевают писать. Иуда располагает деньгами, и в "Современном обозрении" он будет чувствовать себя хозяином, и им придется бегать по его поручениям, хлопотать, корректировать, перевозить. Он же, не теряя времени, сделает на этом великолепную либеральную карьеру.
Теперь им, искровцам, остается выбирать одно из двух. Или "Современное обозрение" будет приложением к журналу "Заря", тогда оно должно выходить не чаще "Зари", с полной свободой использования материала для "Искры". Или они продают право своего первородства за чечевичную похлебку, а Иуда будет кормить их словечками и водить за нос.
Бросив перо, Владимир Ильич стукнул кулаком, будто поставил печать в конце письма; распахнув пиджак, прошелся по комнате.
Да, чтобы хорошо узнать человека, надо съесть с ним пуд соли! Никогда не думал, что так трудно будет работать в редакции бок о бок с людьми, которых издавна привык ценить и уважать, считал столпами марксизма, не сдающими боевых позиций ни на одну пядь. Оказалось - ошибался, восхищаясь их прежними заслугами. Не подозревал, что могут пойти на компромисс. И с кем?! С Иудой! Предать "Искру", добытую из кремня с таким трудом! Остается еще известная надежда на двоих. Приедет Юлий. Плеханов пришлет ответ на это письмо... А если и они?.. Если пятеро выскажутся "за"?.. Один против пятерых! Тогда... ради спасения "Искры" он подчинится большинству, но только наперед умоет руки.
А пока... Он не будет подписывать соглашение. Затянет дело на неделю, на две. Быть может, на месяц. Если удастся, на полгода. Той порой что-нибудь да переменится.
Владимир Ильич вернулся к столу, закончил письмо и снял с него копию, чтобы приложить к протоколу последнего заседания как заявление о его решительном протесте.
Откинулся на спинку стула. Ощущая острую боль в голове, потер виски горячими пальцами. Нет рядом Нади. Не с кем поговорить по душам. Нет здесь близкого человека, который понял бы его.
Даже преданнейшая революционерка Вера Засулич... Невероятно. Равно какому-то наваждению.
И все же он не может относиться к ней по-иному. Уважал и будет уважать редкостную женщину. Хотя революционное движение уже пробудило и каждодневно пробуждает к активной деятельности многих других, не менее преданных, быть может более стойких, Засулич остается в первых рядах.
Плеханов не внял призыву. И даже счел нужным предостеречь: "разрыв со Струве теперь погубит нас".
Владимир Ильич по-прежнему оставался в одиночестве... Он сделал лишь единственную уступку - сдал в набор статью Струве о самодержавии и земстве, которую тот успел всучить. Она, как все в "Искре", пойдет без подписи.

И с еще большим нетерпением Владимир Ильич стал ждать приезда Нади и Мартова. В позиции жены он не сомневался.
Про себя решил: пока он подписывает "Искру" и "Зарю", вход для Иуды и его компании будет закрыт на все замки, как бы ни сопротивлялась "дружественная Струве партия" внутри редакции. И он выберет время для статьи в "Зарю" о гонителях земства и аннибалах либерализма, в которой пройдоху Струве "разделает под орех".
4
Был на исходе февраль 1901 года. Ульянов и Блюменфельд сели в поезд, идущий в Вену. Иосиф Соломонович вез два чемодана, в их стенках и под двойным дном - "Искра". Владимир Ильич ехал в австрийскую столицу, чтобы поговорить с консулом о паспорте для Нади.
Скоро день ее рождения. Хотелось, очень хотелось поздравить ее. А как? О телеграмме и думать нечего. Даже письма послать нельзя. Только через того уфимского земца, малознакомого человека. А аккуратен ли он? Не побоится ли передать? И дошла ли книга, в переплет которой была запрятана "Искра"? Сколько ни задавай себе тревожных вопросов, все останутся без ответа. Пока не приедет Надя.
А ей остается провести под надзором еще двенадцать дней. Да сборы в дорогу... Да остановки в Москве и Питере... А вдруг там ее обнаружит полиция?.. Опять - арест. За самовольное посещение столицы!.. Лучше бы не думать об этом... А не думать он не может.
Если все благополучно, Надя приедет в середине апреля. Не раньше.
Зато сколько будет новостей! О друзьях-товарищах, о кружках и комитетах, о веяниях и настроениях. И, главное, о новорожденной газете. Надя непременно узнает, что говорят об "Искре" рабочие.
Ролау не вернулся, и на душе тревожно. Похоже, что на границе жандармы схватили его. Если так, то все три тысячи экземпляров первого номера "Искры" попали в руки полиции. Очень похоже... Что же тогда?.. Переиздавать?
Да, если понадобится. Хотя в кассе и без того - швах.
На венском вокзале Владимир Ильич расстался с Блюменфельдом, простившись коротким, как бы мимолетным, взглядом, мысленно пожелал ему по-охотничьи ни пуха ни пера.
А через три недели в очередном письме Владимир Ильич поделился с Аксельродом большой радостью: Фельд едет обратно! Благополучно исполнил все поручения. Второй номер "Искры" пользуется в России успехом. И уже обильно идут корреспонденции. Из всех краев страны.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Ходили коробейники по "ситцевой вотчине" фабрикантов Морозовых, ходили в зимнюю пургу и в летний зной, в апрельскую ростепель и в октябрьскую непогодицу. Пели коробейники издавна полюбившуюся песенку:
Ой! Легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка
Бирюзовый перстенек.
Ходили от фабрики к фабрике, от одной рабочей казармы к другой. За ними посматривали городовые и жандармы, переодетые шпики и хожалые полицейские-надсмотрщики. Не было ходу коробейникам дальше проходных ворот, не позволялось им ступить через порог фабричных казарм.
И коробейники сзывали покупательниц на крыльцо:
Эй, Федорушки! Варварушки!
Отпирайте сундуки!
Выходите к нам, сударушки,
Выносите пятаки!..
Есть у нас мыла пахучие
По две гривны за кусок,
Есть румяна нелинючие
Молодись за пятачок!
А у сударушек в руке - по медному алтыну. Они обступали скинутый с заплечья лубяной короб, крикливо рядились, выбирая то крестик новорожденному, то ленту дочурке в косу, то себе

гребенку. И лишь перед большими праздниками, когда молодайки шили ситцевые обновки, разорялись на пуговицы, крючки и на аршин узеньких кружев к кофте на оборку.
Коробейники не горюнились от незадачливой торговли, привычно вскидывали на загорбки обветшалые короба и, постукивая батогами, брели дальше.
В начале 1901 года неведомо откуда появился среди них один неторопливый, дольше остальных засиживался где-нибудь на крылечке. Продав товару на копейку, пускался в долгие разговоры. И чаще всего со стариками да старухами, нянчившими внуков. Серая, будничная фабричная жизнь почему-то занимала его до последних мелочей, словно сам собирался наниматься или в кочегарку, или красильщиком в цех: и сколько платят хорошим ткачихам и девчонкам-недоросткам, и велики ли штрафы за минутное опоздание, и много ли вычитают за каморки да углы в казарме, и где проводят роженицы свои мучительные часы - все ему обскажи до тонкостей, всю жизнь поднеси, как на ладошке.
Чудной! До всего есть дело да интерес, будто повстречался с родственниками, которых не видал десятки лет.
Был он моложе других коробейников, лет так под тридцать, с крепкими плечами, с широкими сильными руками - ему бы не то что в красильню, а в кузницу молотобойцем. Управился бы с любой кувалдой! И лицо у него отменное - бородка махорочного цвета, маленькая, знать, недавно распростился с бритвой, глаза добрые, острые и по-свойски заботливые.
Ко всему приглядывается и мотает на ус.
А с молодайками, только-только отработавшими смену на фабрике, разговаривает с осторожностью - опасается: не приревновал бы какой-нибудь ухажер да не поднял бы шум, на который может припожаловать околоточный: привяжется с расспросами да еще, чего доброго, отведет в участок.
У молодого и короб-то особенный: даже иконы есть! И все маленькие, недорогие, по достатку фабричных. Тут и Серафим Саровский, и Сергий Радонежский, и Никола-чудотворец, и богородица-троеручица. Даже для упокойников бумажные венчики припас! Отдельно для православных, отдельно для староверов. Видать, разузнал, что корень у Морозовых - из староверческого закала и стекаются к ним на фабрики из убогих лесных деревушек молодые приверженцы старой веры, впавшие в бедность. И даже с ними находил для разговора какие-то стежки-дорожки. Вот какой коробейник стал навещать морозовскую фабричную вотчину! Как же не поостеречь такого? Бывало, из-за дальнего угла покажется городовой или хожалый да навострит шаги в сторону казармы, как тотчас же кто-нибудь толкнет коробейника незаметно в бок: дескать, поостерегись, добрый человек! Вскинет он быстренько свой короб, приподнимет шапку на прощанье и тем же мерным шагом, каким припожаловал к казарме, скроется с глаз.
И только самые надежные люди, в избах которых он останавливался передохнуть, выпить чайку или переночевать в непогоду, знали, что под иконками да венчиками для покойников запрятаны листки с лиловыми строчками и запрещенные книжки, в них заботливые люди, прозванные начальством "смутьянами", клянут хозяев за обиральничество, царя - за казачьи нагайки да тюрьмы, а фабричный люд зовут к забастовкам, к борьбе за восьмичасовой рабочий день, за свободу и волю. Смекалистый коробейник!
Кто он? В каждом фабричном поселке лишь кто-нибудь один, из надежных надежный, знает, что его зовут Богданом, что он - агент подпольной газеты "Искра". А откуда привозит листовки, и какое имя было дано ему при крещении, и какая фамилия была записана в неподдельном паспорте - никому знать не положено. И никто об этом не спрашивал.

2

Возвращались коробейники глубокой ночью. Шли по сонному морозовскому лесу. Под ногами хрустел свежий снежок. Сквозь густые ветки сосен прорывался лунный свет, шарил между деревьев, будто отыскивал кого-то.
Бесшумно пролетела сова на мягких бархатных крыльях, и где-то недалеко пискнула настигнутая мышь.
Шли без песен.
Тот, что был моложе всех, - коробейники звали его Василием, - не умолкал ни на минуту. Старался говорить нараспев по-владимирски. Сегодня у него с руками отрывали медные кольца - фабричные спешат до конца мясоеда сыграть свадьбы. На масленице подскочит спрос на ленты, а в великий пост на лампадки. Для староверов добыть бы где-то лестовки, простенькие ременные, подороже - с бисером, пусть старухи грехи замаливают.

- Не худо бы, робятушки, иконочки медные, ась? Вот и я кумекаю: Георгия бы Победоносца, повергающего змия. Где бы закупить побольше, подешевше, да такого, штоб на загривке таскать полегше?
- Тебе-то што?! Дюжой мужик! Ни под каким коробом, чай, не согнешься. Хоть до краев одними Егориями загрузи! Дал бог силушку! Нам бы уделил малую толику.
- Молитесь поусерднее Миколе-батюшке. Он милостивый: силенок-то прибавит.
Рассказывали друг другу о невзыскательных владимирских богомазах, наторевших малевать дешевенького Николу-чудотворца - в фабричные каморки такой годится, припоминали и московский Никольский рынок - лавчонки возле Китайгородской стены, где можно до самой пасхи запастись картинкой о великомученице Варваре и царскими портретами.
Потом молодой перевел разговор на минувший день: была ли прибыльной торговля? Что довелось увидеть и услышать от покупателей? Как живется им в морозовской вотчине? Не одолевают ли хвори да недуги?
- Ох, нагляделся седни! - принялся рассказывать старый коробейник с бородой, похожей на мочальную кисть. - Фабричная баба посередь улицы разродилась! Прямо на снегу! Робенок криком исходит, баба тошней того орет. Губы в кровь искусала, посинела вся - чуть живая!
- И как же это она... Недоноска, што ли?
- Где приключилось-то?.. Обскажи порядком.
- Возле фабрики Морозова. Почитай, в десяти шагах от больницы-то его... Сижу я на крылечке, товарец свой в короб, стало быть, укладываю. Смотрю - идет бабеночка, ноги едва переставляет. Брюхо вот такое, быдто барабан несет. Черняввенькая, совсем молоденькая, годков восемнадцать. Чай, не старше. С одного глаза видно - попервости в тягости-то ходила.
Коробейники остановились, достали кисеты, свернули по косушке, прикурили от одной спички.
- Просчиталась она, что ли, черняввенькая-то? И шла одна-одинешенька?
- Как есть одна. Чай, некому было провожать-то... Ну, зашла она с грехом пополам в больницу. Я вот едак же закурил, стало быть. Только раз али два успел затянуться... Гляжу - ворочается. Вся слезами улитая. Ступенек не видит. Шагнет еще разок - повалится. Я вот таким манером ее под ручку: "Отчего, спрашиваю, они тебя, бабонька, вытурили? Как собачонку паршивую". Она мне ответствует, как ей сказал дохтур: "Рано, говорит, ты заявилась. На даровые хозяйские харчи. Принимам, говорит, только за два дня".
- Негодяи!.. Но ведь видно же...
- Как не видать?.. Мне и то было явственно. Хотел я ту бабочку проводить, а она крепиться начала: "Я, говорит, дедушка, как-нибудь добреду. Тут, говорит, близехонько". Сами знаете, до казармы рукой подать. Отпустил я, стало быть, ее, а глаз не свожу. Ее быдто ветром пошатывает. Шла она, шла и вдруг за брюхо схватилась: "Ой, матушки!.. Смертонька!.." И опрокинулась, как ржаной сноп на поле. Я тем же махом - в больницу. Сполох поднял. Кричу: баба тамока, чай, богу душу отдает! Дохтур-то, коему больница-то Савушкой на откуп сдана, в одночасье побелел. Глазами на фельдшера зыркнул. Тот в белом халате, стало быть, как покойник в саване, на улицу. Там уже и народ сбежался. Одна старушка робенка-то в шаль завернула. А мы роженицу несем. А дохтур-то, в шубе на хорьковом меху, в бобровой шапке, на крыльце стоит, руками отмахивается: дескать, разродилась, так несите домой. Им она, чай, ни к чему теперича. Класть, говорит, некуда - слободных кроватей нет.
- А как его звать?
- Бес его знает. По фамилии, сказывают, какой-то Базелевич...
- Ба-зе-ле-вич, - повторил молодой. - Такого прохвоста следует запомнить.
Коробейники простились на росстанях. Два старика направились в какую-то деревню, молодой пошагал в сторону маленького городка Покрова. Называл он его ласково - Покровок. Но будет ли этот город ласковым к нему, новому жителю, пока не был уверен. Правда, обнадеживало то, что добрая половина его обитателей - фабричный люд. Знал, в каком они ярме, а все же завидовал им. Сам пошел бы на фабрику, если бы мог. Иваново-вознесенские жандармы, надо думать, уже получили бумагу: искать такого-то, приметы: "Роста невысокого, лицо открытое, волосы светло-русые, зачесаны назад, усы..." Теперь у него прическа изменена на косой пробор, отросла бородка, такого же махорочного цвета, как усы. Не однажды спрашивал себя: не покрасить ли их для большей безопасности? Но ведь это ненадолго, пройдет каких-нибудь недели две, и возле самой кожи опять пробьется тот же светлый волос. Вот тогда-то для жандармов будет подозрительно: коробейник ли он? А так можно жить без особого опасения:

свою "легенду" он запомнил слово в слово - может в любое время, если стрясется беда, рассказать придумку не только о себе, но и об отце с матерью, о дедушках и бабушках. Пока ему ничто не угрожает. Но он готов к худшему. И Прасковья это знает "легенду" может подтвердить. Авось доживут они в Покровке до начала больших событий, тогда сразу махнут в Иваново-Вознесенск, в Москву или вот было бы хорошо-то! - назад в Питер. Партия скажет, где они будут нужнее.

А переезжать им не привыкать: еще года не прошло, а они уже - на третьем месте. Из екатеринославского жандармского невода удалось выскользнуть. После этого жили в Смоленске. Потом несколько месяцев один перебивался в Полоцке. Без особой пользы. Только для того, чтобы увернуться от филеров. Они знают Ивана Васильевича Бабушкина, вне сомнения помнят кличку "Богдан", но теперь у него паспорт "благонадежного лица".

Смоленск есть чем вспомнить: без всяких затруднений поступил кладовщиком на строительство трамвая, который все еще навеличивают "электрической конкой". И вначале никто за ним не присматривал.

В это-то благополучное время и наведался к нему питерский Старик. Вот была нежданная радость! Вспомнили кружок за Невской заставой, первые листовки, первые стачки, вспомнили вечерне-воскресную школу, в которой одной из учительниц была Надежда Крупская. Где она сейчас? Оказывается, все еще отбывает ссылку. В Уфе. Старик как раз собирался за границу основывать теперешнюю партийную газету "Искру". А жена... Что будет с ней? Выпустят ли оттуда? Удастся ли ей получить заграничный паспорт? Может, придется переходить границу нелегально? Рискованно.

Прасковья вскипятила самовар и, чтобы не мешать разговору, ушла в лавку за покупками.

Владимир Ильич, помнится, навалился грудью на стол и, глядя в глаза, сказал:

- Вы, товарищ Богдан, будете очень и очень нужны и полезны нам здесь. Если удастся, устройте склад для "Искры". Будете рассылать по соседним губерниям. Договорились?

- Сделаю все... - Оглянулся на стены, понизил голос: - Все сделаю, Владимир Ильич.

- В письмах за границу не называйте меня так. Ни в коем случае. И адрес вам будет дан промежуточный. Мне перешлют. А где я буду - об этом молчок. У полиции даже за границей - глаза и уши.

- Понятно. Надежда Конст... Извините - Минога учила нас.

- Как же, как же, помню. Вы у нас - старый конспиратор. Но всегда нужно быть начеку. Уговоримся: заметите слежку - оставляйте здесь "наследника" и немедленно уезжайте. Вы должны, - Владимир Ильич постучал пальцем по кромке стола, - непременно уцелеть. Во что бы то ни стало уцелеть. Куда ехать? Скажем. Связного найдем. Через Москву. Там будет наш агент. А вам бы лучше - в самое рабочее горнило. В "Русский Манчестер" - в Орехово-Зуево, в Иваново-Вознесенск. Или куда-нибудь поблизости. Согласны? Так и будем знать.

- Но мне, видимо, придется окончательно перейти на нелегальное положение.

- Да. Именно об этом я и собирался с вами говорить. Для партии сделаете больше. И для вас безопаснее. Конечно, относительно.

- Липой я уже запасся. И добренькой. Принимают за благонадежного.

- Н-да. И надежную липу, когда это возможно, остерегайтесь давать на прописку... - Владимир Ильич встал, положил ему руку на плечо. - Вам, товарищ Богдан, пора стать профессиональным революционером. При этом, само собой разумеется, потребуются деньги. Обещаем вам... Ну, тридцать рублей в месяц. Хватит?

- Проживем.

- Большего мы не можем обещать: дорога каждая копейка. И добывать деньги будет ой как нелегко! Но вам - гарантия. - Приподнял указательный палец. - И это не все.

- Слушаю, Владимир Ильич... Здесь-то вы уж позвольте мне пока называть вас так.

- Только здесь. Между нами. И - ни одной душе... Так вот, товарищ Богдан, от имени редакционной коллегии, которая скоро будет создана, я прошу вас писать нам о рабочей жизни и борьбе. Елико возможно, чаще. И, елико возможно, больше. Мы рассчитываем на вас, надеемся на вас. Вы - наш рабочий корреспондент. До говорились? - Пожал руку. - Вот и отлично! Буду ждать!

"Да, он ждет там, а я еще... - упрекнул себя Иван Васильевич, шагая по пустынной дороге к Покрову. - Раскачиваюсь тут. Одно оправданье - край для меня новый, не знал, о чем писать. Но постараюсь наверстать".

Дома рассказал жене о роженице. А когда Прасковья Никитична укрылась пестрым одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, и заснула, достал лист бумаги, взял карандаш, тупым концом почесал за ухом и начал:
"Постараюсь описать больницу для рабочих Саввы Морозова. Больница находится около чугунолитейного завода (завод служит для фабрики) и жилых рабочих помещений (казарм). Место вредное и для жилых помещений, а для больницы тем более. Морозов сдал свою больницу за известную сумму одному эскулапу, доктору Базелевичу. С больными доктор Базелевич обращается как настоящий живодер... Чаю и сахару больным не полагается, а есть только кипяток, и тот только до шести часов вечера... Лечение в больнице возмутительное - одной водой и дешевенькими порошками. Сам Базелевич очень редко принимает больных. Он нанял двух врачей, а сам только следит за выдачей лекарств... Наше здоровье, наши силы превратились в частицу морозовских миллионов".
Упомянув о роженице, остановился, задумчиво пригнул кончик уса, помял его в губах. Рассказать о больнице - этого мало. Вначале надо о жизни, о труде, о рабочем движении. У Викулы и Саввы Морозовых - двадцать пять тысяч человек. Великая сила! Если ее направить в нужную сторону. А как? Кружки, комитет - все будет со временем. А пока жизнь тихая да сонная. А сонность эта от умственной голодовки. Литературы мало, можно сказать совсем нет. Короб-то пустоват. Да!
Снова почесал карандашом за ухом. Завтра он еще раз сходит на фабрики, поглядит, послушает разговоры в хозяйских магазинах, а уж потом перепишет чернилами. И отправит не из Покровка, не из Орехова, а... Лучше всего - из Москвы. И литературой запасется там.
Открыл люк в подполье и все бумаги уложил в тайничок, где хранилась "Искра".
3
Ходили коробейники по "Русскому Манчестеру", пели зазывные песенки...
И не впервые коробейник с бородой махорочного цвета дошел до Иваново-Вознесенска. У проходной самой крупной фабрики смешался с толпой мастеровых, отработавших смену. Разговаривая, присматривался к заскорузлой одежонке, закапанной краской, и к бледным ввалившимся щекам. У самых молодых ткачих, судя по говору не так давно пришедших из деревни, поблек румянец, в горле - хрипота. Видать, немало на фабрике чахоточных.
Перекидываясь шутками да прибаутками, дошел до женской холостой казармы, продал несколько гребенок, продал медные перстеньки да сережки с петухами.
Тайком от хожалого парни завели коробейника в свою казарму. Остановился он в длинном коридоре, огляделся в полусумраке: по обе стороны - двухэтажные кровати, каждая во всю длину разделена доской лежанка для двоих. Между кроватями проход шириной в аршин, столик - на четверых.
- Тесновато, ребятушки! - не удержался Бабушкин. - Как селедки в бочке!
- Люди сказывают, - откликнулся парень с рыжими вихрами, - хуже, чем в тюрьме. А хозяин гребет за место по две копейки с заработанного рубля!
- И сколько же это в месяц?
- Само мало - три гривны. Кому жаль - выметайся из холостой казармы.
- Ну, а ежели в семейную? Жениться и...
- Гы-гы!.. Бабу не прокормишь! А она тебе насыплет голодных ртов!.. Нет, уж лучше тут мыкаться. На перекладных. Ты бы нам, торговый человек, приворотного зелья принес для девчонок, а? Не поскупились бы на пятаки.
- А грамотные у вас есть? Читаете что-нибудь?
- Ты што, листки принес? Так за них, знаешь?.. Как щенка на веревочку!
- У меня только венчики для покойников.
- Грамота нам ни к чему, - выдвинулся вперед мастеровой постарше. За нее не приплачивают. А кто обучен - читать не дозволяется. Хожалый-то сразу возьмет на заметку. И подведет под расчет. А того хуже - в острог!
- Читать? Гы-гы. Да мы тут лбами друг о дружку стукаемся...
Парни купили перочинные ножи да расчески, проводили коробейника в семейную казарму. Там в каждой каморке жило по три семьи: две внизу по углам, третья на полатях. Бабы выбирали себе пуговицы да крючки к кофточкам, мужики крученые праздничные пояски с кистями. На расспросы коробейника отвечал вполголоса пожилой красильщик:

- У нас ничего. У нас, браток, жить можно. А вот в Богородске мы робили у Захарки Морозова - не приведи осподь. Тот живого сглотить готов. Ходит, проклятуший, меж станков с плеткой за голенищем. За малую провинность хлесть да хлесть. А жаловаться не побежишь - у него вся полиция подкуплена. Да, брат...
Рассказчик неожиданно умолк, прислушался и - шепотом:
- Хожалый, собака, приперся. Уж не по твоему ли следу? Ничего, браток, не дадим в обиду. - Стукнул соседям в тесовую перегородку. - Бабы, не плошайте!.. - И опять - пришлому: - Сейчас они захороводят его, а ты наутек.
Ткачихи выбежали в коридор, окружили кудрявого парнюгу со шмыгающими глазами, загомонили, как грачи, оберегающие гнезда от беркута, и заманили в дальнюю каморку.
- Ходу, браток, ходу! - шептал красильщик, шагая за коробейником по коридору; у выхода подмигнул: - Заходи в другой раз, ежели ты... с хорошим коробом. Я маленько грамотный. А тебя обережем. Не сумлевайся.
4
В конце дня коробейник шел по Вознесенской улице, забрел в магазинчик фабричных лоскутьев; сняв мерлушковую шапку, поклонился хозяину, попросил разрешения погреть руки о черный кожух жарко натопленной голландки. Поставил палку в угол, слегка отогретые ладони приложил к щекам; переминаясь с ноги на ногу, постучал валенком о валенок:
- Ну и морозяка нонича! До костей прокалыват! Хиуз дурмя лютует - с ног валит! - сыпал словами, от которых сам давно приотвык. - А ишо похваливают месяц-то: "Февраль - бокогрей". Мерзлючья лихоманка он - вот што.
Глянул на стеклянную перегородку, за которой сидела молодая, как гимназистка, конторщица, беленькая, с волнистыми волосами, заплетенными в длинную косу.
"Жив наш Зайчик! - отметил коробейник. - Слава богу, миновали его жандармские набеги".
Заметив знакомого человека, конторщица резко сбросила костяшки на счетах и тут же начала быстро пересчитывать. Коробейник ловил каждый звук: раз, два, три; раз, два, три. И снова взмахом ладони девушка сбросила костяшки, будто сбилась со счета. Потом, уткнув левый указательный палец в широкую конторскую книгу, правым стала передвигать костяшки неторопливо и сосредоточенно.
Коробейник облегченно вздохнул, сказал хозяину с поклоном: "Спасибичко за обогрев" и, нахлобучив шапку на уши, вышел из магазинчика. Потоптавшись у крыльца, будто гадая, в какой стороне его ждет удача - в Рылихе или Голодаихе, стукнул палкой в укатанную дорогу, перешел по мосту через речку Уводь и пошагал по улице, которая вела на окраину города, где жила молоденькая конторщица...
...Минувшей осенью Глаша Окулова распростилась с родной деревней Шошино и с зеленоводным Енисеем.
Когда плыла на пароходе в Красноярск, думала: доведется ли еще когда-нибудь увидеть эти берега, эти сопки в зеленых папахах кедровников? По своей воле - едва ли. А невольно...
Если случится снова такая напасть, полиция турнет куда-нибудь подальше от родных мест.
Весь окуловский выводок, как говорят охотники, поднялся на крыло. Все разлетелись в разные стороны, в дальние края. Опустел громадный дом. Глаша долго уговаривала мать расстаться с последними приисками, записанными еще до банкротства самого золотопромышленника Ивана Окулова на ее имя, но не могла ее поколебать. Мать повторяла свое: разлетелись дочери и сыновья из родительского гнезда, а все равно младшенькие без ее помощи не могут прожить.
Поезд мчал Глашу на запад, все дальше от родных мест. На станции Тайга она повидалась с Кржижановскими, в Уфе заехала к Надежде Константиновне. От нее - к Старухе, как называли Московский комитет партии.
У Старухи ей дали явку в Иваново-Вознесенск, сказали - там работает Панин, которого она знала по его ссыльным годам. Но, когда Глаша пришла там в дом сапожника, пожилая женщина с красными воспаленными веками, с серыми, как печеная картошка, щеками замахнулась на нее веником:
- Да провалитесь вы все в тартарары!.. - Увидев растерянность в глазах девушки, чуточку подобрела. - Счастье твое, што вчерась засаду из дома убрали: прямиком бы - в острог.
Панина Глаша не нашла. Позднее слышала, что есть в городе какой-то подпольщик, которого зовут Гаврилой Петровичем. Может, он и есть? Никто не мог ответить.

Вспомнила запасную явку к рабочему Ивану Петровичу Мокруеву. К счастью, тот уцелел. Он знал еще двоих. Встретились все четверо и вскоре возродили комитет.

Глаша продала золотой медальон, отцовский подарок, и сняла избушку в конце тихой Афанасьевской улицы, нашла урок у фабриканта Галкина за восемь рублей в месяц, находился и второй урок, но она не согласилась за десятку, просила с купчины пятнадцать. И просчиталась. Хорошо, что подвернулась за те же пятнадцать конторская работа. Жить можно! Она - самостоятельный человек, ни от кого больше не зависит. Она на своих крыльях. Матери написала, чтобы не переводила ни копейки.

Мокруев отыскал надежного мальчугана. Тот стал покупать для них в аптеках маленькими толиками глицерин и желатин. Сварила густую массу, вылила в противень. И сразу - удача: не гектограф - чудо. Сняли больше ста оттисков!

Вот она - первая листовка! Хотя и коротенькая, но написана своей рукой. И все главное в ней есть: и проклятия хозяевам за их прижимки, и призыв к борьбе за восьмичасовой рабочий день, и смелый лозунг: "Долой самодержавие!"

Эх, если бы не опасалась за сестер, отправила бы им листовку по почте в Киев! Но нельзя рисковать.

Тот же мальчуган с каким-то своим товарищем среди ночи расклеил листовку на заборах и домах.

Утром, когда пришли на работу, увидела - приказчик ножом соскабливает листок с двери. А хозяин ходил по крыльцу и потрясал кулаками:

- До чего же обнаглели, окаянные!.. Своими бы руками их!.. В бараний бы рог!..

Идет коробейник по крайней улице, из двора во двор, из дома в дом; идет - напевает песенку:

Опорожнится коробушка,
На покров домой приду
И тебя, душа-зазнобушка,
В божью церковь поведу!

Дымят фабричные трубы, мажут небо сажей. Их несколько десятков, и дым, сливаясь, колышется хмурой тучей, оседает на город. Снег давно утратил белизну, улица стала черной, как в весеннюю бездорожицу.

Уже нет домов - одни убогие избенки, крытые соломой, как в деревне, да едва заметные землянки, утонувшие в сугробах.

Вот и крайняя избушка с двумя покосившимися оконышками, над трубой вьется дымок, - хозяйка уже дома. Услышала песенку и, накинув шаль на голову, выбежала за калитку, стала зазывать:

- Заходите, добрый человек!.. Мне бы мыло да гребеночку.

- Все отыщется в коробушке. Есть медны кольца, есть бирюзовы перстеньки.

Пригнув голову, Бабушкин вошел в избушку, осмотрелся, - надежно ли задернуты шторки на окнах? - сел на лавку, стал выкладывать на стол пуговицы да клубки разноцветных ниток. Не теряя ни минуты, расспрашивал:

- Как тут у вас? "Зайчиков" никто не беспокоит? "Охотников" не видно?

- Где-то кружатся неподалеку... Но мы живем - не тужим. - Отодвинув кирпич, Глаша достала из-под печки листок. - Вот наша работа! Отдайте в Москве Грачу. Собирались - вторую, да вышла задержка. Из-за нашей неопытности.

- А что такое? Не помочь ли в чем-нибудь?

- Принялась я смывать первый текст - полное ведро воды. Куда ее? На помойку. Выплеснула и чуть не вскрикнула - сугроб-то стал лиловым! Околоточный пройдет - увидит. Начала забрасывать свежим снегом - тоже подозрительно.

- Поосторожнее надо. У жандармов глаза наметанные.

- Как у гончих собак, - подтвердила Глаша, подошла к столу, взяла гребенку, то сгибая, то разгибая ее, продолжала рассказывать: - Пора бы уже вторую листовку, и я бы написала, но... Чтобы снег не пачкать, надо снова варить гектографическую массу. Побежал наш мальчуган в аптеку, а там ему - вопрос: "Зачем тебе столько глицерину? Покупал недавно. Куда деваешь?" Тот, слава богу, нашелся: "Мы, - говорит, - им робенка мажем".

- Молодец парень! - Иван Васильевич поднял глаза от короба. - А аптекарь-то, видать, неспроста спросил. Вам бы лучше перебраться загодя в другой городок. Я поговорю с Грачом.

- Мне сейчас не хочется переезжать, - сказала Глаша, закинула косу за спину. - В другом месте все сначала... А тут как-никак есть уже знакомые люди. Май бы здесь отпраздновать. Листовку мне сестра везет из Киева. Типографскую!
- И я принесу. Обещаю общероссийскую. Из-за границы!
- От "Искры"?! Вот бы хорошо-то!..
Бабушкин снова уткнулся глазами в короб, порылся под связкой староверческих лестовок, под пачками бумажных венчиков для покойников и откуда-то со дна извлек "Искру".
- Второй номер? Спасибо, товарищ Богдан!.. А вы знаете - я ведь с Ильичем-то встречалась...
- Ну, ну, расскажите. О нем интересно знать.
Выслушав Глашу, Бабушкин предупредил:
- Только никому не говорите, что газета идет от него. И вообще поосторожнее. В городе болтают: "Появилась какая-то девица... Однако она шлепает листки-то..."

5

В Иваново-Вознесенске Бабушкин искал Руслана и Людмилу - городского судью Шестернина и его жену Софью Павловну, сестру Зинаиды Павловны Кржижановской, - не нашел. На последней квартире сказали: "Уехали из города". Бабушкин понял - успели до арестов.
Вернувшись домой мартовским вечером, написал в редакцию "Искры", что отвез первый и второй номер, что в Павлово отправит на дрезине. А потом тревожные строки:
"В Иваново-Вознесенск нужно 1 - 2 интеллигентных человека, потому что Окулову, - он зашифровал фамилию, - наверно, скоро возьмут. В Зуеве было бы можно распространить листки, но их негде и некому сделать, нелегальной литературы нет положительно никакой, тогда как почва тут подходящая".
А на следующее утро снова отправился коробейник в поход по "Русскому Манчестеру", по морозовской вотчине.

6

Глаша получила письмо из Тифлиса. По почерку на конверте узнала - от Курнатовского. Вздохнула: "Бедный, бедный Виктор Константинович!.. Все еще не может забыть... Ведь уже не раз давала ему понять, что равнодушна к нему. Писал бы лучше Кате в Киев, - она ждет. Хотя и знает его зарок: не связывать себя семьей, пока не восторжествует революция, а все же надеется. Вдруг он передумает и сердце повернется к ней... Ну что он нашел во мне? Что?.. - Посмотрелась в зеркало. - Белобрысая девчонка... Катя интереснее, умнее. И по годам они подходят друг другу. Кате пора обзаводиться семьей. А он... У Кати, не боясь обидеть девушку, попросил мой адрес. И вот осаждает письмами..."
Задернув занавески, села к столу, на котором коптила малюсенькая пятилинейная лампа, и начала читать:
"Милая Глафира Ивановна, получил две Ваши открытки. Они стали, по-видимому, Вашей специальностью, но я готов просить Вас писать их по-прежнему, лишь бы Вы писали почаще. Для меня в этих немногих строках всегда скрывается целый мир чувств, заставляющих душевно подниматься и смелее глядеть в будущее.
Взбудораживают они меня сильно - мне видится за ними Ваша жизнь, полная живого общения с неудержимо идущей вперед жизнью, и та порывистость, с которой вы отдаетесь этому великому идейному счастью сознанию себя, как части великого движения истории".
Глубоко вздохнув, опустила руки: "Что с ним делать? Добрый он человек. Жаль его. Но жалость не любовь. Я и сейчас могу ответить только из жалости: несколькими строчками на открытке. - Приподняла письмо. - Как он там?.. Один в незнакомом городе..."
Вырвавшись из Сибири, Курнатовский четвертую неделю жил в Тифлисе. Приехал туда с пятью рекомендательными письмами в кармане, но работы для него нигде не оказалось. Только на шелководной станции обещали "иметь в виду", когда... умрет старый и больной химик. Пока же Виктор Константинович перебивался самым пролетарским образом.
Не найдется должности - будет давать уроки.
Он, понятно, не мог написать о том, ради чего поехал на Кавказ. Там копится народный гнев. Там - Батум, куда приходят корабли из Триеста и Марселя. Матросы будут тайно привозить "Искру". Возможно, уже доставили первые номера, и Курнатовский роздал их своим новым друзьям, грузинским рабочим.
Глаша снова уткнулась в письмо. Виктор Константинович писал о глубокой поэзии нарождающейся новой жизни...

За окном скрипнул снег. Кто-то перелез через палисадник и осторожно приоткрывает ставню, чтобы подглядеть, что делается в избушке.
Девушка замерла. Что ей предпринять? Ни в коем случае не показывать растерянности.
И она твердым шагом подошла к окну, отдернула занавеску. Увидела: к стеклу прильнуло хрящеватое ухо, под ним погон полицейского. Сдвинув брови, крикнула:
- Зачем вы меня пугаете?
Соглядатай отпрянул от окна, переметнулся через палисадник, и топот подкованных сапог затих вдалеке.
"Один приходил? - Девушка прислушалась, сдерживая дыхание. - Кажется, один. Пока один..."
Глаша занавесила одно окно одеялом, ко второму положила подушку, развела огонь в печи и стала кидать все, что могло явиться "вещественным доказательством". Она спешила, опасаясь, что с обыском могут нагрянуть этой же ночью.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Восьмой месяц Лепешинские жили в тихом Пскове, в укромном домике с тесовыми воротами, с палисадником, в котором рос куст черемухи. В переднем углу они поставили на божничку старую икону богородицы-троеручицы, перед ней повесили лампадку, заправленную дешевым оливковым маслом, прозванным деревянным.
Накануне праздников лампадку зажигали, чтобы видел околоточный во время вечернего обхода улицы.
В свободные вечера Лепешинский играл с новыми знакомыми - мелкими чиновниками - в макао или преферанс по грошику. Изредка ему удавалось с каким-либо врачом или учителем гимназии отводить душу за шахматным столиком. Так он стал среди псковичей своим человеком.
В городе обреталось несколько "политиков", высланных под гласный надзор. С ними приходилось встречаться так, чтобы это не вызывало подозрений надзирателей.
В губернском захолустье не было ни студентов, ни рабочих, если не считать пекарей да пивоваров. Нечего и думать о кружках. Да и не для того Лепешинские поселились здесь. Их дело - принимать из-за границы партийную литературу и пересылать во все соседние губернии, в Петербург и Москву.
Жили Лепешинские уединенно, даже кухарки не смели нанять, прачку не приглашали на дом. Все делала сама Ольга Борисовна.
После масленицы к ним приехал гость из сельца Литвиновичи, что на Могилевщине, - младший брат Пантелеймона, передал поклоны от батюшки, деревенского священника, и гостинцы от матушки - туес моченых яблок из собственного сада и лагунок пахучего конопляного масла.
- Ну, а капусту-то, - сказал, разводя руками, - тут где-нибудь купите. У нас она добро уквашена, с анисом, есть с морковочкой, да ведь дорога-то неблизкая.
- Большое спасибо. Матушке отпишем, поблагодарим, - говорила Ольга Борисовна, принимая подарки. - Пантелеймоша любит конопляное масло...
- Пареньком бегал на маслобойку, - вспомнил старший Лепешинский. - Ел горячий жмых. Горстями прямо из-под пресса...
Семья у священника из захудалого прихода была многочадной: матушка разрешалась от бремени чуть не каждый год, подарила батюшке полторы дюжины дщерей и сынов. И хотя некоторых бог прибрал во младенчестве, застолье было такое, что не напасешься деревянных ложек.
Одну половину церковной земли отец Николай сдавал мужикам в аренду, другую оставлял за собой: косили, жали и молотили ему прилежные прихожане. Но и юные поповичи в летние каникулы приучались держать в руках литовку и серп. И Пантелеймон расспрашивал брата о хлебах и сенокосе, о приходской школе и бурсе. Вспомнил: ему, старшему из сыновей, посчастливилось девяти лет его отвезли не в духовную семинарию, куда обычно направляли поповичей, а в классическую гимназию, которая открыла путь в мир. И всем младшим он советует:
- Только не в семинарию, откуда выходят... духовные жеребчики!
У брата от удивления приотвисла губа. И еще больше ошеломило еретичество, когда невестка накрыла стол к обеду. Он встал перед иконой, готовый вместе со старшими прочесть

вполголоса "Отче наш", но те, даже не перекрестившись, сели за стол, и Пантелеймон шевельнул свободный стул:
- Не торчи столбом - садись. И ешь... во благодарение людского труда.
- А как же так-то?.. Богородица увидит... Боязно...
- Привыкай. И не верь церковным сказкам.
- А-а, а-а... - Брат, заикаясь, указал глазами на икону. - Для чего же?.. И лампадка висит...
- Для погляда. Для людей.
- Батюшка узнает...
- Пусть знает. Может, ему откроются очи.
- Он молебны служил, чтобы тебя из острога выпустили...
- Молебнами тюремного замка не откроешь. - Пантелеймон положил руку на плечо брата. - Ешь. Человек дал нам пищу. Он сильнее выдуманных богов.
2
Статистик Лепешинский собирался в очередную служебную поездку по губернии. Вместе с вещами положил в чемоданчик читаный и перечитанный роман Крестовского "Петербургские трущобы", под переплет засунул несколько листовок, полученных из-за границы. За спинку дорожного зеркала в футляре запрятал "Искру". Поцеловал в щечку Оленьку, потом жену:
- Оставайтесь в добрый час. Вы ведь не одни. - Пожал руку брату. Скучать не будете.
От двери вернулся к жене:
- А Надсона куда-нибудь подальше... Страничка-то поистрепалась заметно.
- Могу даже - в печку. - Ольга Борисовна, успокаивая мужа, так тряхнула головой, что чуть не свалилось пенсне. - То стихотворение давно заучила лучше, чем "Отче наш".
- Нет, нет. Всю книжку - жаль. Если запомнила, как молитву, то... Жестом показал, как вырывают листок из книги. - Один стих... И оглавление тоже...
Надсона подарил Ильич. Подарил в примечательный день после пятимесячной разлуки...
...Три года они провели в сибирской ссылке. Первое время вдали друг от друга, потом по соседству, в Минусинском округе. Встречались и в Шушенском, и в Ермаковском. Когда кончился гласный надзор, условились возвращаться вместе, наняли ямщицкие тройки. Но в первый же день пути простудили Оленьку. Пришлось задержаться. Так и расстались с друзьями.
Денег хватило только на дорогу до Омска. Там добрые люди помогли Ольге Борисовне устроиться на временную работу в больницу. Живя на берегу Иртыша, много раз сожалели, что пришлось остановиться на перепутье. Их место - Псков. И Владимир Ильич там ждет-пождет, вероятно, волнуется: здоровы ли? Целы ли? А весной и от него не доходили вести. И стало тревожно на душе: не стряслось ли опять недоброе? Только в июле пришла телеграмма, и Пантелеймон Николаевич примчался в Подольск, где проводила лето Мария Александровна. Владимир Ильич увидел его с балкона крошечного мезонинчика и с быстротой гимназиста сбежал вниз по узенькой лесенке:
- Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой сибиряк! - Обнял за плечи, тут же подхватил под локоть.
- Мамочка, познакомься - мой лучший друг по изгнанию!
- Очень рада! - Мария Александровна подала руку. - Как раз к чаю.
- Самовар уже на столе? - спросил Владимир Ильич. - Извини, мамочка, но нам надо поговорить.
- Посекретничайте - я не обижусь.
- От тебя, мамочка, секретов у нас нет, просто - так удобнее.
- Идите. Только уговор - недолго.
- Пять минут.
Владимир Ильич пропустил гостя вперед себя на лесенку, предупредил:
- Тут не стукнитесь о потолок. Не по вашему росту. - В мезонинчике подвинул стул. - Садитесь - рассказывайте. - Сам присел на краешек узенькой железной кровати. - Как жена? Как дочка? Здоровы? Очень хорошо. А в Пскове вас уже ждут: отличная должность - в земском статистическом бюро. Там, конечно, засилие народников, но люди надежные. Город же хотя и древний, а не лучше Минусинска. Затхлое мещанство, обывательщина. И вдоволь наслушаетесь либеральной болтовни. Но главное - до Питера рукой подать. И связи с местными статистиками, разбросанными по губернии. Будете получать от нас газету и рассылать по

окрестным городам. Вот вам адреса, клички. Только чур не записывать. Ни в коем случае. Запоминайте - я повторю... А ваша кличка?
- Лаптем был. Лаптем и останусь... пока ничто не угрожает.
- И пишите для газеты. Побольше и почаще.
- Для газеты надо подпись придумать другую. Что-нибудь из шахматных ходов. Годится?
- Отлично. Остальное - потом.
- А вы за границу-то как? Сразу нелегально?
- Мне удалось паспорт получить... Да, самовар там остывает, напомнил Владимир Ильич. - Идемте. - Но возле лесенки, спохватившись, придержал гостя на минуту. - У нас в семье сейчас очень сложно: Митю выслали в Тулу, Маняшу - в Нижний. И при мамочке о них лучше не упоминать. Ей приходится ездить то к сыну, то к дочери. Измоталась она.
- Но ведь Мария Ильинична, насколько я помню по вашим рассказам, собиралась в Брюссельский университет. Не успела?
- Да. У нее бесцеремонно отняли заграничный паспорт. Вот так-то, друг мой. Идемте.
Сняв с самовара заварник, Анна Ильинична спросила, кому налить покрепче. Пантелеймон Николаевич ответил:
- Я привык к крепкому. У нас дома скоблили от кирпича.
- "Шай кырпышный", - рассмеялся Владимир Ильич, вспомнив рассказ доктора Крутовского о сибирских остяках, и попросил сестру: - А мне нормального.
Отпив глоток, повернулся к гостю:
- Не писал вам долго не по своей вине: был на казенных харчах! Доставил опять мамочке да и Ане...
- Ну что ты, Володенька? - перебила Мария Александровна. - Дело не в наших тревогах.
- Н-да. Началось все глуповато, а под конец чертовски повезло: даже заграничный паспорт остался при мне. А было так: решили мы с Юлием нелегально съездить в Питер, договориться о связях, раздобыть еще денег на наше дело. И переконспирировали: пересели на другую железную дорогу. И нас, голубчиков, повезли через Царское Село, а там - шпик на шпике. Пропустили нас. Виду не подали. Приехали мы спокойненько в Питер, ночевали в Казачьем переулке. Ну, думаем, без хвостов! Утром вышли - нас сразу за локти, да так, что не шевельнешься, ничего не выбросишь, не проглотишь. А у меня - письмо Плеханову, написанное химией между строчек одного счета. Догадаются проявить - все пропало: снова - Сибирь.
- Не приведи бог, - прошептала Мария Александровна. - С тебя хватит одной ссылки.
- И я так же думаю, мамочка. Некогда нам, - Владимир Ильич взглянул на Лепешинского, - по кутузкам отсиживаться. А опасность была еще и в том, что от времени моя химия могла сама проступить. К счастью, не проявилась. О деньгах меня спросили: откуда столько? Сказал, что получил гонорар за книгу. Конечно, навели справку, и обнаруженная сумма, - похлопал себя по карману пиджака, - совпала. Вернули. А мне вперед наука: надо все зашивать в надежное место...
После завтрака отправились вдвоем на прогулку. По мосту перешли Пахру, поднялись на гору, походили по городским улицам, заглянули в книжную лавку. И Владимир Ильич купил Надсона. В большом и тенистом парке сели на скамейку.
- Посмотрим, посмотрим, что тут нам поближе. - Перелистывая книгу, он глазами выхватывал отдельные строки: - "...наша песнь больна!", "Исхода мы не знаем". Жаль - рано умер поэт. В то время и другие не знали исхода. "Ночь жизни". Ничего, после ночи наступает рассвет. "Спите, тревожные думы!" Напрасно убаюкивает. Совсем напрасно. - Приопустил книгу. - Как вы думаете, Пантелеймон Николаевич, отчего такое уныние?
- От духовного кризиса второй половины восьмидесятых годов.
- Да, да. Вне сомнения. От кризиса народовольчества. От политической реакции. Посмотрим еще. "И вдали я обещанный рай разгляжу и дорогу к блаженству толпе укажу!" Туманные строки. Пойдем дальше. "Зерно грядущих гроз". Хорошо! Но, пожалуй, для облегчения шифровки мы остановимся на более популярном: "Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат". Подойдет? Я думаю, тут есть все буквы алфавита. Но проверка никогда не лишняя. Да, все. Держите. И скажите Ольге Борисовне, чтобы страничка ничем не выделялась...
...А на ней после неоднократной шифровки да расшифровки все-таки остались следы пальцев. Хоть и жаль, но лучше вырвать листок. И соседние листы - тоже.

Проводив мужа, Ольга Борисовна развела лимонную кислоту и, поправив пенсне, между строк обычного письма о рыночных ценах и погоде переписала оставленную мужем хронику последних событий, главным образом петербургских. В конце письма зашифровала: "На севере громаднейшая нужда в Ваших изделиях". И поставила подпись мужа: 2а 3б. На конверте надписала адрес одного врача в Бельгии. Знала: тот сразу же перешлет в редакцию "Искры". Из томика Надсона выдрала несколько страничек и вместе с оглавлением сожгла в загнетке русской печи.
Надела на Оленьку мягкие валенки, беличью шубку, сшитую из шкурок, привезенных с собой из Сибири, и взяла за руку:
- Пойдем, доченька, ту-ту-ту смотреть.
Оленька, подпрыгивая, порывалась к порогу:
- Пало... Парло-во-зик!..
Муж напрасно напоминал об осторожности, - они же давно договорились не отправлять конспиративные письма через городскую почту. На вокзале Ольга Борисовна опустила очередное послание в почтовый вагон скорого поезда, идущего к границе.
3
В тот же день пришло письмо из Выборга. Почерк незнакомый. Обратного адреса нет. От кого же? Рука явно женская.
Ольга Борисовна распечатала ножом. Из конверта выпала квитанция. Вот те на! Что же это? Карандашом написано по-фински. И поставлена единица.
Протерла стекла пенсне, достала письмо. Какая-то незнакомка сообщала, что в кладовой вокзала оставлен чемодан, который можно получить по квитанции.
Явно - с "Искрой". Наверно, третий номер?
И что за трусиха! Ей поручили такое важное дело, заплатили деньги, известно - немалые, а она... Побоялась таможенного досмотра, бросила, можно сказать, на полпути. Ну и люди! С заячьим сердцем.
Что же делать? Пантелеймон вернется только через два дня. А ведь дорог каждый час. И посоветоваться не с кем. Надо решать самой.
И дело не в том, что придется платить за каждый лишний день хранения, - это пустяки. Не возникло бы там подозрение.
А вдруг жандармы уже предупредили кладовщика?.. Но откладывать нельзя. Будь что будет. Не дежурит же там жандарм возле чемодана. Если произойдет какая-то подозрительная заминка, можно успеть выскользнуть из кладовой. На самый худой конец, отказаться: не ее, дескать, чемодан, подменили или перепутали...
И Ольга Борисовна поехала.
С Оленькой остался деверь.
- Привыкай нянчиться, - улыбнулась ему на прощанье. - Женишься пригодится.
По дороге успокаивала себя: "Вернется домой Пантелеймоша, и я торжественно преподнесу ему чемодан: получай очередной транспорт! В Финляндию за ним скаталась! Вот будет изумление!" Начнет расспрашивать как да что там было?
Может, по почерку узнает ту робкую девицу?.. Едва ли. Профессиональная революционерка не сделала бы так. Судя по всему, искровцы доверили чемодан какой-то студентке, возвращавшейся на родину...
В Выборг приехала на рассвете. Осмотрелась. И опять успокоила себя: кажется, никто не тащится по следу. Нырнула в кладовую, торопливо достала монетки, уплатила в кассу и - смелым шагом к полусонному кладовщику. Тот взял квитанцию, сладко зевнул, пошел отыскивать багаж на верхней полке.
Искровский чемодан Ольга Борисовна увидела издалека и начала подсказывать:
- Нет, не мой. Вон там подальше. Еще подальше. Вот этот!
И не ошиблась.
Подхватив чемодан, поспешила к выходу: тряхнула за ручку и чуть не ахнула: подозрительно легкий!
В дверях чемодан, качнувшись, стукнулся о косяк и загудел, как барабан. Пустой!..
Надо где-то проверить - направилась в дамскую комнату. Там, на счастье, никого не было. Поставила на подоконник, тронула замки - закрыты. Как же быть? Чем отомкнуть? Выдернула приколку из волос, поковыряла - замок открылся. И второй тоже.

Она не ошиблась - чемодан был пуст. Перетрусившая девица не оставила ни одной вещички. Чем заполнить его? Надо ведь уложить такое, что не вызвало бы подозрения. Хорошо бы сменку белья, платье, мыло, духи... А где взять? Ни одной души в городе она не знает... Денег - в обрез. От железнодорожного билета останется меньше рубля.
Купив билет на ближайший поезд, пересчитала все до копейки. Пошла по городу. Что бы такое придумать?.. Чемодан-то вместительный... Глянув на витрину магазина, обрадовалась: игрушку для Оленьки! Подарок для дочери не вызовет у таможенников подозрений.
Стала выбирать куклу. За красой не гналась - лишь бы побольше.
Уложила и опять задумалась: кто поверит, что ради одной-единственной куклы взяла с собой такой вместительный чемодан! Таможеннику достаточно шевельнуть его, чтобы догадаться: дно и стенки тяжелые! В них контрабанда! Конечно, запрещенные книжки!..
Тогда не увернешься...
Что бы еще такое?.. По ее деньгам...
И опять пошла по улицам... Увидела над входом в лавочку огромный золотистый калач. Хлеба на дорогу нужно. А еще лучше - крендели! Когда-то в Питере доводилось пробовать выборгские крендельки - объедение! Будто сахарные, рассыпчатые, во рту тают. Можно есть без чаю. На Рождественских фельдшерских курсах не было такой лакомки, которая не хвалила бы этот выборгский деликатес.
Отдала все, что было в кошельке, и ей насыпали полный чемодан. Вот и хорошо!..
В вагоне попробовала кренделек - вкусный! Будет чем угостить домовников. И с приездом Пантелеймона подаст к чаю. Только бы...
Между тем поезд приближался к станции, которая пугала названием. Странная эта граница! Финляндия входит в Николкину империю, а пограничные формальности соблюдаются строго-настрого: паспорта проверяют, багаж досматривают. Похоже, опасаются - не провезли бы пассажиры бомбы. А сколько ни ищут, все равно будут провезены. Да каждый номер "Искры" сильнее бомбы!
Поезд замер. Проводник предупредил, что никто не должен отходить от своих вещей. А в проходе уже стучали каблуки, и жесткий голос требовал:
- Предъявите багаж для досмотра. Сколько мест?
Ольга Борисовна сидела и грызла крендель. Когда подошел таможенник, с любезностью ограниченной дамочки откинула крышку чемодана:
- Выборгские крендельки!.. Не хотите ли попробовать?
- Крендели?! - переспросил жандарм. - И так много?!
- У нас в Питере они - большая редкость. А я - лакомка! - Подвинула чемодан. - Угощайтесь.
И потому, что чемодан подвинулся от довольно легкого прикосновения маленькой руки женщины, подозрительность притупилась, - нет надобности проверять на вес. И едет какая-то чудачка! Жандарм махнул рукой в белой перчатке и повернулся к женщине, сидевшей напротив. Таможенник, не утерпев, шевельнул пальцем крендели, увидел под ними куклу и тоже отошел.
Когда шаги затихли в конце вагона, Ольга Борисовна поставила чемодан к окну и, почувствовав, что на носу выступили капельки пота, достала пудреницу.
Ей хотелось крикнуть:
- Пронесло, Пантелеймоша!.. Пронесло, мой миленький!..
Да, пронесло. Но в другой раз... Ничего, и в другой раз она тоже не откажется. Теперь у нее как-никак уже есть опыт.
...На псковском вокзале Ольгу Борисовну встретил деверь с детскими санками, уложил чемодан, и они покатили домой.
Пантелеймон Николаевич уже вернулся из поездки; увидев в окно жену, выбежал на крыльцо:
- Наконец-то приехала! А я уж думал передачу в Петербург везти в узилище...
- Камера еще не приготовлена! - рассмеялась Ольга. - Проветривают!.. А я вам подарков навезла!
Из раскрытого чемодана посыпались крендели.
- Это - всем! - Поправила пенсне, извлекла со дна куклу. - А тебе, доченька, вот!.. Глазки у нее голубые, как у твоего папки. Коса - в лентах, волосы шелковые. Погладь. И беги в свою комнатку. А мы тут...

- Мы все оставим до вечера, - сказал Пантелеймон. - И крендели попробуем за чаем. И все посмотрим...

4

На ночь закрыли ставни на железные засовы. Но в филенках были вырезаны сердечки, - можно подсмотреть с улицы. Пришлось занавесить окна одеялами.

Пантелеймон, вооружившись острым ножом и щипцами, умело распотрошил стенки чемодана и достал прокладку из газет, напечатанных на тонкой бумаге, похожей на папиросную.

- Третий номер?! - протянула руку Ольга. - Не зря я съездила. По-девчоночьи подпрыгнула с пачкой газет в руках. - Есть что почитать!

- Это не все. - Лепешинский уже извлекал фальшивое дно. - Тут уложены брошюрки. "Женщина-работница"!

- Да?! Так это же Наденька писала в Шушенском! Помнишь? Давала читать. Вот неожиданный подарок!

Ольга помогла мужу извлечь начинку чемодана до последнего листка. Они все сложили стопочками на столе. Остатки изрезанного чемодана кинули в русскую печь, где уже пылали березовые дрова.

- Ишь ты, как люди ухитряются! Как все аккуратненько! - дивился брат Пантелеймона. - Тут сам бог-саваоф и тот не дознается!

- Бог-то твой, конечно, не догадается. А жандармы - они, знаешь, аспиды ядовитые!..

- Батюшке родному сказать - до смерти перепугается! Побежит в церковь молебен служить: за вразумление заблуждающихся! За еретичество анафеме предаст!

- Ты не вздумай проболтаться. - Пантелеймон погрозил пальцем. - Хотя и родной отец, а... Никому я из рабов божиих не верю. Таких обличителей власть предержащих, как протопоп Аввакум, ныне не видно. Под золотыми ризами - трухлявые души. Молятся богу - служат злому мамоне.

- Я белены не объелся. Умею держать язык за зубами.

Ольга, никого не слушая, уже перелистывала брошюру Надежды Константиновны.

Пантелеймон остановил ее:

- Надо сначала уложить...

Они убрали все в тайник под полом, оставив себе по экземпляру брошюры и газеты.

- "Рабочая партия и крестьянство", - прочитала Ольга заглавие статьи. - Это - наш Старик. Он! По первым строчкам чувствуется. Еще в Шушенском собирался писать. Помнишь? А Суслика* не видно.

---

* Глеб Максимилианович Кржижановский.

- Не в каждый же номер его... И, наверно, не успел...

- Прошлый раз он хлестко написал об инженерах-ворюгах на строительстве Сибирской дороги. Не побоялся.

- Чего же ему бояться? Корреспонденция без подписи.

- Ну, все-таки... Мне и сейчас, - Ольга сжала тоненькие пальцы в кулаки, - хочется кричать на весь мир: разворовали народные миллионы! Прогнивший строй!

Ольга ушла с газетой в комнатку, где спала дочка, засветила там лампу.

Слышался тихий шелест бумаги и слегка приглушенные слова:

- Очень сильный номер! С партийной боевитостью!.. И о побоище у Казанского собора успели дать! Со всеми подробностями... Что там было ужас!

Вскоре она опять появилась в большой комнате, восторженно потрясая развернутой газетой:

- Пантелеймоша, а ты видел - тебя напечатали! Вот: "Из Пскова". Как я рада, даже слов не подберу!.. Не напрасно мы сидим здесь!..

- И, кажется, полностью!

Лепешинский писал о мытарствах студентов, отданных в солдаты. Некоторых из них пригнали в Псков и включили по два человека в роту. Он сам видел - военные бурбоны тыкали им кулаками в нос: "Мы из вас выбьем штатский дух!" Когда провинившегося солдата вели сквозь строй, на одного студента офицер прикрикнул: "Бей - не жалей! А то с самого штаны сорву. Бей, так твою растак!" Другого, совсем юного, даже не достигшего призывного возраста, посадили под арест за то, что не мог долго держать винтовку в слабенькой руке.

- Да, все напечатали. - Пантелеймон удовлетворенно провел рукой по газетному листу.

- А в конце тебе ответ: "2а 3б. Все получаем. Спасибо. Пишите". Я бы за такой ответ сплясала! - Ольга притопнула пяткой, хлопнула в ладоши и, поворошив мужу и без того кудлатые вихры, ушла дочитывать газету.
Пантелеймон уткнулся в передовую "Бурный месяц" - о крупных демонстрациях в Петербурге, Москве, Харькове, Киеве и Белостоке. Брат, сидя по другую сторону стола, читал ту статью, которую, как он только что слышал, написал какой-то Старик. Видать, голова! Знает жизнь. Вот пишет, что крестьянин доведен до нищеты, живет в избе вместе со скотиной, одевается в рубище, кормится лебедой. Верно. У иного ребятишки с голоду пухнут. Все верно. Ограбили мужиков деревенские богатеи да помещики. А царь - самый главный помещик. Не зря Пантелеймон против царя идет. Ольга, видать, много помогает ему. Она - тоже смелая.
Время от времени он поднимал глаза от газеты и расспрашивал Пантелеймона о рабочей партии или принимался рассказывать о родной деревне, о знакомых мужиках, вынужденных вот так же, как тут написано, арендовать клочок земли у своего прежнего барина, а под конец спросил:
- Можно мне одну газету? В нашу деревню?
- Можно-то можно, только... осторожно.
- Да я уж научился теперь... А дома прочитаю надежным людям. Тут же написано: сеять семена борьбы. Стало быть, против помещиков да богатеев.
- Пантелеймоша! Извини, что я все вторгаюсь и вторгаюсь к вам. Ольга снова вошла с газетой в руках. - Но я не могу не сказать. Ведь это целая программа по крестьянскому вопросу.
- Да, программа действий. В такой небольшой статье! Правда, тут дана сноска. Ты прочла? Программа партии скоро будет опубликована.
- И когда он только успевает, наш Ильич!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В Мюнхене распустились каштаны, на концах веток, как на канделябрах, подняли кремовые свечки бутонов. Терпко пахло молодой листвой.
С утра палило солнце, и улицы пестрели яркими легкими платьями женщин. Молодые мужчины уже щеголяли в замшевых шортах.
Надежда шла к трамвайной остановке, перекинув шубу через руку. Шапку она положила в чемодан, сданный вместе с корзиной в камеру хранения.
Солнце пекло голову. За спиной покачивалась пушистая коса. Ей хотелось, чтобы Володя увидел ее такой же, какой она три года назад прибыла в Шушенское.
В трамвае стала расспрашивать, как добраться до Кайзерштрассе, No 53*. Но она не знала баварского диалекта, и ее плохо понимали. Какой-то пожилой немке показала бумажку с адресом. Та огорчила: незнакомка едет в противоположную сторону! Пришлось пересесть на встречный.

---

* Теперь No 46.

Ее оглядывали с удивлением: откуда такая?! В жаркий день - с теплой шубой. Наверняка русская. От медведей!
Надежда достала платок из-под узкого обшлага шерстяного платья, поминутно утирала раскрасневшееся лицо...
На остановке у Английского сада услышала - в густой зелени деревьев воркуют горлинки...
Но не радовала весна в чужом городе. На сердце тревожно. Что, если опять какое-нибудь недоразумение?.. Володя мог ведь куда-нибудь уехать по делам... Почему он не написал точно, где и как его искать?.. Не ждала от него такого...
Вот и нужная остановка. Надежда вышла на асфальтовый тротуар. Присматриваясь к номерам, дошла до угла, где стоял серый четырехэтажный дом с башенкой. Перед фасадом - три каштана. Над входом скромная вывеска отель "У золотого дяди". Видимо, Володя живет в номерах. Где-нибудь в недорогом. Может, в башенке под черепичной крышей. Но ведь со слов Модрачека сама записала: "квартира первая". Портье сказал, что надо с тротуара зайти в следующую дверь. Значит, Володя не в гостинице?..
Вошла и от неожиданности чуть было не выронила шубу. Пивная! За столами сидят немцы, потягивают пиво из громадных фарфоровых кружек. За стойкой толстый человек с одутловатым лицом, с сигаретой в уголке мясистых губ. Предчувствуя неладное, подошла к нему и тихо спросила - не скажет ли господин, где тут проживает герр Ритмейер?

Немец передвинул языком сигарету в другой угол рта, кивнул головой и так же, как Модрачек, ответил:
- Это я.
- Да нет... Я ищу мужа... Вот у меня адрес. Георг Рит мейер.
- О-о! - Взглянув на бумажку, немец вынул изо рта недокуренную сигарету. - Вы ошиблись.
Из кухни, заслышав разговор, вышла за стойку немка в белом чепчике и переднике и, догадливо улыбаясь, спросила:
- Вы из Сибири?
Надежда обрадованно кивнула. Что-то начинает проясняться: какой-то разговор о сибирячке здесь был.
- Да. Сейчас из Уфы. Есть такой город возле Урала. К Георгу Ритмейеру.
- Ошиблись, - повторил немец и усмехнулся наивности приезжей. - Вам, как я начинаю догадываться, нужен герр Мейер! Он - тут. - Большим пальцем указал куда-то через плечо. - Я получаю его почту.
"Так вот оно что! Еще один посредник! Ну и законспирировался Володя!.."
Немка подтвердила:
- Герр Мейер говорил: ждет жену из Сибири. Я сразу догадалась, что это - вы. Вон у вас и шуба!.. Там, - немка зябко пожала плечами, - очень морозно?!
- Бывают морозы... Так где же он... мой муж?
- Пойдемте, я провожу вас.
Не снимая ни чепчика, ни передника, немка вышла на улицу и, ни на минуту не умолкая, повела Надежду Константиновну через ворота под домом куда-то на задний двор.
- Он у нас имеет комнату. Все пишет и пишет. У него бывают русские революционеры. Которые против царя. Мы не препятствуем. И никому не рассказываем. Вы не смотрите на то, что мой муж - хозяин пивной. Он социал-демократ. Ему доверяет партия. А герр Мейер нам очень нравится. Наши дети любят его, зовут: "Дядя Мейер". Хороший человек! К нему, знаете, ходят три женщины. Нет, нет, я не хочу сказать ничего предосудительного. Просто, чтобы вы знали. У одной такие же густые волосы, как у вас. Только прямой ряд. И она уже в годах. Не меньше пятидесяти.
- Я знаю...
- Говорят, - немка понизила голос, - она стреляла в генерала. Мы восторгаемся такими храбрыми людьми! А это, подумайте, женщина!.. Вторая много моложе...
Немка не успела досказать, пока они шли через тесный двор похожий на каменный колодец. Поднялись на крылечко, тоже каменное. Вошли в сумрачный коридор. Слева нависла над головами лестница, под ней - коричневая дверь. Немка показала глазами: это - здесь. Моргнула: сейчас, дескать, встретитесь! И без стука, - пусть им будет неожиданность! - распахнула дверь, пропуская приезжую перед собой.
За столом, заваленным русскими и немецкими газетами и журналами, спиной к двери сидел Владимир Ильич, против него - Анна Ильинична. У открытого окна дымил сигаретой длиннолицый Мартов.
- Фу, черт возьми!.. - Надежда выронила шубу. - Едва отыскала!..
- Наденька! - всплеснула руками Анна Ильинична. - Наконец-то появилась!
Владимир Ильич вскочил, чуть не опрокинув стул, подбежал к жене, обнял, поцеловал:
- Здравствуй, родная!.. С приездом!..
- А ты даже не написал, где тебя искать, - укорила Надежда. - Я колесила по Европе. Думала - не найду.
Анюта обхватила ее за плечи, принялась часто-часто целовать.
- На Володю, Наденька, не ворчи. Не обижайся. Он у хозяина каждое утро справлялся, - нет ли письма от тебя? - и на вокзал ездил...
- По три раза на день! - добавил Владимир Ильич, подхватил под руку. - Проходи. Садись. Рассказывай.
- Насчет встречанья и я могу подтвердить. - Мартов поднял шубу, повесил на крючок, заменявший вешалку, и, повернувшись, протянул узкую руку с тонкими сухими пальцами. - Хорошо, что приехали. Нашего полку прибыло!

- Писал я тебе, Надюша, в Уфу. - Сидя рядом, Владимир Ильич погладил руку жены. - Даже несколько раз писал. По адресу твоего знакомого земца. Не передал? Не может быть, чтобы струсил. Вероятно, "зачитали" охранные черти!
- А я... - Утирая платком лицо, Надежда рассмеялась. - Искала в Праге Модрачека, уверяла, что он - мой муж! А потом, когда разобрались...
- Потом тебя стали угощать кнедликами. Правда? И тебе понравились? Мне тоже. Особенно со сливами. Теперь, конечно, без слив. Не сезон... Замечательные люди Модрачеки!
- Я могу принести пива, - предложила хозяйка. - Ради встречи стол накрыть.
- Благодарю вас, фрау Ритмейер. Но пиво - в другое время, - сказал Владимир Ильич с легким поклоном, и она ушла.
Тем временем Надежда окинула взглядом комнату. Возле водопроводного крана приметила жестяную кружку на гвозде. Как видно, вся его посуда! Вдоль стены - узенькая железная кровать, на ней плед - подарок Марии Александровны. Им Володя укрывался в Шушенском. Другой такой же привезла она. Будет чем накрыть вторую кровать. Конечно, не здесь, а где-нибудь...
- Не удивляйся моему жилищу, - улыбнулся Владимир Ильич. - Меня оно устраивало. А теперь найдем другое. Завтра же отправимся по адресам. Правда, понадобится паспорт для прописки.
- Но у тебя же - есть. И я получила.
- С нашими - рискованно. Лучше - чужие. Мне уже обещали болгарский. А тебя, как жену, впишут. Выбирай себе имя. Засулич, например, прописана Великой. А тебе какое имя нравится? Милка, Цола, Вида, Рада, Станка...
- Выбор, Наденька, богатый, - сказала Анна Ильинична. - И еще есть хорошие: Лиляна, Марица... Записывайся Марицей.
- Марицей так Марицей. Если Володе нравится.
- Хорошо! Но ты нам еще ничего не рассказала о Москве. Как там наши? Как мама? Здорова ли?
- Как мой Марк? Как Маняша? - в свою очередь засыпала вопросами Анна Ильинична.
- Ты что-то отмалчиваешься? - Владимир Ильич взял жену за обе руки, заглянул в глаза. - Я чувствую, что-то случилось. Писем от мамы давно нет.
- И Марк молчит. И Маняша.
- Их в одну ночь... увезли в Таганку.
- Сволочи! - Мартов выбросил окурок в окно и, взъерошив волосы растопыренными пальцами, пробежал семенящими шагами по комнате из угла в угол. - Сатрапы!.. Варвары!.. Николкины людоеды!..
- Маме опять удар. - Анна Ильинична, едва сдерживая слезы, достала платок. - И одна она там... Совсем одна... Надо ехать...
- Ни в коем случае, - хрипловато перебил Мартов. - Чтобы еще одной узницей стало больше...
- Когда это случилось? - вполголоса спросил Владимир Ильич. - При обыске ничего не нашли? Улик нет? Должны выпустить... Будем надеяться... Ну, не стану больше перебивать. Рассказывай подробно.
Мартов, поправив пенсне, опять просеменил по комнате, погрозил тощим кулаком:
- Дождутся, дьяволы!.. Я уже предупреждал Зубатова... - Остановившись возле Надежды Константиновны, спросил: - Вы читали в первом номере?
- Ничего я не читала: не дошла "Искра" до Уфы. Вероятно, земцы побоялись передать.
- Так для вас тут гора новостей! - продолжал Мартов. - В первом номере - моя статья о Зубатове. Я ему пригрозил: дождется шельмец "той поры, когда, при свете открытой борьбы за свободу, народ повесит его на одном из московских фонарей". Всю статью из слова в слово помню. - И снова погрозил кулаком: - Поделом ему! Гончей собаке - собачья смерть!
Когда он умолк, все принялись расспрашивать Надежду Константиновну о Питере. Новости были грустные: литераторы, подписавшие протест против побоища у Казанского собора, высланы из столицы. Анненский, Вересаев, Гарин-Михайловский, Бальмонт, Чириков - на два года. Их человек пятьдесят. Поссе - на три. Калмыкова - тоже на три. Но ей, как вдове сенатора, разрешили выехать за границу. На весь срок. Она быстренько продала книжный склад и отправилась, кажется, в Дрезден.
Улучив паузу, Анна Ильинична сказала:
- Наденька, я Володю знаю, он может и забыть...

- А вот и не забыл! - Рассмеявшись, Владимир Ильич стал рыться в газетах, сложенных стопкой на столе.
Но Анна Ильинична, опередив брата, выхватила из-под газет брошюру, еще пахнущую типографской краской, и подала:
- Вот его подарок!
- Ой, моя сибирская писанина! - Надежда прижала к груди книжку "Женщина-работница". - Вот нечаянная радость!
- Как журналист, подчеркиваю, - взмахнул рукой с дымящейся сигаретой Мартов, - удачная и нужная брошюра! Уверен - перепечатают в подпольных типографиях.
- Мы уже отправили ее в Россию, - сказал Владимир Ильич. - В Псков, в Киев, на Кавказ... Она пойдет широко, особенно в фабричных районах.
Вошла Вера Засулич; здороваясь, оглядела приезжую:
- Вот вы какая! С косой! Это мне нравится. Только сразу видно русская! - Повернулась к Мартову: - Дайте сигарету, у меня все кончились. Со вчерашнего дня не было ни дыминки во рту. Под ложечкой сосет.
- Небось не завтракали, Велика Дмитриевна? - спросил Владимир Ильич. - Вам бы полезно по утрам выпивать стакан молока.
- Сказали тоже!.. Да лучше табачка на голодный желудок нет ничего! От глубокой затяжки кашлянула, и узкие плечи ее вздрогнули. - Как там Питер?
- Бурлит. Побоище у Казанского собора подлило масла в огонь. Студенты выпустили стихотворную листовку. В ней, помню, такие строчки:
Со штыком под знамя свободы
Выйдет каждый студент, как солдат!
- Отлично! Ай да питерцы! - Владимир Ильич потер руки. - Под красным знаменем готовы - со штыками! Молодцы! Ну, а на заводах как? Идут на помощь студентам?
- Пошли бы... Я это почувствовала за Невской заставой. Повидала там рабочих, своих бывших учеников. На Обуховском готовятся Первого мая выйти на улицу. Собираются выпустить листок. Может подняться весь район. А поднимется ли - не знаю. "Экономисты" вставляют палки в колеса.
- Опять - они! - Владимир Ильич опустил кулак на стол. - Об этом надо писать. Искровцы должны всюду проникнуть в комитеты, повернуть их в нашу сторону. Извини, Надя, что перебил! О Питере я не могу молчать, - он нам особенно дорог.
Вошла Инна Леман, тридцатилетняя темноглазая женщина с тонкими полукружьями бровей, секретарь редакции. Она вела за руку белокурого малыша в вельветовой курточке. Мартов подбежал к ней мелкими шажками, принял легкую ротонду, кинул на крючок:
- Димочка! (Он любил эту кличку Инны Гермогеновны.) Вам везет. И все мы наконец-то дождались! Знакомьтесь с преемницей. - Широким театральным жестом указал на Ульянову. - Не удивляйтесь, Надежда Константиновна. Разве вам Владимир не писал? Значит, не успел. У нас все-все решено. Отныне вы секретарь. Как говорится, вам и карты в руки. Принимайте, володейте редакционными бумагами. У Димочки, видите, руки связаны, и ей нужен отдых. Но из игры она, я знаю, не выйдет.
- Безусловно, - подтвердила Димка, кивнула всем аккуратно причесанной головой. - Отрываться не буду. Что потребуется - сделаю.
Той порой Засулич, быстро затушив о подоконник недокуренную сигарету, схватила на руки маленького Вольдемара:
- Волька! Груздочек беленький! - погладила ребенку волосы, мягкие, как пух, поцеловала в висок. - Ой, как я по тебе соскучилась!
- Тетя Вель... Вельи...
- Тетя Велика, - подсказала мать.
- Вель... ика тетя, - лепетал мальчуган. - У тебя конфетка есть?
- Сегодня, Воленька, нет. Но я тебе обязательно куплю.
Димка повернулась к Надежде Константиновне, сказала, что рада ее приезду, что Вольку не с кем оставлять дома, что работать в редакции ей было очень трудно и что муж заждался в Берлине, и она готова сейчас же передать все редакционные бумаги и тетрадки.
- Так уж сразу... - смущенно проронила Надежда Константиновна.
- А чего же откладывать? Чем скорее, тем лучше. Для меня, понятно. И для вас...

- У Наденьки еще вещи на вокзале, - вступилась Анна Ильинична. - И она еще не успела оглядеться.
- И, кроме Анны Ильиничны, как я догадываюсь, никто еще не завтракал, - добавил Мартов. - Теперь бы всем хорошо, скажем, в "Старую крепость".
- Да, да, в "Старую крепость", - согласился Владимир Ильич. - Тут, Надюша, недалеко.
- А я тем временем все приготовлю, - сказала Инна. - Если Волька не помешает.
- Вольдемар тоже пойдет в кафе, - объявила Засулич. - Пить какао. Наклонилась к малышу. - Хочешь, Воленька? Может, последний раз со мной...
2
В "Старой крепости" все напоминало о старине: в узких окнах поблекли витражи, на стенах пожухли краски росписей, и контуры замков на горных вершинах едва угадывались. Дубовые панели стали черными. По углам маленького зальца, куда вошли искровцы, массивные столы, отгороженные один от другого невысокими барьерами, вместо стульев - широкие лавки.
Прежде чем принять заказ, пожилой кельнер в фартуке из рыжей - летней шкуры косули, сдержанно улыбаясь оттого, что сейчас он поразит посетителей, водрузил на стол фарфоровую вазу с двумя ветками сирени.
- Уже сирень! - удивилась Анна Ильинична. - Так рано даже для Баварии!
- Из ботанического сада! - подчеркнул кельнер.
Анна Ильинична близоруко уткнулась в ветки, отыскивая "счастье" цветочек с пятью лепестками.
- Помнишь, Володя, у нас на Волге? Громадные кусты! Оленька находила "счастье" чаще других...
- Помню. Каждое дерево в саду, каждый куст...
- Во времена Пушкина говорили: сирен, сирены. - Мартов потряс над столом рукой, будто оделяя всех словами. - У него - помните? - Татьяна "мигом обежала куртины, мостики, лужок, аллею к озеру, лесок, кусты сирен переломала, по цветникам летя к ручью".
Кельнер принес всем яичницу на продолговатых саксонских тарелках с рисунками оленей по углам, спросил, кому подать кофе, кому чай.
- Кава, кава! - подпрыгивал Волька и хлопал в ладошки.
- Молодому человеку - какао, - сказала Засулич кельнеру.
- А мне, пожалуйста, чай, - попросила Анна Ильинична, оторвав глаза от сирени. - Кофе надоел.
Волька уже стоял на коленках на лавке, беленькая, как отцветший одуванчик, голова его едва виднелась над столешницей. Мальчуган обеими руками обхватил чашку, понемногу отпивал какао и от удовольствия проводил кончиком языка по пухлым губам. Вера Ивановна, словно заботливая мать, присматривала за ним, чтобы он не облился.
- А кофе здесь всегда ароматный! - похвалил Мартов. - После такого даже курить долго не хочется.
Владимир Ильич опять принялся расспрашивать жену о Питере. Оказалось, что из старых друзей там остался один Степан Радченко. Что же он зевает? Как мог допустить, чтобы "Союзом борьбы" завладели "экономисты"?
- Ты же знаешь: Степан тихий, во всем осторожный, - заметил Мартов.
- Осторожность не лишняя, если она не в ущерб делу, - сказал Владимир Ильич.
- У Степана в ущерб. Мне было даже досадно. После того как его Любу сослали в Харьков, он так законспирировался, что я с трудом отыскала его. А поговорить нам было о чем. Вспомнили наши кружки, сходки. И он обещал писать.
- Письмо от него пришло. Просит новый номер "Искры". И ты ему завтра же напиши.
- Уже - задание! - улыбнулась Надежда Константиновна.
- Ответ Степану нельзя откладывать. Ему там трудно. Он теряется. Ждет совета. Вот и напиши: пусть посылает людей за чемоданами на наш релинский склад. Адрес я дам. Пароль: от Петрова.
- Твой новый псевдоним?!
- И не последний... А Степан пока что может съездить к Лепешинскому, взять "Искру" у него. И еще напиши: ждем от него различных литературных легальных материалов: читаных газет, журналов, сборников, отчетов земских управ, изданий Статистического комитета. Чем больше, тем лучше. Да, я тебя отвлек. Ты еще что-то хотела рассказать. Кто там есть из надежных людей?

- У Степана я встретилась с его младшим братом Иваном. Внешне очень похож на старшего: такая же курчавая бородка, только погуще. Сам похудощавее. Да еще очки. А характером, думается, покрепче Степана, смелее. Кремневее. Живой, подвижный. Готов развозить нашу литературу по всей России-матушке. Не знаю, ладно ли я ему сказала...
- Весьма своевременно! - отозвался Мартов.
- Великолепно! - воскликнул Владимир Ильич. - Как раз то, чего нам недоставало. Зубатов пустил по стране своих "летучих" филеров, а мы отправим разъездных агентов. Они обеспечат нам связь с комитетами, откроют глаза на все движение. Хорошо!
- Любите и жалуйте первого из них! - торжествующе улыбнулась Надежда Константиновна. - Кличку он себе придумал - Аркадий. И о шифре мы договорились.
- Секретарь уже работает! - похвалил Мартов. - И Димочку можно отпускать спокойно.
- А мне жаль... - вздохнула Вера Ивановна, серые глаза ее от нахлынувшей грусти потемнели, и она подхватила мальчугана к себе на колени. - Жаль расставаться...

3

После завтрака Анна Ильинична ушла в пансион, где жила уже вторую неделю. Ульяновы поехали на вокзал за вещами, Мартов и Засулич с Волькой не тронулись с места.
- Просидят весь день, - ухмыльнулся Владимир, - Юлий даст волю своему красноречию!
Когда привезли вещи, Владимир Ильич пошел в типографию Маскимуса Эрнста, где теперь печаталась "Искра", - ему не терпелось прочесть полосу с машины, - и Димка обрадовалась, что они остались вдвоем.
- Надежда Константиновна, миленькая, я уже все приготовила. Принимайте скорее. Я не привыкла ничего откладывать. Делаю все сразу. Как говорится, на ходу. Без промедления. Вот вам неиспользованные рукописи. Вот последняя почта.
Надежда перебирала письма. На конвертах - почтовые штемпели Берлина, Праги, Брюсселя, Парижа... На одном даже - Лондон. Так вот какими окольными путями добираются из России корреспонденции для партийной газеты!
Димка, выдвинув ящик стола, достала синюю тетрадку:
- Здесь записаны адреса наших агентов и авторов, в папке - копии ответов. Давайте присядем, и я поясню. Вот хотя бы это наше последнее письмо. К одному из активных агентов в Москве. У меня тут зашифровано: Графачуфу. Понимаете? Грачу!
- Немудреный шифр. Ребячий!
- Ну, уж как могла... Мы так шифровали в "Союзе борьбы", когда вы уже были в Сибири. И из вятской ссылки я так писала.
- И жандармы, думаете, не догадывались?
- Не знаю, чтобы кто-нибудь провалился из-за такого шифра.
- А что вы сообщали Грачу? Кстати, кто он?
- Вы не знаете Грача?! Вот не думала!.. Николай Эрнестович Бауман, по профессии ветеринарный врач. Тут - явка к нему: Москва, бойни, спросить Николая Петровича Орлова. А вот это мы писали Бабушкину.
- Ивану Васильевичу?! Товарищу Богдану?! Вот радость! У нас в Питере он был учеником рабочей школы. Писал листовки.
- И в "Искру" пишет. Откуда? А вот мы его связывали с Грачом. Видите: "Теперешний адрес Бафубуфушкифуна город Покров..."
- Опять это фу-фу-фу! Да вы же могли его провалить.
- Не волнуйтесь, милая. Бабушкин цел и невредим. Вчера прислал новые заметки. Вот они. Читайте. А я, знаете, ни капельки не сомневалась, что вы меня сразу замените. О вашей деловитости от Юлия Осиповича наслышана. Голубущка, Надежда!.. Позвольте мне называть так. Ближе, сердечнее...
- Можешь - просто Надей.
- Вот хорошо! - Димка обняла новую знакомую, поцеловала в щеку. - Я в тебе не ошиблась. Ты меня очень выручила. Я сейчас же пойду на телеграф и обрадую мужа: "Завтра утром выезжаю". У меня сборы недолгие. А с тобой, Наденька, - мое сердце чует, - мы еще поработаем вместе.
Она накинула на плечи ротонду.
Надежда, провожая Инну глазами, удивилась тому, что при своей ужасной стеснительности так быстро и так просто перешла с ней на "ты".

Димка, спохватившись, остановилась у порога:
- Да, Наденька, я же должна познакомить тебя с доктором Леманом, у которого мы получаем основную почту. Пойдем.
- А на кого же мы, Димочка, оставим комнату?
- А вон слышишь шаги Владимира Ильича? Пойдем скорее.
Они встретились в дверях, и Димка объявила:
- Мы к доктору Леману. Наденька познакомится. И свежую почту принесет.
4
И вот Ульяновы остались одни. Сели на кровать плечом к плечу, как когда-то в Шушенском в день приезда Нади. Владимир взял ее руки, смотрел на нее натосковавшимися глазами. Потом погладил пушистую косу, и ему вспомнилось купанье на Енисее: коса колыхалась на поверхности реки, пока не намокала. Сказал вполголоса:
- Тут есть купальня. Совсем недалеко. Будем ходить с тобой каждый день.
- Еще не знаем, где будем жить. Не здесь же. Мама хотела бы приехать...
- Очень хорошо. Квартиру найдем. Только бы добыть болгарский паспорт.
- За болгар мы с тобой скорее сойдем, чем за немцев. Здесь я слушаю баварцев и ничего не понимаю.
Владимир снова погладил косу:
- Хотя и жаль, а внешность тебе придется изменить.
- Коса... - Надежда почувствовала, что щеки наливаются огоньком. Только на сегодня...
- Мне очень приятно. Вспомнился твой приезд в Шушенское. Все-все до мелочей.
- И у меня все перед глазами.
- Теперь всегда будем вместе...
Ужинать никуда не пошли.
- У меня есть печенье. Мамины подорожники, - сказала Надежда, раскрывая корзину.
Владимир поставил на стол кружку. И Надежда достала свою:
- По-студенчески. А мамочка приедет - поможет вести хозяйство. Заживем по-домашнему.
- Расскажи еще о наших, - попросил Владимир, разливая в кружки минеральную воду. - Только ничего не утаивай. Я привык к невеселым вестям.
Надежда рассказала о письмах Марка, которые читала у Марии Александровны, и то, что слышала от нее о Маняше и Мите.
- Была семья. Большая, дружная. А теперь... - Владимир сдержал вздох. - Мама в одиночестве. Говоришь, с Фридой рассталась? Значит, нелегко. Что же делать? Отсюда ничем ведь не поможешь. Будем писать, елико возможно, чаще.
Теперь они сидели по разные стороны стола, не сводили глаз друг с друга. Опять вспомнили Сибирь. И каток на речке Шушенке, и сосновый бор с богатыми россыпями рыжиков, и Журавлиную горку, и встречу Нового года в Минусинске. Вспомнили и село Ермаковское. Там их было семнадцать друзей-единомышленников. Все подписали "Протест" против кредо "экономистов". Условились держать связь, помогать "Искре". Где они, испытанные друзья? Как сложилась их судьба? На кого из них и сегодня можно положиться? От кого ждать поддержки? Пока в работе показали себя только Лепешинские. Сильвин все еще отбывает солдатчину, кажется в Красноярске. Шаповалов где-то залечивает ревматизм, полученный в сыром каземате Петропавловской крепости. Старковы куда-то переехали из Омска, след их пока не обнаружился.
- Вот уже этого от Базиля я не ожидал. Никак не ожидал, - с горечью произнес Владимир. - Неужели начинаем терять самых лучших людей? Вместе прошли через тюрьму и ссылку... Нет, не хочется верить. Виноваты какие-то случайности.
- О Старковых можно узнать через Кржижановских.
- Но они сами что-то задержались на станции Тайга.
- Зина писала мне: переедут в Самару.
- Надо поторопить. Ведь ссылку-то Зинаида Павловна уже закончила. А на Волге нам очень нужны люди.
- Глеб как будто нездоров.
- Нездоров? Как это не вовремя! Нам, сама знаешь, дорог каждый час, каждый человек. Правда, мы отчасти сами виноваты: не поддерживали связь. Настоящего секретаря не было. Ограничивались ответами на те немногие письма, что доходили до нас. А нам нужно самим

искать людей, о деятельности агентов знать буквально все. Надо найти Оскара Энгберга: он теперь уже вернулся из ссылки. Мы с ним - помнишь? - уговаривались о Выборге. А Финляндия нам очень важна: через нее можно проложить надежный путь для "Искры". Но более всего меня тревожит Курнатовский. Поехал на Кавказ, в горячий край. И - ни звука. Ни одного письма. Это так непохоже на него.
- Виктор Константинович дал бы о себе знать...
- Завтра же напиши на Кавказ. Есть один адрес. Пусть справятся о нем у всех, кто может его знать.
5
Проснулись рано, как, бывало, летом в Шушенском. Для умывания сливали друг другу воду на руки. Долго разговаривали. Вспомнили даже охоту в сибирских лесах. Теперь не до охоты. И ружье продано.
Причесываясь, Надежда собрала волосы на затылке в тугой узел. Позавтракали опять тем же печеньем, и Владимир пошел к Ритмейеру узнать не приютит ли их на время, пока не найдут квартиру, кто-нибудь из рабочих социал-демократов, где можно обоим вот так же пожить без прописки. Перед уходом из заветной папки, завязанной на тесемочки, достал семь листков разной длины и ширины, исписанных его торопливым мелким почерком. Первый хрустящий листок был фирменным - для писем из цюрихского Гранд-Кафе. Подал жене:
- Это написано для тебя. Под свежим впечатлением. Читай.
- То самое? Я поняла намеки в одном из твоих писем. О неладах с Плехановым?
- Да. Ты знаешь, как я с юности привык высоко ценить его! Как бесконечно уважал!.. Да ты тут обо всем прочтешь...
Надежда взглянула на заглавие "Как чуть не потухла "Искра"?", и у нее пробежал холодок по сердцу: "Сколько Володя пережил! И один. Без близких. Правда, Анюта приезжала к нему в Женеву..."
Оставшись одна, начала читать. Владимир писал сначала о Цюрихе, где Аксельрод встретил его с распростертыми объятиями. Два дня прошли в задушевной беседе. Однако без особой пользы. Павел Борисович любезно разговаривал о том о сем, но менее всего о деле. Как видно, не решался. Заметно тянул в сторону Плеханова, хотя порой льстил, что задуманное гостем предприятие для них - возрождение, что теперь и они получат возможность выступать против крайностей Георгия Валентиновича, но тут же принимался убеждать, что необходимо обосноваться в Женеве. Под крылом у Плеханова!
Из Цюриха Владимир отправился в Женеву. Там Потресов, прибывший раньше, предупредил, что Плеханов страшно подозрителен, мнителен, всегда считает себя донельзя правым, держится раздраженно, и с ним надо разговор вести осторожно, чтобы избежать его пылких реплик.
"Ничего себе предупрежденьице! - отметила Надежда. - И Володя, как видно, сразу сделал вывод: предпочел Мюнхен".
Читать дальше помешала Анна Ильинична. Она пришла пораньше, чтобы поговорить с Надеждой наедине. Но не успела - вошел Мартов.
- Извините, - слегка шаркнул ногой. - Я, кажется, помешал.
- Ну что вы? - Надежда положила листки на стол. - Рада видеть...
Здороваясь, заметил листки:
- "Как чуть не потухла "Искра"?" Могу подтвердить: была такая угроза. - Закурив, взмахнул длинной нервной рукой с дымящейся сигаретой. Правда, все происходило задолго до моего приезда. Всю эту "историю" я знаю со слов Арсеньева. Потресова, - пояснил он. - И удивляюсь выдержке Ильича. Я бы не мог вести переговоры с таким спокойствием.
- Хорошенькое спокойствие - брата довели до жестокой бессонницы! Анна Ильинична перевела взгляд на Надежду. - Представь себе, Володя был совершенно неузнаваем. Исхудал от волнения. Даже послал телеграмму, чтобы остановили машину, на которой печаталось сообщение о готовящемся издании "Искры". Временами ему казалось: все потеряно.
- И он, и Арсеньев были готовы отказаться от дальнейших переговоров с группой "Освобождение труда", - сказал Мартов.
- С Плехановым, - уточнила Анна Ильинична, сверкнув глазами.
- Чудовищно! - покрутила головой Надежда. - Володя, ты знаешь, всегда относился к Георгию Валентиновичу с такой, я бы сказала, любовью.

- Мы все к нему так относились, - подчеркнул Мартов. - И разрыв был бы весьма чувствительным ударом по всему движению. Рухнули бы планы. Пришлось бы возвращаться ни с чем... Ну, не буду мешать.
Выхватив из кармана свежие немецкие газеты, одну подал Анне Ильиничне, с другой сел на подоконник.
- Дочитывай, Наденька, - сказала Анюта и тоже углубилась в газету.
"Я старался соблюдать осторожность, обходя "больные" пункты, - читала Надежда, - но это постоянное держание себя настороже не могло, конечно, не отражаться крайне тяжело на настроении. От времени до времени бывали и маленькие "трения" в виде пылких реплик Г. В. на всякое замечаньице... Г. В. проявлял всегда абсолютную нетерпимость, неспособность и нежелание вникать в чужие аргументы и притом неискренность, именно неискренность... Г. В. надулся и озлобился... сидел молча, чернее тучи".
Что же так озлобило высокомерного Плеханова? Надежда перевертывала страницу за страницей, возвращалась к отдельным строчкам, и перед ней возникали - одна за другой - картины взволнованных переговоров, затянувшихся чуть ли не на целую неделю. Плеханов ждал, что его с поклоном попросят в о л о д е т ь журналом и газетой, властвовать неограниченно. Все остальные будут при нем в роли мальчиков на побегушках. Он будет заказывать статьи и править их по своему усмотрению. Но к нему приехали не на поклон, заговорили о совместной работе, о полном равенстве, о соредакторстве шести человек. Плеханов сначала закапризничал: он, дескать, предпочтет остаться просто сотрудником, потом припугнул, что он не будет сидеть сложа руки и вступит в какое-либо иное предприятие.
"Мою "влюбленность" в Плеханова, - продолжала читать Надежда, - тоже как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, veneration*, ни перед кем я не держал себя с таким "смирением" - и никогда не испытывал такого грубого "пинка". А на деле вышло именно так, что мы получили пинок: нас припугнули, как детей, припугнули тем, что взрослые нас покинут и оставят одних, и, когда мы струсили (какой позор!), нас с невероятной бесцеремонностью отодвинули".

---

* Благоговением (англ.).

Во время одной из встреч Вера Засулич в угоду надменности Плеханова раболепно предложила: "Ну, пускай у Георгия Валентиновича будет два голоса". Тот преобразился, принялся распределять отделы и статьи: то одному, это - другому. И тоном редактора, не допускающего возражений. И опять пришлось расстаться до утра. Плеханов вышел из комнаты, скрестив руки на груди. Аксельрод горько качал косматой головой. Вера Ивановна курила сигарету за сигаретой и в отчаянии ломала стиснутые пальцы. Потресов совершенно серьезно опасался, как бы она в атмосфере такой нравственной бани не покончила с собой... Но она побежала уговаривать своего кумира...
- Ну и как же теперь? - спросила Надежда Константиновна Мартова, перевертывая последний листок.
- Полностью шестерка еще не собиралась, - ответил тот и покрутил в воздухе тонким указательным пальцем. - Потресов лечится в Швейцарии. Плеханов шлет письменные замечания. Вера - милый человек, но, прямо скажу, не журналистка: ей недостает оперативности. Работаем мы вдвоем. Вы скоро убедитесь в этом.
Вернулся Владимир Ильич. Анна Ильинична встала, возвратила Мартову газету, невестку поцеловала в висок:
- Приходи ко мне в пансион. - Назвала адрес. - Тут недалеко. Ладно? Володя, - кивнула брату, - надеюсь, найдет время проводить тебя. Уж там-то мы с тобой наговоримся.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

- Слепов, на выход! На допрос.
- Господи!.. Да когда же это кончится? - Феофил Алексеевич, невысокий, курносый, с проплешиной на круглой, как арбуз, голове, истово перекрестился. - Спаси и помилуй...
В коридоре спросил надзирателя:
- Скажи, почтенный, опять к самому Зубатову? Ради бога...

- Не могу знать... Давненько сидишь. Может, к жандармам уже твое дело пошло. От них спуску не жди.
- Да говорил же я: невиноватый. Видит бог, никакой вины за мной нет.
- Виноват, не виноват - про то начальство знат. Зубатов наскрозь видит... Да что я с тобой?.. - сам себя упрекнул надзиратель и прикрикнул: - Разговоры!.. Не положено.
Слепова привели в "предбанник" - в комнату Евстратия Медникова, ближайшего подручного начальника Московской охранки. Тот доложил "самому"; посторонившись, пропустил арестанта, мотнул головой: "Что-то долгонько с ним Сергей Васильевич?.. Почитай, целый месяц..."
У Зубатова было правило: не передавать дел в жандармское управление для формального дознания до тех пор, пока не просеет всех через свое сито и сам не "побеседует" с облюбованными арестантами. А "беседы" его порой затягивались на несколько часов. И нередко он, проводив "собеседника", хлопал Евстратия по плечу: "Ну, Котик, дело сделано! Запиши себе адресок, дай ему конспиративку". Но чаще всего выскакивал из кабинета раскаленный до красноты, сыпал матерные слова: "Попался орешек! Топором не расколешь!.. В департаменте не знают, каково нам... Так-растак... Да подковы и те голыми руками гнуть легче..." Евстратий останавливал начальника:
- Не гневите бога, Сергей Васильевич... Улов-то немалый... А в департаменте, сами знаете, называют нас "академией сыска". На всю матушку Россию!..
- Заслуженно, Евстратушка! - Зубатов на секунду прикладывал платок к разгоряченному лбу и, успокаиваясь, возвращался в кабинет. А Евстратий Павлович спешил распорядиться, чтобы начальнику поскорее принесли стакан крепкого чая.
Пятый раз Слепов перешагнул порог зубатовского кабинета, в душе перекрестился: "Дай-то бог, чтобы все по-хорошему..."
Когда первый раз его ввели сюда, Зубатов глянул сурово:
- Кто такой?
- Слесарь, ваше... ваше степенство.
- Фамилию спрашиваю. - У Сергея Васильевича новые ботинки невыносимо жали ноги, и он с утра был так раздражен, что сдержаться не мог. - Имя, отчество? Подпольная кличка?.. Что там мямлишь? Язык проглотил, что ли?
- Нет у меня, ваше степенство, никакой клички. Как на духу перед вами... Слепов я... С завода братьев Бромлей.
- Ах, Слепов! Своей собственной персоной! Так, так. - Зубатов откинулся на спинку кресла, потер каблуком о каблук, приосвобождая ноги. Давненько поджидаем тебя, Слепов.
- Чегой-то я не пойму... Вроде бы мы...
- Я тебя знаю. И твоих дружков по преступному сговору тоже знаю. У вас там на заводе Бромлеев революционная, как вы ее называете, пропаганда пустила глубокие корни. Но мы их вырвем. - Зубатов погрозил пальцем и кинжальным взглядом резанул по глазам. - Сознавайся, Слепов. Предупреждаю: только чистосердечное раскаяние облегчит твою участь.
- Да мне... Да я...
- Запираться будешь - в Сибирь закатаем. - Зубатов опять потер каблуком о каблук. - В Туруханск лет на пять. Или - в Якутку. Слыхал про такие погреба?
- Бог миловал... - Слепов прижал руки к груди. - Нисколечко не виноват я. Поверьте честному слову.
- Мы верим фактам о преступных замыслах. - Зубатов распахнул на столе папку, взял пачку листовок с лиловыми строчками. - Вот улики. Вещественное доказательство для суда. - Потряс листовками. - Вы задумали праздновать Первое мая. И по басурманскому календарю. Дескать, вместе с про-ле-та-ри-я-ми Европы. Бредили красными флагами. Замышляли против царя-батюшки!
Конопатое лицо Слепова покрылось испариной, и он, погладив горло, сдавленно выкрикнул:
- Подбросили... Верьте слову... Вот, - Слепов размашисто перекрестился, - вот вам крест. Подбросили изверги рода человеческого... И не мне одному...
- Знаю. Действовали скопом. А за это прибавят годика три. - Зубатов снова откинулся на высокую резную спинку кресла, самодовольно покрутил аккуратный усик. - Скажи, Слепов, почему у других мастеровых в инструментальных ящиках нашли по одному листку, а у тебя - вот! - целая пачка. Почему? Опять мямлишь. Нечем оправдываться. Понятно: не успел

подбросить в другие ящики. Поймали с поличным. Теперь у тебя единственный путь для спасения - рассказать все, как на исповеди у священника.
- Да я бы, ваше степенство... Сто бы раз... Только невиноватый. И в мыслях не было. Я не какой-нибудь... Я истинно русский человек. Завсегда по воскресеньям к обедне... Кажинный божий праздник... И ноне к причастию... Хоть у отца Христофора спросите.
- Спросим, Слепов, всех, кто знает тебя. - Зубатов нажал звонок, встал, разминая ноги, и Медникову, показавшемуся в дверях, процедил сквозь зубы: - Посадить на хлеб и холодную воду. Пусть поразмыслит. Авось поумнеет. Ведь сообщники-то его уже сознались. А улики у нас в руках.
...Вызвали через три дня.
Зубатов прохаживался по кабинету. Оглядывая ссутулившегося арестанта, медленно опустился в кресло, теплыми глазами указал на стул:
- Ну-с, Феофил Алексеевич, вы поразмыслили? Да вы садитесь. В ногах, говорят, правды нет. Не так ли? Садитесь, садитесь. Я надеюсь, сегодня мы побеседуем по душам. - Пододвинул раскрытую коробку с папиросами. Пожалуйста! Ах, вы не балуетесь табачком? А водочкой, позвольте спросить?
- По малости. Ежели когда престольный праздник али день ангела...
- Похвально! Я вижу, у вас характер положительный.
Слепов изумленно смотрел на спокойное лицо Сергея Васильевича, на его выпуклый светлый лоб, будто видел перед собой совсем другого человека. Тем временем Зубатов, выпустив струю дыма в сторону, облокотился на стол, глянул в глаза:
- Так как же, Феофил Алексеевич? Вы готовы дать чистосердечные показания?
- Показание у меня одно: подбросили, стервы. - Слепов помял светленькую бородку. - Покамест в нужник ходил...
- Стервы, говорите? А ваши то-ва-ри-щи величают их героями.
- Да какое же тут геройство? Против царя-батюшки, помазанника божия... Одно слово - смутьяны! Не знался с ними и знаться не хочу.
- Выходит - есть они на заводе? Кто же? Не припомните ли?
- Да ведь как сказать... - замялся Слепов. - Без паршивой овцы, говорят, ни одно стадо не обходится.
- Вот вы ругаете их: "стервы", "паршивые овцы". Допустим, что мы вам поверили. А скажите, когда у вас замышляется стачка? И как вы относитесь к забастовщикам?
- Провались они пропадом!
- Это почему же? Другие говорят: стачка мастеровым на пользу. Что-то я не пойму.
- Нерадивым, может, и на пользу. А я - трудовик. У меня, ваше степенство, руки-то - вот они! - в мозолях. И я на мозоли не жалуюсь: они - моя гордость мастерового. Слесарь завсегда зарабатывает справно, кладет в карман верные деньги. А забастовка вроде карточной игры: чем она кончится - никто не скажет. Покамест бастуешь - в карманах-то ветер гуляет. Одна пустота. А прибавят ли хозяева - это бабушка надвое сказала. Можно ведь и проиграться.
- Бабушка умная! - Зубатов, улыбнувшись, кинул цепкий взгляд в маленькие глаза арестованного. - Но если забастовщики взяли верх над противниками карточной игры, тогда как? Можно решить дело подобру?
- Ежели с божьей помощью...
Зубатов провел ладонью по лбу: "Кажется, не прикидывается. А Евстратушка еще поразузнает о нем". Звонком вызвал Медникова и распорядился:
- Стакан чаю господину Слепову. - Вставая, спросил через стол: Желаете покрепче? - И снова - к Медникову: - Да, конечно, покрепче. И с печеньем фабрики Эйнем.
У Слепова от неожиданности задрожала нижняя губа, и и он смог ответить только после некоторого промедления:
- Бла... Благодарствую.
Зубатов взял со стола тощую папку - "дело" обвиняемого - и, поскрипывая подошвами ботинок, отнес в сейф. Погремел ключом на короткой цепочке. Оглянулся на арестанта, припавшего к стакану чая. На крепких зубах оголодавшего человека хрустело самое лучшее печенье. Сер гей Васильевич покрутил в руке ключ и заговорил мягко:
- Вы уж извините нас, Феофил Алексеевич, что мы устроили вам нечто вроде великого поста, но, поверьте, только в интересах дела. - Зубатов опустил ключ в карман и, возвращаясь к столу,

напомнил: - Вот вы сказали: "с божьей помощью", добрые слова приятно было слышать, но не надо забывать и о его наместнике на земле. Много благого творится на Руси с его помощью. И с нашей, - подчеркнул он. - Мы - верные слуги государя. У вас будет время подумать об этом до следующей встречи.
...И вот четвертая встреча.
Слепов сидит у того же стола. Но теперь перед ним уже не стакан чая тарелка борща, принесенного из соседнего филипповского ресторана, знаменитого на всю Москву. Аппетитный пар приятно щекочет ноздри. Медников приносит салфетку, помогает заправить за воротник, рядом с тарелкой кладет увесистую серебряную ложку.
Феофил Алексеевич хлебает наваристый борщ, чмокает толстыми губами. Зубатов сидит против него и равномерным движением указательного пальца как бы вдалбливает издалека в его круглую голову каждое слово:
- Вы будете запросто приходить ко мне во всякое время, когда потребуется наша помощь.
- Сюда?! - Слепов положил ложку, провел пальцем по губам. - К вам в охранку?!
- Ну-ну, Феофил Алексеевич! Как вы неуважительно. Не в охранку, а в Охрану. Привыкайте.
- Но меня могут увидеть... Шпиеном посчитают.
- Шпи-е-ном, - скривил губы Зубатов. - Этак, чего доброго, вы и меня назовете шпионом. А я поставлен охранять престол государя. Он для всех нас как отец в большой семье. Доводилось вам видать такие семьи, где все от мала до велика чтут старшего - родителя или деда, слушаются во всем. Так ведь в крестьянской жизни?
- Этак у меня самого на памяти...
- Вот и я об этом же толкую вам. Царь - отец империи, батюшка для всех нас. От него и порядок. А если без отца... Сыновья того и гляди из-за пустяков передерутся, снохи одна другой в волосы вцепятся, и пойдет потасовка! Водой не разольешь. Так?
- Да уж это как пить дать! Пойдет. В деревне бывало...
- А чтобы этого не случилось, надо бороться с ослушниками. Верно я говорю?
- Так-то оно так. Я сам - за царя-батюшку.
- Вот и выходит, что мы с вами - единомышленники.
- Доносить на кого-то... Это мне поперек сердца.
- Да не доносить. Поймите меня - советоваться. Я сам когда-то был молод, увлекался, читал запрещенные книжки, бегал в тайные кружки, пока господь бог не вразумил. И сейчас я, можно сказать, демократ, только не разделяющий революционного метода борьбы.
Борщ остывал, и Слепов снова взялся за ложку. А Зубатов продолжал:
- У нас одна забота - мир и благоденствие, согласие между трудом и капиталом. Я понимаю: вам, мастеровым, нужны, даже необходимы свои организации. Но почему непременно тайные? Можно ведь открыто, чтобы все было по закону, мирно, спокойно.
- Неужто будет так?
- Обязательно будет.
- Чтой-то мне неявственно.
- Все просто: и хозяева, и рабочие - все дети государя. Вас, мастеровых, - миллионы, и у царя-батюшки первая забота - о вас.
- На словах-то красиво. Только помнится мне...
- Вы не верите государю? - Зубатов вскочил. - Вам бы только смутьянство замышлять!
- Да я... Да что же это? Господи!..
Вошел Медников. На тарелке, которую он нес, источала пар отбивная с косточкой.
- Отставить! - скомандовал Зубатов, хотя никогда не был военным. Господин Слепов отказывается от второго, - у него вдруг пропал аппетит.
"Что-то будет сегодня? - думал Слепов, передвигая ноги мелкими шажками. - Если не согласиться, он и впрямь в Сибирь закатает. А так клонит вроде бы сходственно. Чтой-то было слышно про эти нетайные организации рабочих. Будто бы на пользу..."
...Третий час шла беседа. Давно Медников унес опустевшие тарелки. Давно отодвинуты чашки, в которых был подан чай. А голос Сергея Васильевича все журчал и журчал:
- Если случится где-либо забастовка, я первый приду рабочим на помощь. И вся наша полицейская армада будет на вашей стороне: уладим спор подобру - заставим хозяев понять ваши нужды.

"Славно-то как! - пела душа у Феофила Слепова. - Как же раньше-то до этого не додумались? Сколько людей зазря головы сложили. Если бы знатье... Но не было такого человека, как Сергей Васильевич. Воистину ума палата!"
А Зубатов продолжал:
- Пока вы отдыхали у нас тут, мы почти договорились об организации первого вполне легального "Общества взаимного воспомоществования рабочих механического производства". Пойдете к Михаилу Афанасьеву. Его выберут председателем совета, вас - секретарем. Жалованье будете получать от нас. В добрый час! - Зубатов через стол пожал влажную и холодную руку собеседника. - Раздуете кадило, и мы отправим вас в большое турне - в большую поездку - по России-матушке. Будете всюду рассказывать о первом обществе. Пусть во всех городах, где есть рабочие, последуют этому богом подсказанному примеру.
Зубатов открыл сейф, достал две хрустящие бумажки с портретом Александра Третьего и великодушно протянул Слепову:
- Вот вам жалованье за тот месяц, который вы провели в этом вынужденном заключении. У вас ведь семья.
- Большущая. Тяжеленько бабе с детками пришлось без меня. - Слепов поклонился. - Расписочку написать?
- Помилуйте, какие расписки могут быть между нами.
- Благодарствую!
Кладя кредитки в карман, Слепов чуть было не прищелкнул языком: "Полсотни отвалил! Это тебе, Феофил, не баран чихнул! Деньжищи!"
2
Через какую-нибудь неделю Слепов принес Зубатову устав общества вспомоществования, переписанный с какого-то черновика в ученическую тетрадку химическим карандашом. Строчки были пестрые: густо-фиолетовые буквы перемежались серыми и бледными.
- Ладно ли переписано-то? - спросил Слепов, сутулясь перед столом начальника. - Я старался буковку к буковке, чтобы все ясно.
- Вижу ваше прилежание. - Зубатов, успевший заметить фиолетовые пятна на губах посетителя, едва сдержал усмешку. - Правда, кое-где и кое-что, пошевелил растопыренными пальцами правой руки, - надобно поправить. С вашего разрешения, конечно.
- Сделайте милость. У меня грамотешка-то, сами знаете... В гимназиях не обучался.
- Понятно. А у нас поправить есть кому.
Перелистывая тетрадку, Зубатов, как цензор, делал пометки красным карандашом; перевернув последнюю страницу, сложил руки на столе:
- Потребуются не только орфографические, стилистические, но и логические поправки.
- Как вы изволите сказать? Я чтой-то...
- По содержанию, говорю, тоже кое-что надо привести в порядок. Мы все сделаем. Вы не беспокойтесь. Перепечатаем на ремингтоне, дадим на августейшую визу великому князю Сергею Александровичу. Ну, а там уж вы примете в окончательном виде, подпишете, тогда и представим на утверждение. Все будет законно.
- Благодарствую. Несвычно нам писарское-то дело. Без интеллигентов-то вроде и шагу не шагнешь. А как с ними обходиться? Дозвольте узнать. Ежели пожелают которые к нам в общество.
- Есть такие? Ну что же, принесете списочек - мы посмотрим.
Зубатов навалился грудью на стол, заговорил доверительно:
- Видите ли, Феофил Алексеевич, интеллигенция двоякая. Это вы, вероятно, и сами замечали. Есть солидная. Скажем, некоторые профессора помогают правительству в его заботах о рабочих. Вот, к примеру, профессор Мануйлов в здешнем университете. Недавно в одной лекции студентам сказал: "Нет больше у нас ни народников, ни марксистов, а есть социально-политическое направление, которое стремится улучшить быт рабочих и народа на почве существующего строя". Это - в ваш адрес, о вашем обществе. К сожалению, есть пока еще и другая интеллигенция, мелкая, злобная, недовольная существующим строем. Она и мутит народ. Марксята подливают масла в огонь. Им, видите ли, хочется из маленькой искорки раздуть большое пламя. Таких на версту не подпускайте. А нам о них словечко. Тихонько, шепотком. Кроме одного меня, никто не услышит. А мы их... - Зубатов махнул над

поверхностью стола растопыренной ладонью, будто хотел поймать мух, потряс кулаком. - Вот так. И - в Сибирь их, в Якутку, к белым медведям!
Сергей Васильевич встал, прошелся по кабинету. Подошвы ботинок у него все еще скрипели.
- Да, - спохватился он, остановившись возле шкафа с книгами, - чуть не забыл: у меня для вас и ваших друзей приготовлен подарок. Вот! - Достал книгу Эдуарда Бернштейна, только что изданную на русском языке благодаря его, Зубатова, настоянию, подолбил по обложке указательным пальцем. Умнейший человек! Когда я прочел это в оригинале, у меня душа затрепетала: вот, думаю, отыскался для нас союзник в борьбе с безобразной российской социал-демократией! И я не ошибся: господин директор департамента полиции со мной согласился.
Сергей Васильевич с торжественным жестом вручил книгу Слепову:
- Читайте. И рекомендуйте автора рабочим как искреннего друга, уразумевшего, что марксизм был зловредной ошибкой. Был! Мы его искореняем подчистую.
3
Слепов ходил в охранку по два раза в неделю. На Тверской, стараясь держаться поближе к домам, свертывал в Большой Гнездниковский переулок; иногда, не доходя по бульвару до памятника Пушкину, пользовался проходным двором, устроенным для удобства полиции. Каждый месяц двадцатого числа получал от Зубатова на всех "вожаков" субсидию четыреста рублей. Одному Михаилу Афанасьеву - как председателю общества - восемьдесят пять целковых! Такие деньжищи! Ему, Слепову, полсотни. Обидно! У него хлопот-то гораздо больше, чем у этого Афанасьева. И тревоги больше. Еще слава богу, что все сходит благополучно.
Но однажды поздним вечером у выхода на Тверскую он услышал за спиной шаги: его настигали двое. Он пошел быстрее. И те двое тоже прибавили шагу. Один полушепотом окликнул:
- Господин Слепов, на минутку.
Другой схватил за воротник, прошипел над ухом:
- Не уйдешь, сука!
Первый, не дав крикнуть "караул", ударил по щеке:
- Продажная шкура!
Второй со всего размаха грохнул кулачищем, как молотом, в грудь, сбил с ног.
- Братцы!.. - плаксиво взмолился Слепов. - Помилуйте!..
Но ему наносили удар за ударом, будто молотили ржаной сноп.
Лежа на узеньком тротуаре, он левой рукой прижимал портмоне с деньгами, правой сумел достать свисток и сунуть в рот. Заглушая свист, его стукнули по зубам, отшвырнули к какой-то подворотне.
Когда с Тверской улицы прибежал городовой, никого из нападавших уже не было на месте происшествия, лишь слышался топот сапог по булыжной мостовой да лаяли во дворах за охранным отделением взбулгаченные собаки.
Слепов стонал; придерживая дрожащими пальцами нижнюю челюсть, опять попытался крикнуть "караул", но захлебнулся на втором слоге. Городовой помог ему подняться сначала на коленки, потом на подсекавшиеся ноги, хотел отвести в полицию - тут всего каких-то сто шагов, но Слепов попросил помочь добраться до охранного отделения. По дороге слезливо бормотал:
- Господи!.. Зачем же этак-то? Своего же брата... Ведь я такой же мастеровой... За что?
- Стало быть, ты успел разглядеть бандюг? - спросил городовой. Словят их. Ты сумеешь опознать?
- Где там... Ночь-то вишь какая темнушая!
- А говоришь - мастеровые.
- Это я - по ихним кулакам. Как молоты!
В кабинете Зубатова Слепов повалился на стул. Долго не мог произнести ни слова, - перехватывало горло, плохо повиновались кровоточившие губы. Серей Васильевич обошел длинный стол, подал стакан с водой:
- Успокойтесь, Феофил Алексеевич! Будьте же мужчиной!
Постукивая тычком кулака по столу, про себя сказал:
"До чего же обнаглели! Под носом у обера! В двух шагах от Охраны!.. Давно такого не было... И куда смотрят полицейские, дрянные филиппы?!* Слюнтяи, сморчки!"
____

* Филиппами Зубатов называл жандармов.
- Позвольте идти? - спросил городовой, успевший доложить о происшествии.
- Идите. И смотрите в оба.
- Сергей Васильевич... Батюшка! Что же это такое? - бормотал Слепов, приходя в себя. - Чистое смертоубийство!.. Они же могли... - Вспомнив о полученной субсидии, сунул руку в карман. - Портмонет при мне, слава те господи!.. Про деньги не спросили.
- Не за деньгами шли.
- Чую - по мою душу. Но я же невиноватый... Сергей Васильевич! Слепов сложил ладонь к ладони, готов был встать на колени. - Скажите своим... Этим, как их?..
- Филерам, что ли? - у Зубатова покривились губы.
- Тем, которые выслеживают... Пусть походят за мной... И чтобы мастеровые видели...
- Чтобы вас посчитали за революционера?! - усмехнулся Зубатов; покручивая ус, опустился в кресло. - Пустая затея. И совершенно излишняя. Поймите, Слепов, положение теперь иное. Мы к вам на собрания ходим открыто, и вы по-прежнему открыто ходите к нам. Лучше среди дня. И скоро вся мастеровщина поймет: мы ей не враги, а первые заступники. Так мы выветрим блажь из неразумных голов - марксята потеряют всякое влияние... Вас отвезем сейчас к врачу.
- А деньги-то... - спохватился Слепов. - Афанасьев ждет.
- Поезжайте сначала к нему, потом - к врачу. Вылечит! Хоть на молодой бабе снова женить вас!
- Шутки-то шутками... - Слепов осторожно дотронулся пальцем до рта. А зубы-то теперича...
- Зубы вам отремонтируют! Хотите - золотые поставят. И на поправку мы вам добавим деньжонок. - Поигрывая ключом, Сергей Васильевич направился к сейфу, по пути хлопнул Слепова по плечу. - Выше голову, дружище!
4
Выпроводив Слепова, Зубатов торопливо поправил галстук, обмотал шею клетчатым шелковым шарфом, надел касторовое пальто и велюровую шляпу. Если бы он носил бороду, в этом наряде его могли бы принять за профессора или респектабельного адвоката.
На ходу натягивая лайковые перчатки, он через проходной двор, которым пользовалась полиция, поспешил к Тверскому бульвару. На важное свидание шел пешком, - не хотел, чтобы кучер приметил его конспиративную квартиру. Шел не оглядываясь. Кого ему опасаться? Стреляют в Петербурге - то в министра просвещения, то в обер-прокурора святейшего Синода, а в Москве тихо: слеповы успели рассказать о его заботах. Он теперь не враг, а друг мастеровых. Заступник! Пусть так и думают. Вчера он, Сергей Зубатов, ломал молодые побеги через колено, а теперь будет постепенно сгибать в дугу.
Кое-где, надо признать, шевелятся новоявленные "герои", оголтелые головы. Замышляют сколотить свою партию социалистов-революционеров, собираются подражать покойнице "Народной воле". Их нетрудно будет переловить.
Главной же опасностью престола стали ортодоксальные марксята. Эти стрелять не будут, - вознамерились грозить устоям государства, а не отдельной личности. Вон в своей "Искре" осуждают террор. Они, видите ли, опираются на пресловутый пролетариат! А мы вырвем мастеровщину из-под их влияния, уведем на тихую дорожку. С божьей помощью. Разумные профессора да священники-златоусты помогут укрепить спокойствие и благоденствие.
Так думал Зубатов, направляясь к Малой Бронной. И шел быстро только потому, что этот тумак Слепов вынудил его, привыкшего к точности, задержаться в кабинете. Из-за него главную помощницу, многократно оказывавшую неоценимые услуги, заставил томиться в ожидании. Она там тревожится. Опять попросит врача прописать бром с валерианкой. И снотворные пилюли. А Мамочке волноваться вредно. Она все время ходит по острию ножа, и самый маленький ее просчет может погубить дело. Ее надобно беречь, - она одна стоит доброй тысячи филеров. Ее сам бог послал. Преданная престолу, Охране верная душа!
Федор Данилович Грулька, юркий и поджарый, как борзая, поджидал шефа. По-старчески дрожащими руками вымыл чайную посуду, вскипятил самовар.
В Охранном отделении его уже давно считали ветераном, и ему пора бы выйти на пенсию. Наградные, которыми его не обходили при каждой ликвидации крамольных организаций, он расходовал с толком - купил себе дом на Первой Мещанской. Но Сергей Васильевич сказал, что Охране трудно обходиться без его услуг. И вот он здесь, в небольшом домике на углу Сытинского переулка. По бумагам и для всех соседей он - хозяин. Заниматься проследками - не для его возраста. А жаль. Сколько он на своем беспокойном веку побегал по московским

улицам! Да разве только по московским? И в Петербурге выслеживал, дрожал под дождем, под зимним ветром. И в Киев ездил старшим "летучего отряда" отборных филеров. И в Харьков. И в Екатеринбург. И в Баку. Исколесил в поездах, почитай, десятка три губерний. Даже в Уфу приходилось таскаться по пятам, подобно тени... Зато и "крестников" у него - не пересчитаешь! Одни - еще в камерах подследственных, другие давно на каторге. Ссыльные да поселенцы где-нибудь в Якутке мотают сопли на кулак. И немало таких, кого уже черти поджаривают на адских кострах. Небось опомнились, немоляхи, ан поздно: отступился господь-батюшка. Он, Грулька, в родительский день помянул бы в церкви, - все ж были люди те грешники. А кого помянешь? Он-то знает их только по кличкам, которые сам давал при начале проследок. А у Сергея Васильевича имена да фамилии спрашивать неловко. Да и ни к чему. Бога забыли - пусть теперь казнятся, горят веки вечные.
А ему тут нехудо. И тепло! И Зубатов по-прежнему ценит его. Не хочется Сергею Васильевичу, чтобы еще кто-нибудь, кроме их двоих, видал здесь Мамочку. Дорожит ею. Она заслужила! А наградных-то ей перепадало, поди-ка, больше всей Охраны! Наверняка многие тысячи! А вот собственного дома голубушке завести нельзя, - все крамольники ударятся в подозрение: "Откуда такие деньги?" Выходит он, Грулька, в лучшем положении.
Осмотрев французскую этикетку на бутылке, принесенной Евстратием Медниковым ради сегодняшнего вечера, умело ввернул штопор и, держа бутылку между колен, с натугой выдернул пробку. Приятный хлопок порадовал слух. Широкими ноздрями втянул винный аромат и аппетитно прищелкнул языком:
"Амброзия!.. Такое, наверно, подают самому государю с государыней-матушкой!.. Вино у этих французов пахнет слаще причастия! Проглотил слюну, почесал в аккуратно подстриженной сивой бородке, разделенной на две половинки. - И я сподоблюсь - останутся опивки немалые: пьяным-то им на улицу - неловко. Угощусь потом на сон грядущий!.."
Анна Егоровна Серебрякова, сидя в кресле, задумчиво барабанила пальцами по столу.
- Извините, Мамочка, за опоздание, - послышалось из прихожей, и Зубатов, слегка откидывая рукой плюшевую портьеру, заглянул в комнату. Дела задержали.
Раздевшись, двумя пальцами поправил усы и, войдя, поцеловал холодную руку, пахнущую резкими духами.
- А почему мы нервничаем? Я полагал, коротаете время за пасьянсом.
- Карты забыла, Сергей Васильевич.
- Рановато вам на память жаловаться. - Зубатов сел в кресло, боком к столу, заложив ногу на ногу. - Ну-с, делитесь успехами. К Грачу ниточку нашли?
- Не удалось, Сергей Васильевич. - Анна Егоровна прижала руки к груди. - Уж больно он хитер. Никто из моих знакомых не знает к нему явки.
- Хитер, говорите? - На тонких губах начальника шевельнулась презрительная усмешка. - Нас не перехитрит!..
- Я не теряю надежды... Прилагаю все усилия...
- Ну, а из заграничных никто не докладывался? Жаль. - Зубатов повернулся к столу. - На прошлой неделе в департаменте был разговор. Там ценят наши проследки, отмечают усердие и находчивость. У вас, говорит одно видное лицо, подрыватели устоев докладываются о своем приезде, первым делом, Охране. Вам, Мамочка. А через вас и нам. Вот я и поинтересовался: не было ли транспорта для Грача? Не приезжал ли кто-нибудь для связи? Мадам Ульянова не пишет вам?
- У меня с ней непосредственной связи и раньше не было.
- Через Елизариху узнайте. О ней-то вам что-нибудь известно? Где она?
- Мотается по Европе.
- А точнее?
- Кажется, в Берлине.
Зубатов достал массивный серебряный портсигар, хлопнул пальцами по крышке и, откинув ее, предложил папиросу собеседнице, потом поднес горящую спичку. Закурил сам. Выпустил дым кольцами в потолок.
- Сейчас, Мамочка, самое важное - узнать местонахождение и новые клички Владимира Ульянова.
- Упустили его.

- Да. Теперь это и в департаменте понимают. А я своевременно ставил в известность: "крупнее Ульянова в революционном движении нет никого". Зубатов как бы подчеркнул эти слова резким жестом руки с дымящейся папиросой. - И советовал без раздумья "срезать эту голову с революционного тела". Не вняли моим словам, прохлопали ушами. А теперь он шлепает за границей эту наивреднейшую "Искру".
- Вы считаете, что "Искру" печатают за границей?
- И сомнений быть не может. Хотя они всячески стараются подчеркнуть, что будто бы весь тираж печатается в империи. Вы, вероятно, обратили внимание - даже даты ставят по нашему русскому календарю. Но нас не проведут. - Зубатов погрозил пальцем. - Отдельные номера, правда, перепечатывают на подпольных шлепалках. Где-то на юге, на Кавказе. А редакция обосновалась в Германии. Но где? В каком городе? Вот это, подолбил стол указательным пальцем, согнутым, как орлиный клюв, - это мы с вами обязаны узнать.
- И тогда германская полиция выдаст его?
- Непременно. Кайзер-то как-никак родственник его императорскому величеству.
Зубатов через стол наклонился к собеседнице:
- Так где же они? Как вы думаете?
- Если Елизариха в Берлине, то...
- В Берлине их нет. Уж там-то наш глаз остер.
- Возможно, они в Австро-Венгрии.
- В Праге? Было похоже. Но недавно расшифровано письмо, отправленное из Нюрнберга в Одессу. Явно из редакции "Искры". Пишет женщина. Мадам.
- Она!.. Сергей Васильевич, она!.. Поверьте моему чутью. Мадам Ульянова.
- В таком случае, они - в Нюрнберге. Если не в Мюнхене.
- Подобрать бы ключи к их переписке.
- Дело не столь уж хитрое. Ну, кто же, Мамочка, не поймет, что "Графачуфу" - это пресловутому Грачу, за которым мы гоняемся уже несколько месяцев. К сожалению, в последнее время у них появился и настоящий шифр. Пока неразгаданный. И в открытом тексте есть загадки, например: "Сюда приехала жена Петрова". Не Ульянова ли, а? Не он ли Петров?
- Он на выдумки горазд. Но я постараюсь... Приложу усилия...
Зубатов хлопнул в ладоши. Грулька тотчас же принес распечатанную бутылку, две рюмки и вазочку с шоколадными конфетами; с ловкостью заправского официанта разлил вино и с легким поклоном удалился. Зубатов поднял рюмку и, глядя в круглые, как вишни, глаза Анны Егоровны, торжественно произнес:
- Сегодня годовщина! Знаете, которая по счету? Девятнадцатая!
- Господи! - всплеснула руками Анна Егоровна. - Все-то вы помните!
- Такое не забывается! Хотя и не круглый счет, а нельзя не отметить. - Чокнулся с раскрасневшейся собеседницей. - За ваши бесценные услуги Охране! За верную службу государю!
Анна Егоровна достала платок, приложила к одному глазу, к другому. Зубатов, опорожнив рюмку, провел указательным пальцем по усам, заговорил с особой доверчивостью:
- А теперь я хочу слышать ваше слово об одном, если хотите, грандиозном плане. Слепова знаете. И Афанасьева с моих слов тоже знаете. Эти люди послушные, как дрессированные охотничьи собаки. Скажу: "Несите в зубах поноску" - понесут. И роптать не будут: бога боятся, государя чтут больше отца родного. Понадобится - они в своих обществах поднимут мастеровщину на манифестацию под трехцветным государственным флагом, с портретом его императорского величества.
- Сергей Васильевич! - Голос Анны Егоровны зазвучал настороженно. - А вдруг да кто-нибудь один... Вдруг да выкинет, подлец... красный флаг.
- Признаюсь - риск не исключен. Но ради святого дела можно и рискнуть. А в Слепова я верю. Такие люди подберут богобоязненных мужиков из неграмотной мастеровщины. Да если кто и посмеет супротив... Сомнут! - У Зубатова сжались кулаки. - Пойдет лавина! И знаете, Мамочка, это можно приурочить ко дню освобождения крестьян. И на поклонение к памятнику царю-освободителю, а? Каково придумано?!
- Да это же!.. У меня даже дух захватывает!.. - Анна Егоровна прихлопывала в ладоши. - Как откровение свыше!.. И дай-то бог!..

- Я был уверен, что вы одобрите. На днях доложу великому князю. И, в фартовый час, начнем подготовку. Народ увидит, у кого больше сил. Зубатов встал. - До новой встречи, Мамочка!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Ульяновых приютила на время семья одного рабочего. Им уступили маленькую комнатку. Сами хозяева - восемь человек - ютились в соседней, тоже небольшой. Те и другие жили по принципу: в тесноте, да не в обиде.
Чистота в квартире была отменная: нигде - ни пылинки. Дети всегда ходили чистенькие и так же, как родители, вели себя учтиво, друг друга удерживали от шумливости:
- Тише. Дядя Мейер пишет.
А он не столько сидел за столом, сколько ходил по комнате. Походит, пошепчет себе что-то, потом присаживается к столу и некоторое время пишет. Надежда знала: пишет брошюру против "экономистов" из газеты "Рабочее дело" и прочих ревизионистов, отступников от марксизма, с которыми нужно размежеваться самым решительным образом. И чем скорее, тем лучше. В такие минуты она уходила из комнаты. То готовила немудрый завтрак, разговаривая с хозяйкой, то расспрашивала ее старших детей об уроках в школе. Дети доверчиво показывали тетради с домашними заданиями.
Вечерами Владимир Ильич подолгу беседовал с хозяином, расспрашивал о фарфоровом заводе, о заработке, о профессиональном союзе, о партийных новостях.
Иногда Ульяновы отправлялись на прогулку, чаще всего в Английский сад. Там любовались задумчивыми ивами, опустившими тонкие, как пряди длинных девичьих волос, ветви до самой земли.
Нередко выходили за город и подолгу смотрели на юг. Там темнели мягкие холмы, поросшие сумрачным лесом, а далеко за ними вздымались все выше и выше подернутые голубоватой дымкой скалистые вершины. Самые высокие накрутили на головы снежные чалмы. Порой между гор застревали облака, и было трудно отличить их от снега: весь хребет казался белым.
Во время прогулок Владимир рассказывал о том, что написал утром, а вечерами давал прочесть новые страницы. Пока Надя читала, посматривал на ее лицо: нравится ли ей? Согласна ли с его полемическими строками? А потом спрашивал:
- Ну как? Ошибок нет?.. Если не устала, переписывай.
Надя улыбалась. Тихо и тепло. У нее ни голова, ни руки не устают переписывать его страницы. Сколько бы их ни было.
После завтрака они направлялись в квартиру Ритмейера. И Надя несла в сумке томики стихов, которые могли понадобиться при шифровке, и две довольно толстые тетради. В одну записывала: откуда, от кого, что и через какой промежуточный адрес получено для "Искры"; в другой регистрировала ответы: в графе "Кому" помечала только клички, а фамилии держала в памяти. Если, не приведи бог, и попадутся тетради в руки шпика, все равно ничего в них не разгадает. Кто же может знать, что Матрена - это Петр Гермогенович Смидович, а Зайчик - Глаша Окулова, милая девушка из сибирской деревни.
Вера Ивановна пришла возбужденная, с порога сказала, что снова приехал для переговоров Струве. После обеда будет у нее. Просит прийти.
- Я не пойду, - наотрез отказался Владимир Ильич. - Не могу больше разговаривать с Иудой.
- С Теленком, - поправила Засулич. - Я же говорю: в политике он - как теленок на льду.
- Ну, нет. Он себе на уме. И этому Теленку пальца в рот не клади: откусит.
- Он с деньгами. И немалыми.
- Купить нас? Все равно не хватит. У Иуды - помните? - было тридцать сребреников. И у этого не больше. - Владимир Ильич, расхохотавшись, повернулся к Надежде: - Иди ты. Он наверняка опять с женой. Она же - твоя гимназическая подруга.
- И мне трудно, - вздохнула Надежда. - Я не могу забыть: они оба многое сделали для нас...
- В былые времена... - твердо сказал Владимир Ильич. - А ныне мы идеологические противники.
- Вы уж слишком резко, - заметила Вера Ивановна.
- Иначе не могу. С людьми, извращающими марксизм, нельзя вести мягкой беседы. Разговаривайте вы, женщины.
Надежда целый день терялась в раздумье: "О чем я буду говорить с ним? И как? Ума не приложу... Ужасно нехорошо на душе..."
Но выполнить тяжелое поручение сочла необходимым.

Готовясь к приему гостя, Вера Ивановна в своей маленькой комнатке жарила на керосинке кусок говядины.
- Я долго соображала, чем его угощать? - рассказывала она Надежде Константиновне. - Если бы он с женой, купила бы печенья к кофе, а он на этот раз, оказывается, один.
"И лучше, что один, - отметила для себя Надежда. - Все же легче".
- Мужчина! Ему, конечно, нужно мясо, - продолжала Вера Ивановна. Вот и пришлось жарить. А мне это не с руки.
Она ножницами приподняла краешек куска, отстригла уголок и, подцепив острием, повертела перед глазами:
- Еще кровенит... А может, Струве такое любит? Бифштекс по-английски! - Она хотела попробовать немножко, но не удержалась аппетитно съела все, что отрезала. - Пожалуй, еще надо пожарить. Отрезала второй уголок. - Попробуйте. Я положусь на ваш вкус.
- Спасибо. Я сыта.
Вера Ивановна, уступая чувству голода, съела второй кусочек.
- Ничего. Теперь почти поджарилось.
- Да не хлопочите для него. Лучше так...
- Пожалуй, вы правы. Мясо подают с гарниром, а у меня ничего нет...
И Вера Ивановна отрезала себе еще:
- Теперь уже совсем без крови...
Она была растерянна - не знала, как разговаривать со Струве. В чем соглашаться? Против чего возражать? Ведь неизвестно, как отнесется к ее разговору Жорж. Если бы Струве предупредил заранее о своем приезде, она написала бы в Женеву, спросила... А теперь... Вдруг Жорж не одобрит ее позиции?.. Лучше остаться в стороне. Пусть разговаривает с ним Надежда Константиновна - она полномочная представительница Ульянова.
Надежда вернулась раскрасневшаяся, будто из жаркой бани.
- Удружил ты мне!.. Ужасно тяжелый был разговор! - Бросила на стол коробку мармелада. - Это, говорит, подарок от Нины Александровны. Я, понятно, поблагодарила, попросила передать привет. Не могла же я так сразу резко... Но он страшно разобиделся, что ты не пришел, и понял, что ни о какой договоренности и речи быть не может. Ударился в достоевщину: его, дескать, считают изгоем, а он в свое время помогал, поддерживал...
- Тогда, когда мы находили в какой-то степени общий язык в борьбе с либеральными народниками. А теперь иное... Рассказывай дальше.
- А теперь, дескать, от него сторонятся, как от прокаженного. Отталкивают. Он, видите ли, ренегат.
- Так и сказал?
- Но ты бы посмотрел - с какой миной. Потом смягчился: мы, говорит, могли бы работать вместе. Рука об руку. Тихо, со всеми мирно. Время идет все в жизни меняется. Старые догмы ему напоминают ветхие мехи. От молодого вина они прорываются, и людям не остается ни вина, ни мехов. Для молодого вина готовят новые мехи, при атом сберегается то и другое.
- Заговорил устами евангелиста Матфея! Будто праведник!
- Да. Я увидела: совсем чужой человек. Враждебный партии. И мне стало страшно жаль Нину Александровну: она, видимо, бессильна. Да и вряд ли она понимает, куда поворачивает ее муж. А он-то понимает.
- Не поворачивает, а уж давненько повернул. Удивляюсь, как этого не видит Потресов! Как не чувствует Вера Ивановна! И даже Плеханов, блестящий теоретик, с ними. Уму непостижимо! Вместо борьбы с Иудой, которая нам предстоит, готовы, - в уголках губ Владимира Ильича сверкнула горькая усмешка, - гладить его по шерстке!
2
Радость! Большая радость - Митя прислал газеты. Вовремя прислал. Очень вовремя. Надя уже истосковалась по питерским и московским новостям. Да и сам он истосковался - давно не видел знакомых газет. Даже в ссылке следил за печатью. А здесь... Русской библиотеки в Мюнхене нет. Выписывать конспирация не позволяет. У газетчиков ничего невозможно найти, лишь изредка попадаются "Русские ведомости". А ведь ему, как воздух, как хлеб, необходимы новости из родной страны. Елико возможно, больше новостей. В особенности сейчас, когда в немецких и французских газетах они прочли телеграммы о новом побоище в Питере. На этот раз - на Обуховском казенном заводе.

Из здешних газет уже знали: Первого мая на заводе не вышли на работу триста человек - за городом отмечали День солидарности трудящихся всего мира. А исполняющий должность начальника завода подполковник Иванов объявил их прогульщиками и распорядился о постепенном увольнении: каждый день по десять человек! Рабочие возмутились. Со дня на день надо было ждать взрыва. И седьмого мая взрыв произошел - обуховцы потребовали восстановить товарищей на работе. Подполковник отказал. Тогда они дали тревожный гудок. Переполнив заводской двор, потребовали уже не только восстановления товарищей по работе - сокращения рабочего дня до восьми часов и отмены ночных работ. Воинская команда завода, находившаяся наготове, не смогла управиться. С криками "ура", с насмешливым гиком и свистом, оттесняя отряды пеших и конных городовых, а также эскадрон жандармов, рабочие вырвались на Шлиссельбургский проспект, заполнили его. Считают, что их было более трех с половиной тысяч человек! Тогда полицмейстер вызвал еще один отряд городовых, новый эскадрон жандармов и две роты пехоты. Разгорелась ожесточенная схватка...
Владимир Ильич ждал подробностей. В "Правительственном вестнике" не нашел ни строчки. Развернул "Новое время", просматривал колонку за колонкой на первой странице, на второй, на третьей, наконец глаза споткнулись о строчку, набранную мелким шрифтом: "Мы получили следующее сообщение". От кого получили? Конечно, от жандармов. Позвал жену:
- Ты посмотри, что они, мерзавцы, делали! Вот читай, залпами стреляли в толпу. А рабочие не дрогнули. Не только отбивались булыжниками, которые им подносили девушки в подолах, а дважды все это войско заставляли отступать. Подлинные герои! Не струсили, не разбежались. Даже после третьего залпа! Сражение продолжалось до вечера...
Надежда оставила другие газеты, тоже склонилась над "Новым временем":
- Ужасно! С обнаженными шашками - на рабочих. Один убит, восемь ранено... Это только пишут - восемь...
- Но и башибузукам здорово досталось! Видишь: сбит с ног околоточный надзиратель - рабочие запустили ему камнем в рожу, сломали ножны о его башку. Молодцы! А вот: ранили камнями полицмейстера, нескольких жандармов и городовых... Жаркое было сражение!
Владимир не мог усидеть на месте - несколько раз прошелся по комнате, рассекая воздух взмахами кулака:
- Как видишь, уличная борьба возможна. И безнадежно будет не положение пролетарских борцов, а положение правительства, если ему придется иметь дело с рабочими не одного только завода. А придется! И гораздо серьезнее. Обуховцы не имели ничего, кроме камней, и то продержались целый день. Рабочие не мирятся со своим положением, не хотят оставаться рабами. И в следующий раз они запасутся другим оружием.
Надежда знала, что в голове Владимира уже зреет новая статья для пятого номера "Искры", который придется переверстать. А спустя какой-нибудь час она уже переписывала для набора его статью "Новое побоище":
"...Эти вспышки пробуждают к сознательной жизни самые широкие слои задавленных нуждою и темнотою рабочих, распространяют в них дух благородной ненависти к угнетателям и врагам свободы. И вот почему известие о таком побоище, какое было, напр., 7-го мая на Обуховском заводе, заставляет нас воскликнуть: "Рабочее восстание подавлено, да здравствует рабочее восстание!"
В тот же день пришли два письма. Оба из Питера. О схватке на Обуховском заводе. Один из корреспондентов писал: "Теперь всем на улицу хочется. Б. [уцелевший рабочий] говорил, что жаль, что знамени у них не было. Другой раз и знамя будет и пистолетов достанут..."
Когда собрались все четверо, обсудили и статью Владимира Ильича, и корреспонденции из Питера. "Гвоздем" переверстанного номера стало Обуховское сражение.
По вечерам Владимир Ильич отвечал на письма. Вот и сейчас он, пододвинув к себе листок бумаги, писал матери:
"...Получил я твое письмо от 10-го мая и газеты от Мити. За письмо и за газеты - большое спасибо. Митю очень бы просил и вперед присылать всякие попадающие ему в руки интересные номера русских газет..."
Он знал: Митя на каникулы приехал в Подольск. Теперь возле матери. Все же спокойнее за нее. К сожалению, должность временная и не по специальности - писец в земской управе! Но, может быть, еще удастся брату подыскать там что-нибудь получше? По медицинской бы части.

А вот с Маняшей и Марком плохо: в деле никаких перемен. Даже на допросы их не вызывают. Правда, это несколько обнадеживает, - значит, не могут жандармы предъявить никаких серьезных обвинений. Возможно, будут вынуждены освободить. Теперь даже по несравненно более важным обвинениям отпускают гораздо раньше, "впредь до окончания дела". А дело Марка наверняка кончится ничем. Он, бедняга, уже натерпелся там, в одиночке-то.
Идет весна. В Подмосковье цветут яблони. А Марк едва ли не больше всего любит именно эту пору года. Понятно - волжанин! С детских лет привык любоваться цветущими яблоневыми садами, вдыхать их неповторимый аромат.
Завтра лето заглянет в тюремные окна. А летняя пора для сидения самое скверное время: жарко, душно, томительно. И ночи без прохлады... Жаль Марка.
Маняше Владимир Ильич написал:
"Как-то ты поживаешь? Надеюсь, наладила уже более правильный режим, который так важен в одиночке? Я Марку писал сейчас письмо и с необычайной подробностью расписывал ему, как бы лучше всего "режим" установить: по части умственной работы особенно рекомендовал переводы и притом о б р а т н ы е, т. е. сначала с иностранного на русский письменно, а потом с русского перевода опять на иностранный. Я вынес из своего опыта, что это самый рациональный способ изучения языка. А по части физической усиленно рекомендовал ему, и повторяю то же тебе, гимнастику ежедневную и обтирания. В одиночке это прямо необходимо. Из одного твоего письма, пересланного сюда мамой, я увидел, что тебе удалось уже наладить некоторые занятия... Советую еще распределить правильно занятия по имеющимся книгам так, чтобы разнообразить их: я очень хорошо помню, что перемена чтения или работы - с перевода на чтение, с письма на гимнастику, с серьезного чтения на беллетристику - чрезвычайно много помогает. Иногда ухудшение настроения - довольно-таки изменчивого в тюрьме - зависит просто от утомления однообразными впечатлениями или однообразной работой, и достаточно бывает переменить ее, чтобы войти в норму и совладать с нервами. После обеда, вечерком для отдыха я, помню, regelmassig* брался за беллетристику и нигде не смаковал ее так, как в тюрьме. А главное - не забывай ежедневной, обязательной гимнастики, заставляй себя проделать по нескольку десятков (без уступки!) всяких движений! Это очень важно".

---

* Регулярно (нем.).

Письма отправил с Анютой, - она в Берлине опустит в почтовый вагон пражского поезда. Но аккуратно ли перешлет их Модрачек? Удастся ли матери передать их в Таганку? Будет очень жаль, если затеряются.
Грустно, что в положении Марка и Маняши не произошло никаких перемен. Тяжело им в тюрьме. И матери тяжело: приходится каждую неделю возить в Москву передачу - по два узелка. Один - дочери, другой - зятю.
Одно утешение - маме нравится дача в Подольске. Там ей удается много быть на воздухе. Хотя и измучена ее беспокойная, сверхзаботливая душа, все же отдохнет немножко. Может, и купаться будет. Пахра там, помнится, тихая, ласковая, с кувшинками возле берегов.
3
Однажды, вернувшись после короткой отлучки, Владимир с порога объявил:
- Паспорт, Надюша, получен! Вот смотри. Отныне ты - Марица! Привыкай. А мне остается еще подкрутить "болгарские" усы.
Раздобыть паспорт было нелегко...
...Лет десяток назад в Женеве учился молодой болгарин Георгий Бакалов. Запросто бывал у Плеханова, пользовался книгами из его библиотеки. Там-то и познакомилась с ним Вера Засулич. Они часами вели беседы о русской классической литературе. Молодой болгарин с восторгом рассказывал, что его мировоззрение формировалось под влиянием Чернышевского, что с юных лет он восторгался романом Тургенева "Накануне". Уезжая домой, Георгий обещал помогать русским социал-демократам. На родине он, историк, критик и публицист, сначала был народным учителем, потом редактором прогрессивных журналов и газет. На рубеже века поселился в Варне, по решению партии открыл книжный магазин, в тайниках которого для надежных людей приберегал революционную литературу. Вот он-то и прислал для Веры Ивановны болгарский паспорт. Вскоре же он стал другом "Искры", распространял ее в своей стране, пересылал в Одессу. Недавно ему удалось раздобыть паспорт Йордана Костадинова

Йорданова. Вот этот-то паспорт теперь и держала в руках Надя. Имя жены доктора было искусно смыто и написано другое - Марица, с указанием ее возраста.
- Как видишь, ты родилась в Софии, - рассмеялся Владимир.
- А ты, доктор Йорданов?
- Тоже в Софии. Пойдем сегодня в библиотеку и прочитаем в энциклопедии подробности о болгарской столице. Надо же знать досконально свою родину!
- Костадинов! - восхищенно повторила Надя, не выпуская паспорта из рук. - Значит, ты по-нашему тоже Константинович! Какое совпадение!
Теперь им можно было обзаводиться своей квартирой. Они нашли ее в Швабинге, предместье Мюнхена, на улице Зигфридштрассе, в одном из новых четырехэтажных домов. На верхнем этаже три маленькие комнатки, - каждая с одним окном на улицу, - и узенькая кухонька. Из окон был виден большой город с бесчисленными зубцами черепичных крыш, с острыми шпилями серых кирок, поднявших к небу прямые кресты, и с зелеными пятнами парков и сквериков.
На какой-то распродаже купили полуржавые кровати с продавленными сетками, колченогие стулья и столы, обшарпанные этажерки. Единственную подушку Надя разделила на три маленькие. Для Елизаветы Васильевны приготовили комнатку рядом с кухней. Купили ей матрац помягче, одеяло потеплее. Поставили на столик вазу с розовыми пионами. Поехали встречать.
- Вот куда вы забрались!.. - улыбнулась она, спускаясь на перрон, и вдруг всхлипнула. - Родные мои!..
Владимир Ильич первым обнял ее. Надя, целуя, говорила:
- Мамочка, милая!.. Что же ты?..
- Истосковалось сердце. Боялась: увидимся ли?.. В мои годы всякое случается... - Утерла лицо платком. - Вижу - вы здоровые, и я уже спокойна, счастлива. А слезы от радости.
- Теперь всегда будете с нами, - сказал Владимир Ильич, сходил в вагон за вещами. Тещу и жену отправил на извозчике, сам поехал на трамвае.
Он приехал раньше, поджидал у входа, чтобы отнести вещи в квартиру. Елизавета Васильевна вошла, осмотрелась, похвалила за комнату, за уютную кухоньку. Разбирая корзину, поставила на стол подарки - туесок клюквы и горшочек соленых рыжиков.
- У вас же тут небось пища незнакомая. Наверно, соскучились по своему-то, по привычному, - говорила она. - А тебе, Володенька, свежий журнал привезла. Помню, ты печатался в нем. Нынче в Питере только о нем и говорят, во всех добрых домах. Как в трубы трубят. Слышно, приостановили его. Грозят прикрыть. Будто бы из-за Максима Горького. Держи.
- "Жизнь"! - просиял Владимир Ильич. - Вот спасибо!
- Пока границу не переехала, все опасалась. Как бы, думаю, в таможенном жандармы не отняли. Слава богу, пронесло тучу мороком. По всей вероятности, там еще не расчухали.
- Но тут ведь помечено: "Дозволено цензурой".
- Вот и я на эту строчку указала. Возвратили.
С журналом в руках Владимир Ильич пошел в свою комнату. На ходу перелистывал. Рассказ Ивана Бунина. Продолжение повести Горького "Трое". Что же, из-за повести приостановили? Надо сразу же прочесть. А дальше что? Еще рассказ Бунина. Опять что-нибудь о старых помещичьих гнездах. Вот снова Горький - "Песнь о Буревестнике". Интересно. О Чиже писал, о Соколе писал. О Соколе - превосходно! Теперь - о Буревестнике. Заглавие говорит о многом. Остановился посередине комнаты с развернутым журналом в руках и, в ожидании чего-то очень важного и значительного не только для любителей литературы - для широкого общества, стал взволнованным шепотом вчитываться в каждое слово:
- "Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы".
Покачивая в такт рукой, продолжал читать вслух:
- "В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике".
И с каждой секундой голос его наливался силой, в сердце бушевало пламя:
- "Буря! Скоро грянет буря!"

Дочитав до конца, с развернутым журналом в руках устремился в комнату Елизаветы Васильевны.
- Вы только посмотрите, что он написал!.. Елизавета Васильевна! Надюша! Слушайте: "Пусть сильнее грянет буря!.." - вот концовка песни.
Елизавета Васильевна счастливо улыбалась, довольная тем, что доставила зятю такую радость. А Надя спросила:
- Какая там песня, Володенька?
- Песня Горького о Буревестнике! Исключительной взрывчатой силы! Я не знаю в русской литературе ничего равного этой страничке. Слушайте.
И Владимир Ильич громким голосом, рвавшимся из глубины души и горячим от волнения, прочел "Песню" с нарастающей силой. Под конец рубанул воздух кулаком, будто ставил дополнительный восклицательный знак. А когда умолк, Надя, протягивая руку за журналом, воскликнула:
- Великолепно! Ты прав, Володя, не было ничего похожего!
- Ай да Горький! Ай да молодец! - Отдав журнал жене, Владимир Ильич от редчайшего удовольствия потер руки. - Такое мог только он! И никто другой! "Смелый Буревестник" - это же он сам. Предвещает революционную бурю! Зовет к ней. И таким он навсегда войдет в историю России.
Надя про себя читала "Песню", а Елизавета Васильевна, вздохнув, сказала:
- Но, Володенька, его ведь за такую смелость могут посадить? Турнуть в ссылку?.. Бедный Горький!.. Хоть бы успел перебраться куда-нибудь сюда... А у него, говорят, детки малые...
- Н-да, - задумчиво проронил Владимир. - Башибузуки все могут.
- В Питере, сказывали, многих писателей угнали в ссылку.
- Но Горького в Нижнем удалось добрым людям вырвать из тюрьмы. И социал-демократы, если потребуется, всегда ему помогут. Свой человек! Пролетарский глашатай!
Надя, прочитав два раза, возвратила журнал:
- Это будут читать со сцены. И на маевках. По всей Руси.
- Больше того - этот зов прогремит на весь мир! Какое счастье, что у нас есть такие писатели! - продолжал восхищаться Владимир и вдруг рассмеялся. - И еще нам повезло: такие простофили сидят в царской цензуре! Не разобрались. "Дозволили". Не поняли, что тут, - тряхнул журналом, каждая строчка "Песни" равна динамитному заряду. Хорошо! Пойду читать продолжение повести "Трое".
Но не прошло и четверти часа, как Надя, заглянув в его комнату, позвала:
- Володенька, пойдем к столу. Мама заварила байховый чай. С клюквой попьешь.
- Настоящий праздник! - отозвался Владимир и вслед за женой пошел в комнату Елизаветы Васильевны. - Надо будет угостить Юлия и Веру Ивановну. И с "Буревестником" познакомятся.
4
Ульяновы вышли из квартиры на рассвете, чтобы успеть поработать в тишине.
- Придет Юлий Осипович, и опять откроется фонтан красноречия! досадовала Надежда. - Не может без разговоров. А мне мешает шифровать.
- И меня утомляет болтологией, - отозвался Владимир; шел, поддерживая жену под руку. - И все-таки я люблю его. Он - типичный журналист, чрезвычайно талантливый, страшно впечатлительный, все хватает на лету и, что особенно ценно, пишет быстро. Одним словом, рабочий конь!
- Но согласись, Володя, он ко всему относится как-то так... - Надежда пошевелила пальцами, подыскивая слово. - Неглубоко.
Они ни на секунду не могли себе представить, что через каких-то два года Юлий Осипович из первого друга превратится в злобного врага, из единомышленника - в идейного противника. Пока же он был их товарищем и, как бойкий журналист, единственным помощником в редакции.
- Он на редкость начитанный человек, с феноменальной памятью, продолжала Надежда. - Знает всех и вся. Всегда у него куча новостей. Цитаты из классиков льются водопадом. Но ты прав, Володя, это утомляет.
- Да, жаль, что ему не хватает деловитости.
- А я жалею, что "Старая крепость" не открывается раньше, - шел бы он с Верой Ивановной сразу туда. И за завтраком они вели бы свои разговоры часов до двух.

Город только что проснулся. Дворники подметали улицу. Рабочие спешили к трамвайным остановкам. Ульяновы не воспользовались трамваем - любили ходить пешком.
На углу возле пивной им повстречался Ритмейер, вышедший на прогулку, и приподнял кепку за мягкий козырек:
- Доброе утро, геноссе Мейер! Доброе утро, фрау!
Ульяновы ответили тем же. Владимир Ильич, зная, что хозяин пивной социал-демократ, во всем доверял ему, хотел было сказать, что он уже не Мейер, а доктор Йордан Йорданов, прописанный в полиции по болгарскому паспорту, но вовремя остановил себя: "Пусть по-прежнему считает Мейером". А пивник, не скрывая чувства неловкости, продолжал полушепотом:
- Я извиняюсь... Но предосторожность и для вас никогда не лишняя... Вы у меня жили без прописки, и я вам ничего не говорил. Считал своим долгом помочь противнику русского царя. Но теперь в комнату, где вы жили, довольно много людей ходит. Редакция дело не простое - я понимаю. Но чего-нибудь недоброго не случилось бы...
- Кто-нибудь интересовался нами?
- В пивную подозрительные личности заходят... И товарищи по партии говорят: "Ты, Ритмейер, рискуешь". - Пивник развел руками. - Что мне делать?
Ульяновы переглянулись, и Владимир Ильич сказал с легким кивком:
- Вам, геноссе Ритмейер, мы благодарны. И вы не волнуйтесь, - мы не будем подвергать вас риску...
- Да я просто сказал... Чтобы вы имели в виду...
- Большое спасибо. - Владимир Ильич пожал руку хозяину и, окинув взглядом улицу, снова подхватил Надежду под руку.
Когда они вошли в комнату, сказал без тени тревоги:
- Первое предупреждение. Как видно, охранка пронюхала, что мы в Мюнхене. Вероятно, договариваются с немецкой полицией. Но ты не тревожься. - Подбадривающе посмотрел в глаза. - Доктора Йорданова шпики, вне сомнения, не знают. Да, да. Не знают. У нас есть время, чтобы замести следы. Сегодня здесь сделаем самое необходимое, а вечером все бумаги перенесем домой.
Сели к столу, занялись перепиской. Надежда тщательно зашифровала письмо в Россию. Это было нелегким делом - для каждого агента она ввела отдельный ключ. Стихи Лермонтова и Некрасова, служившие ключом, помнила так, что, казалось, видела перед собой каждую букву в строчке. Но, когда требовался Надсон или Крылов, раскрывала перед собой их томики, привезенные из Питера.
Владимир Ильич читал корреспонденции. В промышленных городах России жестокий кризис гасил топки на заводах и фабриках, в южных губерниях крестьяне тысячами гибли от голода, доведенные до отчаяния, жгли помещичьи имения, разбивали хлебные склады. На "усмирение" были брошены казаки и пехотные части. Свистели нагайки и розги, гремели кандалы на горемычной Владимирке.
А вот из Вены прислал второе письмо молодой эмигрант Вегман, успевший вовремя оставить родную Одессу. Он писал о митинге венских студентов, на который собралось свыше трех тысяч человек. От имени австрийских рабочих выступил один из депутатов парламента.
- Поступок русского правительства против Толстого есть пощечина, данная русским абсолютизмом европейской культуре, - говорил он. - Кровь, пролитая в Петербурге, - наша кровь: не чужды нам люди, борющиеся в России, мы их хорошо знаем; это люди, которые прошли ту же школу, что и мы: школу порабощения.
Митинг закончился в полночь. Студенты, сметая пеших и конных полицейских, лавиной двинулись по улице, у консульства кричали в сотни голосов: "Долой русского царя! Да здравствует социальная революция в России!"
- Молодцы студенты! - Владимир Ильич подал корреспонденцию жене. - И от рабочих в Вене прозвучало грозное слово! Вот она, международная солидарность! В шестом номере опубликуем.
Пришел Мартов. Вслед за ним - Засулич. Владимир Ильич порадовал их письмом из Вены, потом рассказал о встрече с хозяином.
- Мелкий трусишка ваш толстый немец! - отмахнулась Вера Ивановна.

- Пока реальной опасности не видно, - сказал Мартов. - Уж я-то знаю. Не первый месяц пишу о тайной полиции.
- Береженого, говорят, бог бережет, - напомнила поговорку Надежда Константиновна.
- Все боги! - подхватил с усмешкой Мартов. - И христианские, и мусульманские, и буддийские, и языческие. А чтобы они лучше берегли, сибирские шаманы, я помню, своих деревянных божков то подкармливают салом, то порют ременной плеткой. И еще древние египтяне, как свидетельствуют манускрипты...
- Египтян, Юлий, оставим в покое, - перебил Владимир Ильич. - А вот нам всем следует задуматься над предостережением Ритмейера. Способности заграничной агентуры департамента полиции недооценивать нельзя. Будем работать и встречаться на квартирах, иногда - в кафе. И притом в разных. Присмотритесь сегодня, остается ли удобной ваша "Старая крепость".
- Да, нам, кажется, пора. - Мартов, распахнув пиджак, из маленького брючного кармашка достал черные тонкие, как речная галька, часы в чугунной оправе. - Пора. Велика Дмитриевна, идемте.
- Не знаю, - обеспокоенно взглянул на жену Владимир Ильич, - долго ли они смогут посещать кафе? С деньгами у нас швах. Наскрести бы на шестой номер.
- У Калмыковой, говорят, есть капитал в немецких банках. Может, пришлет.
- После нашего окончательного разрыва со Струве? Едва ли. Несомненно, переживает за своего питомца... Нам надо писать и писать во все концы: достать бы где-то добрый куш. И поскорее.
Взглянув на часы, Владимир Ильич поспешил вернуться к письмам. В одном из конвертов он нашел стихи, ходившие в России по рукам. Читая их, весело рассмеялся, повернулся к жене:
- Извини, Надюша, что отрываю тебя, но это очень интересно. Остро. Вот послушай: "То было в Турции..." Считай - в России. "...где совесть вещь пустая". Положим - только в правительственных кругах да так называемом высшем свете. "Где царствует кулак, нагайка, ятаган, два-три нуля, четыре негодяя..." Ну нет, нулей, конечно, больше. И негодяев больше. А концовка очень точна: "И глупый маленький султан". Правда, хорошо?!
- Отлично! И глупый и маленький.
- Сегодня же сдадим в набор. - Владимир Ильич взял ручку. - Я напишу от редакции несколько слов. Такие стихи характеризуют общественное настроение. Жаль, не знаем автора. Хотя бы для себя.

5

Вот и июль - вершина лета. И Владимиру Ильичу все чаще и чаще вспоминались родные края. Бывало, всей семьей выезжали в деревню - в Кокушкино, в Алакаевку. Позднее живали под Москвой, в Кузьминках...
И нынче неплохо бы выбраться из города... Куда-нибудь в горы. Хотя бы на недельку. Наде нужен отдых. Да и Елизавете Васильевне было бы полезно подышать чистым горным воздухом.
Издательница Водовозова прислала Владимиру Ильичу авторский гонорар чек на шестьсот марок. На них некоторое время можно жить безбедно. И на отдых хватило бы. Но нельзя им уехать из Мюнхена. Ни на один день. "Зарю", а тем более "Искру" не на кого оставить.
Потресов лечится в Альпах, оттуда собирается махнуть в Италию. Права Калмыкова: он - барич. Кажется, в самом деле не может писать иначе, как под плеск волн Средиземного моря, укрытый от солнца тенью пальм. Вере Ивановне недостает собранности. Все делает урывками.
Мартов мог бы остаться, если бы не был человеком настроения...
"Но что же это я? - Владимир Ильич остановил себя; облокотившись на стол, потер правый висок подушечками пальцев. - Будто незаменимый человек. Можно же что-нибудь придумать..."
Отодвинув бумаги на середину стола, прошел в соседнюю комнату, где Надежда расшифровывала письма, полученные из России; положил руку ей на плечо:
- Надюша, тебе хотелось в горы. Может, съездим на несколько дней в Швейцарию? На Тунское озеро.
- С Анютой повидаться? - Надежда, полуобернувшись, подняла глаза на мужа. - Соскучился по сестре?
- Конечно. И, может быть, у нее есть что-нибудь новое от наших.
- Я тоже соскучилась по Анюте.
- Елизавету Васильевну возьмем с собой.

- На несколько дней? Туда - сюда. Ей, Володя, будет трудно. Да и для тебя, мне кажется, не время. - Надежда придержала руку мужа на своем плече. - Ты же только-только начал свою брошюру. Откладывать, отрываться от работы едва ли полезно.
- Вот в этом ты права. Брошюру откладывать нежелательно. Чем скорее размежуемся с "рабочедельцами", тем лучше.
- Ты пиши. Не отвлекайся. А отдохнуть еще успеем. Можно и в городе. Мы же с тобой ходим на прогулки.
- Да, да. Вот и погода нынче... Смотри: окна опять заплакали.
- В дождливые дни в городе, Володя, даже лучше.
Владимир провел рукой по волосам жены: "Какие мягкие!" И опять вспомнил купанье на Енисее: пушистая коса долго держалась на поверхности...
Вернувшись к своему столу, спешил успокоить мать очередным письмом: "...заграничные города, надо сказать, лучше обставлены летом, т. е. чаще поливают улицы и т. п., так что здесь легче провести лето в городе, чем в России... Мы поэтому довольны своим местопребыванием и в деревню или на дачу не собираемся".
Письмо отнес жене, чтобы она своим четким почерком надписала адрес Модрачека. Надя сказала, что еще вчера начала писать ответ на письмо Марии Александровны, пересланное Анютой, сегодня непременно закончит и отправит вместе.
- Ну а что тут для "Искры"? От кого? От Глеба нет?
- Нет. И Зина молчит, как воды в рот набрала. И от Базиля с Тоней ни слуху ни духу.
- Не понимаю. Это так непохоже на них. Ведь был же уговор: держать связь, принимать "Искру". Уж целы ли они?
- Может, заболели.
- Уж так сразу все и расхворались. Не верю. Ну, Глеб еще мог. А Зину, как говорится, в ступе не утолчешь. И Базиль здоровее здоровых. Не пойму.
- Я уже Марии Александровне написала: "можно подумать, что все старые друзья забыли о нашем существовании".
- И я в прошлом письме спрашивал: не заезжал ли проездом кто-нибудь из сибирских друзей? Как видно, никто не заезжал. Куда они подевались? Ну Сильвин - в армии, Курнатовский, похоже, провалился на Кавказе. А остальные? Ты говоришь: за-бы-ли. Но как можно забыть, когда речь идет о возобновлении партии? Отказываюсь понимать.
Владимир пошел к себе. Надежда сказала ему вслед:
- Ты, Володя, успокойся: могли ведь письма затеряться.
- От других не теряются...
Оставшись одна, Надежда достала недописанное письмо, выводила строку за строкой:
"Анюта все советовала поселиться на лето в деревне, мама тоже думает, что это было бы лучше, но по очень многим соображениям это было бы неудобно. Поселиться далеко нельзя, т. к. Володе нужно было бы каждый день ездить в город, а это было бы очень утомительно. Он ходит, кроме того, довольно часто в библиотеку... Вообще жизнь у нас понемногу вошла в колею, Володя налаживается несколько на занятия..."
Под "занятиями" она подразумевала большую работу над книгой и через некоторое время спешила порадовать Марию Александровну:
"...Володя сейчас занимается довольно усердно, я очень рада за него: когда он уйдет целиком в какую-нибудь работу, он чувствует себя хорошо и бодро - это уж такое свойство его натуры; здоровье его совсем хорошо, от катара, по-видимому, и следов никаких не осталось, бессонницы тоже нет. Он каждый день вытирается холодной водой, да, кроме того, мы ходим почти каждый день купаться.
Ну, до свидания, дорогая, крепко Вас обнимаю, желаю побольше здоровья и сил... Мама всем кланяется.
Ваша Н а д я".
6
По утрам просматривали почту. Надежда внимательно оглядывала каждый конверт, - не был ли вскрыт в "черном кабинете"? - разрезала ножницами. Владимир, стоя рядом, нетерпеливо поджидал. Читал прежде всего письма агентов, говорил, кому и что надо ответить.

Иногда им помогал Мартов. Он прибегал взлохмаченный, едва сполоснув лицо. Пуговицы мятой рубашки обычно были суматошно застегнуты через одну, узел галстука сбился набок. Другу дивился:
- Никогда не могу застать тебя не у дел!.. И позавтракать небось уже успели?
- Вы, Юлий Осипович, опять немножко опоздали, - говорила Надежда Константиновна. - Но мама сейчас для вас сварит кофе.
- Ради бога, не утруждайте Елизавету Васильевну. Я быстренько схожу в кафе.
Владимир Ильич провожал его с едва заметной добродушной усмешкой: знал - Юлий вернется часа через три.
Сегодня Мартов вернулся буквально через минуту. И не один. За ним в просвете двери, которую открыла Надежда Константиновна, виднелся усатый человек в шляпе из белой соломки. У него были круглые, по-птичьи острые глаза, широкие брови, разделенные упрямой складкой. В левой руке он держал маленький кожаный чемоданчик, с каким в России навещают пациентов земские врачи.
- Принимайте гостя! - Мартов представил незнакомца широким театральным жестом. - Товарищ Басовский! По-партийному - Дементий! Из берлинской группы содействия! - И добавил: - Хороший гость всегда ко времени!
Владимир Ильич уже тряс руку приезжего:
- Слышали, слышали о вас, товарищ Дементий! Рады видеть!
Гость, сняв шляпу, поклонился Надежде Константиновне; оглядевшись, поставил чемоданчик в угол.
- А конспиративности вам недостает. - Владимир Ильич указал глазами на чемоданчик. - Царские шпики увидят - сразу узнают: русский!
- Привык к нему. А привычка, говорят, великое дело, - ответил Басовский, разводя руками. - С ним из Кишинева бежал. С ним дождливой ночью перебирался через границу... Не могу расстаться.
- Ладно. На первый раз прощается. Но придется, товарищ Дементий, сменить его на какой-нибудь немецкий.
- Нет. Пригодится еще. Даже вскорости. Опять на границе.
- Да? В таком случае беру свои слова обратно. - Владимир Ильич пододвинул стул; слегка склонив голову к плечу, присмотрелся к гостю. Садитесь. Рассказывайте. Как там наши чемоданы? Удалось отправить?
- Пока один...
- Один-единственный?! Да что же это вы? Вас же там целая группа.
- Попутчиков не могли подыскать.
- У него разговор важнее чемоданов. - Мартов принес для себя стул, оседлал его и сложил руки на гнутую спинку. - Я на лестнице успел услышать.
- Согласен: от чемоданной транспортировки давно бы надо отказаться. Владимир Ильич подвинулся со своим стулом поближе. - Во-первых, рискованно: жандармы да таможенники на границе наловчились распознавать и потрошить наши чемоданы. Во-вторых, мало. Это самое огорчительное. Каких-нибудь пять чемоданов в месяц. На всю Россию - капля в море. А мы сейчас могли бы - пудами.
Владимир Ильич прищурил глаза: рассказать ли Басовскому о тех транспортных путях, которые налаживаются? Через Стокгольм - под видом пива, через Норвегию - под видом сельди в маленьких бочонках. Через болгарина Бакалова из Варны - в Одессу. Через Персию - на Кавказ. Из Тегерана будут доставлять на лошадях. И людям, которые начнут перевозить, уже дана кличка - Лошади. Нет, лучше пока умолчать. О том, что уже делается, должны знать немногие. Нужно говорить о том, что еще необходимо сделать.
Гость подхватил слово о пудах. Он берется проложить для "Искры", "Зари", для листовок и прочей нелегальщины надежный путь через Львов на маленький поселок Теофиполь по ту сторону границы, к зубному врачу Мальцману.
- К зубному? - переспросил Владимир Ильич. - На моей памяти уже был один зубной врач. В Питере. В девяносто пятом. Выдал жандармам. Но это, простите, вспомнилось по аналогии. Не более того.
- Мальцман - наш человек. Испытанный. Я знаю его по Одессе. Вместе вели пропаганду среди портовиков. Меня выслали в Кишинев, его - в Теофиполь. На три года. И за жену его ручаюсь.

- Если так, я думаю, можно согласиться. - Владимир Ильич посмотрел на Мартова. Тот кивнул головой.
Дело шло на лад, и Басовский глянул на свой чемоданчик. Владимир Ильич перехватил его взгляд, но продолжал говорить о самом главном:
- Только с уговором: не все для юга. Будете отправлять и в центральные губернии. Особенно - в Питер. Там у нас никак не налаживается доставка: мешают недобитые "экономисты", черт бы их всех побрал.
- Безусловно, поделимся какой-то частицей.
- Не частицей, а доброй половиной. - Владимир Ильич приподнял правую руку. - Да, да. Только так.
Прищурив левый глаз, мимолетно присмотрелся к гостю: "Упрямый. Не торопыга. Видать, все взвешивает". А тот опять поглядел на свой чемоданчик.
На этот раз и Мартов, ерзая на стуле, заметил его взгляд. "Что он такое принес? Шнапс? В принципе тут нет ничего предосудительного: у многих народов принято являться в гости с бутылкой, как с наилучшим подарком. Хотя бы в той же Сибири у туземцев. Возможно, Владимир знает, помнит. А тут в знак завершения такой важной договоренности. - Провел языком по губам. - Не худо бы. Но если шнапс?.. Ничего не получится. Вот если бы пиво... Да и то Владимир не преминул бы напомнить: "Делу - время, потехе час". А ведь для дела же..."
Той порой Владимир Ильич принялся расспрашивать о границе. Басовский отвечал медленно, даже несколько флегматично, но весомо: в том районе граница ему хорошо знакома. И контрабандист вроде бы надежный.
- Вроде бы? А нам нужны абсолютно надежные люди.
- Конечно, для него важен гешефт. Но это обойдется в сто раз дешевле чемоданов. И, ручаюсь, надежнее.
- Мы с контрабандистами пробовали договориться на прусской границе. Не получилось.
- А этот, даю слово, согласен перевозить даже на телеге.
- Контрабандистам можно верить, - сказал Мартов, нервно похлопывая по спинке стула, и опять покосился на чемоданчик Басовского: "Не с пустым же он пришел".
- Из Теофиполя, - продолжал гость, - груз пойдет через Шепетовку прямо в Киев. А там я все налажу. Гарантия: десять пудов в месяц!
- Оч-чень хорошо! - Владимир Ильич потряс руку Басовского. - Деловой подход! Нам необходимо как можно скорее насытить страну искровской литературой. Действуйте!
Гость помялся и снова взглянул на чемоданчик.
- Что у вас там? - Владимир Ильич встал, сделал шаг в сторону чемоданчика. - Так заботливо оберегаете...
- Да... Ничего там особенного... Пустое...
- А ответ сразу не сложился. Понятно.
- Пока никакой нелегальщины там нет. - Подавляя смущение, Басовский поднял глаза. - Но я хотел бы для пробы взять... Хотя бы пуда полтора. Об упаковке договоримся.
- Отлично!.. В добрый час!..
Владимир Ильич позвал Надежду Константиновну и сказал, чтобы она запомнила адреса и условилась о шифре. Эту транспортную связь они будут называть путем Дементия.
Из кухни растекался по квартире аромат крепкого кофе, и Надежда Константиновна пригласила туда гостей, на ходу извинилась:
- Столовую нам заменяет кухня. Мы тут по-студенчески... И, кроме печенья, угостить нечем.
- Эмиграция не теща, - подхватил Мартов и переглянулся с Басовским. Хотя и говорят некоторые: "Чай да кофе не по нутру, была бы водка поутру", но я - за кофе. Божественный напиток! У Салтыкова-Щедрина в очерке "За рубежом", помнится, сказано: "Часов до двенадцати утра распивали кофеи"... А мы на дорожку по чашечке с нашим удовольствием.
Дней через десяток пришло известие: груз благополучно доставлен в Киев. Некую толику его отправят в Питер.
А в августе Дементий готов перевезти не менее восьми пудов.
7
Друзья переслали из Парижа апрельскую книжку "Русского богатства". Уголок одной страницы был кем-то загнут. Там "Письмо в редакцию" В. Дадонова, настрочившего в прошлом году клеветническую статью об иваново-вознесенских рабочих: они, дескать, и пьяницы, и к знаниям

равнодушны, и к самостоятельной деятельности неспособны, и солидарности у них нет, и к народному театру относятся индифферентно, и кооперативами не интересуются. Послушаешь такого мудреца - хуже российских рабочих нет никого на свете! В прошлом номере социал-демократ Сергей Шестернин достойно ответил народническому брехуну, словно борец в цирке, при всем честном народе положил на лопатки. Уличил, как шулера, передергивающего карты, - все цифры там подтасованы да перевраны. А уж Шестернин-то знает "Русский Манчестер", - несколько лет служил там городским судьей. Молодец! Но Дадонову хочется последнее слово оставить за собой.
"А ну-ка, ну-ка, - торопил себя Владимир Ильич. - Что он тут понаплел? Благочестивый либерал!"
Читал быстро, шелестели резко перевертываемые листы журнала.
- Опять дудит в свою народническую дуду. - Позвал жену. - Надюша, полюбуйся. Вот. Клеветник не унимается. Без стыда и зазрения совести утверждает, что "любовь к чтению среди рабочих в два с половиной раза меньше, чем среди крестьян". И редакция ему под стать: считает полемику законченной. - Хлопнул толстенным журналом по кромке стола. - Нет, шалите, господа! Закончить полемику так не в ваших силах. "Искра" не может пройти мимо этакого бесстыдства.
- Конечно, конечно, - Надежда взяла мужа за руку. - Только ты, Володя, не волнуйся.
- А ты сначала прочитай... Разве можно быть спокойным, когда клевещут на рабочих? Нет, мы этого так не оставим. Вот придет Юлий, придет Вера Ивановна - обсудим. Уверен - согласятся с нами. Нужна большая обстоятельная статья. И не откуда-нибудь - из "Русского Манчестера". От знатока рабочей жизни. Кому все там близко к сердцу. - Владимир указал глазами на папку с письмами. - Жаль, от Бабушкина что-то долгонько нет вестей.
- Всего недели две. Не больше. Помнишь, мы еще благодарили его за слова об "Искре".
- Да, да. Отзывы рабочих - важная нравственная поддержка. "Искру" в России уже успели полюбить, и мы обязаны заступиться за ивановovознесенцев.
- Богдан - самый аккуратный из наших корреспондентов. Я думаю, скоро от него придет ответ.
- Не будем откладывать на завтра то, что необходимо сделать сегодня. И лучшего автора искать не надо. Главное - сам рабочий. Светлый ум. Пиши ему: ждем ответ на возмутительную статью Дадонова. Пусть достанет в библиотеке "Русское богатство", начиная с декабря прошлого года. Если нужно, может купить на наш счет. Особо пометь: очень важно было бы пометить в "Искре" опровержение этого вздора со стороны рабочего, знакомого с жизнью Иваново-Вознесенска.
Надежда уже набрасывала карандашом черновик письма, а Владимир еще раз перелистал журнал.
Когда Надежда принесла ему беловик, он, пробежав глазами половину письма, вдруг переспросил:
- Заметку? Нет, заметки явно мало. - Взял перо. - Нужен весомый ответ Дадонову, обстоятельный, боевой.
- Богдан сумеет.
- Вот и напишем: "Статью или заметку". Заметку - это в крайнем случае. И хорошо бы - в "Зарю". Статья рабочего в толстом научном партийном журнале - это было бы очень и очень важно. Ну, там посмотрим, когда получим. - И продолжал читать: - "...опровержение этого вздора со стороны рабочего..." Отлично. Но лучше будет, если мы усилим. - Под словом "рабочего" провел три жирные черты. - Вот так. "Ваши корреспонденции помещены". Хорошо! Всем корреспондентам, в особенности рабочим, будем всегда отвечать немедленно. Они же там ждут весточки с каждой почтой. Волнуются: подойдет ли заметка? Напечатают ли? И чего редакция ждет от них?
Возвращая письмо, сказал:
- Отправь самым надежным путем, чтобы ни в коем случае не затерялось. Да, надо дописать в конце: видел ли он наши новые номера? А самое главное - имеет ли он заработок? А то получается неловко: советуем купить пять номеров толстого журнала на наш счет, а у него там, может быть, и гроша за душой нет. Что он подумает о нас? Хороши редакторы! Если ответит, что перешел на нелегальное положение, пусть и не пытается искать работу. Это его свяжет. А он для нас, для партийной газеты, сама знаешь, очень полезен. Полезнее других, даже

профессиональных революционеров. И мы с удовольствием, так и напиши - с удовольствием гарантируем ему тридцать рублей в месяц.
После ужина Владимир Ильич принялся за газеты. Елизавета Васильевна, покурив у открытого окна, легла спать. А Надежда подсела к маленькому столику на кухне и начала по-учительски ровным, спокойным и четким почерком переписывать для набора рукопись мужа. Чтобы не пропустить ни единой строчки, ни единой запятой, она передвигала линейку, а переписанные абзацы сверяла слово за словом. Она делала это увлеченно, как бывало в Шушенском, когда переписывала "Развитие капитализма в России". Ее волновало каждое меткое слово, и она говорила себе:
"Как это вовремя!.. Совершенно необходимо!.. И не только для нашего российского рабочего класса..."
В самом деле, идет международная схватка с крикливыми оппортунистами, требующими под флагом "свободы критики" марксизма решительного поворота от революционной социал-демократии к буржуазному социал-реформаторству. К примеру, во Франции восхваляемый Бернштейном Мильеран, министр-социалист в буржуазном правительстве, сидит за одним столом с генералом Галифе, палачом Парижской коммуны, и пленяет буржуазный мир приторно-сладкими речами о сотрудничестве классов. Это ли не измена марксизму?! Это ли не развращение социалистического сознания рабочих масс?! От революционного движения отвлекают мизерными реформами. А завтра, в самом деле, мильераны ринутся приветствовать русского царя, прослывшего героем виселиц, кнута и ссылки. Самодержец едет с визитом во Францию - просить золотой заем: на тюрьмы да на кандалы не хватает царской казны.
"Скорей бы закончил Володя брошюру..."
В окно ворвался ветер, шевельнул бумаги на столе. Надежда придавила листки утюгом, встала, чтобы закрыть окно. На улице уже приглушенно шелестели листья каштанов, словно там встряхивали мокрое белье. Руки и лицо осыпали мелкие капли косого дождя.
"Хорошо, что не поехали на лето в деревню!.. И у Володи подвинется работа..."
Слышно: он уже закрыл окно, ходит по комнате. Наверное, нашептывает фразу за фразой. Вот сейчас приткнется к столу и быстро-быстро запишет их... Вот скрипнул стул под ним...
Закрыв окно, Надежда поправила волосы, растрепанные ветром, и, вернувшись к столику, взяла лист и стала переписывать последний абзац первой подглавки:
"Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки". - Надежда качнула головой. - Хорошо. - И снова уткнулась в рукопись. - "Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения". - Снова качнула головой: - Очень хорошо! - И продолжала переписывать: - "И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдемте в это болото! - а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! - О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к в а ш е м у переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь тоже "свободны" идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!"
Надежда положила ручку. На ее лице светилась теплая улыбка.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Три ночи подряд снилась Глаша. Пышноволосая, беленькая. То в вышитой кофточке, то в легком платье без рукавов. Плавали с ней на лодке по тихой протоке Тубы; взявшись за руки, подымались на седловину горы Ойки; рвали какие-то прелестные орхидеи... Чудно, в Сибири - орхидеи! И крупнее алых лесных пионов - марьиных кореньев.
Зачем будоражится память? Ведь даже для Глаши ни в коем случае нельзя нарушить обет холостяцкой жизни. Только после революции...
Вчера, ложась на жесткий тюремный матрац, мысленно сказал: "Не надо больше... Ни к чему..." А она опять явилась к нему во сне. Веселая, звонкая, как бубенчик. В Шошинском бору.

Босоногая. Быстро перебегала от сосенки к сосенке, кричала, перейдя на "ты": "Догоняй!" А когда догнал сама поцеловала...
Курнатовский проснулся весь в поту. Дышал тяжело. Откинул липкую дерюгу, заменявшую одеяло...
Напрасно накрывался: в тесной камере даже ночью душно. Маленькая форточка не спасает. Не оторвать ли табуретку от пола да не трахнуть ли по окну?.. Нет, зачем же?.. Часовой выстрелит - подымется переполох... Не такое у него здоровье, чтобы напрашиваться в карцер, в темноту сырого каменного мешка...
Виктор Константинович расстегнул мокрую рубашку, провел рукой по груди. Встал. Прошел по камере. Для его длинных ног - три шага от окна до двери. Если укоротить шаги, можно сделать пять. Туда и обратно. Туда и обратно.
Но спокойствия не обрел. В голове все то же. Теперь даже обе сестры Окуловы. Если бы мог, написал бы и Катерине, и Глаше, пусть не думают о нем. Ведь не исключено, что придется опять шагать в Сибирь. Лет на пять... Самое меньшее...
Глаша, вероятно, печатает листовки в Иваново-Вознесенске. На гектографе. Она умеет. Возможно, и на мимеографе. Бегает в комитет. Ведет беседы в каморках ткачих. Кипучая натура!
Не объявить ли ее невестой? Тогда разрешат письма...
Ни в коем случае. Он, Курнатовский, не безусый юноша, чтобы нарушать зарок. И девушку волновать не надо. И опасность немалая: письма из тюрьмы! Жандармы могут прицепиться к ней.
Остановился у окна. Поднял голову к едва ощутимой струйке воздуха, вливавшегося через форточку. Подышал, облегчая грудь.
Снова лег на койку; сцепив пальцы в замок, закинул руки за голову, и все тифлисские дни вереницей пронеслись в памяти...
...Первые недели провел в поисках работы. Ходил из конторы в контору. Везде отказывали. Разорялась фирма за фирмой. Напуганные промышленным кризисом, хозяева увольняли не только рабочих, но и инженеров.
Удалось отыскать непривлекательное место сверхштатного техника-химика. Жалованье - сорок рублей. Небогато. Но и тому был рад: "Не хлебом единым жив бывает человек". Было бы дело, которому посвятил себя. Большое дело для души.
И дело нашлось. Вместе с новыми друзьями-грузинами посещал кружки наборщиков и железнодорожников, токарей и слесарей. Рассказывал о сибирских встречах с Ульяновым, о "Протесте семнадцати". Читал им "Искру". Знакомил с "Капиталом". По воскресеньям отправлялся на загородные сходки. То в железнодорожный карьер, то в сады возле станции Авчалы, то в горы к монастырю у Соленого озера. Там в случае опасности можно было уйти лесом или на дороге затеряться среди богомольцев.
Однажды за монастырем святого Антония собралось человек пятьсот. Как ранние богомольцы, шли туда с фонарями. Немного времени спустя, в лучах восходящего солнца, запламенело знамя. На нем художник-самоучка нарисовал портреты Маркса и Энгельса, написал на русском, грузинском и армянском языках: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
18 марта собрались поздним вечером на горе Давида. Там были и его старые знакомые, были и молодые рабочие, грузины и русские. Разговор шел о подготовке к демонстрации, приуроченной к Первому мая. Жалели, что не могут одновременно с пролетариями Западной Европы. Назначили на воскресенье 22 апреля. Условились собраться в двенадцать, когда раздастся полуденный выстрел арсенальской пушки.
В город спускались ночью маленькими группами по тропинке, извивавшейся по склону горы. Мимо монастыря. Мимо грота, в котором похоронен Грибоедов. Курнатовский уже видел надпись на могильном камне, сделанную вдовой поэта Ниной, урожденной Чавчавадзе, и взволнованные слова шевельнули сердце: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя". Прекрасно! Лучшего не придумает самая преданная душа. Любовь к дорогому и милому человеку - чистейшее, возвышенное чувство. Но есть еще любовь к большому делу, навсегда покоряющая революционера.
На сходку, как видно, пробрался провокатор, и к Курнатовскому вломились жандармы. Улик не нашли. Отобрали только револьвер да унесли полный чемодан книг. "Для изучения!" Провалиться бы им, окаянным!

Привезли в Метехский замок над Курой, втолкнули в камеру. Лязгнула дверь за спиной, заскрежетал замок.
Осмотрелся: в одном углу печка, в другом - вонючая параша. Вдоль стены кровать. Для него короткая. У изголовья столик. Зарешеченное окно. Подоконник совсем невысокий. Впервые он видит такой в тюрьме.
Вспомнилось, где-то читал: в древности это была церковь. Монахи в кельях читали псалмы, поклонялись царю небесному. Около ста лет назад царь земной приказал перестроить церковь в тюрьму. Попы и монахи по-прежнему молят царя небесного, а они, революционеры, на улицах городов зовут народ к низвержению царя земного.
Дождавшись рассвета, легко и просто взобрался на подоконник, глянул вниз: маленький тюремный двор, с трех сторон - мрачные корпуса одиночек, с четвертой - ворота. Тяжелые, черные. Видно - окованы железом.
Через эти ворота в свое время ввезли Горького. Быть может, писатель сидел в этой же камере и вот так же посматривал на тесный тюремный двор.
Зазвенели ключи, лязгнул засов, скрипнула тяжелая дверь - и в камеру вошел парашник, служитель из уголовников. Пользуясь тем, что надзиратель задержался в коридоре, парашник моргнул новенькому "политику", будто хотел что-то сказать, и у Курнатовского невольно метнулась рука к кромке уха.
"Э-э, да ты убогий! Глухмень!" - отметил для себя служитель и, поворачиваясь к параше, снова моргнул: ежели что, так подмогну.
И потянулись серые, скучные дни. Виктор Константинович отмечал их черточками на стене. Просил книг - не дали. Сказали: "После того, как дадите показания..." А от показаний он решительно отказался.
Днями Курнатовский сидел на подоконнике, смотрел, как ходят по двору уголовники, выведенные на прогулку. А вечерами на него наваливалась тишина. Тяжелая, как могильная плита. В такие часы все, кто может, перестукиваются. А он?.. Пробовал прикладывать ухо то к одной, то к другой стене - ничего расслышать не мог. Однажды ему показалось, что кто-то сверху кричит в щелку возле печной трубы. Приподнялся на цыпочки, прильнул ухом - тоже ничего не услышал.
Парашник принес записку: "Почему, сосед, не отвечаешь? Если не знаешь азбуки для перестукивания - научим". Попросил сказать соседям, что он тугоухий.
Наступили теплые дни, на тюремный двор заглядывало солнышко. Узники открыли форточки. Сидя на подоконнике, Курнатовский видел - машут руками, кричат. А что кричат? Проклятая глухота! Если парашник не скажет да не принесет записки, не узнаешь ни одной новости.
Впрочем, кое-какие новости он узнавал, глядя на двор. Время от времени открывались ворота: кого-то приводили под охраной жандармов, кого-то выпускали на волю.
"На волю!" - скривились губы в усмешке. Вот он, Виктор Курнатовский, после возвращения из сибирской ссылки жил каких-то четыре месяца "на воле". Но разве то была воля?! Гласный полицейский надзор наверняка заменили негласным. Только и всего. Волю они обретут после революции.
А что же теперь в Тифлисе? Как там раздувают костер гнева товарищи, уцелевшие в ночь массовых арестов?
Подсчитал черточки на стене. Обрадовался: сегодня двадцать второе! Воскресенье! Не может быть, чтобы друзья не вышли на Головинский проспект и на Дворцовую улицу. С красным знаменем! Если обрушатся казаки и не пропустят туда, демонстранты направятся на Солдатский базар. Такой был уговор.
С утра считал секунды и минуты - сбился со счета. А время, должно быть, приближалось к полудню. Сел на подоконник, приложил ладони к ушам. Ни разу не слышал здесь выстрела арсенальской пушки. Далеко. Может, сегодня нанесет звук ветерком...
Принесли баланду на обед... Значит, не расслышал выстрела... Сел к столику. Хотя аппетит совсем пропал, стал хлебать деревянной ложкой. Надо есть. Надо во что бы то ни стало выжить и сохранить силы. Революции потребуются выносливые бойцы.
После обеда увидел необычное оживление на тюремном дворе. Вышла охрана. Показался сам смотритель Милов. Распахнулись ворота. Вошла колонна арестованных. По обе стороны солдаты с винтовками наперевес. Остановились. Началась передача по списку.

Солнце за день раскалило двор. Арестованные утирают пот со щек. Почти все они в стеганых пальто и меховых шапках. Оделись, как договаривались. Если и хлестали казаки нагайками по плечам и спинам, то не было больно. Но вон у одного рассечен подбородок, у другого синяк во всю щеку...
А знамя? Сохранилось ли оно? Вдруг да отняли варвары?..
Из окон что-то кричали заключенные. Курнатовский кричать не стал. Только помахал рукой и спустился с подоконника.
По коридору уже бежали надзиратели и тюремная охрана. Заглядывали в глазки. Всех, кто кричал в форточку, хватали и уводили в карцер, Курнатовского не тронули.
На следующий день парашник передал записку, и Виктор Константинович узнал: на Солдатском базаре, куда хлынули демонстранты, преследуемые казаками, произошла схватка. Полицейские наседали с шашками наголо. Казаки со всего плеча хлестали нагайками направо и налево. Рабочие отбивались камнями и палками, кричали:
- Да здравствует Первое мая!
- Долой самодержавие!
Раненые укрывались среди крестьян, съехавшихся на воскресный базар.
А о знамени в записке не было ни слова.
Прошел месяц. Друзьям стали приносить передачу, и они, пользуясь добротой одного надзирателя, делились со своим русским товарищем то куском жареной баранины, то половинкой лепешки, то ломтиком брынзы.
Но вот парашник передал скрученную в трубочку прокламацию. Развернув ее, Курнатовский прочел: "Товарищи! Происходит великое, необычайное дело: пролетарии всех стран пробуждаются от векового сна!" Дальше по-грузински. Вероятно, те же строчки. А сбоку короткая приписка карандашом: "Порадуйся, Виктор, с нами: наши женщины на Солдатском базаре отделили знамя от древка и спасли его".
...Невыносимо без книг. Из тюремной библиотеки предлагали евангелие отказался: в других тюрьмах не однажды прочел его от корки до корки. Жандармам отправил заявление: попросил вернуть книги, взятые во время обыска, а револьвер передать смотрителю замка на хранение до окончательного решения дела. Жандармский генерал Дебиль наложил резолюцию: "Объявить заключенному, что за неимением у него разрешения на право держания револьвера, ввиду содержания его под стражей, револьвер не может быть возвращен". Объявили. А о книгах - ни звука.
Вскоре перевели в другой корпус. Наверно, приметили услуги парашника.
И вот сидит он в душной камере. Еще меньше прежней. Придерживаясь за решетку, смотрит в окно. Что-то кричат соседи с обеих сторон - он не слышит.
Далеко внизу под обрывом течет Кура. На нее падает тень, и вода кажется черной, как смола. Обидно, что так мало довелось поработать среди тифлисских пролетариев. Даже не успел отправить ни одной корреспонденции в "Искру". А Ильич, конечно, ждал, надеялся на него. Они теперь там, надо думать, выпустили уже не менее шести номеров, а он, Курнатовский, - читал только два первых. Когда же увидит свежие? Грузинские газеты порой проникают сквозь стены замка, а "Искру" едва ли кто-нибудь отважится пронести.
В Иваново-Вознесенске иное дело. Глаша, несомненно, читает каждый номер...
"Опять Глаша... - Курнатовский хлопнул себя по облысевшему лбу. Хоть бы не приснилась в эту ночь. Зачем она мне?.. Не надо думать о ней, не надо вспоминать..."
2
Глаша успела исчезнуть из Иваново-Вознесенска и замести следы. Некоторое время провела в Москве - у Старухи - в Московском комитете.
Майским днем она сидела на вокзале. В легкой тальме, в шляпе с широкими полями. Рядом стоял чемоданчик, в ридикюле лежал железнодорожный билет третьего класса.
Беспокойно посматривала на дверь. Неужели опоздает? Он же был всегда пунктуальным - приходил минута в минуту. Что могло случиться?.. Если опоздает... Придется возвращаться на квартиру. А что скажет Грач?..
Но вот в дверях показалась знакомая фигура молодого человека. Одет не в студенческую тужурку, как привыкла видеть Ивана Теодоровича, а в легкое пальтецо и простенькую фуражку. В руках несет коробку. Издалека улыбается.

Глаша встрепенулась. Была готова броситься навстречу, но вовремя удержала себя: Теодорович может подумать бог знает что. Будто она неравнодушна. А ведь на самом-то деле она... Она относится к нему как к связному. И пусть он чувствует.
Встретила с поджатыми губами. Пусть убедится: недовольна! Сейчас упрекнет за опоздание...
- Вы уж извините... Конку ждал, - сказал Теодорович, целуя руку. Вот принес... - Поставил рядом с девушкой большую коробку, перевязанную розовой лентой, на крышке витиеватые буквы: "Торт".
- Из филипповской кондитерской! Самый дорогой, - подчеркнул Иван и опять улыбнулся тепло-тепло. - Там попробуете.
Снял фуражку, провел платком по лбу. Волосы у него волнистые, бородка курчавая. А глаза... Как взглянула в них, так и позабыла, что собиралась упрекать.
- Я знала, что не подведете...
- Нам, вероятно, пора? - Теодорович взглянул на большие стенные часы, а по залу уже шел глашатай и звонил в колокольчик. - Это - вашему. Первый звонок. Пойдемте.
- Я одна... А вам бы лучше...
- Провожу до вагона. Не могу иначе...
"Настойчивый, - отметила Глаша. - И не боится, что из-за меня могут приметить шпики".
Теодорович в одну руку взял чемоданчик, в другую коробку с "тортом", и они вышли на перрон. Глаша посматривала на него, улыбалась, говорила без умолку. И он тоже не умолкал. Кто ни взглянет, всякий подумает: влюбленная парочка! Пусть так думают!
Глаза у Ивана светло-серые, ясные, теплые. Сколько ни встречалась Глаша с ним, он всегда был веселый. Наверно, со всеми такой. Ну и хорошо.
А если не со всеми? Только с ней?..
Подошли к вагону.
- Спасибо! - сказала Глаша. - Теперь уж я сама...
Но Иван не отдал ни коробки, ни чемоданчика. Пропустил ее вперед себя в вагон.
Полка у Глаши нижняя. На второй нижней сидела старушка с девочкой. Вероятно, бабушка с внучкой. На верхнюю полку толкнул корзину старик в войлочной шляпе. Теодорович успокоился: соседи хорошие. Поцеловал Глаше руку и вдруг, перейдя на "ты", сказал:
- Пиши чаще. Не забывай.
Это, конечно, сказано для отвода глаз. Для соседей. Пусть подумают: проводил свою близкую. Может быть, невесту.
Писать ему?.. А куда?.. Если бы и захотела...
Вагон дрогнул, и колеса чуть слышно стукнули на стыках рельсов. Девочка, уткнувшись в окно, позвала:
- Тетенька!.. Вам машут.
Все еще не ушел?! Какой неосторожный!
Вспомнились его слова: "Не могу иначе". Что-то знакомое. Будто слышала уже или читала где-то.
Глаша встала, глянула в окно. Иван шел, убыстряя шаг, рядом с вагоном, улыбался и махал рукой. И она помахала ему.
Поезд набирал скорость. Иван бежал рядом с окном... Чудак! Ведь перрон-то скоро оборвется. А он не глядит под ноги. Не упал бы...
Паровоз тряхнул черной гривой дыма и закрыл Теодоровича.
А когда дым рассеялся, за окном уже виднелись только рельсы соседнего пути, убегавшие вдаль. Глаша, вздохнув, опустилась на свою полку. Старушка не замедлила поинтересоваться:
- Кем же он приходится тебе, доченька, молодой-то человек? Муженек законный али ишшо женишок?
- Брат... двоюродный.
- А-а... Какие ноне брательники повелись! От жениха не отличишь. А ты далеко ли едешь-то?
- До Рязани. - Глаша подняла коробку; зная, что в ней, кроме "Искры", запрятаны листовки, только что снятые с типографского станка, понюхала и притворно смежила ресницы. - Сладко пахнет! У меня подруга завтра именинница - вот и везу подарок.
А сама снова вспомнила слова Ивана: "Не могу иначе".

Не прошло и двух недель, а Глаша опять в поезде. На этот раз ей досталась вторая полка. Какой-то поручик с туго закрученными усами предложил ей нижнюю, она отказалась. Сославшись на усталость, поднялась на свою верхнюю.
Лежа с закрытыми глазами, вспоминала то Иваново-Вознесенск, то Москву, то Рязань. Теперь она ехала из Киева, где провела три дня у Катеринки. И вдруг вспомнила, как ее няня Агапеюшка рассказывала задорную сказку о неуловимом Колобке:
"Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел... От тебя, Серый Волк, тоже уйду!"
Ей тоже удалось ускользнуть!.. В Харькове она пересядет на другой поезд, доберется до Самары, а там... Там проходит Сибирский экспресс. На билет до Красноярска денег хватит. Она уйдет!
Проживет лето в далеком Шошино у матери, и о ней, Глафире Окуловой, жандармерия забудет. Мать, кажется, числят в благонадежных. Одно слово золотопромышленница!
3
- Ой, Глашенька! Ой, голубушка! - хлопала руками по широким складчатым юбкам Клавдия Гавриловна, привечавшая всех "политиков", на их перепутье в Красноярске. - Да как же я тебе рада, девонька! Будто дочери родной. Проходи в горенку наверх, дорогая гостьюшка. Каким ветром тебя принесло в родную сторону?
- Сейчас киевским. А до этого и в Москве жила, и в других городах.
- По своей доброй воле приехала? Ну я рада-радешенька за тебя. А моя Валюшка под надзор попала. В Петербурге-то, рассказывает, возле Казанской церкви было целое сраженье. С жандармами да казаками. И наша курсистка там оказалась. Слава богу, жива-здорова на квартеру воротилась. А после того министр каких-то там дел приказал: почетную потомственную гражданку Красноярска Валентину Павловну Попову сослать на год по месту жительства родителей. И хорошо, что не дальше. Перед пасхой встретила доченьку.
- Валюшка здесь?! А где же она?
- В магазин пошла. Скоро воротится. Горюет, конечно, что доучиться не дали. А так вроде ничего, веселая. Да ты подымайся по лесенке. Постояльцев у меня теперича нет. Располагайся, как дома.
Клавдия Гавриловна, придерживая юбку руками, тоже поднялась на второй этаж, дотронулась рукой до самовара:
- Еще горячий. Садись, чайку выпей. Вот и пирожки с груздями остались. Даже тепленькие. Поешь с дороги дальней.
Глаша окинула взглядом горницу: все в ней было так же, как четыре года назад. Стол, стулья, деревянная софа - на тех же местах.
- Политические по-прежнему собираются у вас?
- Частенько бывают. Поговорят, поспорят. Иной раз песни споют. Потихонечку, чтобы на улице не услышали. А сами карты, лото держат наготове. Застучит надзиратель сапожищами по лестнице - зачинают играть. Он поглядит, запомнит всех по обличью и уйдет. Город-то у нас как котел кипит. Особливо в депо да в мастерских на станции. Сказывают, многих похватали. Которых в ссылку угнали. Все больше в Туруханку.
За разговором Клавдия Гавриловна сполоснула две чашки, вытерла льняным полотенцем, налила чаю, одну подала гостье, другую подвинула к себе.
- Много постояльцев перебывало у меня. И народники, и марксисты. Бывало, схватятся спорить - хоть святых выноси. А живали и такие: слово скажет, и супротивника - наповал! Тому и говорить больше нечего. Жил один уж больно обходительный. С Женюшкой забавлялся, как со своей родной. А теперь вот... - Клавдия Гавриловна, глубоко вздохнув, утерла глаза уголками головного платка. - Женюшки нет.
- Давно ли?.. И от чего она?..
- В прошлом году на пасху... Горлышком маялась. Сам Владимир Михайлович Крутовский лечил - не сумел спасти. В одночасье сгорела доченька. - Клавдия Гавриловна еще раз утерла глаза и продолжала вспоминать: - Бывало, постоялец посадит Женюшку себе на колени и пальцами показывает козу-дерезу. Простой человек. А большого ученья. Да ты его знаешь: Владимир Ильич. Так вот, недавно у нас читали тайную газету. Видала такую? "Искрой" называется. Там про ссыльных студентов пропечатано. Может, он писал?
- Весьма возможно.

- Да у тебя, миленькая, чай-то совсем остынет. Пей. Ешь. Соловья, говорят, и то баснями не кормят.
Глаша съела два пирожка, похвалила хозяйкину стряпню, выпила чай и спросила:
- О моей маме ничего не слышно? Как она там? Все мы разлетелись одна она в Шошино осталась. Нелегко ей.
- При ее-то хозяйстве и мужику трудненько управляться. А дела у нее, сказывают, невеселые. Как бы совсем не разорилась. Золото будто истощилось. Не знаю только - на одном прииске али, не дай бог, на обоих.
Гостья задумалась, и Клавдия Гавриловна, не спуская с нее заботливых глаз, вернулась к воспоминаниям:
- А был в ту весну еще один. Уж очень любил песни. Такой, небольшого роста. Владимир Ильич звал его Глебасей. Знаешь?
- Кржижановский. Я была у него и у его жены в гостях. Он служит на станции Тайга.
На лестнице послышались шаги. Все быстрее и быстрее. Каблучки стучали отрывисто, как козьи копытца. Гостья метнулась навстречу:
- Узнаю Валюшку!
- Ой, Глашура! - Девушка, выронив покупки, обняла подругу.
Они хохотали от радости и осыпали щеки жаркими поцелуями.
Клавдия Гавриловна подняла свертки и ушла вниз.
Взаимным расспросам не было конца. Валя рассказала, что в Петербурге двое суток ее держали в полицейском участке, а на третий день выпустили. С курсов отчислили. Но ее судьба решилась легче других - приехала в обычном вагоне, только пришлось сразу явиться в полицию. А вот для студентов... Привезли их за решетками. Зато - герои! Погнали их с вокзала в тюрьму вызвали солдат и казаков. Те с шашками наголо. А на улицах - толпы народу! Из депо рабочие вышли с красным флагом!
- Сама слышала - кричали: "Долой самодержавие!" - продолжала Валя. Разве это не герои? И наш Красноярск, как видишь, проснулся от векового сна! Что ни утро, то новая листовка. И не с гектографа - из типографии!
А потом пошли еще более горячие девичьи разговоры:
- Я думала, ты, Глашура, уже выскочила замуж. Тебе сколько?
- Двадцать три. Старуха! Но я не тороплюсь. А ты?
- Еще не встретился мне герой моего романа.
- И мне не встретился.
- Ой, не верится, подружка. Ты такая, такая...
- Какая?
- Уж больно соблазнительная. Была бы я парнем - выкрала бы тебя и умчала за тридевять земель. Наверно, кто-нибудь так и сделает.
Глаша покраснела. Ей вспомнился Теодорович. В Москве на вокзале их приняли за влюбленную парочку. Провожая, Иван говорил: "Не могу иначе". Откуда это? Кажется, где-то у Толстого...
Между тем Валя спросила:
- Ты сколько дней прогостишь у нас? Мы собираемся на Столбы. С ночевкой. Мне хотя и не позволено отлучаться за город, а все равно пойду.
- С ночевкой я не ходила на Столбы.
- Так пойдем с нами. Договорились? Идут мои подруги по гимназии. И парни, конечно. На Четвертом столбе встретим солнышко.
- Ой, это интересно! - отозвалась Глаша и тут же подумала: "Будет что рассказать Ивану".
4
Целый день Глаша носилась по городу. Побывала и на берегу Енисея, и возле женской гимназии, и в городском саду. Лицом к лицу столкнулась с одной из гимназисток. И не сразу узнала. Вместо девчонки перед ней стояла статная дама под легкой вуалеткой. Неужели и она, Глаха, так же постарела? Хотя Валюшка говорит: ни капельки не изменилась.
Когда возвращалась на квартиру, увидела впереди себя солдата. Высокий, кряжистый, большеголовый, он тоже шел к дому Клавдии Гавриловны. У калитки, заслышав отрывистые, быстрые шаги, оглянулся. Знакомое лицо. Большой нос, густая бородка, глаза сияют неожиданной радостью. Кто же это?

- Не узнаете, Глафира Ивановна? - рассмеялся солдат.
- Михаил Александрович?! - спросила девушка, подавая руку.
- Он самый. - Сильвин поцеловал руку, поднял глаза на ее лицо. - А вы все такая же светлая. На ногу быстрая. Иду и слышу знакомые шаги!
- Шаги запомнили, а я... Да в вас и немудрено обознаться. Нежданно-негаданно - солдат! Как же так?
- Забрили на действительную. - Сильвин открыл калитку, пропуская девушку во двор. - Второй год тяну лямку. Жду не дождусь конца.
Клавдия Гавриловна не удивилась гостю, сказала, что вчера его спрашивал парень с лесопилки:
- Беспременно, говорит, надобен. Похоже, от комитета посыльный.
- Я заходил к ним, - сказал Сильвин. - Все в порядке.
- Ну и добренько.
Хозяйка подбавила углей в самовар, загремела жестяной трубой. А гости поднялись наверх. И там Сильвин засыпал девушку беспокойными вопросами. Надолго ли она приехала в родные края? Откуда? И с кем из общих знакомых поддерживает связь? Едва успевая отвечать, Глаша тут же сама принималась расспрашивать о друзьях. Они вспомнили и Ульяновых, и Кржижановских, и Ванеевых...
...С Анатолием Ванеевым Сильвин подружился еще в Нижнем. Окончив гимназию, вместе с ним отправился в Петербург. Друзья мечтали даже не столько о высшем образовании, сколько о большом революционном деле. Вместе вступили в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". Вместе ходили в кружки и на первые сходки. Долго жили в одной комнате. Делили и радость, и горе. Им даже клички дали - Минин и Пожарский. Только учились они в разных концах города: Анатолий - в Технологическом институте, Михаил - в университете. И схватили Сильвина на восемь месяцев позднее. Сослали так же, как товарищей, на три года. В северное село Тасеевское, той же Енисейской губернии. Там он провел лето и осень, потом - о, радость! разрешили переехать в Минусинский уезд. На юг! Туда, где отбывали ссылку его друзья.
В Красноярске Сильвин задержался на несколько часов. И там в вокзальном буфете Петр Ананьевич Красиков познакомил его с Глашей Окуловой. Девушка уже отбыла ссылку и чувствовала себя вольной птицей перед отлетом в дальние края. За ужином она долго рассказывала об их общих друзьях, которые и для нее стали самыми близкими людьми, в ссылке помогли освободиться от народнических заблуждений и примкнуть к ним, социал-демократам.
В тот год путь Сильвина лежал через село Шушенское. Там он остановился на ночевку, отыскал дом с деревянными колоннами у входа, где жили Ульяновы. Проговорили далеко за полночь. О друзьях, коротавших ссылку в окрестных деревнях, о вестях из Питера и Москвы.
Когда, распрощавшись, завалился в сани на пахучее луговое сено, нахлынула тяжелая волна грусти. У Ильичей уютно, живут они, люди неустанного труда, в атмосфере семейного счастья. А он? Один-одинешенек, как бродяга в лесу. Как сирый куст травы перекати-поле, гонимой ветром...
А в Ермаковском - того тошнее: его ближайший друг Анатолий Ванеев, сваленный чахоткой, догорал, как свечка. Так и остался навсегда в холодной Саянской земле...
Летом проглянуло солнышко: примчалась Ольга. Сыграли свадьбу. Даже позабыли о тяготах изгнаннической жизни. Но счастье было недолгим: подстерегла разлука. Хотя Михаил Александрович и числился "государственным преступником", ему в свой срок приказали явиться на призывной пункт. Остригли волосы наголо. Как рядового сибиряка, воинский начальник постарался отправить подальше - в пехотный полк, расквартированный в Риге. На прощанье Ильич дал ему адреса рижских социал-демократов. Не сомневался, что пригодятся. А когда кончился срок ссылки, сам наведался в Ригу. Приехал одетый по-заграничному: в мягкой фетровой шляпе, в лайковых перчатках, с тросточкой. Одним словом - джентльмен! Умеет он от шпиков хорониться!
Повидался Ильич с латышами, договорился о сотрудничестве в "Искре". Потом, в пасхальный день, когда Сильвину дали увольнительную из казармы, навестил на квартире его жены. Михаил Александрович не скрыл удивления, когда узнал, что Ильич уезжает за границу на продолжительное время. Он ведь так нужен здесь, в России. А там? Там он почувствует себя оторванным от родной страны, от российского революционного движения.

- Не тревожьтесь, - ответил Владимир Ильич, - мы будем поддерживать постоянную связь с друзьями и единомышленниками во всей стране.
Сильвин решил прибегнуть, как он думал, к самому сильному доводу:
- Посмотрите на группу "Освобождение труда", - она в конце концов стала для нас в организационном отношении почти ничем.
- Нам это не угрожает. Да и ждать теперь уже недолго.
- Может, все же лучше здесь основать газету?
- Выследят. И через два-три номера прихлопнут. А с нас достаточно одной ссылки, - усмехнулся Владимир Ильич. - За границей же безопаснее для дела. И пользы будет больше...
- На этом мы и расстались, - рассказывал Михаил Александрович. - И я все поджидал газету. Латышских товарищей спрашивал. Но так и не дождался. Жандармы, проклятые аспиды, прознали, что ссыльный "государственный преступник" Сильвин служит солдатом в таком городе, как Рига! Пришли в ярость. И меня, раба божия, снова турнули в Сибирь. Пусть, дескать, дослуживает срок в краю каторги и ссылки. Побывал наш полк в Забайкалье, где золото роют в горах. А теперь вот здесь. На строительстве военного городка. Грамотных не хватает, так меня писарем поставили. Могу, как видите, в город отлучаться. С комитетом связь держу. "Искру" здесь увидел. И понял, что Ильич был прав, когда решил уехать. Хорошая газета. Боевая. У вас, случаем, нет нового номера?
- Для вас найдется.
Глаша достала из чемодана складное зеркало, приподняла донце футляра и подала аккуратно сложенную газету. Пятый номер. Сильвин отодвинулся со стулом в угол, подальше от окна, просмотрел заголовки, остановился на письме из Петербурга. О схватке на Обуховском заводе. Прочел: "Жаль, что знамени не было. В другой раз и знамя будет, и пистолетов достанут". Верно! И посерьезнее оружие достанут! Сказал приглушенным голосом:
- Здесь тоже как на вулкане. Вот-вот польется лава.
В горницу поднялась Клавдия Гавриловна, сказала, что чай готов. Сильвин, прежде чем отправиться за самоваром, сунул руку за голенище, где солдаты обычно хранят ложку, и достал листовки, свернутые трубочкой, одну подал Глаше, остальные запрятал на прежнее место:
- Прочитайте здешнюю...
- Новенькая?! - Клавдия Гавриловна подошла поближе. - Надо деколоном спрыснуть. Чтобы краской не пахло. Сейчас принесу. - Приостановившись, добавила: - Листки-то у нас спервоначалу были синенькие, от руки писанные, а нынче и вот эдакие появились. Из настоящей типографии! Ох, смелые головушки!.. Пойду у Валюшки возьму деколон.
Глаша, разгладив рукой тонкую бумажку, про себя читала:
"К войскам красноярского гарнизона. Братья солдаты и сибирские казаки! Поймите и запомните. Со дня на день вас могут послать сражаться против борцов за свободу и справедливость для трудового народа. Не враги они вам, а ваши товарищи. Не против них, а за них должны вы сражаться! Не в них должны вы стрелять, а в тех негодяев, которые решаются приказывать вам стрелять в своих братьев".
- Ой, как это своевременно! - тряхнула головой Глаша. - Кто бы мог подумать, что наши красноярцы так развернутся!

5

За Енисеем синели отроги Саян. Там среди густых хвойных лесов высоко вздыбились причудливые гранитные утесы - Столбы. Веками их обтачивали ветры, умывали грозовые ливни.
Глаша помнила тот причудливый уголок тайги, могла по памяти нарисовать не только ближние, но и дальние столбы. И хмурого Деда, и задумчивую Бабушку, и Дикаря, и Голову Манской бабы, и Кабаргу. Кто-то придумал меткие названия. Гладкий, чуть-чуть поросший темно-серым лишайником гранит в самом деле походит на безрогого оленя. Глянешь на него издалека, с другого столба, и вдруг покажется, что на синем небосклоне настороженно шевельнулись кабаржиные уши-лодочки.
А восход солнышка на столбах она не видела. Говорят, неописуемо красиво. Тайга на востоке взбудоражена, как море в шторм. В низинах залегли седые туманы, гребни гор напоминают грозные валы. На краю небосклона колышется оранжевое опахало, подымается все выше и выше. И вот, наконец, показывается огненная краюшка солнышка, будто раскаленный кусок железа у богатыря-кузнеца на наковальне... Рассказывают: столбы становятся розоватыми,

туманы - перламутровыми... Прелесть!.. Чудо из чудес!.. Жаль, что нет здесь Ивана. Полюбовались бы вместе...
Их было десять - веселая компанийка, и никто из них не знал, что у жандармов Столбы уже прослыли "неблагонадежной местностью". Шли подруги Валюшки и три столбиста, дюжих и, как рыси, ловких да цепких парня. Такие не остановятся перед самым трудным ходом, как называют лазы на Столбы. На ногах у них новенькие калоши, вместо пояса у каждого своеобразный кушак аршин пятнадцать кумача, обмотанного вокруг тела. Помогут им, девушкам, подняться на нелегкую вершину. А сами напоказ взберутся на острые, как бы с высоты вонзившиеся в землю, гранитные Перья по самому рискованному ходу Шкуродер. Полетят оттуда вниз, упираясь ногами в противоположные стенки, и они, девушки, ахнут: как бы парни не ободрали себе шкуры. Слух был: отчаянные девушки пытались взобраться... Но им, семерым, туда незачем: они ведь не мечтают об альпинизме. А солнышко горожане обычно встречают на довольно легком Четвертом или на одной из двух вершин Первого столба. Туда потруднее. И там и тут удобные площадки, - хватит места для нескольких компаниек. Завтра - канун праздника столбистов. Заиграют гармошки, зазвенят струны гитар, польются песни, первым делом свои, сибирские: "По диким степям Забайкалья" и "Глухой неведомой тайгою". Там не боятся петь даже "Смело, товарищи, в ногу". А в таежной избушке, приюте столбистов, говорят, можно найти на подоконнике листовки...
Через Енисей плыли на большой лодке. Столбисты дружно загребали воду распашными веслами. Девушки пели: "Пташки-певуньи, правду скажите..." За железнодорожным мостом пошли по правому берегу в сторону теснины, где Енисей, будто сказочный богатырь, прорвался сквозь горы, преградившие путь на север. С высоких Саянских отрогов спешила к нему, как девушка на свиданье, речка Базаиха. На ее берегах крепко вцепились в землю казацкие курени - крестовые дома, обнесенные высокими заплотами из толстых лиственничных плах. Что ни двор, то крепость с массивными воротами под двускатными крышками. Во дворах мелькали фуражки с желтыми околышами: чубатые казаки седлали коней. Похоже - по команде. Куда они снаряжаются? Неужто в город? Опять "наводить порядок"? И у Глаши тревожно заныло сердце. Но она уже умела сдерживаться, никому не сказала ни слова, только многозначительно переглянулась с Валюшкой.
От Базаихи к Столбам пролегла Манская тропа, уводившая куда-то далеко-далеко в глухую горную тайгу. Столбисты предпочитали другую тропу по долине речки Лалетиной к ее истоку, где вздымались ближние Столбы, издавна облюбованные скалолазами, и компанийка пошла туда.
В густых зарослях черемухи без умолку журчала речка, а когда тропа отдалялась от нее, было слышно, как среди березовой чащи посвистывали иволги. Ни разу не каркнула ворона, не кашлянул бурундук, и Глаша не сомневалась - погода будет ясная, сухая. Ничто не помешает полюбоваться на каком-то из столбов восходом солнышка.
Куда ни взглянет она, всюду горный склон манит красотой. Неподалеку от тропы стоят елочки-подростки в зеленых кринолинах, в мягких ложбинках у реки, где долго держался снег, полыхают троллиусы, прозванные жарками. Нигде нет таких огненных цветов, как на ее родине! По ту сторону Урала Глаша видала их братьев: какие-то худосочные, желтенькие, будто тронутые бледной немочью. То ли им не хватает ярых соков земли, то ли солнечного пламени? А здесь пылают неуемно. Не зря назвали жарками!
Чем выше, тем прохладнее. И тем богаче россыпь цветов в таежном большетравье. Вон на полянке из густой травы моргнул ей розоватый цветок егорьево копье, вон из-за елочки махнул крупными, тончайшими, как папиросная бумага, малиновыми лепестками лесной пион - марьин корень. Валюшка невольно метнулась туда, чтобы сорвать цветок, но Глаша схватила ее за руку:
- Не надо. Они же у нас завянут.
У Пыхтуна - крутого подъема - парни взяли девушек за пальцы, - так им легче. Глаша шла одна, шагала размеренно, закинув руки за спину.
Речка отступила в сторону, затерялась где-то глубоко в кустах. Тропу стиснуло густолесье. Между тяжелых, как бы литых из меди, стволов лиственницы белели робкие березки. Беспокойно трепетали круглые листья на осинах. Откуда-то из глубины горной тайги будто вышли навстречу пешеходам мохнатые великаны кедры, как бояре в шубах. Потом сквозь

зеленую густоту прорезались причудливые громадины первых столбов, взгроможденных в небо. Глаша узнавала. Прадед, Дед, Бабушка...
- Этот хмурый Дед, - заговорил, приостановившись, столбист с маленькими усиками, - видите - он в тулупе, с палкой... Обижал Бабушку. Вот она и ушла от него в дремучую тайгу.
- А может, Бабушка сама была виновата? - рассмеялся другой столбист. - Однако, была неласковая...
- Но и Манская баба не захотела Деда приголубить: недостойно себя вел. Тоже убежала далеко, - напомнил вторую легенду столбист с маленькими усиками.
Пошли дальше. В конце Пыхтуна Глаша вырвалась вперед. В просветы между деревьями уже виднелись заманчивые нагромождения Первого столба, поднятые ввысь на добрых пятьдесят саженей.
Вот и знакомая площадка у подножия столба, как бы нарочито усыпанная мелкой гранитной дресвой. Справа прорезала землю скала Слоник, бурый бок которой отшлифован подошвами скалолазов. Незнакомые новички пытались взбежать на нее, но под разливистый хохот опытных столбистов скатывались вниз.
- А ну, девушки, наверх! - скомандовал старший из столбистов. - Тут вам будет хорошая разминка. Победительница получит премию: чарку... ключевой воды.
- Где тут отыщется вода?
- Есть у нас таежный родничок!
Валя, придерживаясь всеми десятью пальцами о гладкий склон, попыталась вскарабкаться на хребет Слоника, но вскоре покатилась вниз. И Глаша, успевшая позабыть о едва заметных морщинках в камне, тоже сорвалась и чуть не ободрала себе кожу с пальцев.
- Ничего, ничего, девушки. Не отчаивайтесь, - подбодрил столбист с маленькими усиками. Придерживаясь поближе к малоприметному уху Слоника, ловко и легко поднялся на хребет, прошелся там два раза; размотав кумачовый кушак, один конец его кинул вниз. - Хватайтесь там. А ногами ему в бок. Будет легко, как по лесенке.
Тем временем остальные два столбиста бросили с хребта Слоника концы своих кушаков:
- Всех поднимем!
- Никого внизу не оставим!..
А спустя полчаса все они сидели в тени, под каменным козырьком Первого столба и пили холодную воду, принесенную из ложбинки Медвежья Рассоха, где едва слышно журчал в большетравье родничок Беркутенок.
После отдыха они, перешагивая через валежины, поросшие зеленым мхом, прошли таежный распадок и поднялись на крошечную полянку перед Третьим столбом, где чернел небольшой бревенчатый приют столбистов с одним оконышком, широкими лавками, лиственничным столом и чурбаками вместо табуреток. На подоконнике лежали мешочки с солью, сухая береста для разжигания костра и спички, еще не успевшие отсыреть. Вместо листовок девушки нашли в ящике стола толстую измызганную тетрадь с записями о восхождениях на все окружающие столбы. В каждой записи были названы наитруднейшие ходы, поименованы победители.
Парни быстро вскипятили чай в котелках, девушки расстелили клеенку на столе, нарезали хлеба, колбасы и домашних котлет...
Пообедав, направились по извилистой тропинке к Четвертому столбу, вздымавшемуся неподалеку. Там по относительно легкому ходу стали подыматься с валуна на валун, с одного крошечного уступа на другой. На трудных участках столбисты подавали сверху девушкам руки и подбадривали:
- Смелее! Гоп, гоп!
Во время прыжков через трещину предостерегали:
- Осторожнее. Этот камень называется Поцелуй. Поскользнетесь поцелуетесь с ним. Вот сюда полегче!
Наверху - ровная площадка: хоть танцуй на ней. Можно и отдохнуть на камне, привалившись как бы к спинке дивана.
Но никто не сел. Все любовались всхолмленной таежной далью, знатоки показывали руками:
- Вон Кабарга! Вон Заяц! Глядите - прижал уши. Очень походит. А правее - Голова Манской бабы!
Повернулись в другую сторону и невдалеке за лесистым распадком увидели громадину Второго столба, самого величественного во всей округе. И в тот же миг ахнули от удивления:

- Смотрите, смотрите!.. Человек там пишет!..
На красноватой отвесной скале под самой вершиной, как бы на лбу столба, сияли белизной огромные буквы: "СВОБОД..."
- "Свобода"! - Глаша обняла Валюшку и, от восторга притопывая ногами, поцеловала в щеку. - Он дописывает!.. Молодчина!..
- И слова-то в рост человека!
- На чем он только держится?!
- Там есть маленький уступ, отсюда незаметный.
- И как у него голова не кружится?! На такой выси!..
- Ой, батюшки!.. Ведь может оборваться...
Смелости и отваге скалолаза дивились даже бывалые столбисты:
- Ну, ловкий парень!.. Рисковый!..
- Тот ход называют Сумасшедшим!.. Живым оттуда спустился один-разъединственный паренек...
- А если и этот?.. Не орел же он...
- Дописал последнюю букву!.. Теперь бы ему крылья!..
- Интересно, кто там из отчаянных столбистов? Может, знакомый. Повидать бы надо...
Спускались торопливо по противоположному склону. Там было легче и безопаснее. Глаша в одном месте придержалась за ветку кедра, обхватившего валун корнями, словно птица когтями, в другом - за гибкую березку, выросшую в расщелине. А снизу один из столбистов уже махал ей рукой: "Скорей, скорей!" - и предостерегающе кивал головой в сторону Третьего столба. Оттуда доносились грубые мужские голоса. Явно не молодые люди нагрянули, не столбисты. Спустились все. На минуту замерли, прислушиваясь: о россыпь камней постукивали каблуки. Похоже - с подковками. Столбисты в такой обуви не ходят.
- Полиция?.. - настороженно переглянулись.
В одном из просветов между елками мелькнул голубой мундир.
- Жандармы! - Валюшка прикусила нижнюю губу.
- Наверно, в избушке шарились*, - шепнула Глаша. - Даже в лесной глуши нет от них покоя. Ироды!

---

* В 1906 году жандармы сожгли избушку во время очередного налета на Столбы.
- Однако, ищут тайную типографию, - сказал полушепотом столбист с маленькими усиками и, сложив пальцы фигой, ткнул рукой в сторону тропы. Вот им! Наши научились хорониться.
Девушки метнулись было в чащу, но он властно остановил их:
- Только без паники... И надо же о тех подумать... о наших.
Глаша первой побежала по тропке к распадку, за которым возвышался Второй столб. За ней, опасливо оглядываясь, побежали остальные. Замыкал вереницу столбист с маленькими усиками.
Они, запыхавшиеся, вовремя взбежали на пригорок, к подножию столба, когда два молодых человека, по-альпинистски подстраховывая друг друга, только не веревкой, а длинным кумачовым кушаком, уже заканчивали спуск по Сумасшедшему ходу. Внизу их поджидал беспокойный пожилой человек в брезентовой приискательской куртке. Один ус у него сивый, другой совершенно белый.
"Да это же он!.." Глаше вспомнилась частушка, вырезанная на стволе тополя в отцовском шошинском саду:
Все колеса да пружины,
Лишь умей их заводить,
Не придумают машину,
Штоб работника кормить.
Повертываясь, мужчина слегка откинул в сторону негнущуюся ногу.
"Он! - уверилась Глаша. - Кочегар Ошурков!.. За книжками ко мне ходил. Вот уж действительно только гора с горой не сходится... Да как же он сюда при его-то ноге?"
Ошурков узнал ее, дружелюбно рассмеялся:
- Вот где довелось свидеться!..
- Там - жандармы!
- Голубые дьяволы! - спешили предостеречь его прибежавшие девушки.

- Знаю, - спокойно отозвался Ошурков. - Мои молодцы сверху разглядели. И мы успеем. Одна минута, и - след простыл. Сами-то поберегайтесь.
Той порой незнакомые столбисты спустились на землю и, подхватив Ошуркова под руки, исчезли за деревьями.
"На Манскую тропу направились, а там... - Глаша вспомнила казаков, седлавших лошадей. - Может, наши успеют скрыться... Проведут день-два где-нибудь за Дальними столбами. Или спустятся к Мане-реке".
Три столбиста, оберегая девушек, юркнули вместе с ними в лесную гущину. Им тут был знаком каждый камень, каждый таежный распадок на добрый десяток верст.
Не доходя до Манской тропы, все по знаку руки старшего залегли между разлапистыми кедрами. Затаили дыхание. И вскоре услышали: за крайними деревьями стучат о камень копыта, фыркают кони, обеспокоенные назойливыми оводами. Потом в просвете мелькнули фуражки с желтыми околышами. Казаки!
Вон куда их черт понес! За Дальние столбы!
Переждав, парни и девушки украдкой перебежали через тропу, ушли в глубь тайги и там ночевали на сухой хвое под надежными пологами старых кедров. Костер не рискнули развести. Утро провели в укрытии. И вышли только тогда, когда, по их расчетам, к Столбам на праздник должны были хлынуть толпы горожан.
"А где же те? - тревожилась Глаша, вспомнив об Ошуркове и его товарищах. - Успели ли укрыться от казачьего разъезда?"
Спускаться по Манской тропе не решились, ведь она приведет в станицу. Вышли на ту же Лалетинскую, когда возле каждого родника уже горели костры, звенели песни, а на Столбах алели кушаки ранних скалолазов.
От Четвертого столба вместе с удивленными горожанами еще раз взглянули на Второй: на недоступной орлиной высоте сияли саженные буквы: "Свобода". И никто туда не взберется, никто не закрасит, не сотрет. Среди столбистов жандармам не отыскать предателя. И даже из пушек не смогут расстрелять это гордое слово.
Сегодня не видно жандармов. Не вознамерились разгонять народ. В тайге это непосильно им. Да и самих могут из-за деревьев побить камнями. Тут отчаянных - тысячи.
Возле каждого столба, в каждом распадке слышится:
- Молодчаги наши столбисты!
- Смелые головушки!
"А Ошурков-то, Ошурков! - продолжала восторгаться в душе Глаша. - Кто бы мог подумать!.. Таких парней подыскал!.. Горит над тайгой огненное слово!"
Девушки обо всем рассказали Клавдии Гавриловне. Та поохала, похлопала руками по юбкам, а потом заговорила о своей печали:
- Сердце болит за Михаила Александровича. Обещал наведаться - не пришел.
- Значит, не мог. Солдат себе не волен.
- Так-то оно так. Но не стряслась ли с ним беда?
- Ну уж ты, мама, сразу в панику. Так что-нибудь... Может, сквозняком прохватило...
- Вот-вот... Только неизвестно каким. А у меня сердце вещует.
Они, понятно, не знали, что после очередной отлучки в город Сильвина вызвал командир полка, предупрежденный жандармами, и объявил, что он отчисляет его из писарей, приказывает вернуться в строевую роту и лишает увольнения в город до конца срока службы.
6
До чего же хороша родная река! Шумит, играет Енисей на перекатах, мечется от берега к берегу, пытаясь пошире раздвинуть утесы. С обеих сторон жмутся к реке лесистые сопки, словно отыскивают тихие плесы, чтобы посмотреться в них, как в добротные зеркала.
Почитай, двадцатый раз Глаша плывет на пароходе, а наглядеться на реку не может. И всякий раз Енисей кажется иным. То он светлый и задорный, то угрюмый я грозный, но всегда могучий, напористый. Пароходы дрожат, дымят во все тяжкие, шлепают плицами по воде изо всех силенок, но едва-едва перебираются через буйные шиверы. А в этот рейс "Дедушка" еще взял на буксир длинную баржу - совсем изнемогает старик от усталости.
Глаша целые дни проводит на палубе. С правого борта посмотрит на берег и тотчас же спешит на левый, чтобы полюбоваться заводью или отвесной скалой.

На ней простенькая белая панамка, сиреневое платье с рукавами выше локтей. Руки у нее стали бурыми. А лицо? Посмотрелась в зеркало: тоже потемнело от загара. Если бы увидел Иван, пожалуй, не узнал бы. Хотя по волосам мог бы. Не выгорели. Все такие же светлые, волнистые...
Июль - самый жаркий месяц - она проведет в деревне, и загара еще прибавится. Такой - шоколадной - и приедет из Сибири в Москву. Пусть Иван дивится!
На каждой пристани Глаша выходила на берег, покупала землянику в берестяных бурачках. Когда "Дедушка" подавал отвальные гудки, смотрела с палубы на пассажиров, сгрудившихся к трапу. И на первой же пристани заметила хромого в брезентовой приискательской куртке, в мятом картузе, с котомкой за плечами. И чуть не встрепенулась от радости: "Здесь он! Уцелел!"
Когда "Дедушка" снова двинулся в путь, спустилась вниз, заглянула в каждый уголок, где ютились палубные пассажиры с мешками и корзинками, но Ошуркова нигде не было видно. Стреляный воробей! Схоронился где-то в надежном месте.
И не зря поопасался: "Дедушку" посередине реки остановил дозор. Дородные, раскрасневшиеся от жары и испарины полицейские, стуча ножнами шашек, поднялись из лодки на палубу, обшарили весь пароход. И спустились не солоно хлебавши. Кого они искали? Может, бродягу, убежавшего с каторги. Может, "политика", исчезнувшего с места "водворения". А может, им были даны приметы Ошуркова.
На следующий день Глаша поднялась на рассвете, накинула платок на плечи, пробежала по палубе. Глянула на нос парохода. Ошурков сидел на бухте толстого каната и разговаривал с вахтенным матросом. Из рубки раздался отрывистый свисток. Матрос взял наметку с полосатыми отметинами и, опустив за борт, крикнул наверх:
- Не маячит!
Ошурков поднялся, чтобы немного размяться; увидев Глашу наверху, шевельнул сивыми бровями. Дескать, рад, что на Столбах тогда они успели улизнуть от жандармов. Глаша улыбнулась в ответ и чуть заметно качнула головой. Он поймет: "Рада видеть на воле".
Ей не терпелось поговорить с Ошурковым. Днем несколько раз принималась искать его, но он снова исчез. Вероятно, успел найти общий язык с кочегарами парохода, и те приютили его в укромном местечке.
Прошел еще день, и Ошурков вдалеке от города таился уже меньше, чем в начале пути. Раза два Глаша видела его на палубе, и он кивал головой с явным задором и надеждой на разговор.
В сумерки "Дедушка" пришвартовался к берегу, где желтели бесконечные поленницы. Матросы занялись погрузкой лиственничных дров, а истомившиеся пассажиры посыпались с парохода, как муравьи с муравейника, устремились навстречу торговкам, спешившим из деревни, видневшейся на высоком яру. Глаша тоже сошла на берег, купила три яйца. И тут в толпе столкнулась с Ошурковым. Он держал на широком листе ревеня вареную картошку.
- Соль у вас, землячка, есть? - спросил полным голосом, а у самого в глазах прыгнули задорные светлячки. - Найдется? Я знаю: шошинские запасливые!
Шаг за шагом они незаметно отошли в сторонку, за высокую поленницу, и Глаша нетерпеливо сказала:
- Отчаянный вы человек! И сумели подобрать столбистов для доброго дела!
- Значит, вы наше слово видели?! - Ошурков перешел на полушепот. Теперь жандармы-шельмы, однако, с ума сходят! По городу рыскают. И на Столбах, говорят, людей подкарауливают. Среди столбистов стараются отыскать сукиных детей. А столбисты им - фигу. Никто не возьмется закрашивать. И дождем не смоет: краска крепкая. Придется из пушки по скале стрелять. А што? И до такой дурости додумаются!.. Только ты, деваха, Ошурков погрозил крючковатым пальцем, - ни гугу. Ни одной душе.
- Вы же меня знаете.
- Потому и разговариваю, что надеюсь.
Глаша поинтересовалась, далеко ли едет кочегар, а у того опять прыгнули в глазах задорные светлячки:
- На Сисим! На прииск вашей матушки путь держу! Каково, а? Не возражаете?
- Нет, конечно.
- Чудная! Да мы же под матушкин прииск, можно сказать, динамит подкладываем.
- Ну и действуйте. Как надо. А мама, как только самых младших на ноги поднимет, сама с прииском распростится. Работу себе найдет.

- Вот как! Значит, тоже понимает, куда ветер клонит? Ну, ладно. Вам верю.
В последний день вот так же на берегу Глаша передала Ошуркову "Искру". Взглянув украдкой на первую страницу, кочегар обрадовался. Пятый номер! А в Красноярском комитете ему дали только четвертый. Уложив газету в кисет и запрятав его в карман широких лоснящихся брюк из крепчайшей "чертовой кожи", Ошурков заговорил о Сисимском прииске:
- Весной до Минусинска слух донесся, будто бы у Окулихи приискатели нелегальщину читают. Теми же днями нагрянула полиция. Всех перетрясли. Везде носы свои сунули. Даже в старых отвалах рылись - ничего не нашли. Уехали с постными рожами. Прошла туча мороком. Теперь большой опаски нет. Буду читать друзьям-товарищам. - Поправил картузик. - Спасибо вам!
7
Ямщика Глаша наняла без колокольчиков. Пусть для матери все будет неожиданным. Она подъедет тихо; легко переставляя ноги, поднимется на крыльцо, войдет в дом и позовет приглушенным голосом:
- Мамуша!.. Я приехала!..
На пригорке нетерпеливо приподнялась в ходке, глянула вдаль. Впереди чистая, как пустая столешница, равнина, справа зеленая кромка бора, слева за Тубой - гора Ойка. В конце равнины чернеют окраинные избы деревни Шошино. Немного ближе их - высокие кроны тополей: отцовский сад! Теперь отца там нет. Обанкротившись, старик укрылся от кредиторов в Петербурге, живет в каких-то меблированных комнатах. Дети разлетелись из родительского гнезда. Старшие уже зарабатывают себе хлеб уроками. Дома - одна мать.
Усадьба все ближе и ближе. Как изменилась она! От сгоревшей паровой мельницы остался лишь фундамент, старый двухэтажный дом продан на слом... И только густая листва тополей по-прежнему кипит под легким ветерком высоко в небе.
Ямщик придержал коней, и Глаша выпрыгнула из ходка; распахнув калитку, побежала к дому. На крылечке, сложив усталые руки на коленях, грелась на солнышке старая бобылка.
- Агапеюшка! - вырвалось из груди девушки. - Здравствуйте, родненькая!
- Глафирочка-а! - Старая женщина поднялась навстречу, утерла глаза обеими руками. - А мне быдто сердечушко вещало: беспременно кто-нибудь приедет, окромя вашей матушки.
Глаша обняла свою няню за плечи, поцеловала в морщинистую щеку; узнав, что мать уехала на дальний прииск в горах, с сожалением вздохнула и тут же юркнула в дом. Заглянула во все комнаты, выбежала в сад и, запыхавшаяся, остановилась на берегу реки:
- Здравствуй, Туба!.. Ты все такая же красавица!..
А вот сад изменился. Все аллеи позаросли зеленой проволокой пырея, высокой крапивой да ползучей повиликой. Глаша шла и пинками разрывала цепкие нити, сбивала пух с одуванчиков. Присела на покосившуюся скамью. Сколько приятнейших часов было проведено на ней в разговорах с друзьями-"политиками". Из села Тесинского приходили Кржижановский и Старков, Шаповалов и Барамзин, из Курагино Курнатовский, самый частый гость. Виктор Константинович, чудесный кристальный человек, железный революционер, к огорчению Кати, засматривался на нее, Глашу. И бедняга Шаповалов засматривался. А она? Ну, что она могла сказать им? А огорчить не хотелось. Должны бы сами почувствовать, что у нее в сердце холодок. Чаще всего уходила, оставляя с Катей. Однажды на этой скамье весь окуловский "выводок" сфотографировался с друзьями. Катя - рядом с Курнатовским... Но, видно, не судьба...
Глаша брела по траве в глубину сада и там неожиданно для самой себя оказалась перед толстым стволом тополя, на котором когда-то Ошурков вырезал свою частушку. Буквы наполовину заросли свежей корой. Если бы приехал Иван, обязательно привела бы его сюда и сказала: "Читай". А сама бы тихонько посмеивалась: ведь не разберет ни слова. Медленно провела пальцами по буквам, как слепец по своей книге. Время залечило тополь. Вот так же и на сердце зарастают душевные раны. Виктор Константинович, истомившийся в тифлисской тюрьме, постепенно забудет о здешних встречах. И Катино сердце с годами успокоится...
Затявкал лохматый Казыр. Глаша выбежала на крыльцо. Сивобородый конюх, успев спешиться, открыл ворота. Во двор въехала на взмыленном чубаром иноходце небольшая женщина в плисовых шароварах и легкой жакетке. На голове у нее была простенькая фетровая шляпа, на шее белый шелковый шарф, завязанный пышным бантом. В ушах блестели серьги - бирюзовые капельки. Ей было под шестьдесят. В уголках сухо очерченных губ прорезались складки, меж

строгих бровей - две глубокие морщины. В седле она, с детства привыкшая к верховой езде, держалась прямо и свободно, как наездница.
Девушка метнулась навстречу матери. Екатерина Никифоровна, забыв снять с руки темляк плетки, ловко спрыгнула на землю, будто проехала по горам не шесть десятков верст, а какую-нибудь одну версту, и обняла дочь:
- Глашурочка!.. Драго... ценность моя! - И вдруг, чтобы не расплакаться от радости, стиснула зубы и уткнулась лбом в грудь дочери.
- Мамуша! - Девушка приподняла голову матери и сдержанно поцеловала ее. - Только без дождика, мамуша. Я же приехала на целый месяц!
- Откуда ты взяла, что я плачу? Просто - неожиданность. Я ведь уже потеряла надежду... - Екатерина Никифоровна сорвала с руки темляк плетки и повесила ее на луку седла. - На месяц, говоришь? Ну, об этом мы еще потолкуем.
- Меня будут ждать.
- Кто же? Интересно бы узнать, хотя бы имечко.
- Друзья.
- Ах, эти!.. А я-то думала... Тебе ведь, Глашенька, двадцать три годка!
- Я помню, мама. И твою поздравительную открытку храню.
- Хотя что я?.. Так вырвалось, нечаянно. Пойдем в дом. - Подымаясь на крыльцо не по-женски твердым шагом, Екатерина Никифоровна позвала: Агапеюшка!.. Самоварчик бы нам.
Спустя полчаса мать, успевшая умыться и переодеться, разливала чай. Глаше полчашки налила из заварника:
- Ты всегда любила крепкий. А вот Катенька - наоборот... Ты давно ли виделась с сестрой-то? Как она там, одинокая горлинка? Будто в Киеве нет парубков.
- Не до парубков, мама. Время такое...
- Время, сама знаю, неспокойное. А годы-то девичьи идут. И не повторятся. - Екатерина Никифоровна откусила уголок от кусочка сахара, отпила чай из блюдца. - Я не осуждаю, - делайте что надо. Только не забывайте прислушиваться к сердцу.
- Не надо, мама. Лучше расскажи, как тут зиму коротала.
- Как медведица в берлоге. Политики, кончив срок, разъехались. Навещать меня было некому. Только отец Митродор приходил: помог с елкой для деревенских ребятишек. Пришли с родителями. Больше ста человек. Песни с ними пела, чаем поила. А потом опять как в берлоге. Летом мне легче: в заботах дни мелькают, как гуси перелетные. То на Сисим еду, то - на Чибижек. Правда, везде одно огорчение: золото истощилось. Денег едва хватает с рабочими рассчитываться... Пей чай-то. Не студи. И ни о чем не думай. Пусть у тебя голова отдохнет, проветрится за лето.
- За месяц, - напомнила Глаша. - Я не могу...
- А как я тебя отправлю, если золото не намоется? Хоть бы золотник со ста пудов, и то я ожила бы. Всем бы вам помогла. Но не получаем золотника-то, - развела руками мать. - Проживешь до осени, там будет виднее.
- Ой!.. - Глаше снова вспомнился Иван: уже сейчас сердце ноет... Вспомнилось последнее письмо Надежды Константиновны: "Искру" собираются сделать ежемесячной, а финансы у них плохи, нельзя поставить дело так широко, как хотелось бы. Им там нужны деньги, деньги и деньги. Надо хоть чем-нибудь помочь, а она тут, похоже, застрянет. - Я, мамуша, не могу. Понимаешь, не могу, чтобы обо мне худо думали. Денег не будет, так я пешком...
- Пешком ты не пойдешь, - твердо сказала мать. - И загадывать пока не станем. Пей чай.
И вечером, в постели, опять вспомнился Иван: "Не могу иначе..." Какие неотступные слова!..
"Ой, да ведь это же, в самом деле, у Толстого! - Глаша, отпрянув от подушки, села в кровати и приложила пальцы к щекам, вмиг налившимся жаром. - Вронский говорит Анне... В морозную вьюгу... На какой-то станции... Теперь ясно помню: "Я не могу иначе". Неужели Ивану вспомнились эти слова? И он любит... Ой, даже сердце замирает... А вдруг это только совпадение слов? Простое внимание... И больше ничего?.."
Глаша спрыгнула, зажгла свечу и на цыпочках пошла в соседнюю комнату, где одна полка в книжном шкафу была отведена Льву Толстому.
Приехал Алеша, старший сын Окуловых.
Сибирь он покинул шесть лет назад: обострившийся туберкулез заставил его красноярскую гимназию сменить на киевскую. Там он почувствовал себя здоровым и вскоре стал одним из

самых деятельных участников гимназического социал-демократического кружка. К той поре все города юга уже клокотали гневом. В Киев слетелись делегаты юношеских кружков из двух десятков городов, и Алешу Окулова избрали председателем съезда. Через день начались провалы. Ему, к счастью, удалось избегнуть ареста. Окончив гимназию, он уехал в Швейцарию: Женева манила его как центр свободной русской политической мысли. Там он прижился, вошел в клуб русской молодежи, учившейся в университете. И в Россию не вернулся бы, если бы не приближался срок выполнения воинской повинности. Он, страдавший близорукостью, надеялся, что его не забреют, и он, сохранив легальность, уедет в Москву. Там попытается поступить в школу Художественного театра.
По вечерам мать и сестра расспрашивали о Швейцарии. Алеша восторженно рассказывал о прогулках на пароходе по Женевскому озеру, о пеших походах по горам, об альпийских лугах, так похожих на полюбившиеся с детства Саянские высокогорья, но случалось как-то так, что всякий раз его рассказ склонялся к знаменитому женевскому россиянину Георгию Плеханову.
- Ты бывал у самого Плеханова?! - всплеснула руками Глаша, когда впервые услышала об этом.
- Как тебе, Алеха, повезло!
- А я от политиков слыхала, - заговорила мать, - что Плеханов сильно гордый и высокомерный.
- Может, с гордыми и он гордый. Не знаю. А нас, молодых, принимал просто и приветливо. Часами расспрашивал о родине, о настроении народа. Чувствовалось: натосковался там, в оторванности от революционного движения. И о России ему было интересно знать елико возможно больше. Он даже согласился председательствовать в нашем клубе молодых россиян. Беседовал с нами запросто. Выступал у нас с рефератами. И я бывал у него как свой человек, - рассказывал Алексей без хвастовства. - Часами рылся в его богатейшей библиотеке. Некоторые книги читал тут же у него, а некоторые он позволял брать к себе на квартиру. Советовал, что мне необходимо прочесть. Это было лучше всякого университета.
- Хорошо, что пожил возле таких людей, - сказала мать. - В жизни все может пригодиться.
По утрам заседлывали коней. Первый раз Алексей хотел было помочь Глаше, но она оттолкнула брата:
- Не мешай. Я умею не хуже тебя... - Подтягивая подпругу, прикрикнула на оскалившегося Гнедого: - Не балуй! - Поставив ногу в стремя, легко взметнулась в седло и с гиком понеслась по равнине. - Догоняй, Алеха!..
Иногда они переезжали вброд Тубу и, выбирая пологие склоны, подымались на Ойку. Там Алеша срывал с себя фуражку и, взмахнув руками над простором, кричал:
- Эге-еге-ей!.. У меня, Глашура, на горах душа поет!.. Хочется лететь по-орлиному.
Глаша собирала цветы. Домой всякий раз привозила чуть ли не целый сноп. Сушила в книгах, в горячем песке. Потом раскладывала на картонки, прикрывала стеклом и вешала на стену. Брат любовался ее композициями, а она думала: "Если бы Иван..."
Всем сердцем Глаша рвалась в Москву. Кате в Киев написала:
"У меня настроение такое, такое тяжелое, что ни писать, ни читать, ни вообще что-нибудь делать не хочется. Жизнь наполнена, как выражается Алеша, ароматной пустотой. Одна отрада - поездки на Ойку.
По вечерам долго лежу с закрытыми глазами. Все думаю и думаю. Всякий человек может быть большим на своем месте. Если я вообще могу быть большой, то только там, в той области, где мое прошлое и где будет мое будущее, - у меня одна дорога.
Как бы я хотела уехать в Германию. Может, там была бы более полезной нашим общим друзьям. Но жена Старика пишет, что ждут от меня работы в России. И я чувствую: могла бы развернуться. Да вот застряла здесь...
На Ойке деревья уже одеваются в багрянец. Слов нет, красиво! Но здешняя красота уже набила мне оскомину. Алеша собирается в дорогу, а я, наверно, прокукую до санного пути..."
В последний вечер перед расставанием сидела с братом на скамейке у Тубы. На воде колыхались золотистые отблески зари. Алеша хлопнул сестру по плечу:
- Счастливая ты, Глаха! Твой путь определился. Хоть немножко, да причастна к "Искре". Теперь у них, вероятно, вышел уже шестой номер. Зря ты пятый для меня не сохранила. Мне Георгий Валентинович давал читать только первых два. Я спрашивал, где печатают ее, он помедлил с ответом: "В одном городе... России". Я понял: всем интересующимся без особой надобности нужно отвечать так. А оказывается...
- Ты не проговорись кому-нибудь недоброму.

- Не учи, Глашура, ученого. Я хотел сказать: оказывается, там твои знакомые. Расскажи о них.
И Глаша рассказала брату о встречах с Владимиром Ильичем, о своей поездке к Надежде Константиновне в Уфу и о ее письмах из редакции "Искры".
- Счастливая! - повторил Алексей.
Отец Окуловых был приписан к Екатеринбургу, и Алексею по воинской повинности надлежало явиться туда на призыв. Мать с трудом наскребла ему денег на дорогу, сказала:
- Не обессудь... Там уж, сынок, как-нибудь...
- Не тревожься, мама, - сказал Алексей. - Если не забреют, пойду в редакцию газеты. Что-нибудь заработаю. И махну в Москву.
- А тебе, Глафира, придется подождать. Завтра поеду на Чибижек. Что намоется - твое.
И Глаше пришлось скрепя сердце остаться в Шошино до глубокой осени.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Побелели Альпийские предгорья, дни шли на ущерб, и Ульяновы все реже и реже выходили на загородные прогулки. Послеобеденные часы Владимир Ильич отдавал своей брошюре. Она разрасталась в книгу. Надежда Константиновна была занята письмами - доктор Леман приносил их целыми пачками. С каждой неделей у "Искры" появлялись в России все новые и новые агенты. Они развозили газету по промышленным районам, создавали уже не кружки партийные комитеты.
Огорчало и тревожило лишь то, что из старых друзей, коротавших вместе ссылку, по-прежнему подает голос только Лепешинский. Даже Глеб молчит. И Зинаида Павловна не пишет. А ведь всегда была деятельной, непоседливой. Где они? Если в Тайге, могли бы там двинуть "Искру" по всей великой Сибирской магистрали.
И Степан Радченко будто притаился в Питере. Вероятно, по своей обычной сверхосторожности. Решили напомнить ему о себе.
"Как поживаете? - спросила Надежда Константиновна в очередном письме. - Видали ли последние новинки? На днях выйдет 6-й номер "Искры", печатается 2-й номер "Зари". Наши дела двигаются понемногу... - Упрекнула за то, что не ответил на последнее письмо, и попросила писать чаще. А в конце - о Кржижановских: - Была ли у Вас Булка? Чего это они ни словечка? Что с ними? Дайте их адреса, если знаете".
Попросили младшую Окулову связать их с Сусликом, как звали Глеба Максимилиановича, но и от нее ответа не дождались: не знали, что Глаша сама на время укрылась в родных местах.
Теперь уже приходили корреспонденции из всех промышленных городов, даже из далекой Сибири, и Владимир Ильич мечтал о превращении "Искры" в двухнедельник. Только при этом она будет в подлинном смысле газетой. Но во многих городах России подпольщики были одержимы кустарничеством: затевали выпуск своих газет. А газеты их, как и следовало ожидать, оказывались недолговечными: чаще всего после второго или третьего номера зубатовские ищейки выслеживали подпольные типографии.
- Какая узость! Вопиющее местничество! - возмущался Владимир Ильич. Питерец забывает о Москве, москвич - о Питере, киевлянин - о всех, кроме своих земляков. Вместо общерусского дела и общероссийской социал-демократии пытаются развивать какую-то пошехонскую социал-демократию. Забывают, что в местном органе всегда будет страдать общеполитический отдел.
О необходимости борьбы с таким кустарничеством он писал в многочисленных письмах, которые Надежда каждый день отправляла по условным адресам. Но урезонить было нелегко. Особенно поражали своим безрассудным упрямством вильненцы. Там Сергей Цедербаум, младший брат Мартова, и еще двое таких же увлекающихся молодцов задумали выпускать свой местный печатный орган! Что-то невероятное! Ради чего? В лучшем случае ради каких-нибудь убогих и ограниченных двух-трех номеров в год для одного города!
Талантов у младшего брата пока незаметно, а самомнения еще больше, чем у старшего. С молодым зазнайкой нечего церемониться. Хотя вначале и не мешает извиниться за слишком резкие слова, если они проскользнут в письме. И резкие слова не могли не вырваться:
"Нелепо и преступно дробить силы и средства, - "Искра" сидит без денег, и ни один русский агент не доставляет ей ни гроша, а между тем каждый затевает новое предприятие, требующее новых средств. Все это свидетельствует о недостатке выдержанности".

А подействуют ли эти слова на горячую голову? Покажутся ли убедительными? Пожалуй, полезно будет сослаться на Плеханова. И Владимир Ильич приписал в конце:
"Это письмо выражает мнение не только нашей группы, но и группы "Освобождение труда".
К бесчисленным заботам о газете добавлялись беспокойные думы о родных. Не проходило дня без того, чтобы не сверлили мозг тревожные вопросы о Маняше и Марке. Что там с ними? Неужели все еще не водят на допрос? Похоже, долгонько продержат их в темницах, как называет зять одиночки Таганской тюрьмы.
Судя по письмам матери, Марк исхудал, начал кашлять. Анюте об этом не сообщают, и он, брат, тоже промолчит, а то она, чего доброго, рискнет поехать домой. Там ее сразу упрячут в кутузку. Матери придется носить по три узелка к тюремному окошку.
Нет, нет. Ни в коем случае не сообщать. Пусть Анюта по-прежнему живет в Берлине. Понятно, тревожится за судьбу мужа и сестры. И за здоровье матери. Но что делать? В Германии для нее все же безопаснее. Если не выследят шпики да царская полиция не потребует выдать "преступницу".
Анюта осмотрительная. Сумеет вовремя скрыться, скажем, в Швейцарию... А подбодрить сестру необходимо. Но, первым делом, мать. Она всех с детских лет приучала к пунктуальности и отсюда так же, как, бывало, из сибирской ссылки, ждет от него писем в определенные дни. Считает часы, оставшиеся до прихода почтальона...
И на листок почтовой бумаги ложилась строка за строкой:
"Дорогая мамочка!.. Ужасно грустно было узнать, что дела наших так печальны! Милая моя, я не знаю уже, что тут и посоветовать. Не волнуйся, пожалуйста, чересчур, - вероятно, придирки к нашим со стороны прокуратуры представляют из себя последние попытки раздуть "дело" из ничего, и после неудачи этих попыток они должны будут их выпустить. Может быть, не бесполезно было бы тебе съездить в Петербург, если только здоровье позволяет, и пожаловаться там на такую невиданную вещь, как отсутствие допроса в течение шести месяцев. Это представляет из себя такой точно определенный и явно незаконный факт, что именно на него всего удобнее направить жалобу... Но есть, конечно, и соображения против поездки, результаты которой сомнительны, а волнения она причинит очень и очень немало. Тебе на месте виднее, стоит ли предпринимать что-нибудь подобное... Вот на отказ в свидании Маняши с Митей тоже следовало бы пожаловаться, потому что это, в самом деле, нечто из ряда вон выходящее.
Крепко, крепко обнимаю тебя, моя дорогая, и желаю быть бодрой и здоровой. Помнишь, когда меня держали, ты тоже представляла себе дело гораздо более серьезным и опасным, чем оно оказалось, а ведь по отношению к Маняше и Марку не может быть и сравнения никакого с моим делом! Что держат их столько, - это отчасти зависит, вероятно, от того, что арестованных масса и в деле все еще не могут хорошенько разобраться...
Еще раз целую тебя. Твой В. У л.".
2
- Володя, смотри в окно! Вон, вон переходят улицу Сюда направляются. Определенно - наши!
- Они!.. Грызуны!..
И Владимир Ильич так же, как когда-то в Шушенском, не успев надеть пиджак, бросился навстречу. За ним застучали по лестнице тонкие каблуки Надежды.
- Булку я сразу приметила... И по сердцу... будто электрическим током!
Гости уже успели войти в подъезд. Впереди полной, круглолицей и краснощекой, пышущей здоровьем дамы шел невысокий худощавый мужчина с маленькой, аккуратно подстриженной бородкой и крупными выпуклыми темно-карими глазами. По его смугловатому лицу разлилась безудержная улыбка, и он широко раскинул руки. Владимир Ильич, тоже с раскинутыми руками, метнулся к нему.
- Глебася!.. Дружище!..
- Володя!.. Здравствуй!..
Они обнялись и, похлопывая друг друга по спине, расцеловались.
А Зинаида Павловна, обняв подругу, закружилась с ней, словно в вихревом танце.
Остановившись, они стали осыпать одна другую поцелуями, захлебываясь от горячего хохота.
- Зинушка, как я рада... Миленькая моя!.. Волжаночка!..
- И у меня сердце поет!.. Надюшенька!..
Они опять обнялись и закружились в тесном подъезде.

- Наконец-то, приехали... Позволь, Наденька, и мне поздороваться, Владимир Ильич обеими руками схватил полную, сильную руку гостьи. - А мы заждались... Тревожились... Думали: здоровы ли?
- Всякое было... - вздохнула Зинаида. - Глебушка в Тайге прихварывал...
- Извините, мы по-русски называем, - спохватился Кржижановский, выпуская руку Надежды Константиновны и снова повертываясь к Владимиру Ильичу. - И так громко... Это от радости. А у вас, вижу, и тут конспирация. Ты даже бороду подстриг, усы подкрутил.
- Так потребовалось для паспорта, - объяснил Владимир Ильич.
- Мы с трудом, с трудом вас отыскали, - звенела Зинаида Павловна. Хорошо, что в Берлине раздобыли адрес в Штутгарт к издателю "Зари", тот встретил не особенно любезно, с какой-то настороженностью. Но все же направил сюда, к доктору Леману...
- Пойдемте, пойдемте, другари! - Владимир Ильич подхватил под руку Зинаиду Павловну и пропустил вперед Надежду с Глебом. - До нашей кышта. Мы здесь живем по-болгарски.
В тесной передней помог гостье снять пальто. Она говорила, заливаясь смехом и повертываясь то к Ильичу, то к мужу:
- Куда мы с тобой, Глебушка, попали?! Как будем объясняться с болгарами? Я же - ни бум-бум.
- И я ни бельмеса, - рассмеялся Кржижановский; приподымаясь на цыпочки, повесил пальто на крючок простенькой вешалки.
- Ничего, другар Глебася! - Владимир Ильич хлопнул гостя по плечу, поклонился Зинаиде Павловне. - Ничего, другарка Зина! Как-нибудь. Я тоже исчерпал свой запас болгарского лексикона.
- Ну, а как же тебя, болгарин, звать-величать? - спросил Кржижановский. - И другарку как?
- Марица Йорданова! Прошу любить и жаловать! - представил жену Владимир Ильич и, прижимая руку к груди, полушутливо поклонился: - Доктор юриспруденции Йордан Йорданов из Софии к вашим услугам!..
- Йордан по отцу Костадинов, - добавила Надежда.
- Ой, как интересно! - вырвалось у Зинаиды Павловны. - Двое Константиновичей!
- Твои, Володя, клички... извиняюсь - псевдонимы нелегко пересчитать: пальцев на руках не хватит!
- Что ж поделаешь?.. Приходится из-за наших полицейских башибузуков.
- Небось еще какой-нибудь придумал?.. Хотя я тебя по стилю всегда узнаю. А все же?
- Письма подписываю: Иван Петров, иногда - Фрей.
- По секрету могу сказать, - снова вступила в разговор Надежда не без гордости за мужа, - скоро выйдет новый номер "Зари" со статьей, подписанной Н. Ленин. Не знаю только - Николай или Никита. А может Никодим?
Владимир Ильич беззвучно смеялся. Кржижановский по-дружески тряхнул его за плечи:
- Конечно, Николай. По дедушке. Но, Володя, почему же все-таки Ле-нин?
- Не знаю... - Владимир Ильич пожал плечами. - Так уж получилось...
- Ведь никакой Лены у тебя среди родных нет. Да по имени родных и рискованно.
"Может, потому, что Плеханов - Волгин", - подумала Надежда, но промолчала о своей догадке.
- Будем знакомы! - шутливо сказала Зинаида Павловна. - Запомним новую фамилию.
И никто из троих не подозревал, что среди множества псевдонимов Владимира Ильича этот будет главным, громким и любимым не только друзьями и деятелями революции - пролетариями всех стран. Пройдет каких-то полтора десятка лет, и это имя революционным набатом зазвучит на весь мир, и их друга назовут вождем боевой марксистской партии в России и основателем первого социалистического государства рабочих и крестьян. Перед ними был по-человечески простой, обаятельно милый, подчеркнуто ничем не выделявший себя среди товарищей, энергичный, подвижный, работящий человек, которого уже многие привыкли называть по-свойски уважительно Ильичем, как называли в российских деревнях пожилых людей, чье слово по-особому весомо и дорого для всех сверстников и единомышленников.
Из-за двери дальней комнаты время от времени доносился глухой кашель Елизаветы Васильевны, уже успевшей где-то в эту раннюю осень схватить инфлуэнцу, как называли в те годы грипп.
Надежда пошла купить сосисок к завтраку, мужу сказала, чтобы присмотрел за чайником на керосинке и заварил чай из пачки, недавно привезенной им в подарок из Москвы, а то здешний кофе небось друзьям уже изрядно надоел.

Гости сидели в тесной комнатке с единственным окном на улицу. Владимир Ильич поспешно прибирал на столе, до половины заваленном папками, книгами, газетами, журналами и выписками на узеньких бумажках, отодвинул простенькую чернильницу, какие покупают для школьников, и тонкую, словно карандаш, ручку, на стальном пере которой (мать прислала с Надей целую коробочку его любимых перьев) едва успели высохнуть чернила, но Зинаида Павловна, уже заглянувшая в кухоньку, остановила его:
- Лучше бы там... Вы же там завтракаете... Ну и мы с вами по-домашнему...
- Правда, Володя. Не нарушай свой порядок на столе.
- Порядок у меня относительный...
- Вижу - рукопись большая! Новая книга?
Владимир Ильич кивнул головой. В эту секунду он, спохватившись, подумал: "А что же они об Эльвире Эрнестовне ни слова? Ни поклона, ни привета. Уж ладно ли с ней?" Спросил о ее здоровье.
- Покинула нас мама... - тихо проронил Глеб Максимилианович.
- Сочувствую... Всей душой... - Владимир Ильич, понизив голос до полушепота, участливо спросил: - Долго ли болела?.. И давно ли?..
- Все на Волгу просилась, - начала рассказывать Зинаида Павловна. - В родную земельку хотелось... Глебушка взял отпуск. Поехали втроем. Думали: квартиру присмотрим, переберемся на постоянное жительство...
- В Тайге оставаться надолго было для меня довольно рискованно, продолжал Кржижановский, провел рукой по кустистым бровям. - Присматривать стали за мной. Я уж не говорю о Зине... Вот мы и поехали... А мама в Самаре через каких-то три дня... Похоронили и... к вам.
- Тяжело нам было там...
- Понятно... Такая потеря... - Владимир Ильич задумчиво погладил бородку. Ему вспомнился Петербург. Две матери носили узелки с передачами в Предварилку. Одна - Глебу, другая - ему. Так и познакомились у тюремного окошечка. А когда сын оказался в ссылке, Эльвира Эрнестовна, не раздумывая, поехала к нему в Сибирь. Делала все для того, чтобы сыну жилось легче.
В кухне зазвенел крышкой чайник, и Владимир Ильич поспешил туда. Чай заварил в эмалированной кружке, накрыл квадратиком картона.
Вернулась Надежда, посмотрела на гостей, на мужа: "Отчего они переменились? Какие-то пасмурные". Спрашивать не стала - сами скажут. А они промолчали. Кржижановские не могли еще раз прикасаться к своей свежей душевной ране, а Владимир Ильич решил: "Расскажу Наде и Елизавете Васильевне позднее".
...Первое время после приезда в Мюнхен Надежда, вынужденная до предела сокращать расходы на питание, покупала к завтраку семь сосисок. Хотя Владимир пытался седьмую делить на три части, Надежда оставалась непреклонной: "Нет, нет, тебе три". И Елизавета Васильевна подхватывала: "Тебе это необходимо. А для меня и двух многовато". И ему, при всей его деликатности, пришлось на некоторое время уступить. Но уже в половине июня, когда издательница Водовозова прислала ему чек на шестьсот марок, он предупредил: "С этого дня - для всех по три. Иначе я отказываюсь завтракать". Елизавета Васильевна потянулась к коробочке с привезенными из Питера гильзами Катык, которые она сама набивала табаком: "Да я же тебе, Володенька, говорила: трех для меня много - мне нельзя переедать, тем более мясо". - "В таком случае вам еще кефир", - настоял Владимир Ильич.
Сегодня Надежда купила для всех по три сосиски и по бутылочке кефира. Кухонный столик отодвинула от стены. Гости втиснулись на стулья, Владимир Ильич примостился на кромку плиты.
Разливая заварку, а потом и кипяток, Надежда с легкой усмешкой указала глазами на жестяной чайник:
- Это вам не Россия!.. Помните, в Сибири вокруг самовара?..
- Самовар изобрели не россияне, - заметил Владимир Ильич. - На раскопках Помпеи нашли нечто подобное.
- Вот именно - подобное, - возразила Зинаида Павловна. - Лучше туляков никто самовара не сделает. И до чего же хорошо, когда он на столе! Догорают последние древесные угольки, пахнет приятным жаром. А самовар полнешенек, отфыркивается и что-то тихонько бормочет. И до последней капельки льется не теплая водичка, а крутой кипяток.

- Самоварная идиллия! - вырвалось у Кржижановского с легким смехом. Да это же - купчихи! С блюдечка на растопыренных пальцах. Сахар вприкуску.
- Не спорь, Глебушка. - Зинаида толкнула мужа локтем. - Да у всех рабочих... И у самого последнего бедняка - самовар. Какой-нибудь старенький, в заплатках. И за недоимку подати сначала описывают и продают с торгов корову - самовар в последнюю очередь.
- А ты всегда пил внакладку? Богач! - расхохотался Владимир Ильич. У нас в семье предпочитали вприкуску. - И вдруг, наклоняясь к гостю, спросил: - Помнишь, как из вашей Теси ездили на озеро? После ухи вскипятили в том же котле, на заварку - брусничник! И без сахара.
- Все равно было хорошо! Чаек попахивал дымком.
- Вот-вот. Луна катилась от вершины одной сосны к другой, а через озеро прокладывала золотистую тропу. Ты в тот вечер раскалывал тишину азартными дуплетами. А Старков изредка, расчетливо и наверняка, бил по сидячим уткам. Как молотом по наковальне. Кстати, где он? Как Антонина? Они совсем забыли нас. Ни одного словечка.
- Они и нам не пишут, - сказала Зинаида Павловна; управившись с сосисками, выпила кефир и принялась за чай. - Тоня, кажется, прихварывает.
- На цементном заводе они, в Калужской губернии, - ответил Глеб Максимилианович. - Базиль там инженером.
- Н-да. Только ин-же-не-ром. Для Старкова этого мало.
- Володя, у тебя и сосиски и чай - все остыло.
- Ничего, ничего. Чай успеется. - И Владимир Ильич, не отрывая глаз от друга, укоризненно качнул головой. - А помнишь, уговаривались поддерживать связь, помогать "Искре"?
- Я-то помню.
- И от тебя мы ждали многого. Нам было трудно без поддержки старых друзей. Пришлось искать новых агентов.
Кржижановский, отодвинув пустую чашку, встал и, извинившись, с папиросой в руках направился в переднюю. Владимир Ильич окликнул его:
- Курил бы здесь.
- Ты же вроде старовера! Табачный дым тебе как бесу ладан! - шутливо бросил Глеб Максимилианович, полуобернувшись в дверях. - Нет, не буду доставлять тебе головную боль.
За столиком продолжался разговор о друзьях по сибирской ссылке. Первым делом вспомнили Оскара Энгберга. Он, как и уговаривались, поселился в Выборге. Токарь на заводе. Отвечает на письма. Съездил в Кенигсберг за "Искрой". Жаль, что Шаповалова подсек ревматизм. Кажется, надолго. И всего обиднее, что так быстро "влетел" в Тифлисе Курнатовский. Видать, не поберегся. Да с его характером это, пожалуй, и невозможно: рысаку нелегко возить телегу тяжеловоза. В каких условиях он сидит - никто не знает. Недавно еще раз написали кавказским друзьям, чтобы помогли ему. При его здоровье это безотлагательно необходимо. А вот с Лепешинскими в Пскове хорошо: верны слову, активны.
- В последнее время что-то и они приуныли, - досадливо проронила Надежда.
- Уверен - это временно. Так, легкая хандра. - Владимир Ильич отпил глоток чая. - Лапоть не подведет.
- И мы не сидели без дела. - Зинаида Павловна, отодвинув чашку, выбралась из-за стола. - В Томске - прокламации, уличная манифестация. Представьте себе - три тысячи человек! Полиция даже в набат ударила!
- Об этом мы уже напечатали в "Искре". Для Сибири - большое событие. А Глеб Кржижановский прислал нам одну-единственную корреспонденцию о жуликах на Сибирской магистрали, разворовавших миллионы! - Владимир Ильич ткнул пальцем в сторону передней, где курил гость. - Единственную заметку! На большее, видите ли, не хватило времени. - И, улыбнувшись, смягчил голос: - Это я ему по-дружески.
- Узнаю тебя, Брут! - крикнул Глеб Максимилианович из передней. - И на правду не обижаюсь. Но дай, Володя, срок.
- История нам не дает большого срока. Это, Глебася, надо помнить.
- Сибиряки еще покажут себя! - продолжала Зинаида Павловна. - В Томском университете до самых каникул шумели беспрерывные сходки.
- О студентах я пришлю письмо одного волгаря, - пообещал Кржижановский, входя в кухню. - Может, пригодится для газеты. Он там описывает, как через Самару проследовало вагонов

двадцать пять со студентами, высланными в Сибирь. Это взбудоражило город. А одна партия подъехала к Челябе с красным флагом на крыше вагона!
- А какую песенку они распевали! - подхватила Зинаида Павловна и потрясла кулаком. - Про то, как министру просвещения Боголепову влепили пулю. Ты же поэт - должен помнить. Читай.
- Сейчас, сейчас, - Кржижановский встал. - Начало не помню. А второй куплет такой:
В министерскую траншею
Залетел снаряд
И попал министру в шею,
Это за солдат.
Ордена, чины и ленты
Целый воз наград.
Вот награда от студентов,
Я ужасно рад!
- Непременно пришли, Глебася, полностью, - попросил Владимир Ильич.
В передней залился звонок.
- Это Мартов, - сказала Надежда и пошла открывать дверь.
3
Осень оборвала с каштанов ржавые листья. Дворники смели их в кучи на асфальтовых тротуарах.
Ульяновы и Кржижановские шли по улице прогулочным шагом. Навстречу им шел веснушчатый мальчуган с ранцем за плечами; поравнявшись с кучей, слегка разметанной ветром, обошел вокруг нее, ногой пододвинул крайние листья в ворох. Направился к следующей куче. Все четверо оглянулись на него. Он и ту подворошил.
- Не распинал, - заметила Зинаида Павловна. - Немецкая аккуратность! С детских лет!
- Педагогам есть о чем подумать, - отозвался Владимир Ильич, перекинув взгляд с Кржижановской на свою жену.
Вот и последние дома предместья. Прямая дорога, проложенная между шеренгами пирамидальных тополей, еще не утративших зеленого наряда, вывела за околицу. По одну сторону в просветах между тополями виднелись сады с румяными яблоками на ветках, по другую - поля с желтыми квадратами пшеничной стерни, с малахитовыми клеверищами. Далеко впереди в сизой дымке дремали горы, принакрытые снежными одеялами.
- Манят они к себе, - сказала Надежда. - Как Саяны из нашей Шуши. Где-то там Тироль. Хочется съездить. В жизни не видала горы вблизи.
- Дай срок - съездим, - пообещал Владимир Ильич, широким жестом указал Кржижановскому на окрестности дороги. - Обычно мы гуляем вот здесь. Стараемся уйти за фруктовые сады, забраться подальше в лесок, где подичее и народу поменьше. Иногда хочется развести костерок, как бывало в Сибири, а нельзя. Строгости. Частные земельные владения, черт бы их побрал. Тут, Глебася, чай не вскипятишь - приходится всухомятку обходиться, бутербродами. Или запивать пивом из горлышка бутылки. Пиво у них, надо отдать должное, везде отличное. Да мы сейчас отведаем.
И он, тронув Кржижановского за локоть, повел гостей к загородному ресторану, приютившемуся среди садов неподалеку от дороги.
- Примечательное место! Мы его узнали во время знакомства с демонстрацией по-немецки!
- Демонстрация была не какая-нибудь своевольная, а с разрешения полиции!
- Полиции?! - переспросил Кржижановский. - Это как же так?
- А вот так! Немецкий Maifeier!* - Под рыжеватыми усами Владимира Ильича плеснула саркастическая усмешка. - Прочитали мы в газетах про эту маевку - пошли посмотреть. Восторженные, приподнятые: наш первый праздник за границей! Сейчас, думаем, увидим, как полощутся на ветру красные знамена, полотнища с лозунгами, услышим радостный песенный поток. Чему-то научимся - в "Искру" напишем. И вместо боевой демонстрации увидели... обывательщину! Идут вразвалку тихие бюргеры. С женами, с детишками. Будто к теще да к бабушке в гости. Поджаренных колбасок откушать!

---

* Майский праздник.
- Понимаешь, Зинуша, идут и молчат, как рыбы! Видимо, полиция так велела!

Та молчаливая демонстрация напомнила Ульяновым прогулку глухонемых и пробудила недоумение. До того дня им думалось: немецкое социалистическое движение выросло и окрепло. Рабочее движение давнее. Так где же революционные ветры? Где же борьба с бернштейнским реформизмом? А ведь у них есть Бебель, которого Энгельс называл самой ясной головой во всей ненецкой социал-демократии. Есть Клара Цеткин, многое воспринявшая от Энгельса. Есть молодой Карл Либкнехт. Светлые умы. Энергичные деятели. Им удалось создать миллионную партию, которая держится за десяток своих испытанных политических вождей, ценит их. Это большой плюс. Есть чему поучиться. Но уж очень немцы увлеклись парламентаризмом. И даже Бебель как-то обронил слова против баррикад, опасаясь, что в век скорострельных пушек в нового типа ружей восставшие будут "перестреляны, как воробьи". А дело-то в тех, кто стоит у замков пушек. Пушки могут стрелять и со стороны баррикад...
Во время этого разговора с друзьями, продолжавшегося уже за столиком в дальнем углу полупустого ресторана, Ульяновы сожалели, что у них нет непосредственных впечатлений от немецкого рабочего класса. Вынужденные всячески оберегать тайну издания "Искры" в Германии и жить нелегально, они опасались встречаться с кем-либо из местных социал-демократов и удерживали себя от посещения рабочих собраний. И, в свою очередь, их, русских эмигрантов, никто не навещал. Лишь однажды побывала у них Роза Люксембург, жарко вспоминавшая родную Польшу.
- Чинно и благородно прошли эти, так сказать, демонстранты по улицам и направились за город. Многие - сюда! - продолжал рассказывать Владимир Ильич, и голос его, хотя и приглушенный теперь, накалялся возмущением. Завидев ресторан, прибавили шагу. И откуда у них прыть взялась! Чуть ли не вперегонки: пиво пить! С собой взять в лесок. На этом все и кончилось.
- У нас будет по-иному! - задорно воскликнул Глеб. - С песнями, с флагами! Так, Володя?
- Безусловно. Наш народ натерпелся от царизма, оберегающего фабрикантов да помещиков. Ведь не случайно центр революционного движения переместился к нам. Накопился гнев. И не только в промышленных районах крупных городов, но и среди деревенской бедноты. А схватка рабочих Обуховского завода? Это же была прямая политическая борьба в уличной битве. Настоящая баталия! Хотя у рабочих и не было ничего, кроме камней. Но и при этом они доказали, что являются грозной силой. А завтра у них будет оружие, и партия подготовит их, сплотит.
- Мы читали твою статью "Новое побоище". Узнали по стилю, - сказал Кржижановский. - Боевая статья. Только я бы назвал иначе. "Рукопашное сражение рабочих" - вот достойное заглавие.
- А давно ли дошел до вас пятый номер?
- Да еще летом. И в Тайге, у нас, и в Томске - все номера. Перед отъездом получили седьмой.
- Очень хорошо.
- А ты знаешь, что после этой баталии питерские рабочие выпустили листовку с призывом: "Долой самодержавие, долой царящий над нами произвол"?
- Ты не привез? Жаль. Мы всех просим присылать каждый листок.
Усатый кельнер принес по высокой кружке светлого пенистого пива и эффектно опустил на толстые картонные подставки с надписью по кругу: "Kaiserbier". Кржижановский первым отпил глоток, почмокал с удовольствием:
- Хотя и кайзеровское, а приятное, с легкой горчинкой.
- Что говорить, пивовары они на весь мир знаменитые, - напомнила Зинаида, но, когда отпила глоток, вскинула голову: - А все же сибирская медовуха лучше! Помнишь, Надя? Хотя ты ведь трезвенница.
- В Шушенском пробовала. Степановна угощала.
- С медовухи песни сразу запоешь. С одного стаканчика запляшешь!
- Песни хорошо бы! - Кржижановский отпил еще несколько глотков, пристукнул дном кружки по картонной подставке. - Жаль, Базиля нет.
- По русским песням, Глебася, и мы соскучились.
- Может, споем, Володя? Не здесь, понятно. Где-нибудь в лесу.
- Да не отыщется тут укромное место...
Положив монетки на стол, вышли из ресторана; по тропинке между садов направились в сторону буковой рощицы, видневшейся невдалеке.

Им то и дело встречались баварцы в лоснящихся от времени замшевых шортах, в кургузых шляпах с перышками тетерева на правой стороне тульи. Одни шли с пустыми фляжками из-под пива, другие возвращались с ружьями за плечами. Где-то впереди изредка гремели дуплеты. Удачливые охотники уже направлялись к ресторану, чтобы попировать "на крови". В их нарядных ягдташах болтались серенькие дрозды с коричневыми крапинками на груди, и Кржижановский указал насмешливыми глазами:

- Невелика дичина!.. Хотя наша перепелка еще меньше.

- Но перед отлетом с шушенских полей перепелка, Глебася, сплошной комочек жира!

- Этак они и воробья скоро посчитают за дичь! - засмеялась Кржижановская.

- Не смейтесь - у них есть фазаны. Красавцы! Чуть позднее спустятся даже в здешние сады... А я, знаете, часто вспоминаю, как в Теси Глеб вернулся с охоты. Это было еще в первый год ссылки до вашего, Зинаида Павловна, приезда. В тот день он привез вот такую, увесистую, - Владимир Ильич покачал руками, повернутыми ладонями вверх, - как речной валун, копалуху. Рябенькую, с красными бровями. Все любовались...

Припомнив, что это было при Эльвире Эрнестовне, Владимир Ильич умолк и глянул на друга: не разбередил ли его душевную рану?

На секунду задумался: доведется ли ему еще когда-нибудь побывать на охоте? Пострелять влет тетеревов?.. Пожалуй, только после победы...

Под ногами шуршали сухие листья, и некоторое время все шли молча, прислушиваясь к их минорному шелесту.

И вдруг Зинаида встрепенулась от радости:

- Смотрите - березка!

Тоненькая, грустная, нагая, рано обронившая все, до последнего листочка, березка сиротливо притулилась к угрюмому дубу, черная кора которого была исполосована трещинами, словно щеки древнего старика морщинами. Тонкие ветви березка, будто плакучая ива, приопустила к земле. Зинаида схватила ее за ветку, как за руку:

- Здравствуй, родная! И бодрись. Хотя тебе тут и невесело одной. И этот старый дядька подкинул тебе черноты в одежку. Но над головой у тебя все же солнышко.

И опять все заговорили о Сибири: на Думной горе у березок стволы белее: тронешь - на руке останется след, как от тончайшей пудры. Легкие шелушинки словно лебяжий пух. Зимой в солнечный денек их голые стволы на фоне синеватого снежного простора слепят глаза неповторимой белизной.

Кржижановский сказал:

- Трудновато было там. И морозы злющие, и снега глубокие, и слывет Сибирь тюрьмой без решеток, но там прошли молодые годы, и вспомнить есть что. Верно, Володя?

- Да. Например, нашу Журавлиную горку.

- Вот-вот. Какая даль открывается с нее! До самых Саян!

- А помнишь, Глебася, осеннее пиршество красок? Золотистые березы, огненные осинки, багровая рябина... А в небе высоко-высоко кружатся журавли, сбиваются в стаю для отлета. Роняют на землю звонкое и грустное: кур-лы, кур-лы.

- В тебе заговорил поэт!

- Издалека все кажется прекраснее. А мы здесь соскучились по всему родному, что с детства, с молодости вошло глубоко в сердце.

Они шли и шли по тропинке, перебивая друг друга: "А помнишь?.. Помнишь, пели вечерком?.." Посматривали по сторонам, но укромной полянки, где можно было бы расположиться кружком и спеть что-нибудь любимое, будоражащее душу, так и не отыскали.

4

На следующий день Кржижановские пришли после обеда. Зина, словно при первой встрече, обняла подругу изо всей силы:

- Ой да и соскучилась же я по тебе, Надюшка!

- И я по тебе не меньше... Да ты кости мне поломаешь! Силушки-то у тебя - на пятерых с избытком! Даже дух захватило...

- Чтобы помнила подружку!

Высвободившись, Надя шевельнула занемевшими плечами и так же, как вчера, окинула гостью восторженным взглядом:

- Ты там в своей Тайге стала еще круглее. Настоящая сдобная Булочка!

- Ну что ты. Я похудела. Смотри, - Зина обеими руками подергала платье на боках. - Висит, как на колу!
Надя расхохоталась, шлепнула подругу по плечу. Та продолжала:
- Что, скажешь, неправда?.. И не Булка я теперь. Запомни - Ланиха.
- В самом деле, похожа на сытую лань. - Надя провела пальцами по ложбинке на широкой спине Зины. - Я рада за тебя. Но...
- По-твоему, и Ланиха не годится? Тогда зови меня в письмах... Ну, хотя бы Улиткой.
- Ладно. Улиткой так Улиткой.
Им никто не мешал. Глеб и Мартов ушли навестить Потресова, только что вернувшегося из какого-то маленького итальянского городка, где он лечился от застарелой чахотки. Засулич, уже умудрившаяся простудиться, не появлялась второй день. Елизавета Васильевна, почувствовав облегчение, вышла подышать свежим воздухом, и подруги сели на кровать, обнялись как девчонки.
Владимир Ильич, обрадованный свободным часом, занялся своей рукописью. Было слышно, как он за стенкой ходил по комнате. Через несколько секунд присядет к столу, поджав под себя левую ногу, словно непоседливый школьник, набросает несколько строчек и опять начнет ходить от окна до двери. Потом снова скрипнет под ним стул, купленный по дешевке...
Чтобы не мешать ему, подруги разговаривали вполголоса:
- А писать мне теперь ты, Надюша, можешь без особой опаски.
- Думаешь, оставят в покое? Гласный надзор сняли, но негласный-то могут оставить.
- Знаю. Но все же вольготнее. И я обещаю писать аккуратно. О всех делах и событиях. От себя и от Глеба. У него, бывает, настроение меняется. То мажор, то минор из-за каких-нибудь пустяков. Иной раз надо написать вам, а он из-за неожиданной хандры возьмет да и отложит. Так я уж лучше сама.
Они условились о новом шифре. Потом Надежда, глядя в круглые красивые глаза подруги, спросила:
- Ну, а как ты доживала срок в Сибири? Мы ведь не виделись больше двух лет. Как ты коротала последние поднадзорные месяцы?
- И не говори... - махнула рукой Зина. - Часы считала. И до того мне опротивела кирпичная надзирательская морда, что меня всю передергивало. Шагов его не могла слышать - сапожищи с подковками. Бр-р!.. Поверишь ли, как великого праздника ждала последнего дня.
- Мы с Володей вот так же в Шушенском... Но молодость брала свое, скрашивала жизнь. Молодоженами были!
- Да, одна была отрада. Глеб и сейчас во мне души не чает, будто мы вчера поженились. Даже не знаю, как ссорятся. Правда. И ты ведь тоже... Зина снова обняла подругу и продолжала рассказывать: - И пришел этот счастливый день - последний раз расписалась в проклятущей надзирательской книге. Будто у меня сразу крылья выросли. Почувствовала себя птицей, выпушенной на волю, и махнула на Волгу. Соскучилась по ней, как по матери родной. Видела я теперь Шпрею в Берлине, Эльбу в Дрездене - малютки. То ли дело наша красавица! Ширь, простор - петь хочется. Про Степана Тимофеевича, буйную головушку. А поднялась в родной свой город да с Откоса глянула на Заволжье в синей дымке - на душе как масленица! И уж я помчалась по знакомым улицам, пока ноженьки не стали подламываться.
- Какая ты счастливая, Зинуша! Я бы тоже походила по приволжским городам. А Нева мне, знаешь, даже снится. Что-то вроде Шлиссельбургского тракта... Помнишь нашу вечерне-воскресную школу?..
- Еще бы!.. И школу, и рабочие кружки... А Нижний мне особенно дорог - там я делала первые шаги. И в жизни, и в работе. Посмотрела на дом, где топала босыми ножонками. Не отрывая глаз от окон, тихонечко прошла мимо нашей женской гимназии, вспомнила девчонок. Все дорого, все мило до слез. Отчего это, Надюша? Стареть мы стали, что ли?
- Тоже мне нашлась старушка!.. Да тебя, милая, еще полсотни лет в ступе не утолчешь.
- Полсотни? Хорошо бы. Жизнь-то какая будет тогда! Даже воображенья не хватает. Светлая, кипучая, радостная для всех. Во имя этого и живем, от проклятущей полиции напасти терпим. Они нас согнуть хотят, а у нас хребет стальной. Зубатов с помощью божественной своры пытается оболванить рабочих, а они себе на уме. И не удастся ему. Я опять же сужу по нашему Нижнему. Прошла мимо дома, где собирался кружок, глянула в полуподвальное оконышко. Прошла мимо квартиры Буревестника, мысленно пожала ему руку и как бы снова услышала его

волжский говорок. Слова у него какие-то круглые, душевные: "Хо-ро-шо, до-ро-ги-е мои волгари, готовьтесь к драчке!"
- Так он и говорит? "Драчка". Ты знаешь, Володя очень любит это слово.
- Они же оба - волжане!.. И Глеб тоже... А наш Нижний еще прогремит на всю Россию-матушку. Я, конечно, не утерпела - съездила в Сормово. Там у меня есть давний знакомый. Слесарь. Крепыш. Борода как смоль. Одним словом, Микула Селянинович. Успел закалиться в пролетарском горне. Я еще гимназисткой была, а он уже к сестрам Рукавишниковым, знаешь, к тем, которых Анатолий Ванеев кузинами звал, в кружок ходил. Потом, когда на наших заводах появились десятки, у него был центральный десяток.
- И теперь такой же десяток?
- Сейчас я точно не успела узнать.
- А надо бы, Зинуша. Надо. - Надежда не замечала, что повторяет интонации мужа. - Время старых центральных десятков миновало. Теперь на их месте должны возникнуть комитеты из профессиональных революционеров. Володя считает, что в последние годы мы на Руси уронили престиж революционеров. Надо его поднять. Он пишет об этом в "Что делать?".
- "Что делать?", - повторила Зина. - Как у Чернышевского! Под его влиянием?
- Ты, наверно, сама замечала - Володя с молодых лет увлекается Чернышевским. Это пошло еще от Александра Ильича. А позднее Володя с карандашиком перечитал роман Николая Гавриловича. И мне говорил: "Он меня всего глубоко перепахал. Заряд на всю жизнь".
- И много уже написано?
- По-моему, больше половины. Сужу по тем главам, которые успела переписать для набора. А последнюю главу еще не читала. Он только пересказывал. В ней о профессиональных революционерах, которые будут держать в своих руках все конспиративные связи. - Надя положила руку на плечо подруги. - Извини, что перебила. О Нижнем нам нужно знать как можно больше.
- У нас и тогда, при центральном десятке, все конспиративные связи находились в своих руках. Я ходила с беседами. И мой знакомый Микула Селянинович от меня, - он тогда жил в Нижнем, - нелегальщину на завод носил. Шифрованную переписку мы с ним завели. Правда, примитивную - в газете точками. И один раз он чуть было не влетел. Опустил "Нижегородский листок" в наш почтовый ящик со своей шифровкой, позвонил у парадного, чтобы поскорее взяли, и сам - наутек. А за нашим домом уже следил дворник с другой стороны улицы, окликнул: "Эй, господин! Куда же вы? Позвонили, так ждите. Вам откроют. Куда бежите?" И бросился вдогонку. Рассчитывал, что слесарь оглянется, лицо свое покажет. А тот как заяц, дай бог ноги. Убежал. Потом во время маевки на Моховых горах рассказал мне. Смеялся до слез. Кличку я его запамятовала, а имя помню. Петр. Фамилия приметная Заломов.
- Жаль Володю отрывать. А ему о таких рабочих все интересно.
- После расскажешь. У этого крепыша и мать при нашем деле: возила прокламации в Иваново-Вознесенск. Целый тюк в рогоже. И представь себе, я его встретила. На Сормовском у них большая организация наших: "Искру" читают. Говорит, Май собираются праздновать по-другому: не в лесу, а на улицах. Выйдем, говорит, с красным флагом. Я, говорит, сам, как смогу, напишу: "Долой самодержавие!" И сам понесу. И я уверена - понесет. Такие люди ни перед чем не дрогнут.
- Из таких людей, Зинуша, вырастут профессиональные рабочие-революционеры. Володя как раз об этом пишет в брошюре. И вы с Глебом счастливые - можете быть в самой гуще таких людей. А мы живем только письмами да вот такими рассказами.

5

Над Мюнхеном расстилался горьковатый дымок: в Английском саду тихо горели влажноватые кучи листьев. На улицах торговки жарили каштаны. Зина чихала в платок. Надя едва успевала говорить "Будь здорова" и тоже доставала платок из узкого рукава темного полушерстяного платья, купленного в заурядном магазине. И Зина, чтобы ничем не выделяться на улице, успела одеться во все здешнее.
После сада подруги направились в старую часть города, где не было ни одного деревца и куда не проникал дым горящих листьев. Дома там притиснуты один к другому, как бы сплюснутые неведомой силой, узенькими окнами смотрят на каменные щели, и россиянкам казалось: вот-вот распахнется окно над головой и кто-то пожмет руку человеку, живущему по другую сторону улочки.

- Ну и теснотища! - дивилась Зина. - Ну и ну!
- Заблудимся - не ругай: я здесь в первый раз, - сказала Надя. - Мы с Володей тут стали порядочными неподвигами и всего города по-настоящему не знаем.
- До того ли вам. Этакая уймища работы! Вот уж воистину ни дня, ни отдыха! Помню твоего Володю по Питеру, помню по Шушенскому, по Минусинску. И там он был непоседливее, горячее всех, будто у него ртуть в жилах. Но там, ты сама знаешь, был и отдых: хотя бы та же охота, прогулки по лесу. За грибами, за цветами. Зимой - коньки. А здесь? На чем отдохнет мозг?
- Не до отдыха, Зинуша.
- Да знаю, знаю. Перед схваткой дорога минута, в схватке - секунда. Ко всему надо быть готовым. Но, милая Надюшка! - Зина, подхватив подругу под руку, тряхнула ее со всей силы. - Ты должна, ты обязана придумывать что-то для отдыха. Наши нервы - тетива лука. Если все время держать тетиву оттянутой, то и рука онемеет, и лук ослабнет.
- Не такие уж мы... Мы все же ходим кое-куда. Были как-то в Старой Пинакотеке.
- Все же выкроили часок! Вот за это хвалю! - Зина опять тряхнула подругу. - Ну веди туда. И рассказывай, рассказывай. Что там больше всего понравилось?
- Ну, как тебе сказать?.. Небогато. Хотя есть и Леонардо да Винчи, Рафаэль. Есть Рубенс: "Пьяный Силен", "Два сатира". Помню еще "Автопортрет с женой".
- Рубенсом полны все музеи Европы. Я восторгалась им в Дрездене.
- У этого неистового фламандца так и брызжет с полотен неудержимая сила, веселость, здоровье, жажда жизни. Но суровой правды нет. Такие у него раскормленные и дебелые бюргерши. Кровь с молоком! - Надя глянула на подругу и рассмеялась. - Жаль, ты опоздала родиться: могла б ему сойти за натурщицу. В костюме Евы! И Тициану могла бы! Сдобная булочка!
- Боже упаси - не сдобная. Ржаная. - Зина тоже рассмеялась, и на ее полных щеках заиграли ямочки. - Ну, веди-веди в Старую Пинакотеку. К Рубенсу! Интересно, что твой Володя говорит о нем, о здешнем?
- Он видел Рубенса не только здесь. В венском музее изобразительных искусств бывал. Там, говорит, гораздо богаче. А ценит он из прекрасного то, что перейдет в наследство рабочим и крестьянам. Все правдиво и талантливо отображающее жизнь.
- А мне, Надюша, из последних веков более всего по душе наша русская живопись: Репин, Суриков. Неповторимые гиганты! А наша литература? Созвездие гениев! А наша волжская песня?!
- И Володя обожает... Нет, не то слово... У Володи волжская народная песня - в душе. Он говорит: корни искусства - в народной толще. Там чистый родничок. Оттуда оно появляется на свет, как Волга-матушка, и разливается во всю ширь. Вот, говорит, о чем надо писать профессорам, мыслящим по-марксистски. Если бы у него доходили руки...
- Дойдут... Еще напишет... Ну, а где же эта галерея?
- А я теперь уже и не разберусь в таком лабиринте улочек. Придется у кого-то спросить.
- Спрашивай. Ты небось успела освоить баварский диалект?
- Немножко. А по-русски, пожалуй, лучше нам не разговаривать. И поглядывать - не увязался бы за нами какой-нибудь подозрительный тип.

6

Елизавета Васильевна присматривала за кастрюлей, в которой варился суп; между делом набивала табаком гильзы Катык. Кржижановский вошел к ней с дымящейся сигаретой.
- И как вы можете курить такую дрянь? - Елизавета Васильевна повернулась к нему с готовой папиросой в руке. - Берите вот, а эту гасите. Я сигарет не выношу - какие-то все пресные. И без мундштука их нельзя. А с мундштуком женщина как чиновник из департамента.
Она взяла папиросу, слегка сдавила бумажный мундштук, не скрывая предстоящего удовольствия. Кржижановский, успев погасить сигарету в пепельнице, поднес ей горящую спичку, а потом закурил сам. Они встали к открытому окну.
- Вот докурю последнюю тысячу и - домой. Не могу я здесь жить. Все вокруг - чужое, и у меня подкатывает к сердцу эта... как ее?.. тоска по родному краю.
- Ностальгия.

- Я раньше о ней только в романах читала: человек места себе не находит от щемящей тоски по родине. А теперь сама мучаюсь. Выйду на улицу - деревья не наши. Даже колокольный звон и тот не наш. Уеду!
- А Надежда с Владимиром как же тут без вас?
- У них - дело. Нельзя газету бросать. Я же вижу: на них все держится. Даже на неделю и то не смогли вырваться в горы.
- И ностальгия к ним не подступится?
- Как сказать... Тоже тоскуют. Только не говорят. Крепятся. И живут письмами из России. От друзей, от агентов "Искры", просто от рабочих-революционеров. Теперь письма-то к ним, как голуби, летят со всех сторон. Ну, а мне Питер снится, и зима здесь покажется мучительной. Вот и решила - домой...
Покурив, Глеб Максимилианович направился в соседнюю комнату, шагал легко и осторожно, чтобы не стучали каблуки и чтобы ничем не помешать Ильичу, мысленно говорил себе: "Ему необходимо закончить брошюру, елико возможно, быстрее. Она нужна всюду. Безотлагательно необходима".
Нетерпеливо припал к рукописи, будто утолял жажду. То и дело подтверждал кивком головы: "Правильно, Володя!.. Верно!"
Читая острую полемику с "экономистами", извращающими марксизм, поклонниками стихийности и доморощенными тред-юнионистами, сжимал кулаки и как бы подбадривал в схватке: "Так их!.. Так!.. - И, переводя дух, тряс головой: - Эх, если б я мог этак!.. С накалом высокой мощности... Тут же в каждой главе - электрический заряд!.."
Многие страницы он перечитывал, стараясь сохранить во взбудораженном мозгу каждое слово. В особенности взволновал его раздел "Организация рабочих и организация революционеров". Да, борьбу должно возглавлять стойкое ядро профессиональных революционеров, отдающих делу партии не какие-то там свободные часы, а все свое время, все силы, находчивость и умение. И рабочие-революционеры должны выковать из себя профессиональных революционеров. Готовиться изо дня в день, вышколить себя не меньше царской полиции, централизовать все конспиративные связи, порывать с раздробленностью и местничеством, работать для общего партийного дела. Все во имя свершения политической революции. Зубатовцы подсунули знамя легализации, пытаются заманить рабочих в ловушку, чтобы высмотреть "людей с огоньком". Революционеры обязаны помочь рабочим разобраться, где их друзья и где враги, уберечь от ловушек, поставленных жандармами, попами и либералами, прекратить развращение рабочих "струвизмом", открыть им глаза на вредную болтовню о "мирном сотрудничестве классов", которого никогда не было и не будет. Да, Володя прав: пришло время вырывать плевелы, чтобы не мешали расти пшенице. Пришло время "готовить жнецов, которые сумели бы и косить сегодняшние плевелы, и жать завтрашнюю пшеницу".
- Хорошо!.. Отлично!.. - шептал Кржижановский. - А я-то у себя там... как сурок в норе. А ведь тоже мог бы...
У него пересохло горло. В груди горело. Кровь приливала к вискам. Ему перед самим собой было стыдно за потерянные месяцы. Если б следовал тому уговору, который состоялся в Минусинске... Мог бы сделать что-то значительное... И не только в одной Тайге, не только в Томске - по всей Сибирской магистрали... Зина иногда тормошила: "Пора нам начинать..." А он?.. Как больной гусенок в дождь - опустил крылья... Больше этого не будет, он постарается наверстать упущенное! А Зина у него первая помощница во всем. С огоньком в душе! Про таких писал Некрасов: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". И они, Кржижановские, еще покажут себя. Им не придется стыдиться перед друзьями. Они оправдают доверие Ильича, его слова о профессиональных революционерах!..
Перевернув страницу, Глеб Максимилианович продолжал читать о жалких кустарях, уронивших престиж революционера на Руси:
- "Пусть не обижается на меня за это резкое слово ни один практик, ибо, поскольку речь идет о неподготовленности, я отношу его прежде всего к самому себе. Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи, - и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент..." - Да, всем до боли, - подтвердил про себя Глеб Максимилианович. - А теперь в особенности мне. - И впопыхах читал дальше горячие строки: -

"...в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров - и мы перевернем Россию!"
Дальше Кржижановский не мог читать - побежал в соседнюю комнату:
- Володя!.. Ты прав! Тысячу раз... - И обнял друга, недоуменно поднявшегося от стола.
- Что ты? Что ты, Глебася?.. В чем я прав?
- Во всем, что написал. И ты меня знаешь не первый год. Если я сказал...
- Знаю, знаю давнего друга.
- Я взволнован. Не мог читать спокойно: слова как пылающие угли. Я так понимаю: точка опоры - партия, рычаг - рабочее движение. Очень к месту ты вспомнил Архимеда! Жалею, что читал один. Но Зине все перескажу... Извини, что оторвал тебя... Пойду покурю с Елизаветой Васильевной...
Папироса помогла успокоиться.
Глеб Максимилианович, не торопясь, дочитал последние строчки раздела и понес рукопись Ильичу:
- Печатай скорее. Все ждут такое боевое слово. А на нас ты можешь рассчитывать. Мы с Зиной будем помогать, как у тебя тут написано в конце, "п о д н и м а т ь кустарей до революционеров". И, конечно, сами перестанем быть кустарями.
Владимир Ильич пододвинул другу стул:
- Садись, Глебася. - Испытующе взглянул в глаза. - Как тебе показался стиль? Доступен рабочим?
- Вне сомнения.
- Это самое главное. Важно, чтобы книжка пошла широко среди рабочих. А ты потом напиши мне, что о ней будут говорить. Непременно напиши.
Кржижановский хотел было подняться и уйти, чтобы не отрывать больше друга от работы, но Владимир Ильич, сидя лицом к нему, придержал его за пуговицу:
- У меня для тебя есть еще одна рукопись. Необыкновенная! Сегодня получили. От кого бы ты думал? От Ивана Васильевича Бабушкина! Большущая статья!
- Да ну?!. Я рад слышать о Бабушкине. О чем же он пишет?
- А ты за "Русским богатством" следишь? Полемику с народническим либералом Дадоновым читал?
- Не-ет еще...
- Многое потерял. Чтобы бить врага, батенька мой, надо досконально знать все его диспозиции, предугадать все уловки. Да, да. О предыстории скажу кратко: Дадонов тиснул в журнале "богатеев" статью, оклеветал иваново-вознесенских рабочих. Твой свояк Сергей Шестернин с достоинством ответил ему, уличил во лжи... Как, ты и статью свояка не читал?! Ну, Глебася, это уже совсем непростительно.
- Я удивляюсь, Володя, когда ты успеваешь...
- Для знакомства с такой полемикой нельзя было не найти время.
- Сергей-то, как никто другой, знает Иваново-Вознесенск. Столько лет судьей там работал!
- А ты думаешь, посрамленный Дадонов унялся? Ничуть не бывало. Настрочил ответ. "Богатеи" хотели на этом полемику закончить. В свою пользу! А мы тут посоветовались и решили дать бой клеветникам. И лучшим автором нам представился Бабушкин. Сам рабочий! Агент "Искры"! Он быстренько отозвался. И написал так, что любой журналист позавидует. Острейшая полемика! Положил на лопатки! Я бы мог тебе дать и Дадонова, и Шестернина, но... у Бабушкина все сказано. Он - наш первый рабочий корреспондент!
- И, я вижу, профессиональный революционер, как у тебя написано в рукописи.
- Представь себе, когда я писал о рабочих, подымающихся до профессиональных революционеров, я думал именно о нем. Ценнейший человек! Энергичный, преданный. Он, вот увидишь, станет гордостью партии. Да, да. Я не боюсь употребить громкие слова. Он не теряет времени. Страстно учится. Работает с завидным усердием. Будущий русский Бебель. Одним словом, чудесный человек! Держи. Прочтешь с интересом. Статья, как видишь, большая, и мы думаем дать ее в виде приложения к девятому номеру.

7

Пока не завершена брошюра, Владимиру Ильичу хотелось до конца выяснить позиции "экономистов" из "Рабочего дела". Не удастся ли в чем-нибудь, хоть немножко, подвинуть их к марксизму? Не удастся ли договориться о каких-то совместных действиях? С этой целью

редакторы "Искры" и "Зари" выехали в Цюрих на объединительный съезд. Чтобы еще раз подчеркнуть для соглядатаев, что "Искра" издается в России, они ехали под видом представителей Заграничного отдела редакции. С ними отправились в Цюрих и Кржижановские.
Поезд врезался в Альпы, и путешественники не отрывались от окон.
- Мариценька, смотри, какая прелесть! А вот здесь еще красивее! Зина схватывала Надю то за руку, то за плечо. - Посидеть бы на камушке возле этой речки! Вон на том. Правда? Или - на этом.
- Нам хотелось нынче в горы - не удалось.
- А я бы все бросила. Хоть на неделю.
Горы сияли в своем радужном осеннем одеянии, смотрелись в зеркала озер: изумрудные пятна перемежались с золотистыми, малахит соседствовал с бирюзой. И Зинаида Павловна полушепотом, чтобы не обращать на себя внимание соседей по купе, подзывала Засулич:
- Велика Дмитриевна, идите полюбоваться.
- Это вам в невидаль, - отзывалась та, не отрываясь от французского журнала, - а мне за двадцать-то три года здешние красоты осточертели. Лучше бы луг с белыми ромашками до самого горизонта. То действительно была бы красота неописуемая!
Мартов, сидя в купе лицом к лицу с Кржижановским, хрипловато, вполголоса читал свой "Гимн новейшего русского социалиста", недавно напечатанный под псевдонимом "Нарцисс Тупорылов".
Медленным шагом,
Робким зигзагом,
Не увлекаясь,
Приспособляясь,
Если возможно,
То осторожно,
Тише вперед,
Рабочий народ!
- Остро! - похвалил Глеб Максимилианович. - Не в бровь, а в глаз этим самым рабочедельцам! Вот бы прочитать перед ними. И во весь бы голос.
- Опасно - бороду выдерут!
Владимир Ильич, посмотрев в окно купе, отправлялся в коридор:
- Ну, что у вас тут? Опять озеро? А на той стороне уже снежные вершины! Горят под вечерним солнышком!
И Надя с Зиной спешили к тому окну. Потом возвращались в коридор: не упустить бы что-нибудь сверхкрасивое.
В Цюрихе их поджидал Плеханов. Владимир Ильич обрадовался: в борьбе с "экономизмом" они оставались твердыми единомышленниками. Сил прибавилось дискуссия облегчится.
Но Георгий Валентинович был чем-то озабочен. Что с ним?
- А вы еще не знаете? - спросил тот и достал из внутреннего кармана сюртука десятый номер "Рабочего дела". - Так вот, полюбуйтесь: два выстрела в наш стан! Из крупнокалиберных мортир!
Авторы двух статей, яростно нападая на "Искру", крикливо отстаивали все ту же "свободу критики" марксизма, восхваляли бернштейнианцев и доморощенных "экономистов", отстаивали свою беспочвенную теорию стихийности рабочего движения. И Георгий Валентинович сказал, что они, искровцы, приехали сюда зря, что ни о чем договориться не удастся.
А не встретиться с рабочедельцами они не могли. Пошли в кафе, где заранее был снят отдельный кабинет. По пути туда увидели профсоюзный спортивный зал, в котором рабочие учились фехтованию. Они были вооружены бутафорскими шпагами и щитами.
- Вот и мы будем так же, - усмехнулся Плеханов. - Понятно, в будущем. После полной победы.
- А сейчас придется скрестить идейные рапиры, - сказал Владимир Ильич.
- Да, уж как водится, - отозвался Плеханов.
Искровцы не были одинокими - статьи "Рабочего дела" возмутили представителей революционной организации "Социал-демократ", они-то и начали разговор. Рабочедельцы возражали шумно и запальчиво. Им с не меньшей запальчивостью отвечал Мартов. Он так

кипятился, что даже сорвал с себя изрядно потрепанный галстук. Плеханов сидел, скрестив руки, и окидывал всех неторопливым орлиным взором.
Ульянов говорил с такой уверенностью в своей незыблемой позиции, с таким спокойствием, что даже его картавинка чувствовалась меньше, чем обычно. Он давно и глубоко был убежден, что без идейной основы невозможно вести речь о каком-либо объединении, а последние статьи и только что прозвучавшие филиппики рабочедельцев ясно показали ему, что примирение невозможно.
Слушая друга, Глеб Максимилианович ловил однажды уже читанные фразы, глубоко запавшие в память: "Это из рукописи его будущей брошюры", "И это оттуда". Про себя отмечал: "Хорошо подготовился Володя!" А Зина, сидя рядом, то и дело подталкивала мужа локтем в бок и едва удерживалась, чтобы не шепнуть: "Отлично! Помнишь, в Ермаковском? Вот так же терпеливо и весомо".
Рабочедельцы не унимались, перебивали с крикливой горячностью.
Плеханов выжидал, как прославленный на кругу борец, которому предстоит положить противника на обе лопатки. Когда настала эта минута, он медленно поднялся и, кашлянув в кулак, заговорил размеренно, с холодной чеканностью в голосе. Полные достоинства жесты его были явно рассчитаны на эффект.
Кржижановские впервые слышали его и, переглядываясь, восторгались ораторской опытностью и отточенной изящностью фраз. Но от его речи, богато сдобренной крылатой латынью, веяло холодком, и противники, хотя и отдавали должное остроумию оппонента, явно не собирались складывать оружие. Даже на короткое перемирие не оставалось надежды. Приближался окончательный разрыв революционного искровского направления с оппортунистическим, оставалось только объявить войну. Вечером набросали текст заявления, осуждающего рабочедельцев за их возвращение "к прежним заблуждениям", за неспособность "обеспечить политическую устойчивость своего органа". Объединение с такой организацией было немыслимо.
На следующий день, огласив заявление, искровцы покинули совещание. Одновременно с ними ушли и представители заграничной организации "Социал-демократ".
Когда искровцы остались одни, Мартов сказал:
- Напрасно потеряли время!
- Нет, не напрасно, Юлий, - возразил Владимир Ильич. - Теперь испробовано все, и наша совесть чиста. Можем объявлять войну.
Для него это означало - как можно скорее закончить и выпустить в свет брошюру "Что делать?". Наступать! Всеми силами защищать чистоту марксизма.
Поездка не была напрасной еще и потому, что вместе с группой "Социал-демократ" они создали Заграничную лигу революционной социал-демократии.
Пока жили в Цюрихе, каждую свободную минуту любовались озером. За бирюзовой гладью темнела узенькая полоска леса, над ней возвышался горный хребет, закутанный снегами.
Перед расставанием Кржижановские и Ульяновы вышли погулять на набережную, отделенную от обрыва невысокой чугунной решеткой.
На синем просторе как бы дремлющего озера белели островерхие паруса легких, как птицы, яхт. Возле самого берега плавали прикормленные лебеди, ждали, когда им бросят горсть хлебных крошек. Часто пролетали чайки, чуть не задевая воду острыми концами крыльев.
В обеденный час набережная оказалась почти безлюдной и можно было без опасения разговаривать по-русски:
- Итак, Глебася, впереди - Самара?
- Твердо. Город мне знаком с детства.
- Вот и отлично. Только, пожалуйста, поскорее.
- Сдам в Тайге дела, заметем следы и сразу - на Волгу. Сожалею, Володя, лишь об одном: Самара город купеческий, промышленности почти нет. А хотелось бы самим среди рабочих...
- Я тебя понимаю, дорогой мой Глебася. Очень понимаю. И самому хотелось бы, но... - Пожал плечами. - А ваше с Зинаидой Павловной дело не увлекаться широкой агитацией в самой Самаре. Для конспирации даже лучше, если там на известное время будет тишь да гладь.
За разговором они не заметили, как по озеру побежала мелкая рябь, с гор хлынул прохладный ветерок.

- Создайте там искровский организационный центр для всей России, продолжал Владимир Ильич. - Литературой оделяйте всех. Крушите "экономистов". Никому никаких уступок. Комитеты перетягивайте на нашу сторону. Важней задачи, - взял друга под руку, - сейчас нет. Пусть через газету признают "Искру" своим руководящим органом. На Второй съезд мы должны прийти сплоченными.
- А скоро созовете съезд?
- Это будет зависеть от вас, россияне. Только от вас. Когда большинство комитетов окажется на нашей стороне, тогда и - съезд. Ты немножко понюхал здешней атмосферы, видишь, что тут происходит. Чтобы объединить силы, на съезд мы, искровцы, должны прийти в абсолютном большинстве.
О решетку набережной плескались волны. Яхты на приспущенных парусах спешили к берегу. Черная туча срезала горные вершины, аспидной плитой нависла над озером. Огненная трещина расколола ее, и загрохотал раскатистый гром, проникая все глубже и глубже в недра земли, как бы под озеро, еще недавно казавшееся таким спокойным.
- Гроза с востока! - кивнул головой Владимир Ильич. - Тишина, как видишь, была обманчивой.
- Пусть сильнее грянет буря! - Кржижановский рубанул воздух взмахом кулака.
- Вот-вот. По-горьковски! И нам надо спешить. Во всем. А сейчас - на вокзал, батенька, - добавил Владимир Ильич. - Пора прощаться. Да, спохватился он, а пароль к тебе в Самару? Шифр?
- Я думаю, Зина не забыла договориться с Надеждой Константиновной. Мы условились: это - ее забота.
- А все-таки надо проверить.
Снова громыхнул гром, теперь уже неподалеку; с пронзительным криком летели чайки в поисках укрытия; холодным валом напирал ветер, набирая силу, и друзья, придерживая шляпы, подхватили жен под руки и быстрым шагом направились в сторону вокзала.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Рано легла зима. По Волге и Оке густо шла шуга, студеную воду превращала в снежную кашу. Последние пароходы укрылись в затоне. На их пути развели мост, да так и не успели из-за ледостава средние плашкоуты поставить на место, и Макарьевская часть Нижнего Новгорода оказалась отрезанной.
Седьмого ноября нижегородцы, спешившие к вечернему московскому поезду, переправлялись через Оку на лодках, крупные льдины, наседавшие с шумом и треском на борта, отталкивали баграми.
- Не опоздать бы нам, - волновался остролицый паренек лет шестнадцати, густые черные волосы у него выбились из-под околыша картуза, на носу торчало простенькое пенсне. - Нажмите, друзья, на весла! Не можем же мы не проститься!
- Не кипятись, Яша, - успокаивал студент, высланный на родину "за беспорядки скопом", и вдруг рассыпал хохоток. - Валерьянки не захватил, аптекарская душа?
- Кому она нужна? Кисейных барышень на проводах не будет. А таким, у кого рыбья кровь, - не остался в долгу паренек, - жандармы поддадут скипидарчику!
- Не каркай. Не пугай: трусов тут нет.
- Пугать не привык. И глядеть на тихонь - тоже. А ну, пустите - в весла сяду.
- С веслами, робятушки, поосторожней! - предупредил лодочник с кормы.
- Не затерли бы на вокзале. Поди, оцепили...
- Прорвемся! - крикнул студент с курчавой бородкой. - Вон сколько лодок идет - сила! Достал из бокового кармана пачку листков с машинописными строчками, оттиснутыми на гектографе, и стал раздавать гимназистам и реалистам, сидевшим впереди. - Прочтете - передавайте дальше.
Паренек в пенсне вскочил, выхватил у него остальные, потряс в воздухе, зычно крича:
- Что ж вы не на печатном станке! Надо было - тысячи! Весь город засыпать! - И, размахнувшись, кинул в соседнюю лодку. - Ловите! Повернулся к студенту. - Есть еще? Давай! - Кинул во вторую лодку. - Эх, растяпы!.. Хватайте со льдины!
Подхваченные ветром, листки, как вспугнутые белые птицы, метались в густоте снегопада. В свисте ветра перевозчики, предупреждая о беде, надрывали глотки: раскачанная лодка зачерпнет шуги, того и гляди пойдет ко дну! Но реалисты и ссыльные курсистки, повскакав,

ловили листки в воздухе, выхватывали из снежной кашицы за бортом и торопливо, взахлеб читали вслух.
Яков летел глазами по строчкам: "У нас бьют нагайками студентов, которые заступаются за простой народ, бьют рабочих, которые хотят улучшить свое положение. У нас преследуют писателей, которые говорят правду и обличают начальство". Схватил руку студента с курчавой бородкой:
- Молодцы!
На соседней скамейке рыжеватый парень с едва-едва пробившимися усиками читал сиплым, простуженным голосом:
- "Мы хотим и будем бороться против таких порядков". - Потряс кулаком. - Будем!..
- Связался я с вами на свою голову! - лодочник плюнул за борт. - Да замолчите вы, ради бога!.. Господа парни! Как бы того... Не угодить бы за решетку.
Но, к счастью, на берегу в снежной крутени не было видно ни жандармов, ни городовых. А листовки уже все успели попрятать в карманы.
Лодки приставали одна за другой. Юноши с задорным смехом выскакивали на берег, помогали выбраться курсисткам. Не было ни каракулевых, ни бобровых шапок. Молодые волгари друг другу пересказывали: именитые люди устроили проводы накануне, в богатом ресторане. С тостами. С глухими упреками в адрес полиции. Говорят, все же написали какую-то петицию. А сегодня не рискнули ехать на вокзал: погода не по их носам!
Молодые провожане двинулись сначала по Александро-Невской улице, потом вверх по Московской к вокзалу. Из затона за ними пошла кучка грузчиков.
Горький, высокий, тонкий, в длинном пальто, в мохнатой островерхой шапке, шел, опираясь на палку, по неширокому перрону. Екатерина Павловна поджидала его, стоя в открытом тамбуре. Маленький Максимка, отведенный в купе, расплющил нос, прижимаясь к стеклу, нетерпеливо стучал пальцами отцу:
- Здесь я... Скорее, папка!..
Горький не слышал. Шел, сутулясь и глухо кашляя. У него с весны побледнело лицо, ввалились щеки. И вот теперь его, хворого, полиция в такую непогоду высылает из родного города. "Ввиду вредного его влияния на общество". Придумали формулировку, черти полосатые! Сначала хотели сразу турнуть в Арзамас. В уездную глушь! Потом, не устояв перед влиятельными заступниками, соизволили разрешить прожить зиму в какой-нибудь из крымских деревень. В Ялту - боже упаси. Там же рядом царская Ливадия. Пусть, дескать, и носа не показывает. Наверное, каждому полицейскому уже дали наказ: "Смотреть за ним в оба глаза!" В Крым, слава богу, нет прямой дороги. Только через Москву. Там вагон прицепят к южному поезду. Стоянка - целый день: можно съездить в город, навестить друзей. Обязательно наведаться в Художественный. Давно не виделся с Марией Федоровной. Она с Грачом встречается... И наверняка получила свежий номер "Искры". По времени должен быть уже десятый. Только не опоздал бы поезд - в Москве дорога каждая минута.
Он и не подозревал, что там уже многие знают: Горький, выдворяемый из Нижнего, садится в вагон. Ему в Москве приготовили подарок - портрет Льва Толстого. И адрес, под которым уже поставлены десятки подписей. Рано утром студенты и курсистки отправятся на вокзал...
Друзьям послал телеграмму, попросил не встречать. В противном случае жандармы сочтут за демонстрацию и, разозлившись, заставят весь день томиться в вагоне, где-нибудь в станционном тупике. Да еще, чего доброго, состряпают новое "дело"!
За спиной дважды ударили в колокол - через пять минут дадут третий звонок. У вагона толпились знакомые, горячо жали руку, целовали.
Обыватели перешептывались, указывая пальцами:
- Гляди какой! Гордо держится! И даже веселый, будто его в гости провожают!
Но перрон уже наполнялся молодежью, переправившейся через Оку, и молодой голос гаркнул во всю силу:
- Да здравствует свободное слово!.. Да здравствует Максим Горький!..
Тотчас же послышался пронзительно-всполошенный полицейский свисток, из вокзала выбежали на подмогу три жандарма, но в растерянности остановились: на перрон толпами врывалась молодежь и в минуту заполнила его от края до края. Горький, сняв шапку, поклонился с подножки, помахал рукой и исчез в вагоне.

- Проклятие темным силам! Да погибнет деспотизм! - крикнули из толпы, и добрых полторы сотни голосов раскатисто грянули: - Ура-а!
Горький вышел в тамбур, спустился на одну ступеньку, прижал руку к груди:
- Спасибо, госпо... Спасибо, товарищи! - поправился он. - Но не надо...
- Мы вас любим! - неслось со всех сторон.
- Да здравствует хороший человек, писатель-буревестник! - звенел знакомый молодой голос.
"Кажется, Яша. - Горький, слегка наклонившись, всматривался в толпу. - Его голос. Его. Молодец парень! Небось опять с листовками".
А их уже передавали из рук в руки, как голубей, которые могли вырваться и в снежном вихре взлететь высоко над головами.
И тут по всему перрону разлилась многоголосая песня: "Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой..."
- Верно - волгари мы все!.. Но... - прокашлявшись, Горький замахал руками. - Я совершенно не ожидал... Я крайне растроган... - Провел пальцами по глазам. - И меня беспокоит: вы все же рискуете...
- Пусть мы рискуем... А они, - взметнулся кулак над головами, - пусть знают!.. Кончается терпенье!..
- Петь не надо, друзья. - Покачав головой, Горький вернулся в вагон.
Третий раз ударили в колокол, лязгнули буфера, и поезд тронулся с места. Крики слились с "Дубинушкой", которую затянул сочный бас.
Люди шли по заснеженному перрону, первое время не отставая от поезда, и бросали в воздух шапки и фуражки:
- До свиданья-а! Возвращайся, Максимы-ыч!
Возле вагона бежал паренек в пенсне и махал картузом.
- Это же Яша!.. Смотри, Катя, Яша провожает нас. Помнишь? Сын гравера Свердлова, аптекарский ученик. Лекарство нам приносил. Елку для ребятишек помогал... Молодец!..
Горький помахал пареньку рукой; нагнувшись к окну, крикнул: "По-бе-ре-гай-тесь". Яша, конечно, не слышал. Только по движению губ мог понять.
Поезд набирал скорость. Мелькнул красным фонарем последний вагон, и провожающие, чтобы никому в отдельности не попасть в руки полиции, лавиной хлынули с перрона. Студент с курчавой бородкой, махая поднятыми руками, кричал:
- Не расходитесь, господа!.. Все - в город. Пока жандармы не пришли в чувство... Вот так же дружно по Большой Покровке. Пусть почувствуют!.. Согласны?
- ...а-асны-ы! - разнеслось над толпой. - Там споем наше...
И тот же бас, что запевал "Дубинушку", покрыл все голоса:
Вы жертвою пали в борьбе роковой...
Потом донеслось из-за вокзала:
Настанет пора - и проснется народ,
Великий, могучий, свободный.
Три жандарма, отдуваясь, как после жаркой бани, шеренгой прошли по опустевшему перрону.
Екатерина Павловна уже давно разделась, села подальше от окна и, расстегнув кофточку, кормила Катюшку грудью.
- Ну и погодка!.. Заметает наши стежки-дорожки...
- Не заметет! - Горький, оторвавшись от окна, подхватил сына, подбросил чуть не до потолка и, поймав, прижал к груди. - Правда, Максим?
- Правда.
- Вот-вот. Мы еще вернемся.
Посадив сына к столику, дал ему вяземский пряник; снял пальто, разгладил усы:
- А реалистики - молодцы!.. Ты, Катя, обратила внимание? С листовками!.. Не ждал я таких проводов. - Опять провел пальцами по глазам. - Не то что вчерашние застольные речи. И рабочие были на перроне. Ты видела? Были. Несколько человек Затонские. А Яша-то как подрос. Давно ли, кажется, пятый класс оставил, от отца ушел... Кто бы думал?.. Такой славный парень! Уже расправляет крылья для полета. Соколенок!
Горький, понятно, не знал, что филеры уже дали Яше Свердлову кличку Малыш.
Судьбы человеческие неисповедимы. Никто не мог предугадать будущее аптекарского ученика. Никто не предполагал, что сегодня его ждет первый арест, что через несколько лет в

подпольных партийных кругах его станут звать товарищем Андреем, что за его голову будет обещано пять тысяч рублей, что впереди у него тюрьмы, ссылки, побеги и что после революции он, первый председатель ВЦИКа, встанет рядом с Лениным.
Девятого ноября нижегородскую полицию всполошил небывалый случай в городском театре: едва успели погасить люстру и приподнять занавес, как с галерки кто-то крикнул гулким басом:
- Господа, Максим Горький не доехал до Москвы. Его высадили на станции Обираловка. А в Москве на вокзале его ждали две тысячи почитателей.
В замешательстве опустили занавес. Включили свет. Полицейские бросились на галерку. Но пока бежали туда, обладатель звучного баса успел скрыться.
Через день в том же театре какая-то девушка, по всей видимости ссыльная курсистка, крикнула, что Горького не высаживали из поезда, а просто вагон, в котором он ехал, перегнали со станции Обираловка на Курскую дорогу, минуя Москву. И для сопровождения дали двух жандармов.
Девушку успели схватить и отвезти в тюрьму - "за произнесение краткой речи с демонстративной целью".
А на галерке театра стали дежурить переодетые жандармы.

2

Доктор Леман, мюнхенский социал-демократ, принес пачку писем, пришедших в его адрес, как всегда, окольными путями: одни через Нюрнберг, другие через Прагу, третьи через Брюссель.
- Вы, геноссе Карл, очень любезны. - Владимир Ильич потряс его руку. - Спасибо! - Взглянул на Засулич. - А Велика Дмитриевна собиралась к вам за почтой. Наши визиты, я полагаю, не вызывают подозрений? Как бы к врачу на прием!
- Да, в мои приемные часы, - кивнул Леман аккуратно причесанной головой. - А сегодня у меня на почте был забавный случай: какой-то чудак прислал мне подушку! Я счел за глупую шутку и отказался получать. Если это не ошибка...
- Ошибка, дорогой доктор! - Владимир Ильич тронул локоть Лемана. Несомненная ошибка! Это же - для нас.
- Вы ждете подушку?!
- Не подушку как таковую - пирог с начинкой!
- Карл, нам могут прислать что угодно, - принялся объяснять Мартов. Через Прагу - мешок хмелю, через Болгарию - винный бочоночек, через Голландию - головку сыра. Пачку табаку, пакет с макаронами, кастрюлю, граммофон... Кто что придумает.
- Если для вашей "Искры"... - пожал плечами доктор. - Я надеюсь, почта еще не отправила обратно.
- Вы не обижайтесь, доктор. - Владимир Ильич снова тронул локоть Лемана. - Ваша помощь для нас бесценна.
- Это не так уж трудно... Я могу второй раз... Объясню там... Что-нибудь придумаю...
- Я иду с вами, - объявил Мартов. - А объяснить не так уж трудно. Скажете: жене подарок. Ко дню рождения. Или что-нибудь в этом роде. А подушка, дескать, не простая - из гагачьего пуха! Собирал знакомый охотник на островах Ледовитого океана. Дайте волю фантазии.
Тем временем Надежда Константиновна распечатывала письмо за письмом, те, которые требовали расшифровки, откладывала в сторону.
Когда Мартов ушел вместе с доктором, Владимир Ильич повернулся к жене и, уткнув руки в бока, заглянул через ее плечо:
- Ну-с, что тут особо интересного? Чем сегодня порадовали земляки?
- Хорошие вести! Вот - из Нижнего. Сразу два письма. О Максиме Горьком.
- Да? О Горьком нам важно знать все. И быстро откликаться. Дай-ка.
Пробежав первое письмо, Владимир Ильич азартно потер ладонями:
- Это нам очень ко времени! - Протянул листок Засулич. Познакомьтесь, Велика Дмитриевна. Примечательное письмо! - Взял второе. И здесь о том же. Главное - с подробностями.
Смяв недокуренную сигарету и бросив ее на подоконник, Засулич села с письмом к уголку стола. Прочитав первые строки, кинула на Надежду Константиновну косой, упрекающий взгляд:
- И это называется "хорошие вести"! - стукнула четырьмя пальцами по кромке столешницы. - Возмутительный случай! Максима Горького, пролетарского барда, буревестника...
- Надюша, в этом Велика Дмитриевна права, - поспешил подчеркнуть Владимир Ильич. - Нельзя не возмущаться тем, что Горького выслали из его родного города.

- Да разве я спорю? - Надежда Константиновна прижала руки к груди. Меня тоже возмущает...
- Но то, что произошло на вокзале, а затем и в городе, не может не радовать. Действительно, хорошие вести, Велика Дмитриевна. И печальные и в то же время хорошие! Это же начало новых демонстраций! Всего лишь две недели назад мы с вами отмечали двадцатипятилетие первой социально-революционной демонстрации в России, на площади у Казанского собора, тогда чествовали Георгия Валентиновича...
- Великое было празднество! - воскликнула Засулич, оторвавшись от письма. - Я всегда говорила: уже там, на площади Казанского собора, блестяще проявился талант Жоржа! И революционного мыслителя, и оратора!
- И вот вам новая демонстрация! В Нижнем, неподалеку от пролетарского Сормова! Это примечательно! И одновременно - в Москве. А вспомните Харьков.
- Да, да. Точно. Второй раз в году. Безоружных студентов топчут лошадьми, бьют нагайками.
- "Внутренние турки" превращают российские города в поля сражений с протестующим народом. И в схватках студенты прозрели, поняли, что поддержку могут ждать только от рабочих, что надо бороться не за маленькую студенческую свободу, а за свободу для рабочего класса и крестьянства, за политическую свободу. И в Харькове - мы с вами, Велика Дмитриевна, помним по письмам, - так же, как в Нижнем, кричали: "Долой самодержавие!" Вот что характерно для новых демонстраций. От стачечно-экономической борьбы мы окончательно переходим к широкой революционной борьбе с русским самодержавием. Газету мы, как вы знаете, стали выпускать уже два раза в месяц, и ее заслуженно называют подлинно общепартийной газетой. И эти письма для нас - клад, основа тринадцатого номера.
Владимир Ильич открыл папку с типографскими гранками:
- Вот ваша статья о Добролюбове. - Подал Засулич узенькие листочки, пахнущие типографской краской. - Корректуру прошу прочесть сегодня же. Что у нас дальше? Вот студенческое движение в Москве. Вот в Киеве. Сходки в Питере. Прокламации в Риге. Стачки в Москве, в Черкассах. Манифестации в Двинске и Витебске по поводу отправки ссыльных рабочих в Сибирь и высылки рекрутов. Новые прокламации в Тифлисе. - Опустил ладонь на корректурные гранки. - Хорошо! Впереди ставим письма из Нижнего. И передовую о них. Как вы думаете, Велика Дмитриевна?
- Конечно, о нижегородцах. О Горьком.
- Очень рад нашему единодушию. И, если вы не возражаете, я напишу.
- Кто же будет возражать? Уверена: и Юлий, и Жорж, и Аксельрод с Потресовым - все одобрят.
Засулич ушла. Надежда отправилась на кухню, чтобы там за маленьким столиком заняться расшифровкой писем. Владимир Ильич, походив по комнате, сел к столу и вверху чистого листа размашисто написал: "Начало демонстраций". Подчеркнул жирной чертой. В первых строчках упомянул о Казанской площади в Петербурге, о "Земле и воле", потом - о современном требовании п о л и т и ч е с к о й с в о б о д ы. И тут же перешел к событиям в Нижнем Новгороде. Писал все быстрее и быстрее, буквы уменьшались до бисера и становились плотнее друг к другу: "Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло - как справедливо выразился оратор нижегородской демонстрации - в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия из его родного города. Башибузуки обвиняют его в дурном влиянии на нас, - говорил оратор от имени всех русских людей, в ком есть хоть капля стремления к свету и свободе, - а мы заявляем, что это было хорошее влияние. Опричники бесчинствуют тайно, а мы сделаем их бесчинства публичными и открытыми"
Вернулся Мартов. Сияющий, будто обласканный солнцем. Еще с порога, театрально вскинув правую руку, объявил:
- Получили!.. От Акима* подарок!.. Лучшего не придумаешь!..

---

* Леон Гольдман.

Левой рукой он прижимал к груди подушку с надпоротым уголком, из которого вываливался пух.
- Что, что от Акима? - нетерпеливо спросил Владимир Ильич, идя навстречу Мартову. - Говори яснее.
- Я всегда считал, что он не напрасно носит фамилию Гольдман воистину Золотой Человек! Человек с большой буквы, как любит писать Горький!.. А доктор глубоко прочувствовал свою

ошибку и просил сказать: теперь будет принимать все, что придет на его имя! Хоть целый поезд!
Владимир Ильич хотел было засунуть руку в надпоротый уголок, но Мартов отстранил его:
- Подожди. Пусть уж я один буду в пуху! - Запустив руку в глубину подушки, выхватил оттуда пачку газет и торжествующе потряс в воздухе. Вот она!.. Светит на всю Россию!..
- Наша "Искра"! - воскликнула Надежда Константиновна, входя в комнату.
- Родная! Но не совсем наша - российская! - продолжал Мартов, опьяненный радостью. - Пусть жандармы думают, что не здесь печатаем - там, в России! Пусть ищут ветра в поле! У Гольдмана дело поставлено умно!
Получив пачку десятого номера "Искры", Владимир Ильич подал один экземпляр Надежде Константиновне и сам, стоя посреди комнаты, развернул газету:
- Это великолепно!.. Это превосходно!.. Молодцы кишиневцы!.. И, надо сказать, быстро они перепечатали!..
- Там еще брошюрка "Пауки и мухи", - сказал Мартов, кидая подушку на кровать, и сунул руку в карман за сигаретами.
- Это уже не столь существенно, - сказал Владимир Ильич, не отрываясь от газеты. - И бумага почти такая же тонкая. И шрифт наш. Но верстка... Зачем они вместо трех колонок сделали две? Явный просчет. Непростительный.
- Да-а, пожалуй... - согласился Мартов. - Хотя погрешность не так велика.
- Жандармы сразу разгадают - переиздание. В местной типографии. С какого оригинала? Могут подумать: с заграничного? Могут. Вот в чем просчет. Не повторили бы ошибку другие.
- Когда и где еще наладят перепечатку?
- В Баку, например. И, чтобы ошибки не повторили, нельзя ли послать матрицы? Надо посоветоваться с типографами. С матриц было бы надежнее. И, вероятно, быстрее.
- Может быть... Но я не ошибусь, если скажу: таких расторопных людей, как Леон Гольдман, единицы. Днем с огнем едва ли еще сыщешь. Я, как видишь, не ошибся, когда направлял его к тебе для знакомства, - продолжал расхваливать Мартов, покуривая с глубокими затяжками и отгоняя взмахом руки дым в коридор. - Надежный человек. Оправдывает свое имя!
Владимир Ильич вздохнул: знал - Юлий долго не умолкнет. Теперь уж не до работы. Остается единственное - ждать, когда он выговорится до конца и уйдет в кафе.
В те дни по югу России уже рыскал летучий отряд филеров с их старшим, угрюмым и довольно тучным блондином с небольшой бородкой, в золотых очках, коллежским секретарем Леонидом Меньщиковым. Арестованный пятнадцать лет назад при ликвидации одного из народовольческих кружков, он дал "откровенные показания" и с тех пор бессменно служил в московской охранке и считался "пишущей рукой Зубатова". Теперь у Меньщикова было особое задание - во что бы то ни стало найти подпольную типографию "Искры". Охранка уже знала, что тайная типография создана Леоном Гольдманом. Но в каком городе? Сначала искали в Полтаве - не нашли. Метнулись в Харьков. Потом обшарили Киев. Оттуда Меньщиков донес, что ему удалось перехватить три посылки и что в них "интересен No 10 "Искры", повторно изданный, по-видимому, "универсальной" типографией".
Охранник назвал типографию "универсальной" потому, что в посылках, помимо газеты, оказалась брошюра "Женщина-работница", выпущенная вторым изданием.
"Но где же типография?" - ломал голову Меньщиков. И в очередном донесении из Киева сообщил: "Всего больше думается на Кишинев и Кременчуг". И тут же, в ожидании награды, похвалился:
"Здесь поставлено дело весьма хорошо, и в первых числах января можно будет разбить комитет".
3
- Акиму надо ответить, - напомнила Надежда мужу, когда они остались вдвоем.
- И непременно сегодня, - отозвался Владимир, подымая глаза от своей рукописи. - А пока вот начинай переписывать передовую для набора.
И тут же углубился в папку с материалами для очередного номера.
Переписав передовую четким почерком, Надежда занялась письмом в Кишинев.
"Получили Ваш подарок, - писала она Гольдману, - и были чрезвычайно рады. Мейер все никак не мог налюбоваться на газету. Только почему так мало экземпляров?* На севере, как я уже писала не раз, спрос громадный, одна Москва требует minimum 2 тысячи, а между тем

транспорт до сих пор обслуживал только юг. Напишите, пожалуйста, в какой срок можете приготовить номер в 4 страницы? Нам это очень важно знать".

* Десятого номера "Искры" кишиневцы напечатали всего лишь 1500 экземпляров.

Владимир, оторвавшись от папки, встал и из-за спины Надежды взглянул на письмо:
- Ну-ка, что ты написала ему? Так, так. Все правильно. Только надо поопределеннее. - Взял у нее ручку, подсел к столу и после слов "в какой срок" надписал сверху строки: "приготовлен No 10 и в какой срок вообще" и провел черту к словам "можете приготовить". А в конце вывел: "Непременно напишите и поточнее".
Отдал ручку и опять занялся рукописями для газеты.
А когда Надежда положила перед ним, по ее мнению, законченное письмо, набросал вопрос к Акиму: не возражает ли тот против широкого показа за границей русского экземпляра "Искры"? И продолжал письмо: "Необходимо русским членам организации "Искры" составить прочное ядро и добиться правильного распространения "Искры" п о в с е й России. Это всецело дело русской организации. Если мы этого добьемся, тогда дело обеспечено. А без этого - неладица неизбежна... В интересах правильного распространения и п р е с т и ж а крайне важно бы было печатать "Искру" в России через 2 3 номера, выбирая номера, имеющие более постоянный интерес. Например, No 13, может быть, следовало бы".
Тринадцатым был тот самый номер, который они сейчас готовили для набора.
"Но уж раз печатаете, - заканчивал письмо Владимир Ильич, - печатайте в г о р а з д о большем числе экземпляров: надо хоть раз попробовать н а с ы т и т ь всю Россию".
- Вот так. Насытить всю Россию. В этом - неотложная задача. А южане, ты сама знаешь, безобразничают: что получат от нас, все распространяют у себя. И другие так же. Кустари! Придется кого-то энергичного послать отсюда, чтобы объехал всех, убедил. Может быть, собрал бы где-нибудь искровцев. Скажем, в Киеве. Кого пошлем?
- Димку. Хотя и растрепанная девица...
- Думаешь, справится? Сумеет?
- Из ссылки бежала. Через границу перебиралась тайно. Это не всякому дано. А пылкости ей не занимать. И скучает она в Берлине по большому делу. Недавно писала: рвется в Россию.
- Да? А как же Волька?
- Волька уже подрос. Оставит с отцом. И няня теперь есть...
- Ну, что же. Попробуем послать Димку, хотя в Восточной Пруссии она не оправдала надежд.
- Там, Володя, было сложно.
- Поездка по центру и югу России будет во сто раз сложнее. Посоветуемся еще с Юлием и Великой Дмитриевной. Без этого нельзя, поручение сверхответственное.
...Расставшись с секретарством в редакции "Искры", Димка действительно заскучала по работе. По большому партийному делу. И чем дальше, тем острее. Сердце звало на родину. Хотелось нелегально пробираться из города в город, от одного агента к другому. Говорят, охранка обзавелась "летучими отрядами филеров". Почему бы не появиться летучим агентам "Искры"? Больше хитрости, находчивости, ловкости, и связь наладится, неясная туманность образует ядро - будет сила!
Как раз в это время Владимир Ильич более всего был озабочен доставкой газеты. "Искру" уже знали во всех уголках России, отовсюду летели письма: "Ждем новый номер", "Присылайте больше". Многие обидчиво пеняли: соседнему городу прислали, а нам нет. Ждем, ждем, ждем. Нужно было доставлять уже не маленькими пачками, а целыми тюками. И не реже двух раз в месяц. Вот тогда-то брат Димки - Петр Гермогенович Смидович, известный искровцам под кличкой Матрена, поселился в Марселе, чтобы оттуда отправлять газеты с пароходами, идущими к берегам Кавказа, Пудовые пачки укладывал в непромокаемые мешки, которые надежный человек ночью выбрасывал за борт в Батумском порту, где их подбирали лодочники. Петруша успел развернуться, а чем она, Инна, старшая сестра, хуже его? Сноровки и у нее хватит. И Димка отправилась к прусской границе. Поселилась в Кенигсберге. То был опасный район, - там близ пограничного селения Паланген двумя месяцами раньше провалился с транспортом "Искры" латыш Ролау. Димка, правда, еще не знала, что его сошлют в Восточную Сибирь, но для дела считала Ролау погибшим. Ей предстояло связать на границе порванную веревочку. Один часовщик из Мемеля обещал ей отыскать среди контрабандистов порядочного человека, важно, чтобы по ту сторону был энергичный приемщик. Надежда Константиновна

заверяла ее, что вблизи границы поселят Музыканта - Петра Ананьевича Красикова, знакомого им еще по сибирской ссылке, но Димка не дождалась его.
Она не могла больше томиться в Кенигсберге: кропотливая работа на одном месте не по ее характеру. Ей хотелось чего-то более деятельного, опасного и даже рискованного. И в ожидании большого дела Димка вернулась в Берлин, Вольке привезла в подарок янтарного гномика, мужу - янтарный мундштук.
Через некоторое время пришло письмо от Крупской: для нее, Димки, уже приготовлен паспорт на имя болгарки Байновой. И она примчалась в Мюнхен.
Выслушав Владимира Ильича, Димка ответила, что готова выехать с первым же венским экспрессом.
- Уже готовы? Немедленно? - переспросил Владимир Ильич, слегка прищурившись.
- Мне остается только условиться о шифре, получить явки и пароли да приготовить корсет из "Искры".
- Ни в коем случае, - решительно возразил Владимир Ильич. - Не смешивайте два дела. Вы не транспортер, - "Искру" без вас перевезут. У вас важное поручение, и вы не должны рисковать на границе. А за явками и паролями дело не станет. У Марицы, - Владимир Ильич взглянул на жену, вероятно, уже все готово. А вам, как мне кажется, будет нелишне подумать о костюме. Все предусмотреть. До мелочей. Не худо бы новую шляпу. По сезону. Черную, конечно.
Надежда Константиновна расхохоталась:
- Наш Йордан заговорил о дамских туалетах! Первый раз слышу... Даже не верится.
- Конспирация обязывает. Не забывайте о ней. Ни на одну минуту.
Димка купила модную шляпу с дымчатым тюлем, модное пальто и длинную черную ротонду. Ульяновы остались довольны ее костюмом.
О своем выезде Димка решила известить Тодорку - Конкордию Захарову, агента "Искры" в Одессе, получающую транспорты с партийной литературой через Болгарию, и отправила для нее письмо в адрес Ревекки Шепшелевич: едет на родину, горит нетерпением повидаться с тетушкой, но сначала поживет у родных, а писать ей в Киев лучше всего до востребования Д. О-лой.
Никто из них не подозревал, что все письма, адресованные Ревекке Шепшелевич, вскрывают в "черном кабинете" и что ключом, которым пользуются в переписке с Конкордией, уже владеет полиция. И письмо Димки первыми прочли жандармы и охранники. Со дня на день летучие филеры Зубатова поджидали ее в Киеве.

4

И вот Димка дома. В своей стране. Среди товарищей по большому делу.
Сердце колотится. Димка готова прыгать от радости, как девчонка. На любой улице. Да костюм не позволяет: она - дама, по паспорту - болгарская подданная, гордящаяся своей красотой, своими нарядами. Немножко кокетливая модница.
Но более всего Димка гордилась делом: она нужна, ее ждут в каждом большом городе, расспрашивают об "Искре", о революционерах, вынужденных скрываться за границей, о Владимире Ульянове и Георгии Плеханове. В интересах конспирации Димка иногда была вынуждена кривить душой: об Ульянове ничего не знает, а где редакция "Искры" - партийная тайна. Давала только промежуточные адреса. Сама вникала во все: спорила с "экономистами", комитетчиков убеждала, что пора им признать "Искру" своим руководящим органом, что надобно помогать газете постоянными отчислениями из партийной кассы, писать обо всем, что интересно для рабочих, для партии.
Она старалась не думать, что ее могут выследить и схватить, вела себя, как могла, осмотрительно.
Были у Димки и неприятности - то она не находила на месте нужного человека, то явка оказывалась настолько ненадежной, что приходилось скорее уносить ноги, но все это тонуло в радостном, возбужденном настроении, порожденном в общем-то удачными первыми шагами. И она спешила поделиться радостью с редакцией:
"Весь день на ногах, перед тем подряд три ночи не спала, и вот ни малейшей усталости, даже спать не хочется. Нравится мне здесь замечательно, чувствую себя восхитительно, точно рыба в воде".
За сорок пять дней Димка побывала в шестнадцати городах, три раза приезжала в Киев и всякий раз, не задерживаясь, проходила мимо почтамта. А почему - сама не знала. Просто не лежало

сердце стоять в очереди к окну с табличкой "До востребования". Да и большой надобности еще не было напишут ведь только из Одессы, а у нее пока другие пути-дороги. Из редакции же она получала письма через надежные квартиры. Читала и восхищалась: Ильич уже знает, что волна студенческого движения подымается высоко, и он написал об этом статью в "Искру". Надежда Константиновна сообщила: "В статье указывается на необходимость рабочим пристать к студенческому движению". Как это хорошо! Очень и очень своевременно! В кишиневской типографии заказано десять тысяч оттисков. Их просят раскидать всюду.

"Конечно, раскидаем широко, - мысленно ответила Димка на письмо. - Я сама съезжу в Кишинев. Оттуда до Одессы - рукой подать. И там эта листовка пригодится: раздадут портовикам".

А что у них там в Одессе? Приплыл ли болгарин с новым транспортом "Искры"? Может, привез двенадцатый номер?

Молчат одесситы, как сомы. Две недели нет вестей. Не похоже на них. Вот и Марица уже волнуется: "От Тодорки все нет писем". А ведь Конкордия аккуратнейшая девушка. Зря молчать не будет. "Существует ли она?" - не без тревоги спрашивает Марица в новом письме. В самом деле, что там с друзьями? Живы ли? Надо ехать. Нельзя больше откладывать ни на один день.

И Димка пошла на почту. Нет ли письма на имя Д. О-лой? Должно быть. Она ждет. Давно ждет.

Чиновник, теребя ус, глянул на нее поверх очков; роясь в письмах, пробурчал:

- Не помню что-то... Кажется, нет... Да, точно - н-нет. - И вдруг голос его стал мягким, любезным. - Возможно, в дороге еще... Не огорчайтесь, мадам. Заходите.

Она зашла через день. Чиновник встретил улыбкой:

- Сегодня порадую. Получайте. И вот - второе.

Обрадованная письмами, Димка даже не взглянула на штампы, не проверила, какого числа письма пришли в Киев, не заметила, как в углу зала поднялся из-за стола усталый человечек в потертом котелке, словно ему кольнули иголкой ниже спины, и подошел мелкими шажками, как бы тоже за письмом до востребования.

Это был филер из летучего отряда Меньщикова. Кинув на Димку наметанный взгляд, он отметил: "Похоже, из-за границы прибыла. Модная!"

И с тех пор филеры, держась поодаль и сменяя один другого, всюду тащились за ней. В своих "проследках" отмечали чуть ли не каждый час: каким поездом "Модная" ехала из города в город, в какой дом заходила, с кем виделась, где ночевала, что несла в руках, кому оставила изящный сверток, коробку, саквояж или корзину; отмечали, когда она была одета в короткое черное пальто, когда в длинную ротонду, когда была в шляпе с дымчатым тюлем, когда в пуховой шали. Лишь одна ее примета оставалась постоянной - пенсне в белой оправе.

Ночной поезд мчится в Харьков. Надоедливо стучат колеса, раздражает тряска.

За окном черно, будто стекла облиты густыми чернилами.

Приоткрыв дверь купе, Димка выглянула в коридор. Ни души! И ей кажется, что во всем вагоне, кроме нее, нет никого. И проводник, вероятно, дремлет в своем служебном закутке.

Димке не до сна. Почти в каждом городе - огорчение или неладицы, как говорит Ильич. В Кишиневе Аким, тот самый Золотой Человек, которого так расхваливал Мартов, начал было набирать нелегальную газету "экономического" толка. Из-за денег! Это, понятно, не оправдание. И одумался Аким только после того, как пересказала ему, правда, смягчая выражения, письмо редакции, в котором Ильич упрекнул за нарушение всех правил организации, за неслыханный разврат. Слава богу, Аким рассыпал набор. Но теперь ворчит: "Сидим без работы".

В Киеве Басовский встретил ее с претензией: "Искра" мало дает груза". Может, он и прав. Надо бы больше. Он готов перевозить через Галицию хоть по двадцать пудов в месяц! Не прихватил бы у инакомыслящих.

А в Одессе - ой, горько вспоминать! - подстерегала беда. С комитетчиками, правда, удалось повидаться, но как выбралась из западни сама тому дивится.

Перед поездкой туда получила письмо от Марицы и ужасно расстроилась: в Праге несчастье! Австрийская полиция что-то пронюхала о тайных связях Модрачека и наложила арест на четырехпудовый тюк "Искры". Тамошние социал-демократы обещают помочь, но удастся ли выручить - это еще вопрос. А если удастся, то как переправить тюк через границу? Каким путем? Тем, который проложил Басовский? Рискованно. За тюком, который находился какое-то

время в руках полиции, могут ведь присматривать. Была бы там, бросилась бы на помощь. Помогла бы что-нибудь придумать.
Ничего. Там не будут сидеть сложа руки. Что-нибудь придумают без нее. В Австрии есть какой-то юный одесский эмигрант по фамилии Вегман. Она, Димка, помнит - присылал для первых номеров "Искры" свои "Письма из Вены". Рвался перевозить газету на родину. Может, он возьмется...
А вот и Одесса!.. Милая Одесса!.. Казалось, там все было поставлено отлично. Болгарин привозил "Искру" пудами. Хватало на весь юг... Быстро и аккуратно... И Конкордия такая осмотрительная девушка... Думалось, комар носа не подточит. И вдруг... Как гроза среди ясного неба... Жаль Конкордию. Будто младшую сестру потеряла. И болгарина жаль. А ужас еще и в том, что полиция, говорят, открыла ключ. Примутся расшифровывать письма, узнают явки и пароли. Тут уж жди беды по всему югу. Начнут хватать одного за другим... Ой, даже подумать страшно. Нужно всем менять ключи для переписки. Скорее, скорее. Не терять ни часа...
Димка еще раз выглянула в коридор. Никого!.. Можно не волноваться.
Вынула свечку из фонаря, поставила на столик, достала бумагу. Чернильницу-непроливашку принес заботливый проводник. И перо принес. А тряска ей не помешает - она уже привыкла писать письма в мягких вагонах среди ночи. Это будет четвертое. Нет, больше... Пересчитала по пальцам. Да, уже пятое. Ильичи не упрекнут в бездеятельности: она не потеряла ни одного дня. И обо всем-всем старалась рассказать им в письмах. Пусть знают: неладицу здесь можно устранить только на совещании искровцев. И она выполнит свою миссию до конца - соберет их. Где? Конечно, в Киеве. Там все же безопаснее, подальше от Зубатова, хотя его летучих филеров, как говорят, и там полно. Она не сомневается, южане поддержат. Будут отчислять из партийных касс деньги Феклуше. Милое и забавное имечко Ильичи придумали для редакции "Искры"!..
Но сначала об одесской беде. Скорее, скорее. Они там, в Мюнхене, еще не знают. Наверняка пишут письма по старым адресам, зашифровывают тайну, а царские охранники прочтут - погибнут люди. Скорее. В Харькове опустить в почтовый вагон. Так будет надежнее...
И Димка пишет, прикусив нижнюю губу. Старается как можно спокойнее:
"Страшно тяжелое впечатление произвело на меня мое пребывание в... По памяти, быстро и легко зашифровывает своим ключом: "Одессе". При толчке вагона перо вонзается в бумагу, оставляет кляксу. Димка морщится, зашифровывает снова и продолжает писать открытым текстом: - Более основательно трудно было погибнуть. Часа в три дня прямо с вокзала со всем багажом взяли господина*, а в 5 часов дня на улице взяли Тодорку. Дома ничего не нашли, но скверно то, как оказалось, что уже недели за 2 до этого перехватывались письма Тодорки, и говорят (узнали косвенным образом), что открыт ключ. Соображайте и обдумывайте... Все это произошло 1-го декабря старого стиля, по-видимому, по всей России были набеги".

---

* Ивана Загубанского, социал-демократа, приказчика партийного книжного магазина в Варне, которым ведал Георгий Бакалов. После истязаний в полицейских застенках и двух лет тюрьмы Загубанский в болезненном состоянии был выслан на родину и вскоре скончался. Конкордия Захарова (Тодорка) была сослана в Восточную Сибирь на пять лет. В 1904 году примкнула к меньшевикам.

Вагон качнулся, и по листу рассыпались мелкие кляксы.
Пустяки. Марица извинит за неопрятное письмо, - знает, что Димка пишет в поездах. Только зря чернилами. Лучше бы карандашом.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

К углу двухэтажного, покосившегося от времени деревянного домика возле Марьиной рощи в Москве прибито ржавое днище от стирального корыта, на нем - кривые буквы: "Лужу и паяю. Слесарь Богданов". Коряво нарисованная рука указывала на нижнее оконышко. Там виднелись кастрюли, чайники и керосинки. Но самого слесаря можно было застать дома только в первой половине дня или поздно ночью. В остальное время заказчиков встречала Прасковья Никитична. Отрываясь от стряпни или от чужого белья в стирке и вытирая руки о фартук, она говорила женщинам:
- Олово у мужика-то мово кончилось. Пошел купить да что-то долгонько не ворочается. Боюсь, не загулял ли. Ты уж, миленькая, наведайся в другой раз, утречком пораньше.

К мужчинам незаметно присматривалась и, чаще всего, отвечала:
- Завален мастер заказами. Видите, сколько. На целый месяц. Может, кто-нибудь другой поскорее вам поправит.
И радовалась, когда удавалось спровадить нежданных заказчиков: знала - Ваня похвалит.
Иногда, перекрестившись на медное распятие в переднем углу, незнакомый посетитель спрашивал:
- Вы помните Бородинское сражение?
Отвечала охотно:
- Где мне помнить? Я же молодая. А моя бабушка Василиса помнила.
- И то хорошо, что не забыла.
Прасковья Никитична смахивала уголком фартука пыль с табуретки.
- Садитесь. Отдыхайте. - И заговорщически добавляла: - Чайничек для вас приготовлен.
Доставала чайник из-под верстака, а иногда приносила из чулана какой-то отменный.
Посетитель приподымал крышку. Если, помимо листовок, обнаруживал свежий номер "Искры", говорил:
- Вот славно!.. Славно мастер починил! Спасибо ему. - И, понижая голос до шепота, спрашивал:
- Сколько их тут?.. Ежели по четвертаку за каждую... - И опять - полным голосом: - Вот, получите...
Прасковья Никитична клала деньги в верхний ящик комода и возвращалась к стряпне или стирке.
...Тук, тук, тук! - ходики отсчитывают минуты, большая стрелка не торопясь идет по кругу. Уже десятый раз с тех пор, как Прасковья Никитична осталась одна в квартире.
"Что же это такое?.. Где же Ваня так долго?.."
Она отставляет раскаленный утюг на подставку, идет к часам, подтягивает медную гирю, опустившуюся чуть не до самого полу. Часы бьют двенадцать.
"Давно пора бы воротиться... Спаси бог, не оплошал ли где-нибудь..."
Приопустив усталые руки, возвращается к столу, глубоко вздыхает, добавляет в утюг древесных углей и снова принимается гладить белье. Складывает стопкой. Завтра утром, пока Ваня будет дома, необходимо отнести хозяевам.
"А если?.. - Она проводит ладонью по горячему лбу. Голова у нее разламывается от боли, - знать, угорела от утюга... - Если Ваня не воротится?.. Ой, не приведи бог..."
Хорошо бы распахнуть форточку, но ставни закрыты на болты...
Села на край кровати, потерла пальцами виски, погладила правой рукой грудь, придержала ладонь на животе, на короткое время затаила дыхание.
"Не слышно... Еще рано ему... - Опять вздохнула. - Если Ваню где-нибудь словили... Долго не узнает о нашей радости... Трудно будет мне... Все равно радость! Как подумаю, даже сердечко встрепенется..."
В ставню за верстаком чуть слышно стукнули. Козонком указательного пальца. И еще - два раза. С той же осторожностью. Ваня! Накинув дубленую шубейку, Прасковья Никитична метнулась открывать дверь.
Еще в сенях Иван Васильевич обнял жену; в темноте, пощекотав ее горячие щеки усами, поцеловал в губы:
- Извини, Пана. Знаю, что волновалась... Но не мог раньше...
Едва успев перешагнуть порог прихожей, тыльной стороной ладони прикоснулся ко лбу жены:
- Да ты не расхворалась ли?.. Лицо горит.
- Это, Ваня, от...
- Знаю - от утюга.
- Нет, не догадался. От думки одной... - Прасковья Никитична юркнула в комнату. - Иди ужинать. Самовар-то я три раза подогревала, а вот картошка остыла. И хлеба у нас...
- Завтра, Пана, купим. Я - с получкой.
- Нашел Грача?! Ну и слава богу.
После перехода на нелегальное положение Бабушкин, как профессиональный революционер, стал получать из партийной кассы тридцать рублей в месяц. И не просто, а по указанию редакции "Искры". Правда, в партийной кассе не всегда оказывались деньги, но он не в обиде - нелегко даются эти деньги: их собирают по двугривенному да по четвертаку. За газету, за нелегальные книжки. Пожертвований мало. Жене сказал, что партийные финансисты еще не

успели развернуться. Вот и приходится иногда ждать получки по два месяца. А тут еще на беду связь с Грачом прервалась. Волновались за него, думали самое худшее: не провалился ли? Шпиков-то в Москве как клопов в ночлежке!
- Он, Пана, переменил адрес для явки, - рассказывал Иван Васильевич, подсаживаясь к столу, накрытому ветхой клеенкой. - Не ровен час, и тебе пригодится. Старо-Екатерининская больница. Знаешь, там, на Мещанской?
- Знаю. Я могу, как раньше, в бельевой корзине... Будто бы стираю на больницу.
- Ты у меня находчивая! Спрашивать там надо фельдшерицу Рукину. Ей сказать: "Я от Зои". А уж она откроет, где искать самого Грача. Квартиры-то постоянной у него нет: то в одном месте ночку скоротает, то в другом.
- Еще хуже нашего! - качнула головой Прасковья Никитична. - Воистину перелетная птица! А на птиц, говорят, силки ставят. Как тогда?
- Не горюй. Не охай. У партии теперь силы с каждым днем прибавляется. Ежели ищейки умудрятся схватить одного, на то место сразу двое да трое новеньких! Одно худо - охранники в обман пустились, стараются заводских околпачить... Налей-ка мне погорячее.
Прасковья Никитична налила кипятку, лишь слегка закрасила каплей заварки и рядом с чашкой положила кусочек сахара.
- Последний?! Нет, уж этот - тебе. - Иван Васильевич отодвинул сахар. - А я, знаешь, сегодня куда проник? В самое сердце обманщиков и негодяев! - Глаза Бабушкина блеснули азартом, словно у охотника, отыскавшего медвежью берлогу. - Шепнул мне один знакомый паренек, что в чайной общества трезвости возле завода братьев Бромлей будет собрание этого распроклятого зубатовского общества вспомоществования. Ну, пошли мы туда.
- Ты вот так прямо в чем был?! - всплеснула руками Прасковья Никитична. - Отчаянная головушка! Картузишко бы переменил, что ли. У них же, сам говорил, полицией хоть пруд пруди.
- Ничего, Пана. Они же стараются в эти свои ловушки завлекать, с других заводов сзывают. В лицо людей не успели заприметить. И нам, думаю, нетрудно будет затеряться в народе. Так оно и вышло. Гляжу: мастеровщины полным-полно. В дальнем уголке отыскалось местечко за столом. Чаек попиваем, слушаем. Впереди встал на табуретку курносый человечек, головенка круглая, как арбуз. По всему видно - мастеровой. Повертел он в руках мятую кепчонку, перекрестился истово. "Начнем, - говорит, благословясь". А мне мой товарищ шепотком: "Это Слепов". У меня даже смех чуть-чуть не вырвался: дал же, думаю, бог фамилию паршивой собаке! Такую и сочинитель не вдруг придумает! И начал этот Слепов плести околесицу: у нас, говорит, - у рабочих стало быть, - теперича надежные заступники. Ежели што - есть кому пожалобиться. К нам, говорит, сегодня соизволил прийти сам Сергей Васильевич. И не с пустыми, говорит, руками - с подарочками. Вот, думаю, загогулина! Главный сыщик с подарками! Примется одурачивать. Ну, поднялся он на табуретку. Бравый, донельзя обходительный. Одним словом, первейший друг рабочих! Принес целую пачку свежего номера "Искры".
- Да ты что говоришь?! Может, ты обмишурился? Ведь за "Искру"-то они, сам знаешь, в Сибирь ссылают. Наверно, поддельную притащил?
- Я и сам сначала так же думал. Не может охранник раздавать рабочим гранаты. А он раздал. И попросил отнести на заводы да на фабрики. Гляжу: наша "Искра", вроде без подделки.
Бабушкин достал газету из внутреннего кармана пиджака, ладонью разгладил на столе.
- А я-то ее в корзине под бельем... Даже от неграмотных дворников тайком... - Прасковья Никитична крутнула головой. - Тут, Ваня, какой-то подвох.
- Смотри сама. - Иван Васильевич пододвинул газету жене. - Конечно, у Зубатова была своя задумка. Он ходил этаким фертом между столов и пальцем тыкал в статью "Буржуазная наука перед московскими рабочими". Вот ее начало. Знакомьтесь, говорит, в добрый час и мотайте себе на ус. Вам, дескать, господа мастеровые, теперь не нужны уличные демонстрации. Разрешены, говорит, вот такие собрания обществ вспомоществования. Люди науки выступают перед вами с лекциями. Даже, говорит, сама "Искра" вынуждена признать это доброе наше начинание. Отбросил злую иронию газеты и вот как повернул, подлец! За такие собрания и рабочие общества, говорит, надо царя-батюшку возблагодарить. Приедет он, помазанник божий, в златоглавую Москву - поднесите ему от мастеровых хлеб-соль.
- Кукиш с маслом!

- Вот-вот. Я так же думаю. А они, эти холуи Слеповы, провалиться бы им в тартарары... - Иван Васильевич стукнул кулаком по столу. - Они могут... Без стыда, без совести...
- Ну, а что же мастеровые-то?
- Промолчали. Только кто-то один спросил: правда ли, что царь собирается съездить к французскому президенту? В гости его туда позвали или заделье какое-нибудь нашлось? Зубатов ответил: "У царя-батюшки на каждую минуту дело. Будет он в Париже вести разговор о золотом займе на развитие промышленности. В ваших же, господа мастеровые, интересах". Вот он какой, Зубатов! Прямо соловьем разливался. Хитрюга!
Прасковья Никитична, осторожно перекидывая тонкие полупрозрачные листы газеты, водила пальцем по заголовкам. Вдруг она оторвала глаза от страницы и обрадованно тронула руку мужа:
- Твоя статейка! "В царстве Морозовых". Вот! Только не проставлено, что писал Богдан.
- И хорошо, что не проставлено. А под второй моей, - посмотри вон там, - подпись: "Ореховозуевцы".
Когда Прасковья Никитична перевернула последнюю страницу, Иван Васильевич положил перед ней тот же номер "Искры", принесенный из тайника, смастеренного под верстаком:
- Теперь полюбуйся этими картинками: "Иллюстрированное приложение к "Искре". Зубатов принес без приложения. Обманул рабочих. Смотри сюда. Царь "в погоне за миллионами" отправился во Францию. В карету, видишь, впряглись министры, старые мерины. Гляди, как натужатся!
Прасковья Никитична всматривалась в рисунок. На облучке вместо кучера - рука с плетью-погонялкой. Сбоку трона - виселица. Всегда наготове! Под колесами люди, раздавленные насмерть. Рьяные казаки отгоняют от кареты демонстрантов, полосуют плетьми. Вдали виднеется деревня. Солома с крыш давно скормлена отощавшему скоту. Голодающие крестьяне валятся с ног. А на холме, как на Голгофе, распят старик. По одну сторону - поп с крестом, по другую - сиятельный господин во фраке, с облысевшим черепом, с евангелием в руке.
- Это - Победоносцев, старый дьявол из святейшего Синода, - пояснил Иван Васильевич, - распинает на кресте Льва Толстого, наипервейшего писателя.
Под рисунком - стихи:
...Порядок водворен - мятежники смирились,
И кровью куплено спокойствие царя...
...Во Францию, туда, где царствует свобода,
Он едет наполнять свой денежный сундук.
Внизу - припев:
Каторга, тюрьмы, казармы,
Пушки, казаки, жандармы,
Рать полицейских шпионов...
Нужны нам сотни миллионов.
Вторая карикатура - царь в Париже. "И Франция, своих казнившая тиранов, тирану русскому холопски бьет челом". Ему подобострастно кланяется Мильеран, вчерашний социалист.
А той порой граф Витте, царский министр финансов, "с французской публики златую шерсть стрижет" - получает мешок золота.
Иван Васильевич перевернул лист, и Прасковья Никитична ойкнула, увидев на рисунке обезглавленных - Людовика Шестнадцатого и его жену Марию Антуанетту. Казненные народом, они держали свои головы под мышкой и многозначительно кланялись перетрусившему царю: тебя, дескать, ждет то же самое! От страшного "видения в старом королевском замке" волосы у царя поднялись дыбом, и корона была готова свалиться с головы. Однако исторический урок не пошел на пользу. "Богопомазанный порфироносный шут" возвращается домой "с набитою мошною", чтобы "из золота республики свободной покрепче кандалы сковать". Золотой дождь из рога изобилия уже сыплется на фабрикантов и помещиков, а казаки снова полосуют плетьми демонстрантов. Царская карета переехала через женщину, распростертую на земле.
- "Чтоб заглушить всенародные стоны, нужны миллионы, миллионы", прочел Иван Васильевич последние строки стихотворной подписи и опустил ладонь на царскую карету, над которой раскинул крылья орел, похожий на стервятника. - Но недолго им, живоглотам, изуверствовать! Сердце чует недолго!

- Такие картинки им - нож в грудь, - сказала Прасковья Никитична, не отрывая глаз от карикатур. - Было от чего Зубатову перепугаться.
- Он, как мелкий жулик, выдрал эти листы. А мы ему - ежа в горло. Я уже сказал парням, с которыми там пил чай: принесу настоящую "Искру". С этими карикатурами. Пусть рабочие знают и другим передают. Надо же проветрить головы от зубатовского дурмана.
- Только ты, Ваня, поосторожнее.
- Ничего, ничего. Не тревожься, Пана. Ты мою аккуратность знаешь. И мы с тобой доживем до того дня, когда покатится корона с пустой башки.
Он бережно свернул газету и отнес в тайник.
Прасковья Никитична, видя, что муж уже успокоился, подошла к нему и, уронив голову на плечо, начала жарким шепотом:
- А у нас с тобой... У нас, Ваня, скоро будет маленький!
- Правда?! - Бабушкин повернулся, приподнял голову жены и тепло глянул в глаза. - Что же ты раньше не сказала о такой радости?
- Сомневалась, Ваня... Время такое...
- Не волнуйся, милушка. Не будет в тягость. А счастья прибавит.
- Вот и я так же... В чем могу - верная твоя помощница. Где бы тебе ни случилось... Ежели, не к слову будь сказано, Сибирь... Я - за тобой туда. Семьей-то все легче...
- Конечно. - Бабушкин осторожно обнял жену, провел рукой по ее волосам. - О Сибири ты не думай. Мы тут повоюем со всей этой мразью. До победы! А пока мне хочется, Пана, съездить туда, - кивнул головой в сторону запада, - туда, где "Искра". Очень хочется Ильича повидать, поговорить с ним. Дело-то у нас большое - такой кострище разжигаем!
- А как же ты отыщешь его! По-тамошнему говорить не умеешь.
- Отыщу. Письма-то мои доходят. И язык доведет. Ты не волнуйся, я ненадолго. Литературы оттуда захвачу с собой побольше. А тебе тут, ежели что, товарищи помогут.
- Тайком поедешь?
- По той дорожке, по которой "Искра" к нам идет. Да это еще не скоро. Не завтра и не послезавтра. Когда партия позволит.
2
На Самотеке торговали рождественскими елками. Прасковья Никитична купила малюсенькую, поставила в угол на комод. Приедет Иван - накануне праздника зажгут на ней две восковые свечки.
А на будущий год - дочке или сыну... Как бы ни было плохо с деньгами, непременно купят елочку...
...Бабушкин уехал 21-го. Повез по всему "Русскому Манчестеру" новогодние листовки и только что полученный двенадцатый номер "Искры". Помогая ему запрятывать нелегальщину на дно короба, Прасковья Никитична прочитала в статье о мартовской расправе на площади Казанского собора. "Но - гнилые деревья реакции растут медленнее, чем молодые побеги революционного движения". Правильные слова! Ее Ваня помогает расти этим молодым побегам.
Он обещал вернуться 23-го, но и в сочельник не приехал. Одна скоротала ночь. В рождественское утро для отвода глаз сходила в церковь...
Под Новый год зажгла на елочке обе свечки. Утирая слезы тыльной стороной ладони, смотрела на языки пламени:
"Ежли Ванина скорее... схватили его".
Порывалась крикнуть:
"Нет, нет, он где-то ходит по рабочим каморкам... Скоро приедет... Постучит..."
Временами ей казалось, муж осторожно трогает закрытые ставни, идет к сеням. Она затаивала дыхание - камнем наваливалась тишина.
А свечка?.. Похоже - Ванина... Нет, нет... Прасковья Никитична дунула на хилые лепестки огня, и в комнате запахло нагаром фитиля. Повалилась в постель...
Утром пришла от Грача фельдшерица. Держа руки Прасковьи Никитичны в своих теплых ладонях, заговорила прерывающимся голосом:
- Сердцем чую твое неизбывное горе... Но, милая Чурай, ты не одна. Нас много. Не оставим в беде.

И рассказала: 23-го поздним воскресным вечером жандармы ворвались в домик рабочего, где Иван Васильевич раскладывал свой "товар" перед членами Орехово-Богородского комитета. Там были ткачи и красильщики. Всех замели. Сказывают, увезли в Покров, где Бабушкины проживали еще не так давно.
- Ежели в Покровок... хуже некуда, - промолвила сквозь слезы Прасковья Никитична. - Какая-то провокаторская сука там все пронюхала...
Еще никто не знал, что ее Ваню из Покрова уже отправили в Екатеринослав, куда он был выслан из Питера пять лет назад...
Надо было самой заметать следы - до утра спалить все нелегальное, бросить мастерскую и - на поезд.
Ваня помнит питерский адрес матери. Ежели все повернется к лучшему, через нее отыщет.
Искать Прасковью Никитичну начали гораздо раньше, чем она предполагала. Прошло каких-то пять недель, и Надежда Константиновна, встревоженная судьбой Прасковьи Бабушкиной, написала Грачу:
"Теперь о Богдане. Знаете ли адрес его жены? Ей необходимо будет помогать".
Но Грач не успел получить этого письма: уехав в Киев на совещание агентов "Искры", он бесследно исчез.
Пройдет полгода, и уже на другое, еще более тревожное письмо Надежды Константиновны ответит из Петербурга разъездной агент Иван Иванович Радченко: "Димка знает Чурай - жену Богдана. Она очень полезный человек на каждом месте". И тут же Радченко сообщит, что для переписки с Прасковьей Никитичной ключ - "Полтава" Пушкина.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Новый год приятно встретить всей семьей, и Елизавета Васильевна отложила свой отъезд.
К празднику купили еловую веточку и бутылку рислинга, настряпали пельменей. Рюмок по-прежнему не было, и Надежда поставила на стол чайные чашки, купленные по дешевке, и притом разные, одну даже без ручки. Выпили за Новый год, за здоровье, благополучие и успех всех родных. Оживленно вспоминали и шушенскую елку для деревенских ребятишек, и минусинский глинтвейн, сваренный Курнатовским, и каток на речке Шушенке, и большую поездку на охоту за зайцами.
Снова заговорили о родных. Мать встретит Новый год, вероятно, уже в Самаре, куда выслали Маняшу под гласный надзор полиции: пригубив рюмочку, сядет за свое пианино, - не могла же она расстаться с ним, конечно, перевезла из Москвы. А Митя? Возможно, на святки приедет к ним из Юрьева. Последний раз в студенческой форме: скоро станет врачом.
Марк, высланный в Сызрань, встретит Новый год в семье брата Павла. А Анюта?.. Очень жаль, что не приехала к ним - встретили бы вместе. Где она? Все еще в Швейцарии или опять перебралась в Берлин?.. Разбросала их судьба по свету!
Нет, не судьба, а - борьба. Только борьба с самодержавием.
С тревогой вспоминали тех, с кем подружил сначала Питер, а потом сибирская ссылка.
Удалось ли Кржижановским перебраться на Волгу? Целы ли они?.. Если переехали, подали бы голос. Ведь обещали твердо. Похоже, заметают следы перед таким важным переездом.
А Лепешинские отчего замолчали? Ни писем, ни корреспонденций. Это так непохоже на них.
Пришлось в предновогоднем номере "Искры" напечатать строку для Лаптя: "2а 3б. Ваше молчание очень тревожит нас". Ответа от Лепешинских пока еще нет. Но к ним должна наведаться Димка - расшевелит. Ни перед какой опасностью не остановится. Если надо, медведя из берлоги поднимет. Псковские неподвиги узнают об ее рейсах - устыдятся. И, надо думать, с прежним огоньком примутся за дело. Не могут не приняться.
И от выборгского токаря Оскара Энгберга уже несколько месяцев нет вестей. А начинал неплохо. Химией для писем овладел. Собирался съездить за "Искрой" даже в Стокгольм.
Помнится, о заграничном паспорте написал: стоит пять марок. А последним письмом дал знать: "Следят жандармы". И все. Ни одной весточки. Жив ли?.. До боли жаль терять таких кремневых людей.
Бедняга Курнатовский все еще в Тифлисской тюрьме. Кажется, не миновать ему новой ссылки.
Только бы не в Туруханку, не в самое гиблое место. С его-то здоровьем...
Сидорыч* все еще молчит, понятно, из-за болезни. А Старков?..

---

* А. С. Шаповалов.
Нет, не ожидали они таких потерь. Теперь главная надежда на новых искровцев. Их уже много, молодых, энергичных, преданных.
- Вот за молодых-то теперь бы и в самый раз... - напомнила Елизавета Васильевна. - Даже я позволю себе еще немножечко...
- Да, да, - спохватился Владимир Ильич, взял бутылку. - Мы увлеклись воспоминаниями. - Быстро разлил вино. - За молодых! За Маняшу, Митю и всех вообще! Крепких и надежных!
Между тем Анна Ильинична вернулась в Берлин, где у нее была надежная квартира; сестре написала в Самару:
"С Новым годом, дорогая моя Марусечка! С Новым, хорошим и счастливым! Желаю тебе, чтобы в нем сбылось, во-первых, твое самое сильное желание, потом - второе по силе; потом - третье... И чтобы весь он был веселым и радостным, усеянным листочками клевера в четыре лепестка, которые, говорят, приносят счастье. Мои прошлогодние васильки были такими неудачными!.. Итак, всего лучшего, моя дорогушечка! Какая-то ты стала теперь? Изменилась, верно, с тех пор, как я не видела тебя. Жду с нетерпением вашей карточки... Смотри же, веселись на праздниках, Марусек мой хороший! Катайся на коньках, маскируйся! Еще раз всего лучшего, дорогая.
Твоя А.".
Анна Ильинична, занятая переводами для русских издательств, следила за немецкой беллетристикой, но в последние месяцы ничего яркого и оригинального отыскать не могла. Все попадалась под руки какая-то бестолковщина. Идейных же рассказов вовсе не было.
Но один рассказ, хотя и плоховатый, она все же решила послать сестре, - может, Маняша воспользуется им, сама переведет для какой-либо волжской газеты или по кажет...
"Нет, нет, только не это... - одернула сама себя. - Нельзя волновать..."
И в конце письма сделала приписку:
"Мамочке только не давай переводить его, - он очень мрачный".
2
Россия встречала Новый год спустя тринадцать дней. И все, кому было дорого народное благополучие, беспокойно спрашивали: что несет он родной стране? Чем порадует, чем огорчит?
Радостей не предвиделось.
Либеральные газеты терялись в догадках, реакционные кормили читателей вяземскими пряниками, рассказывали голубые сказки.
А над страной сгущались грозовые тучи. От города к городу перекатывалась волна промышленного кризиса. Обанкротившиеся хозяева гасили одну домну за другой. Не появлялось больше новых нефтяных фонтанов, и сотни старых скважин не давали ни капли. Закрывались шахты, умолкали паровозы с остывшими утробами. Начинался топливный голод. И ко всему этому - жесточайшая засуха снова сгубила урожай в двадцати губерниях. Крестьяне давно размололи последние зерна, прирезали оголодавших буренок, трупы лошадей оттащили на скотские погосты. Смертельная петля затягивалась на тощей шее каждого шестого россиянина.
Гневом переполнялись крестьянские сердца. Горели помещичьи именья. Голодный люд сбивал замки с амбаров богатеев и делил хлеб по крохам. А на охрану дворянских гнезд спешили полицейские отряды, мчались, подгоняемые есаулами, казачьи сотни, под барабанный бой шагали по проселочным дорогам солдаты. Возле сельских сборен и волостных правлений свистели розги да нагайки.
Вереницы исхудавших до синевы и опухших от голода сельчан хлынули в города в поисках заработка, а там и без того у запертых ворот фабрик и заводов стояли толпы мужчин и женщин, лишенных работы. Найти бы хоть какую-нибудь. Пусть самую изнурительную. Пусть за пятерку в месяц. А кто начинал ворчать да бранить порядки, тех хватали городовые и отводили в участки.
В рабочих казармах уже не пахло щами. Перебивались на одном хлебе да на "постном" чае: без сахара. По углам мастеровые сбивались в кучки и, забывая о хозяйских соглядатаях и шпиках, спрашивали друг друга:
- Что же дальше?.. Не околевать же нам, сложа руки?..
- Что, говоришь, делать? А вот читай. Неграмотный? Так слушай.

И шелестели в руках листовки. В укромных закутках читали "Искру". Там находили слова о банкротстве э к о н о м и ч е с к о й политики царизма.
Агенты "Искры" узнавали - статья Владимира Ильича.
Для своего спасения царь, растерявшийся банкрот, решил прибегнуть к чрезвычайным мерам: на доброй трети империи ввел "усиленную охрану". При ней вольготнее хватать, пороть и ссылать. Тюремное начальство запасалось розгами: телесные наказания возобновились даже там, где о них не слышали полтора десятка лет.
Негодующий народ переполнял улицы, и то тут, то там светилось зарницей красное полотнище с белыми, как молния, грозными словами: "Долой самодержавие!"
Пройдет десяток лет, и Ленин, вспоминая начало века, скажет: в те годы этот лозунг стал популярной народной поговоркой.
3
На столе Серебряковой пофыркивал самовар. Крутобокий, с четырьмя оттиснутыми медалями. И чайник на нем крутобокий, с махровой розой. И чашки под стать - как бочоночки.
Анна Егоровна, когда оставалась одна, любила пить чай из блюдца, поддерживая его кончиками всех пяти пальцев. Как купчиха!
Выпила чашку - налила другую. И тут вспомнила, что еще не развертывала утренних газет. Начинала она всегда с "Московских ведомостей". Потом брала самую реакционную газету "Гражданин" князя Мещерского, подпольщикам, забегавшим к ней, обычно говаривала: "Замыслы врагов надо знать и разгадывать". Под конец принималась за либеральные: "Посмотрим, что у межеумков... Какая-нибудь болтовня..."
Сегодня, развернув "Россию", она чуть не ахнула от неожиданности: широко разлегся фельетон с подозрительным названием "Господа Обмановы". А может, это только с первого взгляда? Может, нет ничего подозрительного? Может, показалось ей?..
Читала торопливо и с каждой строкой все больше и больше раскалялась яростью. Не ошиблась она. Тут что ни слово, то намек. И самый бессовестный. Будто автор тычет пальцем в мертвых и живых, начиная с прадеда Обмановых. Самый недогадливый и тот поймет: "Это же про... про их императорские величества".
Пальцы разжались, и газета упала на стол. Анна Егоровна недоумевающими глазами обвела пустую комнату, будто искала, у кого бы спросить.
- Да что же это такое?.. Господи!.. Не наважденье ли?.. В глазах рябит... Даже не верится, что не во сне...
Под фельетоном стояла подпись Old Gentleman. Но кто же не знает, что Старый Джентльмен - сам Амфитеатров, недавно основавший эту либеральную газету. В постыдном фельетоне - родословная дворянской семьи из поместья Большие Головотяпы. Портреты будто отраженье в зеркале. Прадед Никандр Обманов "бравый майор в отставке, с громовым голосом, со страшными усищами и глазами навыкате, с зубодробильным кулаком". Его сын Алексей - двоеженец с грустными голубыми глазами. Внук, благодетель дворянства, великан с тяжелыми холодными глазами, "высоко знамя держал-с" и сына своего Нику-Милушу воспитал в такой строгости, что у молодого Обманова, старавшегося подражать прадеду, в голове была каша.
"Как же это... Да возможно ли?.. - Анна Егоровна еще раз обвела комнату блуждающим взглядом и простонала: - Господи!.. Самодержца российского... каким-то Никой-Милушей!.. Что он сейчас переживает, бедный?.."
Снова взглянув на заглавие фельетона, Анна Егоровна почувствовала, что у нее сводит скулы от ярости, и она стала рвать газету в клочья. Мелкие обрывки падали по обе стороны ног и устилали пол.
Чай успел остыть. Анна Егоровна выплеснула его в полоскательницу и налила свежего, крепкого. Но кейфовать, наслаждаясь ароматом блаженного напитка, она теперь уже не могла, - пила прямо из чашки.
Взглянув на пол, сцепила пальцы рук в тугой замок и потрясла ими:
"Боже мой!.. А если в эту минуту явится кто-нибудь из них?.. Увидит изорвана газета с таким фельетоном!.. Тут, пожалуй, не сразу и найдешься, что ответить... Подозрительно! Они же все теперь восторгаются. Наверно, готовы этого Амфитеатрова на руках носить..."
И Анна Егоровна, переломившись в поясе, стала впопыхах собирать обрывки. Вот так-то лучше... И теперь уже всякого, кто заглянет к ней, она сможет встретить не только с полным спокойствием на лице, а даже с торжествующей улыбкой:

- Вы успели прочитать в "России"? Какое у него острое перо! Какая смелость!.. Представляю себе переполох в Зимнем! Они же, несомненно, все узнали себя. И этот Ника-Милуша - посмешище!.. А Амфитеатрову-то, - как вы думаете? - пожалуй, следовало бы скрыться за границу, пока не поздно.
Анна Егоровна отнесла обрывки в кухню, бросила в печь на горящие дрова.
"А некоторых можно и разыграть: "Нет, не читала. И ничего не слышала. Что там такое? Да не может быть! Так и в заголовке "Господа Романовы"?! "Обмановы"?! Ну, это все равно. Для всех прозрачно. Так что же там?.." Пусть посетители выложат себя до конца, вывернут душонку... Потом все Сергею Васильевичу".
А что же с фельетонщиком? Неужели погуливает на воле?.. Да таких надо вешать!
И Анна Егоровна с нетерпением ждала очередной встречи с шефом.
Он вошел с добродушной улыбкой на холеном лице, словно и не было постыдного фельетона. Когда упомянула о газете, шевельнул кистью руки:
- Дело уже прошлое. Государь повелел: газету закрыть, автора - в Сибирь.
- Мало. Поверьте, Сергей Васильевич, для меня этот фельетон как личное оскорбление. Того и гляди, в "Искре" перепечатают - пойдет звон по всей Руси.
- "Искре" уже недолго тлеть!
Анна Егоровна приподнялась: не ослышалась ли она? Зубатов подтвердил:
- Совсем недолго. Петр Иванович Рачковский* не зря слывет одним из богатырей разведки: Ульянова выследили! В Мюнхене он!

---

* П. И. Рачковский около двух десятилетий ведал в Париже царской заграничной агентурой.
- А я говорила: "Если Елизариха колесит по Германии, то..."
- Скоро доставят голубчика в Петербург. А мы в пре делах империи соберем всех агентов пресловутой "Искры". Из Киева мои "летучие" докладывают о богатых проследках. Намечается ликвидация. - Зубатов дунул изо всей силы легких, будто перед ним горела свечка. - Вот и все! Кошмарная память об "Искре" останется только в годовых "Обзорах важнейших дознаний".
В тот вечер Зубатов спешил поделиться с Мамочкой главной новостью его план шествия рабочих к памятнику "царю-освободителю" одобрен великим князем.
- Вы не сомневаетесь в моем успехе? - спросил, не гася улыбки на губах.
- Нисколько. У вас всегда сбывается задуманное. Но это, правда, нелегко. Так сразу...
- Не сразу. Слепов и его помощники ведут беседы на заводах и фабриках. Священники в церквах читают проповеди. На заводах уже собирают деньги на венок: кто жертвует гривенник, кто - пятиалтынный. Открою секрет: после шествия все через хозяев возместим жертвователям. Вот так, милейшая!
- Умно придумано! - всплеснула руками Анна Егоровна. - Это вам, Сергей Васильевич, как откровение господне! Иначе не назову.
Спустя несколько дней в мюнхенской типографии Максимуса Эрнста Иосиф Блюменфельд набирал заметку для шестнадцатого номера "Искры". В ней была дана расшифровка фельетона Амфитеатрова: Никандр Парфимович Обманов назван Николаем Павловичем Романовым, Алексей - Александром Вторым, его сын Алексей - Александром Третьим. Были расшифрованы также имена их жен. А дальше шли строки:
"...Николай II узнал себя в барчонке Нике-Милуше и "Высочайше" повелел строго наказать виновных. Наш самодержец сам находит, что портрет его удачно написан. И это заставляет вспомнить известную эпиграмму Пушкина:
В полученьи оплеухи
Расписался мой дурак".
4
Генерал-майор Новицкий, распахнув голубой мундир с красными отворотами, похаживал по просторному номеру "Европейской гостиницы". То проводил рукой по седой пышной шевелюре, то подкручивал усы, нафабренные до жгучей черноты. И брови его тоже были черны от фабры. С полных губ не сходила восторженная улыбка. Таких счастливых дней не случалось за его службу в жандармском корпусе! Такого банкета не бывало!..
...Василий Дементьевич - старый служака. Он надел мундир с белыми аксельбантами еще при царе-освободителе, ловил участников "хождения в народ", ловил народовольцев. Даже в молодости был не каким-нибудь мелким следователем, а начальником Тамбовского

губернского управления. До его приезда в губерний была тишь да гладь - ни одного ареста по политическим делам. Ленивый предшественник всю деятельность сводил к наблюдению за высланными. Он, Василий Новицкий, повернул там все по-иному. За особое прилежание и усердие получил раньше срока погоны полковника и был переведен в столицу. Уже тогда, по словам друзей, его считали "красой и гордостью" жандармского корпуса. Государь удостоил особого внимания доверил подготовку дел знаменитого процесса ста девяноста трех. Он, Новицкий, по шестнадцать часов в сутки проводил в Петропавловской крепости! Лично опросил более четырех тысяч человек, свезенных из двадцати шести губерний! Скрепил своей подписью сорок восемь тысяч листов! Рука отваливалась. Труд, возложенный на него, был поистине исполинским, но он с божьей помощью превозмог его. Молодой был, с железным сердцем. И теперь приятно вспомнить: о ходе дознания каждое утро докладывали самому императору! Редкая честь для следователя!
А в Киеве?.. Четверть века службы - это же сущий подвиг! В первый же год удалось повалить крамольную организацию. Да не просто, а с перестрелкой. При заарестовании было сделано шестьдесят выстрелов! С обеих сторон убитые и раненые. Самого бог миловал. А после военного суда восьми крамольникам были закрыты глаза на вечность мною! Зато государь император Александр Вторый на его, Василия Новицкого, телеграфном донесении изволил высочайше начертать: "Молодцы жандармы!"
Генерал остановился перед высоким зеркалом, приосанился, потрогал орден Владимира на шее и моргнул самому себе, будто хотел рассказать приятелю: "А вот еще было, когда служил в Москве... Забавный случай..." Да разве мало было их, забавных случаев? Но тот - особенный. Один богатый преступник задумал вырваться из его рук. И таким-то елейным голоском стал упрашивать разрешить ему воспользоваться частной баней для омовения. Карету просил нанять за его деньги и приставить двух жандармов, которые вошли бы с ним в банный номер. Не умаслил, не уговорил. А потом в дело легла перехваченная записочка к родной сестре, чтобы та подготовила пролетку с резвой лошадью и своим кучером. Не удался хитрецу злостный умысел!
Василий Дементьевич хохотнул и, закинув руки за спину, опять стал похаживать по номеру.
И еще один случай... Да не с каким-нибудь ординарным преступником - с князем! С Петром Кропоткиным! На допросах князь прикинулся больным и умолял перевести его для излечения в казенный госпиталь. Даже князя просьбу не уважил! Будто сердце чуяло, что из госпиталя он может легко учинить побег. И не ошибся! Когда дело поступило к судебным следователям, простофили удовлетворили просьбу князя, и тот совершил замысленное.
У него, Василия Новицкого, никто не убегал. Ни в столице, ни на юге. У него в Киеве не тюрьма, а могила! Там через его руки прошли отчаянные головы. Новая крамола успела пустить глубокие корни. Выдирал их, не жалея сил, отыскивал "шлепалки", пудами выгребал зловредную нелегальщину. И еще бы преуспел, если бы не эта отлучка. Зато здесь - такая радость. Совершенно неожиданная. Сегодня он, вместе с отменными чинами всего корпуса, удостоился величайшей чести: лицезрел самого государя! И своими ушами слышал слова монаршей благодарности! Будет что рассказать подчиненным по возвращении в Киев! Будет чем порадовать родных!
Василий Дементьевич снова остановился перед зеркалом, указательным пальцем подтолкнул вверх кончики усов, и теплая улыбка шевельнула его губы.
Нет, он еще не старик - мужчина среднего возраста. На вид никак не больше. Правда, шевелюра серебрится. Но это даже прибавляет импозантности. В день двадцатипятилетия беспорочной службы его карьера отнюдь не кончится, он еще и не подумает об отставке. Он еще поломает шеи крамольникам - марксистам да разным демократам, одним словом, слугам сатаны, противникам престола! И к его юбилею государь всемилостивейше пожалует еще орденок. Вон как сегодня благоволил корпусу жандармов!..
В столице Василий Дементьевич уже доживал неделю. Был весьма благосклонно принят самим Сипягиным, министром внутренних дел и шефом жандармов. Обласкан, даже удостоен шутки, хотя и неловкой:
- Искровцы к вам, генерал, напрашиваются, можно сказать, в родственники. - Шеф рассмеялся; как бы отыскивая слова, пошевелил пальцами, сложенными в щепотку. - Путь доставки своих преступных листков назвали "путем Дементия". С намеком! Как вы терпите, Василий Дементьевич?

- Прихлопнем, ваше высокопревосходительство.
- Пора бы уже, любезный.
- Дайте нам еще несколько деньков - улов будет богаче. Мы высветили более ста преступных личностей. С помощью летучих филеров Зубатова...
- Знаю. Но пока все мелкота, не правда ли?
- Крупные агенты "Искры", как я уже докладывал вам письменно, скоро съедутся на сговор. Тут мы их и накроем. Большую ликвидацию намечаем на первые числа февраля.
Шеф одобрил план Василия Дементьевича:
- Действуйте, генерал, решительно. В недалеком будущем возможен большой судебный процесс. У вас в Киеве. Государь, я полагаю, согласится. Готовьте.
- Благодарю, ваше высокопревосходительство, за доверие. - Новицкий встал, прищелкнул каблуками. - Постараюсь оправдать его.
- Учтите все. Потребуйте навести должный порядок в тюрьме. Всех агентов "Искры", дни которой сочтены, мы препроводим к вам. И труды ваши вознаградятся достойным образом. Бог даст, перемените эполеты на генерал-лейтенантские.
В тот же вечер, расчувствовавшись и надеясь на дальнейшую помощь, Василий Дементьевич отправил телеграмму Зубатову, хотя и ненавидел его, про себя называл штафиркой и выскочкой: "Благодарю большие услуги обнимаю крепко за ваших людей".
Через день открылся съезд начальников жандармских управлений. И там шеф, довольно лестно упомянув о нем, Новицком, просил всех напрячь силы: новому судебному процессу предстоит затмить все, что было в конце прошлого века. Смутьянство будет ликвидировано подчистую. В Сибири для могил места хватит.
А сегодня были счастливейшие часы в жизни - на банкет по случаю окончания съезда пожаловал своей собственной персоной государь. В сапогах, в простом мундире полковника. Такая скромность! Такое внимание верным слугам престола! Встал с бокалом шампанского и тихим голосом, будто отец сыновьям, сказал:
- Надеюсь: связь, установившаяся между мной и корпусом жандармов, будет крепнуть с каждым годом.
Вот и сейчас слова монарха ясно звучат в голове...
Василий Дементьевич повернулся посредине комнаты, застегнул мундир, еще раз взглянул на себя в зеркало и сжал кулак, слегка подернутый "гусиной кожей":
- Не ошибется государь в своих верных слугах. В том - слово дворянина!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Вот и закончена брошюра "Что делать?" - плод полугодовой работы, бессонных ночей, раздумий и волнений. Впрочем, волнения-то как раз и не кончились - они еще впереди. Что скажут о его труде товарищи? Как отнесутся к брошюре в России? Что будут говорить рабочие? Не покажется ли сложным его изложение теоретических вопросов? Как бы там ни было, а он стремился к тому, чтобы брошюра стала доступной российскому пролетариату.
Первым прочел Мартов; положив рукопись на стол, задумчиво почесал в бороде.
Владимир Ильич ждал, следя за его глазами. В них то вспыхивал запальчивый азарт, то вдруг приглушался. Длинные, словно у пианиста, белые и слегка дрожащие пальцы правой руки юркнули в карман пиджака, зашелестели пачкой сигарет:
- Ты уж извини... Твоя брошюра - сложное явление, и без курева я не могу...
- Готов терпеть, - усмехнулся Владимир Ильич. - Только ты со всей откровенностью. И без обиняков. Стоит издавать?
- Ну, этого-то вопроса я не ожидал! - Мартов выпустил дым в потолок, повернулся впалой грудью. - Тут каждая страница дышит крайней убежденностью автора в своей правоте и непоколебимости.
- А в целом?
У Мартова вдруг осекся голос. Покашляв, он заговорил с некоторым холодком:
- Я понимаю твое стремление дать критический анализ теории и практики российской социал-демократии. Но такая предельно жесткая полемика не могла не остановить моего внимания.
- Это, милый мой, кто как умеет.

- Не спорю. Могу даже предсказать, - Мартов поднял руку с дымящейся сигаретой, - твоя брошюра сыграет совершенно исключительную роль. И то, что я мог бы заметить, лишь мое личное читательское ощущение.
- Например?
- Хотя бы демократизм. Кое-где его недостает, в других местах - в избытке.
- А конкретно? Где? На какой странице?
- Пометок я не делал - говорю по памяти. Да вот хотя бы о профессиональных революционерах из рабочих. Не перегибаешь ли ты палку? Не переоцениваешь ли роль этих самых рычагов?
- Вот уж тут я никак не могу согласиться. - Владимир Ильич твердо опустил ладонь на стол. - Нам прежде всего недоставало профессиональных революционеров, вышедших из пролетарской среды. Не хватало таких, как Бабушкин. До крайности обидно, что он провалился. Но мы его не потеряем. Нет, нет. Поверь слову, он сбежит. Для таких орлов клеток не существует. В ссылку угонят? Тем более не удержат. А что касается рычагов... Ты знаешь, мне с юности Архимедова мудрость навсегда запала в голову. И партия у нас - точка опоры. Двинем рычагом - и трон полетит вверх тормашками, и вся жизнь переменится.
Когда Мартов ущел, Владимир Ильич машинально перевернул несколько десятков страниц рукописи:
"Что-то он недоговаривает... Ходит вокруг да около... Не ждал от него... А может, все это случайно, необдуманно? Ведь до сих пор мы понимали друг друга с полуслова... Может, от нездоровья? Какой-то он сегодня не такой, как всегда... Но значение брошюры Юлий почувствовал. А детали дойдут, когда еще раз вчитается".
Прочитала Засулич, стесненно сказала, что у нее нет замечаний. Ее стесненность была понятна, - Плеханов-то еще не читал и неизвестно, что он скажет.
Безусловно, полезно было бы узнать мнение Георгия Валентиновича. И мнение Аксельрода. И Потресова. Но посылать всем единственный экземпляр невозможно, - на это уйдет больше месяца, а медлить с брошюрой нельзя. Она до крайности нужна. Чем скорее выйдет, тем лучше. Да и посылать стало рискованно: недавно потерялось письмо к Аксельроду. Случайно ли? Нет ли слежки за их перепиской?
И Владимир Ильич, надписав на обложке свой новый, теперь уже любимый псевдоним - Ленин, отправил рукопись в Штутгарт, в типографию социал-демократа Дитца.
2
Когда-то, отвечая на беспокойный вопрос матери о своем житье-бытье, Владимир Ильич сообщал из Шушенского: "Сегодня пишешь одну работу, завтра - другую". Так было и теперь. Писал то в "Искру", то в "Зарю". Редкий номер газеты выходил без его передовой. А чаще всего, помимо основной статьи, он давал еще и несколько заметок.
Относительно деятельным литератором в редакции по-прежнему оставался один Мартов. И статью напишет, и заметки корреспондентов выправит, и корректуру прочтет. Но уж очень много времени Юлий отнимал разговорами, не относящимися к делу. Это утомляло и расстраивало. А что с ним поделаешь? Не выслушаешь до конца - обидится. Шутливые напоминания о ценности времени не действовали на Юлия, - он продолжал говорить, перескакивая с одной темы на другую.
Но надо же и его время беречь. Под этим предлогом Надежда Константиновна стала по утрам сама носить ему почту для ознакомления. И это не помогло. Прочитав письма, Юлий не садился за стол, а шел к Владимиру Ильичу:
- Я на минуту.
Минута превращалась в часы.
К счастью, в Мюнхен приехал с семьей его знакомый, бежавший из вятской ссылки, и Мартов стал целые дни проводить у них.
У Ленина много времени отнимала беспрестанная борьба с идейными противниками марксизма, и он постоянно находился в состоянии задорного и неугомонного полемиста. Еще была в разгаре борьба с "экономистами" из журнала "Рабочее дело", а на горизонте политической нелегальщины уже обнаружилась эсеровская "Революционная Россия" с ее призывами к терроризму. "Искра" уже не однажды осуждала террор, в частности в статье Веры Засулич, но Владимир Ильич чувствовал, что борьба с нарождающейся шумной авантюристической организацией еще впереди. К ней надо быть готовым. А тут еще Струве, окончательно сбросив

маску легального марксиста и став прислужником либеральных помещиков, затевает в Штутгарте свой двухнедельник "Освобождение", и с ним предстоит вести напряженную борьбу. Но самым главным и неотложным делом Владимир Ильич считал создание программы партии. Забота о ней не покидала его ни на один день. Кто ее напишет? Ясно - Плеханов. Может, еще Павел Борисович Аксельрод. Больше некому. Так и написал Георгию Валентиновичу еще в начале июля прошлого года. Товарищам по мюнхенской части редакции сказал:
- Другого автора я не вижу.
- Только Жорж! - подтвердила Засулич.
- Да-а, пожалуй... - шевельнул узкими плечами Мартов. - Хотя и здесь...
- Без всякого "хотя". - Вера Ивановна стукнула кулачком по своему колену. - Жорж - старейший русский марксист, самый эрудированный! Вы что, забыли об этом?
- Отлично помню, Велика Дмитриевна. Среди ночи разбудите, скажу то же самое, что вы. Но его занятость... А мы бы здесь...
- Ты берешься? - спросил Ленин, всматриваясь в Мартова, словно в незнакомого человека.
- Если явится надобность, то мог бы...
- Посильное участие мы примем все, когда будет для этого основа. Программа требует - это, по-моему, ясно каждому - громадной обдуманности формулировок, а при нашей здешней сутолоке сосредоточиться и подумать хорошенько совсем невозможно. Я, между прочим, так и написал Георгию Валентиновичу.
- И правильно сделали! - подхватила Засулич.
- Все ясно. - Мартов кинул на взлохмаченную голову мятую шляпу, взглянул на Веру Ивановну. - А нам с вами... Помните у Островского? "Мы актеры, наше место в буфете". А мы эмигранты, и наше место в кафе!
Когда они ушли, Надежда сказала:
- А Юлию-то очень хочется самому...
- Ему, похоже, программа даже снится, но... Пока не по плечу. А беда Плеханова в том, что за долгие годы эмиграции он оторвался от русской жизни, от российского пролетариата.
- Его трагедия!
- Да, пожалуй, не только беда, а и трагедия. Но к Плеханову-теоретику мы должны прислушаться.
Плеханов ответил согласием. Ему требовалось время только для того, чтобы повидаться и посоветоваться с Аксельродом. И Владимир Ильич поспешил подбодрить:
"Очень меня обрадовало известие, что Вы с П. Б. увидитесь и займетесь программой. Это будет громадным шагом вперед, если мы с таким проектом, как Ваш и П. Б., выступим перед публикой. И дело это - самое настоятельное".
И Аксельрода тоже подбодрил: "Мы очень на Вас надеемся насчет программы".
Летом Владимир Ильич не решался торопить ни того, ни другого, - пусть отдохнут, погреются на альпийском солнышке, погуляют по берегам горных озер. После этого со свежими силами примутся за дело. Но не беспокоиться не мог, завел разговор с Засулич. Та принялась успокаивать:
- Поймите: в Женеве Жоржу помешала жара, а в горах непременно напишет. Он - обязательный человек. Уж я-то его знаю. И волноваться вам нечего.
А через неделю:
- К сожалению, Жоржу не повезло в горах: сыро и холодно, бесконечные дожди и туманы. Вернулся в Женеву. Теперь примется за программу. Слово для него - закон.
Но миновало лето, промелькнула осень, а проекта программы все не было. Лишь в конце ноября Георгий Валентинович наконец-то обрадовал: работает!
- Я говорила: Жорж - человек дела! - ликовала Вера Ивановна.
- Но он только начинает писать. Потеряно пять месяцев. А программу-то ждут во всех концах России. Она нужна всем комитетам и кружкам. Безотлагательно нужна.
- Жорж не подведет.
Владимир Ильич волновался потому, что горячие головы в России требовали немедленного созыва второго съезда, даже называли даты открытия, в особенности усердствовал Бунд. Чего доброго, кто-нибудь в спешке настрочит программу. Какую-нибудь куцую и беззубую. Тогда будет труднее. Программа должна быть по-марксистски боевой, пламенной, а пламя породить положено "Искре", общепартийной газете.

Что же делать? Остается единственное - набраться терпения. Торопить уже бесполезно. Плеханов при его характере может счесть за назойливость. Может и обидеться, - он, дескать, сам не хуже других знает, что программу ждут. Ответит какой-нибудь колкостью.
Прошли рождественские праздники. Прошел Новый год... Плеханов молчал.
Молчал и после новой, довольно настойчивой бомбардировки письмами.
Но однажды утром появился "дипломатический курьер" в образе Веры Ивановны. Светло-серые глаза ее сияли, на тонких губах плескалась довольная улыбка. Она с торжествующим жестом вручила пакет с женевскими почтовыми штемпелями:
- Не считайте Жоржа должником!.. Я говорила: обещал - сделает.
Ленин нетерпеливо достал из пакета несколько листков, исписанных знакомым размашистым почерком, и недоуменно повертел их перед собой:
- И это все?! Я понимаю, программа не должна страдать многословием. Четкость формулировок для нее - главное достоинство. Но уж что-то очень кратко.
- Но это же - Плеханов! У него слово - золото! - кипятилась Вера Ивановна, заправляя за уши рассыпающиеся пряди волос. - Он никогда не растекается мыслью по древу. Это его стиль.
- Очень хорошо. А вам, Велика Дмитриевна, спасибо за доставку.
Читали втроем, передавая листки из рук в руки. (Вера Ивановна не отказала себе в удовольствии прочесть еще раз.) А когда дочитали до конца, Владимир Ильич разочарованно вздохнул:
- Н-да. Более чем кратко. Это, Велика Дмитриевна, еще не программа, а только черновой набросок. У меня будут замечания.
- Говорят, велика беда - начало. Оно уже есть, - сказала Засулич. - А замечания и я могу сделать. Было бы к чему. И Жорж, уверена, прислушается. Его напрасно считают гордым да самолюбивым. Уж я-то, слава богу, знаю его. Пишите. Он учтет. Сделает второй вариант.
- Буду очень рад. А потом обсудим. Может быть, хоть ради этого удастся собрать редколлегию в полном составе.
За обедом Надя сказала с тихой, добродушной улыбкой:
- Не годишься ты, Володя, в дипломаты!.. Она же все распишет Плеханову. И от себя добавит.
- Ну, на это Велика не пойдет. Будет точна, как стенограф. А узнает Плеханов, что я пишу замечания к его наброску, даже лучше: мои строчки не будут неожиданными. Молчать я не могу. Ведь если его странички напечатать под заглавием "Программа", то и ему самому и всем нам будет стыдно.
- Правду, видно, говорят, что и на старуху бывает проруха, рассмеялась Елизавета Васильевна.
- Верно! - подхватил Владимир. - Большая проруха! И совершенно непонятная для меня. Капиталистический строй он почему-то называет "экономической особенностью", утверждает, что средства производства буквально все средства! - принадлежат капиталистам, будто нет в России ни землевладельцев, ни мелких производителей. А пролетариат у него составляет "большинство населения". Но он же должен знать, что не только в отсталой России, а во многих странах пролетариат пока еще не составляет большинства населения.
- Но он говорит о диктатуре пролетариата, - напомнила Надя.
- Да. Это у него - рациональное зерно. Однако и тут понадобятся некоторые уточнения.
- А ты не думаешь о своем проекте? Ты же писал. Еще в тюрьме молоком. Потом - в нашей Шуше.
- Я и теперь попытался бы... Но подождем второй проект Плеханова. Если я сейчас предложу свой - это ранит его. И, боюсь, не только его одного. Ты же знаешь Веру Ивановну... Да и Аксельрод, его ближайший друг... Голоса могут разделиться. Тройка - на тройку. Это в лучшем случае. Ведь еще неясно, какую позицию займет Потресов.
- Тройка - на тройку. Ты, Володя, говоришь страшные слова.
- Всегда полезно быть готовым к худшему. И принципиальность всего дороже. Я продолжаю верить в Плеханова, но, если и новый его проект окажется с такими же изъянами, придется писать.
И второй проект Плеханова оказался совершенно неприемлемым. Он даже не походил на программу партии пролетариата, борющегося против реальных проявлений весьма определенного капитализма, сложившегося в России, а напоминал некую программу экономического учебника, посвященного капитализму вообще. И самым прискорбным было то, что он содержал отклонения от известных принципов Коммунистического Манифеста.

Прочитав новый проект, Мартов потряс в воздухе обеими руками:
- Я говорил: надо здесь. Самим.
- Пойми, Юлий, - втолковывал Владимир Ильич, - мы не могли, не имели права обойти Плеханова. При его всеевропейском авторитете среди социал-демократии, при его эрудиции...
- А что получилось? Позор! - Мартов рванул на себе галстук. - Как теперь выходить из положения? Как будем смотреть ему в глаза?
- Прямо. И резать правду, хотя он и Плеханов.
- Интересно мне, как он встретит твою правду. Это же будет драма! Даже в нескольких действиях!
- Будем терпеливыми. И настойчивыми.
И Ленин написал пространные замечания на второй проект. Плеханов не захотел посчитаться с ними. Он пришел в такую ярость, что не мог написать даже Мартову, не говоря уже о Владимире Ильиче, а снова отправил письмо своей посреднице. И не привел ни одного принципиального замечания.
Вера Ивановна растерялась и о письме сказала суматошно:
- Жорж недоволен... Жорж взволнован... Я опасаюсь за его сердце... И как нам теперь быть?.. Ума не приложу.
- У нас же есть решение: собрать всех соредакторов, - напомнил Ленин. - Надеюсь, Георгий Валентинович на этот раз не откажется приехать. Хочется верить - найдем общий язык. Ради дела.
3
"Не то, - Аксельрод, слегка почмокав губами, отхлебнул еще ложечку кислого молока. - Не то. Мой кефир лучше. Впрочем, я это предвидел. Мой вкуснее".
Он приехал в Мюнхен ранним поездом и решил позавтракать в вокзальном ресторане. Тут его и отыскал Владимир Ильич:
- Я очень, очень рад, Павел Борисович, что вы приехали. Здравствуйте. Как добрались? Не утомил вас ночной путь?
- Хвалиться нечем. Знаете наши горные дороги: так кидает из стороны в сторону, что и подремать не удается. Но я это предвидел. А спешил потому, что волнует меня эта неожиданная, как бы сказать, размолвка.
- Вы извините, что я опоздал вас встретить, - трамвай подвел.
- Ничего. Я решил здесь позавтракать. И вот пробую немецкое кислое молоко. Действительно, кислое. Далеко ему до моего кефира.
- Я не знаток, не дегустатор. Но, помню, ваш кефир отличный!
- Положительно всем клиентам нравится!.. Не знаю, как там без меня мои домашние присмотрят за ним.
- Я думаю, ваша отлучка не будет долгой. Жаль, не может приехать Старовер*: доктора не отпускают. А хотелось бы всем вместе. Хотя бы единственный раз. Ради такого случая. Хорошо, что вы приехали. Квартиру я для вас нашел. Удобную. Надежную. И недалеко от нас.

* А. Н. Потресов.

Собеседники расспросили друг друга о здоровье родных, потом заговорили о погоде, о вестях из России, о ближайших номерах "Искры" и о работе ее агентов. И ни тот, ни другой не проронили ни единого слова о предстоящем обсуждении проекта программы: не хотели говорить о ней до приезда Плеханова.
Георгия Валентиновича встречали среди дня.
Одетый в легкое пальто и фетровую шляпу, с тросточкой в руках, он, несмотря на средний рост, на верхней ступеньке вагона выглядел величественным и несколько надменным.
Осенью в Цюрихе он, блиставший красноречием, напоминал Надежде Константиновне актера, довольного своим бенефисом, между заседаниями был весел, сыпал остроты. Сейчас неожиданно показался надутым индюком.
"Ой, нелегким будет разговор, - тревожно подумала она. - Володя опять разволнуется, ночи не будет спать..."
Но сравнение с индюком ей показалось неловким, и она, осуждая себя за это, смущенно отвела глаза.

Тем временем Плеханов не спеша спустился на перрон; сняв лайковую перчатку, галантно поцеловал ей руку, потом - Вере Ивановне, подчеркнув при этом, что Розалия Марковна приказала кланяться. Перед Аксельродом раскинул руки:
- Ты уже здесь, мой старый друг! - Взял его за локти. - Благодарю за встречу!
Перед Мартовым шевельнул шляпу и, подавая руку, как бы одарил:
- Здравствуйте, коллега!
Владимиру Ильичу сказал с подчеркнутой сдержанностью:
- Привет непоколебимому оппоненту.
- Добрый день. - Ленин пожал его вялые пальцы и, переходя на французский, предостерег, что им лучше бы здесь, вблизи полицейских, не пользоваться русским языком.
За себя Плеханов не опасался, - он приехал с паспортом сына одного московского фабриканта, но, заботясь о других, одобрительно качнул головой и тоже заговорил на отличном французском. Он сожалеет, что товарищи по редакции не сочли возможным приехать к нему в Женеву: Розалия Марковна угостила бы своим кофе. Многие из их гостей отмечали, что ее кофе всегда изумителен.
- Могу и я подтвердить, - сказал Владимир Ильич и добавил, что их ждут в кафе "Европейский двор", где они могут отдать должное немецкой кухне.
Кафе находилось неподалеку от вокзала, и через несколько минут они уже оказались в укромной комнате с панелями из мореного дуба, с готическими окнами и замысловатым переплетом черных матиц под высоким потолком. Плеханов, в новеньком сюртуке и белоснежной сорочке, с неторопливыми жестами человека, ценящего свое достоинство, походил на преуспевающего адвоката европейской известности, и Владимиру Ильичу невольно вспомнился рассказ Веры Ивановны: "Поспешно уезжая в эмиграцию, Жорж вывез в баульчике единственную красную рубаху, в которой "ходил в народ", и булку ржаного хлеба". А сейчас революционеры, наезжающие из России в Женеву, разочарованно называют его "социал-демократическим барином". И не случайно! Вот и сегодня он перед всеми держится с подчеркнутым превосходством, посматривает с холодком обиженного метра. Зачем он так? Перед ним ведь не мальчики, не приготовишки.
Той порой Георгий Валентинович, поглаживая двумя пальцами аккуратно подстриженную бородку, выждал, пока сели дамы, и, поправив бортики сюртука, опустился на стул у торцовой стороны стола. Владимир Ильич сел по другую сторону лицом к нему.
Почтительный кельнер с тощими и как бы прилизанными седыми волосами поставил перед ними по кружке пива, принес жареное мясо на продолговатых тарелках с разнообразным гарниром в углублениях по углам. Плеханов к пиву не притронулся, попросил сразу кофе.
- Этак немец может обидеться, - сказал Аксельрод и, хотя ему тоже не хотелось пива, отпил несколько глотков.
- А я не откажусь и от двух кружек, - сказал Мартов. - Могу выручить...
- Сделайте одолжение. - Плеханов резко подвинул к нему свою кружку и, подавляя вдруг вспыхнувшее раздражение, сказал с едва заметной улыбкой: А кофе у них пахнет аппетитно!
- Ну, что ж... "Начнем, пожалуй". - Георгий Валентинович натянуто улыбнулся, обвел глазами собравшихся, как бы проверяя, принята ли цитата за остроту, и остановил ледяной взгляд на Ульянове. - Я готов выслушать.
Владимир Ильич встал, начал спокойно и уверенно:
- Мои письменные замечания уже известны всем. Я повторю лишь главное. Второй проект Георгия Валентиновича считаю тоже неприемлемым.
Аксельрод пожал плечами. Ленин повернулся к нему:
- Это отнюдь не голословное заявление, Павел Борисович, тому будут доказательства. Во втором проекте опущено указание на диктатуру пролетариата, которое было в первом варианте. Между тем каждому марксисту известно...
Плеханов, громко кашлянув, откинулся на спинку стула и поджал руки:
- Продолжайте. Я полон внимания.
- ...известно, что признание необходимости диктатуры пролетариата самым тесным и неразрывным образом связано с положением Коммунистического Манифеста, что только один пролетариат есть действительно революционный класс.
Засулич, вскочив, рванулась в бой:
- Но у Георгия Валентиновича сказано о борьбе трудящейся и эксплуатируемой массы.

- В этом и дело, Велика Дмитриевна, - подчеркнул Ленин. - Пролетариат подменен безликой трудящейся и эксплуатируемой массой.
Засулич сказала еще что-то невнятное, запуталась и, покраснев, села.
- А я, пожалуй, к этому замечанию прислушаюсь, - сказал Плеханов. Точнее - вернусь в этом пункте к своему первому проекту, хотя и могу заметить в скобках, что со времен появления Манифеста прошло, как известно, полвека, и с тех пор многое изменилось.
- В этом отношении как раз ничего не изменилось, - возразил Ленин.
- Ну, хорошо, хорошо. - Плеханов, сверкнув орлиными глазами, покачал над столом простертыми руками, как бы приглушая спор. - Я же сказал: при-слу-ша-юсь. Что у вас там дальше?
"Виляет Плеханов!" - отметил про себя Владимир Ильич и продолжал излагать замечания: программа походит на учебник, она непригодна для партии российского пролетариата потому, что уклоняется от конкретных обвинений русского капитализма, и потому, что в ней нет объявления войны русскому капитализму.
Мартов, отпивая глоток за глотком пиво из кружки Жоржа, иногда хрипловато поддакивал Ленину, но больше молчал. Он не сомневался в том, что, если будет забракован проект Плеханова, тогда пойдет речь о другом авторе.
Когда Владимир Ильич изложил все свои замечания, Георгий Валентинович встал и решительными жестами удержал от реплик Аксельрода и Засулич.
- Мне преподан урок политической грамоты, - сказал он, сложив руки на груди. - И дискутировать о моем новом проекте сейчас я считаю бессмысленным.
- Я это предвидел, - сказал Аксельрод, вороша волосы. - Невольно напрашивается предложение передать его на усмотрение Заграничной Лиги социал-демократов.
Плеханов промолчал. Ленин возразил, рассекая воздух ребром ладони:
- "Искра" общепартийный орган, и программа должна быть порождена ею. И никем другим.
- Но что же делать, если неблагополучные роды затягиваются, - развел руками Плеханов.
Мартов, отодвинув вторую опорожненную кружку, ерзал на стуле:
"Я же предвидел, как любит говорить Аксельрод, что так пойдет... Если теперь программу напишет Фрей, встанет на дыбы Жорж. Он и без того в последние месяцы в каждом письме поучал Фрея: "Смягчите статью об аннибалах либерализма. Либерализм не надо гладить против шерсти. Это большая ошибка!" Может, и прав был. По проекту Фрея тоже не упустит случая... Вот тут-то и понадобится третий автор..."
Решили срочно запросить мнение Потресова. Но Плеханов, опасаясь, что при этом голоса могут разделиться поровну, сказал, что он уже сейчас хотел бы знать, кто согласен вотировать его проект.
Аксельрод потер виски:
- Извините, друзья, но у меня разламывается голова. Я больше не могу ни секунды... Должен прогуляться, подышать свежим воздухом...
Голосовали без него. Как и следовало ожидать, голоса разделились пополам.
- Остается единственное, - снова вскочила Вера Ивановна, - создать комиссию, которая могла бы взять лучшие и бесспорные пункты из проекта Георгия Валентиновича. В комиссию предлагаю Мартова...
- Вас, - подсказал Плеханов.
- Могу и я принять участие, - охотно согласилась она. - И в качестве нейтрального и совершенно беспристрастного человека предлагаю Дана*.

---

* Будущий меньшевик.

- Зачем же Дана?! - возмутился Ленин. - Нужно все делать самим. И не выносить сора из избы в угоду нашей, полагаю, временной недоговоренности.
Но неожиданно для него Мартов крикливо поддержал Засулич.
- В таком случае, - Ленин встал и, распахнув пиджак, упер кулаки в бока, - я незамедлительно сяду за письменный стол.
- Пожалуйста! - Плеханов, сверкнув глазами, опять поджал руки. - Это даже облегчит работу комиссии. Она может и у вас взять что-то приемлемое.

- На усмотрение Дана? Ну, нет. Я представлю свой проект, - твердо чеканил Владимир Ильич, подкрепляя слова энергичными жестами, - на усмотрение всех соредакторов "Искры". Только так.
- Узнаю вашу жесткость, - заметил Плеханов, подушечками пальцев погладил ершистые кустики седеющих бровей. - Могу согласиться: для начала рассмотрим сами. А там будет видно.
- Дьявольски тяжелое было заседание! Архитяжелое! - говорил Владимир Ильич, быстро шагая по комнате. - Не ждал такого. Размолвки с Плехановым, сама видишь, превращаются в принципиальные расхождения. А мне этого не хотелось бы. Сейчас нам более всего необходимо твердое единство.
- Успокойся, Володя. Это же не разрыв, - мягко и ласково говорила Надежда. - И вот увидишь, все наладится. Напишешь свой проект. Прочтут. Может, еще раз соберетесь. Обсудите мирно.
- Едва ли. Я в принципиальных вопросах не уступлю. А он?.. Сама видела, как дуется. Посмели не посчитаться с каждым его словом!.. И это бы еще куда ни шло, можно бы терпеть. А вот его зигзаги, его виляния, его заступничество за либералишек!.. Не ждал.
Опасаясь, что на мужа опять навалится бессонница, Надя позвала его на прогулку.
Город спал. Где-то в центре еще громыхали трамваи, а здесь, на окраине, было тихо и безлюдно. Колыхаясь в воздухе, медленно падали пушистые снежинки; приятно освежая, таяли на щеках.
Ульяновы тихим шагом несколько раз прошли мимо своего дома, старались разговаривать о самом приятном, что только было в их жизни; вспоминали Питер, Волгу, своих родных, прогулки по шушенскому бору...
Вернулись повеселевшие.
Но и после этого Владимир Ильич долго не мог заснуть.
А на следующее утро, ни на минуту не откладывая наиважнейшего дела, принялся за свой проект программы. При этом он так же, как два с половиной года назад в Шушенском, вспомнил программу, составленную группой "Освобождение труда" в 1885 году. Та программа содержала в себе ряд верных положений о промышленном пролетариате и находилась на уровне социал-демократической теории своего времени, но она была программой группы заграничных революционеров, не видевших еще перед собой сколько-нибудь широкого и самостоятельного рабочего движения в России, а теперь нужна боевая, практическая программа рабочей партии, подымающейся во главе пролетариата на решительную борьбу с царизмом и классом эксплуататоров - за коренное преобразование всего общества.
Владимир Ильич достал из коробочки новое английское перо, свое любимое, и быстро, успевая за развитием мысли, набрасывал строку за строкой. Его работа облегчалась тем, что он писал программу уже третий раз. Еще семь лет назад в тюрьме он разделил ее на три главные части: в начале - основные марксистские воззрения на современное российское общество и положение рабочего класса, во второй части - задачи партии, в третьей - ее практические требования. Во время ссылки, в своем втором проекте он все сопроводил пояснениями. И сейчас основные формулировки, давно обдуманные и выверенные, у него в памяти. Главная и наипервейшая задача - ниспровержение абсолютизма, замена его демократической республикой и уничтожение частной собственности на средства производства. Диктатура пролетариата обеспечит для трудящихся все основные свободы и права, в том числе право на "всеобщее даровое и обязательное до 16 лет образование". Закончив этот раздел, Владимир Ильич отнес рукопись жене, а сам перешел к изложению требований партии.
Когда Надежда Константиновна вошла с прочитанными листками в руках, он, взглянув на ее лицо, по сиянию глаз понял: начало ей понравилось.
- Хорошо, Володя! Все очень-очень хорошо! - сказала она. - Только я опасаюсь...
- Возражений Плеханова?.. С серьезными замечаниями я соглашусь. А если он и его друзья ударятся в амбицию... Ну что же. Мы еще поборемся.
Приняв листки из рук жены, Владимир Ильич подчеркнул последние слова.
- Ты ничего не сказала, а о народном образовании я хотел бы слышать твое слово.
- Я думаю так же, как ты: всеобщее, обязательное. И, безусловно, даровое. Да еще бы для детей бедных - пищу, одежду, учебники...
- ...за счет государства, - договорил за нее Владимир Ильич. - Так и напишем. О детях будет наша первая забота.

И опять склонился над столом. Уточнял и пополнял требования: "В интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного вырождения, а также в интересах повышения его способности к борьбе за свое освобождение". Тут и восьмичасовой трудовой день, и запрещение сверхурочных работ, а также ночного труда, где без него можно обойтись по техническим условиям, и воспрещение предпринимателям пользоваться наемным трудом детей до пятнадцатилетнего возраста, и запрещение выдачи заработной платы товарами, и установление государственных пенсий престарелым рабочим...
Требования по крестьянскому вопросу были заранее изложены на отдельном листке. Среди них - конфискация монастырских имуществ и удельных имений, обложение "особым налогом земель крупных дворян-землевладельцев, воспользовавшихся выкупной ссудой*; обращение сумм, добытых этим путем, в особый народный фонд для культурных и благотворительных нужд сельских обществ".

---

* За "выкупную ссуду" царизм взимал с крестьян высокие поборы.

Владимир Ильич помнил: в проекте Плеханова требованиям по крестьянскому вопросу предшествовала куцая и бесстрастная фраза: "В целях же устранения остатков старого крепостного порядка..." Этого явно недостаточно. И он добавил: "и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне" партия будет добиваться того-то и того-то. Эту добавку он будет отстаивать до конца, если к Плеханову даже присоединится комиссия.
Вялые слова плехановского проекта "Стремясь к достижению..." Владимир Ильич заменил энергичными: "Борясь за указанные требования..." Программа марксистской рабочей партии должна каждой своей строкой, каждым словом звать вперед, к борьбе и победе.
В первой половине марта Плеханов, прочитав проект программы, написанный Лениным, начал исподтишка искать себе сторонников: Аксельроду написал, что считает проект неудовлетворительным и что лучше всего воспрепятствовать его принятию, а Вере Засулич, которую в переписке называл Сестрой, отправил сердитое письмо, похожее на директиву: "Прошу Вас, поставьте на вид Бергу*, что навязывание нам программы Фрея н е в о з м о ж н о. А как быть с Фреевой программой, если ее примут? Я не могу признать ее п р и н ц и п и а л ь н о. Обдумаете ли Вы это? Неужели - раскол?"

---

* Ю. О. Цедербауму (Мартову).

Собственную амбицию он возводил в принцип.
Но ему не удалось склонить на свою сторону Потресова. Тому, "п о с в о е м у т и п у и п о с в о и м н а м е р е н и я м", больше нравился проект Ленина, чем проект Плеханова, "к а к о й-т о н е п о д х о д я щ и й". Потресов понял, что Плеханов встал в позу обиженного, а Вера Ивановна, судя по ее замечаниям на рукописи проекта Ленина, немного разозлилась. Голоса опять разделились поровну, и оба проекта были переданы в комиссию. Дан к тому времени оказался в России под арестом, и Мартов торжествовал: проект комиссии будет написан его рукой!
В те же дни Потресов порадовал Ленина письмом о брошюре "Что делать?".
"Два раза сплошь и подряд прочел книжку и могу только поздравить ее автора. Общее впечатление - несмотря на видимый спех, отмеченный автором, - превосходное".
Популярность брошюры превзошла все ожидания автора, - для профессиональных революционеров она стала руководством к действию. Ее широко читали и в рабочих кружках.
Самый деятельный из летучих агентов "Искры" Иван Иванович Радченко, брат Степана Радченко, отправленного жандармами в киевскую тюрьму, написал редакции из Питера о днях, проведенных "в обществе нескольких сознательных рабочих-слесарей", будущих "своих Бебелей":
"Сижу и радуюсь за Ленина, вот, думаю, что он наделал. Мне ясно было, что говорящие со мной его читали, и выкладывать свое резюме мне не для чего. Указываю только на некоторые принципиальные места, конкретно излагаю план общерусской работы, какой рекомендует Ленин".
Радченко посетовал на то, что Ваня, как называли Петербургский комитет, состоявший из интеллигентов, преимущественно зараженных "экономизмом", "сожрал" семьдесят пять экземпляров брошюры и не дал ни одного Мане - рабочей организации. И продолжал о своей встрече с мастеровыми:

"Я был поражен, передо мной сидели типы Ленина. Люди, жаждущие профессии революционной. Я был счастлив за Ленина, который за тридевять земель, забаррикадированный штыками, пушками, границами, таможнями и прочими атрибутами самодержавия, видит, кто у нас в мастерских работает, чего им нужно и что с них будет... Передо мной сидели люди, жаждущие взяться за дело не так, как берется нынешняя интеллигенция, словно сладеньким закусывает после обеда, нет, а взяться так, как берутся за зубило, молот, пилу, взяться двумя руками, не выпуская из пальцев, пока не кончат начатого, делая все для дела с глубокой верой "я сделаю это". Повторяю еще раз, что таких счастливых минут в жизни у меня не было еще".
И в другом письме, тоже из Питера, он снова делился радостью:
"Везде оперирую ленинским плугом, как самым лучшим, производительным возделывателем почвы. Он прекрасно сдирает кору рутины, разрыхляет почву, обещающую произвесть злаки. Раз встречаются на пути плевелы, посеянные "Рабочим делом", он всегда уничтожает их с корнем. Замечательно!"
4
В начале 1902 года осуществилась мечта Владимира Ильича - "Искра" стала выходить два раза в месяц. Достаточно оперативная и вместительная газета - по шесть да по восемь полос, набранных мелким шрифтом.
Хлопот и забот в редакции прибавилось, в особенности после того, как Иосиф Блюменфельд, обидевшись на два восклицательных знака, поставленных в корректуре против строки, где он допустил новую ошибку, капризно снял фартук.
- Все!.. Нет, нет, не уговаривайте, - заявил с подчеркнутой заносчивостью. - Ищите другого наборщика. А я, если надо, лучше займусь транспортировкой.
- Особой нужды сейчас нет, - охладил его Владимир Ильич.
- Ах, вам стал не нужен Блюменфельд! Но он еще может...
- Уже амбиция. Поберегли бы нервы.
У Иосифа Соломоновича осекся голос:
- Мои способности транспортера вы еще оцените. Дайте явки - в любой город доставлю в лучшем виде!
Владимиру Ильичу хотелось сохранить Блюменфельда для дела, и он смягчился:
- Ну что же. Явки дадим.
Другого русского наборщика найти не удалось. "Искру" стали набирать немцы, незнакомые с русским языком. Это осложнило редакционную работу. Пришлось купить машинку и перепечатывать так, чтобы каждая строка рукописи укладывалась в газетную строку. А кто этим займется? У Надежды Константиновны и без того не оставалось ни минуты свободной.
- Есть одна эмигрантка, - припомнил Мартов. - Аккуратная, энергичная. И наша - из недр "Союза борьбы".
- Из питерского?! - переспросил Ленин. - Так что же ты молчал?
- У нее, к несчастью, двое мальчуганов.
- Почему "к несчастью"? Дети всегда к радости. Будем помогать. Авось и ты научишься нянчиться.
- Пожалуй, не понадобится, - мать собирается отправить их к родным в Россию.
- А не напрасно ли? Дети не должны отвыкать от матери.
- У нее уже решено. А для нас она, уверен, будет незаменимой.
- Приглашай. Сегодня же.
Вера Кожевникова, двадцативосьмилетняя женщина, круглоглазая, пышноволосая, штопала чулки для младшего сына, когда за ней пришел Мартов. Выслущав его, зарделась от волнения:
- Работать в редакции "Искры"?! Да справлюсь ли я? Рядом с самим Ульяновым! Такое даже не могло присниться.
Она вспомнила Питер, "Союз борьбы". Им, кружковцам, не доводилось видеться со Стариком. Они даже не знали ни его подлинного имени, ни фамилии, - он был для них какой-то легендарной личностью. Но в революционном движении девяностых годов уже чувствовалось его глубокое знание марксизма, его эрудиция, его энергия и недюжинный талант организатора и публициста. Она, Вера, узнала, что Старик - это Владимир Ульянов, лишь тогда, когда его отправили в ссылку. Социал-демократы торопили время: скорей бы прошли эти три года! Скорей бы он вернулся в Питер!.. А той порой и ее сослали в Вятскую губернию. Через

некоторое время туда дошел написанный Ульяновым "Протест российских социал-демократов"...
И вот сейчас она пойдет к нему, Старику, теперь уже известному под псевдонимом Ленин, к автору боевой брошюры "Что делать?". Как-то он встретит ее? О чем поведет разговор? От робости перед его авторитетом не сказать бы какой-нибудь глупости...
По дороге Мартов не умолкал ни на секунду, и робость Веры перед близкой встречей несколько приутихла.
Владимир Ильич сам открыл дверь.
- Входите. Рад вас видеть. - Долго и горячо жал руку, будто старой знакомой, с которой не виделся много лет, позвал жену: - Надюша, к нам пришли. Это - Вера. А отчество, простите, не знаю.
- Васильевна. А здесь - просто Наташа.
- Отлично. Так и будем звать. А вы, я слышал, из нашего старого "Союза борьбы"? Вот где довелось встретиться с питерской единомышленницей.
И у Веры Васильевны неожиданно повлажнели глаза, как виноградины в росистое утро.
Потом они все, сидя в комнате Владимира Ильича, разговаривали о Питере, о рабочих кружках, о стачках, потрясавших столицу в памятное для них время. У них оказались общие знакомые, о которых было что вспомнить. Тут же и договорились о работе.
- Вот вам ремингтон, - указал Владимир Ильич на пишущую машинку. Осваивайте.
Вера Васильевна подошла к столу; отыскивая нужные клавиши, ударяла одним пальцем. Рычаги били снизу валика. Повернув его, прочла: "В добрый час", похвалила четкий шрифт, сказала, что, если потребуется, может и корректуру читать.
- Великолепно. Корректора нам как раз недостает, - отозвался Владимир Ильич. - А корректура после наборщиков, не знающих русского языка, стала архитрудной. Но вы не робейте - будем помогать.
Была пора обеда, и Владимир Ильич предложил пойти всем в одно маленькое кафе, где подают быстро. Через час уже можно вернуться.
- Знаете, время... Нам никогда его не хватает, - объяснил он.
- Я тоже люблю все делать по часам, - сказала Вера Васильевна.
- Выходит, что и в этом мы - единомышленники!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Димка устала. Два месяца беспрерывных разъездов так измотали ее, что она едва держалась на ногах. Хотелось поскорее выбраться назад в Германию. Хотелось расцеловать мужа и Вольку. Как они там без нее? Здоровы ли? В последние ночи в вагонах ей снились кошмарные сны: вот ее схватили, вот заковывают в кандалы... Даже шею обмотали цепью. Она просыпалась в холодном поту. Сердце готово было разорваться от тревоги и тоски.
В Берлин. Скорее в Берлин...
Но вместо Германии нужно снова мчаться из Смоленска в Киев, - через несколько дней там соберутся агенты "Искры" не только южных городов, но даже из Москвы приедет Грач. Авось до совещания удастся там отдохнуть денек. Хотя едва ли...
Перед отъездом из Смоленска отправила в редакцию частично зашифрованное письмо о том, что второго февраля в Киеве готовится демонстрация. Она приедет туда за два дня, чтобы успеть повидаться с членами комитета...
Киев бурлил.
1-го февраля в драматическом театре был бенефис артистки Пасхаловой. В середине второго акта с галерки посыпались разноцветные листки. В прокламации социал-демократического комитета гневные строки, оттиснутые в типографии, клеймили царизм:
"Прежде русские цари лицемерно утверждали, что власть их опирается на любовь народа. Теперь Ника-Милуша всенародно признает, что правит страной при помощи жандармов, правит кнутом и штыком".
Студенческая листовка заканчивалась стихотворными строчками:
Пойдем к рабочему народу:
В союзе с ним нас ждет успех;
Пойдем за б р а т с т в о, за с в о б о д у,
Пойдем за р а в е н с т в о для всех!

Листовки были расклеены на заборах и домах, разбросаны в цехах фабрик и заводов. Офицеры обнаружили их в казармах пехотинцев. В листовках сообщалось, что демонстрация начнется в полдень.
Город был полон слухов. Рассказывали, что генерал-майор Новицкий вернулся из Петербурга с неограниченными полномочиями, что министр внутренних дел Сипягин, по народному определению - "дремучий дурак", разослал секретный циркуляр: пороть всех демонстрантов податного сословия. Врачам было предписано сообщать жандармскому управлению обо всех, кто обратится за перевязкой. Вечером прибыла с песнями казачья сотня...
Димка знала, что руководить демонстрацией поручено по жребию одному из членов комитета. Она под именем австрийской подданной Марии Козловской поселилась в гостинице "Невская". Из предосторожности комитетчики посоветовали ей не появляться на улицах.
Но разве могла она в такой день усидеть в гостинице? Еще утром, стоя у окна, слышала: под барабанный бой марширует пехота. Взглянула на Крещатик: под лучами солнца поблескивают грани штыков. Вдоль тротуаров замерли шеренги городовых. На вороном коне гарцует пристав...
Неужели помешают демонстрантам выйти на главную улицу? Неужели дрогнут люди, переполненные гневом?
Димка надела теплую ротонду и меховую шапочку, перед зеркалом подобрала пряди волос и вышла на улицу. На тротуарах Крещатика уже столпились зеваки. В переулках группками стояли студенты и мастеровые.
"Вместе! Пойдут в одном строю! - отметила Димка. - Ильич узнает обрадуется".
Вдруг ей показалось, что кто-то сбоку присматривается к ней. Глянула туда. И в тот же миг в толпу нырнул субъект в черной смушковой шапке. Димка, расталкивая толпу локтями, пошла в другую сторону; покружила по соседним кварталам и, успокоившись, снова направилась к Крещатику; оглянувшись, заметила - возле угла та же смушковая шапка.
Скорей, скорей в толпу - там нетрудно будет затеряться.
На трамвайной остановке Димка успела впрыгнуть в вагон. Вздохнула облегченно, - субъект остался, затертый толпой.
Водитель беспрестанно звонил, пробивая себе дорогу. Но вскоре с обеих сторон на середину улицы хлынули демонстранты, и трамвай остановился.
Димка стояла, стиснутая пассажирами, недалеко от выхода и не знала что ей делать. Ждать ли, когда вагон двинется дальше, или сойти и юркнуть в самую гущу демонстрантов?
Вовремя вспомнила наказ комитетчиков - не рисковать.
Вагон возбужденно гудел. В таких случаях пишут: "как пчелиный улей". Димка подумала: другого сравнения, пожалуй, и не подберешь. Одни восторженно били в ладоши и кричали демонстрантам ободряющие слова, другие притопывали ногами, словно козлы, приготовившиеся бодаться, и сыпали проклятия, грозили небесной карой. Седоусый дядька, стоявший рядом с Димкой, сдернул с себя барашковую шапку и, помахивая ею, гаркнул студентам, проходившим мимо вагона:
- Спасибо вам, панычи!
Между улицами Лютеранской и Прорезной весь Крещатик оказался запруженным. Впереди над головами почти одновременно как бы вспыхнули три красных флага. По золотистой бахроме Димка узнала тот, на котором было белым шелком вышито: "Свобода слова, печати, собраний!", "Политическая свобода!". Дружно, в сотни голосов запели "Марсельезу". Пока все шло так, как договаривались на заседании комитета, и Димка про себя хвалила киевлян.
И вдруг она увидела в самой гуще знакомые плечи, знакомую голову в шапке, похожей на извозчичью. Не обозналась ли? Нет. Товарищ Дементий Иосиф Басовский!
"Ну как он мог?! Зачем вышел?.. Вот одержимый!.. Ведь был же уговор не высовывать носа из нелегальной квартиры. Его дело - транспортировка "Искры". Важнее теперь нет ничего. Как можно было забыть?.. Сам же говорил: по ту сторону границы лежат, ожидая его, очередные тюки с литературой, завтра необходимо ехать за ними. А если случится недоброе?.. Знает ли кто-нибудь того человека, к которому контрабандист доставляет партийный груз?.. А если никто, кроме Иосифа, не знает?.. Все пропадет... Провалится путь, налаженный с таким трудом..."
Димке хотелось выпрыгнуть из вагона, пробиться сквозь толпу и на ухо сказать Басовскому: "Что вы делаете?! Уходите немедленно!.."

Но разве пробьешься туда?
С противоположного тротуара шаг за шагом наседал строй солдат. Ружья наперевес. Демонстранты, того и гляди, повыхватывают у них винтовки.
"Эх, если бы это случилось..."
Но где-то совсем рядом уже цокали копыта. Казаки врезались в колонну демонстрантов, засвистели нагайки...
Впереди казаков на вороном коне пробивался к флагу с золотой бахромой пристав. Димка услышала фамилию - Закусилов. Бьет плетью направо и налево. Вокруг его разгоряченного коня кипит народ. Уже не защищаются, а норовят вырвать плеть. Вон уже остался один черенок. Закусилов бросил его, подался грудью вперед. Еще секунда - и выхватит у знаменосца древко... Но с обеих сторон взметнулись кулаки. Пристава сдернули с коня, и замелькали над ним палки.
Улица переполнилась гневными и отчаянными криками, стонами, матюгами и проклятьями. Блестели обнаженные шашки. Возле самой двери вагона мелькнуло окровавленное лицо женщины...
Появились лазаретные повозки с красными крестами, и санитары принялись укладывать раненых.
"Побоище безоружных! - У Димки сжались кулаки. - Вот он каков, Ника-Милуша! А где же товарищ Дементий?.."
Димка пробилась к самому выходу: придерживаясь за поручень, смотрела вперед. О субъекте в смушковой шапке она уже давно забыла. Оставалась одна забота - отыскать Дементия. Цел ли он?..
Но в волнующемся людском месиве разве отыщешь?.. Нет его. Нигде не видно.
На помощь пехоте и казакам примчались на разгоряченных конях жандармы, успевшие "поработать" где-то в другом месте. И демонстранты шаг за шагом отступали в неширокий переулок, как в ловушку...
До темноты не удалось "водворить порядок". То в одном, то в другом конце города демонстранты снова сбивались в колонны, и опять гремело грозное требование: "Долой самодержавие!"
И на следующий день Киев продолжал бурлить.
Димка всего лишь на несколько минут забежала в гостиницу; расплатившись за номер, сказала: "Уезжаю в Симферополь"; с желтым сак-чемоданом и горбатой корзиной в руках вышла на улицу.
Поздно ночью филер из летучего отряда вручил своему старшему, Сачкову, называвшемуся в Киеве Ершовым, проследку, в конце которой было записано: "Наблюдаемая "Модная" поселилась в странноприимном доме No 4 Михайловского монастыря".
Новицкий торжествовал: за два дня схвачено более двухсот человек. Среди них - агент "Искры" Иосиф Басовский, он же Дементий. Редкостный улов!
Дело прогремит на весь мир! И все газеты будут писать об искоренении марксизма! Как раз перед его, генерал-майора... Нет, уже, вне всякого сомнения, перед его, генерал-лейтенанта Новицкого, юбилеем. И государь одарит его щедрой наградой.
Бауман приехал в Киев, когда там еще продолжали хватать неблагонадежных. От уцелевшего комитетчика узнал об исчезновении Димки, об аресте Басовского: совещаться было не с кем. Оставалось только самому заметать следы.
Возвращаться прямо в Москву Грач не рискнул - попросил купить билет в Воронеж. И в поезд сел не на вокзале, а на следующей маленькой станции.
Но в тот же вагон сели филеры Зубатова.
Заметив их, Николай Эрнестович ночью выпрыгнул из поезда посреди перегона. К счастью, отделался легкими ушибами. Появляться на станциях той же дороги для него было рискованно. Пошел по деревням Задонского уезда. Голодный, незнакомый с местностью, он был вынужден в селе Хлевном попросить приюта у земского врача Валериана Вележева. Тот выдал его уряднику.
А с арестом "Модной" Новицкий не спешил. Было похоже, что при возвращении за границу она воспользуется тем же путем, по которому Басовский перевозил "Искру". Надобно проследить голубушку до конца. Тогда и улов еще увеличится, и путь для нелегальщицы будет окончательно закрыт.

Но где же она?
От летучих филеров аккуратно приходили проследки. И вот пришла последняя: "5-го февраля наблюдаемая взяла билет до Ровно и с поездом No 1, отходящим в 7 ч. 30 м. вечера, выбыла из Киева. Утром следующего дня на станции Здолбуново "Модной" в поезде не оказалось".
Исчез и желтый сак-чемодан. Осталась только горбатая корзина с ручкой. Пустая!
Где скрывалась Димка и как ей удалось перебраться через границу, никто не знал.
Лишь через девятнадцать дней Надежда Константиновна сообщила намеками в Москву Бауману: "Димка вчера вернулась из кругосветного плавания".
Но письмо попало в руки Зубатова.
А Баумана, повозив по каталажкам и тюрьмам, к тому времени уже отправили в Киев, чтобы там присоединить к другим агентам "Искры", большой процесс над которыми готовил генерал Новицкий.
Василий Дементьевич, отправив Баумана в Лукьяновскую тюрьму, окруженную высокой крепостной стеной, с удовольствием потер руки:
- Вот и Грач у меня в надежной клетке! Теперь уж не улетит!
Лукьяновка считалась крепкой и надежной тюрьмой. Правда, однажды бежали из нее трое политических заключенных, но это было так давно, что о прискорбном случае теперь ни сам генерал, ни его подчиненные, ни смотритель тюремного замка - никто не вспоминал.
2
Колыхнулись половинки занавеса, медленно поплыли в стороны, и открылась давно знакомая декорация: гостиная с колоннами, за ними большой зал. Там накрывают стол для именинного завтрака. На сцене чеховские сестры: Маша в черном платье, Ольга - в синем, Ирина - в белом. Светлое идет к ее пышным золотистым волосам.
Но что это? Сегодня она какая-то необычная, чересчур нервная. Кажется, вот-вот позабудет слова и взглянет на суфлера, как на спасителя.
Савва Тимофеевич подался вперед, навалился грудью на борт директорской ложи. Он видел Марию Федоровну в этой роли по меньшей мере два десятка раз. Всегда засматривался на нее. Помнил все жесты, все слова и паузы, все мельчайшие нюансы интонаций. Актриса очаровывала его и красотой, и пластичностью, и голосом. Звучным, мягким, певучим. А сегодня, словно после простуды, примешивается легкая хрипота.
Здорова ли она?
Вот сейчас посмотрит в окно, скажет: "Я не знаю, отчего у меня на душе так светло!" Всегда при этом трогала душу мечтательная радость именинницы. А сегодня... Не то. Ничего похожего на радость. Видать, кошки скребут у нее на душе. Не почувствовали бы зрители, не пробежал бы холодок по рядам...
Вот Ирина спрашивает: "Отчего я сегодня так счастлива? Словно я на парусах". И опять не то. Ветер не дует в ее паруса. Она - на грешной земле, и счастье отвернулось от нее.
Впереди короткая реплика Чебутыкина, после нее Ирина заговорит о том, что знает, как надо жить. "Человек должен трудиться".
"Так, так, - в душе подбадривал Савва Тимофеевич. - Так. Слава богу, начинаешь входить в роль". И у него отлегло от сердца.
Окинув взглядом зал, он успокоился: принимают так же, как на предыдущих спектаклях, - вслушиваются в каждое слово. Зачаровала зрителей!
Но вот Ирина остается наедине с Тузенбахом. Тихим голосом говорит барону, что жизнь только кажется прекрасной. И опять чувствуется незнакомый ранее надрыв:
- "У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава... Текут у меня слезы..."
И слезы не актерские - настоящий взрыв потрясенной души.
Видимо, тяжело ей сегодня. Так тяжело после вчерашнего потрясения, как еще не бывало на этих подмостках.
И Савва Тимофеевич, вздохнув, вспомнил о новом студенческом возмушении, о глупых царских репрессалиях...
...Репрессалии совпали с отставкой министра просвещения, восьмидесятилетнего генерал-адъютанта Ванновского. Престарелый служака ушел с поста не по доброй воле. "Маленький полковник" надеялся, что бывалый генерал, шестнадцать лет возглавляющий военное министерство, сумеет "успокоить и умиротворить взбаламученное море учащейся молодежи", а

тот, вместо решительного усмирения, осмелился предложить проект "перемен в школьной системе". Либерализм! Попустительство! Последовал "высочайший рескрипт" о немедленной отставке. И тотчас же началось "умиротворение". Москва пережила десять тревожных ночей. Жандармы рыскали по городу, вламывались в убогие студенческие комнатушки, рылись в книгах и письмах, перетрясали бедные пожитки, тесаками вспарывали тюфяки и подушки. Из университета было исключено четыреста студентов! Их друзья на вчерашний день назначили демонстрацию, но все улицы возле университета были с утра перекрыты шеренгами солдат. Говорят, в подвалах храма Христа Спасителя по приказу великого князя, провалиться бы ему в тартарары, запрятали два батальона пехоты, чтобы в опасную минуту быть наготове. Все заводы и фабрики были окружены войсками: помощи студентам ждать неоткуда. Бедняги забаррикадировались в актовом зале, через разбитое окно вывесили красный флаг с единственным словом: "Свобода". Но еще с ночи в университет были тайком введены солдаты. По команде офицеров они штыками взломали двери, раскидали баррикады. И студентам волей-неволей пришлось очищать свои карманы: полетели в окна листовки и револьверы... Жандармы, избивая осажденных, приговаривали:
- Это вам за "свободу"!
- Это за "учредительное собрание"!
А вечером, очистив улицы от публики, студентов погнали в Бутырки. Больше тысячи человек! По бокам шли солдаты, как в атаке, с винтовками наперевес, ехали конные жандармы и драгуны с обнаженными шашками...
Заступники Ники-Милуши выиграли сражение!.. Рассказывают, что в этот час настоятель храма Христа Спасителя служил благодарственный молебен!..
"А среди студентов мог оказаться этот... Как его?.. Дядя Миша! вспомнил Савва Тимофеевич. - Репетитор сына Марии Федоровны. С Бауманом был связан... Конечно, мог... Она его так ценит, так уважает... Есть отчего болеть сердцу!.. И как она, голубушка, только держится на сцене?!"
Дождавшись антракта, Морозов поспешил за кулисы. Шел не мелкими, как обычно, а широкими, беспокойными шагами.
Первой ему встретилась Маша - Ольга Книппер, еще не успевшая войти в свою уборную.
- Ой, Савва Тимофеевич!.. - махнула рукой. - Сегодня отчаянный спектакль!.. Ужасный!.. Наша Маруся потеряла волю над собой. До выхода ревела и сейчас вся в слезах. Не случилось бы беды... Может, вам лучше не ходить к ней?
- Нет, я все-таки загляну.
- Ну, с богом!..
Андреева узнала его по стуку; всхлипывая перед зеркалом, откликнулась:
- Войдите, Савва... Тимофеевич... - Приложила платок к глазам.
- Мария Федоровна, голубушка!.. Не надо так... - говорил Морозов, целуя то одну, то другую ее руку. - Успокойтесь, милая!..
- Провал?! Полный провал?! Говорите правду.
- Да что вы?! Как всегда - большой успех! Вы же слышали аплодисменты.
- Ничего я не слышала... Об одном думала: скрыться бы поскорее... И утешать меня не надо... Что сейчас скажет Константин Сергеевич? Как я посмотрю ему в глаза?.. Такого со мной еще не бывало. И все из-за вчерашнего...
- Понимаю... И вы успокойтесь... Ну, подержат несколько дней и отпустят. Случалось ведь так...
- А в прошлом году - в солдаты. И нынче могут так же... В ссылку угонят, в Сибирь. - Мария Федоровна повернулась к Морозову и взяла его за руки. - Савва Тимофеевич, на вас надежда. Если их - в Сибирь, купите всем полушубки. Чего вам стоит? Вы же можете. И кого удастся - на поруки до приговора.
Морозов понимал, что Мария Федоровна беспокоится, прежде всего, о Дяде Мише, который доставляет ей нелегальную литературу, а она продолжала:
- Придется попросить Желябужского. Он не откажет. При всех своих регалиях поедет к Трепову. Ему это удобнее. Поручится за Дядю Мишу. И вы, Савва Тимофеевич, голубчик...
- Все сделаю, любезная. Полушубки будут. - Морозов опять поцеловал руки Андреевой. - Только вы успокойтесь. Вам же через несколько минут на сцену...
- Я уже спокойна. Верьте мне. - Мария Федоровна повернулась к зеркалу, начала пудрить точеный нос и щеки. - Совершенно спокойна. Даже стыдно, что так распустила нервы... Больше

этого не будет. А вас прошу: досмотрите до конца. Буду чувствовать, что вы здесь, и возьму себя в руки. Не подведу.
- Я уверен. Вы можете, - сказал Морозов от двери. - А утром, с вашего разрешения, наведаюсь к вам.
- Мария Федоровна, голубушка!.. - говорил Морозов, входя в гостиную и протягивая руки Андреевой. - Куда прикажете - полушубки?
- Уже есть?! Прямо сюда.
- Смелая женщина!.. А я бы все же посоветовал: поосторожнее.
- Я, - улыбнулась Андреева, опускаясь в кресло, дама-благотворительница!
- Зубатов может и к вам подослать бегунков. Посматривайте. - Савва Тимофеевич сел по другую сторону столика. - Уж больно хитер окаянный! Изворотлив, яко змий. Но, поверьте мне, скоро сломает себе шею. На этих полицейских рабочих организациях. Наши промышленники потеряли терпение, послали депутацию в Петербург: дескать, сеет вражду между рабочими и хозяевами, по-своему держит руку мастеровщины. Они так понимают. Будут молить о мире и благоденствии. А ваши говорят: мира не будет. И, я чую, правда на их стороне. На горизонте собираются тучи. Над людским морем реет буревестник. - Взглянул в глаза. - Вы от Горького не получали писем? Здоров ли Алексеюшко?
- Кажется, ему лучше... Пьесу пишет...
- Поторапливайте... К будущему сезону...
Морозов вспомнил вчерашний спектакль и хозяйку дома в одной из самых обаятельных ее ролей. Ирина, стройная, легкая, элегантная двадцатилетняя девушка с большими карими глазами... Много раз смотрел и всегда забывал, что актрисе скоро исполнится тридцать пять: перед ним было одно из чудес перевоплощения. Молоденькая, в белом... Чебутыкин говорит ей нежно: "Птица моя белая..." Несомненно, Антон Павлович писал роль для нее Она и впрямь напоминает птицу... в клетке. Обвел глазами гостиную, будто видел впервые полированную мебель, плафон с тонкой лепкой, бархатные портьеры с золотистой бахромой.
"Холодно и одиноко ей, как птице в золоченой клетке. И в глазах задумчивость, ожидание чего-то нового, значительного. Не только оваций зрительного зала... Чего-то большего..."
После мимолетного раздумья, озадачившего хозяйку, сказал:
- И для вас в его новой пьесе, надеюсь, найдется роль?.. Он не может не написать...
- Не знаю... Не думаю... Бедные студенты нейдут из головы... И еще у меня... - Мария Федоровна порывисто приподнялась, будто решаясь на что-то отчаянное, и кинула жаркий взгляд в маленькие глаза собеседника. - Еще одна просьба... Вы уж извините, Савва Тимофеевич, миленький!.. Но Горький далеко, и мне, кроме вас, обратиться не к кому.
- Алексей Максимович, насколько мне известно, деньги не чеканит, улыбнулся Морозов уголками губ и, подаваясь грудью к столику, спросил в упор: - Для "Искры" надо?.. Понимаю... Видать, умнейшие там люди. России нужны такие. Партию сколачивают крепкую. И знают, кого в финансовые агенты завербовать. Разве вам откажешь? Но уговор: уж вы мне свежий номерок приберегите.
- Неужели читаете?
- Голубушка! - Морозов прижал руки к груди. - Я - капиталист и должен знать, куда пойдут мои деньги. И мне небезразлично, что там пишут о нас, какое завтра будет солнышко над миром. И какой нам срок жизни. А больше того, хочу узнать, когда будут отпевать этого тумака - Нику-Милушу.
Распахнув пиджак, достал часики:
- О-о, засиделся я у вас! - Прощаясь, сказал: - Чек доставлю завтра. Попы говорят: добрые дела зачтутся на том свете, а мне бы - на этом, после вашей революции. Если доживу...
- Савва Тимофеевич!..
- Молчу, молчу... - Поцеловал руку. - С вашего разрешения, завтра в это же время.
Дядю Мишу выпустили под поручительство Желябужского. Студент сразу же стал перевозить в Бутырки полушубки и валенки, полученные от Морозова; одел в них девяносто пять заключенных за "беспорядки скопом", которых по царскому повелению высылали в Сибирь; всем говорили:
- Это от политического Красного Креста.
3

По воскресеньям Анна Егоровна стряпала пироги. Муж любил "весенние" с зеленым луком и яйцами, дети предпочитали "зимние" - с ливером. Вот и сегодня им были обещаны ливерные. Кто же думал, что все переменится? Оказалось, что и у начальства бывает семь пятниц на неделе.
Анна Егоровна встала рано, сказала мужу, чтобы вскипятил самовар, и торопливо накрыла стол: нарезала хлеба, поставила масло, положила кренделей в сухарницу.
Дочь, гимназистка с пышными косами, увидев, что мать уже наряжается перед зеркалом, капризно скривила губы:
- Ну уж, мама... Опять ты...
- А пирогов тю-тю! - присвистнул сын, пробегая по коридору к умывальнику. - Знал бы - еще поспал.
- В следующее воскресенье обязательно с ливером.
- Ты обещала сегодня.
- Меня ждут... Девочка моя милая! - Анна Егоровна поцеловала дочку в щеку. - В Красном Кресте...
- Опять в Бутырки? Передача революционерам? - спросил сын. - А кому сегодня, мамуля? Кому?
- Много будешь знать... - Серебрякова поворошила сыну кудлатые волосы, - ...говорят, скоро состаришься.
- Ну, до этого далеко! - снова присвистнул сын. - Может, еще и мне... Вот так же передачи...
У Анны Егоровны дрогнули плечи, по спине прокатился холодок.
Поспешив на выручку, отец осадил сына:
- Не суйся в дела взрослых. Тебе еще рано.
Павел Алексеевич, подавая детям пример, никогда не спрашивал, куда и по какому делу идет жена, - сам когда-то, будучи сотрудником газеты "Русский курьер", оказывал охранке немалые услуги до тех пор, пока не заломил такое высокое жалованье, что ему указали на порог.
Сын не унимался:
- А к нам опять кто-нибудь приедет с заграничным чемоданом? Да, мама? Мне бы такой.
- Держи язык за зубами! - приказала мать и, уходя, стукнула дверью.
На лестничной площадке приостановилась, тяжело выдохнула:
- Какой-то кошмар!.. Они уже бредят транспортировкой нелегальщины, явками да листовками. Боже мой!.. Боже мой!.. - Готова была схватиться за голову. - Если скоро не искореним... А они узнают обо мне... Что же делать?.. Ума не приложу...*

---

* Много лет спустя дочь Серебряковой, узнав о провокаторстве матери, оказалась в лечебнице для душевнобольных.

От тяжелого раздумья Серебрякова очнулась, когда услышала колокольный звон. Над Москвой расстилался такой густой в могучий медный гул, какой бывает только в самые большие праздники: звонили на колокольнях всех церквей и церквушек. Анна Егоровна перекрестилась и, сунув руки в массивную муфту, вышла на улицу.
Дворники, кухарки, приказчики и прочий городской люд спешили к Кремлю. Не опоздать бы ей. И Серебрякова прибавила шагу. Будто не зная ничего, спросила у какой-то женщины в клетчатой шали:
- Куда это православные торопятся? Ровно к пасхальной заутрене.
- Поглядеть на мастеровых. К царю на поклонение идут. К ослободителю крестьян.
- Надумали тоже - памятнику кланяться! - пробурчал мужчина в пальто с поднятым каракулевым воротником. - Бесчувственная бронза!
Анна Егоровна знала: шествие приурочивали к сорок первой годовщине и 19-е февраля объявили праздником, но не успели поднять мастеровщину. Сочли - лучше в воскресенье, сразу после обедни. И вот гудят над Москвой колокола - сейчас начнется шествие. Успеть бы дойти до Кремля.
Но Анна Егоровна не смогла протиснуться на Красную площадь: мимо Исторического музея медленно и как-то понуро двигался сплошной людской поток. Шли металлисты в потертых полушубках и пальтецах, машинисты и кочегары в куртках, пропахших машинным маслом и паровозным дымом, шли ткачихи в плюшевых жакетках и стеганых кацавейках.

Перед воротами Никольской башни мужчины неохотно снимали шапки, видно, кто-то надоумливал нерадивых да опасавшихся простуды.
В толпе любопытные приподымались на цыпочки, чтобы через плечи и головы взглянуть на площадь, один другому пересказывали, что к Спасской башне движется такой же людской поток. Анна Егоровна повернулась и, высвободив одну руку из муфты и локтями расталкивая встречных, быстро пошла мимо решетки Александровского сада. Не опоздать бы к началу. Интересно, кто там будет говорить речь? Будут ли петь? Эх, надо бы вперед пустить духовенство - спели бы что-нибудь торжественное.
Через Троицкие ворота она в толпе таких же взбудораженных новостью горожан вошла в Кремль. Возле арсенала в нескольких местах были выстроены солдаты. Кажется, это называется поротно. Приклады винтовок примкнуты к ногам. Одеты в парадную форму. Правду говорили о приказе великого князя: выведут солдат на поклонение! А может, на всякий случай: береженого, говорят, бог бережет.
В Кремле преобладала нарядная публика - мужчины в бобровых и каракулевых шапках, дамы в меховых манто и ротондах, в Соболевых шапочках, с вуалетками на лицах, разрумяненных морозцем. Они только что вышли из Успенского собора, где преосвященный в присутствии великого князя отслужил панихиду по убиенному императору.
Колокольный звон умолк, как по команде, а в ушах все еще гудело. Сейчас наступят самые торжественные минуты. Скорей, скорей туда.
И Анна Егоровна, раздвигая толпу приподнятым плечом, протиснулась к Царь-колоколу. Она не однажды любовалась памятником из разных углов просторной Ивановской площади, рассматривала вблизи, даже отдыхала среди колонн пышной галереи, обхватившей его с трех сторон, и восхищалась мозаичными картинами из эпохи царствования Романовых, но теперь все видела как бы впервые. Галерея поднялась высоко над обрывом, и Александр Второй, словно из дворца, вышел к народу, окинул взором площадь. Он в генеральской форме, с его плеч ниспадает императорская порфира. В левой руке у него царственный скипетр, правая простерта и приподнята над площадью, будто для благословения. И под эту руку двумя потоками, огибая Чудов монастырь, движутся верноподданные. С обнаженными головами встают перед ним на колени. До чего же хороший выдался денек!
Жаль, немного запоздала. Венок уже возложен к стопам государя. Серебряный? Кованые розы? Ну, конечно. Сергей Васильевич развернулся, все предусмотрел. И вкус у него прекрасный: белому царю - белые розы! Торжественно и мило!
Но кто там произносит речь? Совсем неприметный. Невзрачный. В пальтеце. Наверно, этот, как его?.. Ну, понятно, Слепов. Встал, болван, спиной к государю. И никто его не надоумит, не повернет вполоборота. К народу, видите ли, обращается! А надо - от народа к монарху. С великой благодарностью!
Что он там говорит?.. Ничего невозможно расслышать. Голосок какой-то трескучий...
Анна Егоровна, хотя на нее и шикали со всех сторон, продвинулась еще немного вперед. Теперь до нее доносились обрывки фраз, и она, просияв, опять в душе похвалила Зубатова: речь для Слепова написана удачно! Лучше и не придумаешь.
- Правда ведь? Золотые слова! - вырвалось у нее вслух, словно рядом стоял какой-то близкий человек, ее единомышленник.
И тотчас же она спохватилась, чуть было не прикусила язык. А что, если?.. Если кто-нибудь из этих... присматривает здесь за ней? Если слышал невольно вырвавшиеся слова?.. Не миновать беды.
Она оглянулась. Поблизости, слава богу, ни одной знакомой рожи... Но не исключено, что они издалека... Лучше от греха подальше... И Анна Егоровна, повернувшись, стала протискиваться за колокольню Ивана Великого:
- Извините, господа... Извините... У меня что-то с сердцем...
С площади доносился тысячеголосый рев: "Ура-а!"
Анна Егоровна оглянулась. Слепов, умолкнув, мял шапку в руках, как мужик перед барином. А великий князь нагнулся над ним, положил руку на плечо и что-то сказал. Конечно, похвалил за усердие. Именитые гости, стоя рядом, сняли бобровые шапки и стали аплодировать великому князю. Потом запели: "Боже, царя храни..." Толпа подхватила неслаженно, вразнобой. Какое упущение! Надо было певчих нарядить рабочими да поставить впереди. От обиды за

неслаженное исполнение гимна у Анны Егоровны передернулись плечи. И все же она, как все, замерла на месте.
Ей хотелось достоять тут до конца церемонии, но она вспомнила о непозволительном риске. И без того Сергей Васильевич может пожурить: "Зачем же вы так неосторожно, Мамочка?.."
Едва дождавшись конца гимна, Серебрякова поспешно перекрестилась на золотую маковку Успенского собора и пошла к Боровицким воротам. По пути обдумывала, что сказать дома. Где была? Конечно, в Бутырках. Пересыльная тюрьма снова переполнена. Подумать только - две тысячи студентов да курсисток! И они, эти славные парни и девушки, даже за решеткой умудряются выпускать свою рукописную газету! Таких железных никакими драконовскими мерами не сломить. Скоро их начнут отправлять в ссылку. Кажется, всех в Сибирь. Красному Кресту прибавляется хлопот и забот. Но это приятные заботы, необходимые...
Так она и скажет дома. Да еще добавит: студентики-то смотрят на нее как на родную мать!
А через некоторое время она прочитала в No 18 "Искры" заметку о "патриотической манифестации" и возмутилась: великого князя назвали "московским Богдыханом". Равносильно кощунству! А заканчивалась заметка словами о том, что, по слухам, "на эту затею" Охранное отделение израсходовало сто тысяч рублей!
"Игра стоит свеч!" - про себя сказала Анна Егоровна, торопливо свертывая крамольную газету.
4
В трактире Тестова давно погасили хрустальную люстру. Возле опустевшего гардероба дремал в кресле бородатый швейцар в поддевке.
У подъезда, на углу безлюдной Театральной площади, стояли бок о бок лакированные санки с медвежьими полостями. Два кучера в четырехугольных шапках с широкими опушками сутулились на козлах. Усы, бороды и даже брови у них обросли инеем. Время от времени, изрядно озябнув, они спрыгивали на заснеженную мостовую и, притопывая расписными валенками, принимались дурашливо тузить один другого кулаками в бока. Кудрявый половой в белой рубахе из голландского полотна, с шелковым пояском уже второй раз вынес им для сугрева по стопке водки...
В укромном кабинете сидели трое. Красное вино из подвалов удельного ведомства, заказанное к мясу, и белое кавказское, поданное к осетрине по-монастырски, стояло недопитым. Над столом колыхалась густая туча табачного дыма. Горка окурков в хрустальной пепельнице росла, они сваливались на скатерть. Половой, задержавшись у стола, хотел было собрать их и заменить пепельницу, но Зубатов, покосившись на него, - не подслушивает ли, шельмец? - недовольно кашлянул, а Евстратий Медников, толстолицый, подстриженный "под горшок" и похожий на волостного старшину, хриповато зыкнул:
- Сгинь!
Морозов пощипал жесткую бородку, встал и, разминая затекшие ноги, прошелся мимо стола. Он злился на Зубатова за то, что тот, нарушив уговор о встрече наедине, привез с собой подручного. Хитрит, окаянный! Свидетеля прихватил!
"А хоть бы и двух - мне ничто. Я не робкого десятка, - подбадривал себя Савва Тимофеевич, снова усаживаясь к столу. - Руки у них коротки - до Морозова не дотянутся".
Неделей раньше, когда Зубатов здесь же ужинал с семью крупными московскими промышленниками, он, Савва Морозов, предпочел отмалчиваться, сегодня намеревался не стеснять себя в выражениях и уже резанул бы собеседника по сердцу острыми словами, если бы не этот свидетель. Волосатый дьявол!
...Встретились они, когда в трактире еще не зажигали огней. Заказывая ужин, Савва Тимофеевич через левое плечо говорил половому:
- Из закусок севрюжинку с хреном, салатик. Фирменный, конечно. Семужку с лимончиком. - У него, любившего все рыбное, уже текли слюнки, и он провел кончиком языка по губам. - Ну и для начала коньячку. Разумеется, шустовского старого. Не возражаете? - спросил у Зубатова. - По маленькой неплохо. Ну а вы, почтенный, не имею чести знать имя и отчество...
- Евстратий Павлович я, - с поклоном назвался Медников и толстыми пальцами правой руки откинул длинные волосы на затылок.
- ...вы, - продолжал Морозов, - если обожаете смирновскую, - не стесняйтесь.
- Да нет-с... - поперхнулся Евстратий Павлович в замешательстве. Я - за кумпанию.
Он, малограмотный выходец из деревенских старообрядцев, начал службу рядовым тюремным надзирателем. Там его, прилежного, во всем послушного и прижимистого, в свое время

приметил Зубатов и, когда стал начальником Охранного отделения, взял к себе и в короткое время помог ему создать свою "школу" филеров, которую жандармские офицеры называли "евстраткиной". В минувшем году Медников за ревностную службу был вне правил высочайше удостоен Владимира в петлицу, дававшего повод для причисления к потомственному дворянству. Вот и сюда он явился при этой отменной регалии.
Савва Тимофеевич косо глянул на его орден. Он брезгливо не терпел таких выскочек да служак черного дела и чокаться не стал. По-европейски подержав рюмку перед глазами, он сделал легкий приглашающий жест в сторону Зубатова и отпил немного больше половины. Предостерег себя: "Не захмелеть бы..." Не спеша пожевал ломтик лимона и закусил семгой. Зубатов не допил рюмку, провел пальцем по усам и отметил: "Купчина себе на уме", хотя в донесениях в департамент и великому князю именовал Морозова не купцом, а промышленником или фабрикантом.
Они, начальник Охранного отделения и председатель Московского промышленного комитета, сидели друг против друга, разговаривали о погоде, о театральных премьерах и литературных новинках; присматривались один к другому с хитрецой, как заядлые картежники, до поры до времени не выкладывали козырей. Морозова Зубатов считал фрондером и всегда старался выведать о нем все, что мог. А теперь его интересовало: какие шаги собираются еще предпринять против него промышленники, на заводах и фабриках которых он уже поставил на ноги и оделил из секретных фондов деньгами рабочие общества вспомоществования? Но прямых вопросов он не задавал, - надеялся, что Морозов, захмелев, на этот раз проговорится. А Савва Тимофеевич, разгадав замысел противника, отводил разговор на мелкие московские происшествия и, в свою очередь, тоже ждал, не проговорится ли царский служака о чем-нибудь таком, что следует незамедлительно учесть в своих интересах.
Первому надоела эта игра Зубатову, и, когда третий или четвертый раз выпили по половине рюмки, он спросил тоном близкого доброжелателя:
- Новые фабрики, Савва Тимофеевич, не собираетесь строить? В Сибири, например? Кажется, подумывали - на берегу Оби?
- Кхы! - усмехнулся Морозов, сверкнув настороженными глазами. Читаете мысли на расстоянии?
- Нет, не обладаю таким даром. А иногда заглядываю в сибирские газеты. Из простого любопытства.
"Ой, не из простого, - про себя возразил Морозов. - Видать, завел на меня особое досье". А вслух сказал с мягкой улыбочкой:
- Давно раздумал. Зачем мне в Сибирь... по доброй-то воле? Если же меня, не к слову будь сказано...
- Что вы говорите, Савва Тимофеевич, - перебил Зубатов. - Побойтесь бога...
- И Охранного отделения, - добавил Морозов, не гася хитренькой усмешки.
- Будет вам... Мы вас ценим как делового фабриканта и как человека.
- Цените?! - Морозов кинул вилку на стол. - А ваши бегунки что-то зачастили возле моего дома.
- Не может быть! - Зубатов, наигранно удивляясь, развел руками и повернулся к Медникову. - Какое-то недоразумение.
Евстратка, по привычке поглаживая свои толстые ляжки, поспешил подтвердить:
- Истинное недоразумение.
- Я привык, господа, - добавил Морозов твердости своему голосу, верить не словам, а делам.
- Вы убедитесь, что мы слов на ветер не бросаем, - холодно процедил Зубатов.
- Дай-то бог, - сказал Морозов и ткнул вилку в ломтик севрюжины.
Половой принес свежеиспеченную, пышущую жаром кулебяку с начинкой из мяса и налимьей печенки, открыл бутылки с вином. Морозов наполнил синие хрустальные рюмки. У Медникова, любившего поесть, уже хрустела на зубах поджаренная нижняя корочка. Зубатов, глядя на приподнятую рюмку, сказал со смаком:
- Такое даже монаси приемлют! По полной, Савва Тимофеевич!
Но Морозов и вина отпил два глоточка и приложил к губам уголок хрустящей от крахмала салфетки.
И опять они без особого успеха расставляли словесные сети. Один то и дело гасил в узеньких глазах усмешки, другой подергивал подкрученный ус и приопускал брови.

Зубатову было известно, что депутация промышленников в поисках заступничества уже успела побывать у графа Витте; Морозов был с графом, упрямым противником любых рабочих организаций, хотя и опекаемых полицией, на короткой дружеской ноге и мог знать о его намерениях. Не осмелится ли граф предпринять какие-нибудь решительные шаги? Он ведь мог посоветоваться с видным фабрикантом, недавно побывавшим в Петербурге. Но Морозов о своей встрече с Витте не обронил ни единого слова.
Медников достал массивные серебряные часы, полученные в награду за службу. Стрелки приближались к двенадцати. То было время, когда он принимал рапортички филеров, одних похваливал, обещав денежную надбавку, других штрафовал за оплошности, а за провинки, случалось, давал нетрезвым зуботычины. Зубатов знал, что сегодня Евстратий даст взбучку недостаточно юркому филеру, которого, как видно, приметил морозовский черкес. После докладов все получали от Евстратия - всегда от него самого! - новые наряды. Сейчас ему пора ехать в нарядную, и Сергей Васильевич одобрительно повел бровью в сторону своего подручного. Тот, щелкнув крышкой часов, встал и почтительно поклонился Морозову.
- Извините-с! Вынужден поломать стол. Знаете, служба-с...
Савва Тимофеевич, едва приглушая неприязнь, проводил глазами рослую упитанную фигуру за дверь: "От этакой скотины зависят судьбы добрых людей!.. И сколько их таких на казенной службе!.."
Зубатов приметил его неладное раздумье и с наигранной любезностью предложил выпить под поросеночка по-тестовски. Потом, глядя в упор, спросил без обиняков:
- А как вы, Савва Тимофеевич, относитесь к легальным обществам рабочих? Что-то на вашей фабрике о них не слышно.
- Значит, ваши люди промашку допустили. Не успели. А скорее всего не сумели.
- Вы преувеличиваете нашу роль. Поверьте мне, вашему доброжелателю, мы только содействуем. В интересах примирения. Следовательно, в интересах хозяев. К сожалению, француз Гужон не понимает этого. Думаю - один во всей Москве. Не допустил представителей общества на свой завод. Заупрямился. Даже самому генералу Трепову нагрубил. - Зубатов погрозил высоко поднятым перстом. - Пожалеет об этом. Вам я могу сказать: отправлена соответствующая реляция в Санкт-Петербург.
- Кто пожалеет - это еще вопрос - Морозов снял салфетку, утер губы и положил ее на стол. - Вы говорите о примирении. Но непримиримое невозможно примирить. Огонь и вода несовместимы. Антиподы!
- Вы что же, Савва Тимофеевич, верите в неизбежность революции? А не боитесь?
- Чего мне бояться? Я - инженер. Умею делать ситец. А ситец России всегда надобен.
- Хотите сказать, при любой власти?
- Оставьте ваши уловки. Я не пескарь, не налим, - ни на какую наживку не поймаете.
- Помилуйте, Савва Тимофеевич! - вскинул руки Зубатов. - Мы же беседуем доверительно.
Тут бы встать и уйти, не простившись, но Морозова что-то удерживало на месте. Что? Он и сам не знал. Потом, отпив глоток вина, понял - сказал не все, что нужно сказать. И не в бровь, а в глаз.
От шампанского они отказались. Чтобы приунять нервы, молча закурили, каждый от своей спички, выпили по чашке крепкого кофе.
Морозов встал, прошел по комнате, мягко ступая на ковер, приподнял бархатную портьеру, - за окном брезжил рассвет! - вспомнил, что через час ему надо быть в конторе, быстро повернулся, решительный, деятельный, и вдруг спросил:
- Хотите, Сергей Васильевич, слышать жестокую правду?
- Конечно! И ради этого, - Зубатов взял бутылку вина, - еще по единой.
- Ни капли! - Остановив охранника твердым жестом, Морозов рубанул холодными словами: - Ничего из вашей громкой затеи не получится!
- Это как же так? - Зубатов вскочил, отталкивая стул ногой. - Как вас понимать?
- А вот так... - Оттягивая удар, Морозов опустился на бархатный диван и, откинувшись на его спинку, снова закурил. Зубатов, глубоко заинтригованный неожиданным поворотом разговора, присел на кромку дивана, заглянув фабриканту в лицо. - Вот так... - повторил Морозов, отгоняя дым в сторону. - Ваша затея с этими злополучными обществами лопнет как мыльный пузырь. Помяните меня, лопнет. Зря вы транжирите, - загорячился он, да-с, транжирите казенные деньги.

- Позвольте, позвольте... Никаких расходов мы...
- Говорите кому-нибудь другому. Я - капиталист, и я знаю: всякое дело, даже самое зряшное, требует денег. Да-с, денег. И о них всегда говорю прямо, как бы это ни было неприятно. Вот и вам: зря транжирите!
У Зубатова приоткрылись посиневшие губы, но он не нашел ни единого слова для возражения. Его холеное лицо стало мраморным, как на морозе при ознобе, но уже через какую-то секунду под тонкой кожей будто разлился вишневый сок. А Морозов продолжал:
- В Москве у вас пока что-то получается благодаря вашему пылкому красноречию и вашей ловкости. А в других городах? Пшик! И никогда не получится. Ничего вы не добьетесь. Огонь и воду не примирите. И с мастеровыми не управитесь. Такой лаской их не удержите. Не обманете. Пойдут - сомнут ваши общества. Да-с, сомнут! Сами себе голову сломаете.
Савва Тимофеевич поднялся с дивана; не теряя достоинства, подошел к столу, постучал вилкой о пустую тарелку и, когда появился половой, потребовал счет.
А Зубатов все еще сидел недвижимо.
Позднее он, вспоминая о своем крушении, напишет:
"Слова эти, как варом, меня сварили. И оказались впоследствии вещими".

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Кржижановским не удалось замести следы при отъезде из Сибири, - в Самару за ними полетела жандармская бумага:
"На станции Тайга они группировали вокруг себя лиц сомнительной политической благонадежности, а Зинаида Кржижановская, стараясь проникнуть в вагон с политическими арестованными, оказала сопротивление дежурному по станции Тайга унтер-офицеру".
В Самаре Глеб Максимилианович занял должность помощника начальника первого участка тяги, и они поселились в неприметном, выкрашенном охрой железнодорожном доме на окраине города. Первым делом Кржижановские отыскали там одного из друзей по сибирской ссылке - черноволосого, немного косоватого Фридриха Ленгника. Друзья обнялись, похлопали друг друга по плечам, взаимно засыпали вопросами: "Ну, как ты?" - "А ты как?" У Ленгника лихорадочно горели чуть-чуть ввалившиеся глаза, щеки были бледные. Он то и дело покашливал, прикрывая рот широкой рукой. И Кржижановский встревожился:
- Тебе бы полечиться, Федор. Весной поезжай к башкирам на кумыс.
- Не обо мне разговор, - отмахнулся Фридрих. - О Старике рассказывай. Каким он стал там? Не изменился?
- Все такой же стремительный.
- Я буквально каждый день вспоминаю его: вызволил меня из идеалистического плена. Горячие дискуссии в Теси, споры в Ермаковском... Все перед глазами, словно было это вчера. И его картавинка звучит в ушах.
Друзья посидели вечер за бутылочкой мадеры. Глеб Максимилианович попытался еще раз посоветовать Фридриху Вильгельмовичу лечиться, тот снова отмахнулся:
- Говорят, сухое дерево дольше проскрипит. Я видишь какой тощий. Проскриплю дольше других. И не буду бесполезным. Мне бы - туда, к нему.
- Он говорит: здесь мы нужнее.
- Да, пожалуй... Ну что же, впряжемся в воз.
Потом Кржижановские отыскали супругов Кранихфельд, высланных из столицы. И тут привалило большое счастье. Как раз в то время Кранихфельд, тихоголосый, медлительный, прозванный за это Подушечкой, получил богатое наследство. Узнав, что "Искра" крайне нуждается в деньгах, Подушечка, в прошлом бедный студент, исключенный из Петербургского университета за распространение нелегальщины, заявил, что отдает редакции и агентам газеты все десять тысяч. На революцию! Кржижановские ликовали: не было ни гроша, да вдруг - алтын! Вот обрадуется Ильич такому кушу!
Из Красноярска примчался к ним Михаил Сильвин, только что сменивший осточертевшую солдатскую форму на штатский костюм. Одновременно с увольнением из армии ему было объявлено, что срок его ссылки окончился и что он может проживать "повсюду" в России, за исключением тридцати девяти губернских и промышленных городов. Въезд в Петербург, где жила уроками его жена Ольга Александровна, ему был воспрещен, но он решил пробраться туда через все полицейские заслоны. Только раздобыть бы какой-нибудь липовый паспорт.

- Шкурку для тебя найдем, - пообещал Глеб Максимилианович. - У нас тут есть хороший скорняк. В добрый час переходи на нелегальное положение.
Кржижановские сказали, что через неделю у них соберутся поволжские искровцы, и Сильвин, хотя и рвался к жене в Питер, решил задержаться у них.
И буквально накануне совещания - новая радость: весенним ветром влетела в дом Глаша Окулова, румяная, веселая, только что вернувшаяся из Сибири, будто снова вырвавшаяся из ссылки. Зинаида Павловна расцеловала девушку, усадила рядом с собой за стол и, разливая чай, расспрашивала без умолку. И Глаша, захлебываясь горячими словами, отвечала с такой поспешностью, что Глеб Максимилианович долго не мог задать хоть бы один вопросик. Он слушал жаркий щебет женщин, натосковавшихся одна о другой, и, улыбаясь, не спускал с них глаз. В прихожей звякнул колокольчик. И еще несколько раз. С короткими перерывами. Свой человек! Кржижановский поспешил туда. Зинаида Павловна беспокойно окликнула его:
- Глебушка, оденься. В сенях морозно. А ты от самовара.
Кржижановский надел шапку, накинул на плечи теплую тужурку путейца с начищенными до блеска медными пуговицами и с лампой в руках вышел в сени. Через порог открытой им двери сеней в полосу неяркого мерцающего света шагнула невысокая девушка с круглым скуластым лицом и заиндевелыми бровями.
"Медвежонок!" - обрадовался Глеб Максимилианович и посторонился, пропуская гостью в дом:
- Входите, Марья Ильинична, входите. Вы очень вовремя. Самовар на столе. Приехала одна девушка из Сибири.
- Из Минусинска? Из Шушенского?
- Почти из Минусинска. Немного там в сторону. Словом, из наших мест.
В прихожей, поставив лампу, Кржижановский хотел было принять пальтецо гостьи, но та, смеясь, успела кинуть его на вешалку.
- Я привыкла сама... А забежала на минутку. Прямо из земской управы.
- Без чаю не отпустим. - Зинаида Павловна встала навстречу. - Я как бы сердцем чуяла - поставила лишнюю чашку. Знакомьтесь. Это Мария... Махнула рукой. - Маняша! Так лучше, теплее. И мы тут все свои, как родные.
Глаша, просияв, порывисто поднялась, - она поняла, что перед ней сестра Владимира Ильича.
- Как, Маняша, дела на службе? - осведомился Глеб Максимилианович. Как мама?
- Спасибо, мамочка здорова. И на службе все хорошо. А я пришла поделиться радостью: Митя приехал нас навестить!
- Вот хорошо!.. Очень кстати!
- Значит, ему тоже можно прийти?
- Конечно, конечно. Даже обязательно.
- У нас тут намечается большое дело, - Зинаида Павловна повернулась к дальней гостье, - и тебя, Глашенька, мы пока что никуда не отпустим. Погостишь с пользой.
Отпив глоток чая, Мария Ильинична продолжала рассказывать о брате:
- Митя всего на несколько дней. Проездом. Точнее - с заездом. Он взял место земского врача где-то возле Одессы.
- Рад за него. Передайте ему и Марии Александровне...
- И от меня, - перебила Зинаида Павловна, - поздравление. Самое-самое сердечное!
- От меня тоже, - сказала Глаша. - От сибирской знакомой Владимира Ильича.
Мария Ильинична съела домашнюю булочку с маслом, допила чай и, извинившись, встала:
- Мама наверняка уже волнуется...
- Ну, если так... - Зинаида Павловна тоже встала. - Отпустим.
- Я провожу, - поднялся Глеб Максимилианович. - Никаких отговорок, сударыня. Тут же окраина. И мне совсем нетрудно.
2
В сумерки пришел надзиратель. Так же, как когда-то в Шушенском Заусайлов приходил к Володе. Маняша расчеркнулась в прошнурованной книге и возвратила ее стражнику. Теперь можно быть спокойной, - до утра не вломится.
Она посмотрела в зеркало, поправила гребенку в волосах, заплетенных в косу. Митя, уже одевшийся, поджидал сестру, держа под мышкой две пары ботинок с привинченными коньками.

- Мы там задержимся, - сказал матери, целуя ее в щеку. - Ты, мамочка, не волнуйся. Ничего с нами не случится. Ложись спать. Ключ от двери я взял.
- Если будет очень поздно, то мы, возможно, заночуем, - сказала Маняша, тоже поцеловала мать, запахнула шубку, надела шапочку и взяла у брата свои коньки. - У Глеба Максимилиановича - именины.
- Понимаю. Все понимаю. - У Марии Александровны слегка дрогнула беловолосая голова в легкой серенькой косынке. - Только в святцы вы не заглянули: Глебу-то именины в июле, двадцать четвертого числа.
- Значит, мы не так поняли, - сказал Митя, выручая покрасневшую сестру, и сам покраснел. - День рождения у него. Это, мамочка, правда. Такое совпадение с важным делом.
- Ладно. Об одном прошу - поосторожнее там... - У матери чуть было не сорвались с языка слова: "Одни ведь вы со мной..."
Да, одни. Володя с Надей где-то в Баварии живут на птичьих правах. Под чужими именами и фамилиями. Аня в Берлине хоронится от царских шпиков. Марка угнали в Сызрань... И Митя на взлете. Еще несколько деньков - и уедет на юг молодой врач. И останется она с единственной Маняшей. Хоть бы у нее все сложи лось благополучно...
Митя взял сестру под руку. Они спешили на каток. Встретится на улице надзиратель - не придерется: кататься на коньках не возбраняется.
На катке горели разноцветные фонари. Духовой оркестр играл старинные вальсы. Митя с Маняшей, ловкие, быстрые, покружились немного и направились к выходу.
Беспокоились - не опоздать бы к Грызунам.
В просторной горнице было тепло, к жестяному кожуху круглой печи невозможно притронуться рукой. Но Глеб Максимилианович кинул на жаркие угли еще несколько поленьев. На всякий случай. Пусть пылают. Без огня в печи оставаться рискованно.
Зинаида Павловна накрывала стол, как в самый большой праздник, постелила новую скатерть, поставила вазу с алыми хризантемами.
Глаша в кухне почистила селедку, положила на узенькое блюдо, залила сметаной...
А Глеб Максимилианович уже встречал приглашенных. Они приходили поодиночке, со всеми предосторожностями. Только Ульяновы пришли вдвоем, положили в уголок коньки. Кржижановский представил их, Юношу и Медвежонка, гостям, курившим в прихожей.
Мария Ильинична попросила у хозяйки фартук, - он ей оказался длинным, чуть не до самых щиколоток, - и стала помогать на кухне Глаше. Резала овощи для винегрета.
- А вы, я еще прошлый раз для себя отметила, - заговорила Глаша, присмотревшись к ее глазам и широким скулам, - очень походите на брата. На Владимира Ильича.
- Это отмечают все наши знакомые. А вот Митя в большей степени взял себе мамины черты. И Аня тоже.
- Сколько же вас у мамы?
- Сейчас четверо. А было нас...
- Не надо вспоминать, миленькая. Я знаю... о той беде. - Глаша, слегка нагнувшись, поцеловала Маняшу в щеку, будто давнюю подругу. Берегите маму. Вижу, любите ее.
Глаша стала расспрашивать о Москве, о Таганской тюрьме. На каком этаже сидела Маняша? В какой одиночке? Кого из членов Московского комитета знает она? Кого из деятельных подпольщиков? И все поджидала, что вот-вот девушка обронит слово о Теодоровиче. Может, просто об Иване. О Ясе. Не дождалась. Встревожилась: неужели Маняша так ничего и не слышала о нем? Не могло этого быть. Ясь активнее многих. Не встречалась, так должна была слышать о нем. Может, он перешел на нелегальное и придумал себе другую фамилию? Если так, то не скоро его отыщешь... А он небось уже и забыл...
Сдержав вздох, Глаша начала рассказывать о Париже, где ей вместе с Катериной, старшей сестрой, довелось некоторое время жить и слушать лекции, а Маняша припомнила Брюссель. Потом они заговорили о Сибири. Володя присылал оттуда бодрые письма, хвалил природу. Наверно, для того, чтобы успокоить маму.
- Ну, нет, - возразила Глаша, - не стал бы Владимир Ильич зря нахваливать. Природа у нас там, в "сибирской Италии", в самом деле хороша. Уж зима так зима! Морозы трещат, вьюги кружатся. Я люблю бураны, особенно в тайге: вершины кедров гудят-гудят, будто сказки рассказывают. А летом жара. Все долины и склоны гор усыпаны цветами. Прелесть!.. Мы с сестрой, бывало, заседлаем коней и махнем в Тесь или в Минусинск - повидаться со ссыльными

друзьями. Мне они за какой-нибудь месяц давали больше, чем женские педагогические курсы за год. Верно-верно. Привили вкус к марксизму.
Потом Глаша рассказала о днях, проведенных у Надежды Константиновны в Уфе, и о ее письмах из редакции "Искры". В конце тех писем всегда были приветы от Владимира Ильича. Даже там вспоминает сибирских знакомых!
А гости все приходили и приходили. Последним появился Сильвин; поглаживая густые усы, достал бутылку водки:
- На день рождения положено!
Стол уже был накрыт. Но гости в сторонке подвинулись со своими стульями поближе к хозяевам. Кржижановский начал рассказ издалека - о нелегких поисках редакции "Искры". Когда дошел до встречи с Ильичем, до прогулок с ним по Мюнхену и по берегу Цюрихского озера, крупные, слегка навыкате глаза его засияли радостью. Зинаида Павловна, придирчиво вслушиваясь в каждое слово, иногда прерывала его:
- Извини, Глебушка, ты упустил... - Дополняя рассказ мужа, забывала о конспирации, говорила громко.
Кржижановский рассказал и о брошюре "Что делать?", и о дискуссии в Цюрихе, и о последнем разговоре перед отъездом из Швейцарии. Посыпались одобрительные возгласы:
- Ильич, видать, все продумал!
- Он глубоко прав: давно пора покончить с раздробленностью!
- Единый центр в России необходим как воздух!
- Питерцы не смогли - сделаем мы на Волге.
Мария Ильинична, перешептываясь с Глашей, переводила взгляд с одного на другого. Крупная голова и лицо Арцыбушева показались ей обложенными овечьей шерстью. Он из старых народников. Хорошо, что такие люди вместе с марксистами. Сильвин, Ленгник, Кржижановский - молодые, энергичные. Все друзья Володи. Единомышленники! Железная когорта! Бродяга, Курц, припоминала клички, - Суслик, Ланиха... Хотя Володе нравилось называть Зинаиду Павловну Булочкой. Теперь она еще и Улитка. Конспирация обязывает вовремя запасаться псевдонимами. А она, Маняша, как была, так и осталась Медвежонком. Она ведь еще не успела сделать ничего важного для революции...
- Ну, а теперь позвольте открыть собрание, - сказал Кржижановский, подвигаясь к уголку стола.
- И надо избрать председателя, секретаря.
- Председатель уже на месте, - сказал Арцыбушев, перевел глаза на хозяйку дома. - И секретарь - рядом.
Пока Зинаида Павловна доставала чернила, перо и бумагу, Глеб Максимилианович снова подбросил дров в печку:
- Вот так-то лучше... - Обвел глазами комнату. - Да, теперь, пожалуй, и самое время...
Зинаида Павловна пригласила всех к столу. Глеб Максимилианович женщинам налил вина, мужчинам - водки и поднял рюмку:
- За начало, стало быть. За будущие успехи всех присутствующих...
- Нет, погоди. - Поднялся Ленгник с рюмкой в руке. - И за отсутствующих! За Ильичей! Нам недостает их здесь!
Все зааплодировали, стали чокаться. Маняша про себя отметила: "Всем недостает Володи" - и пригубила сладкое вино.
Когда мужчины опорожнили рюмки, Глеб Максимилианович обвел глазами застолье, усмехнулся:
- Ну вот, теперь похоже на день рождения. И пора приступить к делу. Пиши, секретарь. Первый вопрос: выборы Центрального комитета "Искры"*. Да, да. Ленина я понял так: Центральный комитет для России. Для всей страны. Понятно, временный, до второго съезда.

---

* Так они называли вошедшее в историю Бюро Русской организации "Искры".
Избрали шестнадцать человек, включая шестерых членов редколлегии "Искры". Председателем - Кржижановского, секретарем - Зинаиду Павловну. Она сказала, что ей понадобится помощница.
- Я думаю, найдется такая. - Глеб Максимилианович остановил взгляд на Ульяновой. - Если никто не возражает, то - Медвежонка. Так и запишем.

Стали распределять районы для работы, и Глаша едва усидела на месте. Куда ее? Хотелось, как чеховской Ирине, воскликнуть: в Москву! Ведь она рассказывала Глебу Максимилиановичу, что работала там. Он должен помнить. Там у нее знакомые подпольщики. И туда теперь, после провала Баумана, наверняка требуется подкрепление. В Москву, в Москву!
А у Кржижановского уже был приготовлен список: в Пскове остается Лепешинский, в Одессу едет Дмитрий Ульянов, в Киев желательно направить Ленгника, туда же Окулову...
Не утерпев, Глаша встала:
- Киев мне знаком, спасибо за доверие... Но я предпочла бы Москву... Где потруднее...
- Я думаю, - Кржижановский подкрепил слава твердым жестом, - при сложившихся обстоятельствах на юге страны вы, Глашенька, больше пользы принесете в Киеве. Постарайтесь там вместе с Фридрихом Вильгельмовичем войти в комитет.
Девушка опустилась на стул, перебирая пуговички на кофте.
- Не возражаете? Вот и хорошо, - продолжал Кржижановский. - А о вашем желании будем помнить. Когда понадобится, поработаете и в Москве. А до отъезда в Киев хорошо бы побывать в Саратове: там Егор Барамзин сидит без литературы.
- Хоть завтра. - Глаша подняла просиявшие глаза. - Мне просто интересно повидаться с Егором Васильевичем после его ссылки, посмотреть, чем он сейчас дышит.
- Народничество у Егора начисто выветрилось, - сказал Кржижановский. - Товарищи помнят: он еще в Ермаковском подписал вместе со всеми протест против кредо "экономистов". Посоветуйте ему, Глашенька, войти в Саратовский комитет. И помогите добиться, чтобы комитет признал "Искру" руководящим органом партии. Это теперь - главная задача. Нам остается...
- Меня забыл, - напомнил Сильвин.
- Вот как раз о тебе, Михаил Александрович, речь пойдет. Ты говорил, что хотел бы быть летучим агентом. По-моему, это надо только приветствовать. Иван Радченко тоже остается разъездным. Такие агенты для связи нам совершенно необходимы. Скоро дойдет до нас брошюра Ленина, о которой я рассказывал, надо будет развезти ее по всем губерниям. На тебя первая надежда.
- Сделаю. - Сильвин радовался, что его, как застоявшегося коня, снова впрягают в добрый воз. - Сделаю все, что будет в моих силах.
- Записали, - объявил Кржижановский и глазами указал жене на протокол, чтобы отнесла его в тайник, а листок со своими набросками кинул в печку на догоравшие дрова. - Все. Теперь можно и пображничать.
Он снова наполнил рюмки. Сильвин поднял свою, потянулся через стол:
- Здоровья тебе, Глебася, на сто лет!..
- Закусывайте, пожалуйста, - сказала Зинаида Павловна, возвращаясь к столу. - Ничего даже и не тронули. Вот селедочку, винегрет, колбаску. Потом будет чай с пирогом.
- Я поставлю самовар, - вызвалась Глаша и, стремительно поднявшись, упорхнула в кухню.
...Расходились около полуночи.
Зная, что мать не может не волноваться за детей, Кржижановские проводили Ульяновых первыми.
- Марии Александровне низкий поклон, - сказал Глеб Максимилианович, пожимая руки на прощанье.
- А от меня поцелуйте свою мамочку, - попросила Зинаида Павловна и расцеловалась с Маняшей.
3
Проводив гостей, Зинаида Павловна начала мыть посуду в большом тазу. Глаша стояла рядом, принимала от нее тарелку за тарелкой, вытирала полотенцем и ставила в шкаф.
- Хорошие люди! Кремешки, - вспоминала Зинаида Павловна. - Тронь кресалом - взлетят искры! Мне особенно приятно, что были старые друзья.
- Мне тоже, - отозвалась Глаша. - И родное Шошино, и Тесь, и Минусинск - все прошло перед глазами. Словно вчера это было. Костры, песни на берегу Тубы... Вспомнился Курнатовский...
- Ты ничего не получала от него? Он ведь, мне сдается, был неравнодушен...
- Ой, не говорите! - У Глаши вспыхнули щеки. - Мне всегда было так неловко перед Катюшей... Готова была плакать. Она же от него без ума. А он... Вы помните, всегда при ней говорил о своем принципиальном холостячестве.

- Как же, как же. Отлично помню: революция и семья, дескать, несовместимы. Нельзя делить силы и внимание. Может, для него и лучше. Каких-то три месяца на воле, и вот опять...
- Его все еще держат в одиночке? Как он там?.. Зинаида Павловна, расскажите все-все.
- Да я толком ничего и не знаю.
- Ну, хоть немножко. Я Катюшке передам...
- Глебушка у кавказских друзей справлялся: по-прежнему в Метехском замке. Похоже, ему грозит новая ссылка.
- При его-то здоровье... Бедный, бедный Виктор Константинович!..
- Для него, Глашенька, счастье в борьбе. - Зинаида Павловна положила руку на плечо девушки.
- Только в борьбе.
- Я знаю. И согласна с ним.
- Ой ли!.. Уже согласна... Да ты еще молоденькая... И любовь свое возьмет. Для нее даже тюремные стены не преграда.
- Я слыхала: девушки объявляют себя невестами, ходят в тюрьму на свиданья...
- А бывает, и обвенчаются в тюрьме, чтобы вместе в ссылку...
- Да как же так?.. В тюрьме и свадьба!..
- А все честь по чести. Я видела такую свадьбу. Невесте передали фату. Нашлись и шафера из соседних камер. После венчанья - шампанское разлили в тюремные кружки. И, как положено, кричали "горько".
- Интересно!.. Вот уж такая свадьба всем будет памятна: можно песню сложить!
Взбудораженная разговором, Глаша не могла заснуть, вертелась на узеньком диване с боку на бок.
В доме было тихо. Длинный маятник настенных часов четко отстукивал минуты. Временами налетал вихревой ветер, словно пригоршнями кидал на оконные стекла снежную крупу; надсадно отпыхивались паровозы, ведя тяжелые товарные поезда, перекликались пронзительными гудками.
Близится утро. Она, Глаша, с маленьким чемоданом отправится на станцию, встанет в очередь за билетом, приготовит деньги. Когда окажется перед окошечком, кассир, принимая кредитки, спросит: "Вам куда?" А она сама еще не знает. Правда, за нее уже решил Кржижановский. Но ведь она вольная птица, может лететь туда, куда рвется сердце. Путь ей не заказан. Облегченно выдохнет и скажет кассиру: "В Москву!" Для нее там нет запрета - может приехать в любой день.
А там куда? Как все другие, остановится в гостинице, - на два-три дня денег у нее хватит. Пойдет искать...
Кого?.. Кому она там нужна?..
Если бы Теодорович был неравнодушен к ней, написал бы хоть одно письмецо.
А куда? На деревню дедушке?!
Губы Глаши дрогнули в горькой усмешке.
Сама виновата - не успела дать парню адреса. Он ведь провожал ее в Рязань... Но разве мог подумать, что, заметая свои следы, она махнет к матери в далекую сибирскую деревеньку Шошино. Он и слова-то такого наверняка не слыхал. Может, ездил в Рязань, там спрашивал у подпольщиков. Никто не знает такой девушки! Может, часами ходил по улицам: не встретится ли случайно... И, раздосадованный, вернулся в Москву...
А в Москве ли он? Могли направить в какой-нибудь промышленный город с листовками... Ищи ветра в поле!
И спросить не у кого: старая московская явка теперь, после провала Баумана, уже не годится, а новой у нее нет. И Глеб Максимилианович не даст. Да и просить неудобно. Сдерживая догадливую улыбочку, он спросит: "А тебе, Глашенька, зачем в Москву? К кому на свиданье?.." Она, конечно, потупит глаза, покраснеет до корней волос. Со стыда можно провалиться!
Она должна ехать туда, куда ее направляют, где есть для нее дело. Партия - не стая скворцов, которые, бывало, посидят-посидят на тополе и начнут разлетаться кому куда вздумается. У партии - большое дело, и все свои маленькие дела надо до поры до времени завязывать в тугой узелок. Вон Курнатовский дал себе железный зарок - не жениться, пока не победит революция. А она, Глаша... Разве она не может так же? У нее тоже есть сила воли. Сумела же в свое время вырвать из сердца со всеми корешками любовь... Да какая там была любовь - просто девчоночье увлечение Митей Нарциссовым! А вышла бы за него - погибла бы как человек. Жена

губернского чиновника какого-то там класса, прокурорша! Бр-р! Даже ледяные мурашки побежали по спине...
Но Теодорович... Иван... Ваня - это ведь совсем другое! Настоящий человек! Не казенная чиновничья душа!.. С таким можно смело связать свою судьбу...
Глаша опять усмехнулась.
А если он не вспомнил ее ни разу? Мелькнуло перед ним девичье личико, ничем не приметное, и исчезло как в тумане...
Нет, нет. У него глаза горели, как звездочки в ночи. И она будет искать его. Будет. Не в Москве, так в другом городе. В тюрьме. В тайге. По всей России-матушке.
Утром, оставшись одна в квартире, Зинаида Павловна села за письмо в редакцию "Искры". Спеша поделиться радостью, подробно написала о решениях, принятых на собрании.
Следом отправила второе письмо. В нем - вести из Питера: "...на Невском полиция избила 15 человек мирно шедших студентов". И тут же - о разговоре с одним купцом, вернувшимся из столицы. Тит Титыч рассказывал: "Нет, уж больно зазналось правительство, придется маленько осадить. Там, в Питере, все недовольны". - "Да кто же все?" - "А решительно все, спроси кого угодно. А уж прокламаций там этих - конца нет, а послушать разговоры, так страсть!" И закончила письмо кипучими строками: "Да, друзья, начинается опять что-то интересное и сложное. У меня душа так и прыгает. И пусть бьют, пусть, пусть. Только так можно колыхнуть тину, зажечь сердца на всем пространстве России. И это ведь в 100 раз лучше подачек, лучше зубатовского разврата..."
Поставила старую подпись - Булка.
Владимир Ильич тотчас же отозвался:
"Ваш почин нас страшно обрадовал. Ура! Именно так! Шире забирайте! И орудуйте самостоятельнее, инициативнее - вы первые начали так широко, значит и продолжение будет успешно!"
4
На звонок Зинаида Павловна вышла в сени, открыла дверь.
- Вот и я! - прозвенел знакомый девичий голос.
- Глашенька! Как я рада! - Зинаида Павловна обняла гостью. - Эк тебя морозец-то разрумянил! Входи скорее. Мы поджидали со дня на день, с часу на час. Глебушка уже волноваться стал. Думали: не стряслось ли...
- Ничего со мной не случилось. - В прихожей Глаша скинула шубку, потерла озябшие руки. - Просто пришлось кое-кого убеждать да выжидать. От Егора Васильевича - поклоны. Самые сердечные. Он здоров, в хорошем настроении.
- Значит, не напрасно съездила? Связь наладила? Вот хорошо! Глебушка обрадуется. А я напишу Ильичам. Сегодня же.
Впопыхах рассказывая о саратовских встречах, Глаша попросила ножницы; сидя на диване, слегка подпорола меховой воротник шубки, достала аккуратно сложенную тонкую бумажку и, развернув ее, подала Зинаиде Павловне:
- Вот от них!.. Просили переслать...
Взглянув на бумажку, Зинаида Павловна обхватила девушку обеими руками, прижала к груди:
- Глашура, миленькая! Какая ты молодчина!..
Вернулся с работы Глеб Максимилианович. От его куртки пахло паровозным дымом. Зинаида Павловна с листком в руках выбежала в прихожую, не дала ему раздеться:
- Сначала посмотри, что Глашенька привезла!
- И тому рад, что сама вернулась!
Прочитав коротенькие строчки о том, что Саратовский комитет признает "Искру" руководящим органом партии, Кржижановский чуть не подпрыгнул; влетев в горницу, схватил руку девушки:
- Спасибо! От лица партии! - Еще раз прочитал бумажку. - Это даже сверх ожиданий!.. Экзамен, Глашенька, выдержан отлично! - Отдал жене. Зашифруй для пересылки. А я опущу в почтовый вагон скорого поезда.
За чаем он подробно расспрашивал и о своем сибирском друге Егоре Барамзине и о Саратовском комитете: кто там наиболее активен, много ли кружков и в чем они нуждаются?
Глаша достала из ридикюля крошечную книжечку из тонких аспидных пластинок, где у нее были сделаны грифелем какие-то записи. Глянув на нее, Глеб Максимилианович укоризненно усмехнулся:

- Обзавелась "пропуском в тюрьму"!
- Это? - Глаша шевельнула свою книжечку. Но ведь можно успеть стереть... Да и записано у меня так, что все равно никто ничего не поймет.
- Тебя могли приметить, когда ты покупала.
- Вперед - наука.
- Надо, Глашенька, все запоминать. И имена, и явки, и пароли - все.
Называя саратовские адреса, Глаша указательным пальцем стирала свои записи, а Зинаида Павловна про себя повторяла за ней, чтобы лучше запомнить.
- А мы приготовили для тебя шкурку.
- Правда?.. И как меня теперь звать?
- Минуточку терпения. Шкурка для Зайчика надежная. После ужина получишь.
У Зинаиды Павловны тоже иссякло терпение - ей хотелось поскорее увидеть, как засияют глаза девушки при вручении нелегального паспорта, как вспыхнет ее лицо.
- Зачем же откладывать? - упрекнула она мужа и, отодвинув недопитую чашку, направилась к тайничку в кухне. - Ты бы тоже горел от ожидания.
Через две-три минуты она вернулась с паспортом в руке, хотела с торжественным жестом вручить девушке, но Глеб Максимилианович перехватил его:
- Какие вы, женщины, нетерпеливые. - Он прижал паспорт локтем к столу и кинул строгий испытующий взгляд в глаза Глаши. - Это ведь не на один день. Решающий шаг в жизни. В очень трудной, полной опасностей жизни профессионального революционера. Ты, Глашенька, успела прочесть у Ленина о точке опоры и Архимедовом рычаге, при помощи которого мы перевернем Россию?
Девушка, проглотив горячий комок, застрявший в горле, качнула головой.
- Мы оба знаем, что тебе, - продолжал Глеб Максимилианович, не приглушая пронизывающего взгляда, - и тюрьма уже знакома, и ссылка. Знаем, что ты не робкого десятка. Верим в твою преданность и все же не можем не предупредить...
- Хватит тебе. - Зинаида Павловна легонько шлепнула мужа по плечу. Что ты, в самом деле, затеял... В краску девушку вогнал.
- Не мешай. - Глеб Максимилианович отвел руку жены. - Если ты, Глашенька, ко всему готова...
Девушка дрожащими пальцами достала из ридикюля свой паспорт и, обойдя стол, молча подала строгому наставнику. Он тоже поднялся, принял старый паспорт и, вручая новый, сказал:
- Отныне ты, Зайчик, зовешься Зоей Николаевной Юнеевой.
Открыл дверку печи и старый паспорт кинул на пылающие дрова. Острые струйки огня обвили его цепкими щупальцами.
Все трое молча смотрели, пока обложка и бумага не обуглились и не рассыпались в прах.
Потом Глеб Максимилианович закрыл дверку печи и, возвращаясь к столу, сказал:
- На всякий случай, Зоенька, придумай легенду о родителях, о детстве, о гимназических подругах. Со всеми подробностями.
Глаша молча кивнула головой, перелистала новый паспорт и положила в ридикюль.
- Глебушка поломал наш ужин, - сказала Зинаида Павловна, села к самовару и протянула руку через стол: - Зоенька, дай я налью тебе горячего.
...На следующее утро Зайчик помчалась в Киев.
Между тем жандармерия усиливала слежку за перепиской Кржижановских. В "черном кабинете" уже знали промежуточный гамбургский адрес "Искры" и перехватили два письма Зинаиды Павловны. Чтобы не вызывать преждевременного подозрения, письма отправили по назначению и стали ждать ответа. Но кто такая Булка - ни жандармы, ни охранники еще не знали. И где она проживает - для департамента полиции тоже оставалось загадкой.
К счастью, в тех письмах Зинаида Павловна не назвала ни одной фамилии, не привела ни одного адреса.
Переписке с Соней, кал называли в редакции "Искры" Русское Бюро в Самаре, Владимир Ильич уделял особое внимание. Через некоторое время он заметил, что не все письма Сони доходят до редакции, встревожился за судьбу своих волжских друзей и написал им: "Берегите себя пуще зеницы ока". И посоветовал в случае малейшей опасности немедленно перейти на нелегальное положение.

Бродяга не знал ни отдыха, ни передышки. Третий месяц мотался по железным дорогам то с тяжелым, то с полупустым чемоданом. Лицо у него было усталое, бледное, волосы давно не мытые, борода не чесана, глаза от бессонных ночей красные. Когда удавалось отыскать надежную квартиру, он проваливался в сон, как булыжник в воду.
Из Мюнхена в письмах спрашивали оседлых агентов: "Где Бродяга? Шив ли?" Охранники и жандармы отправляли шифрованные депеши в Петербург: "По агентурным сведениям здесь побывал Бродяга. Выехал в неизвестном направлении".
А он в это время лежал где-нибудь на вагонной полке, поставив в изголовье чемодан, и мысленно говорил себе:
"Не заснуть бы... Ни в коем случае... И успеть бы развезти все..."
Это был Михаил Александрович Сильвин, летучий агент "Искры". Расставшись с волжскими друзьями, он тайком пробрался в Петербург и несколько дней провел в районе Обуховского завода, где Ольга Александровна была домашней учительницей у одного инженера, надежного человека. Оттуда отправился в большой объезд северных и южных городов. В Смоленске на подпольном складе лежало шесть пудов литературы, присланной из Мюнхена. Сильвин туго набил чемодан брошюрой Ленина "Что делать?" и свежими номерами "Искры". Отвез "товар", опасный, как взрывчатка, в Москву и Нижний Новгород, в Полтаву и Воронеж, в Самару и Саратов. Снова наполнив чемодан в Смоленске, наведался в Киев, побывал и в других городах юга. О брошюре Ленина сообщил редакции "Искры": "Успех она имеет колоссальный". И сам на конспиративных квартирах перечитывал многие страницы, пока не засыпал с книгой в руках.
Его всюду спрашивали о майском листке. Он отвечал: листок будет один для всех, текст пишут в редакции "Искры", отпечатают в подпольной типографии у Акима, и он, Бродяга, развезет по крупным городам. Как раз к демонстрациям.
Он экономил каждую копейку: ездил в вагонах третьего класса, обедал в дешевых трактирах или станционных буфетах, а чаще всего обходился булочкой хлеба с кипятком. Но, подсчитав оставшиеся деньги, пришел в ужас: уж очень дорого он стоит! Кажется, делает самые неизбежные расходы, а монеты льются между пальцев, как вода. Что подумают о нем друзья в далеком Мюнхене? Им там деньги во сто раз нужнее. Они со дня на день ждут переводов. Быть может, сидят без единого пфеннига.
Узнав о его стесненности в расходах, Ленин написал в Самару, чтобы Бродягу не ограничивали в деньгах: они ведь необходимы при таких разъездах.
А летучий агент, почитай, уже десятый раз заполнял свой чемодан. Только из одного смоленского склада он снова взял пять пудов "Искры" и "Зари".
Время было тревожное. То в одном, то в другом городе - провалы, и Михаилу Александровичу нелегко было ускользать от хитро расставленных жандармских ловушек.
Из многочисленных рассказов комитетчиков, с которыми он встречался, ему стало известно, что всех обвиняемых в распространении "Искры" отправляют в киевскую тюрьму. Не только из губернских городов, но даже из Петербурга и Москвы. Это насторожило его. Готовится что-то большое, невиданное за последние годы. За арестами может последовать громадный судебный процесс - удар по искровцам. Похоже, его не избежать.
И эти почти одновременные аресты в нескольких губерниях, конечно, не были случайными. В руки жандармов попала какая-то ниточка, и вот они разматывают клубок. Все арестованные в своих тайных письмах на волю утверждают: провокация! И все уцелевшие во время жандармских набегов тоже говорят о провокации. Но где ее истоки? С чего это началось? Не с писем ли?
Михаил Александрович долго и мучительно думал об этом и под конец счел своим долгом предостеречь редакцию "Искры".
"Не читаются ли предварительно получаемые вами письма, - писал он во время краткого отдыха на одной из явочных квартир, - надежна ли ваша прислуга, если она у вас есть, ваши квартиры и пр.? Живя в Европе, не забывайте, что вы окружены русскими шпионами. В особенности будьте осторожны с оказиями, едущими к вам и обратно. Если не вы, так эти оказии уж наверно окружены провокацией".
Положив ручку, Сильвин задумался: отправлять ли такое письмо? Не сочтут ли его паникером?..
...Все началось с московской охранки.

Леонид Меньщиков, чиновник для особых поручений, начинавший свою службу с рядового филера, изнутри закрыл на замок дверь сверхсекретного кабинета и, вернувшись к своему бюро из дорогого красного дерева, углубился в расшифрованное письмо. "Фекла" сообщала "Соне" горькую для нее весть: "У нас арестованы чуть не все прежние люди: Грач, Лейбович, Красавец, Лошадь, Дементьев (транспортер) - и потому все функции в расстройстве".
- Так! - Меньщиков на секунду оторвал глаза от письма. - Грача они, похоже, ценят больше всех. - И снова склонился над письмом: - "Приходится спасать остатки". Интересно, как же они думают спасать? - Перевернув листок, на второй странице письма уткнулся синим карандашом в наиважнейшую строку: "Поэтому было бы чрезвычайно важно, чтобы Грызунов, например, повидался... с Семеном Семеновичем..." (Северным Союзом).
Перечитав письмо и подчеркнув клички, Меньщиков отправился к Зубатову. Тот пришел от письма в восторг:
- Тут и явка в Воронеж! И пароль! Леонид Петрович, тебе счастье в руки! За будущую ликвидацию Семена Семеновича орден обеспечен! Немедленно в путь! С вечерним поездом. Ты - делегат от редакции "Искры". Представляешь себе, как возликуют крамольники, не ожидающие подвоха.
На первой явке в Воронеже Меньщиков спросил: "У вас есть "Воскресение" Толстого?" Ему ответили: "Нету, но есть "Дурные пастыри" Мирбо". Все так, как было в письме. Обрадовались "делегату", собрались послушать новости. На прощанье дали явки в Ярославль, Кострому и Владимир. За какую-то неделю Меньщиков, назвавшийся Иваном Александровичем, объехал все эти города. Возвратившись в Москву, написал подробнейший доклад, тем самым подготовив аресты почти всех деятелей Северного Союза. В одном Воронеже по его доносу было схвачено сорок человек.
Минует пять лет. Меньщиков не поладит с новым директором департамента полиции, увезет в Париж копии многих документов охранки и опубликует в нелегальной печати имена целой своры провокаторов, ищеек и филеров, позднее в публичном покаянии попросит "прощения у всех тех, кто так или иначе потерпел" от его действий в роли чиновника Охраны, и даже скажет, что он, выдавая предателей, оказал немалую услугу революционным организациям.
Но тогда, в 1902 году, усердно строча явно провокаторский доклад о своей изощренной поездке, он оказывал дьявольскую услугу царизму. И жандармские набеги на рабочие кварталы северных городов возрастали, тюрьмы переполнялись.
Потому-то у Михаила Александровича и вырвался на бумаге крик души:
"Простите, что я позволяю себе напомнить об осторожности вам, искушенным в опыте по меньшей мере не меньше моего, - продолжал он писать в редакцию "Искры". - Но обстоятельства таковы, что я уже падал духом и приходил в отчаяние. Во-первых, становится грустно от сознания, что 2 - 3 месяца - средняя продолжительность политического существования. Согласитесь, что срок обидно короткий. Во-вторых, у меня теперь множество связей, я везде являюсь, меня все знают и уже начинают посматривать на меня косо, мое положение становится невыносимым..."
Отправив письмо, он тут же стал упрекать себя: не надо было так. Помимо воли вырвалось что-то похожее, мягко говоря, на уныние. Ведь есть же для него примеры. Вот, скажем, Зайчик не предается трусости. И Медвежонок не трусит. А он, Бродяга, вдруг раскис. Даже стыдно вспоминать.
И Михаил Александрович, загрузив чемодан, опять помчался из города в город. Вскоре он дал отчет: продал искровской литературы на 1822 рубля 55 копеек.
6
- Здравствуй, Пантелеймоша! Друг мой!
- Михаил! Наконец-то припожаловал в благословенный град Псков!
Друзья обнялись, похлопали один другого по плечам. И Сильвин нетерпеливо сказал, что после бессонных ночей буквально валится с ног и хотел бы залечь, как сурок в норе. Лепешинский успокоил его: Ольга Борисовна уехала в Швейцарию слушать лекции в Лозаннском университете, дочку взяла с собой, сам он сейчас уйдет на службу, и вся квартира в полном распоряжении гостя. Он сойдет за его родного брата, изредка навещавшего Псков. Пусть пьет чай, пусть отдыхает.
Но Сильвин к чаю не притронулся. Торопливо сбросив одежду, свалился в постель. И проспал весь день.

Только заслышав шаги Лепешинского, вернувшегося со службы, открыл глаза и, сладко зевнув, потянулся:
- Первый раз, почитай, за два месяца!.. Так спокойно. Не надо было держать ушки на макушке...
- Вставай, друже. Я колбасы принес, свежих саек.
- В баню бы еще, - продолжал Сильвин, не слушая друга. - В парное бы отделение... С березовым веником.
- И веник будет. Вставай.
Обедали по-студенчески: колбасу нарезали толстыми кусками, теплые сайки разламывали руками, как в деревнях ломают пшеничные калачи. Пантелеймон Николаевич расспрашивал о Кржижановских, о Фридрихе Ленгнике и Егоре Барамзине, о Москве и Питере. Михаил Александрович живо отвечал на его расспросы.
- А я тут сиднем сижу, - посетовал Лепешинский. - Соскучился обо всех. Летом непременно вырвусь к жене в Лозанну. Хотя бы на недельку. Знаю, что я тут необходим. Но надо же настоящую Европу посмотреть. С Ильичем повидаться. Все новости узнать от него самого. И, конечно, в шахматы сразиться. Если только остается у него времечко для шахмат.
Потом они отправились в баню, держа веники под мышкой. Пантелеймон Николаевич раскланивался со степенными горожанами в бобровых шапках, те желали ему и его брату легкого пара. Сильвин поинтересовался, кто это такие, Лепешинский махнул рукой:
- Либералишки. Высыпали на прогулку. Расхаживают, как грачи по свежей борозде. Городок-то у нас тихий, неприметный. А до Питера недалече.
"Удачно выбран тихий городок для склада литературы, - про себя отметил Сильвин. - Видать, жандармерия считает, что тут одни либералишки".
В бане они провели добрых два часа. До красноты терли спины жесткими рогожными вехотками. В парном отделении Сильвин забрался на самый верх; усердно стегая себя жарким и пахучим веником, громко охал от большого удовольствия. Выбежав в мойку, попросил друга:
- Плесни на меня шайку холодненькой... Помнишь, в Ермаковском сибиряки? Выбежит из баньки красный, как уголек, поваляется в пушистом снегу и опять...
Под струей холодной воды крикнул и побежал в парную. Снова забрался на самый верх и принялся на второй ряд охаживать себя распаренным веником:
"Теперь наверняка опять месяца на два..."
В предбаннике расчесал частым гребешком волосы и бороду, подстриженные парикмахером.
- Сияешь, как золотой империал!* - рассмеялся Лепешинский, оглядывая друга и радуясь его здоровью. - Будто жених перед венчаньем!

---

* И м п е р и а л - золотой десятирублевик, приравненный к дореформенным пятнадцати рублям.

Дома пили крепкий чай с малиновым вареньем, утирались холщовыми полотенцами.
- Ну, угостил ты меня, Пантелеймоша! - восторгался Михаил Александрович. - Доброй банькой! И таким чайком!.. Век буду помнить.
Когда кончили чаепитие, спросил, что там накопилось у друга в тайнике. Лепешинский принес No 16 "Искры". Гость обрадовался. Он уже успел развезти девятнадцатый номер, а шестнадцатого до сих пор не видел. Искал во всех уцелевших складах - не нашел. А Пантелеймон Николаевич сказал, что он ждет девятнадцатый только через неделю. Что там примечательного?
- Горячий номерок! - ответил Сильвин. - В Ростове-на-Дону демонстрация. В Екатеринославе - тоже. Бутырка переполнена... Да, еще там о Горьком. Помнишь, избрали его в почетные академики? Теперь спохватились: "политический преступник"! И Ника-Милуша повелел отнять высокое звание.
- Об этом я где-то читал. И слышал: в знак солидарности Короленко и Чехов сложили с себя звание почетных академиков.
- Несчастная Академия! Несчастная российская наука! На руки кандалы, на губы - царский замок! В "Искре" хорошо сказали. Сейчас припомню. - Сильвин потер лоб, все еще влажный после чаепития. - Да. Дерзкий вызов всем, кто видит и чтит в Горьком крупную литературную силу и талантливого выразителя протестующей массы.
- Верные слова - полено в костер. Города бурлят, деревня уже не стонет, а кричит.

- Я сам видел на Полтавщине и Харьковщине: горят помещичьи именья!.. А ты не получил текст майского листка? Жаль. Ведь обещали прислать. Я от тебя собирался было поехать сразу к Акиму в Кишинев, хотел заказать для всех, чтобы успеть развезти. Я всюду обещал.
Они не подозревали, что кишиневской типографии уже нет, что нежданно-негаданно и так нелепо провалился Аким. Всегда осмотрительный, он, на беду, сам отправился на вокзал, чтобы опустить письма в почтовый вагон. Тут его и приметил летучий филер Быков, таскавшийся за ним двумя годами раньше в Вильно, и выследил типографию.
Сильвин уткнулся в "Искру". Прочитав передовую, почувствовал, что ее написал Ильич. Вернулся к последним строчкам:
- "...пролетариат пойдет вперед без оглядки до самого конца. - В знак согласия качнул головой. - ...мы будем бороться за демократическую республику. Не забудем только, что для того, чтобы подталкивать другого, надо всегда держать руку на плече этого другого. Партия пролетариата должна уметь ловить всякого либерала как раз в тот момент, когда он собрался подвинуться на вершок, и заставлять его двинуться на аршин. А упрется, - так мы пойдем вперед без него и через него".
Свертывая газету, сказал:
- Будто Ильич видел тех либералишек в бобровых шапках, которые сегодня раскланивались с тобой. Эти упрутся. Придется идти вперед без них и через них, - Сильвин шевельнул газету. - Этот номер я развезу позднее. От тебя поеду на юг. Надо сначала восстановить путь Дементия.
И Михаил Александрович рассказал о предстоящей поездке в Киев. После большого провала комитет там только-только встает на ноги. Опытных транспортеров нет. А на той стороне, у самой границы, лежит около шести пудов литературы. И зубной врач Мальцман, надежный человек, цел и невредим, живет в Теофиполе, на этой стороне, тоже возле самой границы. Он свяжет с контрабандистом, который перевозит "товар" на телеге. Ждет "наследника Дементия". Вот таким "наследником" и явится к нему Бродяга. Получить "товар" - дело его чести. Он уже все предусмотрел: прямо на телеге довезет тюки литературы до Шепетовки и там сдаст в багаж. В Конотопе получит, отвезет в иконописную мастерскую, где у них будет новый склад нелегальщины, а уж оттуда вместе с Аркадием они быстренько развезут по городам. К маю новинки будут у всех. И в южных, и в северных городах. И для крестьян, которых полиция пытается усмирить розгами, тоже хватит. Пока он ездит в Теофиполь, придет текст майского листка.
- И я махну в Кишинев, - сказал Сильвин.
Уже через день он почувствовал себя совершенно отдохнувшим и стал снова собираться в дорогу. На прощанье друг другу пожелали ни пуха ни пера. Они надеялись, что снова увидятся еще до майского праздника. Но судьба не принесла им этой радости. Теофиполь явился для Михаила Александровича настороженным капканом.

7

Уже не первую неделю над редакцией "Искры" висел дамоклов меч баварской полиции. Началось с того, что стали теряться письма. Потом исчез Блюменфельд, отправившийся в Россию с тюками "Искры" и "Зари".
Но самая тревожная новость подстерегала их в типографии: туда заходил тайный полицейский агент и пытался выведать - не там ли печатается нелегальная русская газета. И хозяин всполошился:
- Я не могу рисковать. Полиция может явиться с обыском...
В тот же день из Берлина примчалась Тетка, сказала, что накануне виделась с Августом Бебелем, и тот предупредил о грозящей опасности. Пусть, говорит, уезжают из Германии. Если могут, то немедленно. Баварской полиции будет дан приказ об арестах. И всех арестованных искровцев решено выдать царскому правительству.
- С тех пор я не нахожу себе покоя, - говорила Александра Михайловна, устало обмахиваясь веером. - Вот вам моя маленькая субсидия на переезд. А теперь... Надежда Константиновна, сварите мне кофе.
- Сейчас будет готов.
- Вот спасибо. У меня сердце... - Калмыкова приложила руку к груди. Всю дорогу беспокоилась: не увязались ли за мной шпики?
Уехать немедленно они не могли, - нельзя же бросить газету. В апреле необходимо выпустить хотя бы один номер. Во что бы то ни стало уговорить хозяина типографии. Иначе будет

большой перерыв и в России встревожатся: "Что случилось с "Искрой"? Существует ли она?.." Газета должна выходить вовремя.
А куда переезжать? Плеханов с Аксельродом, понятно, будут настаивать на Швейцарии, - для них удобнее. Но... Куда угодно, только не в Женеву, там в свое время царские агенты дважды громили народовольческую типографию. Да и сейчас город кишит шпиками.
В Брюссель? Там мало связей. А полиция, говорят, лиха.
Лучше всего - в Лондон: в Англии не спрашивают паспортов. Там знакомые русские социал-демократы помогут обосноваться, без промедления наладить выпуск "Искры" на новом месте. Приятно также, что оттуда в свое время звонил Герцен в нелегальный "Колокол".
Но Владимир Ильич опасался, что голоса могут разделиться поровну: это очень плохо, когда шесть редакторов, - Лебедь, Рак да Щука! Надо бы седьмого. А еще бы лучше троим, во всем единодушным.
Написал всем соредакторам, находившимся вне Германии. Быстро отозвался только больной Потресов.
"Ну, что ж - Лондон так Лондон! Возможно, что Вы правы, отвергая такие полумеры, как переезд в Брюссель. Не берусь судить и, скрепя сердце, с проклятиями* высказываюсь за Лондон. Только смотрите, воспользуйтесь уроками прошлого и постарайтесь как можно, лучше законспирировать свой переезд (если уже не поздно, т. е. если уже не проболтались швейцарские друзья). Скрываться и скрывать свое постоянное местожительство я считаю ч р е з в ы ч а й н о важным для свиданий с приезжими из [России] да и вообще для всякого дела".

____

* А. Н. Потресов имел в виду губительные для легочников лондонские туманы.

Плеханов и Аксельрод выжидательно отмалчивались. И Вера Ивановна всякий раз отвечала уклончиво. Не потянет ли она в Женеву? После тяжелых размолвок, угрожавших разрывом, пожалуй, не решится. При обсуждении проекта программы, кажется, и она поняла, что Плеханов стремится к единоредакторству. Возражений не выносит. Готов всех оскорбительно третировать и свысока поучать: делайте то-то и то-то, а я, дескать, посмотрю, почеркаю рукописи - переписывайте заново. Добро бы принципиальные замечания, о таких говорят: "Ум хорошо - два лучше". Но у Георгия Валентиновича, к сожалению, к очень большому сожалению, иногда над всем довлеет амбиция. Сейчас как будто и Мартов понял это, надо думать, проголосует за Лондон.
Последнее заседание не рискнули созывать в кафе "Европейский двор" собрались в квартире Ульяновых. Пришел новый сотрудник Лев Григорьевич Дейч, член группы "Освобождение труда", недавно бежавший из сибирской каторги, - его собирались кооптировать, седьмым соредактором. Пришла и Вера Кожевникова. Ее в редакции уже давно считали правой рукой Надежды Константиновны. Первой заговорила Засулич:
- Лондон далеко, затруднятся связи с Жоржем и Аксельродом...
Но она вовремя вспомнила, что швейцарские власти высылали Плеханова из страны, что ей самой доводилось укрываться то во Франции, то в Англии, и не стала больше возражать против английской столицы.
Оставался решающий голос Мартова. Он высказал опасение, что после переезда в Лондон Плеханов страшно озлится на всех. Однако это не должно их останавливать.
- Пусть злится! - Юлий Осипович дернул на себе галстук. - Мы не будем потакать его самолюбию и высокомерию. Жить рядом с ним теперь, после всего того, что произошло, для нас было бы нелегко. Для нашей работы, для нашего святого дела. В Лондон!
Дейч так же, как Вера Засулич, знал Плеханова ближе всех, не хотел, чтобы у него оставалось чувство обиды, но тоже счел английскую столицу наилучшим местом.
- Итак, - резюмировал Ленин, - едем в Лондон. Но кому-то одному придется остаться: апрельский номер должен выйти здесь. Хозяин типографии за двойную плату согласился рискнуть. Не воспользоваться этим было бы грешно.
Вера Васильевна на секунду задумалась: она в редакции самая молодая, в Мюнхене скрывается не так-то давно, - для нее риск меньше, чем для остальных. И нельзя же, чтобы остался кто-то из редакторов. Она не обманывает себя - одной будет тяжело. Страшновато. Даже сердце замирает. Но она ведь уже научилась подавлять страх. И при арестах, и во время побега из ссылки. Думать надо не об этом. Главное - сделать номер таким, каким наметил его Ильич. Сумеет ли она?

- Мы потеряли опытных транспортеров, - продолжал Ленин. - Но связи пока не оборваны, и отсюда разослать номер будет гораздо легче, чем из Лондона. Там все придется налаживать заново... - Обвел взглядом всех. Какое ваше мнение?
- Иного мнения и быть не может, - поддержал Мартов. - Выпускать номер здесь. А риск для нас - не новость.
- Никто не возражает? - спросил Владимир Ильич. - В таком случае...
Вера Васильевна порывисто встала, будто боялась опоздать:
- Если доверите, останусь я. Дети мои теперь уже пристроены в России. Я тут одна... Думаю, что справлюсь...
- Конечно, справитесь, - подбодрил Ленин, присматриваясь к ней, решительной, деловитой и смелой. - Лучшего, по-моему, и желать нельзя. Так и решим? Отлично. Только вы, Наташа, - хотя все мы знаем вашу осмотрительность, - постарайтесь не встречаться ни с кем, кроме самого типографа да наших транспортеров. И наряжайтесь под баварскую немку. И баварским диалектом постарайтесь овладеть получше. Впрочем, вам тут недолго оставаться. Выпустите номер, сдадите транспортерам и - к нам в Лондон.
Ленин встал и с размаху пожал ей руку.
Начались поспешные сборы в дорогу.
Надежда в один день распродала мебель и посуду: за все выручила двенадцать марок! На дорогу оставила только чайник да две кружки.
Чтобы родные не теряли их из вида, Владимир Ильич 10 апреля написал Анюте в Берлин до востребования (вместо имени и фамилии поставил три условных буквы - B. R. Y.):
"Совсем сбился с ног с хлопотами! Едем 12-го. Пиши пока, если что спешно, на адрес:
Mr. Alexejeff
14. Frederick Str. 14
Cray's Jnn Road.
London W. C.
(д л я Л е н и н а - внутри)".
Сообщил также, что адрес мюнхенского доктора Лемана "в о в с я к о м с л у ч а е годен: всегда перешлет". И подписался - Ленин.
Но до Анны Ильиничны письмо не дошло: за ней проследил царский шпик, узнал, под какими буквами она получает письма до востребования, и 12-го раньше ее пришел на почтамт. И уже на следующее утро заведующий берлинской агентурой Гартинг отправил донесение в Петербург, в департамент полиции. Таким образом, еще до прибытия искровцев в Лондон царские сыщики узнали, что Ленин - это разыскиваемый ими Владимир Ульянов и что он перебирается в английскую столицу.
Это явилось для жандармерии неожиданным ударом: не успела немецкая полиция схватить искровцев в Мюнхене! Проворонила Ульянова! Из Лондона, кичащегося своим либерализмом, достать его будет труднее. Но адрес у них в руках.
Ехать Ульяновы решили через Бельгию. С вечерним поездом. Так все же безопаснее. Засулич и Мартов намеревались проводить их на вокзал, но Владимир Ильич воспротивился: им нельзя рисковать. Простились в опустевшей квартире.
- А мы завтра отправимся в Цюрих, - сказал Мартов. - Для продолжения баталии по программе. Плеханов приедет туда.
- Думаю, что теперь уже никакой баталии не будет - Жорж согласится с проектом комиссии, - сказала Засулич.
- Как знать... - прищурился Ленин. - Возможны новые пируэты.
- Ну, уж вы слишком... - обидчиво заметила Вера Ивановна. - Нельзя же так про Плеханова.
- Поживем - увидим. - Мартов, расстегнув пальтишко, достал из внутреннего кармана проект программы, переписанный его рукой, и подал Ленину. - Посмотри на досуге. Если будут замечания, напиши мне в Цюрих.
- Прочту в вагоне. Сегодня же, - пообещал Владимир Ильич. - И в любом случае напишу с дороги. До свидания!
Поезд набирал скорость. За окном мелькали хмурые дома с острыми черепичными крышами, мелькали каштаны с едва проснувшимися почками. В окнах зажигались огни.
Ульяновы, стоя в проходе, последний раз смотрели на вечерний город. Владимир Ильич задумчиво качнул головой.

Прощай, Мюнхен! Ты приютил нас в трудное время. Твои лучшие люди приняли нас, как друзей, оказали добрую услугу российскому революционному движению.
Впереди - Лондон.
Как-то он встретит изгнанников?
К Н И Г А В Т О Р А Я

___

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Над острыми крышами трехэтажных кирпичных домов клубился черный дым каминов. Трубы их торчали, как гильзы в обоймах. На каждом доме по нескольку таких обойм.
Густой туман осаживал дым до самой земли, и, хотя по-английски была еще только обеденная пора, казалось, на незнакомый город уже опустились сумерки.
- Какая невероятная мразь! - невольно вырвалось у Надежды, не отрывавшейся от окна вагона.
- Какая громадина! - вполголоса отметил про себя Владимир Ильич, стоя рядом с женой. - Вот уж действительно твердыня капитализма! Посмотрим, посмотрим, насколько она еще крепка.
Повернулся лицом к Надежде Константиновне:
- Мразь, говоришь? Ты права - иного слова тут и не подберешь. Лондон, как видно, показывает себя в своем обычном облике.
Тень задумчивости скользнула по лицу Ленина.
- Н-да, Потресов не зря опасается - с больными легкими сюда лучше не показываться. Ну что же, будем работать без него. Нам не привыкать. А он пусть дышит чистым альпийским воздухом.
Иногда поезд нырял под город. Да и тесные улицы рабочего района английской столицы с их продымленными домами напоминали туннели. Наконец колеса вагонов загрохотали по мосту. За окнами показалась бледная, будто оловянная, полоска Темзы.
- Вот мы и приехали! С чем тебя и поздравляю.
Владимир Ильич помог жене одеться, снял с багажной полки их единственный чемодан, надел коричневое пальто, шляпу-котелок, купленную специально для Лондона, и сунул в карман немецкую газету, свернутую так, чтобы было видно ее название - "Vorwarts".
Поезд замер у одного из перронов шумного вокзала Чаринг-Кросс. Ульяновы спустились с подножки, посмотрели по сторонам. Сделали несколько шагов вдоль поезда и опять остановились.
Их приметил стоявший в стороне незнакомый человек в очках, с темной бородкой и слегка обвисшими усами; проходя мимо них, глянул на газету в кармане приезжего и просиял: "Они!" Повернувшись, приподнял шляпу.
- Простите, вы из Мюнхена? Владим...
- Из Мюнхена. Якоб Рихтер, - перебил Ленин, протягивая руку. Спасибо, Николай Александрович, за встречу. - Указал глазами на жену: Познакомьтесь - фрау Рихтер.
- Слышал о вас, - сказал Алексеев, слегка пожимая руку Надежды Константиновны. - От Калмыковой слышал. От Петра Струве. Насколько помню, по его поручению вы переводили книгу Веббов. Кажется, еще в Сибири.
- Да. Мы вместе с Якобом, - подчеркнула Надежда Константиновна.
Ульяновы тоже немало слышали об Алексееве от общих знакомых. Знали, что он состоял в одном из кружков "Союза борьбы за освобождение рабочего класса", был арестован, как выражались следователи, "за преступную пропаганду идей социализма в рабочей среде". Три четверти года просидел в камере 193, хорошо знакомой Владимиру Ильичу по его четырнадцатимесячному заключению, а потом был сослан в Вятскую губернию, откуда два года назад бежал сюда. Из самых надежных надежный человек!
- Мы тут на виду, - сказал Николай Александрович. - Пойдемте. Я нанял кэб. По-нашему извозчика.
- Кэб, кэбмен - это мы знаем, - улыбнулся Ленин. - А в вагоне из разговора англичан, соседей по купе, ни единого слова не могли понять. Благо, выдавали себя за немцев.
- Инглиш мы изучали по книгам, главным образом в тюрьме, - добавила Надежда Константиновна. - Теперь придется разговорный...
- Это дело наживное, - подбодрил Алексеев. - Я вот так же... Не понимал разговорного. А потом по объявлению нашел англичанина, который занимался со мной в обмен на мои уроки русского.

Они вышли на маленькую привокзальную площадь, где их поджидал кэбмен со своим нелепым экипажем диккенсовских времен. Это была старая двуколка на больших, будто у арбы, колесах, без кучерского облучка. Пассажирам полагалось сидеть впереди, и они втроем втиснулись на скамейку, под жесткий тент. А кэбмен взгромоздился на высокое сиденье позади кузова; понукая коня, неосторожно хлестнул ременными вожжами по тенту.
Николай Александрович, словно опытный гид, принялся рассказывать, что они могли бы проехать через знаменитый Трафальгар-сквер, где бронзовые львы сторожат колонну адмирала Нельсона, но в такой смог ее невозможно разглядеть.
- На той же площади, - продолжал он, - Национальная галерея. Там, помимо своих мастеров, и Рембрандт, и Веласкес, и Рубенс. Много итальянцев. Словом, есть что посмотреть. Завтра она будет открыта.
- Галерея - для Плеханова, - добродушно улыбнулся Владимир Ильич. Он в какой город ни приедет, первым долгом - в музей. А у меня почему-то не хватает времени. Но, конечно, посетим. Посмотрим. Правда, Надюша? Я так и думал, что ты согласишься. А скажите, - снова повернул лицо к Алексееву, - вы куда нас везете? Если в отель, то в самый дешевый: мы живем пока что на весьма и весьма скромные деньги партийной кассы.
- Понятно. У кого из нас, эмигрантов, водятся деньги? Я на первое время нанял для вас одну спальню. Так здесь называют недорогие меблированные комнаты. Небогатые квартиранты их сдают от себя. Тут недалеко. Возле Риджент-сквер. Район удобный. А осмотритесь - найдете квартиру.
- Спасибо за все ваши заботы. А писем для нас нет?.. Странно. По дороге мы останавливались в Кёльне и Льеже, заезжали в Брюссель. На это ушло четыре дня. Ваш адрес я сообщил в Берлин, сестре, - должна бы уже написать.
Надежда Константиновна слышала, но теперь забыла о левостороннем движении в Англии, и ей казалось, что кэбмен по ошибке придерживается левой стороны, оттого встречные вынуждены объезжать его тоже слева и в тумане они вот-вот столкнутся. Но кэбмен как будто боялся отклониться от левого тротуара. Только на перекрестках подавал голос, чтобы не столкнуться с каким-нибудь экипажем.
- Почту вам буду приносить, - пообещал Николай Александрович. - Нет, меня не затруднит, я живу буквально в двух шагах. А утренняя прогулка всегда приятна. Понадобится - могу дважды в день.
- Только не в такую непогодицу.
- А я уже привык. Вернее сказать, притерпелся.
- Ну, а как наше дело? Успели что-нибудь?
- Все в порядке. Был у Квелча. Передал письмо Веры Засулич. Он весьма любезен. Ждет нас завтра после ленча*.

---

* Л е н ч - второй завтрак.

- Очень, очень хорошо! Люблю такую аккуратность!
На улицах загорелись фонари с какими-то оранжевыми стеклами. Алексеев объяснил: от таких свет яснее пробивается сквозь туман. Но и они едва были видны в раннем сумраке. Очертания домов расплывались, как акварельный рисунок, опущенный в воду.
Надежда Константиновна сняла перчатку, и руку сразу обволок прохладный, как бы липкий туман.
Кэбмен придержал коня возле одного массивного входа, по обе стороны которого стояли невысокие полуколонны. Алексеев, спрыгнув, три раза стукнул молоточком о медную пластинку; пожилой женщине в кружевной наколке, открывшей дверь, сказал:
- Принимайте ваших гостей. - И назвал Ульяновых супругами Рихтер. Из Берлина.
Когда все по узенькой лестнице поднялись в комнату и англичанка, показав на кровати, где сверху покрывал лежало по две пустых грелки, вышла, Николай Александрович усмехнулся в вислые усы.
- Привыкайте по-аглицки. Кипяток для грелок вам дадут. Так уж здесь заведено - с грелками под боком! И ничего живут! Но мы, россияне, не завидуем.
Надежда Константиновна, оставшись в одном платье, поежилась от прохладной сырости.
- Брикеты вам могут дать, - Алексеев кивнул на камин, - но - увы! за отдельную плату.

Владимир Ильич сунул руку под одеяло - простыня влажноватая. И ему опять вспомнился Потресов: "Нет, Александру Николаевичу перебираться сюда было бы сверхрискованно".
Когда остались вдвоем, раскрыл чемодан и накинул теплый платок на плечи жены.
- Спасибо, Володя.
Поджав руки, Надежда косо посмотрела на пустой камин. Дома они разожгли бы печь. Да березовыми дровами...
- Ничего, Надюша, проживем. Впереди весна, лето.
Владимир прошелся по комнате, опять подумал о старшей сестре. Почему от нее нет ни слова?
Надежда взяла мужа за руки, посмотрела в глаза.
- Не волнуйся. Просто Аня не успела написать. А может, почта запоздала...
- Нет, тут что-то иное. Анюта успела бы. Непременно сообщила бы, есть ли у нее письма из Самары. Она знает, что я не могу не тревожиться о маме. Из Швейцарии тоже могли бы уже написать. Если не Юлий, так Павел Борисович. Что там у них? Есть ли вести о Блюменфельде? Опасаюсь за него. Не провалился ли? Ведь уже больше месяца. Пора бы возвратиться... Здесь Блюм нам теперь очень нужен.
- Он не впервые через границу. Опытный, осторожный...
Внизу постучали. Два удара молоточком - это им, Рихтерам. Кто бы мог быть? Ленин быстро спустился, открыл дверь. Оказалось, вернулся Алексеев. С маленьким свертком в руках.
- Вам на ужин. Вы же еще не знаете, где и что можно купить.
Владимир Ильич уговорил гостя подняться в комнату и поужинать с ними.
В свертке кроме двух бутылочек пива оказались сэндвичи - тоненькие, как вафли, ломтики хлеба с тончайшей прослойкой из сыра. И Николай Александрович опять усмехнулся.
- Привыкайте к здешнему рациону. - Шутливо поднял руку с простертым указательным пальцем. - А я уже могу засвидетельствовать: жить можно.
2
С рассветом туман рассеялся. Сквозь рваные облака изредка проглядывало солнышко.
Владимир Ильич вышел посмотреть ближайшие кварталы. Надо же знать, где они живут. С тротуара оглянулся на дом. Четырехэтажный, длиной во весь квартал, он был полосатым, как зебра. Через каждые два-три окна - дверь с полуколоннами по сторонам. Над притолокой - свой номер. Так вот почему в почтовых адресах не пишут номера квартир! В одном доме - больше десятка "домов". У каждого свой вход. И каждый хозяин выкрасил свой "дом", вернее - свою секцию в большом здании, той краской, какая ему нравится. Один - серой, другой - коричневой. Но больше всего черных и белых полос. И вон полуколонны у подъездов соседи разделили пополам: одна половина выкрашена сажей, другая - белилами.
"Мой дом - моя крепость!" - усмехнулся Владимир Ильич, припомнив английскую поговорку. Что, дескать, хочу, то и делаю. Даже вопреки здравому смыслу. Дикий пример крайнего индивидуализма!
Улица была пустынной.
Владимир Ильич шел, присматриваясь ко всему. И прежде всего приметил: возле каждой двери, порой прямо на тротуаре, - пустые бутылки. Большие, несомненно, из-под молока, маленькие - из-под сливок или сметаны. Пинта и полпинты. Выставлены так же, как в отелях выставляют в коридоры обувь для чистки. А кто собирает пустую посуду? Молочник?
За углом кто-то насвистывал веселую песенку. Все слышнее и слышнее. Может, идет человек на работу. Едва ли. Идет не спеша. Насвистывает беспечно. Не повернет ли в эту улицу? Но свист оборвался. И тотчас же что-то звякнуло, стукнуло. Вошел в дом? Нет, свист возобновился. Стал еще слышнее.
Владимир Ильич дошел до угла и в переулке увидел фургончик на колесах с шинами, похожими на велосипедные. Его катил, подталкивая одной рукой, молодой человек в темно-синем фартуке с широкими лямками и карманами. И продолжал насвистывать все ту же песенку. Вот он остановился возле подъезда, открыл дверку, из легких проволочных гнезд достал три бутылки одну большую, две маленьких, - поставил возле входа, а пустую посуду убрал в фургон и покатил его к следующей двери.
"Англичанин-мудрец придумал неплохо! - Владимир Ильич направился к молочнику. - И все у него на доверии. Деньги, как видно, собирает по субботам".
Подошел, поздоровался, сказал, что только вчера приехал в Лондон, живет неподалеку и хотел бы каждое утро иметь пинту молока. Из-за незнакомого акцента и неправильного

произношения молочник понял далеко не все. Пришлось повторить, даже прибегнуть к жестам: дом, где я живу, за этим углом; нам каждое утро одну пинту.
- Иэс, - улыбнулся молочник. - Уан пинта. Вэри гуд.
Он катил свой фургон как раз в ту сторону. Остановившись у подъезда, где была "спальная комната" Ульяновых, обменял выставленную за дверь пустую посуду на молоко и сливки, добавил туда пинту и, записав себе в книжечку немецкую фамилию нового клиента, кивнул головой:
- Тсэнк ю!*

____

* Благодарю вас!

Возвращаться еще не хотелось, и Владимир Ильич направился на соседнюю улицу. Там преобладали такие же каменные зебры. Один дом был с эркерными окнами и напоминал растянутый мех гармошки.
И вдруг улицу стиснула литая чугунная решетка, от мостовой оставалась узенькая полоска, на которой двум кэбам нелегко разминуться. Решетка примыкала к большому белому дому на противоположной стороне, а за ней между высокими платанами широко разрослись кусты сирени, дальше виднелись зеленые пятна газончиков и круглая, обрамленная мраморными плитками клумба с крупными бутонами тюльпанов. Служанка приоткрыла дверь, и в сад, разминаясь, вышел желтоватый клыкастый бульдог. Бока у него лоснились, на короткой шее кожа в тугих от жира складках. Он пробежался вокруг клумбы по дорожке, посыпанной крупным песком, оставил возле деревьев свои собачьи отметки и, укладываясь на скамейке, сладко позевнул.
Со стороны улицы была калитка, через которую, как видно, время от времени вывозили мусор. Теперь она была закрыта на замок, и на ней висела табличка "Private" - частное владение! Земля куплена хозяином большого дома, а горожане пусть довольствуются узенькой полоской улицы. Для плебса и того достаточно!
На углу длинной и прямой улицы киоск с пухлыми - по двадцать да по двадцать четыре страницы - утренними Газетами, от начала до конца прослоенными рекламой. Там, быть может, удастся отыскать объявление англичанина, желающего брать уроки русского языка в обмен на разговорную практику в английском. Но главное - новости. Купил бы все газеты, если бы не крайняя стесненность в деньгах. Ничего. Говорят, есть читальни маленькие комнатки, где на стойках для чтения прикреплены свежие газеты. Заходи прямо с улицы и просматривай. Алексеев скажет, где их найти. Надо непременно сходить сегодня же. А пока... Владимир Ильич достал часы, откинул крышку. Ого, уже время брэкфеста! И им тоже пора бы завтракать. Надя, вероятно, заждалась.
Купив две булочки, Владимир Ильич поспешил домой. На узких тротуарах теперь было тесновато от пешеходов. Клерки спешили в свои офисы, кухарки в магазины за продуктами. Возле тротуара медленно вышагивал старик с одутловатым лицам, через его плечи перекинуты на лямках щиты с плакатами: на груди - квадратный, на спине - длинный, фута на два выше головы. "Сэндвич"! Реклама с живой начинкой! Измученный раб торговли! Владимир Ильич прочел адреса магазинов. Один торговец зазывал к себе любителей виски "Белая лошадь", другой хвастался большим выбором колониальных товаров. "Сэндвич" потоптался у входа в гастрономический магазин, вдыхая соблазнительный аромат свежекопченой колбасы, и, медленно повернувшись, побрел в противоположную сторону. Вот так, бедняга, как заезженная понурая лошадь, будет ходить по улицам до самого вечера. И до конца своих дней.
Надя, наверно, уже отодвинула занавеску и смотрит в окно. Тревожится: уж не случилось ли что-нибудь недоброе?..
Владимир Ильич прибавил шагу, но на шумном перекрестке его приостановили жалобные звуки флейты. Играл сутулый старик, лицо которого было исполосовано глубокими морщинами, прохладный ветерок шевелил тощие пряди седых волос музыканта. Когда-то он, надо думать, играл в оркестре, а теперь... Но нет, он не нищий. В благопристойной Англии попрошайничество запрещено. Он "работает"! Вон в ветхой, давно выцветшей и помятой шляпе, опрокинутой на тротуар, лежит отнюдь не подаяние, а заработок полупенсовая монета. Сколько же часов придется ему простоять на этом и еще на каких-то других, более счастливых перекрестках, чтобы заработать хотя бы на один сэндвич для запоздалого брэкфеста...

"Вот они, ужасные лондонские контрасты!" Владимир Ильич положил монетку в шляпу музыканта.
А Надя ждет... Больше он нигде не будет задерживаться. И дом уже недалеко.
У двери осталась единственная бутылка с молоком. Пинта на двоих. Не богато. Но ведь брэкфест и не должен быть обильным...
Еще не успев перешагнуть порог, сказал:
- Извини, Надюша, за невольную задержку. Держи наш первый лондонский завтрак. И, знаешь, мы с тобой уже имеем кредит... у молочника!
- Вижу, прогулка была приятной. У тебя щеки порозовели.
- Природа как бы извинилась за вчерашнюю непогодицу, за мразь, как ты сказала. - Снял шляпу, скинул пальто, отнес на вешалку. - А впечатления разные. От приятных до ужасных. Сначала порадовал свежий воздух, веселый молочник, видать, хороший парень.
Владимир начал с той же оживленностью рассказывать про "сэндвич", про флейтиста на перекрестке улиц, но Надежда перебила:
- Садись за стол. Молоко хорошее. И булочки свежие.
- Да, на каждом шагу вопиющие контрасты! А молочник мне определенно понравился. Жаль, что я не знаю слов его веселой песенки. Ничего. В субботу, когда он придет за деньгами, обязательно расспросим. Что поет простой народ, полезно знать. Даже необходимо. И при первой же возможности поедем в пролетарский район. Быть может, удастся побывать на рабочих собраниях.

3

Вскоре после брэкфеста пришел Алексеев. Письмами опять не порадовал, но зато принес еженедельную социал-демократическую газету "Джастис"*.

---

* "Справедливость".

- Свежий номер? Вот спасибо!
Владимир Ильич знал, что "Джастис" издается около двух десятилетий, что ее давно редактирует Гарри Квелч, известный в стране публицист и оратор. Сейчас, перелистывая газету, приятно пахнущую типографской краской, Ленин обращал внимание не столько на содержание статей и заметок (внимательно прочтет позднее), сколько на шрифты и мастерство печатников:
- Пожалуй, не уступают немцам. Даже нонпарель читается легко. Дело за тончайшей бумагой. - Положил газету на стол и опустил на нее ладонь. Здешние номера "Искры" ничем не должны отличаться от мюнхенских. Пусть жандармы думают: печатаем в той же типографии.
Алексеев принялся рассказывать о своем впечатлении от газеты Квелча. Тон у нее оптимистический. Порой даже отрываются от действительности. Не так давно прочел этакие бравые строки: социалистическая революция близка!
- В Англии?
- Там сказано в общем плане...
- В общем?! А революцию, как известно, порождают конкретные явления классовой борьбы в конкретной стране. Об Англии я пока не берусь говорить, а что касается России, сомнений нет и быть не может - революция близка! Да, да, она уже у порога. И ваша ирония - "бравые строки" - напрасна. Я не удивился бы, если бы услышал это от человека, который был принужден лет двадцать прожить здесь, в эмиграции, и оторвался от нашего российского рабочего движения. Но вы-то не могли забыть. Всего лишь два года здесь. Хотя что же я говорю? Именно за эти два года революционное движение нарастало с каждым днем, с каждым часом. Это вы могли почувствовать по нашей "Искре".
- Не всегда видел ее. Далеко не каждый номер...
- Это наша оплошность. Извините. Мы главное внимание обращали на доставку "Искры" в Россию, во все ее уголки.
Владимир Ильич встал, коснулся рукой плеча собеседника.
- Нам, Николай Александрович, ждать уже недолго.
- Доживем?
- Безусловно. Я ни капельки не сомневаюсь. Мы вот этими руками примемся за перестройку мира. Разрушить старое - это полдела, главное создать новое. И мы не выжидаем. Мы вместе с рабочими подкидываем дрова в костер.
- Да и я не в стороне. Я понимаю... Верю...

- Вот и хорошо, что мы понимаем друг друга. А теперь... - Владимир Ильич достал часы. - К Квелчу, правда, еще рано...
- А мы пока что посмотрим город. Поездим.
- Вот об этом я как раз и хотел вас попросить. Будьте моим чичероне.
На улице подождали омнибус, пестрый от рекламы. Его везла рысцой пара дюжих вороных с коротко подстриженными хвостами.
Внизу на боковых скамьях свободных мест не оказалось. Алексеев и Ульянов по узенькой лестнице поднялись на империал. И не пожалели: сверху можно смотреть во все стороны.
Через какое-то время выехали на парадно-богатую Оксфорд-стрит. Навстречу омнибусу один за другим мчались молодые всадники в белых замшевых брюках, в нарядных куртках и блестящих цилиндрах. У каждого модные бакенбарды, в руке желтоватый стек. Денди спешили на прогулку в Гайд-парк.
Омнибус плавно покачивался. В глазах рябило от витрин: шляпы, галстуки, перчатки, яркие платки, разноцветные туфли, атласные бюстгальтеры, золотые серьги с каменьями, браслеты, ожерелья, диадемы, белые, как морская пена, платья для невест... Роскошные манекены заманчиво протягивали руки, будто уговаривали: купите все, что на меня надето.
Но вскоре навязчивая роскошь уступила место строгой деловитости. Исчезли жилые и торговые дома. Улицы, стиснутые черными громадинами, напоминали ущелья, и Владимир Ильич понял, что они въехали в могущественный и всевластный Сити - город в городе. Не видно ни одной женщины. Только мужчины. У каждого портфель из крокодиловой кожи. Возле подъездов кареты с вензелями, лакированные коляски с кучерами, похожими на шкиперов. Бородатые, как апостолы, швейцары, поблескивая галунами ливрей, услужливо открывали дубовые двери. Медные пластины вывесок начищены до блеска: направо - банк, налево - банк, позади - банк, впереди - банк.
В Сити нет ни отелей, ни театров. Ничто не должно мешать считать деньги. Ничто не должно отвлекать от паутины, которую плетут здесь и через моря и океаны раскидывают по всем материкам. Колоссальная империя, над которой, видите ли, никогда не заходит солнце. Пятая часть суши на планете - собственность английской короны, четвертая часть человечества подданные короля. Преимущественно колониальные рабы. По десятку на обитателя метрополии. Но раб перестанет тянуть ярмо. В прошлом году кончилась "эра королевы Виктории". И эре империализма придет конец. Карта кичливой Британской империи сузится до little England*. И солнцу укоротится путь в десятки раз: будет всходить из Ла-Манша, скрываться в Атлантике.

---

* Маленькая Англия.

Мрачное ущелье как бы вытолкнуло омнибус на Трафальгарский сквер. Тут уж не усидишь. Скорее, скорее вниз - на серую брусчатку, до блеска отшлифованную подошвами ботинок трудового люда, побывавшего здесь в часы митингов. Теперь на площади тихо. Из-за непогожей весны еще не плескались струи фонтанов. Никто из митинговщиков еще не взбирался на загривки бронзовых львов у колонны Нельсона. И на всей площади только две сердобольные старушки рассыпали из бумажных пакетов крупу для голубей.
За сквером вздымался торжественный портал Национальной галереи с ребристыми колоннами, впервые придуманными древними эллинами. А перед парадной лестницей, неловко поджав ноги, сидели на тротуаре давно не бритые, одетые в лохмотья мужчины с воспаленными веками и глазами, полными безнадежности. На гладкой, как грифельная доска, асфальтовой поверхности они цветными мелками небесталанно набрасывали мордочки собак да кошек. Кто закончил, тот рядом с рисунком клал кепчонку или берет и в ожидании присаживался на ступеньку. С обеих сторон рисунков дощечки с надписями: "Просим не топтать. Картины - наша собственность".
- Ужасно! - вырвалось у Владимира Ильича. - Какая горькая ирония! К вечеру прохожие все равно затопчут. Эфемерную собственность унесут на подошвах ботинок.
- Завтра художники нарисуют снова...
- И это в богатейшей столице богатейшей Британской империи!
Любители живописи, спешившие в Национальную галерею, даже не приостанавливались возле рисунков на тротуаре, и редко кто бросал медную монетку с профилем сытой и самодовольной

королевы Виктории (с профилем Эдуарда VII еще не успели отчеканить) на одной стороне и Владычицей морей на другой.
- Лондонцы уже привыкли к таким контрастам, - Алексеев кивнул головой на уличных художников.
- Привыкли? Пожалуй, только те, у кого рыбья кровь...
Голуби, склевав зерно, взлетали на крыши окрестных домов, садились и на бронзовую, от времени позеленевшую фигуру Нельсона. С пятидесятиметровой высоты адмирал равнодушно смотрел поверх города в туманную даль. Над ним нависали аспидные тучи.
В полдень пришли на крошечную площадь Кларкенвилльгрин, приостановились напротив типографии газеты "Джастис". Неказистый и довольно старый двухэтажный дом был стиснут узенькими трехэтажными.
- Вверху наборный цех, - Алексеев указал на пять окон с частыми крестовинами рам, - внизу - печатный. - И с журналистской осведомленностью добавил: - Строили дом для детского приюта. Для подкидышей и сирот. А позднее в нем, говорят, располагался клуб радикалов с небольшой кофейней.
Позади типографии воткнулась в тучи четырехгранная колокольня с черным циферблатом. Медные стрелки показывали четверть первого. Входить еще рано - редактор, несомненно, все еще занят вторым завтраком.
Несколько раз прошли мимо дома. Когда время ленча миновало, поднялись на второй этаж и постучались в дверь редакторского кабинета.
Квелч, приветливый, по-спортсменски подтянутый, поднялся навстречу; здороваясь, извинился за тесноту. Комната малюсенькая, с единственным окном, за которым чернела глухая стена соседнего здания. Полка с книгами, над ней портрет Маркса. Письменный стол, простенькое кресло с гнутой спинкой да стул для посетителя. Для второго стула места не было. Разговаривали стоя. Квелч, еще раз извинившись за тесноту, стал расспрашивать о рабочем движении в России, о тюрьмах и каторжных централах, о бесчисленных опасностях, подстерегавших транспортеров "Искры" на каждом шагу. Владимир Ильич попробовал отвечать по-английски, но из-за его ломаного и порой неточного произношения Квелч многого не понимал, часто переспрашивал. Даже помощь Алексеева не облегчала беседы. И они перешли на французский, которому маленького Володю еще задолго до гимназии учила мать. Теперь он отвечал без запинок, живо и горячо, с подробностями, неизвестными на Западе, и вскоре заметил огоньки в глазах собеседника. А когда упомянул о демонстрациях у Казанского собора, где когда-то выступал молодой Плеханов, Квелч вскинул голову и широко улыбнулся.
- О-о, Плеханов! Мне о нем много рассказывала Вера Засулич, которую, я помню, Энгельс именовал героической гражданкой.
- Вы так близко знали Фридриха Энгельса?
- Да, мне выпало такое счастье. Я оказывал нашему учителю известное содействие в публикации трудов его гениального друга. Между прочим, сам Карл Маркс когда-то выступал в этом доме*.

---

* Теперь на фронтоне здания написано: "Дом Маркса. Марксистская мемориальная библиотека".

- Вот как! Весьма примечательно!
- Фридрих свободно читал по-русски. Ваш язык ему нравился. Плеханова он высоко ценил, называл запросто Георгием, а Засулич - Верой.
- Она скоро приедет сюда. Как соредактор нашей газеты.
- Приятно слышать. Буду рад встрече.
Тут Владимир Ильич и напомнил об их общей просьбе. Хотя Квелч ждал этого вопроса, но не мог скрыть короткой задумчивости; пощипывая ус, заговорил поблекшим голосом:
- Мы с большим бы удовольствием... Но есть немало затруднений. Пожал плечами. - Не знаю, удастся ли их преодолеть. Видите, как мы ютимся. А вам, редактору, я понимаю, нужен уголок для чтения корректуры.
- Мы были бы весьма признательны.
- Наша теснота не главное затруднение. А вот шрифт... У нас русского нет.
- В Лондоне да не найти нужного шрифта! - не сдержал удивления Алексеев. - Вы, насколько я знаю, бывший наборщик. Спросите у старых коллег.

- Допустим, мы нашли бы шрифт...
- А о русском наборщике наша забота, - поспешил заверить Ленин. Приедет из Женевы.
- Ну, если так... Наши печатники пойдут навстречу. И все же потребуется некоторое время...
Ленин, поблагодарив, спросил, когда они могут рассчитывать на новую встречу. Квелч назвал день и проводил гостей до лестницы.
- Английская неторопливость! - сказал Владимир Ильич, когда вышли на улицу. - Все обдумать, все взвесить... Но надежда, мне кажется, есть.
Погода резко ухудшилась. Набухшие тучи уже задевали за каминные трубы. Опять запахло дымом, смешанным с сыростью, и дышать стало тяжелее.
- Теперь и нам пора заняться ленчем, - напомнил Алексеев.
Зашли в маленький ресторанчик. Заглянув в меню, Владимир Ильич невольно побарабанил пальцами по столу. Дорого! Все очень дорого! Спросил, что подешевле. Им подали треску, поджаренную с картошкой в каком-то прогорклом жире. А есть все же можно. И не так уж плохо. Попросил завернуть порцию для жены.
- Знаете, лучше готовить самим, - сказал Алексеев. - Для супа можно покупать бычьи хвосты...
- Да? Учтем опыт российского эмигранта. - Легкая усмешка в глазах Ленина вдруг уступила место яростному блеску. - А как вы думаете, у тех художников бывает в доме суп из бычьих хвостов? Едва ли. Самое страшное для пасынков Британки - безработица! И не только в Британии - всюду и мире дневного грабежа и чистогана.
Окна уже плакали дождевыми струйками. На улице пришлось поднять воротники. Без зонтика тут, как видно, выходить за порог рискованно.
А как же те бедняги? От рисунков на тротуаре, вероятно, уже не осталось и следа. Ушли с пустыми карманами. Голодные, озябшие... А если дождь зарядит на неделю? Если дома ждут дети, у которых маковой росинки во рту не было?.. Ужасно!
...Надежда, встретив мужа у порога, ощупала его плечи и грудь. Пальто промокло насквозь! Даже пиджак влажный.
- Снимай скорее. Сейчас выпьешь чашку горячего чая. Знаешь, я уже купила керосинку. Без нее ведь не обойтись.
Над чаем клубился парок. Отпивая по глотку, Владимир ходил по комнате, рассказывал о встрече с Квелчем. Похоже, что он в конце концов приютит "Искру" в своей типографии, но подтолкнуть его к этому доброму шагу будет полезно. Отдав жене пустую кружку, Владимир подсел к столу и, пока Надежда разогревала себе ленч, занялся письмом к Плеханову:
"Дорогой Г. В.!
Еще имею к Вам просьбу. Напишите, пожалуйста, письмецо Квелчу, прося его помочь нам в деле, с которым к нему обращался уже мой друг (с письмом от Велики Дм.), а сегодня и я: пусть-де сделает все возможное и от него зависящее, что это-де очень важно. Написать ему можно и по-французски. Мне такое письмо очень облегчило бы устройство, которое уже пошло на лад и надо лишь довести до конца.
А Вел. Дм. вполне права: гнусное впечатление производит этот Лондон, на первый взгляд!!"
Вспомнил о наборщике. Плеханов как-то говорил, что у него есть на примете какой-то русский эмигрант. Конечно, лучше бы сюда Блюменфельда. Зря его не удержали от новой поездки в Россию. "Искру" и "Что делать?" было с кем отправить. Жаль. Очень жаль. Здесь без Блюма как без рук. Вся надежда на Плеханова.
И Владимир Ильич сделал приписку: "Готов ли Ваш наборщик двинуться к нам?"
Наборщик наборщиком, а соредакторы? Где они? Велике Дмитриевне и Бергу пора бы поспешить сюда. Надо же готовить рукописи для очередного номера. Неужели это их нисколько не беспокоит? Если будет перерыв, российские читатели встревожатся: уж не погасла ли "Искра"? Большой перерыв недопустим. Ни в коем случае.
А на следующее утро в письме к Аксельроду - о том же Берге. Если он все еще в Цюрихе, пусть напишет "пару слов о его планах".
И не удержался от того, чтобы снова не посетовать: "(Первое впечатление от Лондона: гнусное. И дорого же все порядком!)".
4
Квелч знал, что над Россией ходят грозовые тучи. И, кажется, близок ураганный шквал, который может смести царизм. Надо думать, русские пойдут дальше англичан, дальше других стран Запада. Не зря же Маркс, а за ним и Энгельс возлагали большие надежды на эту

обширную и для него, Квелча, неведомую страну. Интересно, что у них получится? Крестьянские восстания цари заливали кровью, революционеров отправляли на виселицы, в кандалах гнали на каторжные работы. Звезды на небосклоне героев-одиночек погасли вслед за взрывами бомб. И нынешние рецидивы бесполезны.
Рабочий класс там возмужал совсем недавно. Пойдут ли за молодым богатырем те бородатые, неграмотные, обутые в лапти мужики, которых там десятки миллионов? Что может пробудить их дремучие головы? Что накопит гнев в сердцах? Очередной голод, розги да плети?..
Поддержать русских революционеров, отважных людей, - благородное, святое дело. Помощь им необходима, и она не составляет риска.
А этот Якоб Рихтер... Хотя любой немец примет его за своего соотечественника, но он не из Берлина. Вероятно, из Петербурга. И эта фамилия для него как для рыцаря забрало.
Но кто же он? Как его нарекли при крещении? Спрашивать неудобно. Нельзя ставить его в трудное положение. Не говорит сам - значит, не может. Пусть и для него, Гарри Квелча, до поры до времени остается Рихтером. Лучше по-английски - Ричтером.
На лестнице слышны шаги. Легкие, быстрые. "Это он. Точен, как часы на башне Биг-Бен. Сейчас его обрадую".
И Квелч поднялся из-за стола с доброй улыбкой на лице.
- Здравствуйте, геноссе Рихтер! Мы согласны взять "Искру". Более того - эта комната будет вашей*.

---

* Теперь комната превращена в мемориальную. Одна из ее стен украшена портретом В. И. Ленина. Тут же оттиск первой страницы первого номера "Искры". На медной доске выгравировано по-английски: "Ленин, основатель первого социалистического государства СССР, редактировал "Искру" в этой комнате в 1902 - 1903 годах".

- Благодарю вас. А вы сами куда же?
- Для меня отгородили досками уголок в печатном цехе. Хотя поменьше этой комнаты, но ничего. Будет хорошо. Наш долг - содействовать революции в России. Ваша "Искра", я понимаю, обстреливает крепость, считавшуюся неприступной. Желаю вам метких выстрелов. - Открыв папку на столе, Квелч перешел на деловой тон: - Вот бумага для вашей газеты. Годится такая?
- Формат наш. - Владимир Ильич придирчиво пощупал лист, поднес ближе к глазам. - Вполне пригодна. Ничем не отличается от мюнхенской.
- А вот и шрифт. - Квелч подал оттиск. - Помогли мои старые типографские друзья.
- Передайте им сердечную благодарность за эту очень большую услугу.
- Шрифт почти такой же, какой был у вас в Мюнхене.
- Великолепно!
Домой Владимир Ильич шел быстрее обычного. Хотелось поскорее поделиться с Надей радостью. Теперь у них остается единственное затруднение - наборщик. Ах, как недостает им Блюменфельда! Если Плеханов не пришлет... Ну что ж, они будут искать здесь, напишут друзьям в Париж... Дело нелегкое. Ведь нужен не просто русский наборщик, а социал-демократ, сверхнадежный человек.

5

Через неделю Ульяновы нашли две комнаты на Холфорд-сквер, недалеко ст станции городской железной дороги Киигз-Кросс, в старом, задымленном и обшарпанном трехэтажном* доме No 30, с камином в каждой комнате. Перед домом в маленьком скверике, обнесенном чугунной решеткой, рос высокий платан. От него падала тень на оба окна - в летнюю пору не будет жарко.

---

* По-английски дом двухэтажный. Нижний этаж там в счет не входит.

В магазине подержанной мебели купили для себя и для Елизаветы Васильевны, которая собиралась приехать к ним из Питера, простенькие кровати, столы, стулья и полки для книг. Хозяйка квартиры мистрис Йо, высокая, сухощавая, с глубоко запавшими желчными глазами, прошла по комнатам, присматриваясь к мебели, и остановила глаза на окнах:
- У вас, мистрис Ричтер, нет занавесок! Это есть нехорошо.
- Не успели купить, - объяснила Надежда Константиновна.
- Без занавесок неприлично. Мне хозяин дома сделает замечание: нереспектабельные жильцы!

- Могу подтвердить, - вступил в разговор Владимир Ильич, - занавески будут.
- Я верю слову. Вы люди... - У хозяйки вдруг осекся голос, и она, чуть не ахнув, перекинула взгляд с руки жильца на левую руку его жены: "У них нет колец! А если, не дай бог, не жена?.." Но мистрис Йо удалось сдержаться, только губы у нее слегка покривились. - Вы люди семейные...
- Да, как видите. Даже куплена кровать для... для матери моей жены. Как это будет по-английски? Для тещи. Скоро приедет.
- Буду очень рада, - кивнула головой мистрис Йо с некоторым успокоением. - Вы, надеюсь, верующие? Католики или...
- Лютеране. - Владимир Ильич переглянулся с женой, и в его глазах мелькнула такая тонкая усмешка, какую могла заметить только Надя. - И по воскресеньям мы любим слушать церковные проповеди.
- О-о! Это есть хорошо! У нас имеется церковь Семи сестер. Вы меня поняли? Там можно слушать отличного проповедника. Молодой. С красивым голосом. Чем-то похожий на самого Христа. Правда, там иногда можно и расстроиться...
- Расстроиться в храме?! Чем же?
- В некоторые дни, - мистрис Йо понизила голос до полушепота, будто касалась какого-то святотатства, - почему-то позволяют произносить речи этим... - помахала перед собой рукой с растопыренными пальцами, - из тред-юнионов.
- Интересно.
- И даже социал-демократам. Кажется, так они называются... Но их ведь можно не слушать. Вы меня поняли? А проповедник, - хозяйка перед грудью сложила руки ладонями вместе, - какого я больше ни в одной церкви не видала! Единственный во всем Лондоне! Такого, вероятно, нет даже в соборе святого Павла. Там мы не бываем. А церковь Семи сестер, я вам скажу, прелесть!
Владимир Ильич записал адрес и, поблагодарив хозяйку, сказал, что они непременно отправятся туда в первое же воскресенье.
Мистрис Йо уходила от них несколько успокоенная - жильцы походят на респектабельных, - но еще раз скользнула недоуменным взглядом по их пальцам: почему же они без колец?
Когда дверь за ней закрылась и шаги затихли где-то на втором марше лестницы, Ленин, вскинув голову, расхохотался:
- Вот оно, английское мещанство, в своем неприкрытом виде! Тупое, беспросветное. А церковники не дураки, при помощи социал-демократов завлекают к себе новый круг молящихся. Какая изворотливость! Какая мимикрия!
- А те, социал-демократы! До чего дошли!
- Не удивляйся. Оппортунизм вроде инфлуэнцы с осложнениями!.. Ну, а в церковь-то как же? Пойдем?
- Интересно бы послушать...
- Оппортунистов и ренегатов полезно знать во всех проявлениях. И для знакомства с разговорным языком полезно. Обязательно пойдем.
Раздеваясь в тесной передней, Алексеев глухо похохатывал в усы.
- Что случилось, Николай Александрович? - Владимир Ильич шагнул навстречу. - Вижу, что-то очень забавное. Что же?
- Заступился за вас...
- Перед хозяйкой? Я так и знал, что она примется выведывать.
- У нее даже голос прерывался от боязни. А вдруг...
- Жилец приехал не с женой, а с любовницей! Какой ужас для ханжи! Мы уже объяснились с госпожой Йо, а ей все неймется.
- Я успокоил. Соврал, что гулял на вашей свадьбе, что у вас были очень дорогие кольца, которые в трудную минуту жизни пришлось заложить в ломбард. И тут же припугнул: она рискует. Если не перестанет порочить своих жильцов, то ведь ее можно привлечь к суду за диффамацию. Она ужасно перепугалась, просила меня молчать.
- Спасибо, что заступились за подозрительных, - рассмеялся Владимир Ильич, заглянул в соседнюю комнату. - Надюша, ты слышала? Мистрис Йо больше не будет считать тебя за мою любовницу!

6

Первым пришло письмо от Аксельрода. Как ни удивительно, открытым текстом:

"Дорогой Владимир Ильич! Праздную Ваше водворение в свободной стране, называя Вас настоящим именем и отчеством".
Ленин недовольно качнул головой:
- Ну и ну! Будто нет здесь ни английских сыщиков, ни русских шпиков! - Повернулся к жене: - Он и тебя тут подлинным именем. Вот послушай: "Крепчайшим образом жму Вам и Надежде Константиновне руки, а если не будете смеяться над моей сентиментальностью, то не прочь и обнять Вас. Как-никак все-таки на край света переселились, по сему случаю можно посентиментальничать. Ваш П. А.". Да. Забывает старик о самой элементарной конспиративности. С этакими друзьями нелегко уберечься от врагов.
И тут же достал лист почтовой бумаги. Написав новый адрес, предупредил Аксельрода, что его не следует "сообщать никому, даже из членов Лиги, кроме самых близких лиц... остальные пусть пользуются по-прежнему адресом Алексеева, а сторонние - адресом Дитца".
"Если можно, - продолжал Владимир Ильич, - постарайтесь и в разговорах употреблять систематически Мюнхен вместо Лондона и мюнхенцы вместо лондонцы".
И попросил передать Мартову: если он по приезде в Лондон не застанет на квартире Алексеева, то "может пойти к Рихтеру". Пусть и в переписке, и в разговорах все привыкают к новой фамилии.
Вскоре от Мартова пришли два письма из Цюриха. В одном Юлий сообщил приятную новость: все последние замечания по программе, присланные с дороги, приняты. Но Велика Дмитриевна "зело огорчена тем, что теперь именно то, что в ее глазах делало проект Плеханова симпатичнее, сведено на нет". В другом письме Юлий рассказывал о нелегких часах, проведенных у Плеханова в Женеве: "Г. В. страшно зол - на всех вообще и на тебя, конечно, в особенности". А разозлился Плеханов на то, что, не дождавшись его протеста, уехали в Лондон, не пожелали, дескать, принять в расчет его интересы как соредактора. Для него Лондон неудобен.
- Какое гипертрофированное самолюбие! Не спросились позволения у старшего! - Владимир потряс письмом перед глазами и бросил на стол. - И это Плеханов, старый марксист! Ты только подумай, Надюша, ему Лондон неудобен! А было бы "удобнее", если бы погибла "Искра"?! Если бы нас всех в Мюнхене схватила немецкая полиция? Теперь бы уже сидели в петербургской Предварилке или в Петропавловской крепости.
- Ты не волнуйся, Володя, он необдуманно.
- Он - Плеханов. И для него непростительны необдуманные фразы. Непростительна такая узость взглядов. Только со своей колокольни. В угоду своему сверхсамомнению. Удивительно!
Тем временем Надежда вскрыла пакет от Дитца, из Штутгарта.
- А нам, Володя, подарок! - Достала "Искру". - Долгожданный!
- Апрельский номер?! Это действительно подарок! Молодец Наташа! Сумела выпустить! А ну-ка, ну-ка, как у нее там получилось?
Ленин сначала пробежал глазами по заголовкам статей и заметок, вполголоса отмечая: "Хорошо! Совсем хорошо!", потом подсел к столу и стал перечитывать все подряд, от первой колонки до последней. Надежда, пододвинув ему кружку чаю, напомнила, что пора завтракать, но он протянул руку за листом бумаги.
- С завтраком успеем. А Наташе я должен написать немедленно. Она там ждет, волнуется.
Письмо начал с заслуженной похвалы: "Номер прекрасен, видно, что корректор руку свою приложил". А когда, придвинув газету, взглянул на дату, невольно пожурил, будто Наташа сидела тут же, рядом с ним:
- Ай-ай! Как же это вы?..
- Что там, Володя, грубая ошибка?
- Грубая не грубая, а неприятная. Вот, полюбуйся: "1 апрела".
- Но это же пустяки. Одна буквенная опечатка...
- Отнюдь не пустяки. Иногда говорят: запятая - мелочь. Нет, это только на первый взгляд. Из таких мелочей создается облик газеты.
И, поставив постскриптум, Ленин подчеркнул:
"Вот только Апрела так не пишется".
Жене сказал:
- Наташе одной там очень трудно. Ты пиши ей почаще.

Они не могли знать, что, спасаясь от немецкой полиции, Вера Васильевна Кожевникова-Гурвич, как в действительности звали Наташу, вот-вот тайно переберется из Мюнхена в Швейцарию.
7
Алексеев принес письма, пересланные Дитцем. Все горестные. На границе провалились два чемоданщика. Блюменфельд сидит в Киеве, в Лукьяновской тюрьме. В ту же тюрьму отправлен Бауман. В Воронеже провалы. 12 марта в Кишиневе разгромлена типография Акима, взята явка к нему. А спустя две недели туда отправился Бродяга, не подозревавший о беде. Удалось ли ему выбраться из западни? Страшно за него. Если второй арест... Не миновать Сибири... Жаль, очень жаль таких революционеров. Чувствительные потери.
Надежда тотчас же написала ответы. Дмитрию Ильичу в Одессу: "...теперь чемоданный способ приходится сдать в архив. В общем наши дела очень плохи". Лепешинскому в Псков: "Имярек погиб... Дайте новый адрес для явки, Ваш личный не годится. Пароль меняем..." Мальцману в Теофиполь: "Посылаем Вам 6 пудов, отправьте их немедля в Красавск...*" (А Мальцман уже был отвезен в Лукьяновскую тюрьму.) Бакинской искровской группе: "Надеемся, что болезнь Нины* лишь временная. Чем можем содействовать ее выздоровлению?" Кржижановскому в Самару: "Не пишите на Лемана, т. к. письма там лежат очень долго".

---

* К р а с а в с к - Киев.
* Н и н а - подпольная типография в Баку.

Владимир подошел к жене, глянул на письмо.
- Глебу пишешь? Подожди запечатывать. Его необходимо подбодрить.
И начал приписку с новой клички Глеба, будто речь шла совсем не о нем: "Клэру обязательно спастись и для этого немедля перейти на нелегальное".
Перевернув листок, обратился уже прямо к нему: "Берегите себя пуще зеницы ока - ради "главной задачи". Если мы (то есть в ы) не овладеете ею, - тогда совсем беда".
А ясна ли Глебу главная задача ближайших месяцев? Не будет ли он гадать, в чем тут дело? Хотя и говорил ему во время прошлогодней встречи в Мюнхене, но лучше еще раз повторить: "Итак: паки и паки: вступать в комитеты".
На секунду задумался: интересно, кто будет делегатом на съезд от Москвы? Абсолютно ли надежный человек? И есть ли у него хороший наследник? Глеб, когда узнает, непременно ответит.
Передав листок Надежде, ногтем указательного пальца отчеркнул на полях последние строки.
- Теперь, во время подготовки к съезду, для искровцев главнейшая задача - проникнуть в комитеты. Всюду возглавить их. Так и пиши всем. Когда комитеты делегируют на съезд искровцев, победа будет за подлинными марксистами.
Надежда Константиновна спешила порадовать уцелевших агентов. В Киев написала, что праздновать Первое мая в России нынче решено по старому стилю - еще есть время для хорошей подготовки. В Самару сообщила о майских листовках: "Нами напечатано 40 тысяч, и все отправлены в Россию, получены ли они, не знаем. Дело в том, что благодаря массовым провалам испорчены все пути. Конечно, скоро опять все наладится..."
Письма все же приходили каждый день. Только от Анюты по-прежнему ни словечка. Владимир Ильич тревожился все больше и больше. Дошло ли до нее апрельское письмо с лондонским адресом? Не перехватили ли где-нибудь шпики?..
Тотчас же написал в Цюрих, попросил прислать квитанцию...
Между тем Аксельрод известил о грозящей опасности: по некоторым сведениям, немецкая полиция собирается совершить набег на русских и почистить Берлин от кое-кого из них.
Не случилось ли беды с Анютой?..
В очередном письме в Самару Владимир Ильич сообщил младшей сестре адрес Алексеева. Спросил о матери: здорова ли? Где собирается отдохнуть летом? Не решится ли приехать за границу? Вот бы хорошо-то! Очень, очень хочется повидаться, а это возможно только где-нибудь на Западе. И одновременно бы с Анютой, если... Если с ней все благополучно...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1
Русский шпик в Берлине утерял след Елизаровой...
Он каждое утро прибегал на главный почтамт, но все без толку Елизарова не появлялась. И писем до востребования под тремя условными буквами больше не поступало. Не похоже на

Ульяновых - они ведь привыкли обмениваться письмами буквально через каждые два-три дня. Братец из Лондона так и не написал ни одного письма. Почему? Что случилось? Неужели они могли догадаться, что двенадцатого апреля последнее письмо из Мюнхена перехвачено на этом почтамте?..
В пансионе шпику ответили: фрау Елизарова больше не проживает. Куда уехала?..
- Кажется, в Потсдам...
Едва ли. Там, возле резиденции кайзера, явная и тайная полиция за всеми смотрит в оба глаза. Туда Елизарова не рискнет сунуться. Если сказала так, то для отвода глаз, а уехала в другое место. Куда? Не к братцу ли в Лондон? А может, и сам Ульянов, по новой кличке Ленин, проживает где-нибудь в другом месте? В Париже, Вене или Брюсселе...
Шпик доложил Гартингу, который жил в Берлине под фамилией Гекельмана, тот кроме Петербурга написал в Париж, Рачковскому, главе всей царской агентуры в Европе: дескать, посматривайте повнимательнее - у вас там может появиться Ленин! Туда же может приехать его старшая сестра Анна, по мужу Елизарова...
А что, если она еще не уехала? Притаилась где-нибудь в Берлине...
Шпики побывали во всех пансионах - следа не обнаружили. Дежурили на вокзалах - тоже напрасно...
2
Анна Ильинична с каждым днем тревожилась все больше и больше: почему от Володи нет писем? Если у него занят каждый час, то могла бы написать Надя...
Что-то случилось с ними. Здоровы ли? Целы ли? Не могли же они заболеть одновременно...
Есть ли от них письма в Самаре? Написать туда?.. Нет, маму волновать нельзя...
Написала Аксельроду в Цюрих: что там известно о докторе Йорданове и его жене Марице? Со дня на день ждала ответа - не дождалась.
На почтамте второй раз приметила: сидит за столиком субъект с закрученными усиками, делает вид, что пишет телеграмму, а сам украдкой бросает в ее сторону цепкие взгляды. На нем котелок, синий пиджак в мелкую полоску...
Когда вышла, увидела его через улицу: идет в ту же сторону, куда и она; чтобы не вызывать подозрения, задерживается у витрин, но на какие-то считанные секунды, - явно опасается потерять ее из виду.
Надо уезжать. И чем скорее, тем лучше.
Билет купила до Лейпцига. Из вагона, откинув вуальку на шляпу и стараясь казаться спокойной, посматривала на перрон - субъект в котелке и синем пиджаке не появился. Но он мог переодеться. Все равно узнала бы по закрученным усикам. В вагон не вошел. А если успел передать ее другому? Этому? Или вон тому?
"Нет... Что-то нервы стали пошаливать", - сказала себе и близоруко уткнулась в книгу Гейне на его родном языке.
В Лейпциге вокзал громадина. Говорят, самый большой в Европе. Больше трех десятков тупиковых линий, на доброй половине их стоят поезда. Пассажиров - как муравьев возле муравейников. Одни - поток за потоком спешат к выходу, другие торопятся к вагонам. Тут затеряться не трудно.
Анна Ильинична, опустив вуальку, направилась в зал с высоким, как в соборе, сводом. Никого из тех, кто ехал с ней в вагоне, поблизости уже не было, все ушли на привокзальную площадь. Можно быть спокойной, "хвоста" нет.
Купив билет до Дрездена, вышла посмотреть город. Пересекла трамвайные пути, повернула налево и остановилась перед озерком с крошечными островками, поросшими осокой. На них белели домики для птичьих гнезд. Завидев ее, к берегу подплывала пара лебедей. Как жаль, что нет с собой ни крошки хлеба, нечем покормить...
Взглянув на часы, быстро вернулась на вокзал. Купила на дорогу пузатую бутылочку пива, хлеба и сосисок. Отыскав нужный поезд, вошла в вагон...
3
Александра Михайловна Калмыкова (Тетка) второе лето жила за границей.
...В марте 1901 года все подписавшие протест против избиения демонстрантов у Казанского собора были высланы из Петербурга в провинциальные города под гласный надзор полиции, а ей, вдове сенатора, было разрешено трехлетнюю ссылку отбыть за границей. Она упросила шефа жандармов дать ей на сборы в дорогу три дня, наскоро продала книжный склад с годовым

оборотом в сто тысяч рублей, перевела деньги в один из иностранных банков и в сопровождении участкового пристава отправилась на вокзал...
В Германии она так же, как в Питере, поддерживала связь с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной, близко знакомой ей еще по вечерне-воскресной школе для рабочих. Жила Тетка то в Берлине, то в Саксонии, лучшем уголке этой страны.
Вот к ней-то теперь и спешила Анна Ильинична.
Калмыкова не может не знать, где Ульяновы и что с ними...
- Аннушка! Как я рада! - Тетка, раскинув руки для объятия, шла навстречу гостье. - Здравствуй, милая! Давненько мы с тобой не виделись. Поцеловав, присмотрелась к лицу. - А ты все такая же...
- Ой, не говори, Александра Михайловна! У меня столько...
- Знаю, знаю все твои волнения. Ты здесь прячешься, как заяц по кустам, муж в ссылке. И о матери, я понимаю, сердце болит.
Усадив гостью в кресло, сама села в другое, лицом к ней, и не умолкала ни на минуту:
- Умница ты, моя хорошая! Спасибо, что приехала навестить меня, старуху.
- Ну что ты, Александра Михайловна! Какая же ты старуха?! Ты же совсем, совсем...
- Не говори, милочка. Не утешай. Я здраво смотрю на жизнь. Шестой десяток давненько разменяла! Конечно, уже не вдовушка, а старая вдова.
- Да ты выглядишь на десяток лет моложе.
- Хватит, Аннушка, об этом. Рассказывай, что получала от брата, от Наденьки.
- Ни единого словечка... Я извелась без писем. И если мама в Самаре ничего не получает... А у нее сердце...
- Не волнуйся, миленькая. Живы-здоровы. Я вчера получила письмо. Они по-прежнему в заботах и хлопотах. А вот то, что тебе нет писем, это, поверь мне, не случайно. Перехватывают шпики.
- Я тоже подозревала. И таскались они за мной в Берлине. Едва ускользнула.
- Хорошо сделала, что ко мне приехала. Здесь спокойнее. А Владимир Ильич должен был сообщить тебе лондонский адрес...
- Лондонский? Вот как!.. А я собиралась в Мюнхен...
- Могла попасть в ловушку... А у меня здесь поживешь в безопасности. Отдохнешь. Посмотришь Дрезден - эту Северную Флоренцию. Ее нельзя не знать.
Александра Михайловна сварила кофе, за столом не спеша рассказала дрезденские новости, потом достала из-за зеркала свежий, но уже изрядно помятый при хранении номер "Искры".
- Уже лондонский! - обрадовалась Анна Ильинична. - Та же бумага, те же три колонки... И шрифт почти такой же. Молодец Володя!
К номеру был приложен листок с карикатурой: харьковский губернатор князь Оболенский, тучный сановник при орденах и ленте через плечо, душит на земле изголодавшегося мужика. На глазах у царя, довольного расправой! И Анна Ильинична быстро, перескакивая глазами со строчки на строчку, с абзаца на абзац, стала читать заметки о деревенских волнениях: "Еще с осени крестьяне стали чувствовать острую нужду в хлебе, составляли общественные приговоры о надвигающемся голоде, подавали по начальству... Ни один приговор не получил дальнейшего движения... Волнение охватило восемнадцать волостей... Помещики бежали в Харьков. Крестьяне ни одного не тронули. Только избили земского начальника... Скот и хлеб стали делить..."
- Ну и правильно! - Анна Ильинична подняла глаза на Калмыкову. - Что же им еще оставалось делать? Не умирать же с голоду. А их...
- Давно говорится: сытый голодного не разумеет, - вздохнула Александра Михайловна.
- Какое тут, к черту, разумение! Побоище безоружных! Изуверство! Елизарова дрожащей рукой ткнула в газету: - Вот князь Оболенский спалил деревню. Дотла, мерзавец. Остались одни печи... Вот еще про него же: в трех деревнях пересек всех поголовно!.. И стариков, и детей, и девушек... Ты только подумай - девушек!
- У меня, Аннушка, когда я читала, тоже стыла кровь в жилах!
- От такого не остынет кровь - закипит!.. Ну кто поротую девку замуж возьмет?! Стыд-то какой! А князю не стыдно перед девушками...
- Ты успокойся...

- Да как же можно терпеть? Плетями драли, а его сиятельство светлейший князь... Вот написано: "...приговаривал: "Это вам, мерзавцы, по тридцать плетей за то, что грабили, а еще по тридцать от меня". Душегуб проклятый! Розгами по двести да по двести пятьдесят... Ужас!.. "Секут так, что куски мяса отваливаются". И это образованные люди!.. По приказу министра! С благословения духовенства!.. Черт бы их всех побрал!
- Будет им возмездие, - сказала Калмыкова. - Отольются крестьянские слезы... А ты, Аннушка... Давай-ка еще налью чашечку...
Несколько успокоившись, Анна Ильинична начала читать хронику: "В киевскую тюрьму привезены: из Москвы: ветеринарный врач Бауман, Ногин, девица Рукина, Уварова... Из Петербурга: инженер Степан Радченко, Любовь Радченко..."
- И Степана с Любой схватили!.. А у них двое малышей... - Анна Ильинична едва сдержала слезы. - И почему их всех везут в Киев?
- Что-то замышляют. - Калмыкова вместо веера помахала платком на свое полное раскрасневшееся лицо. - Похоже, готовят большой процесс. И - ты обратила внимание? - свозят туда наших искровцев.
- Да. Вот: "Арестованный на границе Блюменфельд увезен в Киев..." Какой провал! И какое горе для Володи! Он ценил этого наборщика, дорожил им...
Отложив газету, Анна Ильинична спросила о последнем письме брата. Что он пишет?
- Тоже об арестах. Многим, как видно, не миновать ссылки. Затем будет обилие побегов - понадобятся деньги. А в партийной кассе у них с деньгами "совсем круто". Он так и пишет. Уже задолжали Квелчу... По подсчетам Владимира Ильича, понадобится больше десяти тысяч. Не сразу, а постепенно. Только была бы у них уверенность в получении. Я завтра же отправлю три тысячи. На первое время...
- Светлая у тебя душа, Александра Михайловна! - Анна Ильинична встала, обняла Калмыкову за плечи. - Бесконечно добрая.
- Ну-ну... - слегка отстранилась та. - Благодарить меня не за что: деньги-то нажиты торговлей. А дело у нас общее.

4

Калмыковой нездоровилось, и Анна Ильинична осматривала Дрезден одна. Не спеша ходила по его узким улицам, по старинным каменным мостам с частыми опорами и крутыми сводами над Эльбой; постояла перед ратушей и перед готической церковью Фрауенкирхе, гордостью Северной Флоренции; обошла громадный музейный квартал Цвингера, считавшийся чудом немецкого барокко, и полюбовалась кариатидами, нимфами, сатирами да фавнами на его стенах. Для следующего дня оставила самое главное - картинную галерею.
Через помпезные, изукрашенные каменными кружевами Коронные ворота вошла на обширную площадь Цвингера, где звенели высокие серебристые струи четырех фонтанов. Прошла между ними через всю площадь и направилась к галерее. Многое слышала о ценнейшем собрании живописи, равном Лувру, многое читала, многие редчайшие картины знала по репродукциям и сейчас шла, приятно взволнованная, как на свидание со старыми знакомыми, о которых так долго скучала.
"Мамочка приедет - обязательно свожу сюда", - думала, подымаясь по ступенькам ко входу в знаменитый храм искусства.
Целый день Анна Ильинична провела там, возвращаясь в некоторые залы по нескольку раз. Ей доводилось переводить кое-что с итальянского, и теперь ее более всего интересовали полотна великих мастеров Ренессанса.
Сикстинскую мадонну увидела издалека через открытую дверь зала, отведенного для нее, и остановилась, пораженная неповторимым видением: навстречу шла по облакам не богородица, а простая, босая, молодая и чем-то озабоченная женщина, несла на руках русоволосого мальчугана...
Анна Ильинична тихо вошла в зал и долго не отрывала глаз от полотна, очарованная женской красотой. "Чудесное торжество материнства! - подумала она. - Радость человеческая, которой я обделена... Мамочка будет в восторге от мадонны".
В большом итальянском зале зрители столпились у картины Доменико Фетти. Бородатый старик с лавровым венком поверх широкого, изборожденного морщинами лба оперся локтем левой руки о стол, на котором, рядом с двумя книгами, циркулем да угольником, лежит какой-то чертеж. Правая рука крепкими пальцами мастерового охватывает сверху глобус. О чем

задумался древний мудрец, редчайший умелец, снискавший себе славу на века? Конечно, о силе, способной сдвинуть землю. Кажется, сейчас встанет и воскликнет: "Эврика! Я нашел! Для этого нужна лишь точка споры, а рычаг я сам сделаю". И опять погрузится в раздумье: "Но где она, точка опоры?"
"Володя очень хорошо, - вспомнила Анна Ильинична, - применил выражение сиракузского кудесника к нашему российскому революционному движению. Напишу ему об этой картине".
В воскресный день Калмыкова пригласила гостью на прогулку в Саксонскую Швейцарию; сказала, что они могли бы поехать на лошадях, чтобы в горах сверху полюбоваться глубоким лесистым распадком с множеством причудливых гранитных столбов, но этот путь утомителен. Лучше по реке.
Белый пароходик медленно продвигался к горам, откуда текла Эльба, разрубившая зеленый хребет блестящей, как булат с узорчатыми извивами, саблей. Александра Михайловна и ее гостья сидели на верхней палубе, смотрели на берег, где среди садов вздымались похожие на скалы средневековые замки с башнями по углам.
Берег становился все круче и круче, возвышенность постепенно уступала место сопкам, и Анна Ильинична отметила: тут действительно есть кое-что похожее на Швейцарию...
- Погоди, увидишь и альпинистов, - сказала Калмыкова. - Вот уже близко.
Отвесные скалы, изрезанные глубокими тесными ущельями, придвинулись вплотную к Эльбе. По узким трещинам, упираясь руками и ногами в шершавый камень, где, казалось, не за что было зацепиться, подымались парни в ярких рубахах и кожаных шортах. Победители уже сидели на вершинах скал, как на столбах. Иные лихо перепрыгивали над пропастью со скалы на скалу, торжествующе махали руками и звали к себе таких же отчаянных скалолазов. Их голоса походили на орлиный клекот.
- Володя рассказывал, - вспомнила Анна Ильинична, - в Сибири, где-то возле Красноярска, есть такие же горы. А скалолазов там называют столбистами.
Противоположный берег Эльбы был гораздо ниже, там виднелись деревенские дома с красными черепичными крышами. Кое-где возле деревень подступал к реке густой лесок, и тогда свежий ветер доносил до парохода аромат хвои, нагретой весенним солнцем.
- Сосны! - Елизарова повернулась лицом к обширному бору. - Я больше всего люблю сосновые леса. Вот бы где пожить лето! Грибы пособирать... Мамочка тут отдохнула бы...
- Прекрасная мысль! - подхватила Александра Михайловна. - И я охотно составлю вам компанию. В Дрездене скоро будет невыносимо жарко и душнр. Поищем, Аннушка, дачку.
- Тут прелесть! - еще больше оживилась Анна Ильинична. - В Самару напишу сегодня же. Здесь, я думаю, спокойно...
- Во всяком случае, русских шпиков нет, - заверила Калмыкова.
Возвращались вечером. На реке было уже свежо, но уходить с верхней палубы не хотелось. Они пододвинулись поближе одна к другой, Александра Михайловна достала из сумки пуховый платок, накинула его на плечи гостье и себе. Разговаривали тихо. О родных, о близких знакомых.
- Старика я приметила с его первых питерских дней, - вспомнила Тетка давнюю кличку Владимира Ильича. - Он не только расположил к себе, а скажу тебе, Аннушка, прямо очаровал нас всех своей энергией, кипучей деятельностью, эрудицией, знанием марксизма, несгибаемой принципиальностью и горячей устремленностью в будущее. Сразу почувствовалось - ему суждены большие дела. И радовало меня первое время, что Струве вместе с ним. Но я не переоценивала Петю. Ты, наверно, помнишь, его даже начинали звать лидером марксистов, а я всегда оспаривала. Ну какой же Петя лидер? Он просто публицист. А мысль его так интенсивно работает, что порой трудно предугадать, куда она ведет его.
- Это верно, - подтвердила Елизарова, кивнула головой.
- Я беспристрастна. Вот, думаю, называют лидером, а потом... вдруг да объявят отступником. Будто сердце предчувствовало... Горько было слушать. - Калмыкова горячими руками сдавила пальцы Елизаровой. - И я, Аннушка, от всей души порадовалась, когда Петя сделал определенные шаги в сторону "Искры". Надеялась, снова будут работать вместе. Но Старик обошелся с ним очень сурово...
- Иначе Володя не мог. - Анна Ильинична повернулась к собеседнице так резко, что уголок платка свалился с плеча. - Ведь их пути разошлись не сегодня. А "Искра" и либерализм несовместимы.

- Пете ничего не оставалось, как основать свой журнал.
- Я читала его заметку в "Форвертсе". Читала и удивлялась. "Освобождение" не будет рассматривать проблемы социализма как область своей работы. Чем же в таком случае займется новоявленный журнал? Оказывается, борьбой за конституцию "в империи царя"! Так там и написано. Но это же...
- Аннушка! - Калмыкова попыталась снова накинуть уголок платка на плечо Елизаровой. - Не будем сейчас об этом.
- Мне не холодно, - сказала Анна Ильинична и опять повернулась к ней. - Я понимаю наших...
- Не будем... Я совсем не хочу с тобой ссориться.
- И я не хочу. Но ведь Петр Бернгардович не без твоей помощи...
- Понятно. Журнал требует денег. В особенности на первых шагах. И я, конечно, переведу издателю Дитцу...
- Тому Дитцу, у которого печатается марксистская "Заря"?
- Дитц один. Но ты, Аннушка, успокойся, - Калмыкова опять сжала пальцы Елизаровой, - "Искре" я дам больше. И "Заре" дам больше. Можешь написать: они мне ближе. Не зря же мы с Надей учили рабочих в вечерне-воскресной школе за Невской заставой. Пусть Владимир Ильич располагает моей поддержкой. Я и дальше пойду с искровцами.

5

В дубовой роще целый день куковали кукушки. Едва успевала умолкнуть одна, как начинала другая. Мария Александровна и Маняша, сидя на скамейке под старым дубом, прислушивались к голосам птиц. В руках было по букетику ландышей, собранных еще в начале прогулки. Скоро они завянут. Пора бы возвращаться домой. Но Мария Александровна сказала:
- Подождем соловья... Может, нынче больше не удастся послушать. А я так люблю его трели.
- Подождем, - согласилась дочь и тут же заглянула в глаза матери. Если ты не утомилась.
- Не тревожься. Я чувствую себя хорошо. Такой свежий воздух, чудесный аромат леса... Даже совсем не хочется возвращаться в ужасно пыльную Самару. Одно беспокоит - ты остаешься на все лето в городе.
- Ничего, мамочка. Не думай об этом. Важно, чтобы ты отдохнула на природе, повидалась с Аней. Возможно, и с Володей.
- Ради них и решаюсь поехать... - Мария Александровна едва не добавила: "Кто знает, доведется ли еще..."
...На эту прогулку Ульяновы отправились утром. На конке проехали две станции до Постникова оврага. Там в башкирском заведении выпили по маленькой пиалушке пенистого и, как шампанское, игристого кумыса. По тенистому лесу дошли до Волги. Посидели на лавочке. Величавая река неторопливо катила голубые, как небо, воды. По стремнине плыли куда-то в низовье янтарные плоты. Им подавали гудки белобокие пароходы. Иногда низко пролетали крикливые чайки. Прелестно на Волге! Володя с детских лет любит родную реку. Маняшино письмо о катании на лодке растревожило его душу. В ответ написал: "Хорошо бы летом на Волгу!" Вспомнил совместную поездку на пароходе к Наденьке в Уфу: "Как мы великолепно прокатились с тобой и Анютой весною 1900 года! Ну, если мне не удастся на Волгу..." Конечно, не удастся. Мария Александровна покачала головой. И нельзя ему рисковать...
- Мамочка, ты о чем задумалась? - тихо спросила Маняша.
- Володино письмо вспомнила. Ты ведь читала: "...если мне не удастся на Волгу, - надо поволжанам сюда". И где-то у него там тоже "есть хорошие места, хотя в другом роде". Конечно, не родная река. И не знаю еще...
- Поедешь, мамочка. Беспременно поедешь. Это же решено... Сначала к Ане...
- Даже не знаю куда и как...
Дома на столе осталось недописанное письмо:
"Третьего дня послала я тебе, дорогая моя Анечка, открытку, а сегодня пишу больше. Беспокоюсь только о том - доходят ли письма наши к тебе, правильно ли пишу адрес, а то ты затревожишься, родная моя, не получая вестей от меня... Хоть бы ехать скорей, ужасная вещь эта неопределенность!.."
Придержав перо, задумалась. Поездка дальняя. С пересадками. Для ее возраста это непросто и нелегко. В дороге всякое может случиться. Лучше бы вдвоем. Но департамент полиции не разрешил Маняше отлучиться из Самары. Подала прошение от своего имени - департаментские чиновники молчат...

Снова склонилась над бумагой:
"Не знаю, как и поступить: ехать разве, не дождавшись ответа? А вдруг да на другой же день отъезда он придет! Подожду еще несколько дней..."
...Отдохнув возле Волги, вернулись в лес, среди кустов тенистой ложбинки, где долго лежал снег, нарвали ландышей. Их листочки еще хранили утреннюю росистую влагу. Сели на скамейку возле старого дуба, достали из корзинки яйца, две булочки и бутылку квасу. Долго слушали кукушку. Маняша даже загадала: "Если эта прокукует больше пятнадцати раз, то мамочка скоро получит..." Кукушка умолкла. Лучше у другой посчитать... Но мать вдруг спросила:
- Так ты твердо решила уходить из земской управы?
- Надо уходить... Хотя тебя сопровождать все равно не разрешат.
- "Сопровождать"... - У Марии Александровны дрогнула голова. - Я еще могу и одна. А вот ты как останешься? Стали негласно подсматривать. Думаешь, тебя не уволят?
- Глеб... - Маняша оглянулась: нет ли кого подозрительного поблизости? Поправилась: - Грызун советует уволиться самой. Обещает найти другую работу.
- Сам-то встал бы на ноги. Булочка, - Мария Александровна назвала жену Кржижановского, - рассказывала, операция была тяжелой.
- Да, он в больнице ужасно похудел. Но теперь ему значительно лучше. Говорит, на строительстве сельскохозяйственного училища скоро освободится для меня место счетовода. Буду ждать...
- Ему бы теперь к башкирам на кумыс.
- Не может он. Знает: без него тут трудно...
- Булочка управится... Ей энергии-то не занимать. Да и ты поможешь, если поездку не разрешат.
Из глубины леса повеяло прохладой; подобно туману, расползался между деревьями легкий сумрак. Где-то совсем недалеко попробовал голос соловей: буль-буль-буль, чок-чок-чок...
- Я говорила - запоет!.. В таком лесу не может не петь. Послушаем немного и пойдем на конку.
- Уже свежо. Пойдем.
- Еще минутку...
Утром почтальон принес добрую весточку - у Ани все прояснилось, и Мария Александровна села заканчивать письмо:
"Сейчас получила письмо твое от 20/V, merci за него, дорогая! Ты хорошо сделала, что переехала в более здоровую местность, там ты скорей поправишься! Я люблю очень сосновый лес, и с каким удовольствием погуляю там с тобой!.. Ты все боишься, что дорога утомит меня, но поеду я с комфортом, в I-ом классе, и могу отдыхать дорогой..."
На тревожный вопрос Анны о ее муже ответила:
"Марк все еще не уехал на новую службу в Томск, ждет билетов и обещал дать нам телеграмму в день отъезда, чтобы мы могли выйти к нему на вокзал... Вероятно, мы увидимся с ним на днях и передадим ему и карточку твою и наставления твои относительно здоровья его".
О Мите теперь можно не тревожиться: получил хорошее место - помощник заведующего земской грязелечебницей в Холодной Балке. Часто бывает в соседней Одессе. Собирается жениться. Но и о нем она, мать, не может не думать. Какой-то будет его подруга жизни? Повидать бы ее...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Владимир Ильич продолжал знакомиться с Лондоном. Он изучил его по карте и заранее составлял для себя очередной маршрут. В те дни, когда почта оказывалась небольшой и когда не надо было писать ответы агентам "Искры", Надежда отправлялась вместе с ним. Ей в особенности полюбились прогулки по обширным паркам, которыми издавна гордилась британская столица. Без них город начисто лишился бы обаяния.
Кенсингтонские сады сливались с Гайд-парком. Через улицу от него начинался Грин-парк. И так добрых четыре версты, до самого Букингемского дворца, протянулась в центре Лондона широкая зеленая полоса. Легкие города!
В Гайд-парке возле пешеходных дорожек могучие платаны, дубы и липы раскинули шатры густой листвы. Шарообразные "майские" кусты были усыпаны мелкими алыми цветочками. На длинном, изогнутом, как сабля, озере плавали утки с пушистыми утятами. По круговой дорожке возле чугунной решетки один за другим мчались денди на рысистых лошадях...

В том же парке, возле Оксфорд-стрит, - пресловутый "уголок ораторов", которые приходят сюда по субботам да воскресеньям, как проповедники в церковь. Некоторые со своими трибунками высотой с табуретку.
Ульяновы уже не однажды бывали там, вслушивались в произношение каждого слова, хотя по-прежнему понимали далеко не все. Слушателей бывало не много. Подойдут пять-шесть человек - оратор уже доволен. Сегодня один призывает вступать в "святое братство" баптистов-субботников, другой расхваливает проект города-сада, где вокруг каждого коттеджа будут расти деревья, третий... А вот третьего-то надо послушать повнимательнее - он критикует министра финансов за высокие налоги! Горячится больше всех. Выговорится до конца - отправится спокойно спать. Да еще будет кичиться так называемой демократией по-британски. Демократией для богачей!
Возле четвертого оратора столпилось человек десять. Интересно, о чем он там?.. Подошли поближе - болтает о социализме! Какими путями двигаться к новому обществу? А идти, оказывается, совсем не надо. И в борьбу вступать не надо. Благоразумие подсказывает: терпеливо жди! Господь бог, всеведущий и всемогущий, узнает о твоем ожидании. Он из хаоса сотворил небо и землю - он же приведет нас в царство социализма.
- А когда приведет? - ехидно спросил молодой человек, похожий на студента. - Может, умрем, не дождавшись...
На него зашикали. На шумок стали подходить любопытные со всех сторон. Оратор, вскинув руки, кричал до хрипоты. И все о том же: верьте, ждите, и вы сподобитесь... Ульяновы усмешливо переглянулись. В православной церкви волосатый поп в золотистой ризе провозгласил бы с амвона: "Господь бог внемлет вам!.."
И сколько же таких болтунов на свете!
Побывали Ульяновы у Букингемского дворца, посмотрели помпезную смену караула. Бравурный марш оркестра. Гвардейцы в красных мундирах, в высоких, похожих на боярские, медвежьих шапках... Словно оперная сцена!
Побывали и в Тауэре - древнем замке, осмотрели в башенном хранилище королевские короны, скипетры и прочие регалии, усыпанные бриллиантами, рубинами, изумрудами. Постояли у площадки, где был казнен первый социальный мечтатель Томас Мор и где по приказу Генриха Восьмого рубили головы его опостылевшим женам. На крепостных башнях каркали черные вороны, откормленные за счет казны. Крепко укоренилась в сознании обывателей средневековая побасенка: пока вороны каркают на башнях - будет нерушимо стоять Британия, загребать себе чужое добро со всех континентов!
Вопиющие контрасты по-прежнему встречались на каждом шагу...
Несколько раз Ульяновы на верху омнибуса ездили в район доков и за Темзу, до крайних остановок, потом шли пешком. Старые-престарые двухэтажные дома вплотную прижимались один к другому, словно в одиночку могли рухнуть. Стены, казалось, продымлены насквозь, ветхие двери покосились, окна вот-вот могли вывалиться вместе с косяками. Углы кирпича крошились, по стенам змеились трещины. Надо думать, такими видел эти трущобы Карл Маркс, видел Энгельс...
Улицы узкие, грязные. Ни деревца, ни травинки. Перед окнами сушилось тряпье. На обшарпанных крылечках играли дети, бледные, оборванные, босые.
- Позорище богатой Англии! - вполголоса возмущался Ленин, и Надежде казалось, что в следующий миг у него от гнева сожмутся кулаки. - Две нации! Нация богачей-хозяев и нация рабов капитализма. Впрочем, и у нас в России так же. И всюду пока так же... У нас еще вдобавок царизм, дикая полицейщина, каторга, плети да розги... Но у нас гнева в народе больше. Да, больше! И революция пойдет с востока. Первый гром, вне сомнения, прогремит над нашей Россией!
Вместе с Алексеевым Ленин ездил на окраину - в Уайтчепл, на митинг рабочих, откупивших на вечер пивную. Вернувшись, рассказывал:
- Сегодня нам посчастливилось увидеть настоящих лондонцев, тех, трудом которых он существует. Пришли загорелые на ветру и возле огненных печей, мускулистые, крепкие, с хваткими мозолистыми руками, с упрямым огоньком в глазах. Любо-дорого было смотреть на них. Будто все родные, близкие, как наши с Путиловского или Обуховского. Жаль, что ты не поехала, - послушала бы. Хотя тебе невозможно на такие собрания: ни одной женщины не было. Да и не могло быть. Только мужчины. И как водится, прорывались соленые словечки. А

было очень интересно. Сначала, правда, вылез с речью какой-то лощеный хлыщ из обуржуазившейся рабочей аристократии. Ну и молол чепуху. Вроде того богослова, какого мы с тобой слышали в Гайд-парке: социализм, дескать, придет сам собой, неторопливо, мирно. Я едва сдержался. Если бы владел свободно разговорным языком, взял бы слово. Но его пошлость вскоре не стали слушать, застучали пивными кружками. А вот когда начали выступать настоящие рабочие, настроение сразу изменилось. Эти брали быка за рога, вскрывали самую отвратительную суть капиталистического строя. Эти себя еще покажут! Жаль, что я понимал далеко не все, какую-нибудь половину. Алексеев пытался переводить, но это только мешало...
Владимир отпил несколько глотков чаю.
- Нам с тобой, Надюша, необходимо подналечь на язык. Непременно и безотлагательно.
2
И вот в еженедельнике "Атенеум" появилось объявление:
"Русский доктор прав и его жена желают брать уроки английского языка в обмен на уроки русского".
Первым пришел мистер Реймент, седоватый, похожий на Дарвина. Та же борода, - по-русски называют ее помелом, - та же лысина куполом, глубокие борозды на лбу, большой нос, косматые брови и даже дарвинская бородавка на щеке. Из первого разговора с ним Ульяновы узнали - бывалый человек, живал во многих городах Европы, несколько лет был клерком в Австралии. Теперь служит в одной издательской фирме. Свой литературный язык и его диалекты знает в совершенстве. С таким есть о чем поговорить. Но прежде, чем остановить на нем выбор, Владимир Ильич спросил, почему его интересует русский язык, нелегкий для англичан.
- Да, в этом я уже есть знакомый. Мне един человек говорил, что Карл Маркс за полгода научился читать русские романы. Тургенева, Льва Толстого. Но это же - Маркс! А я за два года не мог: все много перебрасываю словарь.
- Перелистываю.
- Спасибо. Перелистаю... Опять не так? Пе-ре-лис-ты-ваю словарь. А мне тоже хочется читать скоро...
- Быстро. Бегло.
- Бег-оло. Наше издательство печатает переводы с русского. Надо знать.
Упоминание имени Маркса окончательно расположило к мистеру Рейменту, и его попросили приходить по вечерам. Во время разговорных уроков вдвоем расспрашивали об Австралии, а ему рассказывали о России. Затем Надежда знакомила его с правилами русской грамматики, давала письменные задания на дом.
Старик любил, когда ему читали Пушкина или Некрасова, старался запомнить интонацию, чтобы на следующий день прочесть стихотворение наизусть и вот так же без запинки.
За чаем разговаривали об особенностях лондонской жизни, о народных песнях, а когда Ульяновы окончательно убедились, что он не подослан к ним, стали заводить речь и о политике. И мистер Реймент с каждым днем становился все доверчивее и откровеннее. Иногда он, как оратор в Гайд-парке, даже позволял себе слегка критиковать государственный строй и премьер-министра, не касался только короля. Но при этом приглушал голос, подобно человеку, опасавшемуся, что его могут подслушать из-за двери.
Платя за откровенность откровенностью, Ульяновы кое-что рассказали о себе. О тюрьме и о ссылке. Мистер Реймент, не скрывая крайнего удивления, смотрел на Надежду Константиновну широко открытыми глазами, недоверчиво переспрашивал:
- И вы тоже сидел в тюрьма?
- А чему тут удивляться? В царской России многие девушки и женщины за участие в политической борьбе брошены в тюрьмы.
- У меня это... - Мистер Реймент похлопал рукой по лбу. - Нет места моя голова. Нет. Не могу понимать. Если бы моя жена в тюрьма, я бы... я бы... Не знаю, что делал. Моя жена! - подчеркнул он. - Еще больше страшно, если моя невеста...
- Вы отказались бы от нее? - спросил Владимир Ильич.
- Н-не знаю... Думать надо... Если... Если бы любовь очень... Но для всех родня был бы шокинг.
- Ах, вот что! А у нас простые люди девушек, которые за политику сидели в тюрьме, называют героинями.

- Я слышал о русской революционер. И сам я тоже есть политик. Даже немножко выступал как социалист. Только у нас другой условий жизни. Это надо понимать.
Ульяновы переглянулись - пусть выговорится до конца.
- Мой хозяин вызывал меня и говорил, что ему социалист не надо. Совсем не надо. Если я хочу остаться на служба, то должен... как это по-русски?.. Держать язык зубами.
- За зубами, - поправил Владимир Ильич.
- Буду помнить. - Мистер Реймент поблагодарил кивком головы и продолжал рассказывать, медленно подыскивая слова: - В Лондон получить хорошее место трудно. Можно скоро стать безработным, без пенни в доме. А у меня жена, имеем дети. И я решил: социализм сам придет. Без моих речей. Мне жить надо, семья кормить надо. Теперь молчу. Никому не говорю, что я есть социалист. Только вам могу сказать.
Ульяновы снова переглянулись. "Какой мещанин! И сколько их, таких, в благочестивой Англии, кичащейся иллюзорным демократизмом!"
- Нам вы можете говорить обо всем совершенно спокойно и с полной откровенностью. - Владимир Ильич поднял на собеседника слегка прищуренные глаза. - А вам доводилось бывать в рабочих районах? К примеру сказать, в Уайтчепле? В доках?
- Н-нет. Фирма меня туда не посылал.
- Не от фирмы. А просто вы, как социалист, не бывали там?
- Я там не имею знакомый...
- Можно и без знакомых. Послезавтра - тзи дэй афтер ту-морроу - там в одной пивной, в баре, будет митинг рабочих. Надо же знать, как они живут, о чем думают. Адрес у меня есть. Пойдемте. Вместо очередного урока.
- Ну что же, - пожал плечами мистер Реймент. - Если...
- Хозяин? Конечно, не узнает - это же далекий район города. Договорились?
- Я, пожалуй...
- Вот и хорошо! А для меня там тоже будет полезная практика в разговорном языке.
Прощаясь, Владимир Ильич придержал руку мистера Реймента.
- Только хорошо бы не в шляпах... У меня для этого случая есть кепка. К сожалению, одна. - Взял за борт пиджака. - И оденьтесь попроще. Согласны? - Еще раз пожал руку. - Я и не сомневался. А завтра ту-морроу - уговоримся, где и в какое время встретиться. Гуд бай!
Когда дверь закрылась, Надежда, добродушно улыбаясь, покачала головой.
- Ну и ну, Володя!.. Этак он, чего доброго, и от уроков откажется.
- Ничего. Откажется - другой найдется. А ему очень полезно окунуться в рабочую среду. Авось будет смелее.
- Сомневаюсь... А у тебя хватает терпения возиться с такими "политиками"!
- Дело не в том. Времени не хватает.

3

Британский музей... Один из крупнейших в мире. Многое слышал о нем, многое читал. И не столько о его коллекциях древностей, сколько о прославленной библиотеке. Думал: вот бы где поработать! Редкостное хранилище человеческой мысли, запечатленной на века. Там отыщут для читателя любую книгу. Там все, что издано на английском, - к услугам посетителей. Там русская революционная литература. Там набатный "Колокол" Герцена. Там его "Полярная звезда"... А главное - там статистические сборники, незаменимые зеркала современной экономики.
Вот он, перед глазами. Торжественный, как древний эллинский храм. За чугунной решеткой небольшой дворик, по сторонам два крыла обширного музейного здания, украшенного ребристыми колоннами. В глубине портал, скопированный с Парфенона. Те же восемь колонн, статуи на фронтоне. Разница лишь в том, что в Акрополе все было сооружено из белого мрамора, здесь - из простого камня. От едкого дыма каминов, смешанного с липким туманом, колонны и стены давно почернели, статуи выглядят вылепленными из земли.
Второй раз Владимир Ильич идет сюда. Идет с таким же волнением в душе, как неделю назад. Думает о прошлом. Многие проходили здесь, чтобы приобрести что-то из духовных ценностей в храме науки и потом поделиться с другими. Здесь бывали мыслители в пору их новых открытий. Нередко через этот дворик проходил один неторопливый, сосредоточенный, чернобородый, родственниками добродушно прозванный Мавром... Со временем в его широкой бороде и пышных волосах, не умещавшихся под шляпой, пробились серебристые пряди. Он,

конечно, смотрел на колонны. Между ними вот так же, как сейчас, летали сизые голуби. Подымался по этим ступенькам... В книге посетителей библиотеки расписывался: "Доктор К. Маркс".
Когда первый раз Владимир Ильич шел сюда, в его кармане лежало прошение на имя директора:
"Сэр!
Я обращаюсь к Вам с просьбой о выдаче мне билета на право входа в читальный зал Британского музея. Я прибыл из России для изучения аграрного вопроса. Прилагаю рекомендательное письмо м-ра Митчелла.
С глубоким уважением к Вам, сэр.
Я к о б Р и х т е р".
Рекомендовал его известнейший в стране человек - генеральный секретарь Всеобщей федерации тред-юнионов. Казалось, все формальности соблюдены, и он непременно получит читательский билет. Но его бумаги положили в папку, сказали, что о решении уведомят письмом.
Стало ясно - будут проверять. А что могло вызвать сомнение? Митчелла они не могут не знать. Рихтер? Немец из России? Но в Петербурге немцы не такая уж редкость.
Успокоил себя: для волнения пока нет повода. Библиотека не полиция. Просто мог озадачить случайный листок бумаги, на котором написана рекомендация. Почему не на бланке? Тот ли это Митчелл? В Лондоне им счету нет, как в Москве Ивановым.
А так хотелось бы без промедления переступить порог книжного святилища. Осмотреться там. Ознакомиться со всеми правилами и порядками. Заказать книги...
Вот малоприметный коридор. В глубине массивная дверь. За ней тишина. Знаменитый Ридинг Рум. По утрам в этот Читальный Зал входил Маркс. Вероятно, легкими, приглушенными шагами...
На стене табличка: открывают в девять. Очень хорошо! Утренние часы он будет отдавать работе над книгами. И лучше всего приходить первым. Минута в минуту.
Не могут они знать, что он совсем не Рихтер. Не откажут в билете... А пока - в музей.
Греческий отдел блистал мрамором. Возле стен и в середине длинного зала - обломки древних статуй, изваянных еще Фидием и его учениками. Одни без рук, другие без голов. Но у всех напряжены каменные мускулы. Слегка желтоватый мрамор казался теплым, как человеческое тело.
Гениальными скульпторами все запечатлено в движении. Куда-то едут всадники на гривастых лошадях. О чем-то спорят боги на Олимпе. Герои сражаются с кентаврами. Мойры, недобрые богини судьбы, готовы оборвать нить чьей-то жизни. Легендарный охотник Кефал вот-вот шевельнется, встанет, будто на заре, и отправится за добычей. Чинно одетые эллины несут дары Афине...
Наклонив голову, Владимир Ильич прочел табличку. Да, так и есть статуи с Парфенона. Эти с западного фронтона, те - с восточного.
На секунду бросая взгляд на таблички, прошел по всему среднему ряду, прошел возле стены, направился к противоположной. Тут тоже все из Акрополя! Вот и этот богатырски сложенный герой греческой мифологии оттуда. И этот. Ободраны оба фронтона и фризы редчайшего храма. Ну и загребущие руки у "владычицы морей"!
Толпой вошли мальчики в клетчатых юбочках - школьники-экскурсанты из Шотландии. Остановились, как по команде. Длиннолицая женщина в синем жакете взмахнула указкой, словно дирижерской палочкой, обвела ею зал.
- Дети, запомните эту комнату и на все, что хранится здесь, обратите особое внимание. Перед вами величайшая гордость Британского музея, знаменитое собрание лорда Элгина. Будучи посланником, он вывез из Греции это бесценное богатство. Когда вам посчастливится посетить афинский Акрополь, вы можете мысленно перенести вот эти статуи на уцелевший фронтон Парфенона...
"...ободранный подчистую", - добавил про себя Владимир Ильич, отходя в глубину зала. Губы его крепко сжались. Оказывается, на языке колонизаторов дневной грабеж чужих национальных художественных ценностей называется безобидным "собранием". Какое бесстыдство!

В дальнем углу он невольно остановился перед стройной мраморной девушкой в легком одеянии, ниспадающем до ступней, и не мог не залюбоваться. Редкостное изящество! Не случайно Маркс восторгался непревзойденным мастерством художников Эллады.
Присмотрелся повнимательнее. Кариатида! Ей было положено поддерживать какой-то свод. Где? У какого здания? И, конечно, не одной. Где же ее ровесница?
А ведь есть в ней что-то знакомое. Да, да, определенно знакомые черты. Когда-то видел рисунок и читал... Их было, если не изменяет память, шесть сестер...
Вспомнилась старая книга, которую однажды перелистывал в Симбирске. Акрополь. Слева от Парфенона, над самым обрывом - Эрехтейон. Небольшой асимметричный храм, построенный во времена Пелопонесских войн. Перед ним какое-то дерево, заботливо взращенное на каменной тверди. Вероятно, священная олива, по легенде дарованная людям самой Афиной. За углом от главного портала маленький портик. Шесть кариатид поддерживают крышу...
Повернулся к табличке на стене. Да, оттуда мраморная красавица. Одна из шести сестер*. И, понятно, из "собрания" все того же лорда Элгина. Посланник колониальной державы вполне оправдал свое назначение! Небось был удостоен благодарности короля.

---

* Позднее греки сделали копию и поставили на место украденной кариатиды. Но даже самая удачная копия всегда остается копией.

И Владимир Ильич, сторонясь школьников, приближавшихся к ворованной кариатиде, направился к выходу. В гулком музейном зале его шаги, против обыкновения, стучали жестко и твердо. Древний мрамор обдавал холодком.
Входной билет отказались выдать. В письме директор объяснил: в лондонском справочнике нет домашнего адреса, указанного мистером Митчеллом в его рекомендации. Пришлось снова беспокоить профсоюзного деятеля.
Митчелл был любезен и внимателен. Распорядился, чтобы новую рекомендацию отпечатали на бланке Федерации. В тексте объяснил, что живет на улице, застроенной совсем недавно, и потому его адреса нет в устаревшем справочнике. Подписывая, улыбнулся.
- Поставлю печать. Вот так. Теперь они не найдут путей для отказа. На прощанье пожал руку. - Желаю успехов, доктор Рихтер.
Вот с этой-то рекомендацией и пришел Владимир Ильич второй раз в музейную канцелярию. Ему думалось: перед ним извинятся за формальное отношение и тут же выдадут билет. Но ему опять сказали:
- Мы проверим. О решении известим.
Не так-то просто проникнуть для работы в святая святых Британского музея!
В назначенный день Владимир Ильич пришел ровно к девяти. Впереди него оказалась пожилая англичанка. За ним еще один читатель, с подбритыми усиками и подстриженной бородкой. Взглянув на них, сотрудник Читального Зала с наисерьезным видом попросил подтвердить, что каждому из них не меньше двадцати одного года, и пояснил:
- Таковы правила. Еще недавно мы допускали в Ридинг Рум только достигших двадцати пяти лет. Сейчас возраст снижен.
В толстый журнал второй строкой за этот день он вписал: "Якоб Рихтер, д-р прав, 30 Холфорд-сквер, читательский билет No A72453". Предупредил, что билет действителен в течение трех месяцев, и передал ручку Владимиру Ильичу. Перо без единой запинки побежало по бумаге, словно он давно привык писать новую фамилию: "Я. Рихтер".
И вот он, ступая легко и бесшумно, перешагнул порог Ридинг Рум. На минуту замер, пораженный торжественностью удивительного зала. Много раз мысленно представлял его себе, но не думал, что этот круглый зал в центре музея имеет такой высокий и величественный свод. Даже ни в одном соборе не видал ничего подобного. И нигде не встречал такой тишины. Кажется, совсем не шелестят страницы книг, не скрипят перья. Библиотекари и читатели передвигаются бесшумно, опасаясь всколыхнуть тишину. В середине стол заказов и два круга столов с ящиками, в которых, как объяснил сотрудник еще до входа в зал, лежат алфавитные книги. От этого центра радиусами столы, разделенные во всю длину досками такой высоты, чтобы читатели, сидящие по обе стороны, ничем не мешали друг другу. Стены - сплошные шкафы для книг. Три этажа, огражденные перильцами. Тут тридцать тысяч томов справочной литературы! Подымайся по одной из лесенок на этаж, иди, придерживаясь за перильца, и бери,

что тебе нужно. А поверх книг из-под самого свода льется через тесный ряд удлиненных окон дневной свет. Лучшего, пожалуй, и придумать невозможно!
Отыскав фолианты каталога статистической литературы, Владимир Ильич на нескольких карточках проставил шифры справочников на английском, немецком и французском языках. Передал библиотекарю, а сам поднялся на третий этаж и прошел по всему кругу, присматриваясь к многотомным словарям и энциклопедиям. Потом, придерживаясь за перила, глянул вниз. Там почти все места заняты. Около четырехсот читателей склонились над книгами. За каким же из этих столов любил работать Маркс? Где он делал бесчисленные выписки для "Капитала"? Может быть, здесь же, в библиотеке, набросал вчерне многие страницы. Где? Справа или слева от входа? Возле какого светильника? Нет ли таблички на том месте? Вероятно, нет. А все же во время перерыва на ленч надо пройти по кругу, посмотреть...
Когда спустился вниз, на втором левом столе, который он указал на карточках, уже лежала стопка заказанных им книг. Все, что нужно на сегодня. Так быстро доставили из хранилища! Так аккуратно!
Бегло ознакомившись со всем, что ему принесли, выбрал немецкий справочник о кооперации для сбыта молока и молочных продуктов. Записал себе в тетрадь: в этих кооперативах участвуют 140 тысяч хозяйств. У них, если для простоты взять круглые цифры, миллион сто тысяч коров. А у кого и сколько их? Это может пригодиться для задуманной брошюры, предназначенной деревенской бедноте.
И так же, как когда-то в Шушенском, во время работы над книгой "Развитие капитализма в России", Владимир Ильич стал выписывать себе в тетрадь, сколько во всей Германии бедняков, сколько средних крестьян, сколько богатых, сколько из них участвуют в кооперативах и сколько у каждой группы коров. Подвел итоги: у сорока тысяч бедняков (из каждой сотни т о л ь к о о д и н пользуется услугами кооперации) лишь сто тысяч коров, у пятидесяти тысяч средних крестьян (в кооперации состоят пять человек из сотни) - двести тысяч, у пятидесяти тысяч богатых, то есть у помещиков и кулаков (в кооперации состоят с е м н а д ц а т ь человек из каждой сотни), восемьсот тысяч коров!
"Вот и получается, - опустил ладонь на свою тетрадь, - что кооперация прежде всего и больше всего помогает богатым. При капитализме служит им. И так не в одной Германии - во всей Европе".
Успев сделать себе выписки из всех заказанных справочников, Владимир Ильич к ленчу, который он по привычке все еще называл обедом, вернулся домой. Скидывая пальто, делился радостью с женой:
- Мы не ошиблись, Надюша, что переехали сюда. Ради одной этой библиотеки следовало выбрать именно Лондон.
- Я вижу, ты хорошо поработал.
- Отлично! Чудесный зал! Прекрасное обслуживание! Книжное богатство на всех языках. Здесь пробелы будут гораздо меньше, чем при работе в любом другом месте. У них необыкновенный отдел справок. В самое короткое время по любому вопросу дадут справку, в каких книгах можно найти необходимые материалы. Видать, английская буржуазия не жалеет денег на библиотеку. Они - купцы. Им надо торговать выгодно, а для этого необходимо знать все страны.
- А я сварила щи. Сейчас подогрею.
Надежда пошла на кухню. Владимир - за ней.
- Много времени потратила на эти хлопоты. Могли бы чаем обойтись.
- Нельзя же каждый день только чай.
- А пахнет вкусно...
- Да, нам письмо от Ани. Там на столе.
- Наконец-то отыскалась!
- Я так поняла: она не получила твоего последнего письма из Мюнхена. Тревожилась. Не знала нашего адреса.
- Перехватили шпики. Выходит, вовремя нам удалось уехать.
Владимир прошел в комнату, взял письмо. Пробегая глазами по строчкам, про себя одобрял: "Умница Анюта - уехала под Дрезден. В сосновый бор. Совсем хорошо!"
Надежда принесла кастрюлю, над которой клубился парок. Ставя тарелки на стол, сказала:
- Я очень рада, что Аня пригласила к себе на лето Марью Александровну. Отдохнут вместе.

- Это замечательно! Нам бы всем пора повидаться.
- Съезди к ним. Хотя что я говорю? Тебе в Германию нельзя. И Аню не выследили бы там. Может, они согласятся сюда?
- Ну что ты! Для мамы далеко. И через Ла-Манш ей будет трудно. Вот если бы во Францию...
- Во Франции для них спокойнее. Напиши: пусть едут туда. И сам непременно поезжай к ним. А за дела не беспокойся. Что могу, все сделаю.
- Хотелось бы с тобой... Но посмотрим, как все сложится... А щи, Надюша, вкусные.
- Сметаны недостает. Больно дорогая.
- Ничего. И так хорошо. Хлеб, правда, не наш. К щам бы черный. Ржаной. Да посыпать бы ломтик солью... А в библиотеке, как она ни замечательна, я все же расстроился.
- Да ты ешь, ешь. После расскажешь.
- Пусть приостынут. Мне, сама понимаешь, хотелось взглянуть на стол, за которым работал Маркс. Но нигде такой таблички не оказалось.
- Ты, Володя, многого захотел. Маркс буржуазии - поперек горла.
- Понятно. А все же придет время - такая табличка будет прикреплена. Если удастся определить излюбленный стол автора "Капитала". Пока мне отвечали уклончиво: "Для нас все читатели равны". Только один старый библиотекарь стал припоминать: "Маркс, Маркс... Седая бородища. Словно у пророка... Как же, помню. Хотя прошло много времени. Пожалуй, больше двадцати лет... Он обычно проходит на правую сторону*. За один из этих двух... может, трех столов". И на том старому спасибо.

____

* Позднее было установлено, что Маркс работал за вторым столом справа.
- А щи-то, Володя, уже остыли. Ешь.
Через несколько дней пришла открытка от Маняши. С видом Волги. С поздравлением по случаю лондонского новоселья.
Сестра писала, что мать скучает, рвется за границу не только для встречи с Анютой, но и с ними. Где? Это надо обсудить. Конечно, там, где для них удобнее.
И Владимир Ильич написал матери:
"Надеюсь скоро увидаться с тобой, моя дорогая. Только не слишком бы утомило тебя путешествие. Непременно надо выбирать дневные поезда и останавливаться на ночевки в гостиницах. За границей гостиницы стоят не дорого, и можно переночевать отлично. Без отдыха же, при быстроте здешних поездов и малых остановках, ездить по нескольку дней совершенно невозможно.
Буду ждать вестей о твоем выезде с нетерпением. Может быть, дашь телеграмму из России или из-за границы, когда сядешь на прямой поезд сюда? Это было бы гораздо удобнее".
Написал "сюда", чтобы жандармы не узнали, где он живет. О Лондоне ни словом не обмолвился. И письмо отправил через один из промежуточных адресов на континенте.
4
Май щедро одарил британскую столицу солнечными днями. В Гайд-парке буйно цвела сирень. Тюльпаны на тонких ножках торжественно приподняли к небу малиновые, белые и фиолетовые бокалы. Сочностебельный люпин устремил кверху стрелы густых соцветий.
В такую пору Ульяновых, где бы они ни оказались, всегда манило за пределы города. Тем более здесь, после сырого апрельского смрада. При малейшей возможности они отправлялись то в одну, то в другую сторону и, как выражалась Надежда Константиновна, "шатались по окрестностям". От очередной воскресной прогулки их мог удержать только обложной дождь, но пора таких дождей миновала, и они уже успели дважды побывать на зеленых холмах Примроз-хилл. Благо, поездка тут оказалась недорогой - шесть пенсов за двоих.
В ту сторону их влекла не только природа. Разузнав, что где-то там же Хайгейтский холм с кладбищем, на ко тором похоронен Маркс, они не могли не поклониться земле, принявшей прах величайшего революционного мыслителя, дорогого им человека.
Неторопливый омнибус провез их по прямой, как хлыст кучера, аллее Риджент-парка и остановился на окраине, у маленькой харчевни. Дальше шли по дороге, вымощенной булыжником, в сторону незнакомого холма. По ее обочинам расположились на отдых под одинокими деревьями горожане, запасшиеся в харчевне пивом и сэндвичами. Зеленые лужайки по обе стороны были обнесены проволочной сеткой: частные владения!

На крутом склоне холма тесными рядами стояли коттеджи, окруженные кустами сирени. На вершине - серая готическая церквушка с прямым крестом, черневшим в небе. Возле входа остановились, прочитали отметку на стене: холм равен по высоте кресту на соборе святого Павла. Оглянулись на громадное чудище города с черно-бурой россыпью домов до самого горизонта. Купол собора казался маленьким, как опрокинутая фарфоровая пиала. Серой змейкой извивалась Темза, кое-где ныряла под черные тучки дыма.
За кладбищенской церквушкой расстилалось ровное нагорье, утыканное мраморными стелами, загроможденное роскошными склепами, будто моделями дворцов с нелепыми здесь колоннами. Были и склепы, похожие на грузные купеческие лабазы. Не среди них же искать могилу Маркса!
Вошли вместе с богомольцами, обратились к лысому ктитору, восседавшему возле ящика для пожертвований на благолепие храма. Тот вскинул удивленные глаза. Маркс? Какой-то немец. Без прибавки "фон". Видать, не знатный родом. Не банкир? Не фабрикант? Не торговый человек? Таких на этом кладбище нечего искать. Ктитор вздохнул, недовольный тем, что посетители не опустили в ящик ни пенса; проговорил сквозь зубы:
- Где-нибудь по ту сторону холма. Там хоронили, когда нижнее кладбище даже не было освящено.
У цветочницы Ульяновы купили два ярко-красных тюльпана. Надежда обернула стебельки газетным листом, несла цветы бережно, словно они были хрупкими.
Прошли половину нагорья, стали по ложбинке спускаться вниз и вскоре увидели слева кладбищенские ворота. В начале главной дорожки, опоясывающей холм, по обе стороны тоже громоздились склепы, только не такие помпезные, как на верхнем кладбище. А дальше слева до вершины и справа до подножия холма - тысячи скромных надгробий: серые плитки, поставленные в изголовья могил, и маленькие каменные кресты. В тесных промежутках зеленела травка, цвели дикие ирисы.
Присматриваясь к скорбным строкам на плитах, дошли до изгороди; вернувшись, остановились на средине: где искать? Вверху или внизу? Если читать все надписи, недели не хватит. Как же быть? Приезжать часто они не могут. Стали расспрашивать у посетителей, направлявшихся с букетиками к могилам родственников. Никто не знал. Но вот приметили седого человека в потертом комбинезоне, с широкими лямками поверх рубахи. В руке корзина. Из нее торчали рукоятки молотков. Обрадовались: старый каменотес может помнить. Спросили. Старик молча оглядел их. Пришлось медленно, с расстановкой повторить вопрос. Каменотес улыбнулся.
- Вы есть русские?
- Почему так думаете?
- Приходили сюда ваши люди. Вот так же не умели говорить. А я давно слышал: старина Маркс читал по-русски. И на могиле долго лежал венок от ваших студентов.
Каменотес повел вниз, лавируя между могильными плитами. Ульяновы шли за ним след в след, чтобы меньше мять кладбищенскую траву и случайно не наступить на цветок ириса.
- Вот здесь, - сказал каменотес, снимая кепку.
Владимир Ильич, обнажив голову, первым взглянул на маленькую полузаросшую травой плиту из серого мрамора. На ней, закрывая несколько довольно мелких, но тщательно выгравированных строк, лежали засохшие букетики фиалок. Тут же стояла баночка с водой, в ней пылали свежие гвоздики. Развернув свои цветы, Надежда один тюльпан отдала мужу. Склонившись, положили их выше плиты, как бы на грудь покойному. Потом Надежда осторожно передвинула фиалки в сторону, и они прочли:
"Дженни фон Вестфален, любимая жена Карла Маркса, родилась 12 февраля 1814 г., умерла 2 декабря 1881 года, и Карл Маркс, родился 5 мая 1818 года, умер 14 марта 1883 г., и Гарри Лонгет, их внук, родился 4 июля 1878 г., умер 20 марта 1883 г., и Елена Демут, родилась 1 января 1823 г., умерла 4 ноября 1890 г., и Элеонора Маркс, дочь Карла Маркса, родилась 6 января 1855 г., умерла 31 марта 1898 г.".
Ульяновы, склонив головы, молча стояли несколько минут.
Надежда думала: "И Елена Демут, верная служанка, няня всех их детей, а точнее - преданный друг семьи, легла в эту общую могилу".
Ленин представил себе час прощанья. Энгельс, старый друг и соратник Маркса, произносит речь...
Однажды прочтенные, слова навсегда врезались в память и теперь как бы звучали в голове:

"Правительства - и самодержавные и республиканские - высылали его, буржуа - и консервативные и ультрадемократические - наперебой осыпали его клеветой и проклятиями. Он отметал все это, как паутину, не уделяя этому внимания, отвечая лишь при крайней необходимости. И он умер, почитаемый, любимый, оплакиваемый миллионами революционных соратников во всей Европе и Америке, от сибирских рудников до Калифорнии, и я смело могу сказать: у него могло быть много противников, но вряд ли был хоть один личный враг.
И имя его и дело переживут века!"
Каменотес надел кепку, пошел назад к дорожке. Ульяновы - за ним.
Но Владимир Ильич вскоре оглянулся на могилу, запоминая путь к ней. Он ведь должен, он обязан привести сюда своих друзей, когда те приедут в Лондон.
С дорожки он еще раз посмотрел в сторону могилы*. Потом окликнул каменотеса; пожимая ему руку, поблагодарил:
- Тсэнк ю вэри, вэри мач! - И только тогда вспомнил о шляпе, которую все еще держал в левой руке.

____

* Исполнительный комитет Компартии Великобритании приобрел права на могилу Маркса, и в 1956 году все захоронение было торжественно перенесено к главной дорожке и там сооружен памятник. На строгом четырехугольном постаменте из серого гранита - бронзовый бюст Маркса, изваянный скульптором Лоренсом Брэдшоу. В верхней части постамента покрыты золотом слова: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Несколько ниже крупные буквы: "Карл Маркс". В середине врезана плита, взятая с прежнего захоронения. Под ней - чеканные строки: "Философы лишь различным образом ОБЪЯСНЯЛИ мир, но дело заключается в том, чтобы ИЗМЕНИТЬ его".
На старом месте поставлена гранитная плитка, сообщающая о том, что тут была первая могила Карла Маркса.

5

- Здравствуй, Наденька! - Давняя подруга, едва успев перешагнуть порог, поцеловала Крупскую в щеку. - Здравствуй, моя милая! - Поцеловала во вторую. - Ох, и соскучилась я по тебе! А ты?
- Я тоже. - Надежда Константиновна обняла гостью. - Здравствуй, Аполлинария Александровна!
- Боже мой, как официально! Ты же всегда звала меня Лирочкой.
- Здравствуй, Лирочка, - смущенно поправилась Крупская и обняла покрепче.
- Надеюсь, с мужем знакомить не требуется? Помнишь? Хотя столько лет прошло!
Константин Тахтарев, поклонившись, с некоторой нерешительностью поцеловал руку Надежды Константиновны.
Услышав голоса в передней, вышел Владимир Ильич. Аполлинария, подавая руку, указала глазами на мужа:
- Наверно, и вы помните по Питеру моего Тахтарева?
- Еще бы не помнить! - рассмеялся Ленин. - Спорили немало. Правда, больше с вами. С Константином Михайловичем в Питере по-настоящему поспорить не успел: помешал мой арест. Зато в Мюнхене мы наверстали. Когда Константин Михайлович приезжал сманивать меня в свою веру. Разве вы не знаете? Сначала он, - Владимир Ильич на секунду повернулся к жене, пытался залучить Плеханова, потом ко мне пожаловал этаким Мефистофелем. Но попытка соблазнителя оказалась напрасной.
- Теперь уж не жалею, - махнул рукой Тахтарев.
- Да? Приятно слышать. Прошу. - Владимир Ильич указал на свою комнату. - А Надюша нас, вероятно, чаем угостит.
- Даже с галетами...
Крупская вспомнила Невскую заставу, вечерне-воскресную школу для рабочих. Там-то она и подружилась с учительницей Аполлинарией Якубовой. Вместе посещали подпольные кружки, вместе, повязавшись платками, ходили к ткачихам фабрики Торнтона... Но в последний год жизни в Питере их дружбу рассекла трещина: Лирочку попутали "экономисты", после ареста "стариков" завладевшие "Союзом борьбы".
Вспомнился по Питеру и пышноволосый студент-медик, носивший кличку Обезьяна. У него были такие же, как он, молодые, шумливые и самоуверенные друзья. Вслед за ними Лирочка на сходках крикливо повторяла: социал-демократы, дескать, напрасно мечтают о руководстве

рабочим движением, их дело - обслуживать это движение, просвещать мастеровых. И ничуть не больше. Однажды во время спора так раскричалась, что с ней даже стало дурно. Обезьяна накапал ей валерианки в рюмку...
Было до боли жаль, что подруга так заблуждается, но вразумить ее не удалось, и пути их стали расходиться.
Перед новыми арестами Тахтарев успел уехать за границу, а Лирочку в тюремном вагоне отправили в Сибирь. Через несколько месяцев ей удалось бежать из Енисейской губернии, перебраться за границу, и где-то там, в чужой стране, она обвенчалась с Обезьяной.
О кличке Тахтарева вскоре все забыли, знали его как редактора газеты "Рабочая мысль", пристанища "экономистов". Но "Искра" постепенно выбивала у него почву из-под ног. Вот тогда он и попытался соблазнить Плеханова редакторским креслом и даже наведался к Владимиру Ильичу в Мюнхен...
Брошюра Ленина "Что делать?", как торпеда, нанесла утлому суденышку грозную пробоину, и незадачливый капитан предпочел заблаговременно покинуть командный мостик. В Париже Тахтарев читал лекции в Сорбонне, затем вместе с женой перебрался за Ла-Манш. И вот они в гостях у давних знакомых, которых за непоколебимую приверженность марксизму не без упрека называли ортодоксами.
Пили чай. С неприятной для всех натянутостью разговаривали о погоде, о лондонских неудобствах и контрастах, старались не упоминать ни о чем, что могло бы напомнить о былых спорах и о брошюре Ленина, почти доконавшей "Рабочую мысль", готовую вот-вот кануть в Лету.
Но они были политиками и не могли без конца разговаривать о пустяках. Спор возник сначала об английских профсоюзах, значение которых гость преувеличивал, но вскоре же перекинулся на Струве.
- Вы как хотите, а я лично всегда считал Петра Бернгардовича человеком идейным и искренним, - пытался убеждать Тахтарев. - И тогда, когда он увлекался рабочим движением, да и социал-демократией, и теперь...
- Теперь, когда он превратился в изменника и ренегата...
- Это уж слишком...
- Иначе, батенька, не могу.
- В прошлом году вы называли его помягче - политическим жонглером.
- Да, называл. И даже это некоторые товарищи, - Владимир Ильич вспомнил письмо Аксельрода, - считали моей резкостью. Ну, а как же иначе? Присмотритесь поближе к любезнейшему Петру Бернгардовичу. Почитайте повнимательнее. И вы увидите: он боится революции. Холопствует во имя жалких реформ. Превратился в идеолога либеральной буржуазии. Разве это не мастер ренегатства?
- А если кто-нибудь из рабочих, начитавшись "Искры", поднимет на него руку и, не дай бог, расправится с ним?
- Ну уж, это ваша фантазия! - усмехнулся Ленин; опуская кулак на кромку стола, продолжал: - Мы обязаны расправиться с ним на страницах печати. И для этого, как бы вам ни хотелось, мы не будем надевать замшевые рукавицы.
- Хорошо, что не ежовые, - скривил губы Тахтарев.
Надежда протянула руку за пустой чашкой Лирочки: не налить ли еще? Та, поблагодарив, отодвинула чашку подальше и встала.
- Нам, пожалуй, пора домой.
- Да, мы засиделись, - поспешил подхватить Тахтарев. - Договорим при другой встрече. И лучше бы у нас.
- Думаете, спор пойдет мягче? Не ручаюсь. - У Владимира Ильича загорелись иронические искорки в глазах; провожая гостей до двери, пообещал: - А в гости непременно зайдем. Ты согласна, Надюша?
- Конечно, зайдем, - отозвалась та, целуя подругу.
- А прямота ваша как таковая, - заговорил Тахтарев, держа шляпу в руках, - мне начинает нравиться. И подумать нам есть о чем. Да, - качнул шляпу в сторону Ульяновых, - вы здесь новички, а мы в Лондоне уже освоились, если что нужно - только скажите...
- Без всякого стеснения, Наденька, - добавила Лирочка. - Мы в любую минуту готовы помочь.
Когда они ушли, Владимир сказал:

- Может, удастся повлиять... Здесь каждый человек дорог. И то, что Тахтарев сбежал с капитанского мостика тонущего суденышка "экономистов", уже хорошо.

6

День выдался особенный - дороже самого большого праздника. Владимир Ильич волновался и радовался не меньше, чем в Лейпциге, когда рождался первый номер "Искры". Просматривая в малюсеньком кабинете, уступленном Квелчем, утренние лондонские газеты, с секунды на секунду ждал: вот-вот послышатся шаги на лестнице и наборщик, одновременно исполняющий обязанности метранпажа, бережно, как акушер новорожденного, внесет влажный лист - оттиск набора первой полосы, необычной за все полтора года. На ней - проект программы, создание которой потребовало так много времени. Долгие обсуждения вариантов, споры с соредакторами чуть ли не по каждой строке отняли целую зиму. Теперь все позади...

А так ли? Можно ли успокаиваться? Не придется ли снова браться за перо? Благо, комиссия, сводившая в Швейцарии его и плехановский варианты, замечания и поправки в единый текст, записала, что в случае несогласия он может выступить с критикой в печати. А надо ли предавать гласности то, что у них по многим пунктам не было единства взглядов?..

Перед сдачей в набор прочитал проект программы дважды, но так и не решил, будет ли критиковать этот текст. Аксельроду написал, что хочет "паки и паки перечесть программу в печати "на спокое". Понятно, не только сейчас, в корректуре, но и после, когда весь номер будет отпечатан.

Заслышав шаги, отложил газеты, поднялся из-за стола и нетерпеливо потер ладони.

- Вот хорошо! Вот спасибо! - Принял лист с рук на руки и расстелил на столе. - Верстайте скорее следующие полосы.

- Не знаю, хватит ли набора.

- Не хватит - добавим. За рукописями дело не станет.

Наборщик обтер руки о фартук, достал пачку сигарет, чиркнул спичкой о коробку и, прикурив, пошарил глазами по столу - пепельницы не нашел. Сунул огарок в коробку, жадно затянулся дымом. В другое время Владимир Ильич поморщился бы и хмыкнул от противного запаха, а сейчас будто и не заметил табачного дыма. Склонившись над столом, окинул придирчивым взглядом влажный лист: ни заглавием, ни шрифтами не отличается от тех первых полос газеты, что приносили ему в Мюнхене. Отлично! Превосходно!

- Вы, кажется, что-то сказали? - Наборщик, спохватившись, отмахнул дым в сторону. - Или мне послышалось...

- Ясно оттиснута каждая буква! - Владимир Ильич вскинул глаза на типографа. - Пожалуйста, поспешите. Дорог каждый час.

- Не сомневайтесь. Если б не понимал, не приехал бы сюда.

- Надеюсь на вас. И Георгий Валентинович ждет этот номер.

- Понятно... Такое дело заварили!..

Наборщик вышел. А Ленин, обмакнув перо в чернила, написал под заглавием газеты: "No 21, 1-го июня 1902 года".

Программа удобно уместилась на странице: строчка в строчку, в конце осталось место только для трех звездочек в линейку. Под заголовком особой строкой подчеркнуто, что проект выработан редакцией "Искры" и "Зари".

"Посмотрим, посмотрим, как выглядит в печати".

Будет он писать критику или не будет, это уже вопрос второстепенный. Главное сделано. И целая полоса жизни осталась позади. Теперь открывается прямой путь ко II съезду, к новому этапу борьбы за сплоченность всех марксистских организаций России.

Да, его последние замечания приняты. А многие абзацы сохранены почти в том виде, в каком они вышли из-под его пера еще в девяносто пятом, когда писал молоком в камере петербургской Предварилки и тайно пересылал на волю. Многократно повторенный текст так врезался в память, что немудрено и не заметить какую-нибудь буквенную опечатку. Нужно читать не спеша.

Общие формулировки Плеханова заменены конкретными. Хорошо! Расплывчатый термин "трудящаяся и эксплуатируемая масса" уступил место реальной оценке революционной роли пролетариата. Очень хорошо! Внизу первой колонки приостановился на абзаце: "Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое

сопротивление эксплуататоров". Правильно! Сохранили основное. Без этих слов программа не стала бы боевым оружием партии, каким ей надлежит быть.
Нет, он не будет писать критики. В принципе оспаривать уже нечего. Хотя кое-где еще надо почистить стиль, но это можно будет сделать во время съезда.
Ленин дочитывал последние строчки, когда неожиданно пришла Надежда:
- Извини, Володя, я, кажется, не вовремя...
- Наоборот, очень вовремя. Я уже собирался подписывать полосу, но будет лучше, если еще ты прочтешь. Свежими глазами. В таком документе, сама понимаешь, каждая запятая должна стоять на своем месте. Садись на мой стул.
- Ничего, я вот тут, на уголке. А пришла я не с пустыми руками - у нас сегодня на редкость богатая почта! Что-нибудь да пригодится в номер.
- А ну-ка, ну-ка, дай. Что тут самое важное?
- Даже трудно сказать. - Надежда подала листы расшифрованных писем. Все важное, все интересное, значительное. Особенно из Нижнего Новгорода... А верхнее письмо от Дмитрия.
- От Мити?! Что-нибудь о наших? Мама выехала или все еще дома?
- Похоже, что он не знает. Пишет только о делах. В ответ на наше письмо.
- А мы-то с тобой тревожились, что оно затерялось... Ну, и что у него там?
Дмитрий писал, что у них на юге нет свежей партийной литературы, и просил прислать разных номеров "Искры" и брошюр в пределах пуда. Тут же сообщил новый адрес: Одесса, Пересыпь, библиотека городских скотобоен. А письма для него лучше всего отправлять в каких-нибудь французских медицинских книгах.
- Как видишь, Митя уже стал неплохим конспиратором. Книгу для него поищи, а напишем вместе.
Второй лист - от Фридриха Ленгника. Давний друг по сибирской ссылке спешил сообщить о крестьянских волнениях:
"Ходит слух, что на юге солдаты отказались стрелять в крестьян: в Полтаве крестьяне вынесли иконы и поставили их между собой и солдатами".
- Ты обратила внимание? Солдаты отказались стрелять! - вырвались у Владимира Ильича восторженные слова, но он тут же остановил себя: Ничего... Читай, читай. Не буду мешать. После поговорим.
Взял третье письмо. Агент из Кореиза советовал посылать "Искру" Льву Толстому, находящемуся в Крыму на леченье.
Если сам писатель не снизойдет до нее, то она будет попадать в руки ее сторонников.
"Интересно. Когда поправится, вдруг да снизойдет..."
А вот новая весточка от Ивана Радченко. Самый подвижный, деятельный и бесстрашный из летучих агентов наладил путь через Финляндию и просит немедленно послать "товара" пудов пять.
"Ай да Аркадий!.. Вот молодец!"
Радченко открыл путь, какого еще не бывало, - прямо в рабочий Питер! И в такое время, когда провалились старые пути. Этот, похоже, из надежных надежный. А новинки пойдут почтой в Публичную библиотеку Владимиру Васильевичу Стасову. Почетному члену Академии наук. Единственный адресат с таким титулом! Оказывается, старик с нами! От него все попадет в руки его племянницы Елены Дмитриевны Стасовой, своего человека в Петербургском комитете, утонченного знатока конспирации.
На всякий случай Радченко добавил, что Стасова, по кличке Жулик, останется в Питере его наследницей.
"Тревожится за себя... А ему-то необходимо сохраниться. Во что бы то ни стало..."
Надежда читала уже вторую колонку. "Самодержавие народа...", "Всеобщее, равное и прямое избирательное право...", "Признание права на самоопределение за всеми нациями..." - все предложено Володей. И добрых два десятка пунктов тоже написаны им. Об основах программы он думал и в тюрьме, и в сибирской ссылке, и в мюнхенские месяцы "Искры".
Как учительница, она с особым вниманием вчитывалась в строки о школе:
"Отделение церкви от государства и школы от церкви.
Даровое и обязательное общее и профессиональное образование для всех детей обоего пола до 16-ти лет. Снабжение бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства".

Конечно, надо все даром, все за счет государства. В особенности тем детям, родители которых живут в каморках да в закутках фабричных казарм. А в деревнях таким, как шушенский Минька. Против этих пунктов и на съезде, надо думать, никто не возразит. Это же явится одним из громадных завоеваний пролетарской революции.

Той порой Владимир Ильич окинул быстрым взглядом сообщение Нижегородского комитета. Что, что такое? Волнение в Сормове в день Первого мая! Это же самое важное. Непременно в номер.

И начал читать медленно, как всегда перед сдачей в набор. "В пять часов вечера толпа рабочих направилась к заводской конторе и уничтожила там разные бумаги". Вот это напрасно. Бумаги могут пригодиться как вещественные доказательства безудержной эксплуатации рабочих, им место в архивах. "То же произошло и в канцелярии пристава". Не побоялись разгромить! Значит, терпение кончилось, гнев достиг предела. Такой момент не следует упускать. Нигде. Ни на одном заводе. Ни на одной фабрике. Всюду возглавлять вовремя, стихийное восстание превращать в целенаправленное. Не упускать момента. И волжане не упустили его. "На место происшествия явилась толпа сознательных рабочих". Почему же "толпа"? Явно не то слово. Если сознательные, то у них не может не быть элемента организованности. Да, вот их призыв: "Мы должны другими путями добиваться уничтожения теперешних несправедливых порядков". Верно! Только недостаточно энергично. А кто это говорит? Заглянул в конец письма. Петр Заломов! Так это же...

Повернул голову к жене:

- Ты, Надюша, помнишь, Булочка рассказывала о Заломове? Вероятно, тот самый.

- Да. Знамя заранее готовил...

- Тут и о знаменах пишут!.. Извини, оторвал тебя...

И продолжал читать: "После этого, сплотившись с толпой, сознательные товарищи направились по Большой улице с пением революционных песен и с красными знаменами..." Молодцы! Сумели использовать стихийное возмущение, подчинили своей воле! "Народ сплошной толпой стоял по обе стороны улицы... Некоторые, слыша пение, не могли удержаться от слез". Ясно, в пролетарских районах уже заждались красных знамен.

Перевернул листок. "Были вызваны солдаты. Демонстранты вплотную подошли к ним... Солдаты начали разгонять прикладами. Безоружные рабочие должны были уступить. Только один товарищ остался до конца, не выпуская из рук знамени. "Я не трус и не побегу, - крикнул он, высоко поднимая знамя. - Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!" Какая отвага! Какая стойкость! И правильно пишут нижегородцы: "Кто из вас, товарищи, не преклонится перед мужеством этого человека..."

- Надюша, еще раз извини, но я не могу не повторить этих слов: "Не боясь солдатских штыков, твердо остался на своем посту".

- Арестовали его. Там, во втором письме, сказано... И одновременно схвачено еще человек двадцать...

- Наши герои не одиночки! - Владимир Ильич твердо опустил руку на письмо. - В Поволжье жив бунтарский дух! Старая закваска. Еще со времен Степана Разина и Емельяна Пугачева. Но дрожжи новые и цели ясные. А пример сормовцев воодушевит весь рабочий класс России. Сегодня вышли только со знаменами - проба сил! Завтра выйдут с оружием в руках. Мы накануне нового этапа революционного движения.

Вошел метранпаж. Владимир Ильич отдал ему подписанную полосу.

Оставшись снова вдвоем, Ульяновы еще долго разговаривали о поволжанах, о подвиге Петра Заломова, который навсегда останется в памяти народа, но не могли предположить, что через пять лет, читая горьковский роман, они узнают его в образе Павла Власова.

7

Не ждал от Плеханова таких резких замечаний. Хотя его раздражительность и не была новостью...

...В прошлом году рукопись статьи "Гонители земства и Аннибалы либерализма", в которой критиковал Струве за его политическое жонглерство, соредакторы читали полтора месяца! Плеханов, Аксельрод и Засулич потребовали "смягчений": не надо, видите ли, обижать буржуазных либералов. Им хотелось, чтобы и он, Ульянов, жонглеров да изменников гладил по шерстке, но он этого не может делать. И не будет.

Однако он прислушался к замечаниям, касающимся определенных фраз, и все смягчил, но принципиальные положения статьи сохранил и общий тон оставил прежним. Ведь в полемике с бывшим легальным марксистом, переметнувшимся к буржуазии, нельзя поступаться ничем. Даже при настойчивом воздействии Плеханова.
Та статья увидела свет в журнале "Заря". А вот судьба новой статьи оказалась исключительно трудной. В половине апреля рукопись аграрной программы русской социал-демократии соредакторы "Искры" и "Зари" обсуждали в Цюрихе. Юлий записал их замечания, прислал в Лондон. Там было к чему прислушаться. Тотчас же сел за стол, внес поправки, переписал все заново и отправил в Швейцарию на второе чтение.
Сейчас вернулась эта статья. Перелистав ее, удивился до крайности: оборотные стороны всех страниц исписаны раздраженной рукой Плеханова. И до того небрежно и пренебрежительно, что даже новый текст не сличен с первоначальным, будто и не было авторских поправок. А тон замечаний такой оскорбительный, что невольно напрашивалась мысль - почтенный соредактор заранее поставил своей целью показать, что совместная работа дальше невозможна.
Владимир Ильич встал, походил по комнате, мысленно спрашивая себя: "Что его разозлило так? Что?.. Статья не давала для этого ни малейшего повода. В ней нет и намека на полемику с ним". Позвал Надежду.
- Полюбуйся, что тут понаписал Плеханов, - указал глазами на статью.
Пока Надежда читала, продолжал ходить, обдумывая, как бы ответить поспокойнее. Непременно на каждое несправедливое замечание. А их два с половиной десятка. И только одно, касающееся отдельного слова, приемлемое.
А самое возмутительное то, что каждое второе замечание Плеханов сопровождает словами: "Ставлю на голоса". Такого еще не бывало! Раздраженный соредактор превзошел самого себя! И почти под каждой такой фразой выведено трясущейся старческой рукой: "Присоединяюсь. П. А.". Аксельрод известен: давно присоединяется! Но не бывало, чтобы к таким явным и нарочитым придиркам...
Что же дальше? Двое "ставят на голоса". Вера Ивановна безоговорочно присоединится к ним. Половина редакции! И не известно, в какую сторону колебнется Потресов. А Юлий? Устоит ли против этой тройки? Чего доброго, они могут развалить с таким трудом начатое дело, для партии необходимое, как жизнь. И это накануне подготовки к съезду! А из-за чего? Из-за дьявольского самолюбия!
Перевернув последний лист, Надежда подняла глаза, полные горького недоумения.
- Володя, что же это такое?!
- А я тебя спрашиваю.
- По-моему, его рукой водила злость. Все еще не может простить нам переезд сюда.
- Похоже. Очень похоже. А злость при решении политических вопросов плохой советчик.
- Знаешь что?.. Пойдем-ка чай пить. Я быстро подогрею.
За чаем Надежда завела разговор о Волге. Как там сейчас хорошо! Цветут сады, по ночам не умолкают соловьи...
- Которых баснями не кормят, - рассмеялся Владимир. - И я уже не нуждаюсь в успокоении. На все придирки могу ответить без нервозности.
- Отложил бы лучше на завтра.
- Ты же знаешь, я не привык ничего откладывать. Но сначала отвечу в той же рукописи.
Вернувшись в свою комнату, Владимир Ильич на оборотных сторонах страниц написал ответы на каждое замечание. Все по-деловому. И лишь один раз у него вырвалось негодование - рядом с плехановскими словами "ставлю на голоса" он написал: "Ставлю на голосование вопрос о том, п р и л и ч н ы ли по отношению к коллеге по редакции подобные к а н к а н н ы е по тону замечания? и куда мы придем, если начнем в с е т а к угощать друг друга??"
На обороте последней страницы не хватило места для заключительного ответа - написал его на отдельном листе:
"Автор замечаний напоминает мне того кучера, который думает, что для того, чтобы хорошо править, надо почаще и посильнее дергать лошадей. Я, конечно, не больше "лошади", одной и з лошадей, при кучере - Плеханове, но бывает ведь, что даже самая задерганная лошадь сбрасывает не в меру ретивого кучера".
Листок прикрепил к рукописи. Это для себя. Для успокоения. Плеханов этих строк никогда не прочтет. А ведь грубости его нельзя оставить без ответа.

И, снова походив по комнате, Владимир Ильич достал лист почтовой бумаги.
"Получил статью с Вашими замечаниями. Хорошие у Вас понятия о такте в отношениях к коллегам по редакции! - писал, не отрываясь ни на секунду. Вы даже не стесняетесь в выборе самых пренебрежительных выражений, не говоря уже о "голосовании" предложений, которых Вы не взяли труда и формулировать, и даже "голосовании" насчет стиля. Хотел бы знать, что Вы скажете, когда я подобным образом ответил бы на Вашу статью о программе? Если Вы поставили себе целью сделать невозможной нашу общую работу, - то выбранным Вами путем Вы очень скоро можете дойти до этой цели. Что же касается не деловых, а личных отношений, то их Вы уже окончательно испортили или вернее: добились их полного прекращения".
Поставив подпись: "Н. Л е н и н", опять задумался.
"Произойдет разрыв?.. За Плехановым уйдет Аксельрод, уйдет Засулич, возможно, Потресов... Ну что же. Будем делать газету без них. Вдвоем с Юлием. От тех троих все равно пользы было мало. А с Плехановым расставаться очень жаль. Но мы не остановимся, пойдем дальше. Нам придут на помощь из России молодые силы. Не могут не прийти. Будем готовить съезд. А той порой и Георгий Валентинович, возможно, одумается. Съезд без него трудно себе представить".
В статье исправил одно слово и попросил Надежду переписать для набора: выпуск очередной книжки "Зари" нельзя дальше откладывать.
Перед сном Ульяновы погуляли по тихим улицам Лондона, но это не помогло, заснуть в ту ночь Владимир Ильич не смог.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Нудно сыпался по-осеннему мелкий дождик. По былинкам свежего сена, сложенного в стог, лился тонкими, прерывистыми струйками.
Бабушкин, приподнимая плечом и локтем сено, теснее прижимался к стогу. Кроме него со всех сторон прижимались к сену шесть человек. Никого из них он не знал. Все они прошлой ночью поодиночке пришли в корчму, где им была назначена встреча с фактором, как будто надежным человеком.
Фактор, сутулый, видавший виды старик с нечесаными пейсами, в длинном лапсердаке, собрал с них по красненькой. Почему так дорого? Десять рублей - большие деньги.
- А ви думали, каждый рубль мине в карман? О, если бы так! - Старик почесал возле уха крючковатым ногтем указательного пальца. - Начальники тоже знают толк в гешефте!
- Говорят, другие берут меньше.
- Когда много людей, я тоже беру по одной синенькой.
И посредник исчез. А они, по его совету, провели день во дворе корчмы на сеновале.
Фактор снова появился в сумерки и привел их сюда, к единственному стогу на лесной лужайке; сказав, что фортуна им благоволит, что остается только подождать его возвращения, снова удалился.
И вот они ждут в этом ненадежном укрытии. Но выбора-то у них нет.
Ждут тревожно, долго. Иван Васильевич считает секунды, после каждой минуты прижимает по одному пальцу. Шесть раз сожмет кулаки - час. Второй, третий...
Где-то в глубине леса лает собака. Вероятно, там пограничный кордон. Фактор, по всей видимости, ушел туда. Что, если он перепродаст их? Говорят, такое случалось нередко. На контрабандистов надежда плохая! Но ведь без такого посредника они не обошлись бы.
Раздумье сбило со счета. А теперь, вероятно, уже далеко за полночь. Если бы фактор оказался предателем, их уже давно бы схватили...
Иван Васильевич встал, потоптался возле стога, разминая затекшие ноги.
Ночь была непроглядной. В такой темноте они на том берегу оказались бы беспомощными. Возможно, потому так долго не возвращается старик...
С мокрой кепки текли по шее холодные струйки. Бабушкин поднял воротник пальто и, повернувшись к стогу, нащупал свое место. Лег, поджав ноги. Вспомнил Москву, короткое прощание с женой...
...Перед последним отъездом в "Русский Манчестер", как патриоты называли Иваново-Вознесенский текстильный край, сказал Прасковье, что уезжает всего лишь на три дня.
Осторожно коснулся рукой ее округлившегося живота:
- Береги маленького...

Но уже на вторую ночь его схватили вместе с членами Орехово-Богородского комитета. Налетчики сорвали дверь с крючка так быстро, что он не успел улики спалить в печи - полицейский пристав достал клюкой обгоревшие с углов номера "Искры".
В приезжем опознали коробейника, который время от времени появлялся в фабричных казармах, продавал иконки, крестики, ленты, гребенки да пуговицы. Но Иван Васильевич отказался назвать фамилию, и в протоколе обыска его пометили Неизвестным.
Так во время всех допросов во Владимире он и оставался Неизвестным. Ему показывали карточку, снятую в профиль и фас в тюрьме:
- Вот вы кто! Иван Васильевич Бабушкин по кличке Богдан. Мы все знаем о вас - Называли заводы, где он работал, тюрьмы, где сидел. Сознавайтесь. В ваших же интересах.
- Нет, это не я, - отвечал Бабушкин. - Вы путаете с кем-то другим...
Шли недели, месяцы, на очную ставку для опознания позвать было некого.
Но вот среди ночи его отвезли в тюремный вагон. Поезд шел долго. А куда? Явно не в Москву. Уж не в Сибирь ли? В ссылку без суда? А ему так и не удалось переслать весточку жене. Где она? На всякий случай уговаривались, чтобы уехала в Питер, к его матери. Нельзя же оставаться одной в последние дни беременности.
Теперь Прасковья уже родила. А он так и не знает - сын или дочь? Все равно. Только бы благополучно да не подвело бы здоровье. Деньги Прасковья заработает стиркой. Как-нибудь проживут, пока он... Пока не вырвется на волю. А вырвется он непременно. Ничто не сможет его удержать...
По грохоту узнал - поезд идет по мосту. Гулко и долго - река большая. Волга у Самары? Как же так? Административная ссылка даже без объявления? Тихая расправа?
Но вошел конвой. Вывели. В конце станционных путей увидел знакомое здание депо. Екатеринослав!
В тюремной карете задумался: хорошо это или плохо? Что сулит ему этот город? Узнали, что сбежал отсюда? Плохо. А если узнали, что здесь печатал листовки, - еще хуже. Но как бы ни обернулось дело, все же лучше, чем Сибирь. Может, и минует его такая участь. Лучше потому, что побег из Сибири - дело долгое.
Втолкнули в общую камеру. Одиночки для него не оказалось. Значит, тюрьма переполнена. А тут хотя и в тесноте, но вольнее. И узнает кое-какие новости.
Осмотревшись, увидел в дальнем углу знакомого по Питеру, и на душе стало отраднее. Обнялись, как давние друзья, стали расспрашивать друг друга об общих знакомых: кто пошел в ссылку, кто уцелел? Собеседник прошептал на ухо: искровцев свозят в киевскую тюрьму! Что-то замышляют там царские сатрапы!
У него, Ивана Бабушкина, при аресте взяли обгорелые номера "Искры". Не исключено, что и его после допросов увезут туда же. Улик здесь добавится? Ничего. Как бы ни исхитрялись жандармы, он не назовет себя. Ни в чем не признается. Останется для них Неизвестным.
Бежать? Из общей камеры невозможно. Да еще такой большой гурьбой... Заметят - перестреляют.
Для подготовки побега требуется не только взаимное доверие, но и время. Необходима связь с местным подпольным комитетом. А как завязать ее? Долго ли продержат его в этой камере?
Опасался не зря. В камере был доносчик. Вызванный на "допрос", сказал, что новенький арестант встретил здесь какого-то знакомыша и без конца шушукается с ним - что-то выведывает, что-то замышляют оба. И его, Бабушкина, перевезли в арестантскую при четвертом полицейском участке. Значит, не смогли в переполненной тюрьме освободить для него одиночку!
Камера оказалась на двоих. В ней уже сидел студент. Подсадной? Вроде бы не походит на подлеца. Поначалу Бабушкин разговаривал с ним о разных пустяках, пока не убедился, что парень не поворачивает разговор на политические темы. Тоже опасается? Да нет, не из робкого десятка. Стал понемногу открываться ему. Парень ответил взаимностью. Сидит за политику! В городе у него сестра. Знает явку к одному из членов подпольного комитета.
Вот как хорошо!
Тем временем он, Бабушкин, успел присмотреться ко всему. Камера на первом этаже, окно - во двор, обнесенный не таким уж высоким забором. Вдоль стены ходит часовой, на две минуты поворачивает за угол... Фонарь в дальнем конце двора светит тускло. И все же от мусорного ящика падает на землю тень. Если не хватит каких-то секунд, чтобы перепрыгнуть через забор,

там можно затаиться... А с решеткой как?.. Попробовал пошатать заделана прочно. Свита из толстых прутьев, но железо не покрыто слоем чугуна, пилке уступит. А сталь все равно заскрежещет о железо...
Студент попросил сестру в ближайший день для передач принести жирной колбасы. А пилку достать для него, слесаря и сапожника Бабушкина, дело простое. Когда шил сапоги, запрятал под жесткую кожаную подкладку левого голенища.
Ночью подпорол подкладку, и вот она, надежная пилочка, в руках! Перед ней даже самое твердое железо не устоит. Только не перевели бы из этой камеры раньше, чем успеет подпилить, да не заподозрили бы надзиратели!
Смазал пилку салом из колбасы, стал осторожно запиливать. Студент на минуту замер у дверей; послушав, подошел к нему и шепотом подбодрил:
- Совершенно не слышно!..
Перед утром он, Бабушкин затер надрез кусочком штукатурки. Ни следочка не осталось...
А ночью - снова за работу!
Когда подпилил все, что было нужно, стали оба прислушиваться к полуночным заводским гудкам. В такую пору, бывало, Матюха, верный друг и помощник, расклеивал листовки...
Вот и первый гудок, за ним второй, третий... Ночь темным-темна. Моросит дождик - на влажной земле шорохов не будет. Часовой идет к углу...
Вдвоем вмиг выломали прутья...
- Ну, в добрый час! - Помог студенту выскользнуть в окно. И тут же выскочил сам.
И затаиваться за мусорным ящиком не понадобилось. Не успел часовой вернуться из-за угла, как они уже перемахнули через забор. Там их поджидали люди из комитета. Со студентом, не успев проститься, разбежались в разные стороны...
Три дня провел в тайной квартире. На четвертый хозяйка привела надежного парикмахера. Тот выкрасил волосы, усы и бороду, отросшую в тюрьме, изменил и прическу. Когда поднес ему зеркало к лицу, сам себя похвалил:
- Лучшего никто бы не сделал. Родная мать не узнает!
В самом деле не узнали бы родные! Какой-то цыган из табора!..
Более всего в жизни хотелось пробраться в Питер, отыскать Прасковью, но все же удержал себя от риска. Добраться бы только за границей до Ульяновых, они, конечно, знают ее адрес и скажут, как отправить письмо. Жена не замедлит отозваться... А через некоторое время он вернется на родину с новыми номерами "Искры". Его место - среди мастеровых. Сойдутся они, подпольщики, где-нибудь в Питере у заводского рабочего и поведут речь о делегатах на Второй съезд партии. Вдруг да выберут его, Богдана! Вот была бы радость!.. Но только не Богдана - перед возвращением придется придумать себе другое имя, другую фамилию. Ильич подскажет!
На явочной квартире в Варшаве дали денег на дорогу и адрес Дитца в Штутгарте, издателя журнала "Заря". Запомнил твердо. Дитц скажет, где искать Ленина. Кажется, в Мюнхене. Там уже недалеко. Он, Бабушкин, найдет. В кармане у него немецкий разговорник, изданный для народных учителей, отправлявшихся на лето в Германию...
Послышался невнятный шорох. Что это? Шаги? Вдруг да солдаты или жандармы?.. Нет, нет, кто же пойдет в такую глухую и дождливую ночь...
Шаги все ближе и ближе.
- Это я, - сказал фактор, подходя к стогу. - За моей спиной ви в полной безопасности.
Покуда шли к берегу гуськом, едва не наступая на пятки друг другу, ночная тьма начала медленно рассеиваться.
- В неметчине вам будет светло. - Фактор, подоткнув полы лапсердака за пояс, помог двум сектантам-духоборам, направлявшимся в Америку, спуститься в лодку. - Ви ще будете за мине вашему богу молиться.
Весла стукнули о мокрый борт...
Пока фактор перевозил остальных духоборов и его, Бабушкина, наступил рассвет. Прощаясь на немецком берегу, старик указал на кусты, темневшие впереди:
- Там дорога. По ней ви придете на станцию...
2
Духоборов встретил агент, объявил:
- Пароход из Гамбурга отправляется через три дня. Сколько вас? Семь человек. Сейчас куплю билеты.

- Какой пароход? Куда? - спросил Иван Васильевич.
- Известно куда - в Америку.
- Не нужна мне Америка.
- Как хотите. Только я вам скажу: упускаете счастье из рук.
Обменяв рубли на марки, Иван Васильевич сунул бумажку в окошечко кассы.
- Битте, Штутгарт. Битте.
В вагоне посматривали на него с усмешкой в глазах. Отчего так? Что в нем смешного? И чем он отличается от немцев?.. Надвинув козырек кепки на глаза, притворился спящим. Так-то лучше. Никто не заговорит с ним по-немецки. Не заподозрят в нем иностранца, не позовут полицию.
По Штутгарту ходил целый день, присматриваясь к названиям улиц. Латинский алфавит он знал, но мудреный готический шрифт озадачивал. Где же та улица, на которой живет герр Дитц? Пробовал спрашивать - ответов не понимал. Все ходил и ходил. Из одного конца города в другой. Кружил по центральным кварталам. Он должен найти, и он найдет. Дом издателя Дитца не иголка в стогу сена.
А на него и тут поглядывали с усмешкой... Он недоуменно пожимал плечами.
Служанка доложила хозяину: пришел какой-то странный человек, по-немецки не говорит, только повторяет: "Герр Дитц, герр Дитц..."
Издатель поморщился: опять кто-то из этих... Ищут "Искру", когда ее след простыл. Надоели! У него не явочная квартира, издательство. С него хватит того, что пересылал их почту в Мюнхен. Из Лондона пусть ищут другие пути для тайной связи с Россией. А ему, депутату рейхстага, положено дорожить своей репутацией и быть осмотрительным. Чего доброго, полиция заподозрит.
Бабушкин радовался: скитания кончились! Он нашел дом надежного человека, который скажет, как пройти или проехать к Владимиру Ильичу. Дитц - социал-демократ, для русского собрата сделает все, что нужно.
В передней зеркало в рост человека. Глянув на свое отражение, Иван Васильевич глухо ахнул: испохабил его окаянный парикмахер! Уверяли надежный человек. А разве такое - тронул бороду, тронул волосы - можно сделать без подвоха? Малиновые космы! Клоун в цирке! Если бы цыганская чернота превратилась черт знает во что, пока был в России... Первый же городовой потребовал бы паспорт, отвел бы в жандармское...
Тем временем в переднюю вышел Дитц, настороженным взглядом окинул посетителя с ног до головы. В самом деле какой-то странный! Даже служанка заметила. Может проболтаться... Еще раз присмотрелся. Волосы на голове малиновые. Борода и усы какие-то полосатые. Костюмчик мятый... Не политический эмигрант, а скорее всего бродяга.
Попрошайка!
Дитц насторожился. Отослать такого на кухню, чтобы повар покормил остатками от обеда? Рискованно. Заподозрят. Дать этому малиновому двадцать пфеннигов на хлеб? Пропьет. Впрочем, его дело...
Дитц сунул два пальца в карман жилета, нащупывая монетки.
Иван Васильевич обиженно сморщился и помахал руками, обороняясь от подачки.
- В таком случае что же вам нужно? - спросил Дитц на чистом русском, которым овладел в молодости, когда работал наборщиком в Петербурге, и, задумчиво шевельнув бровями, несколько смягчился: - Чем я могу быть полезен?
Бабушкин сказал, что он ищет Ульянова.
- Ульянова нет в Германии.
- Как же нет? У нас было письмо от него из Штутгарта. Из редакции "Искры".
- А редакции "Искры" здесь никогда не было.
- К Ленину я.
- Повторяю - его нет в Германии. Отправляйтесь за Ла-Манш. В Лондоне найдете Якоба Рихтера.
- Рихтер мне не нужен. Я ищу Владимира Ильича, Надежду Константиновну. Битте, герр Дитц.
И вдруг Бабушкина осенило - Ленин живет под новой фамилией. Зовется Якобом. Яковом, значит.
- В таком случае, - Бабушкин протянул руку к человеку с ледяным сердцем, - дайте адрес Рихтера.
- Я не знаю вас. Не могу, - замялся Дитц. - Впрочем, есть выход. Один момент.

И ушел в кабинет, оставив дверь полуоткрытой.
Иван Васильевич задумался: сейчас он получит адрес, но если Ленин в Англии, не хватит денег на билеты...
Возвратившись в переднюю, Дитц подал бумажку с адресом:
- Поезжайте сначала в Дрезден, оттуда - в деревню. Я тут написал название. Калмыкова все вам растолкует.
- Калмыкова?! Александра Михайловна?! Да это же, это... Вот спасибо!
В памяти промелькнула вечерне-воскресная школа, учительница, которую там все любили. Иногда приглашала к себе на дом, давала почитать книги из своего склада. "Марксистская богородица", как язвительно называли ее либеральные народники... Вот нежданная радость! Он, Бабушкин, здесь, в Германии, увидится с Теткой!
С бумажкой в руке Иван Васильевич повернулся к выходу, вмиг забыл о ледяном тоне немецкого издателя; оглянувшись от двери, кивнул ему на прощанье:
- Битте, герр Дитц! Битте!
"Больше двух слов не знает, а ездит по Германии! - ухмыльнулся Дитц. Но у себя в кабинете задумчиво опустился в глубокое кресло. - Пожалуй, напрасно я обошелся с ним так... Упорный человек! Такой и без языка найдет!.. Перед Ульяновым будет неудобно. Ну, ничего. Кто угодно отнесся бы недоверчиво к такому... И время тревожное: подозрительных русских арестовывают. А приезжий не от доброй жизни выкрасился. Русские жандармы, видать, шли по его следу. Ну и смелы эти борцы против царя!.. Надо было угостить кофе... Но прислуга в доме..."
3
На берегу лесного ручья горел костерок. Острые, как золотистые лепестки на шляпках подсолнечника, струйки огня обвивали котел, в котором грелась вода.
Неподалеку в кустах ворковала горлинка. Иван Васильевич прислушался. "Дикие голубки у них распевают так же, как наши", - отметил он, и на душе у него стало теплее.
Третий день в лесном имении он помогал старому немцу-лесорубу прореживать ельник. Они спиливали под самый корень деревья, мешавшие росту других елей, отличавшихся стройностью. Сваленные хлысты очищали от сучьев, разрубали на несколько частей, вытаскивали к дороге и там укладывали в штабеля, подтоварник отдельно от жердей и кольев. Толстые сучья рубили на дрова, а мелкие сжигали на берегу ручья.
В минуты отдыха старик, сидя на бревнышке, раскуривал забавную резную трубку с продолговатой рожей какого-то хитрого насмешника: козлиная бородка клинышком, усы торчат шильями. Иван Васильевич садился на второе бревнышко, лицом к старику, и, перелистывая разговорник, ломал язык на труднопроизносимых словах и фразах. Немец, посмеиваясь над неверными ударениями, поправлял своего собеседника. И по вечерам они разговаривали до тех пор, пока в темной небесной бездне не загорались звезды.
Иван Васильевич сожалел, что этот тощий разговорник не попал ему в руки раньше. В тюрьме было достаточно времени, чтобы выучить все от корки до корки. После этого, вероятно, смог бы разбираться в тех немецких книжках, в которых латинский шрифт. А вот готический... Ох, труден, будь он неладен. И зачем они придумали его, с такими завитушками? А надо и такой читать. Обязан читать. Ведь на немецком языке писал Маркс! И поэты у них, говорят, есть под стать нашему Пушкину.
Под ударами рабочих рук и при подхвате со стороны деревенских бедняков полетит царь со своего трона вверх тормашками, сгинет проклятый капитализм на всей земле, тогда и ему, Ивану Бабушкину, без языков не обойтись. Ведь люди на земле, как соседи, должны запросто друг с другом разговор вести, в работе один другого понимать, а когда праздник, общим весельем радовать. Делить будет нечего: у всех на земле - общее дело. В питерской воскресной школе Надежда Константиновна приводила Марксовы слова: будет мир на всей земле, владыкой станет труд.
Теперь у немцев, к примеру, есть какие-то свои, так сказать, святые, свои, отдельные праздники. А восторжествует революция на всем свете, будут и общие праздники. Нельзя ему жить без языков.
Ильич сколько знает языков? И по-немецки разговаривает, и на французском пишет, и по-английски читает... Надежда Константиновна не отстает от него. И Анна Ильинична тоже. С итальянского книжки переводит. А он, Бабушкин?.. Свой-то язык - и то кое-как. Тяжело ему подтягиваться и догонять, а надо. Уж столько силенок в голове хватит...

Опять остановил глаза на трубке старика. Кто такой вырезан? Что за насмешник? Похоже, из каких-то сказок человек. Принялся расспрашивать, помогая себе жестами. Старик понял - рассмеялся так, что заиграла каждая морщинка на лице.
- Ме-фи-сто-фель.
Бабушкин, сдвинув брови, начал снова перелистывать разговорник. Не нашел ничего похожего. А ему необходимо знать, кто же он такой, этот насмешник Ме-фи-сто-фель. Что он делает на земле?
Старик потряс головой: не столько на земле, сколько там... Сначала указал трубкой на пламя костра, потом ткнул ею в землю. Там! Все горит, все кипит. И оттуда... Обеими руками как бы из подземелья подбросил пламя вверх. Из огня... Повернув трубку чубуком к костру, показал, как Мефистофель вырывается из пламени и бежит-вьется среди людей, нашептывает что-то дурное. Повертывая голову направо и налево, старик с хитрыми уловками шевелил губами, как бы совращая невидимых людей к чему-то дурному.
- По-нашему чертяка! - разулыбался Бабушкин. - А может, и сам сатана!
Взяв трубку старика, хотел показать, что у чертяки должны быть на лбу рожки, но тут же передумал: на трубке немецкий дьявол, прикинувшийся человеком. И, запоминая, еще раз произнес:
- Мефистофель.
Сегодня Бабушкин один сидел у костра, поглядывая на воду в котле.
Когда показался легкий парок, снял котел и сунул в воду палец. Горячая! Перегрел. Пригоршнями добавил из ручья.
Смочив волосы, тщательно намылил голову, усы и бороду, промыл теплой водой.
А утром посмотрелся в зеркальце, купленное на последние пфенниги, и горько усмехнулся:
- Мефистофель!..
Ну и удружил "надежный" парикмахер! Неумеха! И откуда он выкопал эту жуткую краску? Даже мыло не берет!
Ничего, пока он, Бабушкин, рубит лес, авось поблекнет этот малиновый ужас. Тем временем заработает деньги на дорогу. До Дрездена, старик говорит, не так уж далеко, на билет надо немного. А там...
Нет, не будет он просить у Тетки подачки. Хотя бы и на дорогу. Необходимо заработать на билет до самого Лондона.
Там - Якоб Рихтер! Кто бы мог подумать, что это наш Ильич. Вот какую конспирацию приходится ему соблюдать! Из-за длиннущих и препоганых рук царской охранки!
Возвратившись из леса, Иван Васильевич купил новые брюки и шляпу, до блеска начистил ботинки, сбрил бороду, слегка подкрутил усы, как это делал в Питере, и отправился на вокзал.
4
- Можно войти?
- Ой, батюшки! Кто-то наш! - Александра Михайловна порывисто встала из-за стола, едва не опрокинув недопитую чашку кофе, и, нацепив на переносье пенсне в тонкой золотой оправе, поспешила к двери, которая оставалась полуоткрытой. - Конечно, можно. Рада слышать и видеть русского человека.
Иван Васильевич, застегнув пиджак на среднюю пуговицу, шагнул через порог веранды.
- Мир дому сему!
- Ой, да кто же это такой? Голос знакомый, а лицо... Никак не припомню.
Бабушкин назвался, левой рукой прижимая к груди шляпу.
- Товарищ Богдан! - воскликнула Калмыкова; присматриваясь к гостю, развела руками. - Да кто же это вас так?! Хотя понимаю, понимаю... Побег. Неудачная окраска волос... Я ведь еще в Петербурге слышала о вашем провале... Здравствуйте, голубчик!
Она мягко протянула руку тыльной стороной ладони вверх, но вовремя спохватилась и повернула ее для крепкого товарищеского рукопожатия. Бабушкин, кинув шляпу на стул, стиснул руку бывшей учительнице вечерне-воскресной школы горячими ладонями и потряс.
- Для меня такая радость... такая, что и слов не нахожу!
- Как раз к завтраку...
- У вас тут жарко. - Иван Васильевич утер рукой пот со лба.
- А вы снимайте пиджак. По-домашнему. Повесьте его на спинку стула. К умывальнику я вас провожу.

Бабушкин, поправляя рубашку, провел пальцами по узенькому ремешку и пошел за Теткой в кухню. Там, сливая воду на руки гостя, Александра Михайловна не умолкала ни на минуту:
- Догадываюсь, ко мне на перепутье. Очень рада, что навестили старуху. А дальше куда ваша дорога? Хотя и так ясно - редакцию "Искры" ищете.
- Владимира Ильича, - тепло улыбнулся Бабушкин, утирая щеки полотенцем, - и Надежду...
- Одним словом - к Ильичам, - перебила Тетка и тоже улыбнулась во все лицо. - Так стали называть их наши близкие друзья. По одному отчеству обоих. Ну, а теперь, товарищ Богдан, прошу к столу. Чаю, правда, нет, только кофе.
- Я в Дрездене позавтракал на вокзале.
- От Дрездена путь не близкий. Садитесь вон на тот стул - я люблю смотреть в глаза. Ну какой же безобразник вас так... Ильичей напугаете! Вы в Дрездене обязательно покрасьтесь снова.
Калмыкова подала гостю чашку кофе, подвинула поближе масло, хлебницу с булочками.
- Рассказывайте все по порядку: где вас схватили, как удалось бежать...
Слушая, время от времени нетерпеливо перебивала:
- А там кого видели из наших? Кто явку дал? - И подбадривала: Продолжайте. Мне все-все интересно. Обо всех. За границей я, быть может, десятый раз, а никогда прежде не думала, что так буду скучать по России. Оно и понятно - родина накануне больших перемен.
Александра Михайловна, вслушиваясь в каждое слово гостя, отмечала: речь его стала чистой, вполне грамотной. Не напрасными были их школьные уроки!
Перейдя к своим скитаниям по Германии, Бабушкин проговорился, что во время работы в лесу немножко научился разговаривать по-немецки, поломал язык на самых необходимых фразах.
- Хвалю, хвалю! - обрадовалась Калмыкова. - А потом проэкзаменую. Без поблажек. Как в нашей школе. - Шутливо погрозила пальцем и тут же, одобрительно улыбнувшись, провела рукой по щеке, на которой еще не угас румянец. - Помните, у нас говорят: "Язык до Киева доведет". А здесь ваш немецкий, хотя еще и очень плохой, доведет до Гамбурга.
- Меня уже заманивали в Гамбург! - рассмеялся Бабушкин. - В Америку хотели увезти!
- Можно и через Францию. Кто знает языки, даже проще. Но вам я напишу на отдельных бумажках, где какой билет покупать. Доберетесь до Кале, а там - через Ла-Манш.
Услышав знакомое по урокам географии в вечерне-воскресной школе слово, Иван Васильевич кивнул головой:
- Доберусь! Вы не сомневайтесь.
- Нисколько не сомневаюсь. Уж если вас никакие тюремные замки не держат, так европейские дороги не явятся препятствием. А за Ла-Маншем поезд прямо в Лондон. Там придется снова поломать язык.
По привычке Калмыкова встала, как учительница перед классом:
- Немецкую фамилию Рихтер они произносят Ричтер. Повторяйте за мной: Рич-тер. Буква Р - неясно. Кончик языка к нёбу. Повыше. Вот так. Улица Холфорд-сквер. Помягче р, помягче. Как бы проглатывайте. Я вам напишу. И мы с вами еще попрактикуемся. А теперь, - подошла к столику с журналами, чем бы вас занять? Да вот, - повернулась со свежим журналом в руке, - вы еще не видели "Освобождение"? - И со вздохом добавила: - Горестное для меня...
- Нелегальное издание? - спросил Бабушкин. - Почему же горестное?
- А вы почитайте - поймете мое огорчение. Садитесь вон в кресло. Там удобнее.
Бабушкин откинул обложку, перевернул титульный лист, заглянул в конец журнала и вслух прочел:
- Редактор Петр Струве.
- Да, представьте, он, - подтвердила Александра Михайловна. - Вы, вероятно, слышали - мой приемный... Ну, не буду вам мешать...
Она вернулась часа через два и с порога спросила:
- Ну, как, товарищ Богдан? Ваше впечатление?
Бабушкин встал.
- Извините, Александра Михайловна, я уж прямо...
- А иначе я не стала бы вас слушать.
- Либералом пахнет. От каждой строки.
- Да. Горькая правда. - Калмыкова, сдерживая вздох, села и указала гостю глазами на тот же стул, на котором он сидел во время завтрака, и, видя, что он готов сочувственно выслушать до конца, продолжала: - Ошиблась я в Петре Бернгардовиче. Так ошиблась, что считаю

недостойным называть своим воспитанником. - Бросив косо взгляд на журнал, уронила руки на стол. - Струве выплыл на чужой берег. Вы правы - рупор либералов! Так и скажите Ильичам. Я с ними до конца. А Струве для его пресловутого "Освобождения" не дам и ломаного гроша! Он уже знает об этом. И не унывает. - Выпрямилась на стуле, возмущенно покачала головой, будто виновник разговора находился где-то неподалеку. - Чего ему унывать? Один помещик, получив богатейшее наследство, отвалил на этот журнальчик тридцать тысяч!
- Знает своих заступников!
- Да. Такой капитал!
Перестав возмущаться, Александра Михайловна поправила пряди волос возле ушей, вспомнила:
- А Владимир Ильич первым понял, какой берег манит Струве. Теперь уже приманил.
Калмыкова уговорила гостя остаться до утра. А на следующий день, провожая его до улицы, посоветовала:
- В Дрездене обязательно зайдите в Цвингер. - Тут же пояснила: - В картинную галерею. Это вам, пишущему человеку, необходимо видеть. Хотя бы на часок...
На пристани Бабушкин опустил руку во внутренний карман пиджака и удивился - там оказалось несколько хрустящих бумажек.
"Когда она успела?.. Тайком!.. Чувствовала, что сочту за подачку... Я мог бы заработать где-нибудь на погрузке... Ну что же, спасибо ей. Скорее доеду".

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Надежду Константиновну беспокоило здоровье мужа: не спит по ночам, жалуется на головную боль... Все - от нервов.
Отдохнуть бы ему. Хотя бы дней десяток. На время забыть обо всем волнующем. Ведь столько лет в борьбе. В самой напряженной. Добро бы против одних столпов да цепных псов царизма, так еще и против тех, кто причисляет себя к революционерам, а в действительности мешает рабочему движению и делу революции. Сначала борьба с либеральными народниками, потом - с "экономистами", с бернштейнианцами, извратителями марксизма... Без малейшей передышки. А как же иначе? Разве он мог дать им передышку? Нет, до полного разгрома тех и других, до прозрения заблуждающихся и сбитых с толку...
Пробовала заводить разговор о необходимом для него отдыхе. Он пожимал плечами:
- Ты же сама, Надюша, понимаешь...
Конечно, она понимает. Но не может не тревожиться.
А тут еще вдобавок ко всему эти новые нелады с Плехановым, да такие острые... Как только выдерживают у Володи нервы?..
Вера Засулич показала Ленину письмо Плеханова: Георгий Валентинович сообщал ей, что берет "назад свои предложения о поправках", то есть о своих требованиях голосования по многим абзацам статьи об аграрной программе.
- Что же это он пишет только вам? - удивился Владимир Ильич. - В таких случаях...
- Извиняться?! - вспылила Засулич. - Но это же Плеханов!.. Впрочем, он собирается прислать вам дружеское письмо. Вам этого достаточно?
- Ради общего дела я готов забыть...
Письмо пришло с утренней почтой. Плеханов писал:
"Обидеть Вас я не хотел. Мы оба несколько зарвались в споре о программе, вот и все".
"Не хотел обидеть! - про себя отметил Ленин. - И на том спасибо!"
Невольно вспомнилось прочтенное накануне письмо Плеханова к Засулич, в котором, помимо заверения о том, что он берет назад свои поправки, было утверждение: он, Плеханов, на семьдесят пять процентов единомышленник Ленина, и различия между ними только двадцать пять процентов. Невольная усмешка тронула губы.
- Ты, Надюша, обратила внимание - во вчерашнем письме к Засулич Плеханов идентичность наших взглядов начал измерять процентами?! Этак он, чего доброго, разногласия будет взвешивать на весах!
- Но он поборол свою гордыню, - сказала Надежда. - И это, Володя...
- Надо ценить? Понимаю. И надеюсь на продолжение совместной работы.
Ленин, понятно, не знал, что их общим знакомым Георгий Валентинович рассказывал в Женеве:
- Я взял назад только форму, а не смысл своих поправок.

Не знал Владимир Ильич и того, что на столе Аксельрода лежало неотправленное письмо о выходе из редакции "Зари", в котором тот ссылался на свое "болезненное состояние" и "дальность" от Лондона. Не знал Ленин и того, что Засулич считала: "Лучше отделить редактирование "Зари" от "Искры", предоставив первую Жоржу и Павлу, чем идти на разрыв".
Владимир Ильич не хотел разрыва и, обрадовавшись примирению, ответил Плеханову:
"Дорогой Г. В.! Большой камень свалился у меня с плеч, когда я получил Ваше письмо, положившее конец мыслям о "междуусобии". Чем неизбежнее казалось нам это последнее, тем тяжелее были такие мысли, ибо партийные последствия были бы самые печальные... Я готов, конечно, теперь и еще раз обсудить с Вами желательные изменения в моей статье и для этого пошлю Вам корректуру".
И тут же перешел к содержанию ближайшего номера "Искры".
Теперь, когда деловые отношения в редакции восстанавливаются, можно и отдых себе позволить, хотя бы самый короткий. Главное - повидаться с матерью и старшей сестрой.
С дневной почтой пришло письмо из Швейцарии. Его просили выступить с рефератами против социалистов-революционеров. Задумчиво повертел письмо в руках. Надо бы съездить. Пора объявить им войну. Самую решительную. Безотлагательную. Но он устал до крайности. А тут еще необходимый реферат в Париже. На ту же тему. Письмом попросил Мартова уговорить устроителей пусть отложат. Юлий ответил: афиши уже готовы. Ну что ж, надо так надо. Но пока только в Париж. А швейцарским друзьям придется написать, что до осени, ей-ей, не сможет исполнить просьбу. И он начал письмо:
"К большому своему сожалению, никак не могу исполнить Вашу просьбу и приехать в Берн. Здоровье мое преплохо, и я, право, не знаю, справлюсь ли с рефератом в Париже: подготовиться не успел, Arbeitsunfahigkeit* почти полная, нервы никуда не годятся. Если бы можно, - увильнул бы и от Парижа, да уж надуть было бы бессовестно. Если не оскандалюсь в Париже и если поотдохну после него, - тогда постараюсь (может быть, уже осенью) непременно катнуть как-нибудь к Вам..."

---

* Неработоспособность (нем.).

До осени он напишет, обязательно напишет статью о "революционном авантюризме" эсеров. Может быть, даже и в дни отдыха...
А после отдыха будет ждать Плеханова в Лондоне. Если Георгий Валентинович выполнит свое обещание. Только раздобыть бы для него денег на поездку.

2

Над Ла-Маншем буйствовал жестокий норд-ост. Круто вздымались белогривые волны, тщетно пытаясь нагнать одна другую. Пароход валился с борта на борт.
Через каких-нибудь десять минут после выхода из Дувра морская болезнь угнала пассажиров в каюты, кинула на койки. Кто был повыносливее, тех матросы, укутав пледами, привязали на палубах к креслам.
Владимир Ильич ходил по верхней палубе, придерживая шляпу то одной, то другой рукой. Когда судно накренялось больше обычного, широко расставлял ноги, чтобы не упасть, и, прищуриваясь, смотрел на взбаламученный простор. Белый от мела британский берег постепенно погружался в свинцовую пучину, французский еще не проступил сквозь серую мглу.
В апреле, когда плыли в Англию, вот так же взбудоражилось море, холодными брызгами осыпало даже третью палубу. Надя, побледнев от приступа незнакомой ему морской напасти, судорожно приложила руку к горлу. Поддерживая под локоть, помог ей спуститься в каюту, уложил поудобнее; опираясь о кромку койки, сел рядом, гладил ее руку, сотрясаемую мелкой дрожью. Иллюминатор был плотно задраен круглой стальной крышкой. Чтобы взглянуть на море, приходилось подыматься на палубу. Возвращаясь в каюту, легонько касался подушечками пальцев мраморно-белой щеки жены:
- Потерпи еще немного. Начинает вырисовываться английский берег...
Теперь он ждал появления французского берега. Заботиться ему не о ком, и он до самого порта не покинет палубы. Тут свежий воздух. Со всех сторон морской простор. И каждую секунду дает о себе знать необратимая сила разыгравшейся стихии.
Жизнь его родной страны подобна этому морю. Вот так же нарастает сила гнева в заводских и фабричных районах. И деревня нынче всколыхнулась в стихийной ярости. Им, российским

социал-демократам, предстоит необузданный ветер направить так, чтобы он дул в паруса революции, чтобы сокрушающая волна с каждым днем сильнее била в стены окаянной крепости уже недолговечного царизма.
В такую стихийную бурю на капитанском мостике нужна особая бдительность: малейший неосмотрительный поворот руля может отклонить судно от курса и привести в нежелательную гавань. Нелегкая пора. Даже те, кто, казалось, умудрен опытом и умеет стоять на вахте, теряют голову, впадают в панику. Недавняя трагедия Леккерта так сбила с толку двух упрямо-горячих соредакторов "Искры", что горечь долгих и острых разговоров не утихает в душе...
...Первого мая пролетарии Вильно вышли на улицу. Они не только требовали сокращения рабочего дня до восьми часов, но и стоголосой песней звали на борьбу с царем-вампиром, пьющим народную кровь. На них обрушились удары нагаек, жандармы похватали запевал. Рассвирепевший губернатор фон Вааль приказал тридцать человек подвергнуть порке. Через три дня после жуткой экзекуции двадцатидвухлетний сапожник Гирш Леккерт выстрелил в фон Вааля из револьвера. Одиннадцатого июня покушавшегося повесили. "Искра" не могла пройти мимо этого злосчастного события. Потребовалась заметка. И тут покачнулись взгляды Веры Засулич. Видимо, вспомнила свой выстрел в Трепова и начала настаивать на одобрении террористического "подвига" Леккерта. Ее горячность можно понять. И была надежда на то, что ее удастся успокоить. Но вслед за ней колебнулся Мартов и с редким упорством стал говорить даже о неизбежности террора. Никакие возражения не принимал в резон. Ему, видите ли, импонировало, что стрелял рабочий. И не социалист-революционер, а бундовец из Вильно, где он сам живал.
Было странно слышать. Очень странно. Юлий не понимает негодности террора в борьбе за рабочее дело! Неужели для него не ясно, что без массового выступления пролетариата, без народного восстания револьверные выстрелы и бомбы бессильны поколебать царизм? Убеждения не подействовали. И, чтобы не обострять отношения, пришлось пойти на некий компромисс и кое-что смягчить в заметке, осуждающей виленский террористический акт...
Завтра в Париже его, Ленина, реферат о программе и тактике социалистов-революционеров, этих шумных "рыцарей" террора, а у него даже и набросков еще нет. Написал бы тезисы здесь, на пароходе, если бы не такая качка...
Поезд мчался по приморской равнине. За окнами расстилались пшеничные поля, умытые недавним дождем. На одиноких холмах чернели хмурые стены старых замков, полуприкрытые кущами деревьев. В маленьких городках мелькали островерхие дома, до самых крыш увитые плющом.
Но ничто не оставляло следа в памяти, - Владимир Ильич думал о завтрашнем реферате. С чего начать? Конечно, с бурных перемен последних лет. История России шагает вперед семимильными шагами. И каждый год значительнее былых десятилетий. Революционное движение растет с поразительной быстротой, и при этом необычайно ясно вырисовывается подлинное лицо отдельных деятелей и направление новоявленных организаций. Пример: эволюция господина Струве, который теперь выступает уже без маски как прислужник либеральных помещиков. И в то же время среди промежуточных слоев интеллигенции слышится: "Шумим, братцы, шумим" - таков лозунг многих революционно настроенных личностей, увлеченных вихрем событий и не имеющих ни теоретических, ни социальных устоев. Таковы "социалисты-революционеры", политическая физиономия которых становится все яснее и яснее. И пролетариату пора внимательно присмотреться к этой физиономии.
И тут - о новом повороте к террору, начиная с убийства министра внутренних дел Сипягина, о громких поединках, представляющих собой скоропреходящую сенсацию. В своей газете "социалисты-революционеры" уверяют: "Каждая молния террора просвещает ум". Этого не заметно в делах их партии.
Припомнилось смешное, чего нельзя не процитировать: "Каждый террористический удар как бы отнимает часть силы у самодержавия и всю эту силу (!) перебрасывает (!) на сторону борцов за свободу", "И раз террор будет проведен систематически (!), то очевидно, что наша чаша весов наконец перевесит". Да, да, нельзя не посмеяться над величайшим из предрассудков: политическое убийство само "перебрасывает силу"!
Когда упрочились уличные демонстрации, мы стали звать к вооружению масс, выдвинули задачу подготовки народного восстания. Они, сторонники революционного авантюризма, все надежды возлагают на поединки героев: "Стреляй, неуловимая личность".

Тут будет к месту ирония: "Не правда ли, как это удивительно умно: отдать жизнь революционера за месть негодяю Сипягину и замещение его негодяем Плеве - это крупная работа. А готовить, н а п р и м е р, массу к вооруженной демонстрации - мелкая". Да, авантюризм порожден беспринципностью.
Шумные авантюристы собрались в поход против учения Маркса о единственном действительно революционном классе современного общества пролетариате. Всю силу этой партии представляет та кучка русских интеллигентов, которые от старого отстали, а к новому не пристали.
На больших станциях Владимир Ильич выходил подышать свежим воздухом. Погуляв возле вагона, возвращался на свое место, перекидывался с соседями по купе несколькими словами о погоде и, когда возобновлялся стук колес на стыках рельсов, снова устремлял свой взгляд в окно и погружался в думы о завтрашнем реферате.
Теперь он думал о деревне, знатоками которой считают себя новоявленные революционеры авантюристического толка. Именно по крестьянскому вопросу они лживо разносят марксизм, что называется, на все корки: социал-демократы будто бы закрывают глаза на деревню, будто бы ортодоксия запрещает вести революционную работу среди крестьянства. Для авантюристов стало модой - лягать ортодоксию. А сами лягающие даже не у с п е л и наметить своей собственной аграрной программы. Кто они такие? Каков их политический облик? Поскребите социалиста-революционера, и вы найдете либерального народника со всеми его старыми предрассудками, идейными лохмотьями и нарядными заплатами модной критики марксизма. Классовую борьбу в деревне они пытаются подменить "всевозможными кооперациями". Борьба с ними должна быть самой решительной. В публичных выступлениях, на страницах "Искры" и "Зари" - всюду.
Сегодня вечером он набросает на бумаге тезисы реферата, а завтра - в схватку. Революционному авантюризму объявляется война.

3

В Париже, кроме руководителя группы содействия "Искре", никто не знал, куда он, Ленин, уедет после реферата.
Так-таки никто? А если царские шпики присутствовали в зале и опознали в нем Ульянова? Если проследят на улице и сядут в поезд, на котором он отправится в Бретань? Испортят отдых. Не столько ему, сколько Анюте с матерью.
Сестра писала, что не получила его апрельского письма с лондонским адресом. Это не случайно. Получил кто-то другой. Ясно - царский шпик. Значит, за Анютой в Берлине следили. Пока жила где-то под Дрезденом, след могли потерять. Здесь, чего доброго, снова обнаружат. Во Франции не тронут. Но после отдыха сестра, невзирая на риск, собирается проводить мать до дома. На русской границе и без улик могут арестовать: та самая, из Московского подпольного комитета!..
"Что это я? - остановил тревожное раздумье. - От усталости нервов... Никто меня не опознал..."
И все же перед отъездом на вокзал, куда еще днем успел отвезти чемодан, решил побродить по ночному Парижу. Если не обнаружится русский шпик, можно ехать спокойно. Позвал с собой Мартова, - до реферата не удалось поговорить с ним наедине.
Шли прогулочным шагом, останавливались у витрин, рассматривали то галстуки, то шляпы, то перчатки; читали афиши синематографов; шли обратно по тому же кварталу. Свет из окон и от уличных фонарей отбрасывал тени на полупустынные мостовые.
Никто не тащился за ними, не скрывался от их глаз в укромных уголках. Можно разговаривать спокойно. Конечно, не по-русски. И Владимир Ильич по-немецки спросил Мартова о впечатлении от реферата. Почему он отмалчивается? Не согласен с какими-то частностями или вообще считает реферат неудачным?
- Нет... Почему же неудачным? - замялся Юлий. - О твоем успехе свидетельствуют шумные реплики, многочисленные вопросы... Ты многих задел за живое. Ни разу не был прижат к стенке. Наоборот, находчиво парировал выкрики и шел в наступление. Как всегда, говорил горячо. Могу добавить: почти во всем доказательно.
- Да? - Владимир Ильич приостановился, глянул Мартову в глаза, полуприкрытые табачным дымом. - А в чем же не доказательно?
- Все в том же...
- Значит, в моем осуждении выстрела Леккерта не хватало аргументов?

- Для кого как...
- Очень жаль... Ну, а если бы Плеханов...
- Жорж на твоей стороне. А я остаюсь при своем мнении.
"Отчего так застрял в его голове этот Леккерт? - спросил себя Владимир Ильич. - Ведь не первый выстрел по сановнику. И сам Юлий ранее осуждал террор..."
Они вышли на набережную Сены. Там прохаживались парочки, еще не нашедшие пристанища на час; шаркали усталыми ногами одинокие бездомные... Здесь можно без опаски разговаривать по-русски. И Мартов, отвлекаясь от неприятной темы, принялся беззаботно рассказывать о Швейцарии, откуда вернулся совсем недавно. Июнь в Женеве начался нудными дождями, Монблан почти каждый день прикрывал свой лик мохнатыми тучами, как русский купец воротником дохи. Он, Мартов, там схватил простуду и вот кашляет, как окаянный...
Не выдержав пустого многословия, Владимир Ильич спросил, как чувствуют себя их соредакторы.
- Плеханов тоже простудился. Даже больше, чем я, - сказал Мартов. - И Аксельрод чихает.
- В их благодатной Швейцарии! А нас небось все еще бранят за Лондон? Не хотят приехать из-за туманов...
- Туманы - в головах. Не могут они забыть, что мы уехали в Англию, не спросив их согласия.
- Ты сам знаешь, спрашивать было некогда. Не могли же мы рисковать...
- Они твердят одно: от Мюнхена до Швейцарии рукой подать. Взвинчены до предела. И разговаривать с ними трудно. Готовы даже пойти на полное организационное размежевание.
- В каком смысле?
- "Искра" - нам, "Заря" - им. - Мартов взмахнул рукой с дымящейся сигаретой. - Две редакционных тройки!
- Вон что! Вместо шести соредакторов - две тройки! И это серьезно?
- Было сказано в минуту раздражения. Понятно, пока не для твоего сведения. А между собой они обсуждали при помощи переписки. Были единодушны.
- Вера Ивановна, конечно, с ними?
- За ней и остановка. Не исключена возможность, что останется с нами. Если не она, то Потресов...
- Ты говоришь так, будто вопрос о тройке для "Искры" уже предрешен.
- Прикидываю, как будет лучше.
- Веру Ивановну, при всем моем уважении к ней, уговаривать не станем. Что ты скажешь на это?
- Видишь ли... - Мартов, приостановившись, достал вторую сигарету, прикурил от первой. - Мне трудно представить нашу редакцию без Веры, хотя как журналистка она... Да ты сам знаешь, весь нелегкий воз везем мы с тобой. А там она...
- И там пристяжные не натянут постромок! Пойдут налегке. А одному кореннику, даже Плеханову, не увезти воз - погубит журнал. Жаль будет "Зарю". Впрочем, до этого, я думаю, не дойдет. У Плеханова острый ум, он должен понять. Если не впадет в амбицию. А вообще же тройка - это заманчиво. - Владимир Ильич придержал Мартова за рукав пиджака. - Ты согласен?
- В принципе - да. - Мартов, сделав глубокую затяжку, вскинул голову. - Если все настоящие публицисты. Горячие. Годные и в пристяжки, и в коренники, когда понадобится.
Владимир Ильич достал часы - ему пора на вокзал; пожимая руку на прощанье, попросил:
- Пожалуйста, Юлий, поспеши в Лондон. Сам знаешь, пора сдавать двадцать второй...
- Понимаю... Хотя, откровенно говоря, Париж мне больше нравится. Но я готов... И ты можешь отдыхать спокойно.
"Да, отдых, отдых, - повторил Владимир Ильич. - Только отдых. И не думать ни о чем другом..."
Но не думать он не мог. В поезде Мартов не шел из головы.
"Почему же Юлий оправдывает Леккерта? Ранее относился по-марксистски, а теперь... В чем же дело? Стрелял не студент, а р а б о ч и й. Ну и что же?.. Уж не потому ли, что сам Юлий во время вильненской ссылки состоял в той же организации Бунда, в которую, правда, через много лет, вступил Леккерт?"
Догадка показалась неубедительной. Отбросив ее, Владимир Ильич вспомнил разговор о двух редакционных тройках. Он и сам подумывал: три работающих соредактора - это было бы

отлично. Три единомышленника, поддерживающих друг друга во всем. Быстрей бы решались все вопросы.
"Ну что же, об этом следует поговорить, - подумал он, откинув голову на высокую полумягкую спинку кресла в полупустом купе вагона. - Только не теперь - на съезде. И, конечно, об одной тройке. Для "Искры" и "Зари". А пока - ни слова. Плеханов "взял обратно" свои оскорбительные пометки на рукописи - это уже благо. Будем по-прежнему работать вместе..."
4
Ветер дует со стороны моря, и в жаркий полдень пахнет вяленой рыбой да сухими водорослями. Чем ближе к берегу, тем каменистее холмы. Серые остроребрые плитки торчат на каждом шагу. И неказистые дома сложены из таких же плиток, побелены известью, как украинские хаты. Только нет возле них ни мальв, ни вишенок. Зачастую дома жмутся один к другому. Узенькие улочки - на ослах и то разъехаться нелегко - криво опоясывают холмы; одни лепятся к каменной круче, другие ведут с уступа на уступ, к заливу, еле видимому в просветы.
В маленьких двориках рыбаки, бронзовые от морского загара, вяжут сети.
Владимир Ильич подходит то к одному, то к другому, здоровается, спрашивает, как пройти к мадам Легуэн. Ему отвечают по-бретонски, он понимает не сразу, переспрашивает. Бретонцы, дымя трубками, ведут неторопливый разговор. Смеются. Когда они выходят в море, то, пожалуй, на каждой второй лодке Легуэны. У каждого жена на берегу. Какую мадам желает видеть приезжий?
- Ту, что сдает комнату на втором этаже. Пожилую. Мамашу Легуэн, отвечает Владимир Ильич.
- Ее муж, говорят, погиб в море...
- И таких у нас не перечтешь. Море свое берет.
- У нее только что жил один парижанин, мой знакомый.
- О-о! Это там, внизу. Возле самого залива. Видите шпиль церкви? От нее недалеко. Как пройти? За углом налево, еще налево, потом направо...
Дом мамаши Легуэн маленький, двухэтажный, у самого выхода из лабиринта переулков. От него - спуск к заливу. Купанье близко!
Хозяйка обрадовалась привету от парижанина, провела наверх; распахнув окно, сказала:
- Тут вам будет хорошо! У меня живали русские, им нравилось. Рисовали наше море, речку Триё, скалы, лодки рыбаков...
С тех пор она запомнила несколько русских слов. Правда, трудных для произношения. Но ничего, они будут разговаривать по-французски.
- Парижанин говорил, что ваши родные, которые собираются приехать сюда, тоже знают французский.
Она и об этом осведомлена! Тем лучше. Поможет для мамы с Аней подыскать комнату поблизости. Не успел попросить об этом, как бретонка сказала - у соседки комната свободна. Совсем рядом. Одноэтажный дом стеной к стене. Будет удобно. Только море от них не видно, но ведь до берега какие-то минуты. А здесь, у нее, днем и ночью свежий морской воздух.
Глянул в окно. Горизонт терялся в серой дымке. Оттуда ветер гнал к берегу белогривые волны, и море выглядело полосатым. А к вечеру оно несомненно будет иным. И утром иным. Сколько ни любуйся, не налюбуешься. Жаль, Нади нет - ей ведь тоже необходим отдых. И едва ли меньше, чем ему. Но "Искру" нельзя было оставить без надежного присмотра. А Надя молодчина! Даже виду не подала, что ей будет трудно управляться с рукописями, письмами, корректурами - со всеми делами, которые он оставил на нее. Устанет, конечно. Но ничего, вместе они отдохнут как-нибудь в другой раз... Если представится такая возможность.
Повернувшись, окинул взглядом комнату. Белые стены, белая матица под потолком, на стенах литографии - море, рыбацкие лодки под парусами... В переднем углу стол накрыт узорчатой скатертью, видать, домашней работы, чернильница, полная фиолетовых чернил. Ручка с разноцветным орнаментом, на конце заостренная, как нож для разрезания книг. Взял ее, повертел перед глазами - перо английское, его любимое! - и бережно положил на место. Не понадобится. Отдых, отдых и еще раз отдых. Возможно, лишь к концу месяца потребуется для какой-нибудь самой неотложной заметки... А в ближайшие дни - только для писем к Наде. И даже сегодня - для телеграммы родным: в Логиви все дешево, и комната для них есть - пусть приезжают. Он ждет.

Хозяйка огорчила: в деревне нет ни телеграфа, ни почты, письма к ним привозят из соседнего селения Плубазланека. До него каких-то километров шесть полевой дороги. Шесть? Не так уж много. Будет хорошая прогулка. Но сначала надо посмотреть комнату в соседнем доме...
- Сначала я угощу вас кофе, - сказала мадам Легуэн. - Обеда у меня сегодня, к сожалению, нет. С завтрашнего дня буду готовить для вас и завтраки, и обеды, и ужины. По-бретонски, понятно. Из свежей рыбы и овощей...
- Из рыбы - хорошо. Я вырос на большой реке, богатой рыбой.
- Надеюсь, вам понравится простая бретонская еда. Мои жильцы всегда оставались довольны. А сегодня, если хотите, можете пообедать в нашем летнем ресторанчике. Там, внизу, в береговой скале. А кофе приготовлю быстро. Пока вы... - указала глазами на тазик в углу и на кувшин с водой. - Я могу слить вам воду.
Поблагодарив, Владимир Ильич решительно отказался. Он привык умываться без услуг. А когда хозяйка спустилась вниз, усмехнулся уголками губ.
"Европа! До простого умывальника не могут додуматься!.. Хотя все объяснимо: канитель с таким умыванием идет от барской изнеженности и требования услужливости во всем".
Скинув пиджак и верхнюю рубашку, склонился над тазиком. Держа кувшин в одной руке, сливал себе воду на ладошку. А снизу уже подымался приятный запах свежемолотого кофе...
...Окно открыто настежь. В комнату вливается прохладный морской воздух. Владимир Ильич спит на старой деревянной кровати, смастеренной немудреным деревенским столяром.
Море не бьет в скалы, и в бретонской деревне тишина. Ничто не мешает спокойному сну.
На рассвете сон приятен, как в детстве.
Но не долго продолжается он - поют петухи, лают собаки, с улицы врываются голоса, на кухне гремит посудой мадам Легуэн. Где-то под обрывом стучат веслами рыбаки. Они возвращаются с уловом. С богатым ли?
Владимир Ильич подходит к окну. Солнце уже раскинуло по бирюзовой глади огромного залива золотистые блики. Издалека спешит к берегу последняя лодка рыбаков.
Перекинув полотенце через плечо, Владимир Ильич спускается по скрипучей лесенке, выходит на узенькую улицу. Выбитая в камнях дорога приводит к морю. Оно уже успело залить пеструю россыпь мелких галек и подступило к серому каменному мысу.
Оставив полотенце на выступе скалы, Владимир Ильич идет в море. Оно кажется уставшим, в меру прохладным; подступает к берегу лениво, словно ему надоели эти ежесуточные приливы и отливы. Морю тоже нужен отдых. Но лучше, когда чувствуется его сила.
Вода уже до пояса, и Владимир Ильич падает на нее грудью; плывет быстро, попеременно взмахивает руками, загребая воду под себя. На Волге такие взмахи называют саженками.
Возвратившись на берег, одевается и идет к рыбакам. Возле лодок кружатся чайки с крикливым гомоном, норовят ухватить что-нибудь из соблазнительного улова.
А из деревни уже спешат к морю женщины в белых передниках, в белых платках, несут вместительные корзины под рыбу.
Владимир Ильич здоровается с рыбаками, будто с давно знакомыми людьми, помогает перекинуть нагруженные корзины на бревенчатый причал, укрепленный среди береговых камней.
Эх, сплавать бы с ними хоть один раз! Далеко-далеко в море!.. Но он ведь приехал не на рыбалку. И вставать задолго до рассвета ему не полезно. Только отдыхать. Весь месяц. Месяц? Ну, нет, это слишком долго! Так можно и устать от... отдыха. Неделю. От силы - две. Наде тяжеловато управляться с "Искрой". Правда, Юлий обещал поспешить в Лондон, но он мог и задержаться. Это уж не первый раз. Влюблен в Париж!
Подняв мокрые сети на весла, перекинутые через плечи, рыбаки несут их к вешалам для сушки. Оставшись один, Владимир Ильич садится на край причала и долго смотрит в сторону выхода из бухты. Там - океан. Беспредельный как будущее. А правее, где-то в Ла-Манше, английские острова Джерси и Гернси. Там много лет жил в изгнании великий романист Виктор Гюго, друг Герцена, демократ, в свое время возвысивший голос в защиту народовольцев. Его романами зачитывался в юности, и отважный мальчонка Гаврош навсегда вошел в память. Сколько молодых бунтарских сердец покорил и еще покорит этот маленький герой, вдохновит на подвиги. Российские гавроши покажут свою смелость, свою храбрость и отвагу на баррикадах. Непременно покажут.

На английских островах изгнанник Гюго писал стихи. В годы Второй империи их, словно бочки с порохом, тайно перевозили во Францию.
Купанье в море чередовалось с прогулками. Через два дня Владимир Ильич уже знал все полевые дороги в окрестностях селения и козьи тропки над обрывом извилистой Триё. Он побывал в двух соседних деревнях, которые тоже носили названия Логиви, и узнал, что его деревня, в отличие от тех двух, называется Логиви де ля мер - Логиви у моря. Прошел и на скалистый мыс Аркуэст, вонзивший свое острие далеко в море. Он уставал от дальних прогулок, но эта усталость была приятной.
На третий день, почувствовав, что время в далекой и глухой деревеньке тянется утомительно медленно, он стал чаще обычного доставать часы. Подносил их к уху: идут ли? Порой даже проверял ключиком: не забыл ли завести пружину? Нет, идут нормально. Куда еще сходить? Чем заняться?..
На четвертый день Владимир Ильич сказал себе: "Я здоров. Отдохнул. Пора и честь знать..." И сел за письма.
Первым делом написал Плеханову. Сообщил, что отдыхает в Бретани, что перед отъездом из Парижа получил от Берга его, Плеханова, статью для "Искры" за подписью Ветеран. Спросил: удобно ли ее помещать за этой подписью? Разумеется, если автор желает этого, то она будет напечатана в ее настоящем виде. Но не лучше ли превратить ее в редакционную передовую для номера двадцать второго? В этом случае можно было бы взять кое-что из статьи Берга, рукопись которой посылает для ознакомления. В целом же статья Берга содержит нежелательные места и требует поправок. А развить статью в передовую для него, Плеханова, будет нетрудно. Только ответ хотелось бы получить поскорее.
Из конспиративных соображений повторил свой лондонский адрес. Так безопаснее и вернее. Здешний адрес, кроме парижского представителя "Искры" да матери с Анютой, знает лишь одна Надежда.
Между тем в Лондон слетались через многие промежуточные адреса письма агентов "Искры" в России. Самым активным корреспондентом теперь был Аркадий*. Пока Ленин отдыхал в Бретани, Аркадий прислал в редакцию семнадцать больших писем. Иногда отправлял из Питера даже по два письма в день. Там положение оставалось сложным. Помимо Питерского комитета, именуемого в переписке Ваней, была еще Маня - "рабочая организация".

---

* Иван Иванович Радченко.

На многие письма, требовавшие срочных ответов, по обязанности секретаря редакции отвечала Надежда, но самые существенные пересылала в Логиви. Так, она переслала письмо, в котором Аркадий сообщал о реорганизации Питерского комитета на искровской основе и ждал помощи "в виде конкретного наброска плана местной работы в связи с общей российской". Владимир Ильич, читая и перечитывая это письмо, так потер руки, что ладони стали горячими. Как это хорошо, что наконец-то Ваню направляют на верную дорогу. Судя по всему, он становится новым Ваней, единомышленником искровцев. Так пусть же в партийных кругах во всеуслышание объявит себя их сторонником. Этого шага абсолютно ни на неделю откладывать не следует. Надо сразу закрепляться на новом пути.
Ленин набросал для питерцев подробный план действий из шести пунктов, особое место в нем отвел полной солидарности в совместной работе Вани с Соней, то есть с русской организацией "Искры" в Самаре, и связал с созданием Организационного комитета по подготовке Второго партийного съезда.
Изложив этот план, задумчиво потер лоб. Когда созвать съезд? Нужна тщательная, весьма тщательная подготовка. Важно не упустить благоприятный момент подъема революционного движения в основных пролетарских центрах России. Но и поспешность не пойдет на пользу. Когда же? Осенью? Зимой?.. Загадывать пока еще рано. Съезд может быть созван лишь тогда, когда большинство, абсолютное большинство местных партийных комитетов объявит себя сторонниками "Искры". Только тогда. Ни в коем случае не раньше. Они, искровцы, должны составить на съезде большинство единомышленников, стойких марксистов, чтобы нанести последний удар по "экономистам", покончить с шатаниями и кустарщиной, сплотить партию на незыблемой идейной основе. И Питер, представляющий собою колоссальное значение для всей России, должен сказать свое решающее слово.
Снова взял перо.

"Если Ваня н а д е л е станет н а ш и м вполне, тогда мы через несколько месяцев проведем второй съезд партии и превратим "Искру" в 2-недельный, а то и недельный орган партии... Жму крепко руку. Ваш Л е н и н".

5

- Мамочка, здравствуй! - Владимир Ильич подал руку, помог спуститься с подножки вагона и поцеловал мать в щеку. - С приездом!

- Володенька! - помахала рукой сестра, откинув вуалетку на шляпу.

Брат повернулся к ней, подхватил из тамбура чемодан, едва успел поставить на перрон, как оказался в ее объятиях.

- Анечка! Я очень-очень рад видеть вас вместе. Спасибо, что приехали. Отдохнете здесь неплохо.

- Ты уже успел загореть, - отметила Анна, близоруко всматриваясь в лицо брата. - Чувствуется - на свежем ветерке. Небось целый день на море? И о всех статьях забыл?

- Да как тебе сказать... Я же на отдыхе.

- Жаль, Наденьки нет. Соскучилась я по ней.

- Она просила кланяться. Ей тоже хотелось повидаться, но...

- Понимаю, Володенька, - качнула мать белой головой, слегка прикрытой черной кружевной косынкой. - Все понимаю.

- Она там теперь за двоих, - добавила Анна.

- Да, да, - подтвердил Владимир, - по письмам вижу - занята каждая минута. Статьи, корректуры. Что не решит сама, то сюда...

- Вот и проговорился! - перебила сестра; рассмеявшись, погрозила пальцем. - Теперь мы для тебя установим строгий режим: никаких статей. Отдых так отдых. И чтение - в меру. Кстати, мы привезли тебе газеты. Наши, русские. А немецкие и французские купили в Париже.

- За это спасибо! Я тут, можно сказать, изголодался без газет.

Подошел пожилой бретонец, со шкиперской бородой; попыхивая трубкой, понес чемоданы к обшарпанной коляске, единственной во всем поселке. Владимир подхватил мать и сестру под руки, повел их вслед за бретонцем. Помог сесть в коляску, сам приткнулся на краешек козел, лицом к родным. Без умолку расспрашивал о всей семье. Как там Маняша? Соскучился по ней. Хорошо, что она опять имеет работу. А Марк? Давно ли проехал в Томск? Есть ли оттуда письма? Доволен ли службой на Сибирской дороге? Много разъездов? Ничего, людей повидает, с городами познакомится, с новыми рабочими поселками.

- Скажу по секрету, - улыбнулась мать уголками губ, - наша Анечка порывается поехать к нему.

- Надоела мне эта заграница! Хуже горькой редьки! - поморщилась Анна. - Были бы крылья, улетела бы туда, как птица из клетки.

- А клетка-то, по-моему, для тебя насторожена на границе, - сказал Владимир. - Может захлопнуться.

- Они про меня уже забыли, - махнула Анюта кистью руки, имея в виду жандармов. - В Сибирь прорвусь. А оттуда ссылать некуда.

- Ошибаешься. Находят гиблые места и для ссылки сибиряков.

И Владимир снова принялся расспрашивать. Как Митя? Приезжал в Самару? Молодчина! Навестил вас там. Жаль, что без невесты... Недавно повенчались? А как звать жену? Кто она?.. Карточку привезли - это хорошо. А удовлетворяет ли его работа в лечебнице под Одессой? Он дал адрес для газеты, а о себе пишет мало.

И тут же - о друзьях-единомышленниках. Поправился ли Клэр после болезни? (Это о Глебе Кржижановском.) А Ланиха (это о жене Глеба), надо думать, на здоровье не жалуется. Все такая же круглая, как булочка? А как чувствует себя их дочка Соня? (Это о русской организации "Искры".) Ее здоровье - важней всего. А что слышно из Саратова? Эмбрион (это Егор Барамзин) почему-то молчит, как сонный налим под камнем. Пора бы разбудить его. Медвежонку (это Маняша, секретарь русской организации "Искры") сие было бы посильно. От Самары до Саратова путь недалекий. Могла бы съездить в праздничные дни...

Мария Александровна едва успевала отвечать. Да и знала она далеко не все. Иногда дочь приходила ей на помощь, хотя и сама была мало осведомлена о Соне и ее ближайших друзьях-помощниках. Но и тому, что удалось узнать от родных, Владимир Ильич был рад. Глаза его сияли, будто он только что сам побывал среди дорогих ему деятельных товарищей по российскому революционному движению. Спросил о забастовках, о крестьянских волнениях и

даже по отдельным отрывочным фразам почувствовал - это движение на большом подъеме. И если бы ему не угрожал арест на границе, он так же, как собирается сделать старшая сестра, рванулся бы туда, в родную сторону, в рабочие центры, в университетские города, напоминающие грозные вулканы перед извержением. Но он успокаивал себя тем, что для него не настало еще это время, что сейчас его работа полезнее здесь, чем там, внутри России. Ведь они, искряки, отсюда добавляют огня в вулканы.
Они разговаривали без стеснения, зная, что возница ни слова не понимает по-русски. И, конечно, не могли наговориться за дорогу. Были уверены, что им не хватит и трех недель, которые Владимир собирается провести с ними здесь, на бретонском побережье.
Такой же ненасытный разговор продолжался за обедом, накрытым мамашей Легуэн на втором этаже, в комнате своего постояльца. На первое она подала бретонскую уху, сваренную с луком, из голов какой-то крупной рыбы, на второе - поджаренных осьминогов, очищенных от кожи и свернутых в колечки. Мария Александровна, уже не первый год предпочитавшая рыбные блюда мясным, ела с удовольствием, но под конец, утирая губы жестковато накрахмаленной салфеткой, сказала:
- А все-таки уступает морская рыба нашей волжской! Или это благодаря привычке...
- Стерлядка колечком! - вспомнила Анюта.
- Колечком, по-ресторанному, - отмахнулся Владимир и, переносясь в годы своей юности, вспомнил: - Стерлядка особенно хороша в ухе - на вечернем берегу Волги.
Хозяйка догадывалась, что говорят о рыбе, и перекидывала по очереди на всех недоуменный взгляд. Владимир Ильич встал и, поклонившись ей, сказал, как мог, по-бретонски:
- Все приготовлено отлично! Все очень вкусно.
Мария Александровна поблагодарила по-французски и добавила, что она не смогла бы приготовить так искусно.
Потом, когда они остались втроем, подошла к окну, взглянула вдаль.
- У тебя, Володя, хорошо. Море в золотистых бликах. Спокойное. Располагает к отдыху.
- А мне оно больше нравится, когда бурное.
- Отдохнешь ли в бурю?..
Мать окинула взглядом комнату, пошевелила пальцами, как бы разминая их.
- Жаль, фортепьяно нет. И на Эльбе, где мы жили с Аней у Тетки, тоже не было. Пальцы соскучились по клавишам.
- Тут, по-моему, ни у кого не удастся найти. Рыбаки живут бедно.
- Да, - вдруг оживилась мать больше прежнего, - чуть не забыла рассказать про одну музыкальную новинку. Ане я уже рассказывала...
- О Римском-Корсакове, - нетерпеливо отозвалась Анна, подзадоренная знакомым рассказом матери. - Тебе, Володя, необходимо знать об этом крупном событии в мире искусства.
- Аня права. Великий композитор - я готова Римского-Корсакова при его жизни десятки раз назвать великим - написал новую оперу "Кащей бессмертный". Недавно была исполнена в Частной опере Саввы Мамонтова и произвела фурор. В особенности среди студентов. Галерка, говорят, неистовствовала от восторга.
- На императорскую бы сцену такую оперу! - Анна не могла усидеть на стуле, прошлась по комнате. - Вот была бы буря! Потрясла бы сильнее взрыва бомбы!
- На императорскую никогда не пустят! - продолжала мать. - Хорошо, если уцелеет композитор. Могут - в ссылку. Ты представь себе, Володя, опера кончается поражением Кащея, считавшегося бессмертным.
- То есть самодержавия! - добавила Анна.
- Да, - подтвердила мать, и у нее от волнения голова стала вздрагивать больше обычного. - Из застенков Кащея освобождают давно заточенных узников. На сцене - ликование.
- Это примечательно! Спасибо, мамочка, за рассказ. - Владимир пожал обе руки матери. - Это превосходно!
- Вода на мельницу революции! - сказала Анна.
- Вода? Явное не то, - возразил Владимир. - Это трубный глас! Ты, мамочка, права, Римский-Корсаков великий композитор. И он трубит в революционную трубу! В старой Москве такая весна! Это новость! Вернусь в Лондон - Надю обрадую.

Мария Александровна с Анютой пошли к себе. Владимир проводил их, тревожно посматривая не столько на сестру, сколько на мать, и успокоился лишь тогда, когда они сказали, что комната их вполне устраивает.
Вдруг сестра, спохватившись, сказала:
- Володенька, извини мою забывчивость. Тетка просила передать, что перевела для "Искры" пятьсот марок.
- Ой, как это вовремя! У нас с деньгами швах. Когда я уезжал, в кассе не оставалось и ста рублей. Пятьсот марок - существенная поддержка. Сотню отправим Плеханову. Они понадобятся ему для поездки в Лондон. Нам необходимо повидаться, потолковать.
- Я вижу, Володя, богатую Тетку тебе бог послал! - рассмеялась мать. - Выручает в трудную минуту!
- Да, выручает... Но на деньги одной Тетки мы не продержались бы и месяца. Рабочие устраивают сборы, присылают по красненькой, по четвертной. Поддержка у нас широкая. Но случается - живем при пустой кассе. Уж очень дорого обходится доставка "Искры". Недавно наладили новый путь - через Норвегию. В бочоночках. Под видом сельди.
Каждый день после обеда мать и дочь отдыхали. Мария Александровна, попросив дочь разбудить через час, быстро засыпала, а Анна некоторое время лежала с закрытыми глазами, потом, потеряв надежду уснуть, осторожно выходила из комнаты и направлялась к брату.
Заслышав скрип ступенек, он отзывался громко:
- Входи, входи, Анюта. - И отрывал глаза от стола. - Ты мне не помешаешь.
- Володенька, - Анна начинала грозить пальцем, едва успев перешагнуть порог, - ты опять что-то пишешь.
- Нет, пока читаю.
- Смотри, я Надюше напишу, как ты от-ды-ха-ешь.
- Отлично отдыхаю! Ты знаешь, эта прогулка до почты и обратно доставляет мне большое удовольствие.
- Хороша прогулка - двенадцать километров!
- А я в Шушенском хаживал во много раз дальше, привык!
Сестра подсаживалась к нему и по-свойски оглядывала стол близорукими глазами. Сегодня она спросила, что прислала ему жена в том большом пакете, который он принес перед самым обедом. Наверно, не утерпел и еще по дороге заглянул в него? Приятные ли вести?
- Корректура моей "Аграрной программы". Ты знаешь, с четвертой книгой "Зари" мы ужасно задержались, надо спешить. И Надя уже успела прочесть, отправить в типографию. А мне - второй экземпляр. Прислала также статью Плеханова, которую он согласился поправить, и сделал отлично, как это ему часто удается. Пойдет передовой в двадцать втором номере. И еще прислала свежие корреспонденции для "Искры". - Владимир шевельнул на столе бумаги. - Есть кое-что весьма примечательное. Да вот хотя бы это. Ладонью разгладил сгибы на письме, оставшиеся после двукратной укупорки в конверты. - Из Красноярска. Почитай.
Анна взяла два листка, в свою очередь погладила их и, чтобы не мешать брату, пересела поближе к окну. Уткнувшись в первую страницу, невольно улыбнулась. Володя уже написал заглавие для наборщика: "Из писем ссыльных студентов".
И это он называет хорошим отдыхом!
В письмах студенты рассказывали, как их отправляли из Бутырской тюрьмы. День прошел в сборах и волнениях. На прощальный обед собрались в четвертой камере. Говорили речи. Без обиняков называли, кто их враг и чего они добиваются в борьбе. Надзиратели даже не посмели прерывать. Потом началось прощание с теми, кто еще оставался в тюрьме, сквозь решетку пожимали им руки. А во дворе уже стоял конвой. При выходе запели: "Если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, дело всегда отзовется на поколеньях живых". В камерах услышали товарищи, участь которых еще не была решена, и подхватили песню. За воротами тюрьмы поджидали курсистки, собравшиеся на проводы. Милые бесстрашные девушки! На вокзале новоиспеченных "преступников" втолкнули в два вонючих вагона с решетками на окнах, началось нескончаемое путешествие в Сибирь. И вот они в красноярской пересыльной тюрьме...
Перевернув лист, Анна в такт чтению возмущенно покачивала головой.
"Москвичей здесь много, и их уже развозят на места жительства, около 30 человек из них отправляют в Якутскую область, 6 курсисток отправляют туда на четыре года. Поймите весь

ужас положения, когда каждую из них посадят в какой-нибудь, в лучшем случае, город Якутки, одну, в глуши, где нет ни дорог, ни почт... Только здесь можно понять, что это значит".
"Посмотрели бы вы, - продолжала читать Анна, - в какой грязи держат здесь арестантов. Двое из москвичей - один студент и одна курсистка заболели здесь тифом. Их посадили в больницу, но ухода за курсисткой почти не было. На ночь ее запирали на замок в барак, лишая всякой медицинской помощи. Студент очень плох. Наверно, не без следа для них прошла 6-дневная голодовка в Московской тюрьме. Пищу дают гнилую даже больным, что же дают здоровым арестантам? 95 процентов больных болеют катаром желудка... О сибирских ужасах распространяться не буду. Главная тема - все тот же произвол, насилие, беззаконие. Жизнь человеческая не ценится..."
- Ужасно!.. Предел бесчеловечности! - Анна возвратила письмо брату.
- А вот здесь о пробужденной Сибири. - Владимир подал письмо из Читы. - С постройкой железной дороги рабочее движение разлилось по всему Забайкалью. Иначе и не могло быть. Все закономерно. Там, где в каторжных норах декабристы хранили гордое терпенье, звучат революционные песни, печатаются прокламации. На маевку рабочие вышли с красным флагом. Читай. Если такая волна докатилась даже до Сибири, значит, революция близка.
Владимир встал и, как бы поджидая грозный гребень девятого вала, посмотрел на море, исполосованное волнами.
Анна дочитала письмо. Адрес автора, как и следовало ожидать, предусмотрительно отрезан Надеждой, и ее рукой подчеркнута подпись Социалист.
Кто этот Социалист? Они, понятно, не могли предвидеть, что пройдет не так уж много времени и Владимир Ильич на Четвертом съезде партии встретится с ним, уроженцем Читы, организатором первого социал-демократического кружка на Забайкальской железной дороге, а после пяти лет каторги и якутской ссылки этот Социалист, талантливый публицист, видный партийный и государственный деятель, будет известен всей стране под именем Емельяна Ярославского.
- А вот и прокламация, присланная из Сибири. - Владимир взял со стола еще три листка. - С новой песней. Ты только послушай проклятие царю-убийце:
Но страшись, грозный царь,
Мы не будем, как встарь,
Безответно сносить свое горе;
За волною волна, подымаясь от сна,
Люд рабочий бушует, как море.
- Как море в бурю! - воскликнул Владимир. - Хорошо!
- Какая у тебя, Володя, сегодня богатая почта!
Пробежав глазами все три куплета, Анна вслух повторила две последние строчки:
А на место вражды да суровой нужды
Установим мы счастье и волю.
- Хорошая песня! Очень хорошая! - сказала Анна, незаметно для себя повторяя интонацию брата.
- Удачно, - согласился он. - Но не все. - Взял прокламацию из рук сестры. - Вот третий куплет: "Твой роскошный дворец мы разрушим вконец". Излишнее приложение революционной ярости и энергии. Дворцы народу пригодятся. Прежде всего - для библиотек...
- Для музеев.
- Конечно, и для музеев. Будут у нас свои Лувры и Уффицы. Даже богаче и краше. Да и сами дворцы - архитектурное чудо, сотворенное народными умельцами. Разве поднимется рука на красоту? Нет. Народ любит прекрасное. Помню в Шушенском прялки с рисунками, деревянные ведра и туески с резьбой... А с каким орнаментом там ткали скатерти! На кроснах для этого требовалось до двадцати четырех нитчонок - большое искусство! А наскальные рисунки наших пращуров?! Стремление к красоте - в крови людей, в их душе с тех далеких пор, когда они только-только научились держать в руке каменный нож. Да, глубоко ошибочные строчки. - Владимир указательным пальцем как бы подчеркнул строку. - Революция не столько разрушение старого, сколько созидание нового. Вспомни "Интернационал" француза Потье, теперь уже переложенный на русский: "Весь мир насилья..."
- Володенька, я уже читала: "...мир насилья мы разрушим".

- Да, только м и р н а с и л ь я. А не дворцы. И "мы новый мир п о с т р о и м". Последнее неимоверно труднее... А прокламацию с этой песней напечатаем.
Анна взглянула на часы.
- Ой, мамочка просила разбудить... - И ее каблучки застучали по лестнице.
Но Мария Александровна, с молодости привыкшая просыпаться в то время, которое назначила для себя, уже встала и успела причесаться.
Спустя несколько минут они вышли из дома, и Анна снова поднялась к брату, постучала.
- Володенька, мы готовы. - Слегка приоткрыла дверь и, увидев, что брат что-то пишет, осеклась: - Извини, помешала...
- Ничего, ничего...
- Опять кому-нибудь письмо? Допишешь вечером. А сейчас идем с нами к морю.
- Да, да, пора к морю... Только две последние строчки... И я вас догоню.
...Мария Александровна сидела на борту лодки, опустив ноги в море. Вода была прохладной. Белые громады облаков то и дело закрывали солнце, и в эти минуты от морской свежести слегка зябли плечи.
Пятнистый от скользящих теней залив выглядел угрюмым. Над ним с пронзительным криком носились чайки, будто недовольные тем, что рыбаки медлят с выходом на промысел.
Какое же непостоянное это море! То, бывает в жаркие дни, ласково лижет ноги, вот так же опущенные с борта лодки, то, словно обиженное, уходит куда-то вдаль, оставляя среди скользких камней многочисленные ракушки, то сердито бьет волнами в скалы - не подходи к нему. Сегодня хотя и тихо, но купанье все равно не для нее. Но она не уйдет с этой лодки пусть Володя с Аней поплавают вдосталь. Они ведь так ждали этих июльских дней.
Каменные берега Бретани казались неприветливыми. Под стать морю. И невольно вспомнились российские реки. В июле в них всегда вода теплая, спокойная. Ее почти не баламутят ветры. В тихих омутах цветут кувшинки, белые особенно милы - чистотой спорят с лебяжьим пухом. А сосны на берегах в солнечные дни приятно пахнут смолкой... И ароматная земляника поблескивает в мелкотравье...
Здесь все пропахло морской рыбой. Надоела она изрядно. И вареная, и жаренная на оливковом масле. Как-то после купанья заглянули в ресторанчик, приютившийся в углублении скалы, как в пещере, но и там тот же запах жареной рыбы...
Однако она ни слова не проронила об этом, всегда первой благодарила хозяйку за все, что та подавала на стол. Пусть Володя с Аней не подозревают, что ей не нравится здесь. Пусть отдохнут. Она ведь в этот далекий край приехала только для того, чтобы повидаться с ними. Аня собирается домой, а Володя... Нельзя ему показаться на границе. И дело здесь нельзя бросить. А кто знает, доведется ли еще когда-нибудь?..
Мария Александровна гнала от себя эти думы, но они отступали только на время.
Вспомнились и остальные дети. За Митю не тревожилось сердце - у него жена. Кажется, ласковая, заботливая. А Маняша... Как она там, в Самаре? Не схватили бы опять... Чего доброго, одновременно с Глебом и... и с Булочкой. Досадно, что вдруг выпало из головы имя жены Кржижановского. Ведь знает ее так близко и так давно. Склероз сказывается. Тут уж приходится мириться... Вместе с Павловной... Как можно было забыть имя?.. Простое, милое... Зина она! Зинаида Павловна!
И оттого, что вспомнилось имя, Мария Александровна улыбнулась потеплевшими глазами. Анна в эту минуту по колено в воде брела к лодке и подумала, что заждавшаяся мать улыбнулась ей.
- Я рада, мамочка, что ты не скучала тут без нас.
- Чайки не давали скучать, - сказала мать, подняв глаза в небо. Смотри, как кружатся. А самые резвые чуть крылом не задевают воду. И перекликаются о чем-то своем...
Но Анне показалось, что мать все это говорит нарочито, для успокоения, и она спросила:
- Ты, наверно, устала, мамочка? - И, повернувшись лицом к морю, помахала правой рукой. - Володя, будет тебе там... Возвращайся. Мама ждет.
- Аня! - Мария Александровна схватила дочь за левую руку. - Зачем ты?.. Будто я не могла сама... Пусть бы еще поплавал. Первый раз он за все здешние годы...
Анна нарочито зябко шевельнула плечами.
- Стало прохладно. Ветерок тянет с моря, а ты в легком...

Владимир ответно помахал им рукой и, выжимая из бородки морскую воду, пошел за береговую скалу, где лежала его одежда.
Когда они встретились у дороги, сказал:
- Жаль, мамочка, что тебе нельзя... Вода сегодня удивительно приятная!
- Я рада, что тебе тут хорошо, - сказала мать. - И мне около вас хорошо!
Владимир всмотрелся в ее морщинки возле глаз:
- А чем-то озабочена. Я чувствую...
- Просто вспомнилась наша Волга... На какую-то минуту...
- Волга и мне часто вспоминается. И в особенности волжане.
На крутом подъеме приостановились, и Анна, чтобы переменить разговор, спросила:
- Володенька, ты в Сибири, наверно, был наслышан о Томске? Как там жизнь? Что за город?
"Тоскует она по Марку, письма ждет, - отметил брат для себя. - Потому и к почте моей присматривается. Но сможет ли письмо из Томска дойти до этой глухой бретонской деревушки?" Вслух сказал:
- Сибиряки гордятся Томском, называют "сибирскими Афинами". Но не в этом дело. До нас дошла весточка - там перепечатывают отдельные номера "Искры". Для всей Сибири.
- Вот неожиданность! - удивилась Анна. - А что же ты молчал до сих пор? Я думала - жуткая глушь.
- А у тебя там нет знакомых? - спросила мать. - Марку было бы не так одиноко.
- Знакомых? - задумчиво переспросил Владимир. - Как же, как же... Хотя знакомство заочное. Сестра Любы Радченко была выслана туда. К ее родителям, Баранским...
- Надя Баранская?! - всплеснула руками Анна. - Так она же в Питере переписывала первую программу партии, которую ты пересылал нам из Предварилки! Вот новость так новость!
- Правда, я не знаю, задержалась ли она там после ссылки. У нашей Нади спросим: в ее переписке, по всей вероятности, есть адрес. Не только этой девицы, но и других томских товарищей.
- Ты, Володя, - снова вступила в разговор мать, - когда вернешься в Лондон, напиши Ане. Марку там пригодятся хорошие люди.

6

Письма, письма... Из всех уголков России. Ими жила редакция "Искры".
Владимир Ильич радовался добрым вестям из России: в главнейших городах комитеты - один за другим - признавали "Искру" руководящим органом русской социал-демократии, оказывали поддержку. Даже Московский комитет, где из-за частых провалов работать было особенно трудно, постановил отчислять в кассу "Искры" двадцать процентов со всех доходов и выразил "товарищу Ленину горячую благодарность за "Что делать?". Питерский комитет подтвердил свой поворот к "Искре", выпустив листовку, обращенную ко всем российским социал-демократическим организациям, но Владимир Ильич по-прежнему тревожился за него: устоит ли Ваня на новой позиции? И каждую неделю отправлял Аркадию длинные письма:
"Своей задачей (в случае хотя бы с а м о м а л е й ш е й ненадежности или уклончивости Вани) Вы должны поставить подготовку войны питерских искряков против остатков экономизма".
"Куйте железо, пока горячо..."
"Образовать русский ОК непременно должны Вы и взять его в свои руки. Вы от Вани, Клэр от Сони, да + еще один из наших с юга - вот идеал. С Бундом держитесь крайне осторожно и сдержанно, не открывая карт... помните, что это ненадежный друг (а т о и в р а г)".
Подходила к концу четвертая неделя отдыха в Логиви, и 24 июля (по европейскому календарю) Владимир Ильич написал последнее письмо представителю "Искры" в Париже:
"Ане и маме здесь действительно не очень нравится, и они может быть переедут, но еще не знают, куда... Я завтра двигаюсь домой. В общем, мне здесь очень нравилось и я отдохнул недурно, только к сожалению возомнил себя раньше времени здоровым, позабыл о диете и теперь опять вожусь с катаром. Ну, да это все пустяки".
Мать и сестра собирались проводить Владимира Ильича до поезда, но он, посмотрев на бледное лицо матери, возразил:
- Нет, нет, простимся здесь.
- Пожалуй, ты прав, - согласилась мать и указала глазами на стулья: По нашему обычаю...
Присели на минуту.
Помолчали.

Мария Александровна, сдерживая глубокий вздох, поднялась первой, обняла сына за плечи, поцеловала три раза и, придерживая за локти, посмотрела в глаза; боясь прослезиться, замигала часто-часто.
- Наденьке самый сердечный привет. Очень жаль, что не повидалась с ней. Но я надеюсь...
- Мамочка, береги себя. Пиши нам чаще. А то мы будем тревожиться. И передавай самый горячий привет Маняше, Мите с женой, Глебу с Зинаидой Павловной... Волге-матушке поклон.
- А со мной не хочешь передать? - Анна протянула руки брату для прощанья.
- Аня, мы же с тобой уговорились, - напомнила мать, - проводишь только до нашей границы.
- Нет, - крутнула головой Анна. - И ты, Володенька, не представляешь себе...
Думая, что сестра закончит фразу: "...как я соскучилась по Марку", Владимир перебил:
- Даже очень представляю себе...
- Нет, ты не представляешь... Он же там, в Томске, один. И потом я соскучилась по работе. В нашей, русской гуще...
- Марку не забудь написать привет от нас с Надей. - Владимир поцеловал сестру, затем тряхнул ее руки. - А если ты решишься, не бери с собой ничего подозрительного...
- Мне ведь не впервые через границу... - сказала Анна.
- Володенька, не тревожься, - беловолосая голова матери дрогнула больше обычного, - будем писать.
Вышли на улицу. Мать достала платок...
На последнем каменном пригорке Владимир оглянулся и помахал шляпой.
- Вот и все, - тихо сказала мать, махнула платком и засунула его за обшлаг рукава. - Три недели как один приятный сон...
Анна утирала слезы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Каждый день прибавлял тревог и забот. То из одного, то из другого города приходили печальные вести о провалах. Последняя страница "Искры" пестрела списками арестованных, сосланных в Сибирь, ожидающих в пересыльных тюрьмах отправки по этапу на Крайний Север. Появились некрологи: "Умер от туберкулеза", "Скончался от цинги". О тех, у кого не выдерживали нервы, писали: "Страдал психическим расстройством застрелился", "Покончил жизнь самоубийством".
"Искра" предупреждала о провокаторах, публиковала списки предателей.
Смельчакам, не утратившим сил в борьбе, требовались деньги на побеги из далеких мест.
Самой ощутимой была потеря Бродяги, который попал в жандармскую ловушку на провалившемся транспортном "пути Дементия": верного друга по сибирской ссылке увезли в киевскую тюрьму Лукьяновку.
На воле оставался единственный разъездной агент Аркадий, но и того проследили в Петербурге, и ему пришлось срочно менять адрес и вводить в курс подпольных партийных дел Жулика*.

---

* Е. Д. Стасову.

Узнав о провалах, в Лондон, еще до отъезда Владимира Ильича во Францию, примчалась Димка, сестра Петра Гермогеновича Смидовича, который теперь отправлял "Искру" из Марселя в Батум.
- Не могу я больше сидеть сложа руки, - заявила Надежде Константиновне, едва успев расцеловаться с ней. - Давай явки в Питер, в Киев...
- Димочка, нельзя так сразу...
- Почему нельзя? Владимир Ильич придет, а у нас уже все готово.
- А если он...
- Помоги убедить... Пойми, Надюша, у меня сердце не терпит. Готова хоть сегодня в путь. Вера Ивановна пожелала мне ни пуха ни пера.
- Остынь, Димочка, немножко. - Надежда положила ей руку на плечо. Вот попьем чайку...
- Мне остывать нечего. Ты знаешь, я всегда такая. Раздумывать не привыкла.
- Надо же поговорить...
- Вот и поговорим о новых явках.
- А если их нет, новых-то?

- Ну-ну, - Димка погрозила пальцем, - не хитри, Надюша, меня не проведешь. - Порывисто поцеловала в щеку. - У тебя явками всегда голова полна.
Наливая гостье чаю, Надежда извинилась, что заварка у нее в кружке несвежая и что к столу нет ничего, кроме галет. Димка махнула рукой, дескать, стоит ли говорить о таких пустяках. А в России она - Надюша может быть уверена - не потеряет напрасно ни дня, ни часа, как в прошлую поездку по югу.
- На юг тебе, Димочка, опасно - филеры небось заприметили.
- Они забыли, - отмахнулась Димка. - А я, ты знаешь, умею менять обличье.
- А муж как же?
- Он сам поехал бы, да куда такому увальню... И у него сейчас одна забота - научиться делать матрицы с набора "Искры" для подпольных типографий. Приедет сюда. С Волькой мне, конечно, жаль расставаться, но надо. Мальчик подрос, поживет без меня с отцом. Только дай верные адреса.
Надежда подумала: "А если провал? Тюрьма, ссылка?.. Мальчуган без матери...", но промолчала, зная, что никто не сможет удержать Димку.
Владимир Ильич вернулся вскоре после того, как гостья ушла ночевать к Засулич, и, выслушав пересказ жены о разговоре, сказал:
- Ты права, для нее рискованно. Но и в том права - удержать Димку невозможно, поедет и воспользуется старыми, ненадежными явками. Дай новые.
И она уехала с болгарским паспортом Димки Байновой, которым пользовалась раньше.
Через некоторое время, уже после отъезда Владимира Ильича во Францию, Иван Радченко сообщил из Петербурга:
"О! Димочке рад. (И как касса ни пуста, а для конспирации ей шелковая юбка необходима.)"
Димка принялась развозить "Искру" по северным городам. И больше дня нигде не задерживалась. Старалась заметать следы. В Петербурге брала билет на один поезд, скажем до Кременчуга, а среди ночи пересаживалась на другой, направлявшийся в Торжок, и утром выходила из вагона в Москве. Про себя думала, что, по всей вероятности, работает не хуже Бродяги, которым в редакции "Искры" восхищались все. Тот спал только в поездах, питался в станционных буфетах. Так же будет делать и она.
Бродяга оставался неуловимым, пока случайно не попал в западню. Она, Димка, постарается избежать случайностей.
Но от Димки не было писем, и Надежда встревожилась: не перехватывают ли жандармы?
И Владимир Ильич, вернувшись из Логиви, каждый день спрашивал:
- Опять нет?..
А потом по глазам жены стал догадываться: "И сегодня тоже нет".
Что там с ней? Неужели рискнула отправиться в южные города? Ведь предупреждали же...
Между тем второго августа на Николаевском вокзале Петербурга Димку, хотя она и была в ином наряде, приметил филер, таскавшийся раньше за ней по южным городам и в своих проследках именовавший ее "Модной". Тогда он утерял ее где-то около Ровно.
А теперь?..
Филеры, незаметно сменяя друг друга, кинулись за Димкой целой сворой. Они ехали из города в город в тех же вагонах, что и она, всюду ходили по следам...
Посетив северные города, Димка, не замечая теней, отправилась на юг. Побывала в Харькове. Седьмого августа повидалась в Полтаве с братом Мартова.
Восьмого в пятом часу утра филеры видели "Модную" у кассы вокзала. Она взяла билет до Кременчуга, где ей доводилось бывать...
2
С утра радость: пришло письмо от Курца - Фридриха Ленгника, с которым во время ссылки, бывало, целыми часами Владимир Ильич спорил по вопросам философии, пока тот не отказался от своих идеалистических воззрений. Жив курилка! И не только жив - в Самаре заменил Кржижановского на время его болезни.
Глеб где-то в башкирской юрте пьет кумыс. Поправляется. Недели через две вернется молодцом. А они-то в Лондоне недоумевали: "Почему Соня дремлет?" В душе упрекали за молчание.
И еще в письме была приятная новость - Бродяга собирается бежать из Лукьяновки. И не один. С ним восемь человек таких же, как он. Выходит, все социал-демократы.

Кто же они? Вероятно, Бауман. Несомненно, Блюменфельд... Кто еще? Конечно, транспортер Басовский, хотя он и порядочный флегматик. Постарается не отстать от энергичных. Есть там еще Папаша*. Говорят, из наших ортодоксов. Умный и находчивый...

---

* П а п а ш а - Валлах (М. М. Литвинов, будущий советский дипломат).

Если им удастся, большая будет подмога! Баумана снова бы в Москву. Для восстановления комитета.

А вдруг да... Об этом лучше не думать. Они сами знают, что в случае неудачи всем грозит каторга. Надо надеяться, предусмотрели все до мелочей.

...Лукьяновка где-то на окраине Киева. Говорят, тюремная ограда отменно высока. Шесть аршин! Никому не удавалось перебраться. Да, кажется, никто и не пробовал. Тюремщики давно успокоились: за четверть века - ни одного побега!

Действительно, после Льва Дейча и его двух товарищей там не было побегов. Лев Григорьевич рассказывал: подкупленный надзиратель вывел их через ворота в надзирательских мундирах. А теперь как? Большой группой в мундирах не пройти. Что же остается? Подкоп? По словам Дейча, невозможен. Вооруженная схватка у ворот? Охрана может перестрелять. Вероятно, придумали что-нибудь иное...

Тем временем схваченных агентов продолжали свозить в Лукьяновку. Это не случайно - из Киева "Искра", доставленная "путем Дементия", проникала во многие города.

Если схваченных не решатся судить, могут быстро расправиться втихомолку - при помощи царской резолюции.

Не опоздали бы искряки...

И Владимир Ильич каждый день нетерпеливо просматривал письма - из Киева ничего не было. И от Сони тоже не было. Пожимал плечами:

- Странно.

- Может, лежат письма где-нибудь на перепутье, - успокаивала Надежда. - Не сегодня так завтра получим.

- Мы должны все знать, чтобы вовремя помочь.

Прошло больше месяца. И вот однажды среди писем оказалась бандероль, пересланная из Нюрнберга. Этим адресом чаще всего пользовались Кржижановские.

- А ну-ка, ну-ка, что тут? - Владимир Ильич, развернув "Вестник финансов, промышленности и торговли" No 19, похвалил за конспирацию: Умно! - Быстро перелистал и отдал жене. - Проявляй скорее.

На условленной странице Надежда отыскала едва заметную карандашную точку в букве А, где начиналось тайное письмо, и стала нагревать над лампой.

- "Пятого августа. Пишет Клэр", - прочитала первые слова, проступившие между строк журнала. - Почерк самого Кржижановского.

- Значит, поправился. И знакомый псевдоним звучит бодро.

- Клэр в переводе чистый?

- Да. Ясный, светлый, чистый. Таков сам Глебася! Ну, и что он там?

- Дает новые адреса. Просит перед посылкой тайных писем всякий раз присылать невинную открытку на адрес Медвежонка.

- Хорошо! О Маняше попутная весточка! А больше ничего о наших? Значит, еще не вернулись. Август приятный месяц, отдохнут по-настоящему. Продолжай. Не буду больше отвлекать.

Надежда начала переписывать проявленную страницу, а Владимир занялся заметкой, присланной из Нижнего, но через какие-то секунды, оторвав глаза от бумаги, попросил:

- Если встретится что-нибудь важное...

- Да тут все важное. Даже особо важное. Вот хотя бы о судье Ш. Ты догадываешься, кто это?

- Свояк Глебаси, Шестернин, муж Софьи Павловны. И что же он?

- Обещает устроить у себя в Боброве Воронежской губернии хороший склад нашей литературы!

- Вот это новость! А как к нему писать?

- Через Соню. Псевдоним прежний - Руслан и Людмила.

- Напиши сегодня же.

И опять занялись каждый своим делом.

Надежда стала проявлять следующую страницу журнала. Там были строки об Улитке - Зинаиде Павловне, жене Кржижановского. Она ездила в Нижний, по дороге виделась...

- Аркадий цел! - поспешила Надежда обрадовать мужа. - Зина виделась с ним.
- Великолепно! Разъездной действует! А что же в Нижнем?
- Сейчас проявляется строка. Вот: "Там будет помещаться запасная Акулина, которая может быть пущена в ход при первой возможности".
- Молодцы волгари! Надо подбодрить. Не наладят ли у этой Акулины перепечатку "Искры"?
Самарские друзья тревожились о Старухе, у которой опять были большие провалы, и просили непременно прислать адреса для связи. Они сами получили ходы к Старухе, но не знали, "в ту ли группу". В искровскую ли? И в ожидании более надежных адресов и паролей умалчивали, что ходом к Старухе со временем воспользуется Зайчик. Только не нарвался бы на охотников.
А самая волнующая новость, которую Ульяновы ждали уже целый месяц, была на последней странице. Едва разглядев как бы проступающее сквозь дымку слово "Бродяга", Надежда чуть не вскрикнула от радости.
- Слушай, Володя, о Киеве. Туда поехал человек для содействия планам Бродяги! Повез восемьсот рублей!
- А кто поехал? Не пишут? Напрасно. Мы должны знать, кому вверяется судьба наших товарищей.
Владимир прошелся по комнате.
- Восемьсот рублей на девять человек! Не поскупились. И сумели где-то раздобыть. За это стоит похвалить. С такими деньгами в карманах легче скрыться, переменить одежду, приехать сюда... Я думаю, они приедут. Повидаться, отдохнуть, договориться о дальнейшем... Впрочем, не будем загадывать. По-украински не следует говорить "гоп" раньше времени.
Остановившись возле стола, переспросил:
- Из Самары отправлено пятого? По здешнему календарю восемнадцатого. А план у них сложился раньше, и они там не будут терять времени. В таком случае пока шло письмо... - Подушечками пальцев правой руки коснулся лба и тут же протянул ее к Надежде, как бы поднося непреложный ответ. - В таком случае вот-вот предпримут побег. Здешние газеты не преминут тиснуть телеграмму. Будем ждать. Со дня на день...
...В Киеве тоже ждали. Уже второй месяц ответственные за побег члены комитета дежурили в доме на окраине города, откуда был виден мужской тюремный корпус. Перед побегом его участники в условленном окне повесят сушить два полотенца...
Их было уже двенадцать. Кроме одного эсера, все искровцы. Убегут затеянный процесс лопнет, как мыльный пузырь.
На воле для каждого раздобыли носовой платок - липовый паспорт. Каждому передали по сторублевому кредитному билету. Для каждого составили маршрут, приготовили укрытие на первые дни.
Заговорщикам удалось заполучить полупудовый стальной якорь, который они, пользуясь живой пирамидой из участников побега, зацепят за наружный выступ каменной ограды. Им передали также веревку, чтобы беглецы могли спуститься по ней на землю.
В тюремной кладовке, где староста хранил продукты для всех политических, заговорщики из разорванных простыней сделали нечто похожее на веревочный трап, по какому взбираются лоцманы на борт судна. Тринадцать ступенек из разбитого стула. Исподволь они приучили надзирателей к чарочке водки перед каждым ужином и держали наготове порошки снотворного, чтобы в решающий час всыпать в бутылку; под конец распределили обязанности: кто отнимет у часового во дворе винтовку, кто вобьет ему кляп в рот, кто свяжет руки, кто - ноги.
Во время вечерних прогулок, играя в чехарду, научились так ловко вспрыгивать друг другу на спину, что для живой пирамиды у стены им могли потребоваться считанные секунды.
И в тюрьме, и в городе все было готово, оставалось только в удобный час подать сигнал.
Его ждали каждый вечер...
И вот появились в окне долгожданные два полотенца: этой ночью решено бежать!
Наготове встречающие. Надежные кучера ждут седоков. Ждет лодочник на Днепре. Ждут комитетчики на явочных квартирах.
Но едва успели сгуститься поздние сумерки, как в тюрьме защелкали выстрелы, вспыхнул свет во всех окнах. С улицы донесся топот жандармских коней...
Неудача?
Да, как видно, провал.

Для всех ли? Неужели ни один из двенадцати не успел перемахнуть через ограду? Неужели ни одного не осталось в живых?
Прождали всю ночь - никто в назначенных местах не появился.
Погибли? Ранены? Брошены в карцеры?..
В условленном окне белело полотенце. Единственное! И комитетчики вздохнули облегченно: побег был отложен!
Значит, все живы?
А почему стреляла охрана? Почему примчались в тюрьму конные жандармы?..
К концу дня в комитет доставили записку - помешали уголовники, предпринявшие попытку к побегу раньше политических. Есть раненые.
Придется ждать, пока взбудораженная жизнь в тюрьме войдет в прежнюю колею, пока приостынет взбешенное начальство. И пока луна снова будет на ущербе...
Ульяновы не знали о кровавой кутерьме в Лукьяновке. Просто ждали побега. Взволнованно желали друзьям удачи. И ждали встречи с ними в Лондоне.
3
В Мюнхене Вера Кожевникова благополучно закончила работу: выпустила майский номер, отправила тираж с транспортерами. И после небольшого отдыха в Швейцарии приехала в Лондон.
Ее муж сидел в Таганке, дети жили у бабушки, и она рвалась в Россию. И разговор начала с Москвы:
- Говорят, Старухе нужны люди.
- Да, - подтвердил Владимир Ильич и, слегка прищурившись, испытующе посмотрел на собеседницу. - Но там очень трудно.
- Будто у меня нет никакого опыта. Вон Надя помнит еще по "Союзу борьбы"...
- Знаю, Вера Васильевна. А предупредить обязан. Похоже, в Москве орудует дьявольски изворотливый провокатор. Иначе я не могу объяснить бесконечные провалы.
- Но у меня надежная явка.
- Вот как! Уже явку раздобыли! У кого же?
Вера Васильевна принялась рассказывать: в Швейцарии ей посчастливилось встретиться с одним знакомым, который только что бежал из сибирской ссылки. Владимир Ильич, вероятно, его помнит. Это Лалаянц...
- Исаак Христофорович?! Товарищ Колумб? Еще бы не помнить - в Самаре вместе начинали! В Петербурге, в Москве. У мамы останавливался много раз проездом. А вы до сих пор о нем ни слова.
- Да так как-то получилось... - смутилась Кожевникова. - Он просил передать приветы.
- Спасибо. Очень рад слышать о старом друге.
- И я рада, - кивнула головой Надежда.
- А как он выглядит? - Владимир Ильич подался поближе к собеседнице. - Сильно изменился? Ведь прошло семь лет, как мы не виделись. Похудел небось?
- Чувствуется, устал за время побега из Сибири.
Расспросив о друге, Владимир Ильич задумчиво помял бородку.
- Ну что ж... Если явка от Лалаянца... - И кинул взгляд в глаза Кожевниковой. - А не устарела явка? Позвольте узнать, к кому?
- К Анне Егоровне Серебряковой.
Владимир Ильич опять помял бородку и глянул на жену. Та подтвердила:
- Встречается фамилия в нашей переписке.
- Она из нелегального Красного Креста. Помогает всем, кого отправляют в ссылку. Наши транспортеры у нее останавливаются. Анна Ильинична с ней знакома.
- Понятно. - Владимир Ильич опустил ладонь на стол. - Анюта разбирается в людях.
И никто из них не подозревал, что и Лалаянц, снабдивший явкой Кожевникову, в свое время оказался в сибирской ссылке благодаря "услугам" Серебряковой, что и частые московские провалы тоже ее "услуги" охранке.
- Значит, мне можно собираться в путь-дорогу? - спросила Вера Васильевна и шевельнула ридикюль. - У меня и паспорт уже есть.
- Вот какие агенты пошли, даже паспорта сами раздобывают! рассмеялся Владимир Ильич. - И как же вас звать?!

- Юлия Николаевна Лепешинская, родная сестра Пантелеймона! - с торжествующей улыбкой сообщила Кожевникова, не сомневаясь, что уж теперь-то получит согласие на отъезд в Москву. Но Владимир Ильич сказал:
- Посоветуемся. - И после секундной паузы добавил: - Москве крайне нужны наши люди.
- А теперь по чашке чая, - пригласила к столу Надежда.
Накануне отъезда Кожевниковой опять разговаривали втроем.
- Твоей помощницей в Москве будет хорошая девушка - Глафира Ивановна Окулова, - сказала Надежда. - Мы ее знаем еще по сибирской ссылке. Она уже извещена о твоем приезде. Можешь на нее полагаться как на себя. И опыт у нее уже немалый. Псевдоним легко запоминается - Зайчик.
- Любопытно, - улыбнулась Вера. - И приятно.
А приятно было оттого, что этот расхваленный Зайчик может сойти за ее подругу.
- Мы надеемся, - заговорил Владимир Ильич, - Московский комитет будет искровским и на съезд изберет нашего человека, подлинного марксиста. Это для вас программа-максимум. А самое ближайшее - финансовая поддержка. Вы теперь сами знаете, в каких наитяжелейших условиях нам приходится работать. Очень хотелось бы, - лицо его вдруг потеплело, озаренное сердечной улыбкой, - чтобы вы попытались встретиться с Горьким. Ради нашего дела. Скажите, что мы его любим, ценим, восторгаемся его произведениями, его служением пролетариату. В особенности в восторге от "Буревестника", этого гимна борьбы.
Вера, запоминая каждое слово, покачивала головой.
- Ну, и о деньгах, - продолжал Владимир Ильич приглушенно, как бы извиняясь уже перед Горьким за неловкую, но неизбежную просьбу, - заведите разговор. Как-нибудь поудобнее. Вы это сумеете. Он, говорят, в большой дружбе с Федором Шаляпиным. Если тот к нам расположен в какой-то степени, конечно, меньше, чем Горький, возможно, тоже поддержит. А вы действуйте через Горького... Как его найти? Он бывает в Художественном. Там идут его "Мещане". И готовится новая пьеса. Посмотрите спектакль сами. Если это не помешает вашей конспиративности. Или Зайчика отрядите в театр. Нам о Горьком и его произведениях необходимо знать все. - Приподнял палец. Верится, что он пойдет с нами.
Когда стали прощаться, Надежда два раза как бы плюнула через плечо:
- Тьфу-тьфу! Как говорится, ни пуха ни пера тебе, Наташа.
Вера, зардевшись от сердечной теплоты провожающих, порывисто наклонилась и шепнула ей на ухо:
- Как говорится, пошла к черту.
- По-студенчески! - рассмеялся Владимир Ильич, догадываясь о том, что Кожевникова шепнула Надежде на ухо. - А теперь по народному обычаю... - И первым сел на стул.
Проводили Веру до нижней двери. Там Надежда трижды поцеловала ее, а Владимир Ильич стиснул ей руку горячими ладонями.
- Пишите чаще. И обо всем.

4

Еще в Дувре Бабушкин купил карту Лондона, и его внимание привлекло большое зеленое пятно в центре города. Гайд-парк! Вот отсюда он и начнет поиски. Во все стороны. Если дня не хватит, может, удастся заночевать где-нибудь под кустом.
День был солнечный, и на большой поляне отдыхали сотни лондонцев. Одни лежали в полотняных креслах, другие - прямо на зеленой щетке коротко подстриженной густой травы-муравы. Иван Васильевич тоже лег на землю, расстелив перед собой карту. На ней оказалась сетка, и он, передвигая бумажку с адресом, написанным Калмыковой, начал изучать квадрат за квадратом. Но улиц было так много, что карта напоминала паутину, сплетенную пауком, а буквы такие мелкие, что на усталые глаза время от времени набегали слезы. Раньше этого не бывало с ним - в газетах легко читал даже объявления, набранные нонпарелью. Кажется, так типографы называют самый мелкий шрифт. А чужие буковки застят глаза. Наверно, пора ему обзаводиться очками.
Иван Васильевич утирался мятым платком и снова всматривался в паутину улиц. Постепенно обшарил все квадраты, до самых дальних уголков города, но Holford Square не нашел. Начал водить пальцем по второму разу, придерживая его на самых коротких улочках, и тоже не нашел. Возможно, это не улица, а что-нибудь вроде площади или переулочка. Часто

встречаются на карте окончания road. Это, судя по всему, главные улицы. Придется спросить, по какой идти.
По берегам озера, сидя на раскладных стульчиках, дымили сигарами старики в блестящих черных цилиндрах; разодетые старухи перебирали морщинистыми пальцами янтарные четки.
Иван Васильевич с картой в руках шел мимо них, присматриваясь, кого бы спросить. Кто лучше других знает этот громадный город?..
Найти отзывчивого человека оказалось не так-то легко: его не понимали или не хотели понять, и он не понимал брошенные сквозь зубы ответы. Даже не желая взглянуть на бумажку с адресом, ему советовали обратиться к полисмену и провожали ледяным взглядом. Ходят тут всякие, мешают отдыху! Того и жди - попросит денег.
Наконец отыскался бородатый старик с белыми кустиками бровей, с первого взгляда показавшийся хмурым, который взял у него бумажку с адресом, и, нацепив на нос пенсне, улыбнулся из-под усов и ободряюще кивнул головой. И Бабушкин без слов понял: этот район старику знаком, и Холфорд-сквер найти не так уж трудно! Старик принял карту, расстелил у себя на коленях, ткнул в нее указательным пальцем с давно изуродованным ногтем, похожим на птичий коготь, прочертил весь путь, потом встал, повернулся лицом к Оксфорд-стрит и жестами дополнил свой рассказ: нужно идти вниз по этой улице до Грейс Инн-род (он повторил это название), по ней повернуть налево, а с нее направо по Пентонвилл-род. Там Холфорд-сквер любой человек покажет.
Иван Васильевич сложенную карту засунул в карман пиджака и, приподняв шляпу, дважды поклонился старику; быстрыми, легкими шагами направился к Оксфорд-стрит, по которой уже проходил, когда отыскивал Гайд-парк.
Надежда Константиновна возвращалась домой из мясной лавки, где купила бычий хвост для супа. Впереди нее шел мужчина в простеньком пиджаке и шляпе, нахлобученной на уши, посматривал на бумажку в правой руке и на таблички на домах. Приезжий! Первый раз в Лондоне! Похоже, россиянин. Их ищет...
Да, она не ошиблась - повернул на Холфорд-сквер. Где раздобыл адрес? Ведь всем приезжающим они дают адрес Алексеева: так безопаснее и удобнее.
В очертании плеч и во всей фигуре было что-то знакомое. Видала его! Даже много раз. А где? Скорее всего в Питере, еще до ссылки. Столько лет минуло, разве вспомнишь по фигуре.
Взглянув на номер дома, мужчина остановился, сверился с записью на бумажке и недоуменно пожал плечами. Удивлен, что номер квартиры не указан.
Надежда прошла мимо дома и оглянулась. Он стоял на том же месте. Увидев ее лицо, так обрадовался, что нижняя губа от неожиданности слегка приопустилась и блеснули зубы в широкой улыбке.
"Да это ж... это... определенно Бабушкин!.. Но что с его усами? Помнится, были махорочного цвета..."
- Надежда Констан... - У Ивана Васильевича осекся голос, он шепотом извинился, опасливо оглянулся по сторонам. - От радости вырвалось. Приподнял шляпу. - Фрау Рихтер!
- Ничего, товарищ Богдан, - улыбнулась Надежда Константиновна, протягивая руку, - никто не слышал. Здравствуйте!
- Здравствуйте, здравствуйте! А я опасался, что вы меня не узнаете, в этаком-то виде. - Бабушкин тронул усы, а потом волосы возле уха. - Так испохабили краской, пегим стал!
Подошли к двери. Надежда Константиновна постучала молоточком.
- Как вы добрались? Без языка через всю Европу!
- В Дрездене Тетка адресок дала. Велела кланяться.
Послышался частый-частый стук шагов вниз по лестнице, и дверь распахнулась.
- Посмотри, Якоб, кто к нам приехал! - сказала Надежда, пропуская гостя впереди себя.
- О-о! Вот нежданная радость! - Пожав руку гостю, Владимир Ильич подхватил его под локоть.
- Входите, входите, товарищ Богдан!
В комнате, не сводя восхищенных глаз с его лица, засыпал вопросами. Сначала о побеге, о переходе границы, о нелегком пути через весь Европейский материк, потом об Иваново-Вознесенске и Москве.
- Ну, а с семьей не повидались? - спросила Надежда Константиновна, воспользовавшись малейшей паузой.
- Да, о семье, - подхватил Владимир Ильич. - Не завернули в Питер?

- Не рискнул. После побега было очень трудно. - Иван Васильевич сдержал вздох. - Хотя о жене ужасно тревожился. Вот и сейчас...
- Семья у вас! - Владимир Ильич дотронулся рукой до плеча гостя. Как, вы даже не слышали, что у Прасковьи Никитичны, - так, помнится, вашу жену зовут?..
- Эдак! - Иван Васильевич выпрямился на стуле, глаза его засияли. Сын или...
- Дочка! - Владимир Ильич пожал ему руку. - Поздравляю! От всей души!
- Лидочкой звать, - добавила Надежда Константиновна. - Мы написали в Питер, чтобы помогли им.
- Спасибо! - Бабушкин обеими руками хлопнул себя по груди. - Вот радость-то какая!.. А я думал: не приключилось ли беды? Могли ведь Пану в тюрьму упрятать. За хранение нашей литературы. Тайничок-то в Москве был не особенно надежный. Знал, что время-то у Паны подходит, а если в одиночке... Всякое бывает при родах, могла и не вынести. Лидочка, говорите? Праздник на душе!..
- А у нас нет ничего, - проронила Надежда Константиновна. - Ради бы такого случая...
- Я схожу.
Владимир Ильич встал, но Иван Васильевич удержал его за руку:
- Не надо сейчас. Душевное слово всего дороже.
Надежда Константиновна ушла в кухню варить обед, и вскоре даже в столовой запахло керосинкой.
Владимир Ильич сказал, что завтра с утра у него свободные часы и он покажет гостю город. Первым делом они купят цветы и отправятся на могилу Маркса. Бабушкин кивнул головой - он и сам собирался завести разговор об этом.
- Побываем в палате общин, - продолжал Владимир Ильич, - послушаем буржуазных говорунов. Златоустов! Я, как смогу, буду переводить. Потом заглянем в типографию, в дом, где когда-то выступал Маркс, проедем в пролетарский район. Со временем поприсутствуем на каком-нибудь рабочем собрании.
- Все, все интересно для меня. Если это не помешает вашей работе... Да мне бы и самому какую-нибудь немудреную работенку. Долго я не задержусь тут, а без дела не могу.
- Немудреную? - прищурился Владимир Ильич. - А по-моему, вам необходимо заняться именно мудреной работой, к тому же крайне необходимой. И по вашей специальности.
- Что-то не пойму... Слесарем на завод?
- Зачем же слесарем? Стоило ли ради этого приезжать в Англию? Владимир Ильич слегка приподнял указательный палец. - Я имею в виду вашу новую специальность публициста!
- Ну уж, вы... Так громко... Какой же я...
- Не прибедняйтесь, Иван Васильевич, это вам не к лицу. Да, милый человек, не к лицу. Впрочем, вы это сами понимаете.
- Заметки в "Искру" писал, так это...
- После того, как вы в приложении к "Искре" дали блестящую отповедь либеральным народническим брехунам, вы - публицист. Страстный, глубоко принципиальный, партийный публицист! И работа для вас есть благодарная. Уверен - она придется вам по душе. Знаете, с чего начался литературный путь Максима Горького? - снова на секунду прищурился Владимир Ильич. - А вот послушайте. Было это, если мне не изменяет память, в девяносто втором году. Пришел он в Тифлис. Там его приютил один политический ссыльный. Послушав его устные рассказы, положил перед ним стопочку бумаги и сказал: "Пиши. Пока не закончишь рассказ, не выпущу из комнаты". И под этим домашним арестом Горький написал свой первый рассказ "Макар Чудра". Вот и мы последуем этому примеру.
- Но я же... Горького из меня не получится.
- И не надо никакого подражания. Просто вы опишете свою жизнь. Начиная с детства. День за днем. Рабочую среду, участие в кружках, работу агента "Искры".
- Так много...
- Будет хорошо, если получится много. Со всеми подробностями. А у вас получится. Заплатим из партийной кассы. Со временем издадим книгу. Договорились?
- Ну что же... Попробую...
- Не попробуете, а напишете.
Той порой раздражающий ноздри запах керосинки уступил место аромату мясного супа, и Надежда Константиновна пригласила к столу. Гостю и мужу налила в тарелки, а себе в кружку.

Бабушкин похвалил суп, обильно приправленный луком, Владимир Ильич сказал, что давно такого не ел (Надежда, помня о его катаре, редко варила с луком).
За обедом, по-английски поздним, а потом и за чаем вспоминали Питер, Невскую заставу, общих знакомых с заводов Шлиссельбургского тракта...
Была уже ночь, и Бабушкин изредка посматривал на окно, выходившее на едва-едва освещенную Холфорд-сквер. Перехватив его взгляд, Владимир Ильич сказал:
- Жить вы будете в коммуне. Нет, нет, вы никого там не стесните. Там у нас одна комната для приезжих. Я провожу вас. Тут недалеко.
- А не поздно? - сказала Надежда Константиновна. - Может, сегодня и у нас...
- Коммунары, ты сама знаешь, угомоняются далеко за полночь.
- А утрами спят, как актеры. Вы, Иван Васильевич, завтракать приходите к нам. Будем ждать.
Для коммуны была снята на двух этажах квартира из пяти комнат. В одной жила Засулич, в другой - Мартов, в третьей - Алексеев. Четвертую комнату приберегали для приезжих. В пятой, самой большой, была столовая с камином, в котором из-за отсутствия дров и угля еще ни разу не разводили огня, Мартов нередко с сожалением посматривал на него, прищелкивая языком:
- Эх, шашлычок бы!..
И разводил руками: не разламывать же для камина стулья. Владелец дома и без того подозрительно относится к ним - для него австрийским полякам-эмигрантам; даже квартирную плату потребовал за три месяца вперед.
Вот в эту-то квартиру, точнее - в столовую, и привел Владимир Ильич Бабушкина и, едва перешагнув порог, приостановился перед тучей дыма.
- Ну и накурили вы, друзья! Дышать нечем. - Обвел глазами лица жильцов, показавшиеся ему лиловыми. - Принимайте гостя! Вернее, нового товарища по коммуне. - И отрекомендовал: - Иван Васильевич Бабушкин.
Все встали, не гася сигарет.
Бабушкин направился было к Вере Ивановне, чтобы ей первой пожать руку, но к нему мелкими шажками подбежал Мартов и поздоровался широким театральным жестом:
- Несказанно счастлив видеть! Сожалею, что не был знаком в Питере, но хорошо наслышан о товарище Богдане.
- А мне, - протянула узенькую руку Засулич, - очень многое рассказывала о вас Калмыкова, влюбленная в наиприлежного ученика рабочей школы.
- Я что же... - смущенно пожал плечами Бабушкин. - Учился, как все.
- Позвольте и мне засвидетельствовать свое почтение, - слегка шаркнул ногой Николай Александрович; поздоровавшись, подвинул стул от стены к столу. - Садитесь. Рассказывайте. Как там наша Россия?
Бабушкин осмотрелся - пятого стула не было, - и он, считая себя моложе всех, продолжал стоять.
На столе, ничем не покрытом, белели позабытые после обеда щербатые тарелки. Одна из них была так переполнена окурками, что часть их свалилась на столешницу. В чайном блюде сахарный песок оказался смешанным с крошками табака. На полу газетные обрывки, в углу возле двери коробки из-под сигарет.
"Что же они так? - Иван Васильевич слегка пожал плечами. - За собой совсем не прибирают. Будто из тех интеллигентов, которые не могут обходиться без прислуги. А ведь социал-демократы. И Вера Ивановна могла бы по-женски..."
У Владимира Ильича першило в горле от едкого дыма, и он закашлялся. Бабушкин не стерпел:
- Да, братцы, в такой туче можно... рыбу коптить! - Слегка развел руками. - Уж вы, товарищи земляки, извините меня, я привык говорить прямо. - Повернувшись, широко распахнул окно. - Воздух на дворе не сырой, не холодный, простуды не будет. Дыши - не надышишься...
- Мы привыкли к дыму. Но можно и п-проветрить, - согласился Мартов, подошел к гостю, продымленным до густой желтизны пальцем шевельнул конец его новенького галстука. - От вас рассказа ждем, вестей с родины.
- Чем народ живет сегодня? - нетерпеливо спросила Засулич. - В Питере? В деревне?
- Смотря по тому, какой народ. Рабочие живут ожиданием революции. Деревенская беднота бунтует.
- А вы сначала покажите Ивану Васильевичу его комнату, - посоветовал Ленин и, простившись со всеми, ушел.

Через несколько минут Бабушкин, скинув пиджак у себя в комнате, спустился снова в столовую и, поправив рубашку под ремешком, сел к столу и рассказ свой начал с "Русского Манчестера", который знал не хуже любого ткача или красильщика. Слушатели сели вокруг стола и на время забыли о сигаретах.
Дома Надежда спросила:
- Как там коммуна встретила?
- Не коммуна, а вертеп! Но, я думаю, Иван Васильевич все преобразит. Вот увидишь.
5
Приехал Плеханов, и четыре соредактора собрались в коммуне. Там пол был уже вымыт, стол застелен газетами, пыль на подоконнике вытерта, пустые коробки из-под сигарет сожжены в камине. Откуда-то появилось еще два стула, совершенно новеньких.
Пригласив Бабушкина из его комнаты, обсудили планы ближайших номеров "Искры" и "Зари", условились, что с приездом в Лондон делегатов Северного рабочего союза и Питерского комитета, а также знакомого Ленину по Красноярску Петра Красикова, которого ждали со дня на день, создадут искровское ядро будущего Организационного комитета по созыву Второго съезда.
Потом поинтересовались работой Ивана Васильевича. Засулич не без зависти сказала: пишет с утра до ночи! Когда бы ни постучалась к нему, скрипит перо.
- Не перо, а я сам скриплю, - рассмеялся Бабушкин, разгладил усы козонком указательного пальца. - Не знаю, что получится. Хочется поскорее закончить - и домой.
Он принес начало рукописи, положил на середину стола.
- Посмотрите. Стоит ли продолжать...
- Без всякого сомнения, - подбодрил Владимир Ильич. - Продолжать и заканчивать.
Читая быстрее всех, он подвигал листы Плеханову, тот передавал их Засулич, от нее они попадали в руки непоседливого Мартова, топтавшегося за спинкой своего стула.
В начале рукописи Бабушкин упомянул о далекой деревне, со всех сторон окруженной лесами, где он жил до четырнадцати лет. Потом нужда привела его в город, и доля крестьянина-пахаря оказалась до конца непонятной и забытой, очевидно, на всю жизнь. Иное дело заводская, фабричная судьба мастерового - тут все для него понятно и знакомо, близко и родственно. Подростком он поступил в торпедную мастерскую Кронштадтского порта и "в течение трех лет зарабатывал по 20 копеек в день". Листки в то время еще не появлялись в мастерской, но в укромных уголках рабочие уже вели тайные разговоры о заговорах, подкопах и покушениях, упоминали казненных через повешение. Подросток еще многого не понимал, и у него возникали мучительные вопросы: за что казнили тех людей и чего они добивались? Оказалось - лучшей жизни для трудящихся.
Взрослым человеком перебрался в Питер, на Семенниковский завод. Там "не жил, а только работал, работал и работал; работал день, работал вечер и ночь и иногда дня по два не являлся на квартиру".
Бабушкин тревожно перекидывал взгляд с одного читающего на другого: что скажут под конец? Не забракуют ли? Не дадут ли понять, что занялся не своим делом?
У Плеханова шевельнулись широкие брови, Мартов подергал галстук. Ленин, качнув головой, продолжает читать:
"Помню, одно время при экстренной работе пришлось проработать около 60 часов, делая перерывы только для приема пищи. До чего это могло доводить? Достаточно сказать, что, идя иногда с завода на квартиру, я дорогой засыпал и просыпался от удара о фонарный столб. Откроешь глаза, и опять идешь, и опять засыпаешь, и видишь сон вроде того, что плывешь на лодке по Неве и ударяешься носом о берег, но реальность сейчас же доказывает, что это не настоящий берег реки, а простые перила у мостков".
- Ужасно! - Засулич стукнула кулаком по столу. - Куда это ведет? К вырождению!
"Из этого ада поднялся человек!" - отметил для себя Плеханов, а вслух сказал:
- У вас получается совсем не плохо.
- Если пройтись редакторским пером... - добавил Мартов и что-то подчеркнул желтым ногтем.
- Напрасно, Юлий! - возразил Ленин и потряс листами рукописи. Написано отлично! Главное - с деталями, с глубочайшим знанием жизни. В этом ценность вашего труда, Иван Васильевич. - Встал, дотронулся пальцем до пуговицы на его рубашке. - Это великолепно, что вы пишете с утра до вечера. Продолжайте с таким же огоньком, с такими же яркими подробностями о

рабочей жизни. И побольше о кружках, о листовках, которые вы сами писали и печатали. - Пожал руку. - В добрый час!
На следующий день Плеханов пригласил Бабушкина в Национальную галерею, Иван Васильевич, отложив рукопись, охотно пошел с ним, - за короткое время жизни на Западе он должен приобрести знаний елико возможно больше.
Георгий Валентинович любил водить в музеи новичков, внимавших каждому его слову. А его эрудиции, его знаний в области истории искусств хватило бы на десятки экскурсоводов и хранителей музейных сокровищ. Вот и сейчас, переходя от картины к картине, он увлекательно пересказывал античные и библейские сюжеты, использованные живописцами, и при этом следил за тем, насколько внимательно слушает спутник, все ли понимает из его рассказов и волнует ли его мастерство художников. Он говорил и о художественных школах, и о выставках, на которых впервые появилась та или иная картина, и о мазках мастеров пейзажа, и о светотени на портретах.
Бабушкин слушал, не пропуская мимо ушей ни единого слова, и поражался глубине его познаний: если бы не целые эпохи, отделявшие их от создания многих картин, счел бы, что Георгий Валентинович был близко знаком с художниками и временами запросто заходил в их мастерские и видел, как создавались картины.
- Высокое искусство не умирает в веках. Когда-нибудь вам, я надеюсь, посчастливится видеть в Париже Венеру Милосскую или Нику - богиню Победы, которая в Лувре встречает посетителей на лестнице при входе на второй этаж, и вы поймете вечность красоты. Через тысячи лет мы любуемся творениями древних греков, как их современники. И вот хотя бы эта "Мадонна в гроте" великого Леонардо да Винчи. Хотя, надо сказать, перед нами повторение. Первый вариант я видел в Лувре. Здесь кисти самого мастера соседствовала кисть его ученика, но и это превосходно. - Плеханов присмотрелся к картине. - Отдельные детали, насколько я помню, немножко изменены, а общее впечатление то же самое. Сохранен этот талантливо найденный оберегающий жест мадонны. А взгляните на ее лицо. Какое глубокое проникновение в душу матери! Какая прелесть! А ведь создана она более четырехсот лет назад. Пройдут еще столетия, и люди будут очаровываться ею так же, как мы с вами.
И только однажды слова Плеханова вдруг заглохли, пролетели мимо сознания Бабушкина. Это случилось, когда они стояли возле Мадонны Тициана, кормящей грудью сына. Ивану Васильевичу вдруг припомнилась его Прасковья. Быть может, в эту самую минуту истосковавшаяся жена вот так же кормит маленькую, свою единственную отраду. Его дочка вот так же поддерживает грудь матери пухлой ручонкой. Нет, пожалуй, Лидочка еще не может так, она много меньше этого младенца. Когда же доведется увидеться с ними, покачать дочурку на руках?
Плеханов шевельнул бровями, кашлянул:
- Если вас утомил мой рассказ...
- Нет. Отнюдь не утомил. А задумался оттого, что вспомнились жена, дочка...
- Да? - переспросил Плеханов смягченным голосом. - Подлинное искусство не может не вызвать ассоциаций!
И они перешли к следующей картине...
А когда осмотрели всю галерею, Плеханов спросил своего спутника об общем впечатлении.
- Богато! - отозвался Бабушкин. - Только очень уж много о богачах-бездельниках и очень мало о тех, кто трудится. Запомнилась ткачиха за кроснами да еще картина испанца Веласкеса, на которой - помните? задумчивая девушка что-то толчет в ступке, видать - готовится стряпать.
- Веласкеса запомнили - приятно слышать!.. А много полотен о богатых оттого, что спрос порождает предложение. Таков общий экономический закон. Всякий общественный класс вкладывает в искусство свое особое содержание. Подлинным представителем идеи труда и разума, как вы знаете, является рабочий класс, вот он-то и выдвинет новых художников, которые запечатлеют на своих полотнах радость созидательного труда. И мы с вами встретимся с этими художниками. А с Веласкесом, если интересуетесь, постарайтесь познакомиться пошире. Кроме королей у него есть кузнецы и ткачихи.
Остановились у прилавка, за которым старый служитель музея продавал красочные репродукции. Бабушкин купил "Мадонну" Тициана и молча положил во внутренний карман пиджака, на секунду прижал рукой. Плеханов понял - дома подарит жене. Чувство прекрасного живет в душе этого рабочего!

Для прогулок по паркам Лондона Плеханов купил трость с костяным набалдашником. В новеньком, безукоризненно сшитом рединготе с атласными отворотами и в цилиндре, он походил на барина, а его спутник - на мастерового в праздничный день.
Интеллигентного рабочего из России Георгий Валентинович считал для себя находкой и без стеснения отрывал от работы над рукописью: задавая бесчисленные вопросы, проверяя свои представления о современной русской жизни, от которой в его семье так отвыкли, что взрослые дочери в вынужденных случаях с трудом разговаривают по-русски и при первой возможности переходят на французский язык.
Однажды во время прогулки по Риджент-парку Плеханов завел разговор о либералах: стоит ли в борьбе опираться на них и в какой степени?
- А ни в какой, - ответил с маху, как топором отрубил полено, Бабушкин. - Ну, посудите сами, какой от него, либерала, толк для нашего святого дела? Либерал сам каши не сварит, а за стол норовит сесть первым. Нет, Георгий Валентинович, нам не на кого надеяться, кроме как на самих себя да на поддержку деревенской бедноты.
- Сказано с достаточной определенностью, - проронил Плеханов и подумал о собеседнике: "Ленинская непримиримость глубоко пустила корни".
Заговорил об уличных демонстрациях: могут ли они привести в ближайшее время к решительным революционным выступлениям?
- Без всякого сомнения. Вы посмотрите - на улицах красные флаги. Рабочие отбиваются от жандармов и солдат булыжниками! Иногда даже гонят их. А если им оружие...
- Вы считаете, - приостановился Плеханов и даже для пущей важности приподнял трость, едва не касаясь набалдашником груди собеседника, - что нужно браться за оружие?
- Без вооруженной схватки революции не будет. Герои Парижской коммуны говорят нам об этом.
- Азбучная истина. Меня интересует - когда?
- А когда призовет партия.
- Ее нужно еще воссоздать.
- Созывайте скорее Второй съезд. А для вооруженного выступления важно выбрать время. Поспешишь - проиграешь, промедлишь - занесенный кулак ослабеет.
"Все по-ленински, - снова отметил Плеханов. - У него такая горячая голова!"
6
- Димочка провалилась... - Надежда едва сдерживала горячий ком, подступивший к горлу, и письмо дрожало в ее руке. - В Кременчуге, на вокзале.
- В Кременчуге?! Ай, какая непредусмотрительность! - Владимир покачал головой. - Ведь там за ней прошлый раз следили. Могла бы другой дорогой...
- Ты же знаешь Димочку. Риск - ее стихия.
Владимир Ильич пробежал глазами по тем строчкам письма, в которых сообщалось, что Димка арестована с партийной литературой в чемодане и увезена не в Москву, не в Петербург, а в Киев, где, по всем данным, царские башибузуки готовят расправу над добрым десятком агентов "Искры". Если те не успеют совершить побег, то и Димку присоединят к ним. Найдут старое дело: ага, та самая, что была сослана в Вятскую губернию за участие в пресловутом "Союзе борьбы" и бежала за границу!.. А теперь - такие улики. Трудно ей будет сказать что-либо в свое оправдание. Закатают в Сибирь лет на пять. Могут даже больше... Что же делать? Чем ей помочь? Единственное для нее - новый побег. Но как? Ее, несомненно, посадили в женский корпус, и она не сумеет присоединиться к Сильвину и его товарищам...
- Знаешь, Надюша, - отдавая письмо, Владимир тяжело вздохнул, - ни один провал не оставлял такой горечи на сердце, как этот. Ну почему, зная о грозящей опасности, мы не удержали ее?
- Ни муж, ни сын-малютка не удержали. Что же могли сделать мы?
- Напиши в Киев, чтобы позаботились о ней. И сегодня же отправь. Для нее там, сама знаешь, каждый день тягостен.
Надежда ушла. Владимир Ильич снова сел к столу, но, задумавшись, не взял пера. От матери и от Анюты по-прежнему нет вестей. Где они? Лето идет к закату. В такую пору мать привыкла все готовить к зиме. Не могла она дольше оставаться во Франции. По всем расчетам, должна была если не с Аней, то одна пересечь российскую границу. Что могло случиться с ними? Неужели? Нет, лучше не думать об этом. Они где-нибудь в пути. А письма их могли и затеряться...

А через день в английских газетах прочитали: из киевской тюрьмы бежали двенадцать политических заключенных! Такого массового побега еще не бывало! Вот молодцы! И одно из писем в Россию Надежда закончила возгласом: "Ура!!"
А не рано ли кричать "ура"? Беглецы на время затаились где-то в Киеве или его окрестностях, выжидают, пока рыскают в поисках жандармы да шныряют по улицам юркие филеры. А когда тревога поутихнет, беглецы выйдут из укрытий и начнут передвигаться к границе. Не словили бы их вновь.
На следующий день прочитали новую телеграмму: бежали одиннадцать. Только одиннадцать! Если это правда, то что же случилось с двенадцатым? Неужели схватили, когда последним перебирался через тюремную стену?..
...Был воскресный день. Восемнадцатое августа. После обеда в условленном окне появилось два полотенца - этой ночью намечен побег! На воле приготовили квартиры и костюмы для будущих беглецов, у берега Днепра поджидала лодка с продуктами на три дня...
Перед вечерней прогулкой заговорщики поднесли надзирателям по чарочке, но на этот раз подсыпали в водку хлоралгидрата. И единственного часового у стены, который где-то уже успел пропустить рюмаху, тоже уговорили выпить полкружки.
В кладовке кинули жребий. Сильвину попался двенадцатый номер. Последний! И в голове невольно мелькнуло: последнему в таких случаях всегда опаснее. Не опоздать бы...
Перед сумерками небо затянула черная туча, накрапывал дождик, а заговорщики вблизи стены продолжали нарочитую игру в чехарду. Еще несколько минут - и все примутся за дело.
Но неожиданно на тюремном дворе появился помощник смотрителя Сулима, и в игре произошла секундная заминка: неужели все пропало?
К счастью, Сулиму заметили товарищи, оставшиеся в камерах, и затеяли шумный скандал. Непорядок! Почему там бездействуют надзиратели?
И Сулима поспешил в тюремный корпус.
Как только он скрылся в двери, игра в чехарду прекратилась, и по сигналу Баумана каждый из двенадцати приступил к выполнению своей роли. Одни бросились к ограде, другие - к часовому, ходившему возле стены. Вмиг взметнулась живая пирамида. Как в цирке, в три яруса. Верхний заговорщик уже закрепил якорь за наружный край стены.
Четверо свалили часового с такой быстротой, что тот не успел крикнуть. Сильвин сунул ему свитый из носового платка кляп в рот. Папаша выхватил винтовку, но позабыл вынуть из нее затвор, просто отбросил в сторону. Двое других должны были связать руки и ноги, но впопыхах забыли о веревочках в своих карманах.
Тем временем первый беглец взобрался по лестнице и уже, придерживаясь за веревку, скользнул вниз по ту сторону стены, за которой начинался пустырь.
Кляп оказался неудачным, и часовой, все еще прижатый к земле, хотя и глуховато, но крикнул: "Ратуйте! Ратуйте!" - и обеими руками вцепился в лацканы пиджака Сильвина и поверг его в растерянность. Что делать? Напрячь все силы, вырваться из цепких рук часового и метнуться к лестнице? А не поздно ли?..
С гребня стены крикнул одиннадцатый: "Михаил, беги!" Но не так-то это просто бежать последнему, когда в тюрьме уже начался переполох. А чем кончится побег - неведомо. Если схватят, обвинят: душил часового! Не миновать каторги. А если остаться на месте, можно объяснить - отталкивал заговорщиков от часового... В неожиданной суматохе тот мог и не узнать, что это он, Сильвин, втолкнул ему кляп в рот. В крайнем случае часовому можно сунуть в руку ту сторублевую бумажку, которая дана на побег: деревенский парнюга, вне сомнения, соблазнится такими деньгами - это же пять коней в хозяйство! - и не опознает его во время очной ставки...
Моросил дождь. Тюремный двор опустел. Только слышался частый стук каблуков на тюремной лестнице...
Сильвин вскочил и, тяжело дыша, побежал ко входу в корпус. Часовой, придя в себя, схватил винтовку и выстрелил в воздух. В караулке ударили в набат, и солдаты, поднятые по тревоге, уже ломились в ворота, подпертые беглецами.
Сулима, выбежав во двор и заметив лестницу, потряс кулаками:
- Без ножа зарезали!..
В караулке трясущейся рукой крутил ручку телефона. Жандармский генерал Новицкий не отвечал - пировал на свадьбе близкого знакомого.

Беглецы, промокшие до нитки, на время залегли в кустах и оврагах. Их было одиннадцать. Десять социал-демократов и один эсер.
А Сильвин в это время лежал с закрытыми глазами. Ему было стыдно даже самого себя. А если когда-нибудь доведется встретиться с товарищами, которые без секундного колебания перемахнули через тюремную стену? Что он скажет им? Не успел? Но никто не поверит: ведь одиннадцатый торопил его, когда переваливался через гребень стены. Взгляд любого из них обольет его позором: струсил! А трусы революции не нужны!
А начнется допрос... Что он скажет? Ну, тут гораздо легче. Твердо заявит: и не собирался бежать. Просто не успел до этой кутерьмы вернуться в камеру. Зачем ему бежать? Он же знает - за побег отправят на каторгу. Не было расчета. А о замысле беглецов он даже и не подозревал... Успеть бы до допроса сунуть часовому сторублевку...
Но солдат денег не взял и во время очной ставки отказался опознать Сильвина:
- Много их было. Обличил не разглядел...
...В редакции "Искры" продолжали задавать друг другу недоуменные вопросы: сколько же человек бежало? Если одиннадцать, то что случилось с двенадцатым?
И кто он?
Предположительно называли имена бежавших: Сильвин, Бауман, возможно, Басовский с Мальцманом... Блюменфельд по его характеру не мог остаться... А кто еще?
И они не ошиблись: прибыв в Берлин, Блюменфельд дал социал-демократической газете "Форвертс" список всех двенадцати. У Владимира Ильича отлегло от сердца: Бродяга жив! Как это хорошо! Остается только пожелать ему благополучного пути в Швейцарию, где, по словам Блюменфельда, условились собраться беглецы. Если им удастся замести следы и избежать арестов! Вне сомнения удастся! Все они опытные конспираторы.
И они, десять искровцев, собрались у Рейнского водопада в ресторанчике "Под золотой звездой". Они уже слышали, что одиннадцатый это был эсер - схвачен жандармами. А двенадцатый? Где Сильвин? Что с ним? В Киеве через три дня после побега подпольщики уверяли, что ушли все. Но в одной деревеньке урядник, проверяя паспорт Мальцмана, проговорился, что, согласно секретной бумаге, бежало одиннадцать политиков. Если так, то бедняга Сильвин по-прежнему за решеткой. Почему? Не успел? Папаша усомнился, но в ту минуту промолчал.
Погоревав, беглецы заказали три бутылки рислинга и, чокаясь, пожелали Сильвину, если он убежал, благополучного пути в Лондон.
- А генерал-то, вероятно, все еще рвет на себе волосы, - рассмеялся Папаша. - Испортили ему предстоящий юбилей!
- Что ж, можем извиниться, - подхватил Бауман под общий хохот. Послать депешу в стиле письма запорожцев турецкому султану.
- Стоило бы. Но не будем опускаться до резкостей, - сказал Басовский, - а иронически поблагодарим за квартиру и за его недреманное око!
- Пиши! - И все, повскакав с мест, сгрудились возле Папаши.
...Шли дни, Сильвин не появлялся. И Блюменфельд написал из Цюриха в редакцию "Искры": "О ч е в и д н о, о н н е у ш е л... Это было для нас первым ударом... Я уж больше не сомневаюсь в том, что бедный Михаил Александрович почему-либо не мог бежать: а я к тому же еще и уложил его, назвавши (в "Vorwarts") его имя среди бежавших".
Для Владимира Ильича это письмо явилось ударом, и он, перечитывая описание побега, приостановился на строчках: "Тревога (выстрел) раздалась минут через десять после того, как мы перелезли: времени было слишком достаточно".
- Так в чем же дело? - Передал письмо Надежде. - Неужели наш Бродяга, которого мы считали ценнейшим и активнейшим агентом, струсил? Устал? Или... решил отойти?.. Нет, нет, это было бы невероятно. В Шушенском, в Ермаковском он казался непоколебимым. Не так ли?
- Казался... Это верно... - раздумчиво проронила Надежда. - А вспомни его последнее письмо...
- Где он писал, что не только агенты в России, но и мы здесь окружены русскими шпионами и провокаторами?
- Да, то было последнее письмо. Я помню его признание в грусти: дескать, средняя продолжительность политического существования всего лишь два-три месяца.
- Разуверился в успехе?.. Трудно смириться с этим. И до боли горько терять таких людей...

И в письме к Кржижановскому они поделились горечью: "Ужасно обидно и горько, что погиб Бродяга! Никак мы не можем примириться с этим несчастием".
А правда оказалась жестокой: для партии уже в то время Сильвин погиб.
Еще полгода он просидит в тюрьме, затем его, не дожидаясь приговора, отправят в ссылку в Забайкалье, в казачий хутор Шимка, возле самой монгольской границы. Оттуда он при содействии Иркутского комитета совершит побег и доберется до Швейцарии. Но позднее, вспоминая те годы, сам напишет: "Лично я уже стал отходить от движения и потому со временем вообще перестал существовать для Владимира Ильича".
7
Мария Александровна и Анна Ильинична исчисляли время по русскому календарю и рассчитывали вернуться домой к началу сентября.
Они не зря опасались пограничного досмотра - в их чемоданах была перетрясена вся поклажа. Потом Анну увели в отдельную комнату и там дотошная службистка в форме таможенницы бесцеремонно ощупала ее. Тем временем пассажирский поезд ушел, и им пришлось, чтобы не оставаться в опасном месте на сутки, воспользоваться товарно-пассажирским.
Но вот они уже в вагоне, несколько успокоились после волнений, пьют чай и смотрят на поля с их узенькими полосками и унылыми шеренгами ржаных суслонов. Кое-где снопы уже были увезены на гумна, и сельчане, обутые в лапти, цепами вымолачивали жито.
В Минске во время часовой стоянки поезда отправили в Лондон телеграмму. Кроме того, Мария Александровна написала сыну и снохе открытку: едут хорошо, здоровы и благополучны.
А Анюта отправила письмо младшему брату в Холодную Балку возле Одессы. Она не знала, что Митя опять находится под арестом, на этот раз по обвинению в "распространении прокламаций, призывающих крестьян присоединиться к революционному движению рабочих".
"Я так рада русским видам, - писала Анна, - русской речи кругом успела уже соскучиться. Точно корней под собой больше чувствуешь, точно спокойствие какое-то вливается. Все такое домашнее, свое... - Если будут читать жандармы, ни к чему не придерутся. Но, вспомнив таможню, не могла удержаться: - Были правда и другие впечатления, - менее приятные, но они миновали".
А минуют ли неприятности в Самаре? Об этом пока старалась не думать там она пробудет недолго.
Той порой в Лондон приехала Елизавета Васильевна, и Владимир Ильич написал ответ от всех троих:
"Дорогая мамочка! Мы все чрезвычайно были обрадованы, когда получили вашу телеграмму, а потом и твою открытку. Хорошо ли вы ехали дальше? Не слишком ли утомила дорога? Напиши мне, пожалуйста, об этом пару слов, когда отдохнешь и устроишься несколько.
У нас все по-старому. Здоровы все. Погода здесь стоит для осени удивительно хорошая - должно быть, в возмездие за плохое лето. Мы с Надей уже не раз отправлялись искать - и находили - хорошие пригороды с "настоящей природой".
Но тревога не покидала его. Он тревожился за брата и более всего за сестру. Что с ней? Цела ли она? Каждый день спрашивал у Нади письма - она качала головой:
- Путь-то дальний...
А потом, уже не дожидаясь его вопроса, говорила:
- И сегодня нет...
- Да не тревожьтесь вы, - принималась уговаривать Елизавета Васильевна. - Если бы что случилось, дали бы знать.
- Похоже, не хотят волновать на чужбине. Ждут там перемен к лучшему.
- Ну что ты, Володя! - снова вступила в разговор Надежда. - Будто первый раз... Будто не знаешь неповоротливую почту...
- Знаю российскую почту с ее проклятым "черным кабинетом"...
- Марья Александровна издавна приучилась к осторожности, - продолжала Елизавета Васильевна, - ее письмо ни на каком "черном сите" не задержится. Да что там говорить... Сегодня мне мизгирь приснился - будет письмо!
- Вот уж это, мама, смешно слышать...
- Вы оба смеетесь. А я примечала: сбывается! И когда приснится, и когда наяву покажется...
Но и сон Елизаветы Васильевны не пришелся в руку: писем от родных по-прежнему не было.
Прождав двенадцать дней, Владимир Ильич написал матери:

"Что-то уже очень давно нет от вас вестей. Все нет известия, как вы доехали до Самары, как устроились... Где Анюта? Какие вести от Мити и от Марка? Как думаете устроиться на зиму? У нас все по-старому. В последнее время только несколько похлопотливее жилось. Но я теперь больше вошел в колею, зато и больше времени стараюсь проводить в библиотеке".
...Если бы он не выбирал смягчающие слова, написал бы "тревожнее жилось". Вести из России приходили одна хуже другой. В Иваново-Вознесенске схвачен Панин, с которым дружили во время сибирской ссылки. Аркадий, по их совету, успел скрыться из Петербурга, но вот Кржижановская написала из Самары: "Взят Аркадий, нельзя выразить, как это досадно, больно и грустно. Эквивалента ему и Бродяге нет. Эти потери страшно чувствительны".
В особенности больно было терять старых друзей. Хотя пришло много новых работников, но и среди них уже оказались провалы. Необходимо подкрепление. Пока в резерве один надежный человек - Иван Васильевич. Как только закончит свои воспоминания, отправится снова в Россию. Куда? Еще не решил. Порывается в Москву, но рискованно для него.
Бабушкин называл еще Нижний и Петербург. Питер - важней всего. Но и трудней всего. Не только из-за этих окаянных "экономистов" - из-за дьявольски изворотливого Зубатова, который перебрался туда, под крылышко к своему покровителю министру Плеве, и стал начальником особого отдела департамента полиции. Весь сыск в его руках. И все слеповы у него на побегушках. Там нужно ухо держать остро, не делать ни одного неосмотрительного шага. Бабушкину теперь это по плечу. И Владимир Ильич заговорил об этом с Мартовым.
- Ну что ж, - наморщил лоб Юлий Осипович, - он из тех, о которых ты писал в брошюре...
- Бабушкин стойкий марксист. Деловитый, энергичный, хороший конспиратор.
- Энергии ему не занимать... Я, пожалуй... - Мартов мялся потому, что сам не надоумился внести такое предложение. - Пожалуй, не буду возражать.
- Вот и отлично! Я уверен, что мы не ошиблись в выборе главного агента для Питера. Он сумеет там войти в комитет. Тогда будет обеспечена победа при выборе делегата на съезд.
- Не будем загадывать, - жестко заметил Мартов. - Они решат там сами. Питерцы политически взрослые.
Владимир Ильич кинул на него быстрый и недоуменно-пронизывающий взгляд. Какие питерцы? Они же разные. Кроме Вани есть еще Маня. А делегатом на съезд от Питера нам нужен, нам совершенно необходим такой человек, как Иван Бабушкин. Тогда победа будет за искровской линией.
Подумав так, Владимир Ильич сказал с легкой усмешкой:
- Сами-то, сами, но... не все с усами!

8

Прибыли беглецы, и в квартире Ульяновых стало так шумно, что Надежда Константиновна в одном из писем Ленгнику в Киев написала: "Сейчас у нас невероятное столпление народов, так что написать вообще не могу, напишу в следующий раз". Елизавета Васильевна с утра до вечера почти беспрерывно кипятила чай.
А в коммуне еще шумнее, и хозяин дома потребовал, чтобы жильцы освободили квартиру. Пришлось срочно подыскивать другое жилье.
Владимир Ильич часами разговаривал то с одним, то с другим. В особенности продолжительными были беседы с теми, кто горел желанием немедленно вернуться на родину. С ними шел разговор о явках и паролях. Надежда Константиновна давала им для переписки промежуточные адреса в России и за границей, записывала себе в тетрадь.
Папаша взялся создать искровский склад литературы в Швейцарии, Басовский обещал восстановить "путь Дементия" и вскоре отправил в Киев двенадцать пудов.
Беглецы рассказывали о Димке. Сидит она в женском корпусе Лукьяновки. Связь с ней поддерживали через надзирателей. Ей хотелось присоединиться к беглецам, но пробраться на двор мужского корпуса было невозможно. И Димка просила передать, что она все равно убежит, хотя реального плана у нее пока еще нет. Да и будет ли? После такого многолюдного побега режим в тюрьме стал строгим. Помощника смотрителя Сулиму отдали под суд.
Владимир Ильич всех расспрашивал об Аркадии. Ему отвечали: нет, в Лукьяновку Радченко не привозили.
Тем временем пришла радостная весть - Аркадий цел и зовется теперь Касьяном. Надежда Константиновна сообщила ему новые явки, новые промежуточные адреса для переписки и новый шифр.

С особой радостью Ульяновы встретили Грача и долго расспрашивали: его рассказы о москвичах, оказывавших содействие подпольщикам, могли пригодиться для Кожевниковой, которую они именовали Наташей, и для Глаши Окуловой.
Бауман любил искусство, восторгался Художественным театром и, рассказывая о новых спектаклях, о которых, правда, знал больше понаслышке, упомянул, что и там, среди актеров, у них есть надежные люди, которые в случае крайней нужды помогут укрыться от шпиков.
- У меня записан адрес артиста Василия Ивановича Качалова, - сказала Надежда Константиновна. - Мы уже кое-что посылали для передачи.
- Можно положиться, - сказал Бауман. - Надежный человек. И есть там одна актриса, связанная с подпольщиками, я передавал для нее "Искру".
- "Искру" в Художественный театр?! - живо, с огоньком в глазах, переспросил Владимир Ильич. - Это любопытно! Это очень важно, когда наше слово проникает даже в среду людей искусства! Расскажите, батенька, поподробнее.
- Передавал не столько для нее самой, сколько через нее для Горького.
- Вот это вдвойне, втройне интересно! Мне, между прочим, так и думалось: "Искра" должна найти отклик в сердце Горького. Так кто же эта актриса?
- Андреева. Мария Федоровна. Может, доводилось в печати встречать фамилию?
- Конечно, доводилось. И многократно. Из всех русских театров нам, Владимир Ильич перекинул взгляд на жену, - более всего хотелось бы побывать в Художественном.
- Увы! - вздохнула Надежда. - Это будет возможно только после революции.
- Ничего, подождем, - улыбнулся Владимир Ильич и снова повернулся к Бауману: - Мы читали о большом успехе пьесы Горького "Мещане" - впервые вышел на сцену машинист паровоза! - Коснулся руки собеседника. - Мы немножко уклонились. Расскажите подробнее об Андреевой и ее окружении. Она вне подозрений? Шпики за ней не таскаются?
- Думаю, что не посмеют. Мария Федоровна вхожа, - Бауман, рассмеявшись, поправил усы, - во дворец великого князя, московского наместника, и его жена, сестра царицы, написала ее портрет!
- И такая актриса с нами! Феноменально! Главное - путь к Горькому. Вот о чем мы давно мечтали.
Владимир Ильич потер руки, встал, сделал несколько шагов в сторону открытой двери в соседнюю комнату и с неугасающей улыбкой на лице попросил:
- Елизавета Васильевна, нельзя ли нам ради такого случая еще по чашке горячего чая?
- Будет, будет чаек, - отозвалась Крупская, появляясь на пороге комнаты, и теплая улыбка разлилась по ее лицу. - Ради такого дела - с превеликим удовольствием! Я как раз свеженького заварила.
- Вот спасибо! А для этой чудесной женщины, - Владимир Ильич повернулся к Надежде, - и псевдоним готов: Фе-но-мен! Согласны? Так и запомним. А вы, Николай Эрнестович, при первой возможности скажите об этом Марии Федоровне. Такими людьми нужно дорожить. И беречь их.
Бабушкин принес свою довольно объемистую рукопись.
- Вот, - сказал, передавая Владимиру Ильичу из рук в руки, - до отъезда из Екатеринослава все описано.
- Отлично! А на продолжение бумаги не хватило?
- Бумага-то осталась. Но, - Бабушкин прижал правую руку к груди, невмоготу мне здесь. Домой пора, сердце зовет.
- Понятно. Я бы тоже с большой радостью.
- Вам пока нельзя. А когда настанет последняя схватка, позовем. Власть брать для всего рабочего класса.
- Спасибо, Иван Васильевич! - Ленин рубанул воздух взмахом кулака. Всем чертям назло, доживем до этого часа!
- Я тоже думаю, поборем царскую нечисть.
- Ну, а как будете зваться?
- Для вас в письмах по-женски, - Бабушкин прикрыл рукой усы, Новицкой. Если нет другой такой?
- Нет, - подтвердила Надежда. - А что это вам припомнилась вдруг фамилия жандармского генерала Новицкого?

- Так уж вышло... Вроде сестры старого дьявола! А паспорток какой уж изладите.
- Есть один добрый. На имя страхового агента Шубенко. Из крестьян Полтавской губернии. Годится?
- Из крестьян - подойдет. Я и по-украински немного могу говорить.
- Только с уговором, господин Шубенко, - Ленин шутливо хлопнул его по плечу, - писать нам елико возможно чаще. А биографию себе на всякий случай за дорогу придумайте подробную.
Вечером, прочитав рукопись Бабушкина, Владимир Ильич сказал жене:
- Береги! Золотой он человек! Действует упорно и целеустремленно. Из таких рабочих-передовиков выкуются крупные партийные работники. Ты знаешь, либералы болтают, что наша партия будто бы "интеллигентская". Вот яркое доказательство - воссоздаем подлинно р а б о ч у ю марксистскую партию. Я очень рад, что он пожил здесь, у нас.
- Отдохнул немножко...
- Отдыхать он не умеет. Доказательство - эта рукопись. А важно то, что Плеханов увидел, какие люди составляют костяк нашей партии.
Через день Владимир Ильич проводил Бабушкина на вокзал. Крепко пожимая руку, задержал на нем жаркий взгляд.
- До скорого свидания! Надеюсь, будущей весной. Здесь же, в Европе.
Он не сомневался, что Иван Васильевич сумеет войти в Питерский комитет и приедет делегатом на Второй съезд партии.
Но жестокая, труднейшая судьба российского революционера сложилась иначе. Им не доведется больше вот так же горячо пожимать руки и смотреть в глаза друг другу.
Иван Васильевич изведает и суровые морозы Верхоянска, и радость вооруженного восстания, и восторг коротких дней торжества Читинского Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. В январе 1908 года он повезет в поезде из Читы в Иркутск оружие восставшим рабочим и на станции Мысовая под именем Неизвестного погибнет от залпов карательной экспедиции барона Меллер-Закомельского.
Пройдут годы, и Владимир Ильич, узнав о его кончине, в некрологе назовет этого, казалось несокрушимого, борца за дело революции крупным партийным работником, народным героем и гордостью партии.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Горький сидел на мягком пуфе посреди гостиной Желябужских. Мария Федоровна, как гример, обошла вокруг него и попыталась надеть рыжеватый парик, принесенный из театра. Парик оказался тесен и не прикрывал волос на затылке. Мария Федоровна взяла ножницы и лязгнула ими возле самой головы. Только шутливо. Разве могла бы у нее подняться рука на его волосы? Отбросила тесный парик на стол.
- Нет, при вашей известности так нельзя. Вы не представляете себе, сколько в Москве филеров. Больше, чем собак!
Волнуясь, только теперь вспомнила, что встреча Горького с агентами "Искры" назначена в квартире дантистки, а вспомнив, обрадовалась:
- Все же очень просто себе представить: у вас болят зубы. Из-за этой окаянной зубной боли вы будто бы несколько ночей не спали, не могли ничего есть, у вас ввалились глаза. Я могу положить грим, синеву под глазами.
- Не надо. Актера из меня не получится.
- Вы же такой приметный. Я боюсь за вас...
- Мария Федоровна! - Горький поймал ее горячую руку, поцеловал. Голубушка, милая! Я не из трусливых. И к бегункам за спиной привык.
- Теперь, накануне премьеры... Нет, нет, предпримем все предосторожности. И вы туда не должны привести "хвоста". Потому я и посылала за каретой... Я так волнуюсь, без провожатого не отпущу. Если бы не спектакль, сама бы проводила до квартиры и подождала бы в карете.
Горький вскинул на нее глаза:
- И не побоялись бы?..
- Чего? Что люди скажут?.. Ну, вы меня еще совсем не знаете... Я же, - задорно хохотнула, - сопровождала бы больного...
Мария Федоровна принесла из будуара ваты и теплый платок, повязала Горькому щеку.

- Вот так и поедете. И на обратную дорогу попросите повязать. Вспомнила его широкополую шляпу, что висела в передней. - В вашей шляпе рискованно...
Вернулся провожатый, сказал, что карета у подъезда.
Мария Федоровна попросила у него шляпу.
- Немножко тесновата. Ну и голова же у вас, Алексей Максимович! Помяла шляпу в руках, надела набекрень. - Больному можно так. А вам, повернулась к провожатому, - Захар одолжит свой картуз.
Накинув шаль на плечи, проводила до передней.
- А оттуда прямо в театр, - попросила Горького. - А то буду волноваться...
У нее вмиг озябли руки. Закутывая их уголками шали, она скрылась за тяжелой бархатной портьерой.
...В первый же день после приезда в Москву Вера Васильевна Кожевникова направилась в Проточный переулок. Позвонила у дверей с медной табличкой "Серебряковы". Открыла сама Анна Егоровна, нарядная, недавно завитая.
- Борис просил вам кланяться, - сказала Вера, назвав одну из кличек Виктора Носкова.
- Да?! - обрадованно переспросила Анна Егоровна. - Как здравствует наш путешественник?
- Катается на яхте по Цюрихскому озеру.
Все сказано так, как было условлено.
- Входите, душа моя! - Анна Егоровна широко распахнула дверь. - Рада доброй весточке!
- И еще просил кланяться Колумб, - сказала Вера об Исааке Лалаянце.
- Вдвойне радостно! А мне не удалось повидать его после побега. И где же его фрегат?
- Бросил якорь в Женеве!
- Молодец! Ни тюремные стены, ни ссылка не в силах удержать наших героев!
Серебрякова взяла гостью за руки, как давнюю приятельницу, о которой соскучилась.
- Проходи, милочка моя, в комнату. У меня как раз самовар вскипел. Чайку попьем, поговорим... У тебя есть ли где голову приклонить, отдохнуть с дороги? У надежных ли людей?
- У вполне надежных, - ответила Вера, но по конспиративной привычке даже Анне Егоровне адреса не назвала.
Подвинув гостье чашку чая, изящную плетеную хлебницу, масло и вазочку с вишневым вареньем, Серебрякова принялась расспрашивать об Ульяновых как об общих знакомых. Кожевникова, назвавшаяся - по паспорту - Юлией Николаевной Лепешинской, сказала, что в Лондоне им живется лучше и безопаснее, чем в Мюнхене.
- Я об Аннушке соскучилась! - сказала Серебрякова, прижимая руку к пышной груди. - Словно целый век не видалась. Раньше-то она бывала у меня частой гостьей. Здорова ли? Смогла ли отдохнуть летом?
Не подозревая ничего недоброго в таких дотошных расспросах, Вера рассказала и об отдыхе Ульяновых в Бретани, и о том, что Елизарова с матерью должна была вернуться в Россию, и что Владимир Ильич волнуется, удалось ли им благополучно миновать пограничный пункт. Анна Егоровна сделала вид, что все принимает близко к сердцу, и обещала через надежных людей навести справки о Марии Александровне и Анне Ильиничне. Потом принялась упрекать: плохо работают транспортеры - москвичи все лето не видели ни "Искры", ни "Зари" и о брошюре Ленина "Что делать?" знают только понаслышке. Москва буквально голодает без искровской литературы. Пусть гостья напишет об этом, поторопит. Пусть скорее отправляют сюда транспорт.
Вера спросила, как ей отыскать Старуху.
- Ох! - Анна Егоровна скорбно закатила глаза. - Наша прежняя Старуха уже коротает дни в Сибири, а к молодой я сама еще не знаю путей. Но все разведаю и денька через два скажу тебе, милочка моя, - погладила руку гостьи потной ладонью, - как найти новую Старуху. Я понимаю, как это важно для "Искры", - им же там нужно все знать о своих соратниках, товарищах по святому делу.
Последние слова Вере показались слащавыми, но она была склонна извинить это заботливой собеседнице, так участливо встречающей посланцев "Искры". Не зря Носков дал явку к ней, уж у него-то глаз острый и наметанный, он не ошибается в людях.
- А если, не дай бог, кого-нибудь из наших схватят ироды, ты сразу ко мне, - сказала на прощанье Анна Егоровна. - Я помогу облегчить пребывание в тюрьме. Через Красный Крест.

Проводив гостью, она задумчиво уронила руки на стол. Что ей делать? Завтра воскресенье, день неприсутственный. Да и нельзя ей даже близко проходить возле "присутствия". А очередная встреча с полковником Ратко, занявшим место Сергея Васильевича, состоится только через два дня. За это время делегатка "Искры" бог знает что может натворить. Чего доброго, повидается с такими злодеями, о каких Охрана и понятия еще не имеет; самостоятельно найдет путь к Старухе, на след которой филеры еще не напали. А самое главное - нужно предупредить, чтобы ей, назвавшейся Юлией Лепешинской, позволили погулять по Москве, а потом взять голубушку где-нибудь подальше от нее, Анны Серебряковой, чтобы по-прежнему не пало на нее ни малейшей тени. И ниточку для проследок надо дать похитрее...
А Вера Васильевна 15 (2) сентября отправила в редакцию "Искры" через Берлин свое первое, довольно горестное сообщение:
"Чувствую, что страшно виновата перед Вами, но абсолютно не имела возможности писать, так что не очень ругайте за мое молчание. Я здесь всего три дня, нет, четвертый, и из них 3 праздника были, что для меня очень скверно; надеюсь, что сегодня вечером или завтра найду себе собственный угол и смогу распоряжаться сама своей особой. Проклятый город, бегаю с утра до вечера, и все без толку. Всего хорошего.
Н а т а ш а".
Но письмо побывало в "черном кабинете", где с него сняли копию.
Вера напишет еще двадцать писем, отправит их не только через Берлин, но и через Нюрнберг, Лейпциг и Льеж, но восемнадцать из них предварительно будут прочтены жандармами и только два прорвутся в Лондон незамеченными.
Через несколько дней Серебрякова дала ниточку для начала проследок, и в охранке завели "Дневник наблюдений за Ю. Н. Лепешинской". Филеры стали ходить за ней по пятам, оставаясь незамеченными. 8 октября они записали:
"Лепешинская в 5 часов 10 минут дня вышла из дома Курагиной... На Арбатской площади села на извозчика, поехала к Страстному монастырю, где была утеряна. Спустя 35 минут она пришла в дом князя Горчакова по проезду Страстного бульвара, в квартиру No 5, в коей проживают..."
Первой из жильцов этой квартиры филеры назвали зубного врача Клару Борисовну Розенберг...
Карета остановилась у Страстного монастыря, обнесенного кирпичной стеной, серой от времени и кое-где поросшей лишайником. Со стороны проезда Страстного бульвара она была многократно залеплена разноцветными листками объявлений, написанных тушью и цветными карандашами. Провожатый шел возле стены, присматривался к объявлениям, пока в нижнем правом углу одного из листков не заметил крошечный синий полумесяц; успокоенный, вернулся к карете и шепнул Горькому:
- Можно ехать.
У подъезда помог "больному" выбраться из кареты, а кучеру сказал, чтобы тот ожидал в сторонке, возле монастырской стены.
После условного звонка дверь открыла сама дантистка, успевшая снять белый халат, молодая женщина с подстриженными и слегка завитыми волосами, улыбнулась с нарочитым удивлением:
- О-о, какой больной!.. А у меня уже приемные часы кончились.
- Вот и хорошо, - прогудел Горький, оттягивая теплый платок от уголка рта.
- Значит, от одного моего вида зуб перестал болеть! - рассмеялась дантистка. - Дайте-ка я вам помогу освободиться. Ну и закутали же вас! Можно сказать, перестарались.
Тем временем в переднюю вышел Теодорович; здороваясь, невнятно назвал свою кличку и чуть слышно добавил:
- Здесь вполне безопасно. А на всякий случай есть черный ход. Мы все в сборе. Все горят нетерпением видеть вас.
- Что же на меня смотреть? Я не балерина! - пробурчал Горький: отстраняясь от услуг, снял пальто и, повернувшись к вешалке, покосился на две фуражки и две простенькие шляпки. - Кто же это все, позвольте спросить? Я приехал к Наташе и к ее подруге.
- Здесь еще Старуха...
- Вон что! - Горький погладил пышные усы. - И до Старухи весть дошла! Так и быть, не возражаю.
Дантистка исчезла в глубине квартиры. Теодорович провел Горького к ее кабинету, а сам вернулся в переднюю, на свой пост.

Навстречу вышла круглоглазая, пышноволосая женщина в строгом темно-синем жакете, похожая на учительницу, назвалась Наташей. За ней стояла сероглазая девушка в белой блузке, с копной светлых, почти льняных волос. Горький понял - это Зайчик. А в глубине кабинета сверкнул стеклами пенсне молодой человек, вероятнее всего - студент, с черными усиками и курчавой бородкой. "Настоящая или приклеенная?" - спросил себя Алексей Максимович, глядя на розовые юношеские щеки.
- Старуха, - назвался тот, пытаясь стиснуть крепкую руку писателя.
- Рука у Старухи сильная! - отметил Горький и, озорновато улыбнувшись, спросил: - А двухпудовой гирей креститься можете?
- Не пробовал...
- У нас на Волге крестятся. Силы, знаете, добавляет.
Молодой человек, кашлянув, выпрямился, как солдат перед офицером; пенсне свалилось с его тощего прямого носа, повисло на шнурке, он прицепил его на прежнее место и, еще раз кашлянув, заговорил сбивчиво, словно ему что-то мешало в горле:
- Дорогой Алексей Максимович, меня просили... Нет, мне поручили товарищи от них... От социал-демократов... Одним словом, от Московского комитета... Мы все вас любим и ждем...
- Это куда же вы меня ждете? - спросил Горький, недовольно кашлянув. - Я ведь только писатель. Речи говорить не люблю и не умею.
- И я, извините, не оратор. Я больше насчет прокламаций...
- Сами пишете или распространяете?
- Больше последнее. А Московский комитет поручил приветствовать...
- Не надо. Не надо славословий, - замахал руками Горький. - Давайте лучше сядем.
У Глаши горели глаза, и ей хотелось похлопать ладошками: "Как он славно осадил! От пустых речей проку нет".
Молодой человек, окончательно смутившись, сел на стул в уголке зубоврачебного кабинета и провел по лбу носовым платком. Горький выждал, пока сели женщины, и опустился на стул спиной к высокому креслу бормашины и, всматриваясь в молодого человека, уверил себя: "И усы, и бородка у него настоящие. И у того в передней вроде настоящие".
Горький представлял себе, как нелегко и непросто после бесчисленных арестов, после зубатовского развращения отсталых рабочих воссоздать Московский комитет, но он не мог не упрекнуть молодого человека после его неловких выспренних слов:
- Позвольте вас спросить, товарищ Старуха, почему у вас в Москве целое лето нет "Искры"?
- Нам почему-то не доставили...
- А вы сидели и ждали, когда вам поднесут на блюдечке? Непорядок.
Про себя отметил: "Наши комитетчики посильнее и посмелее, особенно сормовские. С рабочей закалкой". И продолжал:
- Волгари собирались поучиться у вас. А вы Москву оставляете без "Искры". Вам не доставили, а вы молчите. Не съездили за ней. Вы лишились будем считать, временно - Грача, так надо же так действовать, чтобы охранники и жандармы содрогнулись: грачата в Москве расплодились!
"Поделом Старухе! - Глаша, чтобы нечаянно не ударить в ладоши, зажала руки между колен. - Мы с Наташей больше недели бегали по всей Москве, пока отыскали его. Даже Анна Егоровна и та не могла помочь. Одни явки испортились, к другим пароля не знаем. Чуть не провалились сами".
- Мы работаем недавно. И мы наверстаем... Даю слово от всего комитета.
- Вот это хо-ро-шо! Питеру да Москве пора стать запевалами.
- Здесь работать очень трудно...
"В этом он прав, - согласилась Глаша. - Провокаторов да шпиков тьма-тьмущая! И то надо понять: из Москвы выслано да сослано, говорят, двадцать две тысячи. Лучших людей! Студентов и рабочих! Оттого и положение плачевное. А эти парни, комитетчики, - наши, искровские. Мало их - будем вместе искать подмогу на заводах, хотя там и гадят треклятые зубатовские общества".
- А когда трудно, у человека силы прибавляются, - сказал Горький. Человек должен идти к своей цели через все трудности. Понадобится помощь наши волжане не откажут в ней.
Теодорович, не входя в кабинет, плотнее прикрыл двери.

- Приезжайте, - продолжал Алексей Максимович, - присылайте надежных людей. Да что я говорю? У вас же тут такая сила! - Взглянул на Наташу и на Зайчика. - Такие делегаты от партийной газеты. Нам бы таких в Нижний да в Сормово.
Вера Васильевна, почувствовав себя неловко от неожиданной и, по ее мнению, незаслуженной похвалы, перевела разговор на журнальчик Струве "Освобождение": читал ли его Горький?
- Имел неудовольствие познакомиться с сим пакостным изделием, поморщился Алексей Максимович. - Точнее - с первым номером. И с меня, знаете, хватит. Пресный пирог. Тесто неуквашенное... Мастеровая Русь кричит от гнева, берется за булыжник, пока единственное свое оружие, а ей, видите ли, пытаются сунуть в руки пакостный журнальчик. Да от него здравомыслящий либерал и тот отвернется. Право слово! А рабочих, - Горький погрозил пальцем, - как старых воробьев, нелегко на мякине провести.
- А социалисты-революционеры, как по-вашему, пользуются каким-нибудь вниманием в массах? - спросила Вера Васильевна.
- В массах - нет. Им же нужны "герои"! - усмехнулся Горький и про себя подумал: "Для меня достаточно домашней сторонницы "героев"; поправив усы, принялся рассказывать: - Посмотрите ледоход на Волге. Вот плывут настоящие льдины. Крепкие. Одна о другую звенят. Идут напором. Любую преграду сокрушат, сомнут. И есть между ними пена. С виду - та же льдина. А ступи на нее - провалишься. Никакой тебе опоры. И громогласные социалисты-революционеры - пена. Обопрешься на них - утонешь. И газетки их не годятся в спасательные круги. Вот так-то.
Глаша, пунцовая от восторга, не сводила с него глаз. Не каждой девушке из далекой сибирской деревеньки посчастливится видеть живого Горького, писателя, поднявшегося благодаря своей гениальности, - нет, она не боится употребить это слово, - и своего исключительного упорства с жутких низов жизни и подарившего не только русским читателям, а всему миру такие яркие, бессмертные книги. И перед ее мысленным взором прошла вереница живых людей, с которыми писатель где-то встречался. Тут и Макар Чудра, и Челкаш, и старуха Изергиль, и смелый Данко, осветивший людям путь своим вырванным из груди и, как факел, пылающим сердцем, и вольнолюбивая Мальва, и выломившийся из своего круга Фома Гордеев. Перед ней сидел и с ними так запросто, душевно и взыскательно разговаривал Буревестник революции, и она про себя произнесла: "Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный". Была бы она актрисой, читала бы эти стихи каждый день людям. Хоть двум-трем человекам, хоть перед тысячами слушателей. Этот гимн революции должны знать все. Брату Алеше повезло прошел по конкурсу в школу Художественного театра. Это его призвание? Будет режиссером, актером? Нет, пожалуй, этого для Алешки мало. Его призвание, еще не проявившееся в полную меру, - революция. Это зерно заронили в их сердце политические ссыльные в далекой Минусинской долине, заронили всему окуловскому выводку... Но хватит отвлекаться. И без того пропустила мимо ушей что-то важное из слов Горького об "Искре".
А он уже говорил о великом деле воссоздания марксистской партии рабочего класса:
- Ваша организация, я чувствую, самая крепкая, солидная, верная. Право слово! Мое сердце на вашей стороне. Считайте меня своим. Так и напишите в редакцию. И вы можете, если сочтете нужным, дать мне в наш Нижний самое ответственное поручение.
"Он не боится рисковать, - отметила для себя Кожевникова. - Но он нужен партии не для какого-то единовременного поручения в Нижний Новгород, а для больших дел. Ильич говорил: его надобно беречь". Вслух сказала:
- Того, что вы наш сторонник и согласны поддерживать наше дело, для "Искры" достаточно.
- Буду поддерживать в полную меру своих сил и возможностей.
- "Искре" живется трудно. Транспортеров нередко схватывают на границе, письма, несмотря на промежуточные адреса, попадают в руки жандармов...
- Вот об этом я как раз и хотел с вами поговорить, - подхватил Горький. - Есть надежная связь - голубиная почта! Издревле и многократно проверенная! Завести бы вам голубятню. Хо-ро-шее дело!
Глаше нравилось его ярко выраженное волжанское оканье. "Слова-то какие у него! Говорит - будто их на полочке расставляет!"
Молодой комитетчик чуть заметно пожал плечами: "Голуби?! Что-то непродуманное... Хотя и предлагает Горький".
А он не отрывал глаз от Наташи:

- Если надумают ваши товарищи в редакции, я мог бы из Нижнего доставить преотличных голубей! Никакая граница не задержит. Никто не остановит. Через всю Европу стрелами пролетят!
- Спасибо, Алексей Максимович... Но у "Искры" есть еще одна большая и неотложная нужда.
- Понимаю. - Горький погладил усы. - И обещаю содействовать. Только нужно, чтобы ко мне являлся ваш надежный человек. А то, знаете, приходят разные самозванцы, просят вроде бы на революцию, а гарантий нет.
- У нас будут гарантии. И будет надежный человек.
- Добро. Добро. Я могу и от себя... И есть тут состоятельные люди, с которых для "Искры" можно и не грешно взять. Ну, а уж вы, - с ободряющей улыбкой кивнул в сторону комитетчика, - и со Старухой поделитесь. Она небось тоже нуждается в деньгах.
- Поделимся, - заверила Наташа.
Молодой комитетчик понял, что он будет стеснять всех троих во время практического разговора, и стал прощаться, напомнив, что расходиться полагается поодиночке. Горький сказал ему:
- Не оставляйте, братцы мои, Москву без пламенной газеты. Присылайте человека - наши поделятся.
Он говорил с такой уверенностью потому, что не так давно сам раздобыл для Нижегородского комитета несколько ящиков шрифта. Через какую-нибудь неделю подпольная Акулина начнет печатать большие листовки и, быть может, перепечатает наиважнейшие номера "Искры".
Когда остались втроем, Горький достал бумажник и извлек оттуда все, что было там.
- Тут что-то около четырехсот рублей. Вы уж извините. Это на первое время. Вообще же я могу тысяч пять в год. От себя. И от других добудем. Сдерем с богатых! Право!
Уговорились - паролем к нему будет: "Я от вересаевской Наташи", а его псевдоним для "Искры" - Буква. Приходить к нему будет Зайчик. А на всякий недобрый случай Зайчик оставит наследника или наследницу.
- В Москве встречаться нам с вами, Зайчик, лучше всего в Художественном. В артистической ложе. Можно через две-три недельки, когда я снова появлюсь здесь. У меня тут, знаете, идут репетиции.
- Я читала анонс - "На дне". Вот бы посмотреть!
- Обещаю контрамарку. И вам, Наташа.
- Для нас рискованно. Хотя я не удержалась и уже смотрела ваших "Мещан". Впечатление огромнейшее! Спасибо за машиниста Нила!
- И у меня в Художественном брат, - сказала Глаша. - В школе у них учится. Всегда поможет пройти.
- Добро. Добро, коль есть там свой человек. Обо мне через него можно всегда узнать у актрисы Андреевой. У Марии Федоровны.
Прощаясь, левую руку подал Зайчику, правую - Наташе и, глядя в глаза то одной, то другой, сказал полушепотом:
- Владимиру Ильичу, главному редактору, нижайший поклон!
- Вы знаете, что в "Искре" главный он? - удивилась Вера Васильевна.
- Кто же еще, кроме Ленина? Нет другого вождя у российского пролетариата. Я лишь недавно прочел его "Развитие капитализма в России".
- У нас написано! - встрепенулась Глаша. - В Сибири. Во время ссылки.
- Это для меня новость! - сказал Горький с некоторым удивлением. - И там наш Волгарь не терял времени. Великолепная, знаете, книга! Гениальный труд! Сама правда русской жизни! - И про себя закончил: "Повидаться бы с ним. Поговорить по-свойски..."

2

Глаша вышла последней. Она была в черной ротонде с узеньким колонковым воротником, в серенькой шляпке, с которой ниспадала легкая, как паутинка, вуалетка.
У Страстного монастыря, где даже в вечернюю пору приостанавливались прохожие, чтобы одарить медяками топтавшихся у ворот юродивых и дряхлых побирушек, ее поджидал Теодорович. Завидев его, Глаша подбежала к нему, словно они не виделись целую вечность, на разрумянившемся от легкого морозца лице ее плескалась светлая улыбка, открытые глаза сияли.
- Заждался? Извини, пожалуйста, - шепнула ему. - С Кларой Борисовной уславливалась о следующей встрече.

- Ничего, ничего. Правда, тревожился немножко.
- Напрасно. "Хвоста" за мной нет. - Глаша глянула на высокое темно-синее небо, усыпанное звездами, сказала вслух: - Можно погулять. Если ты не занят.
- С тобой всегда рад. - Иван, слегка откинув левую полу ротонды, взял девушку крепко под руку. - Так не будет тебе холодно?
- Нет, конечно... - Глаша шевельнула правую полу, прикрывавшую больше половины груди. - Мне тепло. А вот тебе... пора бы сменить этот легкий плащ.
- Привык к нему. А сегодня на душе жарко...
Они перешли Тверскую. Возле памятника Пушкину ярко горели старинные фонари, и звезды погасли, да и небо как бы опустилось до крыш домов. На скамейках шушукались парочки.
На аллее фонари были редки, светились тускло, и небо снова открылось в вышине. Глаша закинула вуалетку на шляпку. Иван, наклоняя голову к уху девушки, спросил, о чем договорились они там, в зубоврачебном кабинете. У Глаши шевельнулись плечи, будто она вдруг озябла. Зачем он здесь о делах?
Иван хотел было запахнуть ее левую полу и подхватить под руку вместе с ротондой, но Глаша помотала головой.
- Так хорошо!
И вдруг вспомнила Горького с его таким приятным оканьем, принялась рассказывать быстро и горячо:
- Никогда не думала, не мечтала увидеться с таким человеком! С живым писателем! Даже сердце робело. А когда он заговорил, будто давно знакомый человек, мою робость как рукой сняло. Чудесный он, душевный! - Глаше хотелось пересказать все, что писатель говорил в этот вечер, но все его слова исчезли из памяти, и она сказала только, что Горький с ними, что он обещал поддерживать "Искру". Навстречу им одна за другой шли парочки в обнимку, и Глаша вмиг сникла. Лучше в другой раз...
Они сели на скамейку. Иван одной рукой молча обнял ее. Похоже, не находил слов.
Глаша, вскинув голову, глянула на небо. В холодной дали сияли звезды. Такие яркие и крупные, как в ее родной Сибири. Повернувшись к Ивану, спросила, есть ли у него своя звезда. Тот пожал плечами.
- Я не собственник... - Слегка усмехнулся. - Все звезды на небе наши.
- Нет, ты не понимаешь...
Глаше припомнился тихий августовский вечер у них в Шошине. В доме погасили лампы, все легли спать. Лишь она со старой няней Агапеюшкой сидела на верхней ступеньке крыльца и смотрела на небо, опрокинутое над окрестными горами, как фарфоровая тарелка, только синее-синее. Было прохладно, и она плечом прижалась к няне, рассказывавшей сказку про богатыря охотника, который в погоне за раненым лосем не заметил, как зашел на небосвод. От его лыж остался вон тот белый след. Запрокинув голову, няня показывала пальцем на звезды. Вон прилег раненый лось. Вон бежит собака охотника... И вдруг одна звезда, черкнув по небу, как грифель по аспидной доске, упала за горы, что чернели на той стороне реки Тубы. Агапеюшка, позабыв о сказке, вздохнула:
- Кто-то преставился...
- Как представился?
- Преставился, - поправила няня, размашисто, истово перекрестилась. Умер, значит. Отдал душу богу. - Прижала воспитанницу к своей широкой груди, словно хотела защитить от злого рока. - Девочка моя милая, у каждого человека на небе своя звезда. Умрет человек - ангел звезду погасит, и упадет она, как осенний лист с тополя, только мелькнет на прощанье.
Маленькая Глашурка верила каждому слову няни и втайне от всех, как учила Агапеюшка, стала выбирать себе звезду...
- Ну, и какая же у тебя звезда? - спросил Иван. - Я тоже хотел бы посматривать на нее... когда тебя нет рядом.
- А смеялся, не верил...
- Теперь верю... Где она? Которая?
Глаша не поняла, в самом деле верит Иван, что у нее есть звезда на небе, или только притворяется. А сама она с детских лет сжилась с тем, что ее звезда светит людям с неба.
- Сейчас не видно. И я не знаю, как астрономы именуют то созвездие, а наши шошинские жители называют Коромыслом. За отсутствием часов время по нему определяют, в особенности

зимой. Перед утром Коромысло - в нем по две звезды по краям - опускается все ниже и ниже к горизонту, будто невидимая женщина идет к Тубе за водой. Перед рассветом левый конец Коромысла наклоняется, чтобы зачерпнуть полное ведро воды... Моя звезда на левом конце ближняя...
- Красивая сказка! Для маленьких...
- Не говори так, - Глаша толкнула Ивана в плечо. - Лучше назови свою звезду. На всякий случай...
- Когда я окажусь далеко, будешь смотреть на нее?
- Буду.
Иван порывисто обнял девушку и поцеловал. Она от неожиданности вскрикнула и, оттолкнув его, вскочила.
- Ой!.. - Шумно выдохнула и опустила вуалетку. - Напугал... Даже сердце оборвалось!
- Привыкай, - рассмеялся Теодорович.
- А ну тебя! - отмахнулась Глаша. - Нельзя же так...
- Садись, я поищу для себя звезду.
- Пора домой. А то хозяйка заснет - не добужусь. Да и подумает что-нибудь нехорошее - от квартиры откажет.
Она жила в глухом переулке между Мещанскими улицами, пешком и за час не дойти. Пришлось у Никитских ворот взять извозчика.
Ехали молча. Иван терялся в мыслях: не обидел ли он девушку своим неожиданным порывом? Не сочла ли она это грубостью? Чего доброго, согласится дальше встречаться только для дела. Может и совсем отвернуться от него. А Глаше вдруг вспомнился Курнатовский в ее родном Шошине. Друзьям говорил: революция и женитьба несовместимы. А сам засматривался на нее... Все еще, бедняга, сидит в тифлисской тюрьме. И, наверно, вспоминает ее. А Катюшка в Киеве по-прежнему грустит о нем. Сердцу, видно, не закажешь...
На Первой Мещанской они отпустили извозчика, пошли пешком.
- Здесь я всегда осматриваюсь, - сказала шепотом Глаша, - чтобы случаем не выследили мою квартиру. И проходным двором быстренько, - на свой переулок.
- А почему двор проходной? Не для удобства полиции?
- Не думаю. Подозрительных там не встречала.
- Остерегайся. Ты для меня...
- Не надо об этом... Неизвестно, что с нами будет завтра... Куда нас пошлют старшие... И где мы будем через год.
Пошли проходным двором, и Глаша подала на прощанье руку.
- Завтра в чайной, - напомнил Теодорович, - возле завода Бромлей.
- Помню.
- Листовки я принесу.
Хотелось снова так же порывисто поцеловать девушку, но Глаша вывернулась и, помахав рукой, побежала к маленькому деревянному дому, где снимала комнатку.
Через десять дней Наташа и Зайчик получили из Лондона ответ на свои письма.
"Все, что вы сообщаете о Горьком, - писала Надежда Константиновна, очень приятно, тем более что деньги страшно нужны. Попросите Горького писать для нас и сообщите нам немедленно пароль (на случай провала вас обеих)".
Она сообщила также, что в Питер доставлено десять пудов литературы и оттуда можно получить ее для Москвы.
И Глаша тотчас же отправилась в Петербург.
Вернулась с новым чемоданом и большой коробкой для шляпы. В них помимо свежих номеров "Искры" была брошюра Ленина "Что делать?".

3

Художественно-общедоступным театром восхищалась вся прогрессивная интеллигенция, бредили студенты и курсистки, еще затемно, за много часов, занимали очередь к театральной кассе. У курсисток уже были свои любимцы среди актеров. Иногда самая бойкая из них, дождавшись девяти часов утра, из подъезда звонила Качалову, а потом сияющая возвращалась на свое место в очереди: "Василий Иванович здоров, будет играть".

А они не играли - жили на сцене. Так писали в либеральных газетах, так считала Глаша. Если бы она, нелегальный Зайчик, не опасалась филеров, каждый бы вечер ходила в этот театр - Алеша обещал доставать для нее контрамарки на галерку.
А сегодня, идя в Камергерский переулок, опять задумалась о брате: в театре ли Алехино счастье? Да, он любит искусство. Он одаренный. Бывало, летней порой в Шошине вместе с ними, сестрами, и с участием ссыльных политиков разыгрывал маленькие пьески, сам писал инсценировки из Чехова "Злоумышленник", "Канитель", "Хирургия". Получалось неплохо. Здесь талантливые учителя Станиславский и Немирович-Данченко сделают из него, пожалуй, хорошего режиссера. Но для Алехиного сердца этого будет мало, оно рвется на простор, в рабочую среду, к порывистым студентам. В душе он революционер. В горячую минуту возьмет винтовку и ринется в схватку. На баррикады! Ведь без уличных боев царизм не свергнуть. Спрут не перестанет душить свою жертву, пока не будут обрублены все его поганые щупальца. Алеха смелый. Упрямый. У него достаточно энергии для решительной схватки. Но пока не позвала революция, он здесь, в Камергерском переулке*. В трудную минуту можно будет посоветоваться с ним...

---

* Глаша не ошиблась в брате. В 1905 году Алексей Окулов был командиром боевой дружины в Москве. В 1913 году, поверив лживому царскому обещанию об амнистии, вернулся из эмиграции и три года отбыл в Таганской и Вологодской тюрьмах. После свержения царизма председательствовал на Первом Всесибирском съезде Советов, был членом ВЦИК первого созыва, членом Реввоенсовета Южного и Западного фронтов, членом Реввоенсовета Республики, некоторое время командовал войсками Восточной Сибири. Еще в тюрьме занялся литературным творчеством. Его перу принадлежат рассказы, пьеса и очерки, печатавшиеся в журналах, изданные отдельной книгой.

Алексей встретил сестру у входа в гардероб, шепотом сказал:
- Он уже пришел. Недавно началось четвертое действие.
Гардеробщика попросил повесить пальто сестры с краю вешалки, чтобы потом она могла одеться побыстрее, и повел в узенькое фойе, уютно огибающее зрительный зал. Приглушенный свет и зеленоватые, как вечерний лес, стены успокаивали глаза. Глаша шла рядом с братом, шагая мягко и бесшумно, с таким редкостным благоговением, какого даже в первые гимназические годы не испытывала в большом и торжественном красноярском соборе. Она - в Художественном! В храме высокого искусства!
Алексей шептал:
- "Мещане" идут уже давненько, и сегодня в артистической ложе пусто.
Глаше это понравилось - меньше будет робости в сердце. А Алексей продолжал:
- С ним там только одна Юнгфрау.
- Кто-кто? - с тревогой переспросила Глаша, опасаясь, не помешает ли та их встрече? Надежная ли?
- Красавица Андреева. Знаешь по сцене?
- Только слышала да читала.
- Для моего глаза она стройна, как та сестра Монблана, о которой я тебе рассказывал. Помнишь?
- Холодна как лед?
- Отнюдь нет. И не так уж высока эта Юнгфрау, но очень красиво сложена. Добрая, умная, талантливая. Впрочем, сама убедишься.
Алексей привел сестру к артистической ложе и на прощанье стиснул ей руки.
- Ни пуха ни пера!
Глаша, придерживая портьеру, вошла в ложу. Осмотрелась. Впереди спина Горького. Длинные волосы закрывают шею. Крутые плечи. Рядом - Мария Федоровна. В бархатном платье с высоким воротником. Копна волос, кажется, золотистых, - собрана в пышный узел с дорогой приколкой.
Заслышав шорох, Горький оглянулся, потом шепнул Андреевой: "К нам Зайчик. Знакомьтесь". Освобождая место в середине, пересел на соседний стул.
- А-а... Помню, вы рассказывали. - Мария Федоровна подала девушке вялую руку, а Горького про себя упрекнула: "Зачем он чужую в середину?" Ведь она, Андреева, сегодня и пришла-то сюда только для того, чтобы посидеть рядом с ним. Хотя бы часок...

Сдерживая вспышку в сердце, оглядела девушку: беленького Зайчика следует запомнить. Быть может, девушке потребуется помощь. Еще раз протянула руку и, пожав пальцы, шепнула:
- Я многое слышала о вас...
- От Алеши? От моего брата? Он здесь, в вашей школе.
- Нет. От другого Алексея. От Максимовича... Ну ладно, будем смотреть...
- Сначала дело. - Горький, приподняв подол черной косоворотки, перепоясанной узеньким кавказским ремешком, достал из брючного кармана сверток, из рук в руки передал Глаше. - Вот вам. Для прекрасной женщины, именуемой... Впрочем, вы сами знаете... И присоедините мой сердечный привет... Волгарю...
- И мой тоже, - попросила Андреева, взволнованная словами о видном революционере, с которым еще не доводилось встречаться.
- Я знаю его, - шепнула Глаша, делясь давней радостью. - По нашей Сибири...
- Счастливая! - Горький пригладил усы. - Ну, а нам... Надеюсь, судьба, - вдруг переглянулся с Марией Федоровной, - нас еще сведет.
Теперь можно бы и уйти, пока никто недобрый из зала не заметил нелегального Зайчика, но Мария Федоровна удержала за руку:
- Останьтесь. Меня интересует ваше впечатление.
Глаша осталась. Слегка подвинувшись грудью к барьеру, не сводила глаз со сцены. Все происходящее там так волновало, что горели руки: часто хотелось ударить в ладоши. Но в Художественном аплодисменты в середине действия не позволялись. Это же не игра, а ж и з н ь. И Глаша сдерживалась.
На сцене появился Нил, молодой, энергичный и задорный машинист паровоза. И Глаша старалась запомнить каждое слово горячего спорщика.
- Нет, Петруха, нет. Жить, - даже не будучи влюбленным, - славное занятие! Ездить на скверных паровозах осенними ночами, под дождем и ветром... или зимой... в метель, когда вокруг тебя - нет пространства, все на земле закрыто тьмой, завалено снегом - утомительно ездить в такую пору, трудно... опасно, если хочешь знать, - и все же в этом есть своя прелесть! Все-таки есть! - Голос актера на секунду как бы споткнулся, но тут же зазвучал с новым подъемом: - Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось!..
У Глаши шевельнулись руки. Мария Федоровна припала жаркими губами к ее уху:
- Вы почувствовали провал в речи Нила? Тут дьяволы вырезали несколько строчек. Золотых строчек, как все у нашего автора.
Глаша кивнула головой. Ей хотелось сказать во весь голос: "Но ведь главное-то осталось! Не заметили олухи царя земного! Все движение жизни будет из менено!"
Мария Федоровна снова сжала руку соседки:
- Будем смотреть дальше.
А смотрела она не столько на сцену, сколько - украдкой - на Глашу. Нравится ли ей? Волнует ли пьеса?
Но вот прозвучали последние слова Перчихина, Татьяна склонилась над клавишами пианино, полились громкие звуки струн, и занавес медленно сомкнулся. В зале включили свет. Многие из зрителей, заметив Горького, аплодировали, повернувшись лицом к артистической ложе. Глаша, опомнившись, тихо ойкнула. Мария Федоровна хотела было заслонить собой нелегальную девушку, но та, забыв попрощаться, выпорхнула из ложи.
Когда многочисленные раскаты аплодисментов умолкли и в зале приглушили свет, Мария Федоровна в глубине артистической ложи взяла Горького за руки и кинула в ясные, как летний рассвет, голубые глаза жарко полыхающий взгляд.
- Ну, вы убедились в своей неправоте?.. А то заладил: "Длинная пьеса, скучная, нелепая..."
- Так это же в самом деле.
- И слушать больше не хочу. Вы бы видели, как горели глаза у этого Зайчика. Я ее понимаю: ей часто хотелось вскочить после острой жизненной реплики, аплодировать и кричать "ура!". Дорожить надо, - приблизилась к его несколько растерянному лицу, - дорожить таким чувством зрителя. Не столько актеры, сколько... - У нее чуть было снова не вырвалось "ты", но она тут же поправилась: - ...сколько вы пробудили его.
...Горький проводил Андрееву до дому. Самовар, вскипяченный заботливой Липой, еще не остыл. Но все уже спали. Желябужский не вышел со своей половины, и Мария Федоровна, довольная этим, сама накрыла ужин.

Пока она ходила на кухню, Горький, сидя в кресле, задумчиво мял подбородок. Вернувшись, она спросила, что его волнует.
- Да вот все думаю про Зайчика...
- Про Зайчика?! - Мария Федоровна резко шевельнула бровями. - И что же про нее?
- Представьте себе, - Горький выпрямился в кресле, - сколько в ней смелости! Кругом зубатовские гончие, а она не робеет!
- Не одна она такая.
- Это верно. И в этом, замечу, сила социал-демократов! Ей-богу. Подумайте - она ведь из семьи сибирского золотопромышленника. Нужды не знала. А пошла в революцию. И, говорит, весь семейный выводок такой. Право! Отчего бы это? Оказывается, там, в Сибири, возле них, жил в ссылке Ульянов. Ленин! От него влияние как от солнца свет. Вот дело-то какое. И теперь она от него получает письма, приветы, наставления. А нам бы с этим Волгарем повстречаться...
- Дайте срок - сойдутся пути-дороги. Я сердцем чувствую. Оно меня не обманывает. - Мария Федоровна разлила чай в розовые чашки с золотой каймой. - Пересаживайтесь к столу. Хотя вы, кажется, привыкли из стакана в подстаканнике.
- Ничего. Лишь бы горячий...
Сама села напротив, отпила глоток. Долго не отрывала глаз от лица Горького. Потом, оглянувшись по сторонам, заговорила шепотом:
- Давно хотела спросить, да все не было случая... Савва передал мне свой страховой полис. На предъявителя. На сто тысяч!.. Я сначала отказывалась, а потом взяла. Но ему сказала: если, не дай бог, случится с ним беда, израсходую не на себя. Он понял. А я все мучаюсь: правильно ли поступила, что не отказалась?
- Благое дело!..
- Савва так болен. Боюсь за него...
- Он умен. Понимает, что не сидеть ему на том стуле, который богатой семьей для него уготован, а пересесть на другой не решается. Право слово! Боится, как бы не хлопнуться между двух-то стульев. Оттого, черт возьми, и червоточинка в голове.
- Жаль его. Хороший он. Вон какой театр нам построил!
- И на партию дает. На нашу! В этом он, ей-богу, молодец! А взять с него подобру-поздорову надобно елико возможно больше. Вот так-то. - Кивнул головой в сторону: - Они там в Лондоне, конечно, очень нуждаются. На чужой-то стороне трудновато. А газета требует денег. И немалых...
- Сберегу полис...
Отпивая чай, Горький жарко посматривал на собеседницу. "Глаза-то у нее... Какие теплые! Большие, добрые... Голос мягкий, а характер твердый. И вообще чудесная она Человечинка! Смелая, преданная. В душе огонь! Такие ужасно надобны Руси!.."
4
Еще до приезда Наташи и Зайчика охранка от двух провокаторов получила ниточки для слежки за Московским комитетом. Один из них работал на Прохоровской мануфактуре, другой был дорожным десятником уездного земства. Вот его-то и подослали к Александру Павловичу, как называл себя Иван Теодорович. В поисках связи с рабочими Теодорович доверился провокатору, стал снабжать его листовками и "раздобыл" у него адреса квартир для нелегальных свиданий.
С приездом Наташи охранка получила, на этот раз от Анны Егоровны Серебряковой, третью ниточку, которая при наличии большой своры филеров тоже привела к Московскому комитету. Наташа радовалась, что ей быстро удалось войти в комитет, но, отправляясь на очередное заседание, говорила Глаше, чтобы та на всякий случай оставалась дома.
28 ноябри заседание открылось в квартире дантистки Елизаветы Аннарауд. Кроме Наташи пришли три комитетчика. Теодорович принес листовки, отпечатанные на мимеографе.
Налет был таким быстрым, что в руках жандармов кроме листовок оказался проект воззвания "К товарищам".
Тогда же было арестовано еще семнадцать человек, так или иначе связанных с комитетом.
И Глаша осталась одна в большом и трудном городе. У нее сохранились лишь немногие связи, и ей пришлось, не опасаясь риска, о котором она не думала, отыскивать себе новых помощников, налаживать новые явки. Целыми днями она моталась по Москве, ездила с одной рабочей окраины на другую, а чаще всего наведывалась к студентам университета. Посетив тайное

собрание студенческого общества при историко-филологическом факультете, она написала в Лондон:
"Рыба клюет (на первом собрании было приблизительно 800 человек), но крючок еще не обнаружился, буду следить и писать обо всяком собрании".
Когда-то она сама была курсисткой и теперь не дивилась тому, что энергия учащейся молодежи беспредельна и преданность святому делу революции неистребима. Она помнила с детства: на лугу, бывало, скосят траву как будто под самый корень, а глядишь, густая отава поднимается быстро и дружно. Она не только верила - знала, что ни массовые аресты, ни самые свирепые приговоры студентов не остановят.
Ее глубоко взволновала печальная весть из Самары: "У Сони были обыски". Хотя Зина с Глебом Максимилиановичем остались на свободе, но жить там для них опасно. Почему они не переезжают? Ведь Ильич писал им, чтобы переходили на нелегальное положение и берегли себя пуще зеницы ока. Могли бы перебраться заблаговременно в Киев или сюда, в Москву. Вероятно, ждут из Лондона явки и пароли. Не запоздали бы...
А как там, в Самаре, Маняша Ульянова? Неужели и у нее тоже был обыск? И уцелела ли она?.. Бедной Марии Александровне и без того достаточно волнений. Почему бедной? Она ведь гордится своими детьми, дело их считает правым и необходимым для будущего счастья народа.
На случай своего провала, который не исключала все эти месяцы, Глаша написала в шифрованном письме самарским Грызунам, что Горький обещал "Искре" по пять тысяч в год и что отыскивать его следует через Марию Федоровну.
Получив это письмо, Кржижановские написали в Лондон: "Вероятно, вы уже слышали о пятитысячном годовом взносе Горького - мы готовы были плясать от радости". Еще во время сибирской ссылки Владимир Ильич верил в Горького. И не ошибся - Буревестник с нами!
Пройдет какой-то год, и Глеб Максимилианович, вспомнив о письме Глаши, уже из Киева наведается в Москву, к Феномену. Мария Федоровна вручит ему десять тысяч. Он задумается: неужели столько от одного Горького? Вероятно, добрая половина от фабриканта Саввы Морозова, прозванного Горьким "социальным парадоксом". В Москве уже поговаривали, что пайщики-родственники злобно упрекают Савву в том, что он безрассудно тратит деньги на недобрые затеи, и намереваются объявить недееспособным.
Хотя Глаша обманчиво успокаивала себя, что Теодорович для нее просто товарищ по общему делу, энергичный подпольщик и оживленный собеседник, его арест был тягостен для нее. Пожалуй, не было ни одного часа, в который бы она не думала о нем: не с кем посидеть на скамейке в укромном месте, не с кем поговорить по душам, некому глянуть в глаза, светлые и добрые. Глянуть мимолетно, как бы украдкой, чтобы он не подумал - влюблена до чертиков. А теперь бы смотрела не отрываясь - пусть знает. Он был для нее не Иваном-Брониславом Адольфовичем, а просто Иваном, Ваней. В бессонные ночи она мысленно называла его Ясем. Почему? Сама не знала. Ясь - и все тут. Так теплее.
А как он там, в одиночке Таганской тюрьмы? Вспоминает ли о ней хотя бы один-единственный разочек в день? Должен бы вспоминать. Ведь говорят, что сердце сердцу весть подает.
Как все заключенные, он ждет передачу. От кого? Конечно, от нее. Больше некому прийти с узелком для него к тюремным воротам. И она приносила бы в каждый разрешенный день, писала бы записки. Тюремщикам сказала бы: от двоюродной сестры. Или назвалась бы невестой. Так делают многие курсистки. Но нельзя ей появляться возле тюрьмы - уже не первый день за ней таскаются шпики. Каждый вечер приходится в людных местах увертываться от них, отрываться от слежки, пользуясь знакомыми дворами, проходными, чтобы не узнали ее квартиры.
Схватят? Бросят в одиночку? Это не пугало Глашу - тюрьма для нее не новинка. А жаль: для дела, ради которого она здесь, будет потеряна. Ведь Владимир Ильич доверяет ей, надеется, что при ее участии от Московского комитета поедет делегатом на съезд стойкий сторонник "Искры".
К сожалению, комитета пока нет. Его надо восстанавливать, и она обязана сделать для этого все, что сможет. В ее положении это очень трудно. Но, может быть, удастся оторваться на целый день от шпиков, перебраться в другой район Москвы да купить себе другое пальто, другую шапочку. Парням легче - они могут загримироваться, наклеить бородку да усы, надеть парик. А что делать ей, девушке? Ее пышные волосы ни под какой парик не упрячешь...

По ночам не лаяла собака во дворе, никто не ломился в двери. Шпикам не удалось выследить ее квартиру...
Закончено очередное письмо в Лондон. На конверте надписан адрес берлинского посредника, самого аккуратного, - быстро дойдет до Ильича.
Глаша оделась. На ней новое пальто, лисья горжетка, изящная муфта с лисьей мордочкой. Сунув письмо в муфту, вышла из дома и глухими переулками направилась на Первую Мещанскую, к ближайшему почтовому ящику.
Но когда приостановилась возле ящика, цепкие пальцы взяли ее под руку.
- Позвольте я опущу ваше письмо.
- Откуда вы взяли? - Попыталась высвободить руку. - Никакого письма у меня нет. Нахал!
- Тихо! - Жесткие, мокрые от инея усы укололи щеку. - Вы арестованы.
А возле тротуара уже остановился извозчик, откинул полость.
- Пожалуйте в экипаж. - Шпик, не выпуская руки Глаши, втолкнул ее в санки. Извозчик накрепко застегнул полость. Шпик предупредил: - В ваших интересах сидеть смирно.
Выехали на Садовое кольцо. Густо валились крупные хлопья снега. Впереди сквозь снежную завесу прорисовывалась островерхая Сухарева башня. На проезжую часть улицы выплеснулась шумная толпа барахольщиков Сухаревской толкучки. Извозчик покрикивал:
- Эй, поберегись! Поберегись!..
Шпик, как клещами, сжимал руку задержанной. Не сбежала бы в толчею.
Глаша сердито дернула руку:
- Мне больно... И никуда я не денусь... Болван!
А свободной рукой осторожно вынула из муфты письмо и уронила в снег. Никто не заметил, никто не окликнул. Вероятно, попало письмо сразу под ноги барахольщикам, затерялось в снегу.
Глаша вздохнула облегченно: улик у жандармов не будет!
5
В Художественном шла долгожданная премьера "На дне". В зале редкостная тишина. Сомкнулся занавес после первого действия - тишина не поколебалась. Секунда, две, три... И вдруг, как обвал в горах, грохнули аплодисменты. Долгие, горячие. Такое было здесь только однажды - по окончании "Чайки".
Артисты выходили добрый десяток раз, аплодисменты не затихали. Зал кричал сотнями голосов:
- Автора!.. Автора!..
Горького вытолкнули из-за кулис. Он даже не успел загасить папиросу. Вышел неловко, будто у него подгибались ноги. Как всегда, в косоворотке и сапогах. Смущенно кивнул головой и убежал, не дожидаясь, когда сомкнется занавес.
За кулисами Савва Морозов остановил его, раскинул руки, словно хотел поймать и снова вытолкнуть на сцену.
- Алексеюшко, нельзя же так! - укорил по-дружески. - Ты бы не спеша, степенно.
- Попробовал бы, голубчик, сам, когда на тебя глазеет этакая громада!
Из зала донесся чей-то насмешливый хохоток. Но его заглушил новый прилив аплодисментов. Теперь аплодировали и актеры на сцене, повернувшись к кулисам. Савва Тимофеевич ободряюще похлопал Горького по спине. Станиславский встретил его, взял за руку, вывел на середину. А когда замер занавес, Константин Сергеевич, потеряв степенность, запрыгал по сцене, потирая руки.
- Хлебом запахло!..
В успехе спектакля уже никто не сомневался.
Третье действие Горький смотрел с предельным интересом, хотя несколько раз присутствовал на репетициях. Все для него как бы открывалось заново. С особым волнением он вслушивался в реплики Наташи - Андреевой. Ей опасались поручать роль простой девушки, думали - не справится, в ее исполнении проглянет "аристократизм", интеллигентность. А она вот - живая свояченица хозяина ночлежки, обманутая бесстыдным парнем, любовником ее сестры, и Горькому хотелось крикнуть Немировичу, даже самому Станиславскому: "Вот вам за неверие!.. Где вы еще найдете такую Наташу?" А актрису он про себя подбадривал: "Хо-ро-шо, Маруся! Вполне естественно!.. Как в жизни!"

А когда она, ошпаренная кипятком, пронзительно закричала, Горький сжался от боли, точно ему самому обварили ноги. По его щекам потекли слезы. Он не замечал их, не утирался, а только повторял: "Ей-богу, хо-ро-шо!"
Зал гудел от восторга. Занавес пошел десятый раз. Снова вызывали автора. Горький широкой ладонью провел по мокрому лицу. Морозов подал ему платок:
- Утрись, Алексеюшко!..
Горький вытер пот со лба и, не успев успокоиться, заплаканный, вышел на сцену.
Аплодисменты прихлынули к рампе, как девятый морской вал к берегу.
Закрылся занавес, но зал не утихал, и актеры удержали Горького, не позволили ему убежать за кулисы. Зрители сгрудились возле сцены.
Но вот занавес больше не колыхался. Актеры, задержавшись, жали руки Горькому. Мария Федоровна, пунцовая от радости, стремительно подошла к нему, порывисто обняла и, слегка приподнявшись на цыпочки, поцеловала.
- Спасибо!..
За кулисами глухо ахнул Савва Морозов:
"Что она делает?! Она же при ее характере сгорит в этом огне! Оглашенная!.."
Занавес уже давно распахнулся. Зрители неистово били в ладоши, кричали:
- Молодцы, художники!.. Горькому!.. Горькому!..
А слышалось: "Горько!" Как на свадьбе. Но Мария Федоровна не смутилась, а стояла прямая, сияющая. Она сделала у всех на глазах то, чего не могла бы сделать наедине.
Сомкнулся занавес, и актеры переглянулись. Одни с удивлением, другие с усмешкой.
Она, ни на кого не глядя, с гордо поднятой головой прошла мимо всех, из-за кулис побежала в свою гримировочную и там, закрыв лицо, упала на диван. Плечи ее вздрагивали, пальцы стали мокрыми от слез.
Горький, закуривая, остановился поговорить с Морозовым:
- Вот дело-то какое!..
- Ты, Алексеюшко, не вздумай теперь идти к ней. Пусть пока проплачется.
- Да я и сам... - Горький помял мундштук папиросы и вдруг заговорил громко: - А написано-то как! Ей-богу, удача!..
Мало сказать удача - это был крупнейший успех автора и театра. У актеров и друзей Художественного, собравшихся на ужин в "Эрмитаже", был большой праздник. На радостях, по предложению Горького, отправили дружескую телеграмму Чехову. А в семь часов утра им принесли газеты с восторженными статьями...
Когда газеты дошли до Лондона, Ульяновы порадовались выдающейся победе русского реалистического искусства, редкостному успеху любимого писателя.
Эх, если бы они были в Москве, да неподнадзорными, непременно посмотрели бы "На дне".

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

- Володя, у нас сразу две беды!
- Что? Что там такое?
- Лапоть провалился!
- Жаль Пантелеймона, давнего друга! - Владимир вздохнул. - И кто еще?
- Аркадий.
- Как Аркадий?! Мы же ему советовали сменить псевдоним.
- Он сменил на Касьяна, но... как видно, было уже поздно.
- Час от часу не легче! - Владимир Ильич огорченно хлопнул рукой по столу. - Как же они так неосторожно?.. А ну-ка, дай письмо. Радченко тоже крупнейшая потеря. Очень жаль. После Сильвина, сама знаешь, Иван Иванович был самым подвижным и надежным разъездным агентом. Как это случилось? И в такую пору, когда мы ждали вестей о создании Организационного комитета по созыву съезда...
Еще летом охранка прислала в Псков двух филеров. Они ходили по пятам Лепешинского, а Пантелеймон Николаевич, хотя и был осмотрителен, не замечал этого и пригласил к себе на совещание делегатов из Питера, с юга, от "Северного союза" и Бунда. Бундовец почему-то не приехал. Об этом, впрочем, не жалели - без него больше взаимопонимания.
Совещались два дня. Договорились о составе Организационного комитета, который стали именовать Ольгой, и распределили обязанности. Кроме присутствующих делегатов в

Организационный комитет ввели членами Глеба Кржижановского и Фридриха Ленгника, кандидатом - Глашу Окулову. Условились, что финансовая часть будет у нее, Зайчика, в Москве. (А дни Зайчика на воле к тому времени уже были сочтены.)
Разошлись, казалось бы, со всеми предосторожностями. Но на вокзале, перед посадкой на курьерский поезд, Радченко был опознан филером и схвачен. У него нашли адрес Лаптя, уже известного шпикам.
Ночью к Лепешинским нагрянули жандармы. Ольга Борисовна не растерялась: пока ротмистр предъявлял ордер на обыск и арест, незаметно прошла в угол, где лежала груда книг, и, открыв одну, схватила бумажку и смяла в руке. То был список участников совещания, приготовленный для шифрования и отправки в редакцию "Искры". Когда жандармы стали рыться в ящиках письменного стола, она в соседней комнате спрятала бумажный комочек в кармашек шубки, которой была накрыта Оленька в кроватке. Один из жандармов сунулся было к кроватке. Мать, раскинув руки, закричала:
- Не смейте прикасаться к ребенку!
- Извините, мадам, - поспешил к кроватке ротмистр. - Долг службы.
- Если вы такие... варвары... - Мать схватила плачущую от испуга девочку и, завертывая в шубку, отступила в сторону. - Теперь можете... Стала целовать Оленьку, прижимая к груди. - Не плачь, детка. Успокойся, родненькая... Дяди скоро уйдут...
Пока перетряхивали постельку, человек в штатском, порывшись в груде книг, подбежал с раскрытым справочником по статистике:
- Господин ротмистр, вот улика!..
- Так, тэк... Благодарю за усердие.
Ротмистр, взяв адресованное Фекле письмо, которое Пантелеймон Николаевич не успел зашифровать, сел боком к столу и заговорил с расстановкой:
- Ну-с, господин Лепешинский, вы уличены. Позвольте узнать, кто такая "Ольга"?
- Моя жена. И дочка тоже Ольга.
- Допустим... О Фекле не спрашиваем: знаем - преступная "Искра". А кто такой "Борис", который "почему-то не явился"?
- Отказываюсь отвечать.
- А "Касьян", "Клэр", "Курц"? Тоже отказываетесь? Напрасно. Ваше преступное сообщество прояснено. Да-с, раскрыто. И ваш "Касьян" у нас в руках... Потом пожалеете, если не последуете моему доброму совету. На вас будет заведено новое дело. Будет вторая ссылка. Если не хуже.
- Избавьте от разговора.
- Пожалуйста... Так и запишем в протоколе: отвечать отказался.
Лепешинского увезли в Петербург...
Питерского делегата жандармы схватили на даче возле какой-то пригородной станции. Из делегатов совещания уцелел Петр Красиков. И сумел увернуться от ареста Левин из "Южного рабочего". Вот он-то и прислал письмо в редакцию "Искры". Аресты не повергли его в уныние. Он написал просто: "Положение дел несколько изменилось". Но оставшиеся члены Организационного комитета будут работать и потому просят Феклу, которой теперь следует переменить кличку, прислать свой проект вопросов съезда. Бюро ОК, который теперь следует именовать уже не Ольгой, а Александрой, будет находиться в Харькове. Попросил писать шифром, кроме Харькова, в Киев и Москву, а о создании ОК посоветовал напечатать в "Искре".
- В "Искре" само собой. Но этого мало, - сказал Владимир, дочитав письмо. - Я напишу ему, что в России необходимо выпустить листовку о создании ОК. Пусть хоть гектографируют, да издают. Непременно.
- Он просит список вопросов для съезда, - напомнила Надежда.
- Ну это несложно. Мы же обсуждали...
И Владимир Ильич, вернувшись к своему столу, в начале письма подбодрил товарищей: "Очень рады успехам и энергии ОК. Крайне важно приложить немедленно все усилия, чтобы довести дело до конца и возможно быстрее".
Затем дал приблизительный список вопросов и порядок их обсуждения на съезде: "1) Отношение к Борису*. (Если только федерация, то разойтись сразу и заседать врозь. Надо подготовлять всех к этому.) 2) Программа. 3) Орган партии (газета. Новая или одна из наличных. Настоять на важности этого предварительного вопроса)". Написав это, вспомнил о

неожиданном разногласии с Мартовым: на заседании членов редколлегии Юлий вдруг с незнакомой настойчивостью предложил поставить вопрос об органе партии на шестое место, после разных вопросов тактики. Сколь ни убеждали его, остался при своем мнении. Не полез бы в спор на съезде. И Владимир Ильич продолжал писать:
"Я считаю важным сначала решить пункт 3, чтобы сразу дать баталию всем противникам по основному и широкому вопросу и выяснить себе всю картину съезда (respective*: разойтись по серьезному поводу)".

---

* К Бунду.
* Соответственно (англ.).

И в конце посоветовал тотчас же назначить членов ОК в главных центрах страны - в Киеве, Москве и Питере, дать особые явки к этим членам, чтобы можно было всех едущих на работу в Россию посылать не иначе, как в полное распоряжение ОК.
"Это очень и очень важно", - подчеркнул Ленин.
Вспомнил, что Плеханов собирается поехать в Брюссель, на заседание Международного социалистического бюро. Эх, если бы он проехал к ним в Лондон, - путь-то оттуда уже не так-то далек. А поговорить им есть о чем.
И тут же написал ему: "... - у нас накопились важные темы для беседы, особенно по русским делам: там образовался-таки давно подготовлявшийся "Организационный комитет", который может сыграть г р о м а д н у ю роль. И было бы в высшей степени важно, чтобы мы сообща ответили ему на ц е л ы й р я д вопросов, с которыми он у ж е о б р а т и л с я к н а м... Пишите скорее, и мы запросим Россию: может быть, успелось бы даже оттуда какое-либо заявление или письмо к Вам, если бы в том была нужда".
А через два дня получили письма из Пскова о печальных новостях: Лапоть в Петербурге брошен в крепость до тех пор, пока не пожелает отвечать на допросах. Ему грозят судебной палатой, которая может приговорить к каторге. Он просит дать указание, как ему держаться. Касьян (он же Аркадий), арестованный с паспортом потомственного почетного гражданина А. А. Моторина, не сознается в личности. Для опознания его на очной ставке привезли из ссылки Любовь Николаевну Радченко, жену брата Степана, освобожденного из Лукьяновки за отсутствием улик.
2
Перед Владимиром Ильичем лежали листовки Нижегородского комитета, отпечатанные на литографском камне.
"Молодцы волжане! - похвалил он в душе земляков. - Обзавелись своей литографией!"
В первой листовке комитет сообщал, что прибыли судьи Московской судебной палаты. Для Нижнего - вещь небывалая!
Будут судить Петра Заломова и других участников первомайской демонстрации в Сормове. Кому же вверялась судьба тринадцати рабочих? За судейским столом кроме сановников в расшитых золотом мундирах будут восседать губернский и уездный предводители дворянства, городской голова и старшина одной из волостей Нижегородского уезда. Простых рабочих, поднявшихся на защиту своего человеческого достоинства и существования, собрались судить их классовые противники, и Нижегородский комитет заявлял:
"Пусть наши враги, чуя свое поражение, прибегают к последним отчаянным средствам - строгости и насилию, пусть думают они в жалком ослеплении побороть этими мерами революционное движение в России, мы, товарищи, глубоко убеждены, что его не остановить ничем... Свобода не дается даром, это путь долгой и неустанной борьбы. Воспоминание о товарищах, которых ждет на днях суд и наказание, воодушевит нас и даст нам новые силы. Мы смело бросимся в борьбу, не боясь жертв, и так же твердо, как верим мы, что завтра взойдет солнце, так же уверены мы в том, что победа будет за нами".
Палата заседала в огромном трехэтажном здании окружного суда.
Кроме полицейских был вызван и расположился внизу взвод солдат. На улице цокали копыта конных жандармов.
Во время допроса знаменосца Петра Заломова член палаты Мальцев задал вопрос:
- Вы говорите, что все три знамени вы приготовили сами. На первом была надпись: "Да здравствует восьмичасовой рабочий день!" Так?
- Да.

- На втором: "Да здравствует социал-демократическая рабочая партия!"?
- Да, эта надпись.
- А на третьем: "Долой самодержавие. Да здравствует политическая свобода!" Вы говорите, что вы хотели улучшить экономическое положение рабочих. Почему же вы сделали третью надпись? Из этого положения она не вытекает.
И Петр Заломов, отвечая на вопрос, перешел к обвинению:
- Я сделал третью надпись потому, что рабочие ничего не могут добиться при существующем порядке правления. Действие скопом тоже запрещено. Поставив на знамени девиз: "Долой самодержавие", я желал политической свободы, которая обеспечила бы достижение рабочими своих интересов. Политическая свобода необходима взамен самодержавия и потому, что отдельная личность имеет менее влияния на закон, чем целые классы, а при теперешнем положении это невозможно: интересы рабочих никем и ничем не защищаются. Участвуя в демонстрации, я сознательно действовал.
Так записал в протоколе судебный секретарь...
...Вторая листовка оказалась огромной. В ней были воспроизведены речи обвиняемых. Первая речь - Заломова. Он говорил целый час. Владимир Ильич начал читать:
- "Виновным себя не признаю. Считаю себя вправе участвовать в демонстрациях..."
Надежда принесла чай.
- Выпей горячего. Погрейся. С обедом сегодня мама немножко запоздает.
Он придержал руку жены.
- А ты читала? - указал глазами на листки.
- Не успела. У меня, ты знаешь, корректура...
- Блестящая речь Петра Заломова на суде! Помнишь, Зинаида Павловна рассказывала о нем?
- Как же не помнить? "Слесарь. Крепыш. Одним словом, Микула Селянинович. Успел закалиться в пролетарском котле".
- Да. И в душе он подлинный богатырь. Такие не сгибаются - побеждают! Хотя и сослали их на вечное поселение, но "вечность" будет недолгой.
- Пей чай-то. Пока не остыл.
- Я - по глоточку. - И опять придержал руку Надежды. - Сейчас дочитаю, прочтешь ты - и в набор.
Петр Андреевич, сын безземельного крестьянина, работавшего на заводе, речь свою начал неторопливо, издалека:
- Семья у нас была большая, кроме меня было семеро детей, был и дедушка. На него смотрели как на обузу, как на лишний рот...
Председательствующий позвонил:
- Подсудимый Заломов, не вдавайтесь в излишние подробности, говорите ближе к делу.
- Это все относится к делу, - возразил Петр Андреевич и продолжал вдаваться в подробности бедственной жизни рабочих и всяческого притеснения хозяевами, чиновниками, полицией и всем существующим строем. - Я знал ту статью закона, по которой вы меня судите, я знал, что меня сошлют на каторгу, но я желал принести жертву, хотел всю душу отдать за рабочих, чтобы потом, после меня, им жилось получше.
- Вот это напрасно, - возразил Владимир Ильич, опустив ладонь на листовку. - Не после вас, Петр Андреевич, а чтобы и в а м жилось лучше. Ждать-то недолго.
Прочитав речи других сормовских рабочих, превратившихся тоже из обвиняемых в обвинителей, Владимир Ильич написал заголовок: "Нижегородские рабочие на суде" и сделал надпись для наборщика: "Ф е л ь е т о н и с е й ч а с ж е в отдельный оттиск".
Фельетонами в ту пору называли нынешние газетные подвалы, которые ставят под чертой в нижней части страницы.
"Фельетон" заверстали в No 29 "Искры", на второй, третьей и четвертой полосах. Владимир Ильич написал к нему краткое предисловие: "Пример Заломова, Быкова, Самылина, Михайлова и их товарищей, геройски поддержавших на суде свой боевой клич: "Долой самодержавие", воодушевит весь рабочий класс России для такой же геройской, решительной борьбы за свободу всего народа, за свободу неуклонного рабочего движения к светлому социалистическому будущему".
И тут же принялся за передовую для этого номера. Но прежде чем перейти к речам заломовцев, написал о громадной стачке в Ростове-на-Дону, назвав ее "битвой" за политическую свободу.

Надежда снова хотела войти в комнату, но, увидев, что его перо бежит по бумаге, приостановилась в дверях. Владимир, услышав, что шаги ее вдруг затихли, спросил, не отрывая пера от бумаги:
- Что-то хотела сказать, Надюша?.. Обед? Извинись от моего имени перед Елизаветой Васильевной. Не могу оторваться. Я минут через пять. Самое большее - через десять.
И продолжал писать: "На событиях такого рода мы действительно наблюдаем воочию, как всенародное вооруженное восстание против самодержавного правительства созревает не только как идея в умах и программах революционеров, но также и как неизбежный, практически-естественный, с л е д у ю щ и й шаг самого движения..."
Это было уже не первое его слово о близком вооруженном восстании.
После обеда дал статью Надежде; когда она прочла, спросил:
- Думаешь, соредакторы не будут возражать? Засулич или Юлий? Хотя против чего же тут возражать? Всенародное вооруженное восстание в самом деле уже не за горами.
3
Вторую неделю моросил дождик. По оконным стеклам змеились струйки воды. В квартире было холодно и сыро.
У Елизаветы Васильевны ныли простуженные суставы - никакие мази не помогали. Она сидела у камина и ворчала:
- А на дворе-то хуже некуда. Добрый хозяин собаку не выпустит... Какая уж тут прогулка, дышать нечем. Не простудился бы, - тревожилась за зятя.
В городе дымили сотни тысяч каминов. Дождь да туман осаживали густую тучу дыма до самой земли - таким смогом дышать было ужасно трудно, в особенности пожилым людям, и Елизавета Васильевна, боясь задохнуться, не выходила из дома. В такие дни на кладбищах едва успевали хоронить покойников. Крематорий дымил беспрерывно.
Елизавета Васильевна добавила в камин два полешка, озабоченно посмотрела на оставшиеся на полу: надолго ли их хватит? А вечер-то еще впереди.
- Ну что это за жизнь! - хлопнула руками по коленям. - Как цыганка, прости господи, в поле у костра! Только что за воротник дождь не льется.
- Ты что-то расстроилась? - тревожно спросила Надежда, села на низенький стул, протянула руки к огню.
- Да как же не расстраиваться. У тебя руки молодые и то зябнут... От такой жизни можно околеть... Уеду.
- Пожалуй, это для тебя, мамочка, будет лучше.
- Мне-то лучше... А вы тут как останетесь? Сердце о вас изболит. Вон Юлий не выдержал, опять укатил в Париж. И Вера Ивановна на отлете. А вы...
- Не исключено, что и мы переедем в Женеву. Все настаивают, и Володя может уступить им.
- И хорошо сделаете.
- Тут у нас налажено...
- И там наладите... В Швейцарию люди ездят поправлять здоровье, и вам обоим следует подумать... - Елизавета Васильевна положила полешко, погрела пальцы и начала вязать чулок. - Диву даюсь, как Они тут сами-то живут без печей, с этими проклятыми каминами. Тут грудь греется, спина холодеет.
- Я тебе накину пальто...
- Этого еще недоставало! А на ночь опять в сырую постель по две грелки...
- Уже положила, постель успеет согреться.
Вернулся Владимир, поставил зонтик в сторонку, чтобы с него стекла вода, отряхнул дождевые капли с подола пальто. Надежда хотела уступить ему место у камина - он отказался:
- Нет, нет, ты сиди. А мне так лучше.
Похаживая по комнате, мял озябшие пальцы, пересказывал новости, вычитанные из газет.
О непогоде при нем не обмолвились ни словом, чтобы он не почувствовал упрека: вот, дескать, куда завез - ужасней этой зимы невозможно себе представить!
- Да, - вспомнил Владимир о самом важном, - сегодня мне попали в руки наши русские "Новости дня", и я прочел там о твоем, Надюша, любимом поэте.
- Если о Некрасове, - повернула к нему голову Елизавета Васильевна, то и для меня он, после Пушкина, самый любимый.

- Помню, помню, - поправился Владимир Ильич. - О нашем общем самом любимом, после Пушкина, поэте.
Оторванные от родной страны, они уже давно испытывали острый литературный голод. Новинки русской прозы до них доходили редко, томики Пушкина, Некрасова, Надсона, Гёте и Гейне, взятые с собой главным образом для надобностей шифровки писем, были всеми - про себя и вслух - перечитаны от корки до корки много раз. И часто стихи, знакомые с детских лет, здесь, на чужбине, волновали, как новые.
- И что же там, в газете? - живо спросила Надежда, повертываясь от камина. - Что-нибудь в связи с предстоящим двадцатипятилетием со дня смерти?
- Да. И какому-то чудаку запало в голову проверить, не устарел ли Некрасов, не отжили ли свой век его стихи.
- Некрасов отжил?! - снова оглянулась Елизавета Васильевна. - Да кто же это мог выговорить? И неужели всерьез?!
- Настолько серьезно, что редакция даже попросила ответить на этот вопрос литераторов и художников. Бунин ответил: "Я очень люблю Некрасова".
- А разве можно его не любить? - перебила Елизавета Васильевна. - С юных лет живем с его стихами в сердце. В них - народная жизнь со всеми ее печалями и простыми радостями.
- Совершенно верно! - подхватил Владимир. - Мы в детстве дома состязались, кто скорее и больше выучит стихов Некрасова. И на его стихах взросло целое поколение революционеров!.. Да, - продолжал он о газетных строках, - Чехов как бы вторит Бунину: "Я очень люблю Некрасова, уважаю его, ставлю высоко". А о том, что поэт уже отжил или устарел, по мнению Чехова, не может быть и речи.
- Иначе он и не мог ответить. - Позабыв об огне, Елизавета Васильевна встала, повернулась спиной к камину. - Знает народ. Жаль, что нет под руками ни одной его книги.
- И кто там еще? - спросила Надежда.
- Леонид Андреев. Сначала написал, что он вообще не любит стихов, что ему трудно их читать...
- Это Некрасова-то трудно?! - хлопнула руками от удивления Елизавета Васильевна.
- О Некрасове сказал, что теперь его читают меньше, чем раньше, а уважают больше, чем прежде. Вот так. А самый великолепный ответ дал Репин. Я переписал для вас. - И Владимир Ильич прочел на узеньком листочке: "Сколько бы ни иронизировали эстеты, скептически гримасничая над поэзией Некрасова, воспитательное значение поэта-гражданина велико и вечно. И если анархия мысли, вовлекшая наше полуобразованное общество уже в декадентство, не сведет русское искусство к слабоумию, то разумное общество всегда будет с великим почетом относиться к своему могучему поэту".
- Молодец Илья Ефимович! - Надежда приняла листочек, чтобы потом перечитать на досуге. - Спасибо, Володя.
- Когда я читал это, мне прежде всего вспомнились бессмертные строки, посвященные памяти Добролюбова: "Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!" Лучших строк я не знаю.
- А о женщинах у Некрасова... О простых крестьянках... Помните? Елизавета Васильевна выпрямилась, как на эстраде:
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...
Никто не мог написать ничего равного.
Надежда подхватила звучным голосом, прерывавшимся от волнения:
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
Так, сменяя одна другую, мать с дочерью дочитали главу до конца. Тем временем погас камин, и в комнате стало холоднее. Надежда, спохватившись, сказала, что она вскипятит чай к ужину.
- Лучше пойду я, - остановила дочь Елизавета Васильевна. - А вы тут поговорите. Да про камин опять не забудьте.

Надежда положила на угли старую газету и склонилась, чтобы вздуть огонь. Владимир подсел к камину.
- У Некрасова хороши все строки о крестьянском труде, тяжелом, изнурительном... Но без уныния. И написано с полным знанием дела... Да. В социалистическом обществе поэтизация свободного, созидательного труда явится основным делом новых поэтов.
- Нам, Володя, надо отметить годовщину Некрасова.
- А кому бы, по-твоему, заказать статью?
- Вере Ивановне.
- Н-да... Боюсь, что придется ждать до следующей годовщины. Не лучше ли Александру Николаевичу? Он немножко оперативнее.
Надежда кивнула головой, и Владимир Ильич, пока женщины готовили ужин, набросал письмо Потресову в Швейцарию:
"Не напишете ли заметки, статьи или фельетона для "Искры" по поводу 25-летия смерти Некрасова? Хорошо бы поместить что-либо. Напишите, возьметесь ли".
А на дворе по-прежнему моросил уныло-тихий дождик и по оконному стеклу тонкими струйками текла вода.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Анну Елизарову шпики искали в Москве - не нашли. Искали в Самаре успела скрыться. След ее затерялся, и особый отдел департамента полиции, возглавляемый теперь Зубатовым, разослал всем губернаторам, градоначальникам, обер-полицмейстерам, начальникам жандармских управлений на все пограничные пункты и начальникам всех охранных отделений розыскную бумагу:
"...департамент покорнейше просит подлежащие власти принять меры к выяснению места жительства возвратившейся из заграницы жены губернского секретаря Анны Ильиной Елизаровой, урожденной Ульяновой, и, по обнаружении оной, подчинить Елизарову негласному надзору полиции, установив за деятельностью ее и сношениями тщательное секретное наблюдение, уведомив о сем департамент полиции".
Филерам вручили портреты Анны Ильиной Ульяновой, снятые тюремщиками в фас и профиль еще пятнадцать лет назад, когда она носила шапочку гарибальдийку, и описание примет, где упоминались волнистые волосы, большие уши и близорукость. Было отмечено также знание основных европейских языков.
Поезд пришел в Томск с большим опозданием. Анна Ильинична, не увидев Марка на перроне, не посетовала на него, не мог же он на целый день отлучиться из Управления железной дороги, где служил уже четвертый месяц. Она наняла извозчика и поехала на квартиру. Хозяйка огорчила ее - Марк Тимофеевич в служебной отлучке. Кажется, в Ачинске. Обещал приехать в ближайшие дни.
Анна осмотрелась. Обычная обстановка горницы в простом мещанском доме. В переднем углу икона Николая-чудотворца в серебряном окладе. Под ней на угловом столике с кружевной накидкой Библия в кожаном переплете с медными застежками; в другом углу раскидистый фикус с длинными глянцевыми листьями; за дверью круглая печка в жестяном кожухе. Приложила руку горячая.
- У нас завсегда тепло, - сказала хозяйка.
Пол застелен домоткаными шерстяными половиками, на кровати горка взбитых подушек. Простенок над столом занимало длинное зеркало в деревянной резной раме. Глянула в него и только тут вспомнила, что, огорчившись отсутствием мужа, забыла в прихожей снять шляпу. Сняла. Поправила кудряшки волос возле ушей.
На столе ее давняя карточка. Значит, тосковал тут по ней. Поднявшись с кровати, надо думать, брал карточку в руки и мысленно здоровался: "Доброе утро, Анюта! Где-то ты сейчас? Здорова ли?" Он не мог не тревожиться. Ее последнее письмо пришло уже без него, вон лежит перед карточкой нераспечатанное.
Теперь в этой комнате тоска навалится на нее: скоро ли он вернется? В незнакомом городе дни покажутся утомительно длинными. Не с кем словом перекинуться... Ну что же, ей не привыкать, бездомной кукушкой металась по загранице целых два года...

Мотнула головой. Нет, напрасное уныние. Здесь она не одинока, как бывало в немецких пансионах. Своя страна! Университетский город, прозванный "сибирскими Афинами"! И где-то здесь Надя Баранская. Остается только отыскать ее. Непременно сегодня же. Адрес она помнит. Спросила у хозяйки, как пройти на нужную ей улицу, - та разулыбалась во все круглое и скуластое лицо.
- К Надежде Николаевне?! Как же, знаю, знаю. Захаживала сюда. Не подумайте худого - не одна захаживала, а с братом. С Николаем Николаевичем.
"С Николаем Большим!" - обрадовалась Анна, вспомнив рассказы Кржижановских о томских искровцах.
- Давно ли они захаживали?
- Да нет... Дай бог памяти... На прошлой неделе. Еще праздник был. Усекновение главы крестителя господня. Посидели добренько. Песни пели, только все незнакомые. Сначала-то трое пели, а после того один Марк Тимофеевич...
- "Скорбит душа"?
- Эдак, эдак... И по утрам идет умываться да поет тихонечко. Больше все не по-нашему.
"Все такой же он! Пением, видать, тоску отгонял..."
Анна снова спросила, как пройти к Баранским, и хозяйка пальцем поманила ее к окну.
- Вон пройдешь этим переулочком, там за голубым домом повернешь направо... Но это уж после, без обеда я тебя, голубушка, не отпущу...
...Дома в Томске деревянные, в центре города двухэтажные, украшенные резьбой. Наличники, карнизы, парадные крылечки - все в деревянных кружевах. Видать, искусные тут плотники да столяры!
И голубых домов не пересчитаешь. Отчего полюбилась сибирякам голубая краска? Уж не оттого ли, что возле города тайга?
Железная дорога чуть не до самой станции стиснута вековыми кедровниками, о которых соседи по купе разговаривали с гордостью.
Прежде чем пойти к Баранским, Анна решила познакомиться с городом. По Миллионной улице поднялась к университету, постояла, любуясь его белым фасадом. Вспомнила, что борьба за открытие университета в Сибири увенчалась успехом в 1888 году, когда Володе не разрешили поступить ни в один из российских университетов и запретили выезд за границу для продолжения образования. В семейных разговорах называли новый университет, но тут выяснилось, что в нем пока только один факультет - медицинский. Если бы юридический...
Анна пошла по аллее молодой березовой рощи перед университетом. С прямых, как свечки, деревьев тихо падали на землю золотистые листья.
От университета направилась к собору. Стены его возвышались, как крепостные бастионы. На колокольне звонарь не спеша подергивал веревки, сзывая богомольцев на вечернюю молитву.
Прошла мимо трехэтажного - самого большого в Томске - здания Управления железной дороги, протянувшегося на целый квартал. Тут работает Марк, и город показался знакомым, приятным.
Сердце Анны было спокойно, - здесь не тащились за ней филеры, так раздражавшие в свое время в Петербурге и Москве.
2
- Анюта! - Высокая девушка с копной волос, собранных на затылке в большой узел, обняла гостью, едва та успела перешагнуть порог. Наконец-то приехала! А Марк Тимофеевич заждался.
- Здравствуй, Надюша! - Анна поцеловала девушку. - Заждался, говоришь? А самого нет дома...
- Приедет не далее как завтра. Да, завтра, - подтвердила Баранская. Уж мы-то знаем...
Ее брат, высокий двадцатилетний парень с волнистыми волосами и подкрученными усиками, принял шубу гостьи, повесил на вешалку, смастеренную из рогов косули, и, повернувшись, представился с легким поклоном:
- Николай.
- Большой, - добавила шепотом сестра. - Для полного знакомства.
Анна протянула руку тыльной стороной кверху, но парень не стал целовать, а так даванул своей громадной ручищей, что гостья вскрикнула:
- Ой, пальцы!
- Извините, - снова поклонился Николай, выпуская ее руку. - По привычке...
Анна потрясла пальцами:

- Не рука у вас, а... медвежья лапица!
- Да уж такой уродился... нескладный.
Пока гостья близоруко поправляла волосы перед зеркалом в передней, Надежда незаметно шепнула брату:
- Сестра Ленина!
- О-о!.. Что же ты не предупредила? Пришли бы товарищи.
- Подживи, Коля, самовар, - попросила брата. - Ты это ловко делаешь. - А гостью подхватила под руку. - Проходи, Анюта! Не виделись мы с тобой целую вечность!
- Годков шесть.
Сидя на диване, Анна присмотрелась к лицу девушки.
- А ты по-прежнему прекрасно выглядишь!
- Ой, что ты... Постарела я. Возле глаз гусиные лапки... Ну, не в этом дело. Как твоя мама? Сестренка? Брат? Старший, конечно. Младшего я не знаю...
Анна едва успевала отвечать. А когда начала рассказывать об отдыхе в Логиви, Надежда Николаевна перестала засыпать вопросами - вслушивалась в каждое слово. Потом, положив горячую ладонь на руку гостьи, сказала:
- А у меня и сейчас перед глазами питерский Старик. И голос его как бы слышится. С такой приятной картавинкой... Да, ты знаешь, мы перепечатали из "Искры" программу партии... Как, ты даже не слышала? И они там, возможно, не знают? А ведь это такой факт...
- Я напишу Володе.
- Мы дадим тебе. У Коли где-то в тайнике еще хранится... Мы ведь здесь "Искры"-то получаем экземпляров пять-шесть. А надо не только для Томска - для станций и городов по линии дороги. Вот и перепечатали на мимеографах. С предисловием. С благодарностью "Искре". Так вот, когда я читала, мне вспомнились слова из той первой программы. Помнишь? Ты для переписки приносила от Старика из Предварилки. Ты тогда скрытничала. И только под конец проговорилась, что он твой брат. Теперь мне было приятно угадывать: "Эти строки писал он, Ленин!" А скажи, почему он такой псевдоним выбрал?
- Не знаю... У него их несколько десятков...
Николай принес самовар, и Надежда на минуту замолчала - не упрекнул бы брат за болтливость. Дескать, забыла о конспирации. А перед кем тут конспирировать? Перед сестрой питерского Старика! Даже подумать об этом и то неловко.
Села разливать чай.
- Тебе покрепче? Коля, передай.
Когда Николай передал чашку через стол, Анна невольно подумала: "И как это блюдце не ломается в таких пальцах! Для него, наверно, фарфор как бумажка..."
Поговорили о Марке Тимофеевиче, тяготившемся одиночеством, о Надиной сестре Любе, сумевшей наконец-то ускользнуть от гласного наблюдения и выбраться за границу, и о Степане Радченко, сломленном тюрьмами да усталостью. Кажется, он совсем отходит от революционной работы.
- Он и раньше был до болезненности осторожен, - сказала Надя.
- Да, в отличие от Ивана, - согласилась Анна. - А все-таки жаль его терять.
Николай пошел проводить гостью. Сквозь ротонду поддерживал под руку, и она опять подумала: "Какие у него железные пальцы!"
Сила у Николая Большого, разъездного искровского пропагандиста, действительно была отменная. Через некоторое время он уличит в предательстве провокатора, проведавшего о типографии, и, спасая товарищей от ареста, вмиг расправится с ним голыми руками.
3
Марк жил среди сильных духом, энергичных и непоседливых людей, до конца преданных великому делу борьбы, но далеко не всегда следовал их примеру. Он нередко нуждался в моральной поддержке, и потому долгое одиночество доводило его до отчаяния. Однажды, находясь в командировке, он из Ачинска написал Маняше откровенное письмо: ему хочется забыться и заснуть. И это у него "единственное желание". Его мог расшевелить и избавить от уныния только приезд жены, а она где-то далеко-далеко. И он утешал себя тем, что Анюте нельзя появляться в России. Последнее письмо от нее пришло из Бретани. Она писала: "Верь, мой любимый, мой хороший, будем вместе". А когда? И где? Ведь ему еще целый год

пребывать под этим окаянным гласным надзором! Скрыться из Томска? Тайно перейти границу? Но он не знает, как это сделать. И разумно ли это?..
Вернулся он поздним вечером. Хозяйка уже спала. Услышав стук, зажгла маленькую, пятилинейную лампу и вышла с ней в прихожую; моргнув глазом, загадочно улыбнулась. Он заметил на вешалке незнакомую ротонду на козьем меху, тронул рукой.
- К вам супружница! - не утерпела хозяйка.
Марк, взяв лампу, не снимая ни шапки, ни железнодорожной шинели, вбежал в горницу.
- Ах! - вскрикнула спросонья Анна. - Кто это? - Придя в себя, босая, с распущенными волосами, метнулась к нему. - Марк!.. Родной мой!..
Обхватила за плечи и, припав лбом к грубому, холодному сукну на его груди, заплакала.
- Что ты?.. Что ты?.. Анюта!
Приподняв голову жены, Марк принялся целовать в мокрые щеки, в губы. Анна снова припала к нему.
- Даже не верится, что мы вместе.
- И для меня как сон...
Анна сорвала с Марка шапку, отбросила в сторону и начала быстро-быстро расстегивать шинель, шептала жаркими губами:
- Хочу видеть тебя всего... Прижаться так, чтобы ничто не мешало.
- Я уж сам... Отнесу на вешалку...
...Под утро Анна время от времени толкала мужа локтем в бок:
- Ты еще не задремал? Под мою трескотню...
- До сна ли мне? Такое счастье!..
- А что-то задумываешься. О чем? Что тебя беспокоит?
- Просто так... - Марк погладил плечо жены. - Ты у меня такая смелая...
- Мой приезд ты считаешь безрассудным риском? А я не могла больше без тебя. Пойми - не могла. И решила: будь что будет, а к тебе прорвусь. И вот мы вместе!
- Хорошая моя! Долгожданная!..
4
Анне удалось-таки отвоевать у издателя Горбунова то, что не доплатил ей за перевод, пользуясь тем, что она жила далеко за границей и не имела постоянного адреса. Получив деньги, Анна, по совету матери, сшила себе у дорогого портного длинную шубу на лисьем меху, можно зимовать в Сибири, если... Если даже из Томска голубые турнут куда-нибудь подальше. Только бы вместе с Марком.
Баранские познакомили Анну с местными либералами, и она стала частенько захаживать в редакцию газеты "Сибирская жизнь", приносила свои переводы с немецкого. Принесла и рассказ, переведенный матерью.
Несколько раньше вернулся в Томск врач Броннер. С ним и с его женой Анна была знакома еще по Берлину, откуда они помогали отправлять "Искру" в Россию. И про себя Анна подумала: если с ней случится что-нибудь недоброе, Броннер останется наследником. В редакции "Искры" его знают. Но пока вроде бы ничто не угрожает ей.
Томские подпольщики собирались всякий раз в разных домах. Для этого кто-нибудь из них снимал квартиру подальше от главных улиц и полицейских участков, давал задаток рубля три. И тотчас же под видом новоселья собиралась сходка. Если хозяин поймет и встревожится, не беда: пока бежит до участка или хотя бы до ближайшего телефона, все успеют разойтись незамеченными. Но Анна все же опасалась ходить на "новоселья". Обо всем, что происходило там, ей рассказывал Николай Большой.
О всех томских новостях Анна сразу же написала в редакцию "Искры" и стала ждать от Надежды Константиновны ответа. Адреса были верные, но ответ почему-то не приходил. Анна недоумевала: в чем же дело? Затерялось ее письмо? Или попало в руки жандармов? Если так, то надо быть, елико возможно, осторожнее. Главное - не показываться на глаза надзирателю, когда тот будет приходить со своим журналом, чтобы отметить, на месте ли поднадзорный Елизаров.
Отправила в Лондон второе письмо. По самому надежному адресу. Сообщила, что сбору денег для "Искры" сильно мешают социалисты-революционеры, но то, что удалось собрать, отправляет одновременно с письмом. О получении пусть упомянут в хронике на последней странице газеты. К собранным деньгам добавляет сто рублей, которые удалось раздобыть Марку. Мало. Но это же только начало.

Попросила новые явки в другие города Сибири, поинтересовалась подготовкой съезда. Спешила обрадовать брата самой главной томской новостью: найдены пути-дороги к глубоко законспирированному Томскому комитету. Он, к сожалению, в руках "экономистов", и потому она создает свою искровскую группу "революционных социал-демократов".
И опять стала ждать ответа. Что-то скажет брат? Наверно, одобрит. Не может не одобрить. Ведь в группе все подлинные марксисты. А с "экономистами", когда доведется столкнуться, поведут борьбу.
Но проходили дни и недели, а ответа все не было, и Анна тревожилась больше прежнего. Здоровы ли они там? Целы ли? И согласен ли Володя с ней? Если не согласен, написал бы сразу. Он же ничьих ошибок не замалчивает. Ошибающихся поправляет немедленно. И без всяких скидок на знакомство или родственные отношения. Если нужно, скажет прямо. Не будет подкрашивать ответ розовой водицей. Истина и последовательность для него - дороже всего.
Спрашивала Марка, тревожно глядя в его глаза. Муж успокаивал:
- Пролежало твое письмо где-нибудь у промежуточного адресата. Путь-то дальний. А ответят они обязательно.
Пройдет пять недель, и Надежда Константиновна сядет за письмо в далекий Томск. Она, посоветовавшись с Владимиром, не одобрит затеи сибиряков. Но напишет мягко: "Необходимо войти в Томский комитет и там вести свою линию; по теперешним временам это удобнее, чем образовывать отдельную группу". И поспешит обрадовать: "В России образовался Организационный комитет, цель которого подготовить объединение..."
К ее столу подойдет Владимир, прочтет последнюю фразу и скажет:
- Этого для Анюты мало. Нужно хотя бы одним словом ответить на ее главный вопрос.
Возьмет у жены перо, после неопределенного "объединение" напишет: "съезд".
- Вот так. Важнее этого сейчас нет ничего. И они там тоже должны готовиться к съезду.

5

Над Томском разливался торжественный благовест. Звонили на колокольнях всех церквей. Размеренно бухал громадный колокол кафедрального собора. Обыватели, принарядившись во все лучшее, как в рождественские или пасхальные дни, готовились к встрече владыки. Преосвященный Макарий, архиепископ Томский и Барнаульский, возвращался к своей пастве после полугодового пребывания в стольном Петербурге, где он был удостоен монаршего внимания: на его высоком черном клобуке снял бриллиантовый крест.
Готовились и томские подпольщики: они выпустили прокламацию, в которой Макарий был назван церковным будочником самодержавия, то есть сторожем у полицейской будки. Жандармы, городовые и филеры - все находились на вокзале и возле кафедрального собора. В такой день можно незаметно исчезнуть из города, и Елизаровы наняли ямщика. Пара буланых была запряжена в кошеву с высокой спинкой, обитой теплой кошмой. Чемоданы лежали под козлами. Пассажиры, запахнув косульи дохи, одолженные ямщиком, сидели на пахучем луговом сене. Пышные воротники прикрывали головы по самые макушки. В такой одежде путники обычно отправлялись на далекий север за многие сотни верст. А им путь недолгий - до первого разъезда. Там, дождавшись вечернего поезда, они займут свои места в вагоне первого класса, среди благонадежных пассажиров. Оторвавшись от филеров, почувствуют себя вольными людьми.
Пройдет два дня, и Анна отправит сестре рождественскую открытку:
"С праздником, дорогая Марусенька! Пишу тебе на карточке байкальской скалы, - не видела ее в такой красе, - зимой не так много увидишь. Но все же Байкал красив; мне все вспоминалась твоя песенка о "священном море Байкале", когда я переезжала его. Желаю, чтобы и на наступающих праздниках тебе пелось, чтобы у тебя было веселее на душе, и всего, всего самого хорошего! Будь здорова, моя хорошая, и напиши же поскорее и побольше твоей А.".
А куда ей писать? Где адрес?
Несколькими днями раньше Анна отправила матери открытку, написанную на французском языке, и один французский роман. Вот там-то, видимо, и содержался адрес.
Между тем поезд, в котором возвращался владыка, подходил к перрону, и старик, взволнованный предстоящей встречей с мирянами, тревожно мял озябшие пальцы. Хотя для волнения не было повода. Слава его гремела на всю Сибирь, а его служение церковные журналы называли подвигом.

Более сорока лет назад смиренным иеромонахом он прибыл в Горный Алтай, крестил язычников в долине Катуни и навсегда полюбил Чемальский миссионерский стан. Обосновавшись там, изучил язык алтайцев, участвовал в составлении первого алтайского букваря и грамматики, переводил богослужебные книги. И, приняв кормило епархии, продолжал каждое лето наезжать туда. Приказал с берега бурной Катуни перекинуть для себя мостик на крошечный скалистый островок да воздвигнуть там часовенку и часто удалялся в нее для смиренной беседы со всевышним. До грозного гнева он не терпел инакомыслящих даже в христианской религии и создал на Алтае противораскольничье братство святого Дмитрия - прообраз будущего черносотенного союза Михаила Архангела. И на его груди сияли все высшие награды, включая Владимирскую звезду.

Еще в молодые годы он преуспевал в ораторствовании, во время проповедей умел, вздымая руки к высокому церковному своду, закатывать очи под широкие брови. С годами брови разрослись и космами нависли на глаза. Тонкие, синеватые губы едва виднелись в просветах обвисших усов. Седая раскидистая борода поредела. Только голос оставался по-прежнему гулким и не знал старческой дрожи. В Санкт-Петербурге его проповедями заслушивались не только простые богомольцы, но и высокопоставленные особы, а на проводах рыдали юродивые, ползли к нему на коленях, чтобы прикоснуться губами к подолу ризы. Знатные дамы считали за честь склонить голову под его благословение.

Чего же ему волноваться? А сердце не унималось. Как-то встретит его натосковавшаяся паства? Его встретили песнопениями, преподнесли икону Николая-чудотворца в золотом окладе. Он с подножки вагона осенил мирян крестным знамением. Колокола во всю мощь гудели над городом...

У Троицкого кафедрального собора от самой паперти была развернута ковровая дорожка. Благословив мирян, которые не смогли втиснуться в собор, владыка по узкому проходу шествовал к алтарю, сиявшему золотом среди сотен мерцавших и чадивших восковых свечей. С обеих сторон тянулись дрожащие руки, чтобы прикоснуться к его одеянию.

Когда после молебствия он в блестящей ризе, ниспадавшей до щиколоток, и в золотистой митре вышел к аналою, за которым обычно произносил проповеди, миряне замерли в тишине.

- Бодрствуйте, православные! - вскинул владыка дрожащие руки. - А не дремлите, чтобы во время духовной дремоты или сна вашего не подкрался невидимый и не похитил сокровища вашего спасения.

Он выждал несколько секунд, чтобы миряне успели перекреститься, и снова вскинул руки.

- Стойте, а не лежите от уныния, не предавайтесь беспечности в деле вашего спасения!

И после новой паузы воскликнул, едва не сорвав старческий голос:

- Мужайтесь! Будьте готовы встретить и отразить всякое нападение со стороны вражьей силы!..

Какой же это силы? Владыка предоставил догадываться самим мирянам, только упомянул еще о злобствующих смутьянах да супостатах и умолк. Миряне пали на колени...

Не пройдет и трех лет, как владыка вот так же, только уже не с амвона, а с паперти собора благословит черную сотню на побоище ненавистных ему "смутьянов", нашедших убежище в здании железнодорожного Управления. Взбудораженная до неистовства толпа черносотенцев подожжет здание со всех сторон и примется за погром. В огне и побоище погибнет, будет ранено и изувечено около трехсот человек:

6

Гнев, подобно огненному валу весеннего пала по сухой траве, катился по стране. Достиг и Сибири. Третий день клокотали улицы Томска.

...Еще в начале зимы в университете появился доносчик. Один из студентов изобличил его, назвал шпионом. Доносчик обиделся: дескать, оклеветал невинного. Стал искать защиты у мирового судьи.

В день суда студенты, покинув аудитории, отправились защищать обвиняемого в клевете, до предела переполнили судебную камеру, столпились у входа. Засунув по два пальца в рот, звонким мальчишеским свистом прерывали несправедливые слова судьи. Тот вызвал полицию. После некоторого промедления, когда у судьи, прервавшего заседание, уже иссякло терпение, прибыл сам полицмейстер с нарядом полиции. Студенты, покинув судебное присутствие, заполнили улицу. Один взмахнул над головой красным шарфом:

- Запевайте!

Из соседнего палисадника выломил штакетину и, как флаг, прикрепил к ней шарф. Под этим своеобразным флагом двинулись в сторону университета.
Их было около двухсот человек. Запевалы грянули дружно и возмущенно:
Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами...
Эту песню годом раньше студенты привезли в университет со станции Тайга, где в то время работал на железной дороге ее автор - Глеб Кржижановский.
И странное дело - никто на них не прикрикнул, никто не потребовал замолчать. Более того - полицмейстер поехал впереди демонстрантов, не отрываясь от них.
Песня оборвалась на несколько секунд. Студенты переглянулись. Что это такое? Демонстрация с разрешения властей? Как в Англии?! Невероятно! Но факт оставался фактом. Полицмейстер ехал впереди, казалось, с невозмутимым спокойствием.
На тротуарах останавливались прохожие, недоуменно хлопали руками:
- Господи, что творится!
- Спаси и помилуй!..
Молодые парни подстраивались в конце колонны:
- Молодцы студенты!
- Терпенье, видать, кончилось.
Запевалы гремели:
За тяжким трудом, в доле вечного рабства
Народ угнетенный вам копит богатства...
Сотни голосов подхватывали:
Но рабство и муки не сломят титана!
На страх, на страх, на страх вам, тираны!
На мостике через Ушайку по обеим сторонам у перил столпились горожане. Выше всех голова Николая Большого. Он, сдернув с себя шапку, помахал колонне:
- Эй, ребята! Поберегитесь!
Но беречься было уже поздно. Полицмейстер, съехав с моста, махнул рукой в белой перчатке и, повернув коня в сторону базара, зашумевшего, как потревоженное осиное гнездо, гаркнул:
- Братцы, с богом! Лупи смутьянов!
От мясных лавок, от соляных, скобяных и шорных лабазов мчались, засучивая рукава, бородатые хозяева, дюжие приказчики успели заранее повыдергивать супони из хомутов и превратить их в плети. Скобянщики вооружились кто ухватом, кто клюкой, кто топорищем. Запоздавшие подготовиться выламывали штакетины у соседнего палисадника.
Раскрасневшийся, как печная заслонка, хозяин рыбного лабаза впопыхах схватил за хвост длинную щуку и бежал к свалке, взмахнув ею, будто саблей, и орал широко открытым, мохнатым от рыжей щетины ртом:
- По го-оло-овам!.. Норови, братцы, по голова-ам!.. Так вот! Эдак вот!
Стоявшая наготове пожарная команда и ломовые извозчики вмиг загромоздили улицу бочками да санями, встречали ударами кулаков в зубы. А обороняться студентам нечем - под ногами гладко укатанный снег. Ничего не ухватишь. И бежать было некуда - только отступать от гогочущих побойщиков, подкреплявших удары трехэтажным матом.
Молодой голос с хрипотцой стегнул полицейских по ушам:
- Долой самодержавие!
Те, отбежав к базару, подзывали с биржи легковых извозчиков, избитых до крови студентов отправляли в больницу, остальных - в городскую кутузку.
А между базаром и мостом продолжала неистовствовать зарождавшаяся черная сотня. Настигая студентов, "братцы" били со всего плеча, валили с ног, приговаривая:
- Это за царя-батюшку!
- Штоб бога помнили!..
Николай Большой с несколькими студентами успел незаметно спрыгнуть на лед и укрыться под мостиком, дыша тяжело и прерывисто, шепотом укорял:
- Как же вы оплошали... Безоружные в ловушку зашли... Вперед наука: запасаться надо, кто чем может. А вечером - на сходку.
Ночью шумели сходки. На шести конспиративных квартирах печатали прокламации: "К народу", "К рабочим", "К лишенным прав". Едва подсохшие листовки расклеивали по городу, опускали в почтовые ящики. В них - призыв к новой демонстрации.

Через день студенты университета и Технологического института собрались не в аудиториях, а в актовых залах. После громовых речей все вышли на улицу, слились в единую колонну. Рабочие, откликнувшись на призыв, принесли кумачовый флаг. Возраставшей лавиной двинулись на Соборную площадь. Ее заполнили от края до края. Распахнулись форточки в окнах Управления дороги. Оттуда неслось громовое: "Долой самодержавие!" Железнодорожники вырывались толпами из дверей, как пчелы из растревоженных ульев, смешивались со студентами. Откуда-то притащили стол. На нем то и дело сменялись ораторы. Площадь гудела все громче и громче.
В лакированной кошевке примчался вице-губернатор барон Дельвиг, потрясая кулаком, обтянутым белой перчаткой, надрывал голос:
- Господа, минуту внимания!.. Господа, я не позволю... Я запрещаю против царя-батюшки...
Надтреснутый голос его тонул в грозной буре криков, и он умчался прочь.
Через несколько минут из улиц и переулков на площадь выступили шеренги солдат местного батальона с винтовками наперевес. Обыватели, пришедшие поглазеть на бунтовщиков, кинулись с площади врассыпную. Студенты кидали в озябшие до синевы лица солдат:
- Ну, коли... если совести нет!
- Поймите, служивые, правда на нашей стороне.
Полицейские разгоняли замешкавшихся горожан:
- Разойдись! Будут стрелять...
Усатый штабс-капитан подавал команду:
- Оцеплять бунтовщиков!
Шаг за шагом солдаты штыками оттесняли студентов в глубину улицы и наконец притиснули к зданию клиники. Полицейские приготовились хватать тех, кто им казался возмутителем бунтовщиков, но распахнулись двери и студенты стали протискиваться в клинику.
- Ну и слава богу! - перекрестился полицмейстер. - Там от нас не уйдут. Закоперщиков арестуем, остальных перепишем...
Однако ни арестовать, ни переписать не удалось - студенты из клиники прошли через университетский двор и снова оказались на улице. Перед университетом вспыхнул новый митинг: ораторы, следуя призыву "Искры", говорили о крепнущем союзе студентов и рабочих. Наряд полиции бросился туда. А тем временем, как костер, в который добавили сухого хвороста, повторно запылал митинг на Соборной площади...
Так, собираясь то на одной, то на другой улице, студенты митинговали дотемна, требуя свободы слова и собраний. Громко заявляли: если полиция не уймется, а ректор не отчислит доносчика, то они, универсанты и технологи, объявят забастовку.
Тем временем в университете собрались профессора. Ректор пытался приглушить возбуждение: он займется, он примет меры...
Но успокоить не удалось: профессора отправили в Петербург возмущенную телеграмму.
А полиция к ночи запаслась адресами и принялась вылавливать закоперщиков.
В городе было введено чрезвычайное положение: солдатам выдали боевые патроны, по улицам круглые сутки проносились конные жандармы, то и дело проходил усиленный военный патруль.
Николай II на докладе министра просвещения написал: "Надеюсь, что вами будут приняты надлежащие меры взыскания", и в Томск раньше министерских чиновников примчался шеф отдельного корпуса жандармов генерал фон Вааль, тот самый, в которого в Вильно стрелял Леккерт в отместку за массовую порку демонстрантов. Здесь генерал, повышенный в должности до главного жандарма, не решился применить розги. И расправу с "зачинщиками беспорядков" чинили втихомолку. Из шестидесяти семи схваченных студентов большую часть отправили в арестантские роты, остальных - в якутскую ссылку.
...Надежда Константиновна переписала для набора письма сибиряков. Владимир Ильич, поставив заголовок "Томские события", на минуту повернулся к ней.
- Вот и Сибирь всколыхнулась! И примечательно, что рабочие, хотя и мало их там, поддерживают студентов. - Посмотрел жене в глаза. - И последнее письмо тоже не от Анюты? Не ее почерк?
- Написал ее наследник. Но ты, Володя, не волнуйся...
- Н-да... - Владимир задумчиво потер висок подушечками пальцев. Похоже, в Томске проследили... Где же она? Что с ней? Что с Марком?..

А Елизаровы уже находились в Порт-Артуре, и Марк Тимофеевич поступил на работу в управление Восточно-Китайской железной дороги.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

В камере пахло парашей, пылью, давно осевшей на потолке и стенах, да измызганным соломенным матрацем.

У Димки дрогнули крутые ноздри, она передернула плечами, словно вдруг оказалась в погребе. "Убегу", - сказала себе с уверенностью, будто это не составляло особого труда.

Но вот тюремную охрану потряс дерзновенный большой побег, совершенный из мужского корпуса, и в Лукьяновке за малейшую провинку стали бросать в карцер. На прогулку выводили поодиночке и только на пятнадцать минут, передачи с воли ограничили, в камерах проверяли решетки, прощупывали матрацы и подушки. А Димка по-прежнему повторяла:

"Убегу... Что-нибудь придумаю..."

Ее мучила совесть: не оправдала надежд, оказалась неосмотрительной влетела с "Искрой" за пазухой. Оправданий для нее нет. У жандармов улики в руках. И ей остается единственное - не называть себя. Установят личность закатают лет на пять. А то и больше. И второй раз сошлют подальше, куда-нибудь к черту на кулички. В какой-нибудь Верхоянск. А в Лондоне, несомненно, в душе укоряют ее: "Напрасно отпустили. Понадеялись на опытность..." Волька, утирая слезинки, спрашивает отца, скоро ли приедет мамочка. А она засела крепко... Нет, как бы ни были крепки да высоки эти стены, а она убежит.

Проходили месяцы. Один длиннее другого. Димка продолжала ломать голову над планами побега. Бессонными ночами обдумывала очередной план до мелочей, а утрами браковала: "Глупо. Нереально. Надо что-то другое..." А что?.. От бесконечных волнений у нее пропал аппетит. Она похудела. Когда гладила обеими руками лицо, ей казалось, что кожа обтянула скулы. И все же успокаивала себя:

"Это пустяки. А вот побег... В конце концов, из любого положения можно найти выход".

И в январе у нее сложился единственно возможный, как она думала, план побега. Для его осуществления требовалась предельная быстрота действий. И Димка, дождавшись ночной тишины, начинала тренироваться: одевалась как бы на выход, а потом сбрасывала ротонду и шляпку, срывала пенсне. Все быстрее и быстрее...

Наконец она объявила, что готова дать показания. Дни она отмечала черточками на стене...

Наступил понедельник 13 января. "Тяжелый" и "несчастливый" день. А ей объявили:

- На допрос.

"Ничего, - сказала себе, чтобы успокоиться, - будет легким и счастливым днем".

На дворе был такой злющий мороз, что оконное стекло под потолком превратилось в льдинку. И мороз ей на руку!

Поверх черной коверкотовой кофточки накинула на плечи вязаный платок, надела серую ротонду и серую шляпку с вуалеткой. Вышла в сопровождении двух конвоиров. Тюремная карета ждала у ворот.

Привезли в Старокиевский участок, где второй этаж занимало жандармское управление. Карета въехала во двор, хорошо знакомый Димке. Ворота, как всегда в дневную пору, остались открытыми. В дальнем углу двора были дощатые нужники, разделенные стенкой с двумя намалеванными буквами - "М", "Ж". Возле крыльца похаживал городовой.

К допросу все было готово. Прибыл прокурор. В углу за столиком жандарм положил перед собой бланк протокола допроса. Генерал Новицкий, довольный тем, что упрямую арестантку удалось-таки сломить, указательным пальцем подтолкнул вверх кончики нафабренных усов, спросил:

- Ну-с, кто же вы такая? Ваше подлинное имя, отчество и фамилия?

Димка назвалась. Охотно и простодушно ответила на все формальные вопросы.

- Давно бы так! - Генерал навалился широкой грудью на кромку стола. Ваше чистосердечное раскаяние и откровенные показания облегчат вашу участь. Итак, с кем вы были непосредственно связаны? Бауман, Блюменфельд... Эти преступные личности нас уже не интересуют. С кем из не раскрытых нами?

Димка без запинки назвала придуманные клички трех человек и несуществующие явки, рассказала о местах встречи. Новицкий напомнил о своем предупреждении: за ложные показания будет привлечена к ответственности по закону.

- Поймите, ваше превосходительство, - Димка прижала руки к груди, голос ее дрогнул, на ресницы выкатились слезинки, - как тяжко молодой женщине... Я хочу радостей жизни... К следующему разу все припомню...
После допроса она медленно спускалась по лестнице. Один конвоир шел впереди, другой позади. На повороте лестницы через окно увидела, что карета по-прежнему стоит у крыльца, а кучера не видно. Наверно, ушел в подвальный этаж погреться. Как это вовремя! И городового, к счастью, тоже не видно.
Обнаружив, что кучера нет на месте, один конвоир пошел позвать его, второй остался охранять. Димка, глухо ойкнув, схватилась за живот и попросилась в нужник. Солдату ничего другого не оставалось, как идти за ней по пустынному двору. Из нужника не убежит.
Она шла быстрым и легким шагом. И едва успела скрыться за стенкой, на которой была буква "Ж", и открыть там скрипнувшую дверь, как тотчас же стукнула вторая дверь и, слегка прихрамывая, вышла женщина в черной кофточке, подвязанная пуховой шалью, без очков и не спеша направилась к крыльцу. Наверно, какая-то из полицейского участка. Одна вошла, другая вышла. Волноваться нечего. И конвоир ждал, не сводя глаз с нужника.
Не доходя до крыльца, Димка миновала пустую карету и юркнула в ворота. Там тоже никого не оказалось.
На улице - редкое счастье! - извозчики поджидали седоков. Димка впрыгнула в нарядные санки, прикрыла колени полостью и дотронулась до спины бородача:
- На Крещатик! На чай добавлю четвертак!
Застоявшийся конь рванул полной рысью, позади вился снежок...
На людном Крещатике, оставив извозчика, она, так ловко изменившая обличье, сумеет затеряться среди пешеходов, скроется в переулке и быстренько дойдет до явочной квартиры. Если она не провалилась... Только не настигли бы...
Тем временем второй конвоир, ругая и поторапливая кучера, вышел во двор и, не обнаружив в карете арестантки, подбежал к первому конвоиру, сторожившему у нужника:
- Ты чего тут?! Где она?
- Попросилась до ветру. Невтерпеж ей было...
Подождали. Потом поторопили окриком - никто не ответил. Второй конвоир метнулся за стенку, стукнул прикладом в дверь.
- Выходи!..
И опять никто не отозвался. Распахнул дверь - на досках лежали серая накидка и шляпа с вуалеткой.
..."Неужели, неужели вырвалась?.. Да правда ли это?" - стучало в моей голове, - писала Димка, сидя у торцовой стороны стола Надежды Константиновны. - Я прямо отказывалась верить, что это не сон. В тюрьме я часто видела подобные поразительно яркие сны.
Только на Крещатике, по обыкновению многолюдном, мною овладела жуткая радость. До этого я все время была совершенно спокойна и, если бы меня взяли, нисколько бы не удивилась. А тут, на Крещатике, я заволновалась и потеряла самообладание...
Говорят, Новицкий ужасно бесновался, будто бы сам выбежал на улицу в одном мундире и кричал: "Лови ее, лови ее!", когда меня уже давно не было, потом будто бы отдал приказ: "Достать ее во что бы то ни стало!"
- Ты, Димочка, в счастливой рубашке родилась! - сказала Надежда, приняв от нее исписанные листки для "Искры".
- Под счастливой звездой! - добавила Елизавета Васильевна. - Риск-то какой был. Дай-ка я тебя, голубушка, поцелую.
- Если бы не друзья, мне бы не укрыться. И не вернуться сюда, сказала Димка. - Нам народ - друг. Вот и удалось мне...
Она облегченно вздохнула: хотя и не до конца, а выполнила свой долг. И Владимир Ильич не будет упрекать за неосторожность в Кременчуге, где была схвачена филерами.

2

Январским утром, придя на службу, адъютант генерала Новицкого увидел на своем столе корзину с хризантемами. Откуда это? Дежурный офицер сказал, что принес паренек будто бы из оранжереи. По чьему-то заказу. Презент к юбилею его превосходительства!
А не бомба ли?

Осторожно отделяя стебель от стебля, адъютант заглянул в корзину. Там лежал пакет, склеенный из большого листа плотной бумаги.
Генерал появился в присутствии в отличном расположении духа. Подбородок его был выбрит досиня, усы нафабрены, волосы, зачесанные на косой ряд, слегка взбиты. Тщательно проутюженный портным голубой мундир сиял, как новенький. Едва он успел пройти за свой длинный стол, как адъютант поставил перед ним корзину цветов, щелкнув каблуками, вручил пакет.
- Вашему превосходительству в собственные руки.
- Да?! - Генерал, улыбнувшись, тронул указательным пальцем сначала правый, потом левый ус - Вспомнили старика!.. Отличные хризантемы! Отправьте-ка их ко мне домой.
Кто же почтил его? Сослуживцы? Охранное отделение? А может быть, из-под усов вырвалась теплая улыбка, - губернатор?! Со вкусом подобраны хризантемы!..
Повертел пакет в руках, повел левой бровью, нависшей на глаз. От губернатора был бы форменный конверт. А на этом в правом нижнем углу каллиграфически выведено тушью: "От почитателей". Интересно!
Спросил, не доставлены ли телеграммы лично ему. Нет, пока не поступали. Первым, несомненно, поздравит шеф жандармов. А вдруг да сам... государь? Нет, лучше пока не думать, не загадывать...
Ножницами вскрыл конверт, достал лист, остро пахнущий типографской краской. Адрес! Но почему оттиснут не золотом?.. И шрифт мелкий...
Надев очки, начал читать:
"Киевский комитет Российской социал-демократической партии..."
"Что?.. Что?.. Да как они посмели?! Негодяи!"
А вдруг это ультиматум?.. Нет, адрес: "...генералу Новицкому по поводу 25-летия его жандармской деятельности и предполагаемого оставления им поста начальника Киевского жандармского управления".
И обращение почтительное: "Ваше превосходительство, высокопочитаемый Василий Дементьевич! До нас дошла весть, что Вы, Ваше превосходительство, собираетесь покинуть тот пост, на котором Вы со славой подвизались уже четверть века; она повергла нас в глубокую скорбь. Не имея высокой, хотя, может быть, несколько опасной, чести быть лично известными Вашему превосходительству, мы не видим нужды заискивать перед Вами и говорим от полноты сердца..."
Лоб у Василия Дементьевича взмок, щеки стали лиловыми, и он с размаху стукнул кулаком по столу.
- Пасквиль!.. Наглецы!..
Хотел смять бумагу дрожащими пальцами, но вовремя одумался: нельзя не ознакомиться. Тут может оказаться какая-нибудь зацепка для арестов негодяев, для будущего дознания. И хотя посиневшие губы кривились от возмущения, генерал продолжал читать:
"Многие тысячи лиц подвергнуты Вами за это время аресту, еще большее число - обыскам, несколько сотен людей отправили Вы в более или менее отдаленные места Европейской и Азиатской России. При этом у Вас была своя система. Лишь в редких случаях Вы искали себе жертв в рядах той или другой революционной фракции и систематически избегали трогать нас, членов комитета Социал-демократической партии, уже по многу лет принадлежащих к его составу. Наша новая типография существует в Киеве уже почти четыре года, за эти годы беспрерывной работы шрифт успел стереться, и хотя это Вы обшарили не менее тысячи квартир, но при этом Вы всегда выбирали именно те, где типографии нет и быть не может. Вас упрекают за жестокость, многие говорят о Вашем бездушии и свирепости, некоторые по поводу Вашей деятельности вспоминали того щедринского генерала Топтыгина, которого послали "учинять кровопролития" и который вместо того "чижика съел", но считаем такое сравнение неправильным, так как, во-первых, Вы не раз учиняли действительные "кровопролития", а во-вторых, и съеденный Вами "чижик" своим предсмертным писком немало содействовал пробуждению киевских обывателей от их векового сна.
Либералы и просто мирные обыватели Киева говорят о Вас с ужасом и ненавистью, чуть ли не пугая Вами маленьких детей; с ненавистью и злорадством они повторяют слухи о Вашем покровительстве притонам тайного разврата. Но мы не имеем основания ни ненавидеть Вас, ни бояться. Напротив, именно Вы, благодаря всем только что отмеченным чертам Вашей

деятельности, помогли нам стать на ноги, окрепнуть и развернуть нашу деятельность во всей ее нынешней широте".
Авторы "адреса" упомянули о благоволении высшего начальства, вверившего Василию Дементьевичу "ведение Всероссийского дела о революционной организации "Искры", и о том, что он любезно предоставил возможность обвиняемым по этому делу уйти из Киевской тюрьмы и затем благоразумно направил следствие по ложному следу; поблагодарили генерала "за все услуги" и позавидовали своим московским товарищам, которые, судя по газетным слухам, будут "осчастливлены" его помощью; выразили уверенность, что преемник "окажется достойным" своего предшественника. И поставили подпись: "Преданный Вам Киевский комитет Российской социал-демократической рабочей партии".
Василий Дементьевич снова трахнул кулаком по столу, взъерошил волосы. Что ему делать? Ведь этот пасквиль дойдет до министра. Не дай бог - до государя... До чего же обнаглели - над жандармами, верными слугами престола, потешаются! Того и жди, напечатают в этой распроклятой "Искре". На посмешище всем смутьянам!..
Затем принялся распекать офицера, дежурившего ночью: почему не задержал наглеца, принесшего корзину? Разыскать! Схватить! В оранжерее учинить обыск.
Вспомнив о цветах, приказал вернуть жандарма, отправившегося к нему на квартиру. Но корзина уже была доставлена...
3
У Слепова давно сошли мозоли с рук, пальцы стали мягче. Волосы он начал смазывать репейным маслом и перед зеркалом тщательно зачесывать на косой пробор. Купил себе рубашку с отложным воротничком и повязывал шелковый шнурок с помпончиками.
Сутки стали для него длиннее, и он не знал, куда девать время. Благо, охранное отделение выписало для него две газеты - "Гражданин" и "Московские ведомости". Читать их начинал с происшествий, потом переходил на объявления.
Статьи у него вызывали зевоту, но их приходилось просматривать по обязанности, чтобы потом самые верноподданнические строчки вслух прочитать рабочим в чайной.
Как-то его надоумили написать статейку об одном собрании своего общества вспомоществования, в охранном отделении исправили его ошибки, перепечатали на машинке, и он отнес рукопись в редакцию "Московских ведомостей". Через два дня увидел свою "писанину" в газете. Внизу стояла подпись: "Рабочий Ф. А. Слепов". Вот как! Он - единственный из всего общества! Даже из всех московских рабочих обществ! Другие секретари знают одно - получать жалованье из охранного отделения - а он еще и в газету пишет!
Когда принес вторую заметку, в редакции сказали, что он может пройти в контору и получить гонорар. А что это такое? Оказывается, деньги! Мало того, что его печатают, так еще и деньги платят. По копейке за строчку! К пятидесятирублевому жалованью добрая прибавка! Есть на что выпить и закусить! Да не каким-нибудь огурцом, а чесноковой колбаской! Спасибо Сергею Васильевичу - в люди вывел.
Политики, неразумные головы, сеют среди рабочих смуту, подводят их под тюрьму да ссылку. А оказалось, жизнь-то можно облегчить по-доброму: ежели хозяин упрется, откажется дать прибавку, так полиция заступится. И бастовать ни к чему. Бороться за восьмичасовой рабочий день - лишняя затея. Царь-батюшка, когда приспеет время, сам дарует такой день. А хозяева-то, ясное дело, не посмеют ослушаться.
Эти пакостники из "Искры" бранятся, называют зубатовцами. Только зря бумагу портят. Брань-то ихняя не дым, глаза не выест. А газеткой-то в охранном отделении печки растопляют. Их самих, хотя они и за границей прячутся, даст бог, словят.
Зубатов - голова! Не зря его перевели в Петербург, поближе к царскому престолу. И вот он вспомнил о московских подопечных, позвал к себе. Не только его, Слепова, и других председателей да секретарей обществ.
Приехали туда. Чиновник из департамента встретил на вокзале, отвез в гостиницу.
Через час явились в департамент. Сергей Васильевич со всеми за ручку поздоровался. Так и так, говорит, будете петербургским мастеровым рассказывать о своих обществах. Начнете, говорит, с трактира "Выборг"...
Там все прошло чинно. Для начала всех осенил крестом священник по фамилии Гапон. Слушали тихо, расспрашивали...

А на другой день собрались путиловские. Те как шершни с ядовитыми жалами. Не приведи господь еще раз встретиться с такими. Едва он, Слепов, упомянул покойного императора Александра-миротворца, который любил говорить, что "Россия для русских", как из всех углов закричали:
- А Питер для питерцев! Не для московских полицейских холуев!
- Долой их!
- Вон отсюда!
Пришлось уйти. Но и тем смутьянам не поздоровится. Закоперщиков, конечно, на заметку взяли. Сергей Васильевич промашки не даст.
Зато следующий день обернулся праздником. Привезли всех в "Русское собрание". Таких людей, как там, отродясь и не видывали. От золотых эполет да звезд даже глаза слезились. Генералы, полковники, графы, протоиереи, профессора да редакторы благопристойной печати... Все истинно русские люди! И они, московские посланцы, имели честь докладывать почтенному собранию о положении дел в рабочем мире старой столицы. Члены "Русского собрания" с особым сочувствием отнеслись к вопросу о правительственном кредите кассам взаимопомощи рабочих...
...Расчувствовавшись, Слепов по возвращении из Петербурга написал об этом собрании в "Московские ведомости" и закончил статейку призывом ко всем, кто предан заветам старины, положить свои силы на алтарь отечества и поставить непреодолимую преграду неправде и злу на Руси.
Владимир Ильич не мог пройти мимо такого опуса. Перепечатывая в "Искре" целиком письмо Слепова, он во вступлении к нему решил "поощрить нашего почтеннейшего "собрата по перу", г. редактора "М. Вед." Грингмута, поместившего столь интересный документ. А в поощрении г. Грингмут, несомненно, нуждается, ибо его высокополезная деятельность по доставлению (и освещению) материала для революционной агитации за последнее время как-то ослабела, потускнела... задора стало меньше". И Владимир Ильич саркастически воскликнул: "Стараться надо больше, коллега!"
А о Слепове написал: "...и попалась же такая удачная фамилия!" После фразы о заседании "Русского собрания", на котором "представители рабочих Москвы" и он, Слепов, "имели честь присутствовать", Владимир Ильич поставил в скобках вопросы: "не правильнее ли было сказать: представители московского охранного отделения? Не на полицейские ли денежки и съездили Вы с Вашими товарищами в Питер, г. Слепов?" Так всю статью Ленин перерслоил в скобках своими разящими наповал стрелами. А после подписи Слепова предостерег рабочих от зубатовского обмана:
"На открытых собраниях ни один разумный рабочий не станет говорить то, что он думает, - это значило бы прямо отдаваться в руки полиции. А посредством с в о и х газет, с в о и х листков и с в о и х собраний мы можем и должны добиться того, что новый зубатовский поход весь пойдет на пользу социализму".
4
Не первый год печалился самодержец российский - нет наследника престола. Алиса одаривала дочерьми. А хотелось, чтобы после его кончины государственный скипетр и держава оказались в руках императора, беспредельной властностью и крепостью характера похожего на его прапрадеда, светлой памяти Николая Павловича. Только такой повелитель сможет навсегда избавить государство от зловредных революционных веяний и брожений. Един бог на небесах, единственный повелитель должен царствовать на Руси.
Доктора оказались бессильными, и во дворец пригласили из Чехии прославленного медиума Филиппа. В ночном мраке царствующие особы садились за стол вместе с императрицей-матерью. Вызывали покойного родителя Александра Александровича, тревожили давно усопших бабушек и дедушек, включая Николая Павловича. Терпеливо ждали - духи являлись не во всякую ночь. Почему? Это было овеяно священной тайной. А когда духи еле заметным движением стола или тихим звоном блюдечка уведомляли о своем появлении, царствующие особы задавали вопросы: что им делать, как подавить смутьянов и укрепить на Руси святое благоденствие? Когда ждать наследника и какого праведника молить об этом? Медиум от имени потревоженных духов отвечал: посещать святые обители и старые храмы, припадать к мощам чудотворцев.

Молились усердно. Ставили пудовые свечи перед иконами святых угодников. Смиренно склоняли головы, принимая благословение преосвященных. Но наследника бог по-прежнему не даровал. Оставалось терпеливо ждать.
Накануне пасхи царский поезд прибыл в древнюю столицу. Над Москвой полоскались трехцветные флаги, разливался благовест со всех колоколен.
На улицах переодетые городовые, затерявшись среди обывателей, первыми кричали "ура" и махали картузами.
А во дворе городской думы, рядом с Иверской часовней, сотня казаков на всякий случай не отходила от коней.
Из Кремля навстречу царской чете вышло духовенство в полном облачении, в сопровождении хора певчих. Над головами покачивались золотистые хоругви с ликами Николая-угодника и Георгия-победоносца.
Царь и царица присутствовали на пасхальной заутрене, по завершении священнодействия христосовались, троекратно целуясь, с протопресвитером, своим духовником. А торжественную трапезу благословил высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский.
Через день начались приемы. Царю верноподданнически представлялись помещики, заводчики и фабриканты, купцы всех трех гильдий. Последними он соизволил принять представителей рабочих обществ взаимного вспомоществования.
Но прежде, чем повести их в Кремль, депутацию собрали в охранном отделении. Переписали, сфотографировали. Для напутствия пришел из соседнего здания сам обер-полицмейстер Трепов.
- Братцы, вам выпала великая честь! - начал он торжественно, но тут же по привычке сжал кулак. - Ведите себя перед очами царя-батюшки смиренно и благолепно. Как в храме божием. Не кашлять. Не сморкаться. Вопросов не задавать, а не то мы вас... Впрочем, сами знаете, чем наказуется всякое нарушение. Хлеб-соль поднесет Слепов. Говорить только одному ему, остальным - кланяться. Господин Слепов, никаких своих слов не добавлять. Предупреждаю вас. А теперь повторяйте за мной: "Ваше императорское величество, рабочие Москвы смиренно припадают к стопам вашим..."
Всю дорогу Слепов бормотал, заучивая фразы, произнесенные Треповым. Не ошибиться бы. Не забыть бы какое-нибудь словечко...
Царя он представлял себе высоким, как праведники на иконах золоченых алтарей. С широкими плечами. С мудрыми глазами, самим богом наделенными прозорливостью. Он ведь помазанник господний и его наместник на земле. Для народа отец родной.
А вышел в сопровождении, пожалуй, целого десятка сановников маленький человек в мундире пехотного полковника. Бородка чуток поменьше, чем у Николая-чудотворца. Каким-то усталым голосом сказал:
- Христос воскресе, господа мастеровые!
- Воистину воскресе! - вразнобой гаркнула депутация.
У Слепова вдруг перехватило горло. Он ведь стоит перед самим царем! Перед самодержцем! И вдруг не только лицо - спина и та взмокла от пота, а в ногах задрожали поджилки. В душе укорил себя за то, что подумал умалительно о внешности царя, - он, заступник божий, велик своим духом!
Казалось, увесистый каравай сквозь полотенце жег ладони. На протянутых трясушихся руках поднес царю с неловким поклоном.
Правильно ли проговорил заученные фразы, Слепов не отдавал себе отчета. Помнил только, что иногда голос срывался до полушепота. Но никто из сановников бровью не повел, не переглянулся с другими. Значит, сказано, слава богу, все, как велено.
А царь и не отведал хлеба. Какой-то придворный вмиг подхватил каравай и передал куда-то дальше.
Государь равнодушным голосом спросил фамилию, и глава депутации, вытянувшись, ответил:
- Слеповым зовусь...
- Не ты ли, братец, статейки в газеты пописываешь?
- Ага... Мы...
- Спасибо. Пиши в том же духе.

Слепов ждал, что вот сейчас царь спросит о жизни рабочих, об обществах вспомоществования, а он пошел куда-то в сторону, и сановники заслонили его. Слепов поднялся на цыпочки, но даже макушки не увидел.
Появился какой-то высокий щекастый человек в расшитом мундире, отсчитал Слепову для всей депутации по пять рублей на человека и рекомендовал пообедать в ресторане "Славянский базар".
...Перед отбытием из Москвы царская чета склонила головы под благословение митрополита. Тот, напутствуя, посоветовал совершить паломничество в Саровскую пустынь и поклониться мощам преподобного Серафима.
"Да, летом совершим, - мысленно согласился Николай. - Бог даст, после посещения святой обители Алиса разрешится мальчиком".
По стране прокатывались народные грозы. То в одном, то в другом городе реяли красные флаги: "Долой самодержавие!" А ему по ночам снился наследник.
5
Екатерина Никифоровна Окулова собиралась на свидание в Таганскую тюрьму. Свидание предстояло необычное. Она уложила в корзину коробку с белым подвенечным платьем и фатой, свертки с колбасой и сыром, кульки с конфетами да яблоками и бутылку шампанского...
...Глаша седьмой месяц сидела в одиночной камере. Следствие, как видно, подходило в концу. Но в руках жандармов была единственная улика крошечный флакончик, найденный в ее маленьком ридикюле, который она прятала в муфту. Когда составляли протокол обыска, сказала - духи. Жандармы отправили на анализ - оказались бесцветные чернила для тайнописи. Все ее связи с членами Московского комитета, которые теперь сидели в той же тюрьме, подтверждались только филерскими проследками, неприемлемыми для судебного дела. Ей показывали одну за другой карточки, снятые в тюрьме:
- Знаком вам этот человек?
Глаша отвечала без запинки:
- Первый раз вижу.
- А вы присмотритесь. В ваших же интересах.
- Нет, не встречалась с таким.
Но когда положили на стол карточку Яна Бронислава Теодоровича, она, хотя и знала, что он сидит в той же тюрьме, не могла сдержаться: чувствовала - кровь прилила к щекам, губы невольно шевельнулись.
- Ну-ну, назовите! - обрадованно настаивал жандарм. - На этот раз отрицать не сможете. Такой знакомый человек...
- Да! - обозленно крикнула Глаша и сама не знала, почему у нее вырвалось из груди: - Если хотите, мой жених. Иван Теодорович.
- Обычная уловка. Все такие, как вы, объявляют себя невестами.
Глаша не знала, догадается ли и пожелает ли Иван подтвердить, что она его невеста, и у нее горело лицо, горели уши. Нет, она больше не проговорится. Не даст для дознания ни одного неосторожного словечка. Ей называли явочные квартиры, где встречалась с товарищами по комитету, - она отрывисто бросала:
- Не бывала. Думаю, что и Теодорович не бывал. Каждый вечер гулял со мной по бульвару.
- Напрасно упорствуете. Чистосердечное раскаяние смягчит вам приговор. Он ведь явится для вас вторым. Подумайте.
А Глаша уже догадывалась, что суда над ними не будет. Все решится просто: по окончании дознания министр доложит царствующему олуху, и тот соизволит повелеть - таких-то и таких-то сослать в Сибирь. Наверняка в Якутскую область. Дальше уж некуда! Ну и что же, и там живут люди. Лишь бы доходили книги. А революция освободит. И ждать уже недолго.
Она не умела скучать. Всюду находила себе дело. Мать, примчавшаяся в Москву, передала шелковое полотно да разноцветные нитки, и Глаша начала вышивать скатерти: одну в подарок матери, другую - сестре Кате. А когда разрешили передавать книги, Алеша доставил томики Ибсена. Первым делом перечитала пьесы, поставленные художниками. Восторгалась смелыми репликами непреклонного доктора Штокмана. Эх, посмотреть бы этот спектакль! Алеха говорит - Станиславский в роли Штокмана великолепен!
Мать и брат приходили на свидания. Хотя и через решетку, а все равно праздник.

Из Киева примчалась старшая сестра, но ей в свидании отказали. Понятно, из-за того, что уже отбывала ссылку. И Глаша написала ей:
"Моя дорогая, милая Катюша, мне так бесконечно больно, что тебя выделили изо всех и не пустили ко мне. Мне больно еще и потому, что с ними ничего не сказала специально для тебя, что-нибудь такое теплое, хорошее. Свидание это - какой-то сон. Теперь у меня в голове остались только отдельные фразы да печальные лица. Лица были почему-то очень печальны. Я себя знаю и теперь буду ужасно терзаться тем, что ничего не сказала им для тебя. Если бы ты только знала, как я тебя люблю и как всякое твое горе мучит и меня! Голубочка, мне так хочется, чтоб ты чувствовала себя хорошо... Мое сидение - это такое маленькое, совсем ничтожное горе в сравнении с другими многими горями..."
При раздумье о старшей сестре Глаше тотчас же вспомнился Курнатовский. Где он? Что с ним? Все еще в тифлисском тюремном замке или уже снова шагает по этапу в Сибирь? Глухой, нездоровый... Даже подумать больно... А его сердце? Все еще ноет от тоски? Может, время уже залечило напрасную душевную рану. Может, понял, что мы разные люди? Пройдут годы, а нам так и не доведется встретиться вновь...
А Катюха как? Неужели по-прежнему думает о нем да ждет счастливой встречи? Напрасно. У него к ней холодок в душе. Вернее, он запирает свою душу на семь замков: до победы революции не обзаводиться семьей. Катюша это знает. Бедная, горемычная...
Зима переломилась. Солнышко все выше и выше взлетало в ясное небо. В камере стало светлее, и в какой-то из щелей пробудилась муха. Глаша обрадовалась жужжанию ее крыльев. Следила за полетом.
Во время обеда муха села на стол. Глаша осторожно, чтобы не спугнуть ее, пальцем подвинула к ней крошку хлеба, обмакнутую в суп. Муха уткнула хоботок.
Вот она и не одинока в камере!
Кате написала:
"В этой открытке моя маленькая муха вместе со мной пишет: если я буду сохранять бодрость духа, то и она будет чувствовать себя неплохо. Значит, дело в шляпе - у меня неистощимый запас веселости. Правда, я сама удивляюсь. Последние дни я все время хожу заряженная веселостью, которой, к сожалению, некуда разрядиться, - очевидно, атмосфера, окружающая меня, является плохим проводником веселительной энергии..."
А развеселила ее как раз изменившаяся "атмосфера" - надзиратель передал ей коротенькую записочку: "Сердечный привет лесной Зверушке от преданного Яся". Это он! Ян! По-нашему Иван! А написал так коротенько потому, что не был уверен, передаст ли надзиратель его записку.
Свой ответ подписала - Зайчик. Если записка попадет в руки жандармов, не беда. Теперь уже нет надобности таиться: жандармы расшифровали ее псевдоним. Зайчик ждет встречи. Где и когда? Когда их отправят по этапу? А если не одновременно? И в разные углы Сибири?.. Надо что-то придумать. Но придумать она ничего не могла. И, чтобы отвлечься от тяжелых дум, писала в письмах к родным, что она весела, и заставляла себя вчитываться в мудреные строки философских книг, которые принес Алеша. Сестре написала: "Миросозерцание в тюрьме приобретает более целостный и стройный характер".
На дворе стало тепло. Через открытую форточку ветерок доносил пряный запах лопнувших тополиных почек. Спасибо доброму ветерку!
Скоро решится судьба всех, кого схватили в связи с провалом Старухи. А как решится?..
Теодорович прислал новую записку: "Солнышко ясное!" Глаша разулыбалась. Ясным солнышком в родной деревне Шошино ее называли ссыльные друзья. Курнатовский и Шаповалов, оба влюбленные в нее. И вот теперь Ясь. О чем он там дальше? Теодорович писал, что все тюрьмы переполнены и, вероятно, их отправят, не дожидаясь высочайшего повеления. Могут в разное время, в разных вагонах, в разные края. Лет на пять. За это время много в реках воды утечет, многое в личной жизни изменится. Страшно подумать, что они могут никогда не встретиться. В сибирских погребах нелегко ведь выжить, тем более одинокому. Если Глашура... Девушка на секунду зажмурилась от радости. Откуда он знает, что такое имя ей особенно близко к сердцу? Так называет ее только мамуля. Дальше Ясь писал, что они могут обвенчаться в тюремной церкви. Тогда их отправят вместе. Единственным препятствием оставалось только то, что он крещен в костеле, но тюремный священник - были бы деньги - согласен до венчания заново окрестить его, перевести в православные.

Какой же Ясь умница! Какой хороший, милый, дорогой!.. И Глаша с запиской в руках закружилась по камере, словно в вихре вальса, своего любимого танца. Он еще спрашивает! Да она готова тысячу раз написать в ответ: "Согласна, согласна, согласна..."
Екатерина Никифоровна, услышав об этом от дочери во время личного свидания в тюремной конторе, прижала ее к груди и на минуту зажмурилась, чтобы сдержать слезы.
- Я рада... Желаю большого счастья, - говорила, осыпая лицо дочери поцелуями.
В тот же день она написала мужу, все еще скрывавшемуся от кредиторов в Петербурге:
"Ну, друг мой, благослови свою дочь Глафирочку на вступление в брак. Жених ее разделяет ее участь, то есть сидит в той же тюрьме. Он - поляк Иван Адольфович Теодорович, по словам Глаши, очень хороший человек. Но кто он - студент или кто, - спросить забыла. Знаю только, что брат его в Смоленске присяжный поверенный.
Глафира, конечно, напишет тебе сама, но письмо может долго пропутешествовать. Ты напиши ей благословение скорее, потому что на этих же днях будут и венчаться.
Не знаю, как ты, а я радуюсь счастью Глаши - она верит в свое счастье. А мы будем счастливы их счастьем.
Им нужно спешить, а то их могут разъединить. Я уже купила почти все. Куплю еще кольца и шляпу. Цветы будут живые, хочется белые розы - не знаю, найдем ли.
Он сказал Глаше: "Я люблю твою маму пока только за то, что у нее такая чудесная дочь". А я попрошу с ним свидания, когда он сделается мужем Глаши".
И белые розы мать нашла...
Уложив все в большую корзину, она взглянула на новенькую икону богородицы владимирского письма. Купила для благословения. Глашуре на всю жизнь. Но... Вздохнув, поставила икону на божничку. Не примет Глашенька...
"Благословлю просто, - решила мать, - своей рукой. И венчание-то, знаю, ей поперек сердца. Но без этого нельзя. Жить должны в законном браке".
Извозчик ждал у калитки. Екатерина Никифоровна, перекрестившись перед иконами, взяла переполненную корзину и направилась к выходу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

В апреле простились с Лондоном. Для этого было несколько причин.
Плеханов по-прежнему был недоволен тем, что уехали далеко от него, и даже считал себя оскорбленным. Аксельрод и Потресов отказывались хотя бы на несколько дней приехать в Англию. Вера Ивановна тяготилась тем, что мнение Георгия Валентиновича по тому или иному вопросу могла узнавать только из его писем.
Приближался съезд. Подготовка к нему требовала участия всех соредакторов.
К тому же из Лондона их гнали недуги. От зимней сырости и холодов в квартире у Елизаветы Васильевны ныли суставы, и она большую часть времени проводила в постели, обложившись грелками. А потом расхворался и сам Владимир Ильич. Нелады с Плехановым подорвали его нервы. Болела грудь. Болела кожа. Что делать? Обратиться за помощью к английскому врачу? Но доктора в Лондоне дороги, за визит надо платить гинею*. А денег и без того не хватает на самое необходимое. И Надежда пригласила Тахтарева, когда-то учившегося на медицинском факультете. Тот поставил диагноз - "священный огонь", тяжелая болезнь, при которой воспаляются кончики грудных и спинных нервов.

---

* Гинея состояла из двадцати одного шиллинга - на один шиллинг больше фунта стерлингов.

Надежда, по совету Тахтарева, вымазала мужа йодом. Ему стало еще тяжелее. Он метался от боли.
Так больным и привезли его в Женеву. Там, в пансионе мадам Рене Морар, где частенько живали российские эмигранты, он окончательно свалился.
Но апрель одарил Женеву солнечными днями, и силы к больному стали возвращаться. Через две недели он уже был на ногах.
Гуляя по берегу озера, спорившего синевою с небом, Ульяновы любовались альпийскими высотами. На юге зеленели мягкие сопки, одетые лесами. За ними голые вершины были прикрыты легкой голубой дымкой. А дальше вздымалась ледяная громадина Монблана, в полдень серебристая, вечером розовая. Пансион - в шестиэтажном доме, на левом берегу Роны, вытекающей из озера. Почти в центре города. И комнаты довольно уютные. Но дорогие. И

перед окнами шумная площадь, куда съезжались крестьяне на базар и где останавливались бродячие циркачи. А для работы хотелось тишины. Лучше бы найти квартиру где-нибудь на окраине - там подешевле. И со своей кухней. Ульяновы направились на правый берег Роны и прошли дальше ее истока, в рабочее предместье Сешерон. Там на тихой улочке удалось найти двухэтажный домик с деревцами перед окнами. Район - приятнее не сыскать: по одну сторону обширный ботанический сад, по другую - старый парк до самого озера.
В нижнем этаже просторная кухня с каменным полом, за ней комната, которую сразу же облюбовала себе Елизавета Васильевна. Наверх деревянная лестница. Там три комнатки, похожие на рабочие каморки, хорошо знакомые по Питеру.
- Отлично! - сказал Владимир, осмотрев их. - Третья у нас будет для приезжих россиян. - Посмотрел на жену. - Ты согласна? Тебе нравится?
- Очень хорошо, Володя! Как раз то, что нужно нам.
Первым делом купили столы, матрацы и подушки. Пледы, заменявшие одеяла, были все те же, подаренные Марией Александровной. Пока не обзавелись кроватями, спали, расстелив матрацы на полу.
Стулья временно заменили ящиками из-под книг и принялись за работу на новом месте. Владимир до появления делегатов съезда спешил написать проект устава партии, чтобы с ним могли не спеша ознакомиться все соредакторы "Искры", Надежда, снова наладив связи с агентами и партийными комитетами на родине, начала писать доклад "Искры" съезду об организаторской работе в России.
Как всегда, работали увлеченно. А здесь все располагало к тому: через открытые окна вливался чистый воздух, полный ароматов цветов и молодой листвы деревьев парка.
Владимир Ильич время от времени спускался вниз, где кипел на плите эмалированный чайник.
- Вот хорошо - есть чаек! - С удовольствием потирал руки. Налейте-ка, Елизавета Васильевна, горяченького.
- Хорошо-то хорошо, только... - теща сдерживала вздох, - не из самовара. Как ни заваривай, все равно не тот чай.
- Погодите, вернемся в Питер - отведете душу.
- Да уж почаевничаю!.. Только скоро ли?
- Скоро.
2
- А у нас гость! - сказала, подзадоривая улыбкой, Елизавета Васильевна, когда Ульяновы вернулись с воскресной прогулки на гору Салэв. - Отдыхает наверху.
- Митя?! - обрадовался Владимир, взбежал по крутой лестнице. - С приездом!
- Володя!
Братья обнялись.
Надежда подымалась медленно, придерживая подол длинного платья. Дмитрий бросился к ней навстречу, дважды поцеловал руку, сказав, что второй раз по поручению жены.
- А карточку ее привез? - спросил Владимир.
- Нет. - Дмитрий кашлянул, прикрывая рот рукой. - Я ведь нелегально. Делегатом от Тульского комитета.
- Знаю. А ты где-то среди лета умудрился простудиться.
- На границе речку вброд переходил. Вода была холодная, быстрая, чуть не сбила с ног. Но это ничего, пройдет.
Надежда, извинившись, спустилась на кухню, чтобы поговорить с матерью об ужине. Елизавета Васильевна сказала, что уже успела купить белых булочек, колбасы и сыра.
Братья перешли в третью комнату наверху, и Владимир сказал:
- Я думаю, тебе тут будет удобно. Кровать завтра купим. А пока... Матрац и одеяло есть, простыни у Нади найдутся.
- А подушка у меня своя. - Дмитрий, улыбаясь, указал глазами в угол комнаты, где стояла его корзина из тонких ивовых прутьев, к крышке которой была привязана крученым шнурком подушка в плотной парусиновой наволочке. Я по-дорожному. По-российски...
Сели на ящики, и Владимир принялся расспрашивать сначала о матери и Маняше, потом об Анюте, тайно вернувшейся в Россию, и под конец о Марке. Как он там, в далеком Порт-Артуре?
- Пишет, что здоров. У него хорошая работа на железной дороге... Ну а вы как тут? Елизавета Васильевна рассказала - ты болел.

- Нервы подвели. Но, как видишь, все прошло.
- Ты же совсем не отдыхаешь.
- Нет, мы каждое воскресенье уходим в горы. Чистый воздух. Прекрасный отдых!
- Но тебе надо по-серьезному. Хотя бы недели на две. Как врач, советую...
- Ишь ты! - Владимир, вскинув голову, расхохотался. - Уже с врачебными прописями!.. - Встал, прошелся по комнате. - Нет, Митя, нынче нам не до отдыха. Такое сложнейшее, архисерьезное дело!
- Ты думаешь, съезд пройдет не гладко? Будут противоречия?
- Очень большие. Предстоит борьба. Серьезная борьба за чистоту марксизма!
- Вон что! А я-то думал...
- Видишь ли, Митя, мы прилагали все усилия к тому, чтобы на съезд приехали сторонники "Искры", но... - Владимир сожалеюще развел руками. Приедут и недобитые "экономисты", и "рабочедельцы", которых - ты знаешь я критиковал в "Что делать?". Явятся бундовцы, а это трудная публика.
- Я слышал, не будет Кржижановского...
- Да, к нашему глубокому сожалению, Глеб не может приехать. В Самаре комитет работает меньше года и по положению не правомочен выбирать делегата.
- Странно.
- И еще жаль, что по той же причине не приедет Ленгник. Это крепкий человек!.. Но мы, Митя, не предаемся унынию. У нас будет, - Владимир сжал пальцы в кулаки, - искровское большинство! И победа будет за нами. Правда, искровцы тоже разные. Да, да, не удивляйся. Есть "твердые", последовательные марксисты, есть и такие, которых я бы назвал "мягкими", склонными к вилянию. Кроме искровцев и антиискровцев будут еще колеблющиеся, этакое "болото". Их предстоит убеждать, перетягивать на свою сторону. Хорошо, что ты приехал, - одним голосом больше.
- Я поспешил, чтобы разобраться во всем.
Поднялась наверх Надежда, пригласила к ужину.
- Мы с тобой, Митя, успеем обо всем поговорить, - сказал Владимир, спускаясь по лестнице вслед за братом. - Пойдем в парк, на берег озера. Вечер тихий, теплый...
- А в шахматы сразимся? - спросил Дмитрий, спустившись в кухню, где был накрыт стол для ужина.
- Если удастся выкроить свободный часок... Ты знаешь, отцовские шахматы я вожу с собой, а не играл уже больше года.
Чай разливала Елизавета Васильевна; Дмитрию, наливая покрепче, сказала:
- В Питере я угостила бы вас чайком с малиновым вареньем - весь бы кашель как рукой сняло.
Ленин мчался на велосипеде: спешил в библиотеку. Но ему навстречу шел Мартов с высоким, крепко сложенным молодым человеком. Лицо у незнакомца белесое, лоб широкий, глаза светлые, кончики усов закручены шильцами. Несомненно, делегат. А от какого комитета? Мартов был бледнее обычного, щеки ввалились, костюм висел, как на тонком манекене, и Владимир Ильич подумал:
"Здоров ли Юлий? После съезда нужно настоять, чтобы отдохнул в горах".
Притормозив, соскочил с велосипеда; заговорил раньше, чем Мартов успел представить делегата:
- Я - Ленин. А вы?
Шотман назвался.
- Александр Васильевич? - переспросил Ленин, не выпуская его руки. Для съезда - Горский? Очень хорошо, что приехали загодя. Познакомитесь со всеми. А от какого вы Питерского комитета?.. От Вани? Значит, мы единомышленники!
Еще раз пожав руку Шотмана, Владимир Ильич повернул велосипед и жестом пригласил к себе:
- Тут рядом...
- Ты куда-то спешил? Если за газетами, то я запасся. - Мартов указал глазами на свои карманы, из которых торчали утренние местные газеты и рукописи для "Искры".
Владимир Ильич сказал, что в библиотеку он еще успеет, а поговорить им необходимо сейчас же. Мартов был рад, что разговор пойдет в его присутствии. Теперь, накануне съезда, его особенно интересовали все малейшие нюансы воззрений и намерений Ленина.

В ожидании чая, которым занялась Елизавета Васильевна, Владимир Ильич, навалившись грудью на кромку стола, расспрашивал Шотмана, сидевшего по другую сторону. Александр Васильевич рассказал, что он был партийным организатором Выборгского района, работал токарем на заводе Нобеля.
- Великолепно! - Ленин, коснувшись пальцами правой руки своей груди, сделал широкий жест в сторону собеседника, как бы одаривая его радостью. На съезде будет три токаря: один из Киева, другой из Тулы и вот вы. Хорошо! Но и при этом нельзя не пожалеть, что мало рабочих.
"А чего же тут жалеть? - мысленно возразил Мартов, покуривая у открытого окна. - Все равно их роль сведется к молчаливому голосованию, а решающее слово будет принадлежать нам, интеллигентам, теоретикам".
- Было бы больше делегатов-рабочих, - продолжал Владимир Ильич, если бы не провалы. - При этом он вспомнил Ивана Бабушкина и Петра Заломова. - Весьма огорчительно, что вторым делегатом из Питера явится... знаете кто? Заядлый "экономист"! Лидия Махновец, бойкая сестрица небезызвестного Махновца-Акимова. Вот с кем предстоит война! Едва ли не столь же острая, чем с пресловутым Бундом.
- А их зачем пригласили? - спросил Шотман.
- Их, к сожалению, там, в России, избрали. Думаете, лучше без них? Спокойнее?.. А по-моему, лучше идейного противника разгромить в открытой схватке на поле боя, чем позволить ему действовать против нас исподтишка, - сказал Владимир Ильич и неожиданно оглянулся на Мартова. Не так ли, Юлий Осипович?
- Да... Принципиально говоря... - Мартов для чего-то снял пенсне и тотчас же снова нацепил на нос. - Но послушаем на съезде бундовцев...
- Конечно, выслушаем. Пусть выговорятся до конца. Хотя мы-то с тобой знаем их песни. Да и Александр Васильевич, мне кажется, имеет о них представление.
- Наслышан достаточно.
- Тем лучше для съезда.
Мартов подошел к Елизавете Васильевне, поджидавшей, когда закипит чайник, и попросил папироску ее набивки:
- Табачок у вас всегда отменно ароматный.
- Уже все. Гильзы кончились, - развела руками Крупская. - Сама, батюшка, перешла на здешние сигаретки.
- Жаль... - Мартов зашебуршил коробкой. - Этими не могу накуриться.
Отходя с тоненькой сигаретой снова к окну, сказал себе: "Надо вот и мне поговорить с каждым делегатом, чтобы на съезде не только Ленину, а самому быть готовым ко всему".
Много раз они спорили по поводу статей и заметок для "Искры". И последнее слово, к сожалению, чаще всего оставалось за Лениным. А на съезде что-нибудь да обернется по-иному... Он, Мартов, уже не мальчик в коротких штанишках. И ему пора отстаивать свое слово...
А Владимир Ильич продолжал расспрашивать Шотмана о Питере.
3
Поодиночке и по два-три человека съезжались в Брюссель, и никто не замечал за собой слежки. Комнаты для делегатов предоставили социал-демократы, владевшие мелкими гостиницами. Конечно, без прописки в полиции. О питании представитель Организационного комитета заранее договорился с хозяевами маленьких кафе, которые тоже называли себя социал-демократами. А вожди бельгийской социал-демократии обнадежили, что полиция никого не тронет. За безопасность делегатов и за успех съезда, казалось, можно не волноваться. Но шпики, которыми кишела Женева, проследили, что искровцы съезжаются в Брюссель, и резидент департамента полиции успел сообщить об этом в Петербург. Он не сомневался, что через несколько дней бельгийское правительство получит соответствующий демарш, заканчивающийся настойчивой просьбой воспрепятствовать сборищу и выдать его главных участников.
К семнадцатому июля собрались почти все. Задерживались где-то в пути только два делегата. Ульяновы приехали несколько раньше, и Владимир Ильич счел своим долгом прежде всего навестить Плеханова. Здоров ли он? Все ли готово у него к открытию съезда?
- Напрасно тревожитесь, - сказал Георгий Валентинович, поглаживая бороду, - за мной задержки не будет.

- А ваша речь?
- Она уже в основном сложилась в моей голове и не будет многословной. Мы ведь с вами условились беречь время.
- Да. Мы ограничены в деньгах.
- Ничего не изменилось? Начинаем в два тридцать? Для меня это важно знать - утренние часы я собираюсь посвятить посещению Дворца искусств. Там богатая коллекция скульптуры и живописи, и мне хочется взглянуть на фламандских мастеров в оригиналах. Рекомендую посетить. А завтра я был бы рад, если бы мне составили компанию рабочие делегаты. Увидитесь - не сочтите за труд сказать им. Я буду ждать к двенадцати. Часа нам хватит.
В тот день Владимир Ильич обошел всех делегатов, спрашивал: хорошо ли они устроены? не нуждаются ли в чем-нибудь? Тем, кто не знал французского языка, начертил карту, чтобы им легче было отыскать помещение, в котором откроется съезд.
Идя по коридору маленького отеля, Владимир Ильич услышал из-за двери комнаты, где остановился Красиков, звуки скрипки и, вспомнив одну из его кличек, улыбнулся: "Музыкант верен себе - нигде не расстается с инструментом!" Дождавшись паузы, осторожно постучал.
- Войдите, - отозвался по-французски Петр Ананьевич и встретил гостя со скрипкой и смычком в левой руке. - Я решил немного отвлечься...
- Простите, я помешал вам. В другое время с удовольствием бы послушал, а теперь голова занята иным. Съезд обещает быть сложным, и нам есть о чем поговорить как единомышленникам еще со времен Сибири.
- Значит, не забыли наш Красноярск? Приятно слышать. Мне тоже часто вспоминаются те наши встречи.
Красиков предложил гостю стул и, уложив скрипку в футляр, сел сам, готовый выслушать то важное, ради чего пришел Ленин накануне съезда.
- Первым делом, - начал Владимир Ильич, - я должен сообщить вам об одной искровской новости. Как вы знаете, у нас шесть соредакторов. Это создавало большое неудобство: при решении сложных вопросов голоса часто разделялись поровну. Тройка на тройку. Чтобы избежать этого, мы решили кооптировать вас в качестве седьмого соредактора. Жаль, что вы не могли приехать раньше и поработать в редакции до съезда. Но ничего. Поговорим о будущем. Если во время съезда придется устроить совещание редакции, мы пригласим вас и, надеюсь, избежим мучительного разделения голосов.
- Сочту за честь. - Красиков прижал руку к груди. - Ну, а как же дальше с голосами в редакции?
- Как члену Организационного комитета, вам дадут на заключение порядок дня съезда, набросанный мною. Вы увидите, что мы предлагаем выбрать две тройки. Одна - в редакцию, другая - в Цека. Как по-вашему?
- Разумно. Буду вотировать.
- Вот и хорошо!
Владимир Ильич стал расспрашивать о Киеве, где Красиков получил мандат на съезд, и о большом куше денег, которые ему удалось раздобыть. Где же это посчастливилось? Петр Ананьевич сказал, что за это надо благодарить Горького.
- Вы были у Горького?! - переспросил Ленин, и в его глазах заиграли нетерпеливые огоньки. - Так что же вы, батенька, до сих пор молчали? А нуте-ка, рассказывайте. - Дотронулся до кисти руки собеседника. - Все-все. Мы о Горьком должны знать елико возможно больше. О съезде вы ему сказали?
- Не утерпел. Доверился.
- Правильно сделали. И что же он?
- "Хо-ро-шее, говорит, дело!" А сам усы поглаживает. "Хо-ро-шее". Одним словом, принял как свой своего. Просил кланяться, в особенности волжанам. Так и подчеркнул - волжанам. Дал мне пароль в Москву, к актрисе Художественного...
- К Андреевой?! Феноменальная женщина!.. А ну, продолжайте, продолжайте.
- А мне пароль-то к ней и не требовался. В прошлом году я в трудную минуту попал к ней по рекомендации нашего сибирского Зайчика. Помните такую девушку? Ну, так вот, надо было мне укрыться от шпиков, и Мария Федоровна упрятала меня в своей квартире. И нынче мы встретились как старые знакомые. Для поездки делегатов выгреб я из ее закрома... Да вы не смейтесь...
- Я не смеюсь, я радуюсь, что нам помогают такие люди!

- Она так и сказала: "Отдаю, говорит, все, что скопилось в моем финансовом партийном закроме".
- Партийном... Отлично!
- Она просила меня считать ее членом партии.
- А за ней и Горький придет? Пора бы ему. Наш ведь он. Наш!
В свою гостиницу Владимир Ильич вернулся поздно и с порога начал:
- Извини, Надюша, заставил долго ждать. Знаю - волновалась. Но у меня были совершенно необходимые разговоры с нашими единомышленниками.
И с редким удовольствием, похаживая по комнате, пересказал все, что слышал от Красикова.
Надежда легла спать, а Владимир, выключив верхний свет, достал из папки список делегатов, где были не фамилии, а псевдонимы, и стал еще раз подсчитывать, сколько голосов будет у них, у искровцев, сколько у антиискровцев и сколько у межеумков, тех самых, что могут потянуть в "болото". От двадцати шести социал-демократических организаций прибыло сорок три делегата, но так как среди них находились "двурукие", то решающих голосов было пятьдесят один. Искровцы могут надеяться на тридцать три голоса. Хорошее большинство! И четырнадцать делегатов с совещательным голосом. А на Первом съезде было...
Владимиру Ильичу вспомнилось, как Надежда привезла ему в Шушенское весть о том съезде, и ему захотелось поговорить с ней, но она лежала уже с закрытыми глазами.
"Ладно, пусть слит, - думал он. - Было там всего лишь девять. А теперь... Как выросла наша партия! Как окрепла! Теперь важно одно - чтобы она дала отпор оппортунистам и стала сплоченной, как пальцы, крепко сжатые в кулак".
Остро пахло овечьей шерстью. Видимо, тюки ее совсем недавно увезли из склада.
Делегаты сидели на узких, наскоро сколоченных скамьях. Стол бюро съезда, как называли они президиум, тоже был сколочен из простых досок и покрыт красным полотнищем.
В первом ряду кроме ветеранов социал-демократии Аксельрода, Засулич и Потресова сидели еще два соредактора "Искры" - Ленин и Мартов. На краешке той же скамьи примостился молодой Лев Троцкий. У него остренькая бородка, пенсне, копна черных волос с задорным хохолком надо лбом.
Ленин был в поношенном пиджаке, застегнутом на две пуговицы. Засулич в серой кофточке и в мятой черной юбке. Аксельрод по случаю праздника слегка подровнял бороду. Мартов обзавелся манишкой. Из коротковатых рукавов его пиджака торчали манжеты, отчего руки казались длиннее, чем обычно.
Плеханов, в длинном рединготе с атласными отворотами, в накрахмаленной сорочке с высоким тугим воротничком и черном галстуке с белыми горошинами, прошел за стол; как бы свысока окинул собравшихся орлиным взором и, прокашлявшись, начал:
- Товарищи! Организационный комитет поручил мне открыть Второй очередной съезд РСДРП. Я объясняю себе эту великую честь только тем, что в моем лице Организационный комитет хотел выразить свое товарищеское сочувствие той группе ветеранов русской социал-демократии, которая ровно двадцать лет тому назад, в июле 1883 года, впервые начала пропаганду социал-демократических идей в русской революционной литературе. За это товарищеское сочувствие я от лица всех этих ветеранов приношу Организационному комитету искреннюю товарищескую благодарность. - Дважды вправо и влево - слегка кивнул головой. - Положение дел настолько благоприятно теперь для нашей партии, что каждый из нас, российских социал-демократов, может воскликнуть и, может быть, не раз уже восклицал словами рыцаря-гуманиста: "В е с е л о ж и т ь в т а к о е в р е м я!"
Троцкий первым хлопнул в ладоши; оглянувшись на задние ряды - все ли аплодируют? - призывающе вскинул голову и стал бить в ладоши еще сильнее.
Мартов после нескольких вялых хлопков почесал у себя под мышкой; через секунду вздрогнул, будто от неожиданного укола иголкой, и почесал плечо, недоумевая: "Блохи, что ли, забрались? Откуда бы им взяться?"
Голос Плеханова звучал торжественно:
- Двадцать лет тому назад мы были ничто, теперь мы уже большая общественная сила... Мы должны дать этой с т и х и й н о й силе с о з н а т е л ь н о е выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации. Это и есть задача нашего съезда, которому предстоит, как видите, чрезвычайно много серьезной и трудной работы. Но я уверен, что эта серьезная и

трудная работа будет счастливо приведена к концу и что этот съезд составит эпоху в истории нашей партии.
Троцкий, поерзав на скамье, оглянулся - не замечают ли? - и почесал бок. Увидев, что во втором ряду чешется Бауман, он продолжал чесаться и уже не вслушивался в слова первого оратора, блиставшего хорошо поставленным голосом.
- Мы были сильны, - заканчивал речь Плеханов, - съезд в огромной степени увеличит нашу силу. Объявляю его открытым и предлагаю приступить к выбору бюро.
Поклонившись, Плеханов откинул фалды редингота, сел и тут же, почувствовав блошиный укус в шею, запустил палец за тугой воротник, как бы поправляя его.
Не дожидаясь, пока утихнут аплодисменты, Троцкий порывисто вскочил и, откинув руку театральным жестом, провозгласил:
- В председатели одна кандидатура - Георгий Валентинович! Другого нет. И предлагаю без голосования.
- Правильно.
- Ветерана партии! - подхватили делегаты.
Плеханов снова поднялся и, поблагодарив за внимание, сказал:
- Наш молодой коллега несколько поспешил. В такую торжественную минуту надо бы сначала спеть "Интернационал".
- Обязательно спеть, - встал, поблескивая очками, Гусев, делегат Донского комитета, и, откинув со лба пышные волосы, запел сочным баритоном.
Все поднялись. Помня о конспирации, подхватили приглушенно. Но русский перевод Аркадия Копа еще не все знали наизусть. Аксельрод и Потресов пели по-французски. Троцкий, прислушавшись к ним, тоже перешел на французский. Вера Ивановна, метнув в его сторону укоризненный огонь глаз и пытаясь заглушить его, сорвала голос на припеве:
Это будет последний
И решительный бой...
Когда все снова сели и аплодисментами подтвердили избрание Плеханова председателем, Георгий Валентинович напомнил, что сначала нужно решить вопрос о количестве членов бюро.
Мартов давно ждал этой минуты; вскочив и повернувшись к делегатам, сказал с дрожащей хрипотцой:
- Предлагаю девять. И для облегчения работы пусть они на каждое заседание выделяют из своей среды по три человека.
- Зачем же так сложно? - удивленно спросил Ленин, встав рядом с ним. - Предлагаю постоянное бюро из трех человек.
"Посмотрим, к кому прислушаются делегаты", - сказал себе Мартов, почесывая в бороде.
Делегаты прислушались к Ленину.
"Зачем он так? - спросил себя Владимир Ильич. - Ведь уговаривались же о трех. В девятку, чего доброго, он мог бы протащить и кого-нибудь из бундовцев. Определенно протащил бы".
Бюро выбирали тайным голосованием - по запискам, и делегаты зашелестели бумагой.
И теперь уже все, не стесняясь друг друга, почесывались, переговариваясь:
- Кажется, блохи...
- Не зря же тут шерстью пахнет...
Плеханов, принимая записки, разглаживал их и складывал в стопочки; подсчитав в каждой стопочке, объявил, что большинством голосов вице-председателями избраны Ленин и Павлович, как звали на съезде Красикова.
Владимир Ильич просиял, зная непоколебимую приверженность Петра Ананьевича к "Искре".
Мартов поморщился. "Красикова?! За какие же это заслуги?! Если уж захотели третьего не из основателей "Искры", могли бы, скажем, Троцкого. Работящий! Горячий оратор! Со своим мнением". Пожав костлявыми плечами, сунул руку в карман за коробкой сигарет.
Плеханов, не сдерживая усмешки, сказал:
- У съезда уже объявились злостные и ядовитые враги! Пока это лишь обыкновенные блохи.
- Блоха не филер, под арест не подведет, - послышалась чья-то шутка.
- А все-таки неприятно. И отвлекает внимание, - продолжал Плеханов. Нельзя ли нам куда-нибудь в другое место?
- Это исключено, - объяснил Ленин. - Мы не можем терять ни одного часа.
- А можно уборочку сделать, - сказал Шотман. - По-матросски. Все-то мы - вмиг.

- Вот и выход найден, - подхватил Красиков. - У хозяина, я думаю, найдутся ведра, какие-нибудь мешки для швабр. Я - к нему. Кто на подмогу?
Отозвалось несколько человек. Плеханов объявил перерыв.
Мужчины сбрасывали пиджаки на скамьи. Ленин уже засучил рукава рубашки. Мартов пытался жесткие манжеты передвинуть выше локтей. Георгий Валентинович, поддавшись общему настроению, положил на стол аккуратно свернутый редингот.
Красиков, возвращаясь первым, торжествующе стукнул кулаком по днищу пустого ведра.
- Вода тут в двух шагах.
Сноровистые из мужчин принялись мастерить швабры. Женщины подоткнули подолы юбок. Еще минута - и закипит работа.
Мартов, в отличие от последних дней, ходил задумчивый: "Чем же кончится съезд? Кто окажется впереди?"
Нет, он не собирался соперничать с Плехановым. Это было бы не так-то просто. Даже опасно. Авторитет Ветерана высок и непререкаем. И нет надобности в чем-либо сталкиваться с ним. Но Ленин?.. Почему его считают лидером партии? Почему его избрали в бюро съезда? Почему Ленин вносит предложения даже по текущим организационным вопросам? Может и он, Мартов...
Заседание продолжалось шумно, было многоречистым. Даже при обсуждении регламента ораторам, казалось, не было конца. И Мартов, чтобы не упустить случая, внес новое предложение: делегатам с совещательным голосом предоставить право участвовать в голосовании по вопросам регламента. И за его предложение съезд проголосовал, хотя кое-кто из делегатов, уже уставших, искусанных блохами, не отдавал себе отчета, зачем подымает руку.
Юлий Осипович тотчас же внес третье предложение: пусть делегаты с совещательным голосом вотируют по всем вопросам формального характера, скажем, по вопросам, касающимся порядка заседания. Если съезд примет и это предложение, можно будет попытаться еще что-нибудь отвоевать для них. Ведь среди них не только молодые революционеры, а такие ветераны, как Аксельрод, Засулич и Потресов. Им же обидно сидеть на съезде в числе "безголосых". Они услугу не забудут.
Им, трем ветеранам, и без того предстоят большие волнения: Ленин собирается предложить съезду редакционную тройку для "Искры". Без них. Только не удастся ему. Он, Мартов, вот так же, как теперь, заступится за стариков. Даже горячее и настойчивее.
Ленин встал и вежливо возразил своему соредактору:
- При этом затруднился бы подсчет голосов. Лучше единообразие - по мандатам.
И его предложение собрало двадцать четыре голоса. Мартову отдали голоса пятнадцать человек.
"Хотя у Ленина и большинство, а все же пятнадцать делегатов прислушались ко мне, - подбодрил себя Юлий Осипович. - Для начала неплохо. Среди них не только нечестивые бундовцы, но и девять правоверных искровцев! Поживем - увидим, как дело обернется. Только гнуть в свою сторону надо пока что осторожно".
Красиков жалел потерянное время. На трех заседаниях скрепя сердце слушал бесконечные прения о составе участников и порядке дня съезда! Сколько же дней потребует весь съезд? Так, пожалуй, в две недели не уложиться. А делегаты должны знать, с каким трудом добываются деньги в партийную кассу.
Не только по кардинальным вопросам, а даже по самым мельчайшим делегаты вносят по три да четыре резолюции. Часто требуют переголосования. А часы безжалостно отсчитывают потерянные минуты.
Пользуясь правом вице-председателя, напомнил, что съезд не дискуссионный клуб, а деловое собрание революционеров. Не подействовало. Речам по-прежнему не было конца. Один Лев Троцкий выступил уже четыре раза. Зачем? Чтобы себя показать. Балаболка!
Камнем преткновения явился Бунд, приславший пять делегатов. Они привезли свой новый устав и намеревались потребовать федеративного принципа для вхождения своего ЦК в партию. Дескать, только Бунд может вести работу среди еврейского пролетариата всей страны. Вести обособленно от пролетариата всех других национальностей и народностей. Действуя своим уставом, как бомбой, бундовцы собирались взорвать и до основания разметать искровскую программу партии во время ее обсуждения.

"Как хорошо, - думал Красиков, - что Ильич своевременно разгадал их замысел и вот предложил сначала обсудить вопрос о месте Бунда в партии. В самом деле, нельзя позволить Бунду коренным образом изменить организационные основы партии. И нельзя приступить к дружной работе, не устранив разногласий".
Два дня бундовцы шумно сопротивлялись. Как и следовало ожидать, у них на подхвате оказался не менее шумный Акимов (Махновец), недобитый "экономист". Победы, конечно, не достигли, а искровское большинство немножко поколебали: трое из искровцев оказались неустойчивыми. Как-то они поведут себя дальше?
Время по-прежнему не берегли: вопросу о Бунде отдали четыре заседания. Искровцы решительно отвергали федерацию, считая ее пагубной для дела партии. А Троцкий и Акимов деятельность Бунда называли блестящей и плодотворной. Бундовцы, всячески изворачиваясь, упрекали съезд в том, что на нем "образовалось компактное большинство".
Плеханов предоставил слово Ленину, и Красиков для себя записал из его речи:
"По-моему, не стыдиться, а гордиться должны мы тем, что на съезде есть компактное большинство. И еще больше гордиться будем мы, если вся наша партия будет одним компактным и компактнейшим 90-процентным большинством".
Съезд, скупой на аплодисменты, встретил эти слова восторженным взрывом.
Компактное большинство отказало Бунду в его притязаниях на федеративность. При поименном голосовании даже колеблющиеся и антиискровцы присоединились к большинству. Бундовцы остались при своих пяти голосах.
"Первое торжество нашей линии", - записал себе Красиков.
...На восьмом заседании перешли к обсуждению искровской программы. И первыми, не дожидаясь бундовского артиллерийского огня, ринулись в атаку "экономисты". Акимов, внося двадцать одну поправку, полагал, что они изменят "самый дух программы". "Рабочеделец" Мартынов, нашпиговывая речь цитатами, сожалел, что искровский проект принципиально отличается "от всех других европейских социал-демократических программ".
"Спасибо за откровенность! - мысленно съязвил Красиков. - А мы гордимся тем, что он отличается от всех. Надо же наконец понять: мы строим партию нового типа".
Рьяные оппоненты, как и следовало ожидать, дошли до оспаривания диктатуры пролетариата. Подогретый ими, вскочил Троцкий, словно драчливый петух; потряхивая головой так, что колыхалась черная шевелюра, закрывавшая шею, сыпал кипучие слова. Красиков схватился за карандаш, дрожащей от негодования рукой записал:
"Балаболкин пытается уверять, что наиболее принципиальные соображения по поводу проекта программы "Искры" и "Зари" были здесь высказаны Мартыновым и Акимовым! Вот он каков! Всех поучает. Ничтожество мнит себя вождем".
Мартынов, стремясь посеять неприязнь между соавторами искровского проекта, выхватил фразу из "Что делать?" и, хваля Плеханова, обрушился с критикой на Ленина. Его примеру последовал Акимов. Терпеливо выслушав их, поднялся Плеханов, четко и весомо сказал, что бойкие критики не поняли ни фразы Ленина, ни искровского проекта программы.
Красиков уже не раз восхищался изяществом речей Георгия Валентиновича и его блестящим остроумием и теперь, полуобернувшись, вскинул на него глаза и с особым вниманием прислушивался к его словам. У оратора, саркастически шевельнувшего бровями, заиграла усмешка в уголках губ. Он говорил:
- Акимов удивил меня своей речью. У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Товарищ Акимов в этом отношении похож на Наполеона - он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы, я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной.
Первым расхохотался Владимир Ильич, весело кивнул головой. Да, он не собирается разводиться с Плехановым.
На тринадцатое заседание опоздали пять делегатов. Оказалось, что за двумя из них тащились филеры. Потребовалось время и конспиративный навык, чтобы оторваться от них.
Трое, квартиры которых филеры уже незаметно проследили, сказали, что их вызывали в полицию. Кто такие? Зачем приехали в Бельгию? Гусев назвался румынским студентом Романеску. А приехал по сердечным делам. Остальные объявили себя туристами. Всем троим полиция предложила покинуть Бельгию в двадцать четыре часа.

А если проследят съезд? Тогда не миновать арестов. Арестованных могут выдать царским властям...
И после тревожного совещания бюро Ленин объявил:
- Переезжаем в Лондон. Маленькими группами.
4
Через четыре дня все собрались в Лондоне. Тех, кто не бывал ранее в английской столице, Плеханов повел в Британский музей.
Ленин с помощью Квелча и Тахтаревых подыскивал на каждый день помещения для заседаний в профсоюзных клубах.
Первое в Лондоне и четырнадцатое по счету заседание открылось в клубе рыбаков. На стенах висели фотоснимки рыбацких угодий и богатых уловов, в витринах - длиннейшие удилища, новые блесны и крючки.
Обстановка накалялась все больше и больше. Упрямым говорунам из числа антиискровцев не было конца. Никакие предупреждения о необходимости экономить время и, следовательно, деньги не действовали. Так, программу партии обсуждали на девяти пленарных заседаниях. После жарких дебатов по принципиальным вопросам она была передана в комиссию, где кроме бундовца, "экономиста" и "центриста" еще оказались делегаты с совещательным голосом - Аксельрод и Потресов, и Надежда Константиновна, едва дождавшись конца заседания, не могла скрыть пережитой тревоги:
- Ну как там, Володя?
- Как и следовало ожидать...
- Неужели протащили свои "поправки"?!
- Да. По некоторым пунктам пришлось мне одному голосовать против них.
- Одному?! А что же Плеханов?
- Ты же знаешь Плеханова. Вчера, когда Акимов - ты помнишь? откровенно объявил, что его поправки имеют целью "изменить самый дух программы", Георгий Валентинович дал ему отличную отповедь.
- Помню, помню: "Мы стоим и останемся под знаменем революционной социал-демократки".
- А сегодня не поднял руки в защиту нашей общей искровской формулировки.
- Так неужели же им удастся?..
- Не волнуйся. Мы еще поборемся. - Владимир Ильич сжал холодноватые руки жены. - На пленарном заседании "искряки" себя покажут.
Когда программа вернулась из комиссии, то ее неуемные противники по каждому пункту, а порой и по отдельным словам выступали даже по три раза, вносили множество резолюций, требовали поименного голосования.
Но существо программы осталось искровским. Компактному большинству, сплотившемуся вокруг Ленина, удалось отстоять ее марксистскую основу. В целом против программы никто не отважился голосовать. А воздержался лишь один Акимов.
Это была первая крупная победа зарождавшегося большевизма. За создание проекта программы съезд принес редакции "Искры" и "Зари" благодарность.
На двадцать первом заседании в заключение обсуждения выступил Плеханов.
- Товарищи, партия сознательного пролетариата, Российская социал-демократическая партия, отныне имеет свою программу, - сказал он с еще большей торжественностью, чем на открытии съезда. - Тем товарищам, с возражениями которых съезд не согласился, остается подчиниться большинству. Члены нашей партии обязаны признавать ее программу. - Окинул зал орлиным взглядом. - Как бы там ни было, но вопрос, так долго нас занимавший, окончен, и мы можем с законной гордостью сказать, что принятая нами программа дает нашему пролетариату прочное и надежное оружие в борьбе с врагами.
Мартов ждал своего часа. Для этого сам напросился в комиссию по уставу партии. И состав комиссии ему был на руку; делегаты "Южного рабочего" уже выступили с критикой ленинского проекта. А у него, Мартова, в кармане свои формулировки важнейших пунктов. Он внес бы целиком свой проект, но, пожалуй, для этого еще не настало время. Пока что лучше из ленинского проекта, за который ратует его большинство, вышибать пункт за пунктом. Это он может - теперь уже не одинок. Кроме Плеханова, все ветераны на его стороне. Жаль только, что Аксельрод, Потресов и Вера Ивановна - с совещательными голосами. Но и при этом на съезде ему, Мартову, обеспечена солидная поддержка: первыми за его пункты проголосуют бундовцы

да Мартынов с Акимовым. И, конечно, Троцкий. Этот стоит многих. На каждом заседании выступает раз по десять. Не упустит ни малейшего повода обрушиться на ленинское большинство. Будет метать громы и молнии. За ним и другие проголосуют.
А Владимир Ильич был доволен тем, что в комиссии не оказалось ни одного бундовца. Правда, его настораживало присутствие делегатов "Южного рабочего", один из которых собирается внести восемь поправок! Но присутствие Мартова, несмотря на его зигзаги, несколько успокаивало - он еще недели за три до съезда читал устав и на заседании в редакции не возражал. Не будет же здесь изменять самому себе.
Но впереди подстерегало потрясение. Едва успели собраться на заседание комиссии, как Мартов достал из бокового кармана помятый лист и, стряхнув с него табачные крошки, объявил, что у него есть свой проект первого параграфа. Это было подобно удару грома при ясном небе, и Владимир Ильич вскинул удивленные глаза. Не ослышался ли? Может, какая-нибудь поправочка с заменой одного слова другим? Нет, не ослышался. Мартов, еще раз тряхнув листом, продолжал:
- В-вот! - Голос его, без того заикавшегося, прерывался от волнения. - М-моя формулировка взамен с-совершенно неприемлемой ленинской.
Читая, посматривал на делегатов "Южного рабочего". Какое впечатление остается от его строк? Поддержат ли? Если не поддержат, его ход может провалиться. Но тот из них, который собирался внести восемь поправок, поддержал. Пусть каждый, кто лишь пожелает, называет себя членом партии.
"Вот это зигзаг! Неприкрытый оппортунизм!" - возмушался Владимир Ильич, не отводя пронизывающего взгляда от Мартова, пока тот не сел с опущенными глазами.
Чеканя слово за словом, Ленин сказал, что настаивает на своей формулировке, и все перечитали первый параграф:
"Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций".
На съезде докладчик уставной комиссии Носков объявил, что по первому же параграфу голоса разделились, и прочел сначала формулировку Мартова. В защиту ее тотчас же поднялся Аксельрод и заговорил о некоем профессоре, который считает себя социал-демократом, оказывает партии содействие, а ни в одну из организаций вступить не может. Дескать, Мартов прав, такого профессора следует считать членом партии. Главный бундовский оратор к такому профессору добавил гимназиста. На поддержку поспешили и Акимов, и Мартынов, я Троцкий. Красиков не мог больше терпеть.
- Но, товарищи, - возразил он, - устав партии пишется не для профессоров, а для пролетариев, которые ее так робки, как профессора, и, я надеюсь, они не испугаются организованности и кол-лек-тив-ной деятельности... Принимая же формулировку Мартова, мы пускаем анархическую массу в члены партии безответственно.
Плеханов раздумчиво выжидал. И речь свою начал с чистосердечного признания: долго колебался. К кому присоединиться? Еще утром находил, что "то сей, то оный набок гнется". Но, приняв решение, он, как всегда блистая красноречием, высмеял Аксельрода за его "профессора" и в заключение сказал, что за проект Ленина "должны голосовать все противники оппортунизма".
Но оппортунисты, которых завтра назовут меньшевиками, не вняли призыву Ветерана и перетянули на свою сторону "болото": большинством в шесть голосов провели первый параграф устава в формулировке Мартова, не погнушавшегося голосами бундовцев и прочих антиискровцев.
"Эх, Мартов, Мартов! - думал Владимир Ильич, жалея заблуждавшегося товарища, которого еще не считал окончательно потерянным. - Если бы ты только оступился в болото... Но ты пошел дальше. Не вернешься - затянет тебя трясина".
На квартиру Ульяновы возвращались поздно. Улицы уже были пустынны. Поддерживая жену под руку, Владимир говорил с горьким сожалением:
- Не могу понять, как мог Мартов докатиться до такого...
- А Плеханов, - напомнила Надежда, - несколько дней думал, к кому же присоединиться.
- Да. Чуть было снова не вильнул. Но, опомнившись, вовремя сказал свое слово о нашем искровском проекте устава. Удержался бы на этом...
Взбудораженный всем случившимся, Владимир Ильич провел ночь без сна.

5
С каждым днем бундовцы, мартовцы да "рабочедельцы" Мартынов и Акимов бесчисленными репликами и резолюциями неимоверно затягивали съезд и накаляли обстановку.
На шумном двадцать седьмом заседании произошли перемены в составе делегатов. Подавляющим большинством голосов съезд отверг бундовский устав о федерации, и бундовцы, демонстративно заявив, что "Бунд выступает из РСДРП", покинули зал заседания. И сторонники Мартова потеряли пять голосов.
На следующих двух, еще более шумных, заседаниях съезд признал единственной организацией партии за границей Лигу русской революционной социал-демократий. После того группа "Освобождение труда" заявила, что она больше не существует и "растворяется в партийной организации". Так же поступила и группа "Искры". А делегаты Заграничного союза русских социал-демократов "рабочедельцы" Мартынов и Акимов не последовали этому примеру. Пришлось объявить Союз не существующим. Они сочли себя оскорбленными и высокомерно заявили, что удаляются со съезда.
- Совершенно напрасно.
- Обижаться не на что, - неслось им вслед.
Они не оглянулись.
Когда двери за ними закрылись, Плеханов облегченно вздохнул:
- Слава богу, ушел Мартын с балалайкой!
И мартовцы лишились еще двух своих сторонников.
"Как-то поведут себя мартовцы дальше? - тревожно думал Бауман, звавшийся на съезде Сорокиным. - Что предпримут во время выборов? Неужели в угоду своей оппозиционности попытаются и дальше вставлять палки в колеса?"
Перед выборами мартовцы собрались отдельно.
"Что же будет? - продолжал спрашивать себя Бауман, идя на совещание большевиков. - Неужели произойдет окончательный раскол? Мартов должен бы одуматься. Ведь три года работал вместе с Лениным и Плехановым. Как мог он скатиться к оппортунизму? Или его только здесь, на съезде, попутал бес уязвленного самолюбия и беззастенчивой амбиции?"
На совещании Бауман обвел взглядом всех присутствующих, подсчитал: двадцать четыре голоса! Они-то и составляют теперь твердое искровское большинство! В их руках дальнейшая судьба съезда. У них стойкие лидеры Плеханов и... Нет, теперь уже Ленин и Плеханов. Так вернее!
На тридцатом заседании перешли к выборам. И первым попросил слово делегат Бакинского комитета двадцатипятилетний Кнунянц. Он предложил, как было записано в повестке дня, выбрать путем тайной подачи записок две тройки: одну - в ЦК, другую - в редакцию "Искры". И сразу же ринулись в атаку мартовцы. Безудержно и изворотливо говорливый двадцатичетырехлетний Троцкий потребовал разделить вопрос на два и сначала назначить редакцию. Не менее говорливый Гинзбург, присутствовавший с совещательным голосом, тотчас же внес резолюцию об утверждении старой редакции. И никто не нашелся оспорить его право потому, что с самых первых дней съезд, согласившись с Мартовым, иногда позволял всем голосовать наравне с делегатами, обладавшими правом решающего голоса.
"Вон с каких пор Мартов начал подбирать себе сторонников! - отметил Бауман. - И теперь его подручные ратуют за утверждение старой редакции для того, чтобы у них, мартовцев, было там четыре голоса из шести. Явная попытка парализовать влияние Ленина и Плеханова, связать им руки и протаскивать свои оппортунистические взгляды".
А Мартов, оглядываясь на каждого нового оратора, своего сторонника, так азартно кивал головой, что пенсне едва держалось на носу. Словно по команде, раздавались такие взрывы криков, что секретарю пришлось записать в протоколе: "В зале поднимается неимоверный шум, ничего не слышно". Мартовцы, потрясая кулаками, сгрудились перед столом. Их уняла только нервно вскинутая рука самого Юлия Осиповича.
- Я и другие три редактора уходим из собрания. Без нас т-товарищи, он заикался чаще обычного, - смогут в-высказаться б-более непринужденно.
За ним направились к выходу Аксельрод, Потресов и Засулич. Плеханов попытался остановить их, но они, отмахиваясь, ушли.
"На что рассчитывает Мартов? - снова задумался Бауман. - На то, что Плеханов и Ленин тоже уйдут? Да, так и есть. Большинство остается без лидеров и теряет три голоса. А у них? У них

остался Троцкий, этот наболтает и нашумит за десятерых. Ничего. Наше большинство будет сплоченным. Компактным. И победит".
Дейч, потрясая кулаком, кричит:
- Посмотрим, кто решится голосовать против всей старой редакции! Запомним.
- Не пугайте! - отвечает ему побагровевший Шотман. - Решим по-рабочему.
- Две тройки! - подхватывают сразу несколько голосов.
Колокольчик уже бессилен. Красиков схватывает трость Плеханова, оставленную на столе, и, призывая к порядку, бьет ею по столешнице.
Шум постепенно утихает, и Кнунянц, отстаивая свое предложение о двух тройках, говорит, что съезд собрался не для взаимоприятных речей, не для обывательских нежностей и опасения, как бы кого не обидеть, а для создания деятельных органов партии. И опять вскакивает Дейч. Но оратор, напрягая голос, продолжает:
- Я удивляюсь, почему именно Троцкий, а не кто иной, нападает на выбор троек? Вспомните, не он ли защищал порядок дня съезда? И ни словом тогда не упомянул о такой ереси в нем, как выбор троек.
"Вот это удар! - обрадовался Бауман. - Интересно, как вывернется Троцкий? Ведь не утерпит. И не покраснеет, балаболка!"
Троцкий не заставил себя ждать. И решил сначала выбить из седла своего оппонента.
- Я хочу возразить, - начал, манерно поклонившись в сторону Кнунянца, - молодому революционеру Русову...
- Не употребляйте таких выражений! - громогласно прервал его делегат Бакинского комитета. - Это еще вопрос, кто моложе, он или вы!
- Прошу спокойствия! - вскинул обе руки Троцкий. - Русов утверждал, будто я защищал так называемую идею двух троек. Это неправда!
"Даже глазом не моргнул!" - потряс головой Бауман и поднял руку, прося слова.
- Как быстро все изменилось! - раздраженно воскликнул Гусев, не сводя кинжального взгляда с Троцкого. - Несколько дней тому назад проект Ленина никого не смущал, а ведь предложение Русова буквальное повторение проекта Ленина.
"Вроде бы неловко говорить в отсутствие Мартова, - думал Бауман о своей будущей речи. - Но молчать больше невозможно. Правда всего дороже".
И когда пришел его черед, начал с горячим накалом:
- Я понимаю страстность настоящего спора. Но зачем же крайности? Разве позволительно поведение товарища Дейча? Он пытался демонстративно пригвоздить к позорному столбу всех не согласных с ним. Вот и создалась невозможная атмосфера.
Переждав новый всплеск шума, продолжал:
- Теперь о Мартове. От него первого я узнал о проекте двух троек. Он говорил, что этот проект был утвержден им самим и еще другим редактором. Протянул руки к залу, как бы ища ответа. - Зачем же так? Сегодня - одно, завтра - другое. В угоду отдельным личностям отказываться от своих слов, как это сделал Троцкий...
Шумные дебаты продолжались до позднего вечера. Голосование отложили на утро.
6
Перед входом в зал кучкой стояли делегаты. Курили. Возбужденно продолжали не оконченные накануне споры.
Пришли Ульяновы. Поздоровались общим поклоном. Вера Ивановна, вскинув голову, отвернулась от них; попросив у Мартова сигарету, прикурила от своей затухающей, окурок придавила носком ботинка.
"Как он изменился! - отметил Бауман, провожая глазами Ленина. - Лицо какое-то желтое. От нездоровья? Или от бессонной ночи? Но глаза все такие же острые. Готов продолжать схватку".
Размашисто переставляя трость, приближался Плеханов; едва успел приподнять цилиндр, как Вера Ивановна ухватила его за борт редингота, потянула в сторонку. Он покорно отошел с нею.
- Нечестно... Сверх всяких мер... - хрипела она больным горлом, маленьким кулаком тыкала ему в грудь. - Не ждала... Столько лет дружбы... И все забыто, перечеркнуто...
- Я готов выслушать, только не сейчас, - Георгий Валентинович прижал трость к груди. Кулачок Засулич угодил под костяной набалдашник, и пальцы разжались от боли. Плеханов поймал ее руку, поцеловал. - Прошу прощенья... Но в другое время... В другой обстановке...

С трудом оторвавшись от нее, направился к двери; раскинув руки перед делегатами, улыбнулся, превратил все в шутку:
- Мне показалось, что Вера Ивановна приняла меня за генерала Трепова! Опасался: вот-вот раздастся выстрел. Но, как видите, все обошлось благополучно.
Перед ним расступились. Он прошел к столу; положив трость, взялся за колокольчик.
- Не будем терять времени... - Поднял глаза на Красикова: - Какое у нас решение, коллега?.. Ах, вы еще не голосовали? В таком случае вам бразды правления. - Передал колокольчик. - А мы снова удаляемся.
Едва успели закрыться двери, как вскочил Троцкий и потребовал закрытого голосования об утверждении старой редакции "Искры". Мартовцы ударили в ладоши.
"Ишь как поддерживают своего! - ухмыльнулся Бауман. - А победа все равно будет за нами, за ленинцами".
Проголосовали. Красиков объявил: предложение Троцкого отвергнуто девятнадцатью голосами.
"Почему девятнадцатью?! - беспокойно оглянулся Бауман. - Кто же так подло увильнул к ним, а? Похоже двуголосый тифлисский делегат. Ай-ай! Достоин осуждения!"
Троцкий обрадовался: в отсутствие Ленина у твердых отбито два голоса! Доброе начало! И потребовал переголосования. Да не простого, а поименного.
Делегаты писали записки, относили Красикову.
Бауман издалека следил за рукой тифлисского делегата. "Он! Короткое слово написал - за. Подыгрывает оппортунистам!"
Остальные большевики и при тайном голосовании отвергли предложение Троцкого.
Красиков попросил пригласить редакцию в зал заседания.
Первым появился взъерошенный Мартов; бросив недокуренную сигарету, быстро просеменил в первый ряд, сел, закинув ногу на ногу, и, сложив руки на поджаром животе, выжидательно побарабанил длинными пальцами; выслушав решение, вскочил.
- Т-теперь, т-товарищи, поговорим иначе! Большинство отвергло старую редакцию. И я от имени своего, - стукнул себя кулаком в грудь, - и от имени трех других товарищей заявляю, что ни один из нас не примет участия в т-такой новой редакции. Некоторые товарищи собираются вписать мое имя кандидатом в э т у "тройку". Заявляю: я сочту это оскорблением, мною не заслуженным. - Голос его прерывался, и он хрипло выкрикивал: - Я счел бы это п-пятном на моей п-политической репутации. Скажу еще: вчера здесь, как мне передавали, Сорокин утверждал, что предложение о тройке будто бы исходит от части бывшей редакции. Это не соответствует истине, ибо п-предложение исходит от одного Ленина. А теперь перехожу к политической стороне дела...
Плеханов позвонил колокольчиком.
- Я не могу позволить снова обсуждать вопрос, уже решенный съездом.
Но в зале слышались возражающие голоса:
- Пусть говорит.
- Покажет себя до конца...
И Мартов "показал себя". Прокашливаясь и размахивая руками так, что из рукавов выскакивали уже лоснящиеся манжеты, он продолжал выкрикивать:
- Внутри партии создано "осадное положение". Ненормальный порядок. И съезд оказался не в состоянии положить конец этому п-порядку. Перед нами последний акт борьбы, возникшей во второй половине съезда. Осадное положение с исключительными законами против отдельных групп п-продолжено и даже обострено. Мы надеемся, что съезд передаст орган, который мы вели два с половиной года, в достойные руки. С этой надеждой я и заканчиваю свое прощальное, - подчеркнул кивком головы, - з-заявление.
Бауман внутренне кипел, возмущенный беззастенчивой ложью, но, сдерживаясь, твердым и ровным голосом попросил слово для личного ответа.
- Для личного - в конце заседания! - крикнул Троцкий.
Плеханов позвонил в его сторону.
- Выслущаем Сорокина сейчас.
- Я коротко, - начал Бауман. - Мартов говорит, что я исказил факты. Нет, я говорил только правду. И подтверждаю: Мартов знал о проекте Ленина и в свое время не протестовал.
- Знал?
- Не протестовал? - кричали из зала.

- Я з-заявляю, - снова вскочил Мартов, - слова Сорокина не соответствуют истине.
"Но где же предел подлости? - яростно крутнул головой Бауман. - И это политический деятель!.."
Ленин попросил у съезда разрешения ответить Мартову. В левой руке он держал какой-то исписанный лист, в правой - карандаш. Увидев знакомый лист, первым, прерывая Ленина, закричал Мартов. И тотчас же вскочил Троцкий. За ним хрипло зашипела Засулич. Звон колокольчика тонул в яростном шуме. И Ленин настоял, чтобы секретари записывали в протокол, сколько раз его прерывали.
Он напомнил, что еще за несколько недель до съезда говорил Юлию Осиповичу, что потребует на съезде с в о б о д н о г о в ы б о р а редакции. Тогда сам Мартов предложил ему более удобный план выбора д в у х т р о е к. Ленин поднял лист с первоначальной повесткой дня; повернув другой стороной, как бы подчеркнул карандашом строку: пусть все видят исправления Мартова, записанные красными чернилами. Пусть убедятся, что этот проект в редакции все видели десятки раз и никто не протестовал.
По рядам прошел шумок. Аксельрод, дрожащей рукой цепляя пенсне на вспотевший нос, подбежал поближе, чтобы прочесть самому, и, тяжело покрутив косматой головой, молча отошел на свое место. У Засулич ломались спички, и она долго не могла добыть огня, а когда добыла, лепесток пламени, обжигая пальцы, плясал возле конца сигареты. Дейч, посинев от сдержанной ярости, сунул себе в рот клок бороды. Троцкий, вдруг утихнув, подышал на стекла пенсне и принялся старательно протирать их платком. Мартов передергивал острыми плечами и ежился, словно ему по капельке лили за воротник ледяную воду. Потресов сидел окаменело.
"Вот это пригвоздил так пригвоздил! - Бауман окинул меньшевиков испепеляющим взглядом. - Какой позор! Какая низость! Им теперь остается только повиниться перед съездом. Но они промолчат. И дело тут не столько в заносчивой амбиции и обывательской жалости к обиженным своим, сколько в политической ущербности".
И меньшевистские закоперщики промолчали, а остальные недоуменно переглянулись.
Ленин намеренно затянул паузу - никто не оспорил подлинность документа - и продолжал уличать:
- Повторяю, выход в виде выбора двух троек был совершенно естественным выходом, который я и ввел в свой проект с в е д о м а и с о г л а с и я товарища Мартова. - Еще раз показал всем лист, повертывая той и другой стороной, потом сложил вчетверо, сунул в карман и, уткнув кулаки в бока, слегка подался грудью в сторону зала. - И товарищ Мартов вместе с товарищем Троцким и другими много и много раз после того защищали эту систему выбора двух троек на целом ряде частных собраний "искряков".
"Даже Балаболкин онемел! - с удовольствием отметил Бауман. - Не находит слов, бедняга!.. Ну и молодец наш Ильич!"
Мартов мял посиневшие губы. Через два дня, на тридцать пятом заседании, придя в себя, при чтении этого протокола он скажет: не слышал слов Ленина о том, что проект редакционной тройки был предложен им, Мартовым. Если бы слышал, опротестовал бы.
А Ленин уже перешел к политическим разногласиям с Мартовым. Это слово он подчеркнул энергичным жестом. Оказывается, они, сторонники двух линий, говорят здесь даже на разных языках! Съезд сделал к р у п н ы й п о л и т и ч е с к и й ш а г, свидетельствующий о выборе одного из наметившихся теперь направлений в дальнейшей работе партии.
- И меня ни капельки не пугают, - кинул Ленин руку вперед, - страшные слова об "осадном положении в партии", об "исключительных законах против отдельных лиц и групп" и тому подобное. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать "осадное положение", и весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как "осадное положение" для столь многочисленных источников п о л и т и ч е с к о й р а с п л ы в ч а т о с т и. Против расплывчатости именно и нужны особые, хотя бы и исключительные, законы, и сделанный съездом шаг правильно наметил политическое направление, создав прочный базис для т а к и х законов и т а к и х мер.
Бауман, аплодируя, переглянулся с Шотманом: "Вот это речь! Целая программа! Не правда ли?" И в жарких глазах того прочел: "Подлинно рабочий вождь! Несгибаемый!"

Меньшевики на некоторое время растерянно умолкли, и голосование за первую тройку прошло довольно спокойно. Комиссия, собрав записки, подсчитала голоса, а Красиков на правах вице-председателя объявил, что редакторами избраны Плеханов, Мартов и Ленин.
Мартов растерянно повел плечами: оказывается, большевики подали за него свои голоса! Похоже, что и Ленин отдал свои два голоса! По-прежнему стоит за тройки! Ну, нет, на такую приманку он, Мартов, не поймается. Он не какой-нибудь пескарь - покрупнее и осмотрительнее. И он, повертываясь на стоптанных каблуках то к одной, то к другой половине зала, то к бюро съезда, высокомерно объявил:
- Я отказываюсь от чести, мне п-предложенной... Фактически вся партийная власть передается в руки двух лиц, и я слишком мало дорожу званием редактора, чтобы согласиться состоять при них в качестве т-третьего.
"Мартову очень хочется быть первым, - понял Бауман. - И когда он гордо выступал от имени четверых, на какое-то время чувствовал себя первым!"
А тот, внося замешательство, подбросил подстрекательскую фразу:
- В качестве редакции мы выбрали недееспособную коллегию...
Выход находчиво предложил Красиков: двое кооптируют третьего. За это проголосовали все большевики.
За тройку ЦК голосовали путем тайной подачи записок. И во время подсчета голосов "южнорабочевец" Левин, представитель "болота", проворчал:
- Ясно - "компактное большинство" голосует, как один человек, по знаку своего вождя!
Избранными оказались Ленгник, Кржижановский и Носков (Глебов). Чтобы не нарушать конспиративности ЦК, которому предстояло работать внутри России, председатель съезда по договоренности назвал только одного Глебова.
Председателем Совета партии по запискам избрали Плеханова. "Компактное меньшинство" - этим выражением горделиво козырнул Троцкий уклонилось от голосования.
Касса опустела, и 23 августа пришлось, комкая оставшиеся вопросы, съезд закрыть.
Плеханов вяло встал. В нем не было той торжественности, которая радовала всех при открытии. Погладив бородку, начал последнюю речь. Голос у него был тусклым, слова бесцветными. Он только напомнил, что постановления съезда обязательны для всех членов партии.
Большевики сгрудились возле стола. Ленин, от радости щурясь, словно в самый солнечный день, сказал:
- Завтра утром мне хотелось бы, друзья, вместе со всеми вами, я подчеркиваю - со всеми, посетить могилу Маркса. Нам есть о чем молча посоветоваться с нашим учителем.
- Да, да, великолепное предложение! - откликнулся Плеханов, приподымая трость до уровня груди. - Хайгейтское кладбище до сих пор почему-то оставалось существенным пробелом в моем знакомстве с Лондоном.
7
Шли гуськом между могил. Шагали бесшумно, будто боялись потревожить давно усопших. Впереди - Ленин. Он вел к надгробию, в изголовье которого кудрявился кустик вечнозеленого мирта. Там первым снял шляпу. За ним, стоя в два ряда вокруг могилы, все склонили обнаженные головы, словно только что опустили в могилу самого близкого человека.
Помолчав, Плеханов положил пунцовую розу, купленную у входа на кладбище. Ленин воткнул возле плиты жесткий стебелек бессмертника. И остальные делегаты воткнули по такому же цветку. Оранжевые чашечки крепких цветов напоминали пламя свечей, зажженных вокруг надгробия.
Дмитрий Ильич осторожно сорвал глянцевитый и пахучий листик мирта, положил в записную книжку.
- Вот и расстаемся... - сказал Ленин, надевая шляпу. - И будем верны его бессмертному слову. Примемся за новую работу.
На обратном пути зашли в Риджент-парк, на просторной лужайке, где коротко подстриженная мурава напоминала богатый ковер, встали в кружок, выжидательно переглянулись. Расходиться не хотелось. Каждому не хватало еще каких-то слов.
- Перед отъездом полагается посидеть, - сказал Георгий Валентинович. - Для успеха дела. - И, опираясь рукой на трость, а второй откидывая полы редингота, опустился на коленки.
Все сели. Помолчали.
Ленин взглянул на Плеханова. Тот, поняв его, встал. Трость осталась лежать на траве.

- Да, сказано не все. - Положив цилиндр на трость и сунув руку за борт редингота, продолжал торжественно, будто только теперь закрывал съезд: - Примечательное завершение нашей работы! Мы отдали дань своей любви гению человечества. Он явил нам пример последовательности и верности святому делу пролетариата, делу коммунизма. На съезде мы, отныне именуемые большевиками, показали себя несокрушимой когортой. Мы не оборонялись наступали. Были во всем единодушны. Так пусть же это единодушие всюду сопутствует нам - сердцем чую - в неизбежной и нелегкой борьбе с меньшевиками, которые не упустят ни малейшей нашей оплошности. Так пусть же...
Вскинутая рука вдруг опустилась, голос прервался. На них, поставив треножник, нацеливал аппарат юркий фотограф. Кто он? Для чего собирается снять всю группу? Чтобы продать каждому на память по снимку? Или охотится за ними по заданию полиции? Могут задержать на вокзале...
И все повскакивали, протестующе отмахиваясь, спешно покидали парк. Георгий Валентинович схватил цилиндр и трость.
Ленин на ходу досказывал то, что, по его предположению, не успел досказать Плеханов:
- Дома не теряйте времени. Нужно побывать во всех комитетах, рассказать о съезде с наших позиций. Непременно опередить меньшевистских докладчиков. Где потребуется, дать им бой. Все комитеты перетянуть на свою сторону.
Бауман вспомнил о Москве. Ему следует опять попроситься туда. Но теперь уже не Грачу, а... Новый псевдоним нетрудно придумать...
Шотман мысленно перенесся в Питер. На Путиловском ждут. И на Обуховском тоже ждут...
У Дмитрия был билет на дневной поезд. С Надеждой Константиновной он уже простился. С братом последний раз в Лондоне пил кофе в маленьком кафе недалеко от вокзала.
- Маняше можешь рассказать о всех баталиях, которые здесь были, а маму побереги, - наказывал Владимир. - Ей - в общих чертах. Скажи: здоровы. Скучаем о ней. Беспокоимся. Борьба с меньшевиками была, но... Бессонницей не страдаем, аппетит не потеряли... Да ты сам найдешь смягчающие слова.
Дмитрий в знак согласия качал головой, а сам думал:
"Разве от мамы можно что-нибудь утаить? Она посмотрит в глаза и, как маленькому, слегка погрозит пальцем: "Ты, Митенька, о чем-то умалчиваешь". Но я, конечно, постараюсь не волновать. Как смогу..."
Они отодвинули пустые чашки. Владимир Ильич опасался без особой надобности бывать на вокзале - простились тут же, у столика.
Ла-Манш обрадовал полным штилем. Пассажиры любовались морской синевой, чайками, крикливо кружившимися за пароходом.
Плеханов, слегка приподняв край цилиндра над густыми зарослями бровей, гулял по верхней палубе. Встретив Мартова, с которым не виделся два дня, подал руку, спросил о здоровье.
Юлий Осипович, кашляя и сутулясь, приободрился:
- Ни на что не жалуюсь - все идет к лучшему.
- Как это понимать? После того, что произошло...
- Просто. Рыцари подняли забрала - сражаться удобнее. Рапиры навострены.
- А нельзя ли без рапир? Как-никак работали вместе.
- Было это. Да быльем поросло. И вы рано торжествуете победу. В Лондоне оказалось ваше большинство, а в Женеве будет наше. Практики-то уедут. Вокруг вас останутся эмигранты - наша думающая интеллигенция.
- Лучше бы вместе... Спокойнее.
- Согласен - спокойствием надо бы дорожить. Но это уже зависит от вас.
- Я не теряю надежды. Думаю, что вы...
- Напрасно. Третьим я не буду. Да и для вас в пресловутой тройке было бы небезопасно.
- Почему? - вскинул брови Плеханов.
- По причинам геометрии, - ухмыльнулся Мартов. - Треугольник всегда опирается на два угла. Он, - кивнул головой в сторону Лондона, где еще оставался Ленин, - это учел. Я-то разгадал его, а вы...
- Договаривайте, пожалуйста.
- Не хотелось без него... - замялся Мартов, но тут же, как бы решаясь на что-то сверхотчаянное, махнул рукой. - Ладно. Ради нашей дружбы...

Плеханов поморщился. Не отойти ли вовремя? Пожалуй, не стоит. Пусть выговорится до конца.
- Я слушаю.
- Однажды в минуту откровенности... - Мартов потянулся рукой к пуговице насторожившегося собеседника, но Плеханов отступил на шаг. - Так вот... Только пока между нами... В минуту откровенности он сказал: "Знаешь, Юлий, если в редакционной тройке мы с тобой будем единодушны, то Плеханову придется..." Одним словом, вспомните третий угол треугольника.
- Да?! - Георгий Валентинович побагровел, косматые брови его нависли на суровые глаза. - Да как вы можете такое?!. Политический деятель, а опускаетесь до обывателя!
Стукнув тростью, круто повернулся и быстро пошел в противоположную сторону.
"Неужели это правда? - спрашивал себя. - Неужели Ленин мог?.. Ведь он еще пешком под стол ходил, когда я уже... когда ко мне прислушивались революционеры. Нет, это немыслимо... А если в самом деле?.."
Сделал круг по палубе. Мартов стоял у борта и курил.
Задерживаясь возле него, Плеханов ткнул в его сторону набалдашником трости:
- У вас концы с концами не сходятся. На съезде вы отрицали предварительный разговор с Лениным о редакционной тройке, а теперь...
- Так мы же разговаривали в частном порядке...
- Эх, Юлий Осипович! А мне-то думалось, что мы еще могли бы вместе... Эх!
Плеханов снова стукнул тростью и быстрее прежнего пошел по палубе.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

В Женеве предстояла большая работа: во всей России партийные комитеты ждали решений съезда, которые надеялись найти в очередном номере "Искры".
А кто будет готовить его?
Ленин пришел к Плеханову. Розалия Марковна подала кофе в кабинет мужа. Острый, пряный аромат заполнил комнату. Владимир Ильич, чтобы не обжечься, отпил с ложечки и сделал легкий поклон в сторону хозяйки:
- Кофе у вас всегда отменный! Спасибо!
Она удалилась с мягкой улыбкой, довольная похвалой.
Георгий Валентинович тоже отхлебнул с ложечки, сладко почмокал.
- Работы у нас непочатый край. - Вскинул на собеседника настороженные глаза. - А не кооптировать ли нам Мартова?
- Да?! - удивился Ленин, про себя отметив: "Очередное влияние Георгия Валентиновича!" Вслух сказал с легким вздохом: - Мартова жаль было терять. И больно видеть в числе противников.
- Вы считаете его для нас потерянным? Я бы так не сказал. - Плеханов отпил глоток кофе. - Знаете, бывают иногда такие скандальные жены, что им необходимо уступить во избежание истерики и громкого скандала перед публикой.
- Вот как! На съезде вы заверяли, что не будете разводиться со мной, - усмехнулся Ленин и слегка прищурился, - а теперь у вас другая "жена".
- Не у меня... - ответил усмешкой Плеханов. - И мне не хотелось бы, чтобы вы окончательно разводились с Мартовым.
- А у меня от табака такой "жены" горло перехватывает! - Владимир Ильич отодвинул пустую чашку. - Но шутки в сторону. - Прищурился больше прежнего. - Уступить, говорите? Только не в принципиальных вопросах.
- Да какой там принцип! Одна амбиция! Ставка на лидерство!
- Нет, нет, дело не в одной амбиции. Гораздо хуже. Вы недооцениваете Мартова как противника. Его первый параграф устава - это принципиальная линия, чуждая марксизму.
- Горячо и громко! - Плеханов тоже отодвинул чашку. - А может, все же попытаться? Для дела. Нам вместе...
- Если уступить, то только в каких-то частностях и так, чтобы сохранить за собой силу не допустить еще большего "скандала".
- Этим я и озабочен.
- Но если вам не удастся добиться мира, приемлемого для большинства, которое вы последовательно отстаивали на съезде, я сохраню за собой свободу действий. До конца разоблачу "скандальную жену", которую даже вам не удавалось успокоить и утихомирить.

- Мы обязаны использовать все средства. - Плеханов сказал это твердо и официально, как председатель Совета партии. - Попробуем в добрый час Указал на письменный стол: - Прошу.
И Владимир Ильич обмакнул перо в чернила.
- "Уважаемый товарищ! - слово за словом произносил вслух. - Редакция ЦО считает долгом официально выразить свое сожаление по поводу Вашего отстранения от участия в "Искре" и в "Заре" (No 5 "Зари" в настоящее время готовится к печати)... Какое-либо личное раздражение не должно, конечно, служить препятствием к работе в Центральном Органе партии.
Если же Ваше отстранение вызвано тем или иным расхождением во взглядах между Вами и нами, то мы считали бы чрезвычайно полезным в интересах партии обстоятельное изложение таких разногласий".
Перо, хотя и было не своим и непривычным, лишь изредка отрывалось от бумаги, удлиненные буквы как бы летели, плотным строем устремленные вперед:
"Наконец, в интересах дела, мы еще раз ставим Вам на вид, что мы в настоящее время готовы кооптировать Вас в члены редакции ЦО для того, чтобы дать Вам полную возможность официально заявлять и отстаивать все свои взгляды в высшем партийном учреждении".
Поставив точку, Владимир Ильич встал, хотел передать лист и перо Плеханову, но тот медленным движением руки остановил его.
- Вам работать в "Искре", и первая подпись должна быть вашей.
Такие же письма, за исключением последнего абзаца, они послали всем старым соредакторам и бывшему сотруднику Троцкому. Трое ответили кратко: при новой редакции они не будут писать для "Искры". А Мартов прислал письмо, полное заносчивого высокомерия: "Я не считаю нужным в письме к Вам объяснять мотивы моего отказа работать в "Искре" при нынешних обстоятельствах". К тому времени он, созвав фракционное совещание семнадцати меньшевиков, тайно от ЦК и Совета партии уже сколотил бюро меньшинства; кроме себя включил в него верных оруженосцев - Аксельрода, Потресова, Троцкого и Дана.
Мартов, ничем не брезгуя, готовился к атаке.
...Надежда проснулась первой, бесшумно поднялась, на цыпочках повернулась к кровати мужа и тревожно взглянула на его лицо. Бинт у него сдвинулся на лоб. Под левым глазом и на виске чернели ссадины. Бровь слегка припухла, возле шва, наложенного врачом, небольшое покраснение.
...Вчера он после очередной стычки с меньшевиками в кафе "Ландольт" спешил домой на велосипеде, и по дороге случилась с ним эта беда: в задумчивости не заметил трамвайной колеи, колесо вдруг застряло в углублении возле рельса, и он - о ужас! - с размаху ударился лицом о каменную мостовую. Глаз каким-то чудом уцелел. Обливаясь кровью, он добрался до врача. Тот промыл ранки, наложил шов и несколько успокоил: ушиб глазного яблока, надо надеяться, не повредит зрению.
Больной заснул только перед утром, и она, Надежда, тоже заснула. Не слышала, когда он, повертываясь, сдвинул бинт...
Теперь Владимир спал, лежа на спине. Наклонилась поближе: ссадины под глазом и на виске как будто подсыхают.
Не надо больше мазать йодом. Да, определенно подсыхают.
Почувствовав ее теплое дыхание на своем лице, Владимир открыл здоровый глаз.
- Надюша... - Взял ее руку, погладил. - Ты не волнуйся, мне уже лучше.
- Тебе надо полежать. И все пройдет.
- Сегодня полежать?! В такой день?!
- Это, Володя, необходимо. И я пойду одна...
- Но это... - Владимир порывисто приподнялся, положил жене руки на плечи, и она села рядом с ним. - Ты сама знаешь, перед боем позиций не покидают. Отступают только трусы...
...На съезд Владимир Ильич был делегирован Заграничной лигой русских революционных социал-демократов, и теперь меньшевики, которым в Лиге принадлежало большинство, потребовали его отчета. В Женеве находились три члена правления Лиги - меньшевик Дейч и большевики Папаша (Литвинов) и Саблина (Крупская). Когда обсуждался вопрос о срочном созыве съезда Лиги, Дейч, оставшийся в одиночестве, написал остальным двум членам правления, проживавшим в Париже и Берлине. Что они ответят? Те подали голоса за съезд Лиги. И меньшевики, члены Лиги, заранее съехались в Женеву. Успели сговориться. Сегодня, 26 октября, открытие съезда Лиги...

- Я пойду одна, - повторила Надежда со всей настойчивостью, на какую только была способна.
- Нет, нет, ни в коем случае.
- Попрошу отложить. Хотя бы на один день. Должны же они понять.
- Меньшевики?! Мартовцы?! - Владимир погладил руку жены. - Какая ты, Наденька, наивная! Да они обрадуются!
- В конце концов, Вера Михайловна*, член Лиги и врач, подтвердит твою болезнь.

---

* В. М. В е д и ч к и н а - большевичка, жена Бонч-Бруевича.

- Пойми - это невозможно. И не уговаривай. - Владимир встал. - Я готов к реферату, и я пойду. Сегодня решительная схватка.
Надежда удержала его за рукав:
- А вот к умывальнику я тебя не пущу. - Согрела лицо мягкой улыбкой. - Тут уж придется подчиниться. Утру тебе лицо влажным полотенцем. Осторожненько. И сделаю новую повязку...
- Хорошо. Только надо поторапливаться...
Меньшевики действительно обрадовались травме Ленина.
- Подбил себе глаз?! Не придет?! Ну и пусть сидит дома.
- Вовремя, вовремя! - перебрасывались злорадствующими фразами, сидя за столиками кафе "Ландольт", где собрались члены Лиги.
- Без него обойдемся! - сказал Троцкий и уважительно кивнул головой в сторону Мартова: - У нас есть кому выступить с рефератом о Втором съезде.
- Я и при нем не промолчу, - отозвался Мартов. - Потребую для себя корреферат.
- Ваше дело... - шевельнул плечом Плеханов.
- Корреферат от меньшинства? - спросил Ленин, неожиданно входя в зал. - Я думаю, Георгий Валентинович прав.
- Лига должна знать все! - выкрикнул Троцкий, вскакивая со стула и вскидывая бородку. - Все вскрыть, все взвесить на весах разума!
- Какое нетерпение! - заметил Плеханов. - А я полагал - сначала надо избрать бюро съезда.
Бонч-Бруевич, спокойно погладив бороду, предложил избрать в бюро одного человека от большевиков, одного - от меньшевиков и одного - от правления Лиги.
- А вы нам не диктуйте! - снова вскочил Троцкий. - Мы не крепостные! И Лига суверенна!
Меньшевики, как по команде, крикливо поддержали его. Пользуясь своим численным превосходством, избрали бюро из своих сторонников. Председателем - Гинзбурга, не менее крикливого, чем Троцкий.
Мартов сунул пальцы за воротник, рванул его, как при удушье; узел галстука сбился набок, заношенные манжеты вылезали из коротких рукавов пиджака; выхватив из кармана листки бумаги, пошелестел ими, что-то записал дрожащей рукой.
"Скандала на публике, которого боится Плеханов, не миновать, отметил про себя Владимир Ильич. - Даже ему не успокоить "истеричную жену".
Ленину для доклада предоставили два часа. Он, уважая регламент, с легким кивком головы сказал председателю, положившему перед собой часы:
- Постараюсь уложиться. - Достал часы. - Ваши спешат. Учтите - на четыре минуты.
- Спешат оттого, что мне дорого не прошлое, а будущее, - попробовал отшутиться Гинзбург, и, согнав улыбку с лица, добавил: - Будущее партии.
- Большевикам будущее партии еще дороже, - отпарировал Ленин. - Иначе мы не были бы здесь. Но не будем терять секунд.
Повернулся к залу. В левой руке держал часы, в правой - листки с тезисами, свернутые трубочкой. Доклад начал спокойно. Говорил четко и твердо, излагая события съезда день за днем, вопрос за вопросом. И ни разу не воспользовался листками. Сжимая их, то уверенным движением предупреждал кого-то в зале, то как бы подносил слушателям бесспорные слова, то грозил в сторону непоседливых меньшевиков.
- Не перебивайте. - Взглянул на часы. - У меня остается уже только двадцать пять минут. - И к председателю: - Прошу не засчитывать минуты, украденные у меня крикливыми оппонентами.
Больше всех стучал кулаком по столу и истерически кричал Мартов. Пряди волос его прильнули к мокрому лбу, капли пота падали с усов.

- Еще полторы минуты напрасного шума, - отметил Ленин, взглянув на Потресова, привалившегося плечом к стене. У того нервно дергались руки, беспрерывный тик искажал лицо, словно припадок пляски святого Витта, и Ленин смягчил голос.
Перейдя к первому пункту устава, принятому в меньшевистской редакции, он сказал:
- Голосуя за свою формулировку, Мартов и компания оказались в оппортунистическом крыле нашей партии.
- А вы... вы... твердокаменные ортодоксы! - Мартов, хрипя, сорвал с себя галстук. - Создали осадное п-положение! Узурпаторы!
- Крик и ругань, Юлий Осипович, не украшают революционера, попытался Ленин охладить его.
- Не лучше ли деловито поговорить о выполнении решений съезда? Мы, большевики, за это.
- Здесь не ваше, а наше большинство, господа осадники!
- Ненадолго. Большинство было и будет у нас. Рабочие, подлинные марксисты, пойдут за нами. Почитайте письма комитетов.
Глядя на часы, Ленин переждал шум и перешел к рассказу о выборах. Но едва он успел упомянуть о том, что его предложение о двух тройках было известно еще до открытия Второго съезда и в редакции "Искры" никто не возражал, как Мартов снова ударил кулаком по столу:
- Ложь!
Ленин окинул взглядом зал. Кто может подтвердить разговор в редакции о двух тройках? Потресов? Но тот, все еще не освободившийся от жестокого тика, сидел с закрытыми глазами. Троцкий, как и следовало ожидать, тоже промолчал.
- Читайте протокол съезда, - сказал Ленин. - Там записано.
Мартов продолжал стучать.
- Ложь!.. Ложь!.. К-кровь старой редакции на вашей совести...
Не выдержав, Плеханов встал, как пастор перед грешником, блеснул латынью:
- Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав.
Мелкими, семенящими шажками Мартов подбежал к нему и с безнадежным сожалением покачал головой.
- И ты, Брут, туда же? - Погрозил пальцем возле самого носа Плеханова. - Но я в долгу не останусь! - Стукнул себя кулаком по впалой груди. - Цезарь жив!
- Если Цезарь считает себя оскорбленным, - под усами Плеханова заиграла усмешка, - то я готов с ним драться на дуэли!
- Боже мой!.. Боже мой!.. - хлопала руками Вера Ивановна. Бледная, как береста, она схватила Плеханова за атласные лацканы редингота. - Жорж, опомнитесь!
- Не волнуйтесь, сестра, - Георгий Валентинович отнял ее руки, видите - перчатка не поднята, противник отступил.
- Вы-то хороши - против своих! На что это похоже? Пора бы вам одуматься.
- Пусть он, - Плеханов кивнул на Мартова, - не опускается до московского охотнорядского молодца!
Меньшевики, повскакав с мест, подбегали с кулаками.
И председателю пришлось объявить перерыв.
Одни, продолжая незаконченные споры, выходили покурить, другие направлялись к стойке за кружкой пива (хозяин кафе уже в самом начале высказал недовольство, что его гости мало заказывают пива).
Плеханов, подойдя к Ленину, покачал головой:
- Какой он жалкий!..
- Я бы не сказал этого. - Ленин слегка поправил повязку на глазу. От него в таком состоянии можно ждать самого невероятного. Ни перед чем не остановится. Но партия узнает, кто же на самом деле раскольники, кто срывает работу Цека, кто вконец разваливает дисциплину.
В перерыве Мартов выкурил - одну за другой - несколько сигарет, снова надел галстук, понадежнее затолкнул манжеты в рукава.
В ожидании его корреферата Аксельрод и Засулич передвинули свои стулья поближе. У Потресова даже унялся тик.
Троцкий не сводил с оратора глаз, после его эффектных слов вскидывал правую руку, будто у него была дирижерская палочка, и затем неистово бил в ладоши.
Мартов, чувствуя себя победителем, пережидал с поднятой головой. Он даже заикался меньше обычного.

Ленин, слегка склонив голову к левому плечу, время от времени делал для себя пометки на листе бумаги.
Плеханов сидел с каменным лицом, решая - выступать или не выступать? Речь у него приготовлена, прослоена нейтральными остротами да цитатами из латинских классиков. Его выслушают не перебивая. Но стоит ли выступать после этих истерических сцен, которые разыгрывались здесь? Вера Ивановна будет недовольна его речью, чего доброго, опять при всем народе схватит за лацканы редингота, осыплет грудь брызгами слюны: "Я не узнаю вас, Жорж! И все наши не узнают. Все ждали, и все разочарованы!" Пожалуй, лучше промолчать. А молчание можно объяснить излишним накалом страстей. И он смолчал.
Аксельрод вспомнил пословицу: "Сказанное слово - серебряное, несказанное - золотое". Если Жорж промолчит, золото будет у них, меньшевиков, в кармане! Их напрасно прозвали меньшевиками - здесь большинство на их стороне, и Ленин будет опрокинут! Железная ортодоксия ему не поможет! Когда-то восторгался им, молодым, энергичным, эрудированным, пламенным, и считал преемником... Но кто же мог предполагать, что он обойдется с ними, ветеранами, так, мягко говоря, неуважительно? Вот ему и расплата!
Надежда Константиновна подперла щеку стиснутым кулаком. Она не могла смотреть на содокладчика. Это же совсем не Мартов, какой-то перевертыш! Был сотоварищем по общему делу - стал противником. Все извратил, не осталось ни йоты правды. Дальше катиться уже некуда.
Но вот ее хлестнули по ушам предельно подлые слова.
- Зачем нужна была Ленину п-пресловутая редакционная тройка? - хрипел Мартов, потрясая вскинутой рукой. - Открою вам глаза. Однажды, в минуту откровенности...
И он повторил то, что говорил Плеханову на пароходе.
Владимир Ильич кинул пронизывающий взгляд:
- Имейте хотя бы крупицу совести. Не лгите.
По сигналу Троцкого меньшевики заглушили его слова криками и топотом ног.
Мартов, прокашлявшись, выпрямил грудь и, отводя глаза в сторону от Ленина, выкрикнул:
- Если считаете меня лжецом, я... я вызываю на т-третейский суд!
- Напрасно спешите, - отпарировал Ленин, - мое право вызвать вас. И все предать гласности.
Меньшевики снова ответили топотом и стуком.
Плеханов, будучи председателем Совета партии, мог призвать их к порядку, но он по-прежнему сидел окаменело. Кровь стучала в жилах, словно по вискам ударяли молоточками. "Неужели могло быть так, как второй раз говорит Мартов? "Скандальная жена", кажется, перешла границы возможного. Но тогда он сказал мне наедине, а теперь... Так уверенно, при народе... А с другой стороны... Никто же его никогда не подозревал в подобных инсинуациях..."
Аксельрод проронил:
- А я это предвидел.
- Бросьте вы свое "предвидение"! - отмахнулась Вера Засулич. - Сейчас нужно не болтать, а действовать. - И бросилась снова к Плеханову: - Жорж, что же вы молчите?
- Оставьте меня. - Плеханов отстранился холодным жестом и, ни на кого не глядя, направился к выходу. - Не выношу подобных сцен! Мы же не в мещанском обществе...
Вслед за ним большевики покинули съезд. Ульяновы задержались в соседнем зале на несколько минут. Владимир Ильич, поправив повязку на глазу, написал заявление в бюро съезда: "...так называемый корреферат Мартова перенес прения на недостойную почву, я считаю ненужным и невозможным участвовать в каких бы то ни было прениях по этому поводу". Он отказался и от заключительного слова.
Когда вышли из кафе, сказал Надежде:
- А о расколе, вызванном меньшевиками, я напишу в особой брошюре. Расскажу всю правду. Партия должна знать ее.
Меньшевики продолжали заседать одни, внимая каждому слову Мартова. Ему азартно поддакивал Троцкий, сверкавший возбужденными глазами.
В пятницу 30 октября, когда предстояло обсуждение устава Лиги, большевики вернулись на съезд. Меньшевики по-прежнему пользовались превосходством голоса. Игнорируя разъяснение Ленина, они в нарушение устава партии объявили Лигу автономной, рассчитывая на то, что она явится их твердыней.

К тому времени в Женеву приехал член ЦК Ленгник. Возмутившись нарушением меньшевиками партийного устава, он в субботу утром, с согласия Плеханова, объявил, что Центральный Комитет не утвердил новый устав Лиги и считает ее распущенной.
Мартов выбежал вперед, размахивая руками:
- Цека въехал в нашу организацию, как п-победитель на б-белом коне! Мы не п-подчинимся ему! Мы его осудим!
- Не губите партию! - пытался остановить его Ленгник. - Раскольники!
Его слова потонули в бесконечных выкриках и топоте ног.
- Лига остается суверенной! - кричал Мартов, повторяя слова Троцкого.
Вечером Владимир Ильич пришел поговорить с Плехановым: что же делать дальше?
Георгия Валентиновича будто подменили. Он, поджав руки, стоял с ледяным лицом; вздохнув, с трудом вымолвил:
- Разговор может быть только один - надо мириться.
- Как мириться?!
- Кооптировать старую редакцию.
- Это невозможно.
- А иного пути нет. - Брови Плеханова, дрогнув, сомкнулись. - Я не могу больше стрелять по своим!
- По своим?! Раскольников вы считаете своими?! А еще утром мы были единодушны...
- Поймите меня, ради бога!.. Лучше пулю в лоб, чем жить в такой обстановке.
- Не ждал. - Ленин, прищурившись, как шильцами колол глазами Плеханова. - Не ждал, что вы отступите от большевизма! И в такую минуту.
- Судите как хотите... - Плеханов отвел лицо в сторону. - А я не могу...
- В таком случае я подаю заявление об отставке из редакции "Искры". Извольте объявить об этом в газете и принять дела.
В воскресенье Владимир Ильич возвращался от Плеханова после вручения заявления; шел стремительно, словно опаздывал на поезд.
Мартовцы пока что ликуют, считают себя победителями. Но это временно. Он не отступил. И не отступит. Никогда. Ни в коем случае. Если Плеханов попытается кроме газеты отдать им даже Цека, он, Ленин, и тогда будет бороться с раскольниками. Каким путем? Придут новые силы. Большевизм не на ущербе - на подъеме. Об этом говорят письма из комитетов. Рабочие поймут, что нужен, совершенно необходим экстренный съезд партии. В нем спасение. Лозунг его - борьба с дезорганизаторами. Им, новоявленным оппортунистам, которых уже готов облобызать апостол буржуазного либерализма Струве, будет дан сокрушительный бой. Большевики останутся большевиками. И победят. Хотя в стане противников и оказался Плеханов. Тем хуже для Плеханова.
2
Окуловы были щедры на письма. Писали в тюрьмы и о тюрьмах, в ссылку и о ссылке.
Летом и осенью 1903 года Екатерина Никифоровна особенно часто писала старшей дочери Кате. И все о своих молодоженах. 6 июля она отправила из Москвы письмо в Киев:
"Милая Катенька!
Три часа назад я пришла со свидания. Наши новобрачные, как всегда, веселы и счастливы. Просили передать тебе привет.
Новостей ни у них, ни у нас нет, и разговор вертелся на мелочах. Поговорили о пьесах Ибсена, которые перечитала Глафирочка, дальше перешли на искусство, и Иван Адольфович с Алешей заспорили, да так увлеклись, что, кажется, забыли, где они. Срок свидания давно кончился, офицер несколько раз приходил, но из вежливости не хотел прерывать и скромно удалялся. А мы все сидели и сидели. В конторе уже никого не было, когда мы вышли...
24 июля
Из Москвы
...Они сегодня были веселы, в особенности Глаша. Она очень жалела, что ты не приехала. Ну, а вообще разговор как-то плохо катился. Как обыкновенно, они говорят больше друг с другом. Он ее журил и мне жаловался, что она легкомысленно относится к своему здоровью. Очевидно, он очень заботится о ее здоровье, а сам выглядит хуже ее.
Очень уж томятся они теперь тюрьмой, страшно хочется на волю...
29 сентября

Из Самары в Киев
...Вот и началось их "свадебное путешествие"! Они назначены в далекую якутскую ссылку. В край вечного холода.
Вчера их привезли сюда, в пересыльную тюрьму, но свидания мне не дали.
30 сентября
Из Самары
...Вчера встретила Яся и Глафирочку в партии заключенных, когда их пригнали на вокзал. Ну, конечно, посмотрела только сквозь окно тюремного вагона.
Их везут в Иркутск...
5 октября
Из Красноярска
...Хорошо, что я поехала на вокзал. Там увидела их через решетку окна. Когда подходил поезд, я стояла на платформе. Ясь первый увидел меня, затем - Глашура, и оба радостно закивали мне головами и начали улыбаться. Но я не смогла улыбнуться - непокорные слезы полились. Сначала они как будто удивились (они ведь были уверены, что я из Самары поеду в том же поезде), а потом сообразили, что едут не домой, и их лица моментально омрачились.
Поезд остановился, и я стала против них. Жандармы, по обыкновению, стали гнать меня, но я решительно заявила, что не уйду, хочу посмотреть на моих детей, и они почему-то оставили меня до конца, пока поезд пошел ближе к тюрьме. Я тоже поехала туда. И пока я была у начальника, их провели в какую-то избу, в которой обыкновенно проверяют партии или что-то в этом роде делают. Начальник, конечно, в свидании отказал. Тогда я направилась к этой избе, у которой увидела партию уголовников, и думала, что политических еще не привели. (Тут их уже не возят в каретах, а ведут пешком.) Затем, постоявши несколько минут, я по какому-то вдохновению направилась к окну избы - был уже вечер, - и когда взглянула туда, то увидела несколько, приблизительно десять человек, политических и между ними моих милых. Глафирочка стояла как раз против окна, но, не ожидая, что я так близко, не смотрела в окно. Они все между собой и с конвойным офицером о чем-то разговаривали. А Ясь стоял немного в стороне. И несмотря на то, что я прикладывала к стеклу платок, поднимала выше, голову, прижимала свое лицо к стеклу, они все меня не замечали. Наконец одна девушка увидела и сказала Глашуре. Та взглянула, да так и крикнула: "Мама!". Ясь моментально выскочил оттуда, и я не успела мигнуть, как очутилась в объятиях у него. Долго и много он целовал меня. В эти минуты я почувствовала, как он любит меня, а я его. Но мне хотелось, чтобы и Глафирочка вышла, но она почему-то не выходила.
Он ушел, и выпорхнула она. Но черти в образе людей не дали нам сказать и нескольких слов. Но мы успели крепко обняться и поцеловаться.
Она ушла, а я осталась стоять и еще смотрела на них. Потом они вышли. И я была тут, пока дошли до ворот. Они все целовали меня, но конвоиры говорить нам не давали. Наконец за ними захлопнулись ворота, щелкнул замок, и я осталась в большом пустом и темном дворе. Была полна горем разлуки.
10 октября
Из Красноярска
...Теодоровичи оставлены пока в здешней пересыльной тюрьме. Надолго ли? Говорят, Александровский централ под Иркутском переполнен. Могут держать здесь до установления зимней дороги по Лене.
Свидания мне не дали, несмотря на мои энергичные хлопоты здесь и две телеграммы генерал-губернатору. Впрочем, он разрешил, но только через решетки. Мы этого не приняли, потому что все заключенные не принимают.
В моем кармане опять засвистали ветры. Но здесь встретила Ольгу Борисовну и снова позаимствовала у нее десять рублей. Самого Лепешинского, видимо, из-за того, что петербургские тюрьмы переполнены, а дела арестованных не успевают рассматривать, до приговора выслали в нашу губернию. Вообще же ему угрожают якутским севером. По меньшей мере лет на пять. Ужас!
Ольга Борисовна "заарестовалась" и приехала с мужем сюда в тюремном вагоне. С ними и Оленька. Им еще труднее, чем Глаше и Ясю.

Но тут совершенно неожиданно нашим друзьям повезло: губернатор забыл, что первую ссылку Пантелеймон Николаевич отбывал у нас, и назначил ему Минусинск. С ближайшим, вероятно последним, пароходом их отправят туда. И я поеду на том же пароходе...
19 октября
Из Минусинска
...Вот я и добралась до своего города!
Лепешинские на этот раз поселились не на частной квартире, а в маленькой гостинице. Это их больше устраивает. Живут на народе. Каждый день уезжают жильцы, появляются новые. Есть с кем поговорить. И приятно, что у подъезда часто звенят колокольцы ямщицких троек. Чувствуется жизнь и наши сибирские расстояния. Только не расхворалась бы сама Ольга Борисовна. На всякий случай я сказала ей, где искать начало надежной ямщицкой "веревочки".
А моя душа по-прежнему далеко - возле моих милых Глаши и Яся. Где они теперь - не знаю: с 4 октября не получала от них никакой вести. Держат ли их все еще в красноярской тюрьме или отправили дальше? Я думаю, долго еще будут томить их по разным тюрьмам, прежде чем водворят в Якутскую область..."
А в это время Глаша в красноярской тюрьме писала брату Алексею и сестрам, съехавшимся в Москву. Она тайно передаст письмо на волю, чтобы миновало тюремный досмотр:
"Ребятки дорогие! (Катюшу причисляю тоже к ребяткам.) Нам еще не объявили, куда нас назначат, но, очевидно, в Якутку, так как всех, кого назначают не в Якутку, отправляют сейчас же на место.
По рассказам, туда же везут из Тифлиса Виктора Константиновича Курнатовского. Возможно, встретимся в пути. Хотелось бы повидаться.
Партия на Якутск, кажется, пойдет только в декабре. Обыкновенно партии ждут якутского этапа в Александровском централе, но теперь он переполнен до физической невозможности, и партии задерживают по дороге. Мы рады, что нас оставили пока здесь, - мы с Ясем имеем отдельную камеру.
На перепутье слышали о новости оттуда, где в прошлом году жила Фекла, и я рассказала Ясю о Старике и о письмах от его жены, с которой мне тоже посчастливилось встречаться. Мы тут же дали друг другу слово, что присоединяемся к ним. К большинству!
Ваша Г л а ф и р а".
3
Зубатов купил себе два билета от Петербурга до Москвы - он не хотел никого видеть возле себя в купе. Из вагона взглянул на перрон - ни одной подозрительной рожи не видно. Жандарм, проходя мимо, даже не посмотрел на окна. Слава богу, не следят. Значит, верят, что уедет с этим поездом.
Вошел в купе. Закрыл дверь. Из кармана пиджака достал браунинг. Подбросил на ладони. Может еще пригодиться старый друг. При случае для самообороны или... для себя?.. Нет, судьба может измениться. О нем еще вспомнят, позовут...
Сунул браунинг под подушку, обеими руками откинул волосы. Похрустел сцепленными пальцами.
Еще вчера утром никто не мог предположить, что его, Сергея Зубатова, создавшего в России "академию сыска", ожидает такая катастрофа...
...Черную тучу нанесло ветром из Одессы. Там его люди, организуя рабочие общества взаимного вспомоществования, в чем-то просчитались, не сумели удержать забастовщиков в самом начале стачки, не уговорили их и хозяев пойти на мировую. Тут марксята подлили масла в огонь, и стачка приобрела политическую окраску, охватила всю Одессу. Город остался без воды, без света и хлеба. Живодеры пятикопеечную булку стали продавать по полтиннику. А стачечное пламя перекинулось на другие города юга. Улицы кишели забастовщиками.
Хотя он, Зубатов, и считал, что распространению зловредных идей следует вовремя и умело противопоставить доброе профессорское слово да проповеди и такие беседы, с какими выступает Гапон, но этого мало. Надо же успевать хватать закоперщиков. Озлобленные толпы, вырвавшиеся на улицы, можно рассеять только казацкими нагайками да винтовочными залпами. А на юге проморгали да проминдальничали, закоперщиков не успели схватить вовремя, толпы зловредных не придавили в зародыше. И в Петербурге во всем обвинили его, Зубатова. Нашли козла отпущения.
За что такая немилость?..

Еще вчера утром не подозревал беды. А к двум часам его вызвал к себе сам Плеве, вернувшийся из дворца. Думалось - просто для доклада.
Приехал к нему на Аптекарский на десять минут раньше. И чуть не столкнулся с новым шефом жандармов фон Ваалем. Тот, холодно кивнув головой с нафиксатуаренными волосами, прошел в кабинет министра. А его, Зубатова, ровно в два пригласили в зал заседаний. Почему? Совещания втроем обычно велись в кабинете.
Вошел. За торцовой стороной длинного стола уже сидел министр. А сбоку на первом стуле - фон Вааль. Плеве не встал, как бывало, не подал руки. Злыми глазами, сверкнувшими из-под нависших бровей, указал на стул по другую от фон Вааля сторону стола.
Едва успел присесть, как министр потребовал.
- Надворный советник, - подчеркнул невысокий чин, - доложите о возникновении беспорядков в Одессе. А присутствие генерала пусть не удивляет вас: с лицами, которым я не верю, имею обыкновение разговаривать при свидетелях. Ну-с, мы слушаем. Как вы затеяли эту стачку?
- Извините, ваше превосходительство... - Встал, отодвинув стул ногой. - Я, как вы могли убедиться много раз, являюсь принципиальным противником стачек. И задача наших рабочих обществ - избегать их. Примером тому может служить хотя бы Минск. Там при нашем содействии хозяева охотно вступали в мирные сношения...
Помнится, добавил к этому:
- И пар удавалось спустить из котлов, ни одного взрыва не последовало...
- Не уклоняйтесь, Зубатов, от Одессы, - перебил Плеве и повернул голову к фон Ваалю: - Там с одобрения надворного советника выпускались глупые и откровенно преступные прокламации. - Положил руку на синюю папку. - Могу их предъявить, если в этом будет надобность.
Попробовал объяснить:
- Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, те прокламации я получил уже готовыми. Ни в задумывании, ни в редактировании их не участвовал.
- Это не меняет дела. - Плеве вскинул леденящий взгляд. - Вы там вашему Шаевичу, зловредному заступнику за рабочих, и другим таким же платили деньги? Из каких источников?
- Из департаментского бюджета. С ведома господина директора. Давал и из тех, что отпущены мне по службе. Смею напомнить, еще в бытность мою в Москве, с вашего ведома, Афанасьеву, Слепову и другим...
Плеве, снова повернув голову к фон Ваалю, стал рассказывать, что в Москве был положен в банк определенный капитал и на оплату слеповых расходовались проценты...
У него, Зубатова, мелькнул тревожный вопрос: "Что там еще в синей папке? Что еще Плеве бросит в обвинение?.. А давно ли сам принимал Слепова, благодарил за службу... В Одессе не удалось - это общая беда. Марксята изловчились, вырвали инициативу из рук Шаевича, раздули стачку. И теперь следовало бы говорить, как общими силами погасить пожар, а не отыгрываться за счет других..."
Раскрыв синюю папку, Плеве брезгливо - двумя пальцами, за уголок приподнял лист бумаги, побывавшей в конверте, и на несколько секунд поднес к глазам фон Вааля:
- Полюбуйтесь, генерал! Перед вами письмо надворного советника подонку Шаевичу! В нем ссылка на разговор с Орлом, то есть со мной. Я имел неосторожность в доверительном разговоре сообщить слова государя. И вот они в письме Зубатова! - Бросил бумагу, захлопнул папку. - Разглашение государственной тайны! За подобные проступки обычно отдают под суд!
"Обычно?.. А что же он уготовил мне?.."
Никогда не думал, что так задрожат коленки. Даже перед самим собой стыдно вспомнить...
Голос Плеве доносился как бы сквозь шум грозы:
- Зубатов обязан сегодня же передать свою должность лицу, каковое вы, генерал, назовете. Не позднее завтрашнего вечера он*должен убраться вон из Санкт-Петербурга. В Москве дозволить ему лишь самое короткое пребывание для сборов.
Похолодело сердце. "Для сборов"?! Это что же, отправляют в ссылку?
Плеве продолжал:
- Затем - во Владимирскую губернию. В его имение. И не спускать с него глаз.
Какой ужас! К нему, Сергею Зубатову, будет приходить полицейский надзиратель!..
Повернув голову, министр кинул острый взгляд, словно смертельный укол рапиры.
- Можете идти.

...Минует полтора месяца, и он, бывший чиновник особых поручений, напишет в конце объяснения директору департамента полиции:
"Признаться сказать, я не скоро нашел скобу у выходной двери".
Но сейчас он лежит на вагонной полке и вспоминает горькие часы. Проводил его только один Гапон, верный человек. Как-то сложится его судьба? Сможет ли отец Георгий продолжать дело, в успех которого он, Зубатов, и сейчас верит? Не лишат ли Гапона ста рублей, ежемесячно выплачиваемых особым отделом за усердную службу? Многое потеряют...
Зубатов не подозревал, что Гапон от шефа жандармов получал тоже по сто рублей в месяц. За присмотр за ним, чиновником особых поручений, возглавлявшим сыск во всей России.
Отец Георгий в купе вступил величественно, дал поцеловать серебряный крест и, благословив, сказал:
- Господь не оставит вас! Уповайте на всевышнего и всемилостивого! И не возрадуются ваши супостаты...
Хотелось возразить:
"Нет, отец утешитель, уже возрадовались. Вы же сами видите, даже вчерашние сослуживцы не приехали проводить. Высокопоставленные подлецы оболгали перед государем. За мою верную многолетнюю службу, когда я не знал ни покоя, ни отдыха и многие тысячи злонамеренных смутьянов передал в руки карающего правосудия, меня, как мелкого пройдоху, выставили пинком. А завтра возликуют все крамольники: "Зубатов пал!" Теперь им станет вольготнее.
А что будет с ним, Зубатовым, в Москве? - спросил себя, оставшись один в купе. Не узнал бы Слепов да не пришел бы посочувствовать... Такого позорища не вынести. К счастью, адреса московской квартиры Слепов не знает. А что будет с ним и его друзьями? Им, чего доброго, могут дать по такому же пинку. А давно ли Слепова все хвалили за верноподданность! Доверили ему поднести хлеб-соль императору! И государь был доволен статьями за его подписью... Да, многое удалось совершить в Москве Неужели все пойдет прахом?.. В Петербурге лучше: там остается Гапон..."
Поезд, стуча колесами, уносил Зубатова в глухую ночь в темноту. И в эту бессонную ночь ему вспомнилась Анна Егоровна. Стареет Мамочка! Ей ведь, дай бог памяти... Ей под сорок пять. Может еще послужить. Но тактично ли и заботливо ли относится к ней ретивый полковник Ратко? У него одно стремление - поскорее выслужиться. Не забывает ли о наградных для Анны Егоровны?..
Через три с половиной года Зубатов особым докладом напомнит своему преемнику, что за 25-летние "услуги агентурного характера" Серебрякова достойна особого внимания. И она помимо сторублевой пенсии получит пособие в пять тысяч рублей.
Сам Зубатов доживет на пенсии до 1917 года, когда, узнав о свержении царизма, пустит пулю в висок.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Кржижановские, спасаясь от филерской слежки, переехали, по совету Владимира Ильича, в Киев. Там было необходимо укрепить большевистский комитет и возглавить Русское бюро ЦК. В Киеве же после съезда поселился Дмитрий Ильич с женой Антониной Ивановной. Переехала туда и Мария Александровна с Анютой и Маняшей: возле родных да верных друзей все же спокойнее, хотя слежка там и изощреннее, чем в других городах.
Марк Тимофеевич из Маньчжурии, где уже пахло порохом, после окончания срока надзора направился через Индийский океан и Средиземное море в Европу; повидавшись в Париже с Лениным, выбрал для себя Питер, нашел место бухгалтера в управлении железной дороги и купил дачу на пригородной станции Саблино. В декабре настойчиво звал к себе всех родных, волновался: вдруг да не сумеют выбраться из Киева? На юге, слышно, опять начались аресты.
Маняша успела отправить в Женеву несколько писем. 25 декабря в последнем письме из Киева она писала:
"Дорогой Володя! Все наши и я шлем тебе поздравления с праздниками и Новым годом и пожелания всего хорошего. Твое письмо получили, но то, о котором ты упоминаешь там и которое, по всей видимости, было ответом на мои письма, - очевидно, пропало. Напиши, пожалуйста, что ты писал там... Большие приветы Наденьке и Е[лизавете] В[асильевне]. Как они поживают? Как бы я была рада, если бы Надя мне написала. Всего, всего хорошего".
Где пропало письмо брата? Это не могло не тревожить.

Маняша не знала, что и ее письмо, адресованное в Женеву на новую квартиру Ульяновых, окажется в департаменте полиции.
В Новый год начались аресты всех, кого охранка считала причастным к деятельности Центрального и Киевского комитетов РСДРП. Схватили Дмитрия Ильича и Антонину Ивановну. Схватили Зинаиду Павловну. Самого Глеба Максимилиановича, как он догадывался, пока оставили "на разводку". И он жалел, что не внял совету Ленина и не перешел вовремя на нелегальное положение. Теперь уже невозможно - надо навещать жену и как-то выручать из-под ареста.
В ночь на 2 января жандармы ворвались и в квартиру Марии Александровны. Анюту и Маняшу увезли в Лукьяновскую тюрьму, где после отважного побега одиннадцати были введены особые строгости.
Мария Александровна, сидя в кресле, до рассвета не сомкнула глаз. Перед ней на полу белели книги, журналы и газеты, лежало скомканное белье. Все это во время обыска было выброшено из комода.
Еще вчера за праздничным столом в душе матери теплилась надежда на то, что в новом для них городе наступающий год может пройти благополучно. Сколько же можно зверствовать жандармерии? Должны же наступить перемены... А вот она, знакомая картина...
Аня рассказывала: на Дальнем Востоке опасаются войны. Боже мой! Мария Александровна на секунду приложила руки к вискам. Польется кровь!.. Но война-то и может породить перемены: нашим войскам далеко добираться на поддержку Порт-Артура, далеко везти припасы по новой дороге. Ой, как далеко! Японцы могут наших побить. Сколько будет горя!.. Но Володя говорил: любое затруднение царизма - на пользу революции. Чем хуже этому... этому недоумку на троне, тем народу лучше.
В комнате стало темнее, остро запахло нагаром фитиля. Мария Александровна погасила чадящую лампу, зажгла свечу. Оберегая лепесток огня ладонью, сходила в кладовку за керосином, сняла остывшее стекло, ножницами обрезала нагар с фитиля, налила керосину и снова засветила лампу. Чем бы еще заняться, чтобы скоротать ночь?.. Сил ни для чего нет. Руки опускаются.
Опять села в то же кресло.
Одна... Который уже раз... Потеряла счет арестам детей... Но ведь никогда не позволяла горю безраздельно завладевать собой. И сейчас... Она погладила и размяла руки - пальцы потеплели. И сейчас не поддастся унынию. Ведь никакими вздохами горю не поможешь.
Встала. Прошлась по комнате, ступая между книг и белья.
Что делать?.. Уехать к Марку? Убежать от гнетущего одиночества?.. Ни в коем случае. Как можно скорее побороть в себе это чувство. Может, удастся купить собаку. Конечно, не такую, как Фрида. Маленькую. Разговаривать с ней...
Теперь она, мать, опять нужнее всех детям. Кто их навестит, кроме нее? Свидания и передачи разрешают только родственникам. У кого бы завтра узнать дорогу в эту распроклятую Лукьяновку? Мир не без добрых людей, скажут. Не одна туда пойдет - другие матери, жены, сестры, невесты... В руках будет четыре узелка... Ну что же, сил у нее для этого еще хватит.
"Подольше бы не узнали Володя и Наденька. Будут волноваться. За узников и за меня. А волнений им там, в Женеве, и без того достаточно. Да. Но скрывать от них нельзя. Они должны знать все. Может, и мне что-нибудь подскажут. Главное - как облегчить участь заключенных, как добиться их освобождения. А сейчас..."
Мария Александровна обвела взглядом комнату и начала собирать с полу все раскиданное жандармами.
2
- "Почем рога маралов?", "Почем рога маралов?" - шепотом повторяла Ольга Борисовна, хотя кошевку на снежных ухабах кидало из стороны в сторону.
Оленька, закутанная в косулью доху, тронула ее лицо варежкой, будто хотела стереть с губ непонятную торжествующую улыбку.
- Мамочка, ты опять про рога... Какие они?
- Большущие! Оленьи!..
- А где?
- В папкиной телеграмме!

Матери хотелось и с ямщиком поделиться радостью: она наняла его только потому, что пришла эта телеграмма с вопросом о нынешней цене маральих пантов, которые спиливают для лекарства.
...Деньги на побег Лепешинского передали Ольге Борисовне еще в Питере, и она зашила их в лифчик.
В Минусинске ее Пантелеймоша ждал только доброго санного пути, по которому - они по опыту знали - ямщики на резвых конях, меняемых на каждом станке, домчат до железной дороги за каких-нибудь двое суток.
Вот уже и паспорт готов. Теперь он минусинский мещанин Быков. И бобровая шапка куплена. И новый воротник к пальто пришит. Солидный будет путник. Дело только за снегом.
Когда мороз надежно заковал Енисей в ледяную броню, Пантелеймоша, загримированный под тяжело больного - с раскрасневшимися щеками и синими полосками возле ресниц как бы ввалившихся глаз, улегся в постель. Его лоб до самых бровей прикрывал мокрый платок. Был день получки пособия, и он попросил сходить в полицию, заявить о болезни и поплакаться о деньгах: не осталось ни гроша, хлеба не на что купить. Надзиратель принес пособие, убедился, что больной дышит прерывисто и хрипло постанывает, получил полтину на чай и, пожелав скорого выздоровления, удалился.
Она, Ольга, несколько дней на виду у хозяйки гостиницы и коридорного выносила ночной горшок, требовала на кухне ледяной воды для компрессов, отправляла посыльного в аптеку за порошками, прописанными знакомым доктором, и не впускала в комнату надзирателя:
- Ради бога, не тревожьте больного. Он только-только заснул...
А "больной" тем временем мог уже домчаться до Ачинска и сесть в вагон сибирского экспресса.
Послушная Оленька, завидев надзирателя на нижнем этаже, бежала по лестнице к поварихе и кричала во весь голосок:
- Опять котлеты твердые... Папа болен, есть их не может... Дайте манной каши...
Когда скрывать побег было уже невозможно, нагрянули жандармы.
- Где ваш муж?
- Уехал в Томск. Два дня назад.
- Сбежал?! Да за самовольную отлучку его...
- Не мог же он здесь ждать смерти. Там ему сделают срочную операцию.
- Вы ответите по закону. За содействие побегу.
- Что же я, женщина, могла поделать?
Начались тревожные дни и ночи. Где Пантелеймон? Что с ним?.. Вдруг да словили?.. Не миновать восьми лет Дальнего Севера.
А что будет с ней? Уволокут в тюрьму?.. Но у нее же малолетняя...
И только на девятнадцатый день эта телеграмма! Ее принес ссыльнопоселенец Орочко.
Прочитала: "Почем рога маралов?" - и закружилась по комнате, в обе щеки расцеловала старого, густобородого народоправца. Пантелеймон уже в безопасности! Благополучно перешел границу...
Да и сейчас готова крикнуть так, чтобы услышал Енисей подо льдом: "Почем рога маралов?" Вскочить, потоптаться в пляске... Нельзя. Не мудрено и вывалиться из кошевки. Вон как кидает ее с тороса на торос!
- А помните, - заговорила с ямщиком, - как мчали моего мужа? По рекомендации Екатерины Никифоровны Окуловой...
- Как не помнить? - Ямщик на секунду повернул лицо, мохнатой рукавицей сбил иней с бороды.
- Окуловских знакомцев завсегда уважим. Муженька вашего домчал до станка середь ночи, ишо первы петухи не пели!
И гикнул:
- Эй, залеточки!.. Мила-аи!..
Кони рванули к берегу, на котором темнел густой кедрач с лохматыми ветками, поникшими под нависшим снегом.
Ольга Борисовна, как бы вдавленная в полумягкую спинку кошевы, обхватила Оленьку, прижала к груди.
- Папка-то ждет-поджидает нас!..
- Где он? Далеко?

- Очень далеко - в Швейцарии! Одно лето жили там с тобой. Помнишь? Горы, голубое озеро, лебеди... К Новому году, бог даст, приедем!..

3

В новогодний вечер в женевском театре шла опера "Кармен". Лепешинский принес Ульяновым билеты, сказал:
- С нами будет Циля Зеликсон. Не возражаете?
- Я всегда рада видеть Цецилию, - отозвалась Надежда Константиновна, отсчитывая деньги за билеты, взглянула на мужа. - Ты, Володя, согласен?
- Циля приятная собеседница, - сказал Владимир Ильич и, усмешливо прищурившись, повернулся к Пантелеймону Николаевичу: - Только не затеется ли дискуссия?
- Ни боже мой! - Лепешинский прижал руки к груди. - Я же не отступал... Это меня на время, как недальновидного отрока, бес попутал.
- Догадываюсь - лохматый, истеричный... - захохотал Ленин. - С ним теперь надо быть настороже. Как при переходе границы.
- Гораздо хуже. На границе хватают, но не совращают...
...От Минусинска до Ачинска - четыреста двадцать верст - Лепешинский домчался за сорок часов и, прежде чем начались поиски беглеца, затерялся среди пассажиров. В декабре он был уже вблизи границы. В захудалой корчме юркому контрабандисту с рыжими пейсами вручил красненькую, и тот вместе с другими беглецами на рассвете привел к пограничной речке. Лепешинский напомнил об уговоре: за десятку - по мосту. Контрабандист, не дослушав, скомандовал:
- Гей, приподымайте полы шуб - и за мной! Тут неглубоко. Только не отставать!
На западном берегу пришлось в кустах снимать белье и выкручивать воду. Боялся простуды, воспаления легких... К счастью, тревога миновала. Добрался до Женевы. Помнил единственный адрес - Плеханова, у которого был два года назад.
Георгий Валентинович обрадовался гостю из России. Отпивая маленькими глотками кофе, расспрашивал, кто там, на родине, за меньшевиков. Лепешинский только пожимал плечами да разводил руками.
- Э-э, голубчик, - удивился Плеханов, - да вы, как видно, не знаете, что у нас тут после съезда произошла свалка.
- А не простая размолвка? Ведь все марксисты.
- Далеко не одинаковые. Есть, - у Плеханова покривились губы, твердокаменные, есть нормальные. Последних здесь гораздо больше.
- А наш Владимир Ильич?.. Мы с ним вместе были в ссылке, вместе подписывали протест против экономистов. Мне бы его адрес.
- Не имею чести знать. - Плеханов откинулся на спинку стула, голос его стал холодным и чеканным. - И по-товарищески не советую появляться в его лагере.
Но, проявляя заботу, дал адрес дома, где могут уступить недорогую комнату. Это совсем недалеко. Можно будет видеться каждый день.
Едва Лепешинский успел оглядеться в своей комнате, как постучался Мартов.
- Пантелеюшка, с приездом! - Подбежал мелкими, семенящими шажками, обнял. - Нашего полку прибыло!
- Не знаю еще... вашего ли. Толком пока не разобрался. Не определился. Вот повидаюсь с Ильичем...
- Зачем тебе этот... бонапарт... этот... - У Мартова от волнения перехватывало горло, он удушливо закашлялся. - Я сам введу... в курс всех событий.
И он стал навещать Лепешинского по нескольку раз в день. Приводил с собой Троцкого. У того, словно у строптивого козла, в запальчивости подрагивала борода. Свои навязчивые речи он начинал многозначительно:
- Как делегат съезда, свидетельствую...
Вину за кризис в партии они оба сваливали на Ленина, и Лепешинскому едва удавалось удерживать их от бранных слов.
Когда спросил адрес Ильича, Мартов покрутил кистью вскинутой руки.
- Где-то на окраине...
Троцкий отчеканил:
- Никто из подлинных марксистов не поддерживает контактов с твердокаменным ортодоксом.

Лепешинский недоумевал: "Зачем эта издевка?.. Наговаривают на Ильича. Вон с каким жаром и с какой непоколебимой убежденностью он выступал на совещании семнадцати у нас в Ермаковском, когда мы принимали "Протест"! Отстаивал чистоту марксистских взглядов! Не мог же он измениться, наш горячий, простой и, сердечный Ильич. Как политик на голову выше всех нас. Ошибаются эти, истеричные, но не он. А Плеханов?.. Здесь что-то неладно. Как же разобраться во всем? Где правда?.."
Вскоре ему повезло - у входа в кафе "Ландольт" столкнулся с Красиковым. Друзья обнялись, трижды расцеловались.
За столиком Красиков начал разговор с упрека:
- Что ж это ты, Пантелей этакий, глаз не кажешь? Приехал - и прямо в объятия истеричного Мартушки да этого петуха Троцкого!
- Адресов не знаю, Ананьич. Хуже, чем в лесу, хожу. В тайге и без компаса можно определить, где юг, где север, а тут...
- Потерял политический компас?! Представляю себе, каких меньшевистских романсов напел тебе в уши Мартов! Ничего, дружище, постепенно разберешься. Я на съезде был вице-председателем и все расскажу по порядку. Впрочем... Да что тут толковать, идем сейчас к Владимиру Ильичу, он быстро тебя отшлифует, даст в руки компас. Согласен?
- С превеликой радостью! Я бы сразу, если бы знал адрес. В Ермаковском для нас с Олей все было ясно, а сейчас в голове туман.
Владимир Ильич усадил гостей за стол в кухне; пощипывая клинышек бороды, все еще незнакомой с ножницами парикмахера, расспрашивал Лепешинского о побеге; едва унимая хохот, позвал жену от плиты, где она заваривала чай.
- Надя, ты слышишь?! "Почем рога маралов?" Надо же такое придумать! И смех в один миг уступил место озабоченности: - А где сейчас семья?
- Приедут сюда? - спросила Надежда Константиновна, разливая чай. Скоро ли? Я соскучилась по Ольге и по вашей маленькой Оленьке.
- Где-то они в дороге... К Новому году не успеют. И даже не знаю, удастся ли Оле легально через границу. У нее, правда, есть мотив - для продолжения образования в Лозаннском университете.
- Владимир Ильич, - вступил в разговор Красиков, - я же привел сего мужа специально для того, чтобы вы разрешили все его партийные сомнения и были бы, так сказать, его большевистским восприемником.
- "Крещается раб божий..." - снова расхохотался Ленин. - Нет уж, увольте! Ни в попы, ни в проповедники не гожусь. И Пантелеймон Николаевич не младенец. Протоколы съезда изданы - пусть разбирается сам.
Когда шли обратно по набережной озера, Красиков сказал, что Ильич готовится написать книгу о съезде. Тогда всем все будет ясно.
Прочитав протоколы, Лепешинский поспешил к Ульяновым. Его восторженный голос ворвался на второй этаж, и Владимир Ильич про себя отметил: "Разобрался!" Сбежал вниз, стиснул руку друга.
- Не спрашиваю - по глазам вижу, что большевик!
- С вами, как прежде! Протоколы сняли с меня куриную слепоту! - От радости Пантелеймон Николаевич растопыренными пальцами ворошил волосы на голове. - Прозрел, яко исцеленный слепец!
...В кафе "Ландольт" была небольшая комнатка с выходом в переулок. В ней обычно собирались российские социал-демократы. Опасаясь, что для встречи Нового года туда набьются меньшевики, Лепешинский заказал столик в дальнем углу общего зала. Когда после спектакля пришли туда, было уже шумно. Владимир Ильич по русскому обычаю со всеми чокнулся, встал с рюмкой в руке.
- С Новым годом, друзья! С предстоящими боями и нашими победами!
- И за здоровье отсутствующих! - добавила Надежда, вспомнив родных, и остановила взгляд на Лепешинском. - За вашу Ольгу и маленькую Оленьку!
Отпила полрюмки кислого рислинга и слегка поморщилась.
- Лучше бы нежинской рябиновой, - вздохнул Красиков. - Или спотыкача. Правда, Надежда Константиновна?
- Не знаю. Не пробовала. Это, кисленькое, наверно, послабее. Как раз для меня.

- А моя Ольга хватила бы водочки! - сказал Лепешинский.
- За Курнатовского! За Бабушкина! За Глашу Окулову! - встал Владимир Ильич со второй рюмкой в руке. - Ох, как нам недостает их сегодня! Не здесь, а там, в России. За Грача, за Папашу, за всех, кто работает в комитетах и начинает готовить Третий, наш, большевистский съезд! За их здоровье и успехи!
Женеву взбудоражило веселье. Опустошив праздничные столы, все, кто мог передвигаться, хлынули на улицы, где шумел разноязыкий карнавал. На площадях гремела музыка, горели фонарики, в танцах и хороводах кружились разнаряженные маски, змейками взвивались ленты серпантина.
Ульяновы, Лепешинский, Циля Зеликсон и Красиков шли по площади Плен де Пленпале, подхватив друг друга под руки. Петр Ананьевич напевал вполголоса: "Волга, Волга, мать родная..." И вдруг столкнулись с гурьбой меньшевиков. Мартов съязвил:
- Твердокаменные двинулись лавиной!.. Не сорвались бы в пропасть.
- Сторонись, мягкотелые! - крикнул Лепешинский. - Сомнем!
- Не стоит связываться, - сказал Ленин, и они тихо разминулись, только Лепешинский успел слегка толкнуть Троцкого плечом да кинуть вдогонку:
- Не мельтеши перед глазами!
Прошло две недели. Надежда в своей комнатке писала:
"Дорогая Марья Александровна!
Ваше письмо поразило нас: очень уж печально оно. Остается надеяться, что всех скоро выпустят. Говорят, в Киеве были повальные обыски и аресты. Во время таких набегов забирают много народу зря. Судя по тому, что забрали всех, дело будет пустяшное.
Принимают ли передачу и книги? Были ли уже от наших письма? Не собирается ли Марк Тимофеевич взять отпуск и побывать у Вас? Мама жалеет, что она не в России с Вами. Желаю Вам здоровья и бодрости.
Ваша Н а д я".
Дописав письмо, Надежда на цыпочках прошла по коридорчику, заглянула в комнату мужа: не сделает ли он приписку? Пусть самую короткую. Но Владимир склонился над столом. Перо его поскрипывало. Видать, глубоко вошел в работу. Вначале трудно давалась ему эта книга - все пережитое в Лондоне, на съезде, и в особенности здесь, на заседании окаянной Лиги, было свежо в памяти и до крайности волновало. Вчера часто бросал перо и начинал ходить по комнате. Сегодня пишет не отрываясь. Не надо отвлекать. Даже ради двух строчек родным. Не надо прерывать поток его мысли. А о том, что написала Марье Александровне, она расскажет за ужином.
Надежда уже знала, что на обложке книги будет набрано: "Шаг вперед, два шага назад (Кризис в нашей партии)". Скорей бы написал ее. И скорее бы отправить в Россию. Эта книга нужна так же, как в свое время боевая брошюра "Что делать?". Пожалуй, даже нужнее. Важно окончательно размежеваться с меньшевиками. Книга поможет в этом. И откроет путь к Третьему съезду. К большевистскому!
И Надежда так осторожно спустилась вниз, что Владимир не оторвался от работы. До ужина она успеет отнести письмо на почту.
4
Горький спешил в Москву.
И уже счет потерял, который раз в это полугодье ехал в нижегородском поезде.
А в Москве он то и дело вспоминал детей: как они там, дома? Не хворают ли? Максимке отправлял забавные открытки, обещал купить чижа, щегленка и снегиря. Маленькой Катюшке привозил кукол. Всякий раз не похожих одна на другую. То рязанскую девушку, то украинку с лентами, то северянку, закутанную в меха, то грузинку с черными косами, в длинном белом платье.
Вернувшись домой, подбрасывал Максимку под потолок, ловил над собой, приговаривая:
- Ух, молодец!.. Ух, озорник!..
Катюшку сажал на колено; заглядывал в смеющиеся глазенки, спрашивал:
- Поехали?
И девчушка, кивнув кудрявой головой с розовыми бантиками, уже рассыпала хохоток.
- Шагом, шагом... - приговаривал, ритмично покачивая дочку на ноге, будто она ехала верхом на спокойной лошади, потом убыстрял ритм. - Рысью, рысью...

И тонкий, заливистый смех Катюшки напоминал ему звонкий колокольчик жаворонка высоко в весеннем небе.
Прохохотавшись и утирая пальчиками радостные слезки, она просила:
- Еще...
- Еще поехали! - отзывался отец, встряхивая головой так, что колыхались длинные волосы возле ушей. - Шагом, шагом... Рысью, рысью...
Но домашняя радость была недолгой. Обычно на второй день беспокойное сердце снова тянуло в Москву. Хотелось опять в Художественный. Из директорской ложи зачарованно смотреть и смотреть на сцену. Там не игра талантливых актеров, а сама жизнь со всеми ее неповторимыми нюансами. Потом разговаривать с Константином Сергеевичем Станиславским, отвечать на его нетерпеливые расспросы о будущей пьесе. Ужинать в артистическом кафе с обаятельным Качаловым. И главное - каждый день быть поближе к...
Да нет, не только к ней, чудесной Человечинке... В конце концов, кто она для него?.. Первая в России актриса, признанная всеми - и прессой, и зрителями, и друзьями, - красавица и... чужая, тоскующая жена. Чужая, да не совсем, - духовно, по ее тайным делам и устремлениям, самая близкая!
Нет, на Художественном в Москве свет не кончается. В среду он пойдет к Телешовым, в субботу - к Никитиным, будет пить крепкий чай, разговаривать с друзьями-писателями, слушать их новые рассказы. Быть может, повидается с Буниным, Брюсовым, Куприным... Хотелось бы - с Антоном Павловичем. Говорят, к Новому году тоже приедет в Москву. Не повредил бы своему здоровью...
А в Художественном... Ну что за наважденье?.. Ведь новая своя рукопись не пьеса, а нечто похожее на рассказ. Уж если читать публично, то на среде Телешовых или на субботнике Никитиных. Послушать, что скажут о "Человеке". Что тут лишнее и чего не хватает? Не испортил ли хорошую тему? Могут указать на неровность ритма. Но это не очень уж резко режет слух. Да и не было у него намерения писать ритмической прозой, вышло как-то неожиданно. Видимо, вызвано самим сюжетом. Гладких и слащавых вещей он ведь не пишет и, что бы там ни сказали, язык править не станет. Обличал и будет обличать мещанина, который тащится далеко позади Человека, творит всякую мерзость и ограждает ее законами.
Много раз свое новое читал сначала ей одной. И "Человека", пожалуй, не сможет прочесть никому, кроме нее...
Этой осенью появилась новая увлекательная затея - организовать в Нижнем общедоступный театр на паях. Помещение есть - Народный дом. Ядро труппы составить из опытных артистов, к ним присоединить любителей. Пай сто рублей. Сам сразу взял пять паев. Во время последней поездки в Москву собрал около пяти тысяч: Федор Шаляпин взял пять паев, Савва Морозов двадцать, Станиславский - пять, Желябужский - три, Леонид Андреев и Чириков - по одному. Мария Федоровна тоже взяла пай... Хотел снова оставить у нее деньги для "Искры" - она сказала: "Лучше повременить. До полного прояснения". Что случилось? Говорит, на Втором съезде произошел какой-то принципиальный разлад между Лениным и Мартовым. А потом - между Лениным и Плехановым. Это ужасно. Даже поверить трудно. Разделились на большевиков и меньшевиков. Кажется, непримиримо. Деньги она будет отправлять только большевикам, когда получит новый адрес Ленина.
Эта Человечинка тверда и светла, как чистейшей воды алмаз! Не погнется. И никаким еретикам не совратить ее, не завлечь в свою новоявленную веру. Она идет за Лениным, за нашим волжским кремешком! Вот бы кого повидать. Какой он? Возможно, тоже "окает" по-нашему...
В прошлом году Человечинка - вот была радость! - нежданно-негаданно примчалась в Нижний в служебном вагоне Желябужского. Дала знать, чтобы пришел в ту аптеку, где транспортеры сдавали свой тайный груз, доставленный из-за границы. От Ленина! Оказывается, привезла листовки и два свежих номера "Искры", сказала, чтобы первым долгом прочел статью "Революционный авантюризм". Прочел дважды. Не статья, а пламя! Досталось там так называемым социалистам-революционерам на орехи. Их бомбы ничего ведь не изменят. Слово сильнее бомбы, хотя в решительной схватке, в бою, и без нее не обойтись. В обоих номерах отчеркнул статью красным карандашом, дал прочесть жене. Утром Катерина швырнула на письменный стол.
- Не убедил! Герои всегда будут героями! Сатрапов устрашат, мужика поведут за собой, а на нем мир держится...

- Чепуху городишь, мила-ая! - перебил ее, пряча газеты в тайник стола. - Пойми же, наконец, что сила у мастеровых. У них - железо, у твоих мужиков - дреколье. А без железа царизм не свалить. Вот штука-то в чем.
Зело поспорили. Под конец сказал ей, как мог, помягче:
- Мне жаль тебя, Катя, не ту дорогу выбрала, по которой иду я. Твоя ошибка.
- Нет, не ошибка.
- Ну, скажем, заблуждение. Эсеровская партия - сухая гроза: молнии сверкают, а толку нет... Э-э, да что говорить...
Махнул рукой, с головной болью ушел на Откос, на свежий ветер...
Днем раньше там провел с Человечинкой несколько волнующих минут. Был вечер. По Заволжью шла грозовая туча. Ветвистые молнии били в землю. По фиолетовой глади Волги шли пароходы, белые, как чайки, гудками прощались с городом. Маруся - хотелось вслух называть ее так - остановилась, вскинула красивую голову:
- Люблю грозу...
- "В начале мая, - добавил из Тютчева, - когда весенний первый гром..."
- Всегда люблю!.. Вот такую! Когда удар за ударом!
- Я тоже люблю! - Впервые взял ее под руку. - Дышится легче. И силы прибавляет!
- Верно! И в этом у нас... Как бы тебе сказать?.. Единомыслие, что ли...
Рука была покорная. А поцеловать на прощанье, хотя бы в щеку, он, дурачина, не решился. Наверно, в душе назвала его чудаком.
Проводил до извозчика. Шепнул:
- Извини, вместе нам рискованно.
- Боишься? - сверкнула золотисто-карими глазами, будто в них отразилась молния. - Своей богоданной Екатерины Павловны? - спросила жестко, высвободила руку. - А я-то думала, что вы...
- Как бы не прицепился "хвост". Я же поднадзорный.
Катерину назвала с горечью. И не случайно - в предыдущие поездки жена была с ним. О них даже говорили как о примерной паре.
Теперь, слава богу, он ехал один. И спешил в Москву на встречу Нового года.
Разволновавшись, долго не мог заснуть, а когда сон сморил, приснилась Человечинка. Будто итальянская мадонна спустилась к нему из багетной рамы. Только на руке держала не младенца, а голубя. И птица ворковала: "Здравствуй!.. Здравствуй, дор-рогой!.." Сердито плескалось море о камни, гнулись до земли листья пальмы и вдруг скрыли ее. Метался по густой роще не нашел. Звал - не дозвался.
Проснувшись, глянул в окно. За ним бушевала вьюга, кидала на стекло снежную крупу.
Над умывальником долго плескал в лицо пригоршни холодной воды. Вернувшись в купе, вставил папиросу в янтарный мундштук, закурил, задумчиво спрашивал себя:
"Как же с ней дальше?.. На "ты", как она в тот раз на Откосе, или на "вы", как при чужих людях? Алеша Окулов, молодой актер, вспоминая швейцарскую гору, Человечинку называет Юнгфрау. За что так? За стройность, красоту и строгую недоступность. Но она ведь не ледяная. В душе у нее огонь. Так как же с ней?.. Пожалуй, сделал правильно в приписке к рассказу "Человек", обратившись к ней на "вы". Пока лучше так..."
5
В Художественный Горький приехал перед началом новогоднего бала. В начищенных сапогах, в новенькой длинной шерстяной косоворотке, перетянутой неизменным кавказским пояском.
В тесном вестибюле уже было шумно. Едва успел скинуть пальто, как к нему, лавируя между разнаряженными гостями, устремился с широко раскинутыми руками Саввушка Морозов, во фраке и галстуке бабочкой.
- Алешенька! - Обнял и трижды поцеловал в щеки. - Как я рад!
- Я тоже, - ответил Горький взаимностью на его поцелуи.
- С Новым годом, дорогой! Пусть он принесет большое счастье! А нашему театру от тебя новую пьесу. Можно надеяться?
- Надеждами живем. - Горький потянул в сторону один ус, потом второй. - Здесь для меня дом родной. Ей-богу, правда. Не преувеличиваю.
- День сегодня особенный, такого Нового года я не помню: будет Антон Павлович!
- Все-таки расстался с теплой Ялтой?

- Говорит, с мокрой. Опять покашливает. А Новый год не мог себе представить без снега.
- Понимаю его... Только не простудился бы...
- Обещал быть Шаляпин.
- Федору я чертовски рад! Большущий он Человечище!
- А ты, - Морозов, отступив на шаг, окинул Горького мягким взглядом, - все такой же. - Задержав глаза на его лице, сам себе возразил: - Нет, сегодня не такой. Сияешь, как новенький десятирублевый золотой! А глаза взволнованные. Не случилось ли чего? Один приехал? Без Катерины Павловны?
- Один, яко юноша, - рассмеялся Горький. - Так уж получилось... Но вот среди своих... - И вдруг заторопился: - Извини великодушно. Надо повидать...
"К ней, - догадался Савва. - Под Новый год - за новым счастьем!"
Направляясь за кулисы, Горький думал только об одном - не опоздать бы... Увидеть бы наедине... И до встречи унять сердце. Колотится, анафемское...
Широко шагал по пустому коридору, между дверей артистических уборных. Не встретить бы тут никого. Не задержали бы разговором... А дверь к ней он найдет даже с закрытыми глазами. Остается несколько шагов...
Но за дверью голоса. Один знакомый. Неповторимо приятный, мягко бархатистый голос Качалова. А второй?.. Ну что же, придется пожать ей руку при них... А рукопись когда?.. Может, почувствуют себя лишними и поспешат уйти... Хотя с Качаловым надо бы поговорить...
Вышел незнакомый человек. Удлиненное лицо с незаметными скулами, серо-синие глаза, черные кудерьки на высоком лбу, аккуратно подстриженная бородка... Фрак, словно сшитый не по мерке, висел на его плечах. За незнакомцем - Василий Иванович. Стройный, элегантный, радостный.
- О-о, Алексей Максимович! Я несказанно счастлив видеть вас под Новый год! Вы как новорожденный месяц в ясном небе!.. Да, - спохватившись, придержал своего спутника за рукав, - познакомьтесь. Это Иван Сергеевич... Полетаев, - с заминкой припомнил новую фамилию, - наш добрый гость. А это...
- Горького и представлять не надо, - улыбнулся гость Качалова, названный Иваном Сергеевичем, и долго не отпускал руку писателя. - Я поклонник вашего таланта. С ваших первых строк. С "Макара Чудры". Как многие, восхищен "Буревестником". Уж очень он ко времени.
- Рад, что ко-о времени...
Услышав приятный сердцу нижегородский говор, Мария Федоровна встрепенулась и широко распахнула дверь.
- Кого я вижу! Вот нежданный!.. Хотя нет, долгожданный и самый желанный гость.
Поспешно поклонившись собеседникам, Горький шагнул через порог и обеими руками схватил вдруг запламеневшую руку Андреевой, а та, зардевшись, продолжала жарким голосом:
- Не то говорю... Не гость, родной те-а-тру человек.
- Только те-а-тру, а...
- А я не составлю исключения...
Горький, кивнув головой на дверь, спросил, кто этот Полетаев, с которым его познакомил Качалов.
- А вы не узнали?! Мне почему-то казалось, что видались с ним в нашей квартире.
- Никогда в жизни. Память на лица у меня неплохая.
- Хорошо, что ничего не приметили.
- Только то, что он не Полетаев.
- Не в этом дело. Он загримированный. Правда, удачно? Я узнала бы его только по глазам. Вот фрак великоват - не могли подобрать другого.
- Вы меня заинтриговали. Если не тайна...
- От вас, милый друг, у меня давно нет тайн. - Мария Федоровна, приятно пощекотав пышными волосами щеку Горького, шепнула: - "Искра" к нам в первый год шла через него. Это, - понизила шепот, - наш Грач, Бауман.
Вот как! Вот где свела судьба с одним из тех редчайших смельчаков, которым удалось из киевской тюрьмы бежать за границу. К Ленину! А теперь, значит, снова от него сюда. Конечно, для подпольной партийной работы.
Андреева подтвердила:

- Ему поручено создать здесь Северное бюро ЦК. Наше, большевистское! И он уже действует. Но вот беда, - "гончие" напали на след. На рождестве я прятала его у себя в бельевом шкафу. А сегодня опять тащились за ним. Едва успел укрыться здесь.
"Так вот он какой, Грач! С высоким полетом! Из буревестников! - думал Горький. - Жаль, что цензурные башибузуки не пропустят о таких героях ни строчки. А порасспрашивать его следует. Хотя бы только о побеге".
- Иван Сергеевич будет встречать с нами Новый год, - сказала вслух Мария Федоровна. - А той порой, - снова перешла на шепот, - что-нибудь придумаем. Можно считать, что он уже спасен... Да вы садитесь. Рассказывайте. Выкладывайте свои новости. Что написано? Хочу знать первая.
- Да есть тут... - Горький поплотнее прикрыл дверь. - Привез вам одну маленькую штуковину...
- Рассказ?
- Даже не знаю. Рассказ не рассказ, а что уж вылилось из души...
Из брючного кармана достал листы линованной бумаги, сложенные вчетверо, и, подавая, вдруг потупил глаза.
- Вы уж не судите... строго.
Мария Федоровна села на стул перед зеркальным трельяжем и, развернув листы, вслух прочитала заглавие:
- "Человек". Интересно.
И впопыхах, будто ей с секунды на секунду могли помешать, полетела глазами по строчкам, перескакивая с одной на другую:
- "В часы усталости духа... я вызываю пред собой величественный образ Человека.
Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его, необъятный, как мир, медленно шествует - вперед! и - выше! трагически прекрасный Человек!
Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий..."
- Почему Человек одинокий? - кинула глаза на автора, который сидел неподалеку и мял обвисшие усы.
- Так уж получилось... Человек и Мысль, спутница всей жизни, его свободная подруга.
- Сво-бод-ная, - повторила Мария Федоровна, снова уткнувшись в исписанный лист. - Это хорошо! - И опять, дыша глубоко и взволнованно, повернулась грудью к Горькому. - Ритмическая проза. Я бы сказала, поэма в прозе. Теб... - Поспешно понравилась: - Вам всегда это удавалось.
Она перевертывала страницу за страницей и не слышала, как Горький прошептал:
- Я покурю... за дверью.
Вот и последние строки: "...Человеку нет конца пути! Так шествует мятежный Человек - вперед! и - выше! все - вперед! и - выше!"
Мятежный - он сам. Идет все вперед, все выше и выше.
И вдруг ахнула - чуть ниже текста была приписка:
"Кладу эту вещь к Вашим ногам - каждая строка ее кусочек моего сердца. Крепкое оно было, сердчишко, а сейчас - Вы можете приказать вырезать из него каблучки к туфелькам своим, и я только был бы счастлив этим!"
Кровь прихлынула к лицу, обожгла щеки, дрожащие пальцы прижали лист к груди, и на стекло, которым был покрыт гримировальный столик, посыпались слезы. Долгожданное счастье, казавшееся зыбким миражем в пустыне Жизни, переполнило грудь. Не утирая слез, повернулась к стулу, где он сидел. Стул был пуст.
"Ушел!.. Неужели не чувствовал?.. Неужели боялся, что я не приму этих суматошных слов?.. Чудачок! Сердце на каблучки?! Да оно же, его большое сердце, нужно мне живое. И навсегда. - Взглянула на строчки, слегка расплывшиеся от слез. - "...к Вашим ногам". Почему не "к твоим"? Не решился одним махом разорвать ту невидимую преграду, которая до сих пор отделяла его от "чужой жены". Фу-у, какое противное слово! Буду, буду е г о женой. Пусть невенчаной, а женой. Для его и моего счастья. Для его работы. От меня отвернутся знакомые? Пусть отвертываются. Не нужны мне такие знакомые. Перед всеми ханжами пройду с гордо поднятой головой, "свободная подруга Челове...".
В дверь постучали. Мария Федоровна, поморщившись, откликнулась:
- Одну минуту. - Уронила лист на столик, встала, утерла слезы. Войдите.
Вошел Савва, увидев влажные от слез, раскрасневшиеся щеки, извинился:
- Я, кажется, не вовремя... - Поцеловал ее дрожащую руку. - Кто мог вас обидеть?

- Никто. Я так... сама.
- А это что? - указал глазами на последний лист рукописи. - Алешин почерк. Можно взглянуть?
- Конечно. Вы же свой...
Прочитав приписку, Морозов затаенно перевел вздох.
- Так, так... Можно было ожидать...
Из кармана фрачных брюк достал праздничный золотой портсигар (в будни носил вырезанный из карельской березы), взял папиросу и сунул ее в губы не тем концом. Отвернувшись, выплюнул табачные крошки.
- Извините... Я забылся, не спросил разрешения. - Смял папиросу. - А теперь вот и курить не хочется. Я, - продолжал с горячим придыханием, первый поздравляю вас. Желаю большого счастья, хотя и подозреваю, что оно не всегда будет безоблачным. - Снова поцеловал ее горячую руку. - Одного опасаюсь - не бросили бы вы наш театр, не увез бы вас Алешенька куда-нибудь далеко.
- Театр для меня жизнь, как... как для Алеши литература, - сказала Мария Федоровна, успокаиваясь, будто между ними все уже было решено.
Веселились до утра. За старый год пили шустовский коньяк и крепленые вина. Станиславский поднял тост за Чехова и Горького, за их новые пьесы, весьма желанные для театра. Мария Федоровна, чокнувшись с драматургами и расцеловавшись с Ольгой Леонардовной, сидевшей возле нее, осушила рюмку до дна.
Перед двенадцатью полетели в потолок пробки шампанского, тостам и взаимным поздравлениям не было конца.
Танцевали; затаив дыхание слушали Шаляпина - "Эй, ухнем...", всем застольем пели: "Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой собралися мы сюда..."
Андреева почти весь вечер и всю ночь была возле Горького, за столом его близость чуствовала локтем; отпивая шампанское из бокала, смотрела в его небесно-синие глаза и счастливо улыбалась. А когда тучкой набегало минутное раздумье, встряхивала головой. Заметили перемену в ней? Женщины перешептываются о ее неравнодушии к... Алеше? Пусть судачат сколько им угодно. Сегодня Рубикон будет перейден. И к прошлому - ни шагу. Слава богу, Желябужский все понял и не подходит к ней. Он в орденах, с лентой через плечо, а сам чернее тучи. Для него одна тревога: "Что скажет свет?" Под конец бала она объявит ему, что уходит навсегда. Бесповоротно. А детей?.. Детей отправит в Петербург, поживут пока у сестры...
Горький повернулся к ней с бокалом, в глазах полыхнуло пламя:
- За тебя!..
- За нашу жизнь, - перебила его шепотом. - За наш Новый год! За наше счастье!
И опять набежало раздумье. Если понадобится, она и театр оставит. Ради Алеши! Если, не дай бог, его в Сибирь. Она - с ним. Хоть на край света. Будет перепечатывать его рукописи, переводить для него какие-нибудь письма, бумаги. Его талант, его труд нужен народу. Даже больше человечеству. Пусть зрители, благосклонные к ней, забудут актрису Андрееву, лишь бы имя Горького гремело над миром. И набатным колоколом звало к революции.
Бауман пригласил на вальс. Кружась с ним, сказала, что Монах - так они называли Савву Морозова - все устроит для него, сумеет вывезти из Москвы на время в свое именье. Потом - о Горьком. Она рада, что Бауман встретился с ним под Новый год.
- Я был счастлив пожать его руку, - отозвался Николай Эрнестович горячим шепотом. - Знали бы вы, как его любит Ленин! Как ценит его книги! Называет Буревестником революции! Я много раз - и в Лондоне, и в Женеве сам слышал от Владимира Ильича: "Вот бы кого повидать! Потолковать с ним. Побывать в Художественном на его пьесе "На дне"! И о вас Ленин говорил с благодарностью...
- Моя роль маленькая...
- Как раз наоборот - большая. Чеки и переводы приходили вовремя. Сам назвал вас Феноменом.
- Да?! Чем же я могла выделиться среди других?
- Такая актриса, говорит, с нами! Активный финансовый агент!
Музыка умолкла, и Мария Федоровна подвела своего партнера к Горькому:
- Вот Алексей Максимович горит нетерпением побеседовать.
- Да, истинные слова. Эта встреча для меня, Иван Сергеевич, сиречь тезка Тургенева, великий праздник, - прогудел Горький, беря Баумана под руку. - Ей-богу, правда. Без всякого

преувеличения. Расскажите и о Киеве, и о Лондоне, и о Женеве. А первым делом - о Владимире Ильиче.
Пока они разговаривали в сторонке, Мария Федоровна танцевала с Качаловым.
- За Ивана Сергеевича не тревожьтесь, - сказал ей на ухо Василий Иванович. - Завтра... Хотя что я говорю?.. Сегодня пробудет у нас. И ночует. А потом передам с рук на руки Савве.
- Золотой вы человек! Настоящий!..
Расходились на рассвете. Баумана провожали такой шумной толпой, что никакому шпику не удалось бы заметить и опознать его, переодетого и загримированного.
Кучер Морозова подогнал рысака к самому подъезду. Качалов, усадив жену и размахивая правой рукой, запел: "Вдоль да по улице..."
Бауман, присев поверх медвежьей полости на уголок облучка, пьяно покачивался и подпевал намеренно невпопад.
Рысак мчал их к Тверской.
- Кучер вернется, - Савва кивнул Горькому и Андреевой, - отвезет вас.
- Спасибо, верный друг. - Мария Федоровна на прощанье поцеловала его в щеку. - Но утро такое!.. Такая чудесная погода! И нам... - взглянула на Алексея, - нам будет приятно пройтись.
- Право слово, приятно! - Горький стиснул пальцы Морозова. - Я и Маруся... мы любим ходить. А до "Княжьего двора" тут совсем недалеко.
Он крепко прижал к себе локоть Андреевой, и они, не отрывая глаз друг от друга, наискосок пересекли Камергерский переулок, чтобы за углом спуститься по Тверской и повернуть на Моховую.
Было на редкость тихо. В прохладном, словно осеннем воздухе плавали пушистые снежинки. Под ногами чуть слышно хрустела чистейшая пороша.
Они шли медленно и молча улыбались, пьяные не от вина - от счастья.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Не проходило дня без того, чтобы Глафира Ивановна не вспоминала родных. Старшей сестре Екатерине писала при малейшей возможности - знала, что о ее житье-бытье будет известно партийному комитету. Некоторые из писем ей удавалось отправить с товарищами, возвращавшимися из ссылки, остальные доверяла почте.
21 января 1904 года
Из Олекминска
"Милая Катериночка, с Новым годом! Хотя и с запозданием, поздравляем тебя и твоего мужа Исаака Григорьевича. Желаем счастья.
Вот довезли нас до Олекминска. Город маленький (около 1000 жителей). Стоит на левом берегу Лены. Из нашего окна видна, закованная в лед, эта великая река. Если перечитаете Короленко, то узнаете, что ссыльные называют ее "проклятой" и "гиблой каменной щелью".
Когда-то я любила зимние поездки по тайге, по нашему Енисею, но это ужасное 22-дневное путешествие под конвоем было для меня невыносимо тягостным. Ведь я еще в тюрьме забеременела. Меня везли на четвертом месяце, и я все время болела. Из-за моей болезни нас и оставили здесь, но только на один месяц.
Мы проехали на лошадях две тысячи верст! Мороз был за сорок градусов по Реомюру. Ресницы смерзались от инея. "Государевы ямщики" часто останавливали лошадей и вырывали сосульки из их ноздрей, чтобы не задохнулись. Лед от мороза кололся так, что казалось, стреляли из пушки.
Осенью река замерзала в суровой борьбе с ветром, и на каждой сажени остались высокие торосы. Сани кидало из стороны в сторону. Они часто опрокидывались.
От станка до станка верст по сорок, и мы приезжали еле живые. А там и обогреться не успеешь, как лошадей уже перепрягли. Снова в путь... Знала бы ты, как я измучилась!
Может быть, приедет мама. Мне так хочется, чтобы кто-нибудь из Вас встретил нашего Игорку, когда он родится.
Первый пароход приходит сюда не раньше половины мая. Ты, конечно, не сможешь сюда приехать. Дело в том, что от Иркутска до парохода нужно ехать на лошадях верст 300. Это для тебя, по себе сужу, было бы ужасно опасно.
Приглашаю в гости, а ведь мы и сами еще не знаем, оставят ли нас здесь. Похоже, что не оставят. Тогда и в Якутске мы не сумеем задержаться. Загонят нас, должно быть, очень далеко

на север, в самую глушь, в какую-то Чурапчу, куда и Макар телят не гонял. Это улус в 170 верстах от Якутска.
Как вы живете? Что пишет мама? После отъезда из Красноярска (3 декабря) мы ничего ни о ком не знаем.
В Александровском централе не удалось повидаться с Виктором Константиновичем. Его, судя по всему, уже провезли в Якутск. При его-то здоровье! Жаль этого доброго человека. Бесконечные тюрьмы да ссылки, конечно, измучили его.
Твоя Г л.
3 марта 1904 года
Милая моя, дорогая Катюшечка!
Сейчас узнали, что Виктор Константинович в Якутске. Там целая история - восстали ссыльные! А началось вот с чего. Генерал-губернатор Восточной Сибири Кутайсов засыпал север разными придирчивыми циркулярами, превращая ссылку в тюрьму. Запрещал всякие отлучки в город, а ведь в улусах ничего купить нельзя (торговли нет), за врачебной помощью обратиться не к кому. Вот теперь якутские товарищи, не выдержав издевательств, все или почти все съехались в Якутск и решили протестовать. Собралось их больше ста человек. Относительно мер протеста не сговорились (не в смысле не успели, а в смысле разногласий), и даже довольно большая часть публики держала себя в этом вопросе не совсем красиво. Но все же 57 товарищей решили действовать единодушно и до конца, до смерти, если понадобится. Чувствую влияние и характер Виктора Константиновича. Они, захватив с собой оружие и продукты, забаррикадировались в доме якута Романова. Нам известно, что у них 13 револьверов, десяток охотничьих ружей, две старые берданки с двадцатью патронами, топоры и финские ножи. Не много!
Они послали губернатору свои мотивированные требования: 1. Отправка на казенный счет в Россию окончивших срок. 2. Отмена циркуляра, запрещающего свидания с партиями дальше следующих товарищей. 3. Отмена циркуляра о высылке в дальнейшие места Якутской области (Нижнеколымск, Верхоянск и др.) за самовольные отлучки (применение этого циркуляра доводилось иной раз до нелепых размеров). 4. Гарантия безнаказанности за настоящий протест. Большинство запершихся состоит из тех, которые подлежат высылке из Якутска или по самому назначению, или за отлучки. Они объявили, что не разойдутся до тех пор, пока все требования не будут удовлетворены.
Забаррикадировались 18 февраля, сегодня 3 марта, и мы имеем основание предполагать, что баррикады еще продолжаются. Дом окружен стражей из солдат. Губернатор в части требований отказал. Что будет дальше, положительно нельзя предвидеть. Теперь, вероятно, уже истощились и все питательные запасы. Но, зная состав протестующей публики, нужно думать, что ее измором взять будет нельзя и что она ни в коем случае не допустит дело до смешного конца.
В Якутске распространяются прокламации, обращенные к обществу и правительству. Первая - от забаррикадировавшихся товарищей, вторая, очевидно, от группы социалистов-революционеров. Она пугает правительственных лиц на случай, если кровь будет пролита.
У нас здесь (колония исключительно состоит из социал-демократов, всего с вольноследующими женами - 23 человека) все последнее время, еще до якутской истории, происходили стычки с местной администрацией из-за встреч партий, отправки на казенный счет окончивших срок товарищей и т. д. Дело всякий раз кончалось тем, что нам уступали. Встреча каждой новой партии политических превращалась для нас в большой праздник: мы выносили им одежду, питание, узнавали новости, получали письма. Но эти встречи были запрещены. В последний раз исправник долго не сдавался, в наших руках уже было оружие, но под конец он уступил.
Теперь мы послали телеграммы якутскому губернатору и министру внутренних дел. Мы заявили, что присоединяемся к якутским товарищам, что циркуляры исполнять не будем, а если нас станут наказывать за это неисполнение, то будем сопротивляться. Под телеграммами подписались 19 человек. Остальные подали от себя тоже телеграмму, только с более мягким текстом, чем наш. С тех пор прошла уже неделя, а мы не получили никакого ответа и никаких наказаний. Очевидно, нас решили игнорировать. Что из этого выйдет - увидим.
Как видишь, наша жизнь и здесь до крайности тревожна. Хотела я тебе сегодня написать подробно, как мы устроились здесь, да начала писать об этой много нас волнующей истории и теперь едва ли смогу написать что-нибудь другое.

Крепко целую тебя и Алешку и шлю привет Исааку Григорьевичу. Пусть будет хорошо тебе, моя голубушка!

5 марта

Катеринушка, здравствуй!

Радость - дошли до нас новости. Старик позаботился. А у нас и адреса его нет. Жаль. Но мысленно мы с ним и с его друзьями.

Эх, если бы мы были там!.. Снова бы повидаться со Стариком и его женой!..*

____

* В огневых схватках пройдет первый год после Октября, и фотограф 7 ноября запечатлеет Г. И. Окулову на Красной площади. Она, член Президиума ВЦИК, стоит, в кожаной куртке и кожаной фуражке, со знаменем в руках, рядом со Свердловым и Лениным. Через три недели она поедет начальником политотдела на Восточный фронт.

Теперь о нашем житье-бытье. Мы сняли избу у одного казака. Хозяин живет в одном дворе с нами. На его обязанности лежит и слежка за нами.

У нас есть товарищеская библиотека. Выписываются. "Русское богатство", "Восточное обозрение", "Мир божий", "Журнал для всех". Плохо только с получением новых книг. Но, Катюша, милая, я не хотела бы, чтобы ты тратила деньги на эту цель, - вам, должно быть, и так живется тяжело в материальном смысле.

Если мама, соблазненная примером успешных хлопот других родных, вздумает хлопотать за нас, то пускай она лучше этого не делает - это нам будет неприятно. Кажется, жизнь и без того заставит вернуть нас в очень скором времени. Думать так позволяет не улыбающаяся весна, а надвигающаяся буря. Так нам здесь представляется по крайней мере положение вещей.

Вчера, узнав, что новая партия заключенных едет по Лене, наши товарищи решили остановить кошевки и встретить ссыльных. Я пошла с ними, хотя и было мне трудно.

Вдали показался вихрь снега. Тройка мчалась с необычайной быстротой, остановить ее было невозможно. Промчалась и вторая. И только с третьей соскочил на ходу один товарищ и схватил лошадь под уздцы. Сани перевернулись. Получилась свалка. Жандармы стрелять побоялись, так как обязаны были доставить ссыльных в целости, и мы передали им свои скромные подарки.

Дома мы все делаем сами. Ясенок мне помогает, успокаивает, когда надо. Хотя его, вспыльчивого, самого приходится успокаивать.

Игорка, я думаю, появится в начале июля. Если все будет благополучно. Отец ждет его, и мне хочется обрадовать своего Ясеночка. Он, пожалуй, будет даже слишком заботливым - не отойдет от кроватки.

Г л а ф и р а.

10 марта

...Каждая почта приносит нам известия об ужасах, происходящих в Якутске. Солдаты залпами обстреливают баррикадистов. Те отвечают выстрелами из револьверов и охотничьих ружей. И им удалось уложить одного солдата, другого ранить. А над домом развевается красное знамя!

Мы опять с оружием выходили навстречу одной партии. Схватки, правда, не произошло, но на нас были направлены револьверы жандармов. Пока у нас в Олекминске не пролилась кровь. А мы ждали схватки, чтобы своей кровью подтвердить нашу полную солидарность с баррикадистами и этим, пусть немного, помочь им в трудное для них время.

Я представляю себе Виктора Константиновича: он там, конечно, поддерживает в товарищах боевой дух.

Г л а х а.

15 марта

...Из Якутска сообщают, что баррикадисты к красному флагу добавили черный креп: один из восставших убит, трое ранены.

Они держались почти три недели. Теперь, когда кончились патроны, вынуждены сложить оружие.

Их кровь не забудет революционная Россия. Они в далеком Якутске подали первый пример баррикадных боев!

Г л.

26 марта

Катюшенька, здравствуй!

Вчера здесь проехала последняя зимняя партия. Мы ее хотели встретить так же, как встречали предыдущие, но нам удалось узнать, что в ней едет шесть человек детей и пять больных - такой состав нельзя было подвергать никаким опасным случайностям. И мы навстречу не вышли.
Наши друзья и в далеких северных норах не сидят сложа руки: мы получаем местные листки! Откуда? Один ветер знает. И, кажется, это он доносит до нас новости.
Правда, чувствуется ужасная усталость от всяких споров, раздоров, неприятных и ошибочных действий...
Обо мне ты беспокоишься напрасно. Здесь есть доктор, акушерка - дело обойдется. Акушерка даже, говорят, хорошая. А ты придумала - выписывать сюда из России! Ну уж, расфантазировалась же! Если б здесь и никого не было - ни врача, ни акушерки, - то и то беспокоиться было бы нечего: мой "царственный" младенец сумел бы появиться на свет и без их помощи. Я реально, ясно не чувствую никакой опасности...
Г л а ф и р а.
2
На лето Екатерина Ивановна уехала в село Мещерское Московской губернии. И Глаша продолжала писать туда:
24 мая 1904 года
Из Олекминска
Милая Катюшечка!
Мысль о тебе после всего случившегося со мной меня ужасно беспокоит.
А со мной случилось вот что (ты, вероятно, уже знаешь - маме я телеграфировала): мой сыночек родился у меня преждевременно, раньше на два месяца. Он жил только три дня. Он умер. Я его почти не видела, я только в продолжение трех дней слышала его плач, похожий на стон больного человека. Теперь все похожее на этот стон терзает мне душу. Мне так больно, так больно...
У нас теперь весна, которая до меня доходит в виде цветов, приносимых или Ясенком, или кем-нибудь из знакомых...
На днях получили новую весть о баррикадистах. Виктор Константинович в тюрьме. Теперь уже выяснилось, что суд будет гражданский (Якутский окружной суд), - это значит, что для приговоров будет большой простор и не будет смертной казни, тогда как при военном возможны только два приговора - вечная каторга или смертная казнь.
И все же улыбается "весна"! А лето, как известно, приносит грозовые тучи.
Г л.
26 июля
Из Якутска
Катериночка, милая!
Ждем решения своей судьбы: отправят ли нас дальше на север или разрешат отбывать весь срок в Олекминске?
Условия существования здесь положительно невозможны. В ожидании суда над баррикадистами в Якутск съехалась масса товарищей. Мы живем в ужасающей грязи. И шесть человек в одной комнате. Питаемся отвратительно. Кажется, я свалюсь в постель...
Нам удалось побывать на свиданье в тюрьме. Я видела Виктора Константиновича. Конечно, через решетку. Как он чувствует себя, сказать трудно, но физически имеет более здоровый вид, чем прежде. Это несмотря на все пережитое. Наших вопросов он не слышал из-за возросшей глухоты. А его голос терялся среди голосов других заключенных. Рукой дал знак, что всем передает сердечный привет.
Уже приехали из Петербурга адвокаты. Судить будет "коронный" суд. Без присяжных. Предать военному суду, как видно, не решились. Наши говорят: "Времена уже не те".
Твоя Г л а ф и р а.
4 августа
На пароходе
Катериночка, милая!
Нам разрешили на все время ссылки вернуться в Олекминск. Мы, конечно, этому очень рады. Возвращаемся на пароходе.

Когда мы выезжали из Якутска, то был уже четвертый день суда над баррикадистами. Суд будет, должно быть, продолжаться дней семь-восемь. Чем он кончится, пока еще совершенно нельзя предвидеть. Нам друзья напишут, а мы - вам.
Лена, как наш Енисей, в каменных берегах. Только лесу меньше. И все больше лиственница. А серые скалы на правом берегу отчасти напоминают наши Столбы. Их сотни. На утренней заре крикнешь с борта: "Свобода!" - и это с доброго десятка столбов подтвердит желаемое: "Да!", "Да!". Правда, здешние столбы вздымаются не из леса, а прямо из воды. И не оглаженные вековым ветром, а острые. Каменные штыки. И тянутся на десятки верст. По-своему красиво. Только очень безлюдно. А в будущем, несомненно, оживет и этот край. Вольные люди полюбят его, не станут называть гиблым, как называют невольники в наши дни. И в этих горах найдутся большие богатства. Не для хапуг, а для народа.
А у моего Яся, когда он смотрит на суровые берега, тоска в глазах. Я его понимаю: единственный путь - река. На тысячи верст! Его радуют только пароходы...*

---

* Через год Ивану Адольфовичу Теодоровичу удалось бежать на пароходе. Его укрыл там помощник капитана. Первое письмо пришло теще в Шошино из Кенигсберга. После Октября Теодорович был народным комиссаром по делам продовольствия.

15 августа
Из Олекминска
...8 августа суд над баррикадистами закончился. Виктор Константинович лишен потомственного дворянства, о чем он, конечно, не жалеет, а вот 12 лет каторги при его здоровье будут тяжкими. Но буря раньше собьет с него кандалы.
Подавать апелляцию он, понятно, отказался. И с ним еще двадцать один товарищ. Такие же стойкие, не поступающиеся своей гордостью...
1 сентября
...Из Якутска сообщают: триста человек провожали осужденных баррикадистов. Провожали на осеннюю пристань Даркылах, которая находится в семи верстах от города. Там загнали на баржу, буксируемую пароходом "Граф Игнатьев".
После отчальных гудков баррикадисты кричали на берег:
- Долой царский произвол!
- До скорого свидания на баррикадах России!
Где-то мы снова встретимся с нашим дорогим Виктором Константиновичем?..
Г л.".
Но Глафире Ивановне судьба не подарила новой встречи с Курнатовским, который хранил в своей душе прежнее горячее чувство к ней.
На его долю в конце 1905 года и в январе 1906-го выпадет всего лишь несколько счастливых недель, когда в "Читинской республике" он будет редактировать партийную газету "Забайкальский рабочий".
После разгрома Читинского Совета солдатских, казачьих и рабочих депутатов каратели приговорят его к смертной казни, вскоре замененной бессрочной каторгой. Ему удастся бежать. Таежными тропами он доберется до Владивостока и уедет в Австралию.
В 1910 году он, тяжело больной, приедет в Париж. Владимир Ильич поможет своему давнему другу получить койку в лечебнице. Там его навестит Екатерина Ивановна Окулова с маленькой дочкой Ириной. Это будут последние светлые часы в жизни революционера. В 1912 году тяжкая болезнь сведет его в могилу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Возвращаясь из старой части Женевы, Надежда Константиновна всю дорогу беззвучно смеялась:
"Ну и Лепешинский!.. Надо же было придумать!.. Талантливое перо!"
Дома, как только перешагнула порог, у нее вырвался громкий хохот. Такого еще не бывало с юных лет. Мать, давно привыкшая к сдержанности дочери, поспешила навстречу.
"Что могло так развеселить Наденьку?!"
А Надежда вдруг прикрыла рот рукой. Не услышал бы Володя. Не оторвать бы его от работы. А рассказать ему лучше всего за ужином.
Но Владимир уже торопливо спускался по лестнице.

- Кто тебя, Надюша, так рассмешил? Опять какая-нибудь выходка меньшевиков?
- Никак не угадаешь. - Надежда достала из тесного рукава кофточки платок, утерла глаза. - Такого у Пантелеймона еще не бывало!
- Да ты расскажи толком. Что там такое? Смешная карикатура?
- Целый триптих!.. Плеханов... ха-ха-ха... старая крыса! А ты в образе... проворного и бойкого кота!
- Котом изобразил?! Да как это можно?! - хлопала руками по юбке Елизавета Васильевна. - Это же... это сверхвозмутительно!
- Больше всех возмущается Розалия Марковна. Разгневана до крайности. - Надежда, прохохотавшись, села к столу, стала рассказывать спокойнее: - С ней я встретилась неожиданно, в кафе "Ландольт". У нее горят глаза, кривятся губы. "Это, говорит, что-то невиданное и неслыханное ни в одной уважающей себя социал-демократической партии. Даже подумать невозможно - мой Жорж и милейшая Вера Ивановна изображены седыми крысами!.. У Жоржа было много врагов, но до такой наглости еще никто не доходил! - Тут Розалия Марковна сцепила руки, качнула головой из стороны в сторону. - Боже мой!.. Что скажет о нас Бебель? Что скажет Каутский?.."
- В этом вся их беда: "Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?" - рассмеялся Владимир.
- Ну, и что же дальше?
- Лицо у нее передернулось. "Жорж, говорит, не какой-нибудь мужик..."
- Да?! Так и сказала?!
- "Он, говорит, тамбовский дворянин, и он может... может и на дуэль!"
- Уму непостижимо! Жена выдает своего мужа, марксиста Плеханова, за какого-то дуэлянта! Мне, право, жаль Георгия Валентиновича!.. Ну, а почему же он изображен крысой?
- Из кафе "Ландольт" я - к Лепешинским, - продолжала рассказывать Надежда, проглатывая смешинки. - Пантелеймон достал свой триптих... Да, карикатура из трех рисунков. Не успел он положить передо мной этот лист ватмана, а Ольга уже залилась смехом. Даже до слез. Читаю надпись сверху: "Как мыши кота хоронили (назидательная сказка. Сочинил Не-жуковский. Посвящается п а р т и й н ы м м ы ш а м)". Последние два слова подчеркнуты.
- Вот это здорово! Очень точно! - Владимир прошелся возле стола. Прилепил Пантелеймоша ярлык меньшевикам!.. Действительно - м ы ш и! Ну, а дальше? Это же чертовски интересно!
- На левом рисунке кот. В лице сохранено полное сходство с тобой. Ты будто бы повешен в подполье на какой-то перекладине. Близорукие мыши ликуют. Тут и Потресов, и Аксельрод, и Засулич. Все очень похожие. Плеханов - премудрая крыса Онуфрий - появился в распахнутом окне. Что тут, дескать, происходит среди бочек с "диалектикой", в которой разбираются только они, мыши? Мартов с Троцким взобрались наверх, но по близорукости не могли обнаружить, что мурлыка не повешен, а сам уцепился лапой за перекладину и хитро зажмурился. Теперь центральная картинка. Мурлыка оборвался. Лежит недвижимо. Значит, в самом деле мертвый! Мыши возликовали больше прежнего. До неистовства. Старая крыса Онуфрий подхватил верного мышонка Троцкого и принялся отплясывать канкан. Для них играет на дудке услужливый Дан. А Мартов взобрался на труп мурлыки и стал читать "надгробное слово". Я запомнила: "Жил-был мурлыка, рыжая шкурка, усы как у турка; был он бешен, на бонапартизме помешан, за что и повешен. Радуйся, наше подполье!" Но радость обернулась бедой. На правом рисунке мурлыка сбросил с себя притворство и принялся трепать мышей.
- Хорошо! - Владимир, уткнув руки в бока, задорно и заливисто хохотал. - Ай да Пантелеймоша! Ай да Лепешинский!..
- Аксельрод под когтями кота распластался на полу; испуская дух, промолвил: "Испить бы кефиру..."
- Так написано? - переспросил Владимир, мгновенно приглушив хохот. Напрасно. Не удержался карикатурист от мелкого выпада. Нельзя сугубо личное смешивать с политикой.
- А сам Онуфрий как? - спросила Елизавета Васильевна сквозь довольный смешок. - Остался жив?
- От страха кинулся наутек, но прищемил себе хвост в захлопнувшейся створке и повис вниз головой. А мышонок Троцкий удирает без хвоста!
- Убежал, каналья? - снова расхохотался Владимир. - Жаль. Хвост он, как ящерица, отрастит вскорости. Придется с ним еще повозиться.

- Не удалось негодникам кота похоронить. Напрасная была затея! Елизавета Васильевна направилась к плите. - У меня ужин... - Заглянула в кастрюльку. - Готов. Мойте руки - и за стол.
На следующее утро Владимир Ильич собрал книги и журналы, в которых миновала надобность, и, приторочив к багажнику велосипеда, отправился в город. По боковой аллее старого парка Мон Репо выехал к набережной, огражденной чугунной решеткой. За ней нежился сизый, как сталь, Леман*. Противоположный берег едва проступал сквозь редеющий туман. Но вскоре туман покорно осел, слился с водой, и за озером встали холмы в лиловой дымке. Чем дальше к югу, тем они выше, обрывистее. За ними поднялся ледяной пик Монблана. Вот так же в далеких Саянах они любовались вершиной Боруса. Тот, правда, много ниже. Но в облике тех и этих гор немало общего. И там, и здесь они манили к себе: побродить бы по тропинкам, окунуться в тишину лесов, послушать лепет ручейков среди камней, принакрытых бархатистым мхом. Горы успокаивают душу. Скорей бы отправиться туда, отдохнуть от меньшевистских дрязг. А потом снова... Снова борьба.

---

* Так на западе называют Женевское озеро.

В трудные минуты казалось - меньшевики пытаются затравить. Даже в письмах кое-кому писал об этом. Пожалуй, зря писал. Вот Лепешинский смешными карикатурами говорит обратное: мышам будет крышка! Книга "Шаг вперед, два шага назад" делает свое дело в России, ее читают всюду в комитетах и кружках. И они, большевики, скоро соберут свои новые силы. И уже не для тихого шага вперед - для решительного натиска.
Однако не время для раздумья. Не свалиться бы опять, как прошлый раз, с велосипеда. Там колесо застряло в углублении трамвайного рельса, здесь... фонарные столбы, крутые ложбинки дождевых стоков. Для раздумья хватит времени среди альпийских высот.
Улицы тихие, чистые, как пол в квартире. Дома серые, по пять да по шесть этажей. Похожие один на другой. А озеро радует глаз. Вон по нему уж слегка разлилась голубизна.
По неширокому мосту переехал светлую Рону у ее истока и помчался по улочкам старого города, где хмурились древние дома. Стены их исполосованы, словно щеки стариков морщинами, серым лишайником, уцепившимся за не заметные глазу трещинки.
А вот и центр. Университет. Знакомая широкая лестница. Полуколонны между трех центральных окон на втором этаже. Поблизости неохватные платаны, дорожки, пестрые клумбы...
Дальше - милая Каружка, улица, где на каждом шагу можно встретить россиянина. Если не эмигранта, то студента, а чаще всего стайку девушек, которым на родине дикими законами прегражден путь в университеты.
Промчался по улице Каруж из конца в конец, почти до самой набережной быстрой Арвы, несущей свои воды от Монблана; прислонил велосипед к стене шестиэтажного дома, снял связку книг с багажника и остановился перед дверью между больших окон, явно предназначенных архитектором для витрин магазина. В такую раннюю пору никто не наведывался в недавно открытую столовую большевиков, ставшую для них своеобразным клубом. Позвонил. Послышались торопливые легкие шаги. Открыла сама Ольга Борисовна.
- О-о, Владимир Ильич! Входите, входите!
- Извините, что я так рано.
- Какой разговор... - Подала было руку, но, спохватившись, сначала обтерла передником. - В муке запачкала... Вот теперь здравствуйте! Всегда рады вам. Пантелеймон пошел за мясом, скоро вернется. А я, знаете, решила сегодня ради субботнего дня побаловать своих столовников пельменями.
- Небось по-сибирски? Из трех видов мяса?
- Едва ли. Дороговато будет. Скорее всего только из говядины, разве что немного свинины. Пусть, думаю, чувствуют, что эта комната для них как бы частица родины.
- А я вот привез свой первый вклад в библиотеку.
Ольга Борисовна приняла связку, положила на ближнюю полку стеллажа.
- Пантелеймон разберется, расставит по отделам.
- Интересно, сколько же у него обязанностей? И секретарь в Совете партии, и библиотекарь здесь, и посыльный на рынок, в магазины. Я догадываюсь, что и посуду моет.
- Иногда помогает. Если я не управляюсь... Хорошо, сейчас лето. А настанет зима - мне надо будет успевать на лекции в университет. Хотя бы на самые основные.

Из боковой комнатки выбежала Оленька, тряхнула кудряшками с бантами из розовой ленты и, подпрыгивая, подала книжку в яркой обложке.
- Дядя Володя, сказку прочитайте.
- А ты сама?
- Не умею... Она французская.
- Беда с ней, - вмешалась мать. - Наши сказки, какие были, все перечитала. Новых достать не можем. А по-французски ей...
- Мы напишем родным. Надя или я. Мама у меня сверхобязательный человек, пришлет, хотя у нее сейчас...
- Знаю, знаю. И сочувствую. Все еще приходится носить по четыре узелка к тюремным воротам?
- Да. Но я надеюсь...
- А я поражаюсь мужеству Марьи Александровны. При ее возрасте...
- Дядя Володя! - Оленька теребила за рукав. - Дядя...
- Оля, не будь такой нетерпеливой, - строго сказала мать; вспомнив про стряпню, кивнула головой в сторону кухни. - Извините, тесто ждет.
Владимир Ильич поднял девочку, тепло глянул в васильковые глаза. Большая выросла! Вспомнил, как в селе Ермаковском, под самыми Саянами, качалась Оленька в люльке. Вспомнил, как, возвращаясь из ссылки, родители привезли ее в Минусинск в мешке из заячьих шкурок и все-таки простудили. Тогда искал доктора для крошки. А теперь вон какая! Года через два в школу. Если здесь, то во французскую, и сказки французов ей полезно знать. А если... Да, конечно, к тому времени они все вернутся в родную страну революция близка... Опуская девочку на пол, пообещал:
- Будут у тебя наши русские сказки. Будут.
Вошел Бонч-Бруевич, положил связку книг на стол, провел рукой по бороде, протер очки платком.
- Кого я вижу! - Пошел навстречу Ленину, широко раскинув руки. - Не думал встретить вас здесь так рано. Я-то сосед, а вы - через весь город. Здравствуйте!
Оленька закуксилась:
- Опять...
Ленин погладил ее мягкие волосы; слегка нагибаясь, пообещал:
- Обязательно прочитаем сказку. Вот только поговорю с дядей Володей. - И, повернувшись, схватил руку Бонча. - Ко времени встреча, дорогой Владимир Дмитриевич! Я как раз собирался заглянуть к вам. Как здоровье Веры Михайловны? Как малышка? На лето никуда не собираетесь из Женевы? Понимаю, дела не отпускают. А я хочу немножко прибавить дел и забот. Совсем немножко. - Оглянулся на девочку. - Оленька, извини, я быстро освобожусь.
Вместе с Бончем Ленин подсел к столу, рассказал, что собирается с Надеждой пешком походить по горам, быть может, целый месяц.
- Пешком - это хорошо. Отдохнете. А тут, если что...
- Вот я и хотел попросить: приберегайте все новенькое, что может пригодиться партии. Мы дадим адреса - напишете, если будет что-нибудь неотложное.
- Буду сообщать обо всем, - кивнул Бонч лысеющей головой. - И почту перешлю. И в случае надобности приеду потолковать. Куда укажете.
- Отлично. - Ленин снова пожал руку Владимира Дмитриевича. - Надеюсь на вас и на Пантелеймона Николаевича.
- И у меня есть разговор, - начал Бонч о самом заветном. Издательство бы нам свое.
- Представьте себе, я думал об этом же. Большевистское издательство. Но пока без официальной марки.
- Да, как бы частная фирма - Ленин и Бонч-Бруевич.
- Лучше наоборот - Бонч-Бруевич и Ленин.
- Я готов хоть сегодня. Дело за деньгами.
- Достанем. Горький поможет. И Феномен. Обещали.
Оленька продолжала подпрыгивать с книжкой в руке, и Владимир Ильич, тронув пальцы собеседника, поспешил завершить разговор:
- Вернусь из похода по горам - все обсудим, уточним. А сейчас извините. - Взял девочку за руку. - Сейчас время сказке.

В комнатушке Лепешинских усадил ее себе на колене, начал читать и переводить слово за словом.
Входная дверь распахнулась, и на всю столовую загудел голос Лепешинского:
- Борисовна, какое мясо я тебе купил! Самое пельменное!
- Ох, уж папка! - Девочка спрыгнула на пол, захлопнула дверь. - Вот. Не будет мешать.
Владимир Ильич подхватил ее и снова усадил себе на колено.
Дочитав сказку, ласково похлопал по плечику.
- Перерыв. Мне надо поговорить с твоим папой.
- А потом еще почитаете? Ладно?
- Обязательно.
Вернулся в столовую. Навстречу, утирая полотенцем руки, шел Лепешинский.
- Я так и думал, что вы у нас. Не может Ильич не приехать.
- А что случилось? - нетерпеливо спросил Ленин, не выпуская руки друга. - Что-нибудь плохое? Хотя хуже того, что уже нагадили господа меньшевики, кажется, и быть не может.
- Как, вы еще не знаете? Они выпустили новый номер "Искры".
- Испохабленной "Искры"? И что же там?
- Новая статья пономаря Мартушки, - ответил за Лепешинского Бонч, повернувшись от стеллажа, где расставлял принесенные книги. - Без подписи, понятно. Но стиль его.
- Не пономаря, а базарного рубщика мяса. Из какой-нибудь Елабуги, поправил Лепешинский Владимира Дмитриевича - и снова к Ленину: Истерическая брань. Вы и бонапарт, вы и якобинец.
- Это уже не новость. - Ленин уткнул себе кулаки в бока. - Пусть якобинец, но только по методам революционной борьбы. И идущий с рабочим классом.
Лепешинский, достав газету, указал перстом на статью, ждал, пока Владимир Ильич пробежит глазами по ее строкам.
- Дико! - проронил Ленин; развернув газету, как бы схватывал заголовки статей и заметок. - Потеряли последние остатки совести!
- Будете отвечать? - спросил Пантелеймон Николаевич.
- Такое нельзя оставить без ответа, - добавил Бонч-Бруевич, подходя к ним.
- Отвечать Мартову на каждую статью? Нет. На всякую брань не начихаешься. Но эта статья - лишнее доказательство той истины, что на мир с меньшевиками надежды нет. Да и не может быть мира с оппортунистами. Только война. Убеждение на них не действует. А что касается ответа... Есть же ваш карикатурный триптих! Покажите-ка.
Лепешинский пошел в комнатку за листом ватмана. Ленин сказал ему вслед с острой усмешкой:
- Говорят, за этот триптих "тамбовский дворянин" готов вызвать вас на дуэль!
- Пусть посмеет! - Ольга Борисовна, повернувшись от кухонного стола, погрозила кулаком, белым от муки.
- Приму вызов, - сказал Лепешинский, едва сдерживая смех. - Изображу его мушкетером! - Тряхнул головой. - Нет, много чести. Будет у меня уважаемый Георгий Валентинович красоваться в мундире исправника. В меньшевистском полицейском участке. А подчаском у него будет юркий Троцкий! Вот так!
Вдоволь насмеявшись при виде ловко нарисованных меньшевистских мышей и премудрой крысы Онуфрия, Ленин задержал взгляд на голове Аксельрода, смертельно придавленного лапами кота, и усмешка вмиг слетела с его лица.
- Тут нет ни грана политической сатиры. По-моему, не надо напоминать старику о его кефирном заведении. Это у него не от легкой эмигрантской жизни. Можно его понять.
- Ну что же... - Лепешинский почесал в бороде, а Бонч поспешил поддержать Ленина:
- Да, пожалуй... - И принялся рассказывать: - Я... да не только я, но и другие большевики советуют автору перерисовать литографскими чернилами и напечатать тысячи две... Может, и больше.
- Узнаю издателя! - улыбнулся Ленин. И опять к Лепешинскому: - И это обязывает умолчать...
- Бог с ним, с кефиром, - вздохнул Пантелеймон Николаевич. Припомнил поговорку Аксельрода: - Напишу так: "Я это предвидел..."
И все расхохотались.
Жалея старого человека, бывшего единомышленника, они, понятно, не знали, что в те дни Аксельрод с удовольствием читал и перечитывал письмо своего давнего друга Потресова,

который спешил порадовать полученной от Каутского грозной статьей против большевиков для их меньшевистской "Искры". "Итак, - писал Потресов, - первая бомба отлита и - с божьей помощью - Ленин взлетит на воздух. Я придавал бы очень большое значение тому, чтобы был выработан общий план кампании против Ленина, - взрывать его, так взрывать до конца, методически и планомерно". И сам задумывался: "Как бить Ленина, вот вопрос".
Оленька все еще кружилась возле них с книжкой в руке. Мать отняла у нее сказки и повела к кухонному столу.
- Помогай раскатывать сочни. Учись. И вы, - оглянулась на трех собеседников. - Кто умеет... И у кого есть время... Пельменей-то надо много. Сбрасывайте пиджаки и...
Лепешинский уже засучивал рукава. Бонч, поправляя очки, сказал, что сходит за женой - пусть та перенимает пельменную премудрость. Ленин, отходя к стеллажу с книгами, извинился:
- Одну минуту, я только посмотрю, чем Владимир Дмитриевич пополнил нашу библиотеку.
2
К путешествию все готово. Елизавету Васильевну, тосковавшую по родине, проводили в Питер. Квартиру освободили, - осенью найдут другую, поближе к центру Женевы. Рюкзаки заполнили до самых завязок. Прихватили с собой путеводитель Бедекера, несколько литературных новинок и толстенный французский словарь. Надежда положила также французскую книгу, перевод которой ждало издательство.
- На досуге, может быть, переведу хотя бы два-три десятка страниц.
- На досуге? - скептически улыбнулся Владимир. - У нас не будет досуга, все время займет любование альпийскими красотами.
- И о меньшевиках - ни слова?
- Ни единого. Зачем же портить пейзажи? И ни о каких делах, Надюша, не говорить. И не думать. Целый месяц!
- Что-то не верится.
- По возможности не думать.
- Но ты же просил Бонча и Лепешинского писать до востребования по нашему маршруту.
- Ну, это на всякий случай... Вдруг да вести из Киева о наших. Должны бы их освободить из узилища, как называет тюрьму Пантелеймон.
До Лозанны доехали на пароходе. Там остановились на неделю в дешевом пансионе. И туда долетела до них радостная весточка: Маняша освобождена.
- Теперь на душе немножко спокойнее, - сказал Владимир, провел рукой по лицу, как бы снимая крайнюю душевную озабоченность. - За маму спокойнее. С узелками к тюремным воротам будет ходить Маняша.
А Надежда уже обмакнула перо в чернила.
"Дорогая Марья Александровна, - писала она. - Как я рада! Теперь бы Аню только поскорее выпустили..."
Перо вдруг замерло на этом. Оторвав глаза от бумаги, задумалась:
"А Тоню?.. Неужели и против нее есть какие-нибудь улики? Вот Дмитрию труднее. Дознаются, что был делегатом съезда, могут надолго..."
Чтобы не волновать мужа, сдержала вздох. Он не теряет надежды, что всех освободят. Дмитрий ведь приезжал под фамилией Герца. И снова склонилась над листом:
"Только вот нехорошо, что у обеих у вас здоровье плохо. Отдохнуть вам непременно надо - главное, отдышаться на свежем воздухе, Киев все же город. Только вот лето на севере плохое - мама живет под Питером на даче у своих знакомых, так жалуется, что страшные холода и дожди.
...Сейчас мы в Лозанне. Уже с неделю, как выбрались из Женевы и отдыхаем в полном смысле этого слова. Дела и заботы оставили в Женеве, а тут спим по 10 часов в сутки, купаемся, гуляем - Володя даже газет толком не читает, вообще книг было взято минимум, да и те отправляем нечитанными завтра в Женеву, а сами в 4 часа утра надеваем мешки и отправляемся недели на 2 в горы...
...За неделю мы уже значительно "отошли", вид даже приобрели здоровый. Зима была такая тяжелая, нервы так истрепались, что отдохнуть месяц не грех, хотя мне уже начинает становиться совестно".
Надежда удержалась от подробностей. Почему зима была тяжелой и почему истрепались нервы, Марья Александровна поймет - до нее теперь уже дошла книга "Шаг вперед, два шага назад", да

и многое она знает из рассказов Кржижановского. Хотя Глеб, став примиренцем, мог и умолчать о гнусностях, творимых меньшевиками.
Владимир время от времени подходил к окну, бросал взгляд на мелкую серебристую рябь Лемана, похожую на рыбью чешую, потом оглядывался на жену. У нее возле розовой мочки уха покачивалась тонкая прядь волос, она продолжала вести строчку за строчкой, словно нанизывала бисер:
"Маняше я напишу, вероятно, сегодня вечерком, а пока крепко, крепко вас обнимаю, мой дорогие, крепко целую.
Ваша Н а д я".
Выпрямилась на стуле. Владимир быстро подошел, взял перо из ее рук и, склонившись над столом, набросал внизу листа:
"Дорогая мамочка! Приписываю наскоро пару слов. Большущий привет Маняше и поздравление с свободой. Тебе надо непременно отдохнуть летом. Пожалуйста, переберитесь куда-нибудь на лоно природы. Мы гуляем и отдыхаем отлично. Крепко тебя обнимаю.
Твой В. У л ь я н о в".
С ними пошла Зверка. Так ласково они называли свою ровесницу Марию Моисеевну Эссен, участницу революционного движения уже далеких девяностых годов, когда под ее тайными письмами стала появляться подпись "Зверь".
Два года назад Эссен бежала из Якутки, где ей по приговору полагалось отбыть еще три года, и в Женеве, став большевичкой, подружилась с Ульяновыми. Последние месяцы жила в их квартире, помогала во всех партийных делах.
Они шли по берегу озера. Миновали окруженные виноградниками курортные городки Веве, Кларан, Монтрё. На противоположной стороне Лемана вонзились в синее небо острые шпили Савойских Альп.
На каждом шагу им встречались щебечущие студентки, разодетые туристы, медлительные рантье с тросточками. Зверка не останавливаясь прислушивалась к разноязычному говору, на окраинах присматривалась к недорогим пансионам, до крыш увитым плющом и с розами у входа. Вот здесь бы пожить месяц, покупаться в чистой, как хрусталь, воде!
Но Ульяновы шли, не задерживаясь в городках, и приостановились лишь тогда, когда прямо из озера, отбрасывая густую тень, поднялись мрачные стены страшного средневекового замка. Вода возле них была черной, как деготь. Таких ужасных тюремных стен Зверке не доводилось видеть на всем пути до Якутска. Слегка ахнув от неожиданности, она полушепотом начала повторять байроновские строки:
На лоне вод стоит Шильон;
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет...
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо - яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет ввек истреблено
Клеймо, надавленное им.
Спустились, как в погреб, в леденящий каземат. Темно. Стены плачут холодными слезами. Едва угадываются потолки. Ржавеют цепи, которыми изуверы приковывали узников...
Скорей, скорей на свежий воздух! И ослепительный свет полыхнул перед глазами, заставил на время смежить веки...
Каменная дорога повела круто в гору, на перевал к долине Верхней Роны. Иногда дорогу теснили серые валуны, иногда подступали деревья, а на прогалинах радовали глаз щедрые россыпи цветов. Золотистые маки, кремовые лилии, голубые колокольчики. На тонких ножках покачивались синие аквилегии, похожие на бабочек, готовых взмахнуть крылышками и взлететь в воздух.
Ленину было жаль рвать аквилегии, принес только по цветку.
- Полюбуйтесь. У нас на Волге таких нет. И вокруг Питера нет.
- Прелестные! - воскликнула Надежда.
- Совсем без запаха, - отмахнулась Зверка. - Дикари и есть дикари. Я - за садовые, ароматные.

В маленькой деревеньке она вдруг объявила:
- С меня достаточно. Пойду обратно.
- Напрасно, - сказал Владимир Ильич. - Главные красоты впереди.
- Втроем веселее, - добавила Надежда.
- Вы любите ходить там, где ни одной кошки нет, а я без людей не могу. Извините. И до скорого свиданья.
- Нет, нет, так нельзя. - Владимир Ильич помешал Зверке расцеловаться с Надеждой. - Надо же пообедать. И необходимо поговорить о кое-каких делах.
Надежда укоризненно глянула на мужа:
- Володя, опять у тебя дела...
- Всего лишь разговор о встрече в Лозанне после нашего путешествия. Туда, ты знаешь, приедет Лепешинский, приедет Бонч. - И снова повернулся к Зверке: - Вам, Мария Моисеевна, будет важное поручение.
- Вы меня заинтриговали. Какое же?
- Не хватает только, чтобы и здесь вы снова заговорили о меньшевиках.
- Не волнуйся, Надюша, о меньшевиках я молчу. А о поручении Марии Моисеевне подробно пойдет речь в Лозанне. Знаю, оно придется ей по душе.
- Возвращаться домой?! - На лице Эссен заиграл румянец, глаза задорно блеснули. - Объехать комитеты?
- Вы, оказывается, умеете читать мысли других!.. Но не будем расстраивать Надюшу. Мы же помним уговор - о делах ни слова. Пока - ни слова.
Спустились на бережок ручья, журчавшего среди камней. Надежда вынула из рюкзака тонкое фланелевое одеяло, свернула вчетверо и расстелила вместо скатерти, нарезала хлеб и копченой баранины, положила яйца и пробирку с солью. Владимир Ильич достал искусно оплетенную соломкой бутылку кирша*.

---

* Вишневая наливка.

- Это вы зря, - попыталась отговорить его Зверка. - Наверно, взяли на всякий случай.
- Вот это как раз тот самый случай.
- У вас путь долгий, вдруг попадете под дождь - пригодится.
- Не отговаривай, Машенька, - улыбнулась Надежда уголками губ, - не поможет.
- Была куплена на всех. Вашу долю я дальше не понесу, - рассмеялся Владимир Ильич.
У Зверки не оказалось кружки, и Надежда передала ей свою:
- Мы с тобой из одной.
- На двоих полную кружку!
- Ой, что ты!..
- Это не кислое, морщиться, как тот раз, не будешь.
- А не крепкое?
Владимир Ильич налил женщинам, чокнулся дважды:
- За все доброе!
- За ваше счастливое путешествие! - Зверка отпила немного и хотела передать Надежде, та остановила ее руку:
- Пей еще. Мне немножко. - А когда приняла кружку, сказала: - Тебе, Машенька, счастливо добраться до первого пансиона! Хорошо отдохнуть!
- Вам хорошо устать! - хохотнула Зверка.
Надежда отпила глоток и закашлялась.
Владимир Ильич допил свое вино, разгладил усы.
- Напрасно вы, Мария Моисеевна, не идете дальше с нами. Разделили бы усталость на троих - каждому оказалось бы поменьше. Да, напрасно. Поверьте мне, усталость будет приятной. Сужу по своим сибирским охотничьим походам. Бывало, чаек у костра. Правда, там условный чаек - на заварку шел лист смородины или душица. Все равно хорошо. Хвойные леса, осенью золотистые березы...
Надежда пододвинула Зверке баранину:
- Ешь, Машенька. Тебе до пансиона-то еще идти да идти. А вдруг места не окажется, лето ведь в разгаре.

- А тут, - продолжал Владимир Ильич, - по Бедекеру, впереди живописная долина Верхней Роны. Отличная дорога. Небольшие города и деревни. Для нас километров семьдесят. И вам бы не трудно. А вот уж от Лейка мы, к счастью, свернем на перевал через Бернские Альпы. Там, думаю, действительно не окажется ни одной кошки! Зато заманчивый путь возле вечных снегов! Не соблазнил? Ну что же... До будущей встречи! В Лозанне обо всем вам расскажем.
Долина Верхней Роны радовала солнечными днями. Дожди обходили ее стороной. Обычно свинцовые тучи цеплялись на севере за высокие вершины, обвивали их, добавляли снежной крупы на ледники. Временами отвесные скалы стискивали реку, от ледниковой воды белую, как молоко, но вскоре снова отступали, да так неожиданно, что путники останавливались полюбоваться: зеленые, слегка подернутые лиловой дымкой склоны гор там и сям были прорезаны извилистыми речками, спешившими к Роне, играли радужные струйки водопадов да из поднебесья, сверкая на солнце, вонзались в разноцветные каменные толщи причудливые клинья вечных снегов. Альпы не скупились на красоты, щедро развертывали живописные полотна.
Ульяновы шли не спеша, разговаривали только о том, что открывалось взору. Завтракали обычно возле родников, отпивая из кружек чистейшую, прохладную и на редкость приятную воду. Сколько ни пей - не напьешься. Отдыхали, раскинувшись на мягкой траве и выбрав для изголовья обточенный веками валун. Настоянный на цветах и молодой листве, воздух освежающе вливался в легкие и как бы слегка пьянил. В поселках обедали за общим столом с лесорубами да кучерами - тут намного сытнее и гораздо дешевле, чем в ресторанах даже при скромных отелях. На ужин им часто хотелось раздобыть по кружке парного молока, но это удавалось редко - скот был угнан на летние пастбища высоко в горы, - обходились сыром или брынзой. Жалели, что с ними не было котелка, с каким ходят по Сибири бродяжки, бежавшие с каторги, да деревенские охотники, - не в чем вскипятить чаек.
Простившись с Роной, пошли на север, к перевалу Геммипас возле главного ледяного узла Бернских Альп. У Бедекера они прочли: этот перевал по высоте превосходит и Сен-Готардский, и Симплонский, через который шел Суворов, уступает только знаменитому Большому Сен-Бернарскому, и рвались туда: какими-то окажутся они, высочайшие швейцарские вершины? Это даже выше орлиного полета!
Дорога не манила к себе - по ней тянулись брички, пылили лакированные экипажи на резиновых шинах, проносились шумные кавалькады. И Ульяновы далеко отклонялись то в одну, то в другую сторону, на время забывали про путеводитель, шли по узким хуторским дорожкам, по извилистым горным тропкам.
Хутора разбросались по крутосклону. Дома - шале - все одинаковые: крыты по-амбарному на два ската, торцом в долину, к полуденному солнышку, жилая часть - три этажа. Возле окон второго этажа пламенная линейка цветущей герани. Под той же высокой крышей хлев и конюшня, наверху сеновал. Шале оказывались пустыми: люди высоко в горах, на пастбищах, на сенокосах.
Каштаны и дубы, не рискуя подыматься к снегам, давно остались внизу. Теперь впереди темнели ельники. И чем выше, тем деревья приземистее.
На полянках приятно звенели колокольчики. Так когда-то вблизи Саян в тихие летние вечера Ульяновы любили слушать размеренный звон ботал на лошадях, отпущенных на пастбище. Поперводи казалось, что звон всех ботал одинаковый, но хозяева безошибочно издалека узнавали, где их кони. Здесь колокольчики на коровах. На дойных - большие, на нетелях - средние, на телятах - маленькие. Никто не обделен на альпийских пастбищах! И, вероятно, хозяева также по звону узнают издалека каждую корову своего стада.
Пастухи угощали парным молоком, продавали творог и сыр. Баснословно дешево. На завтрак за какие-нибудь два-три сантима. Расспросив о тропинках, Ульяновы снова снаряжалась в дорогу. Закидывая рюкзак на спину, Владимир восторженно говорил:
- Спасибо этому дому!.. Лучшего отдыха, Надюша, и представить себе невозможно! Безлюдье и тишина! Ласковое горное солнышко!..
- Ты уже загорел...
- Ты тоже. Выглядишь так же, как в то лето в Сибири, когда тебя отпоили парным молоком!
- Ты стал совсем спокойным...
- Я и сам чувствую. Теперь без тени волнения мог бы в любой баталии дать отпор меньшевикам.

- Ну их к черту!
- Да, да! Много чести думать о них среди такой прелести. Но мы с тобой уже достаточно отдохнули, чтобы снова позволить себе думать... о делах. Только о наших делах!
- Володя, посмотри вниз, - отвлекала мужа Надежда, стукнув стальным острием альпенштока о камень. - Такого мы еще не видали!
И показывала то на розоватые блики на снежных склонах, то на ватные клочья туманов, подымавшихся из ущелий.
- Опять туманы?! - отозвался однажды Владимир. - У Сосипатыча была... Хотя почему была? Я думаю, он и сейчас ходит с ружьишком за утками да тетеревами. У Сосипатыча е с т ь верная примета: упадет туман на землю к вёдру, поднимется - будет ненастье.
Здесь чаще всего туманы, как снега под жарким летним солнышком, таяли в ущельях. Бедекер не ошибся, июль в долине Верхней Роны наилучшая пора лета!
Случалось, выходили они к пустой хижине. Пастухи совсем недавно угнали скот на другие, еще не тронутые альпийские поляны. Возле очага обычно лежал припасенный на случай непогоды сухой хворост, на железных крюках над погасшими углями висели задымленные котлы: большой - для кислого молока, маленький - для кипятка. Ульяновы разводили огонь, кипятили воду. И даже не жалели, что не захватили с собой пачку чая. Для заварки им удавалось среди сосен отыскивать листья брусники. И это напоминало северные российские леса.
Утром они ломали сухие сучья сосен, не тронутые росой, и оставляли возле очага. На стол клали сантим - символическую плату за ночлег.
...В пустой хижине выветрился запах дыма, кислого молока и сыра. А сено, которое лежало в изголовьях и было не так-то измято ночевщиками, еще сохранило приятный аромат альпийских лугов.
У путешественников гудели ноги от усталости, горела кожа ступней. Сняв тяжелые альпинистские ботинки с железными шипами, они наскоро поужинали и легли спать. Вязкий сон сморил их в одну минуту.
Спали крепко, ни разу не повернувшись с боку на бок. И вдруг Владимир открыл глаза. Темно. Тихо. Рядом чуть слышно дышит Надежда... Приподнявшись на локте, ощупью поправил одеяло на ее плече.
А сколько же сейчас времени? Часы тикали в нагрудном кармане рубашки. Открыть бы крышку, зажечь спичку и посмотреть на стрелки. Но этим можно разбудить Надюшу. Осторожно встать, выйти из хижины и там посветить спичкой на циферблат. Но ведь не удастся бесшумно оторвать голову от сенного изголовья... Пусть еще поспит.
В конце концов, неважно, сколько сейчас времени. Хотя и проснулся до рассвета, но с ясной головой. Значит, совсем отдохнул. Теперь они уже не будут, как в Лозанне, спать по десять часов. Им уже достаточно шести-семи. От долгого сна, чего доброго, и голова может разболеться. Всему надо знать меру.
А от чего же он проснулся? От этого наиприятнейшего запаха сена? Конечно, от него.
Вот так же пахло свежим сеном за речкой Шущенкой, когда они сидели, привалившись к стогу. Втроем. Базиль запевал сочным баритоном "Вечерний звон". Надюша подхватывала первой. Потом, встав в кружок, пели "Дубинущку". В тот приезд желанного гостя много говорили о будущем, о совместной работе. Где он сейчас, Василий Старков? Ни словечка от него! И Тоня молчит, Надюше не пишет. Устали оба? Или опасаются новых арестов? Похоже на то и другое. А ведь так надеялись на них... Базиль, как видно, с головой ущел в инженерные дела. Ну что же? Обойдемся без уставших...
Зимой в Шушенское приезжал Глеб. Тоже много и хорошо говорили о будущем, в частности о боевой партийной марксистской газете. Впервые о задуманной "Искре"... Ленин тихо, чтобы не услышала жена, перевел глубокий вздох. Кто бы думал, что меньшевики, завладев газетой, так испоганят ее. Даже не хочется называть прежним именем. Не искра - тлеющая головешка.
Тяжело и больно было терять друзей, с которыми бок о бок работал несколько лет. Еще тяжелее, когда они, до бешенства одержимые страшным недугом самолюбия, превратились в злобствующих противников, по уши увязли в гнилом болоте оппортунизма. Мартов... Эта боль уже перегорела, осталась непримиримая борьба. А Плеханов... До сих пор в сердце рана. Казался опытным, осмотрительным политиком. Вчерашний теоретик марксизма. А не удержался на берегу, потянули его за собой в меньшевистскую трясину. Обидно. Жаль Георгия Валентиновича. Невзирая на его гордыню, можно было бы работать вместе...

А Кржижановский - вот уж никак не ожидал! - приехал в Женеву примирять. Жалкая роль! Позорное поведение! Сюсюкал с Мартовым да Плехановым. Мало того - вернувшись в Киев, подал заявление об отставке из Центрального Комитета, не посчитался с честью, оказанной ему Вторым съездом. И Булочка, наша милая, энергичная Зинаида Павловна, видимо, не сумела удержать мужа от худого шага. Эх, Глебася!.. Был Глебася... Неужели станет только инженером Кржижановским? Нет, не верится. Революционная страсть вскипит в груди. Тогда же он, Ленин, написал о Глебе в Россию, члену ЦК и Совета партии Ленгнику: "Брут будет наш, ухода его я пока не принимаю, не принимайте и Вы, положите пока в карман его отставку. Об отставке Землячки* нет и речи, запомните это... Известите об этом Землячку и держитесь крепче". К сожалению, Глеб с Зиной не прислушались к совету, не перешли на нелегальное положение и не сменили "шкурки". Может, миновал бы Зину тюремный застенок.

---

* Р. С. Землячка (Демон) была кооптирована от большевиков в ЦК.

В Ермаковском было семнадцать активных единомышленников, а теперь из них... Если Кржижановские паче чаяния не вернутся, то... Остаются Лепешинские. Бедняга Курнатовский томится в ссылке. Шаповалов все еще болеет. Ленгник... Если бы все шестнадцать оставшихся в живых были такими, как Фридрих! Этот не погнется. Не отступит ни на йоту. Никогда! Семнадцать... Мало осталось? Наоборот, прибавились многие сотни. И прибавляются с каждым днем. Счет пойдет на тысячи. Уже добрая половина комитетов в России большевистские. Меньшевики испугались - шлют своих агитаторов, чтобы не попутали умы неустойчивых. Но наши организаторы там. Бауман, Землячка, Литвинов, Стасова, Цецилия Зеликсон... Вернемся в Лозанну - отправим в Россию Зверку... И другие комитеты перейдут к нам. Когда будет преобладающее большинство, тогда... Тогда созовем Третий съезд. Наш, большевистский! Пригласим и меньшевиков, если пожелают. Только вряд ли. Они, надо думать, предпочтут полный разрыв. Такие у них натуры. Оппортунизм прилип к ним, наподобие проказы.

А какая у нас была газета!.. Наши леса вокруг создаваемого здания. Наш голос, усиленный в тысячи раз!.. И теперь нужна, крайне необходима своя газета. Она и поможет созвать Третий съезд. Кто возьмет ее на свои плечи?.. Ну, талантливых молодых публицистов у нас достаточно. Есть Луначарский, отличный стилист, на редкость одаренный человек. Есть Воровский, знаток литературы. Есть полемист Ольминский. Будут рабочие корреспонденты. На пяток литераторов, скажем, пятьдесят нелитераторов. Для начала пятьдесят хотя бы, а потом желательно больше... Бонч у нас умелый организатор, поможет собрать всех литераторов, приверженцев большевизма.

Деньги?.. Меньшевики бесстыдно присвоили партийную кассу. Но мы добудем денег. Создадим свою кассу при... При редакции будущей газеты? Нет, этого будет мало. Мартов с Троцким да Аксельродом сколотили, пока тайную, организацию меньшинства. Рвут партию на части. Травят. Но погубить ее не удастся. Не позволим. В России рабочие за нас. И мы создадим...

Надежда повернулась на другой бок.

Проснется?.. Владимир Ильич приглушил дыхание... Нет, дышит глубоко. Спит.

А мы создадим Бюро комитетов большинства. При нем - кассу. И непременно экспедицию по доставке нашей, большевистской литературы. Вот первостепенные и первоочередные задачи!.. Походим по горам еще недельку или две. Ни в коем случае не больше. Ведь наступит уже август. После перевала спустимся к Тунскому озеру, где в девяносто седьмом отдыхала мамочка с Маняшей. Быть может, дойдем до Люцерна. Окончательно отдохнем, наберемся сил. Потом телеграммой вызовем в Лозанну Лепешинского и Бонча. Они же обещали приехать. Договоримся о совещании большевиков, которые тут, в Швейцарии... Принялся пересчитывать. Десятка два наберется. Не меньше. Конечно, в величайшей тайне, чтобы ни единого слова не просочилось к меньшевикам, чтобы не помешали. И лучше не в самой Женеве, а где-нибудь поблизости. Напишу проект Обращения к партии. От нашего совещания. Практический выход из тяжелого кризиса, порожденного меньшевиками, - созыв Третьего съезда. Чем скорее, тем лучше. У партии достаточно здоровых сил, чтобы снова стать достойной российского пролетариата.

В хижине постепенно рассеивалась темнота. Сквозь окно просачивался и падал на пол брезжущий сноп слабого света. Не разбудил бы Надюшу... Нет, ее щека все еще в полусумраке, сгустившемся в углу.

Какое счастье, что мы всюду вместе. И понимаем друг друга не только с полуслова - с полувздоха. В малом и большом. Во всем. Она - моя радость на всю жизнь.
Владимир Ильич бесшумно опустил ноги на землю; не надевая ботинок, в одних носках, тихо вышел из хижины. Благо, не скрипнула дверь.
И остановился, восхищенный необычным зрелищем: внизу, в долинах и ущельях, еще держалась фиолетовая темнота, а восточные склоны снежных гор пылали под лучами скрытого ближними вершинами солнца, будто там были разведены громадные костры. Надюша должна видеть эту неповторимую картину.
Распахнул дверь. Жена уже успела открыть глаза. Тронул ее плечо:
- Извини... Но нельзя не полюбоваться...
Вокруг хижины стало светлее, за поляной прорисовались мохнатые ели. Костры на дальних горах стали постепенно угасать, зато по всему западному склону неба раскинулся павлиний хвост зари.
- Прелесть! - хлопнула руками Надежда, взглянула на восток. - А солнышка еще нет... Хорошо, что ты проснулся рано... И, знаешь, нам надо откуда-то, с перевала, что ли, посмотреть на восход солнца. Это же, может быть, раз в жизни...
- Непременно полюбуемся.
- Я нынче погрузилась в сон, словно камушек в воду. А ты как спал?
- Отлично! Такой ночи не было за все наше путешествие!
Во время завтрака Владимир рассказал обо всем, что передумал перед рассветом.
- Воло-одя! Ты опять... - укоризненно напомнила Надежда. И мило улыбнулась. - Неисправимый.
- Помню, помню, дорогая, - ответил улыбкой Владимир. - Вот теперь-то, когда все сложилось в голове, можно действительно ни о чем не думать.
- Свежо предание...
- Ты не волнуйся. Я выспался. И совершенно спокоен. Голова ясная, как сегодняшнее утро.
3
Лес остался позади. По крутому склону расстелились, словно коврики, мелкие кустарники с листочками не больше ногтя на мизинце. Между ними серебристыми нитями струились ручейки от сияющих под солнцем зернистых сугробов. Густой щетинкой пробивалась травка. Холодное царство эдельвейсов!
Владимир отбежал в сторону от тропы. Надежда беспокойно окликнула его:
- Володя, куда же ты?..
- Я недалеко... Одну минуту...
Найти бы цветок для Надюши. Хотя бы один-единственный. Говорят, встречаются редко. А тут, по соседству с большой дорогой, едва ли удастся. Но ведь выпадает же людям счастье...
- Володя, осторожнее там на скользких камнях...
Из-за аспидной скалистой вершины с белыми прожилками снега, ограждавшей перевал с востока, выглянуло солнышко, как бы теплым, мягким крылом погладило склон. И тотчас же на сухом пригорке выскочил из норы сурок, встал столбиком, огляделся и прозвенел сквозь оскаленные резцы зубов:
- Квик!.. Квик!..
Выскочил его сосед и радостно отозвался:
- Квик!..
- Надюша, посмотри! - крикнул Владимир. - Вон куда забрались забавные зверьки! Здороваются с солнцем!
- Может, тебя спрашивают: кто такой, откуда?
Сурки погладили лапками мордочки, как бы умываясь, и спокойно - их никто здесь не тронет! - побежали грызть стебельки сочной травки.
А эдельвейсы?.. Нет ни одного. Вероятно, еще рано для них. Не успели вырасти. Расцветут, быть может, только к концу августа. А они, Ульяновы, к тому времени уже вернутся на берега Женевского озера - совещание большевиков нельзя откладывать на осень. И надо готовиться к выпуску газеты.
Лавируя между кустов и камней, Владимир спустился к тропе, развел руками:
- Не посчастливилось... А так хотелось, чтобы ты засущила эдельвейс в томике Бедекера. На память!

- Не огорчайся, Володя. Как-нибудь в другой раз...
- Другого раза, пожалуй, не будет. Сама знаешь...
Да, она знает - революционное движение идет на подъем, терпению российских рабочих приходит конец, а за ними поднимется и деревенская беднота, и перед эмигрантами откроется путь-дорога домой. В Питер. Скорее бы! Третий съезд даст план действий...
Надежда забыла об уговоре не тревожить душу думами о политике. Но Владимир прервал ее короткое раздумье:
- Ну что же, вперед? Если ты не устала.
- Отдохнем там, - Надежда вскинула глаза к перевалу, - на верху хребта.
И они, поправив лямки рюкзаков и постукивая остриями альпенштоков, пошли к дороге.
Вот и перевал. С него, пробуждая новый восторг, открылось еще невиданное. На севере все долины и ущелья забиты облаками, словно свежим снегом, ослепительно сияющим под лучами солнца. На востоке и западе совсем близко стояли каменные стражи перевала. А в стороне от них облака были проколоты ледяными клыками высочайших вершин Европы. Особенно много их было на востоке. И гора перед горой будто хвалилась высотой и неповторимой яркостью красок. Вон сияет золотом как бы острие кинжала, устремленного в синее небо. А затененная сторона выглядит матовой чернью с тусклыми узорами серебра. Вон малиновый склон. Вон лиловый...
Припоминая страницы Бедекера, Ульяновы пытались угадать названия вершин. Ближняя к ним из самых высоких, надо думать, Алечгорн, а та, что подальше и левее первой, по всей вероятности, знаменитая Юнгфрау. Самая стройная. Где-то в Оберланде к ее подступам проложена новая дорога. Надо непременно воспользоваться ею. Нельзя же не взглянуть вблизи на строгую и гордую швейцарскую красавицу. В путеводителе перечислены смельчаки альпинисты, стремившиеся покорить ее. То была дерзновенная мечта многих, но лишь самым упорным, искусным и выносливым удавалось это. А несчастливчики находили себе могилу в снежных лавинах.
Вдруг обоим вспомнилось - давно не писали родным. В Киеве, несомненно, уже волнуются Мария Александровна и Маняша, в Саблине под Питером - Елизавета Васильевна. Ее успокаивает лишь то, что на даче она не одинока: там Марк Тимофеевич, успевший скрыться из Киева до ареста Ульяновых. Как только они, путешественники, дойдут до первого городка внизу, сразу же дадут знать о себе - отправят открытки с видами здешних гор.
С севера подул ветер, погнал ватные клочья облаков на перевал. Повеяло прохладой и сыростью. Теперь скорее вниз, вперед, в долину реки Кандер.
Владимир, перекинув альпеншток в левую руку, подхватил Надежду, и они, хотя и усталые, но радостные, двинулись вперед быстрым и легким шагом.
"Вперед, - застряло слово в голове Владимира Ильича. - Это ли не название для газеты? Хорошее слово! Лучшего и не надо. Вперед, к Третьему съезду! К нашей революции!"
- Володя, ты опять о чем-то задумался? - забеспокоилась Надежда, останавливая мужа.
Он рассказал.
- Ты прав, - живо и горячо отозвалась Надежда, - отличное название! Мне нравится.
- Думаю, что нашим друзьям, будущим членам редколлегии и сотрудникам, тоже понравится. А мне уже видится первая полоса: крупно - заглавие по-русски, сверху - мелко латынью. Те же три колонки, что и в "Искре". Помню, в Лейпциге у меня от великой радости дрожали руки, когда я с машины принял первый, еще влажноватый оттиск. Был декабрь девятисотого...
- И теперь хорошо бы в декабре...
- Да, к Новому году. Ни месяцем позже. И явится наша газета верной, последовательной и боевой наследницей, а главное - продолжательницей славного дела нашей старой "Искры". А ты снова будешь секретарем редакции, у тебя же большой опыт. Знаю, согласишься. - Владимир покрепче прижал к боку локоть жены. - Я очень рад и благодарен тебе за то, что мы отправились в это путешествие. Устали, конечно. Но это не в счет. Важно, что на досуге сложился такой...
Владимир Ильич умолк от неожиданного грохота. Обвал! Где-то недалеко. Из-за тумана не видно, что там низвергнулось с высокого обрыва. Скорее всего снежная лавина. Шумит уже где-то далеко внизу, как грозовой разряд, ушедший под землю.
Туман всколыхнулся, обволакивая их с ног до головы и закрывая небо.
Когда все утихло, снова пошли вниз, нащупывая дорогу ногами.

- Осторожнее, Володя, тут камни. Как ступеньки.
- Может, переждем в сторонке?
- В какой?.. Ничего же не видно. Не оступиться бы...
- Кто знает, сколько он тут продержится. Может еще сгуститься... А внизу, несомненно, светлее. Пойдем потихонечку. Вот так. Давай руку, шагай сюда. Тут надежно. Так. Еще шаг...
Сырой и промозглый ветер, набирая силу, гнал туман наверх, и вскоре внизу посветлело.
- А тучи-то... Посмотри! - вскинула голову Надежда. - Уже над нами!
- И дождя нет. Нам повезло.
Перед путниками открылась извилистая, манящая вниз Кандерская долина.
В каждом селении заходили на почту, спрашивали письма. Нет ли им чего-нибудь от Бонча? Или от Лепешинского. Покупали открытки с видами ближайших горных вершин и озер. На свободных уголках коротко писали родным приветы "от бродяг", сетовали на то, что давно нет от них вестей, спрашивали, здоровы ли они. О себе сообщали, что побывали в окрестностях Юнгфрау и теперь через Мейринген идут к Люцерну.
Надежда, успокоенно посматривая на мужа, отмечала: как хорошо он отдохнул! Совсем повеселел. Будто умылся кристально чистой водой из горного ручья и смыл с себя всю паутину мелкой склоки, которой пытались опутывать меньшевики.
Август провели недалеко от Лемана, в деревушке Пюиду, на берегу маленького озера Лак-де-Бре. Их приютил крестьянин Форне, уступив второй этаж дома. По утрам, искупавшись в озере, Владимир Ильич засучивал рукава и шел в огород, помогал собирать огурцы и помидоры, копал грядки для осенних посадок.
Туда приехал Бонч, привез радостную весть: Анюта тоже освобождена из киевской тюрьмы! Она, мама и Маняша переехали под Петербург. И Владимир Ильич сразу же сел за письмо. Вначале сообщил, что этим летом прекрасно отдохнул.
"А вы как? Хорошая ли дача в Саблине? Отдыхаете ли там как следует? засыпал вопросами. - Какие виды на дальнейшее? Здорова ли мама? Как чувствуют себя Анюта и Маняша после тюрьмы? Черкните мне об этом... Крепко обнимаю дорогую мамочку и шлю всем привет!"
Владимир Дмитриевич спешил еще порадовать: у издательства "В. Бонч-Бруевич и Н. Ленин" уже есть бумага, есть договоренность с типографией, куда меньшевики и носа не сунут.
- Великолепно! - Владимир Ильич горячо стиснул его руку. - Теперь за работу! Первым делом - совещание большевиков.
- Я уже нашел укромное место. За Арвой. В рабочем предместье. Тихая гостиница, вроде российского постоялого двора. При ней дешевый ресторанчик. Есть отдельная комната с окнами во фруктовый сад. Столики человек на тридцать.
- Больше нам и не потребуется.
- Хозяину, - продолжал Бонч, - учитывая его меркантильность, я пообещал: помимо того, что каждый будет заказывать отдельно, около часу дня надо будет подать всем кофе с молоком, хлебом и сыром.
- И деньги раздобыли?! Так быстро! Где же удалось?
- Я же издатель. Договорился с надежными продавцами в киосках и выпустил карикатуры Лепешинского! Не волнуйтесь, без марки нашего с вами издательства.
- Вижу - все учтено!
- А хозяину гостиницы сказал, что мы все альпинисты, что будем обсуждать планы прогулок по горам и составлять маршруты.
- Вы и выдумщик отличный! - Владимир Ильич, распахнув полы пиджака, уткнул кулаки в бока; звонко хохотал, закинув голову. - Безобидные альпинисты! Только и всего! Ай да большевик Бонч-Бруевич! А хозяин-то не усомнился?
- Даже посоветовал присоединиться к общешвейцарскому клубу альпинистов. "Вы, говорит, тогда по членским билетам будете получать скидки за проезд по железным дорогам и за питание в ресторанах".
- Слышишь, Надюша? - окликнул жену Владимир Ильич, слегка приглушая смех. - А мы-то с тобой и не знали!.. - Тронул локоть Бонча. - За все спасибо! За типографию - особо. Значит, есть где напечатать брошюркой обращение "К партии"?
- Дело за вами. За рукописью. Называйте день совещания - я всех извещу.

Настала зима. И так же, как и когда-то "Искра", в последних числах декабря (4 января 1905 года по европейскому календарю) вышла газета "Вперед". Она явилась первой звездой на небосклоне большевистской периодической прессы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Прошел год. Бурный, огневой. Переломный в истории страны. Год начала первой русской революции.

Царская армия потерпела поражение на полях Маньчжурии. Погиб российский флот. Пал Порт-Артур. Эти катастрофы подлили горючего в революционное движение, пробудили новые силы. Либералы, немножко осмелев, слюнявили на банкетах бесконечные речи о даровании конституции "с высоты монаршего престола", а рабочие гасили топки заводов, фабрик и мастерских, выходили на улицы с политическими требованиями.

В изуверское петербургское воскресенье не только пролились реки рабочей крови - была расстреляна вера в самодержавие. Рухнул ореол святости "наместника божия на земле" - вчерашний "царь-батюшка" предстал перед народом кровавым палачом. Никаким гапонам в поповских рясах рабочие уже не внимали, как вчера.

В апреле собрался в Лондоне Третий съезд партии. На нем двадцать четыре делегата с решающим голосом представляли двадцать один большевистский комитет. С совещательным голосом приехали четырнадцать делегатов. Пригласили Плеханова, но тот, припомнив строки из Тургенева, ответил усмешкой:

- "Иди сюда, черт ле-ши-и-ий... тебя тятька высечь хо-чи-и-и-т..."

Боялся, что спросят отчет о его работе по выполнению решений Второго съезда. Меньшевики демонстративно собрались на свою конференцию в Женеве: у них присутствовали посланцы всего лишь девяти комитетов.

Третий съезд, внося изменения в устав партии, первый параграф принял в той формулировке Ленина, которая была внесена им на Втором съезде.

Единственным путем к свержению царизма съезд назвал вооруженное восстание.

Когда оно вспыхнет? На вопрос "дорогой Зверушки" - Марии Эссен Владимир Ильич ответил: "Я бы лично охотно оттянул его до весны и до возвращения маньчжурской армии, я склонен думать, что нам вообще выгодно оттянуть его. Но ведь нас все равно не спрашивают". И добавил: "...мне издали судить трудно".

В июне броненосец "Князь Потемкин-Таврический", переименованный восставшими матросами в "Пантелеймона", гордо пронес над водами Черного моря красный флаг, оставаясь, по словам Ленина, "непобежденной территорией революции"...

В августе перепуганный царь, прибегая к лживой увертке, подписал манифест о законосовещательной Государственной думе, но ему не удалось обмануть своих "подданных" и похоронить революцию. По призыву большевиков народ бойкотировал Думу и с новой силой продолжал борьбу. Бастовало уже два миллиона человек. На сорока тысячах верст железных дорог остановились поезда. Политический барометр показывал бурю.

Трон шатался. Царизм, казалось, доживает последние дни. Его мог на время спасти только новый обман. И 17 октября царь, укрывшийся в Петергофе, "даровал" народу свободу совести, собраний и союзов, зная, что при первой возможности порвет свой громогласный манифест.

Большевики, по-прежнему расширяя подпольную деятельность, стали широко использовать легальные методы борьбы. В Петербурге, Москве, Красноярске, Чите - в пятидесяти городах и рабочих поселках были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. Начали выходить легальные газеты "Кавказский рабочий листок", "Красноярский рабочий", "Забайкальский рабочий".

Ленин приветствовал созданную в Питере М. Ф. Андреевой, М. М. Литвиновым и А. М. Горьким ежедневную газету "Новая жизнь", начал присылать статьи. Готовясь стать фактическим редактором (редактором для штрафов и тюремной отсидки был декадентский поэт Н. М. Минский), Ленин, помимо большевиков Воровского, Скворцова-Степанова, Луначарского и Ольминского, пригласил к сотрудничеству Плеханова: "...тактические разногласия наши революция сама сметает... Ваш переход к нам вполне возможен... мы в состоянии будем поставить издание в 100000 экземплярах и довести цену до 1 копейки за номер". Ленину виделась эта газета практически Центральным органом партии вместо

нелегального "Пролетария". Перо Плеханова очень пригодилось бы. Но Георгий Валентинович не отозвался.
"Из проклятого далека", из постылой эмигрантской "заграницы", Владимир Ильич поспешно собирался в дорогу. Через Швецию. В Стокгольме его встретит один из опытных подпольщиков, привезет паспорт, расскажет новости, сообщит явки, и они вместе через Финляндию отправятся в Питер. Там он, Ленин, первым делом посетит кладбище, где похоронены безвинные жертвы 9 января, снимет шляпу и, склонив голову, постоит молча. Затем он поспешит на маленькую пригородную станцию Саблино. От матери давненько нет писем. Здорова ли она? И сестры молчат. Целы ли они? И от Марка ни звука. Что с ним?.. В августе Анюта, именующая теперь себя Игорем, писала, чтобы на Саблино больше ничего не посылали. Почему? Охранка проследила их? Или перебрались в Питер? В таком случае где их искать?..
Митя и Тоня после освобождения из киевской тюрьмы переехали в Симбирск. Брат как будто получил место санитарного врача в губернском земстве. Не уехали ли все к нему?..
Нет, в Симбирск они не рискнут.
В первые же дни отыщу. Прежде всего - маму.
Восемнадцать лет за всеми Ульяновыми ходят по пятам ищейки, жандармы бросают их в тюрьмы, гонят в ссылку, "выдворяют" с обжитого места под гласный надзор. А мама, милая, заботливая мама все носила и носила узелки к тюремным воротам, добивалась свиданий, письмами старалась подбодрить. И никто из детей не видел слез на ее лице. Вероятно, по ночам выплакивала их в подушку. Как только выдерживало измученное сердце?! Успокаивающе улыбалась им, помогала, чем могла. Разделяла их гнев...
"Да что это я все в прошедшем времени? - слегка вздрогнул Владимир Ильич, прерывая тревожное раздумье. - И сегодня помогает. И Анюта, и Маняша, и Марк, и Митя с женой - все в меру возможностей содействуют революции. Ульяновы и Елизаровы иначе не могут жить".
- Тебя волнует отсутствие весточек от родных? - участливо спросила Надежда, положив руку на плечо мужа. - Но товарищ, который встретит тебя в Стокгольме, несомненно, привезет их адреса.
- Да, конечно...
Надежда оставалась в Женеве, чтобы привести в порядок партийный архив и передать на хранение в надежные руки.
- Буду ждать тебя, Надюша, недельки через две. Не позже, - сказал Владимир, целуя жену на прощанье. - Только с уговором...
- Не скучать? В этом я не властна. Буду тосковать. И потихоньку завидовать тебе.
- Ну-ну... Не надо хандрить. - Взял ее руки, посмотрел в глаза. Ведь расстаемся ненадолго.
- Ты увидишь родных. Поцелуй всех за меня. Увидишь нашего любимого...
- Горького?!. Ты права. Вот ему-то прежде всего хочется пожать руку. Столько лет восторгались каждой его новой книгой, каждой строкой, а встречи судьба пока не подарила. А он так крепко связал себя с рабочим классом. И на всю жизнь. Уверен в этом. И в том, что дальше пойдем вместе. И ясно, жду встречи с Феноменом, издательницей нашей "Новой жизни".
- Привет ей от меня. Самый сердечный.
- Непременно передам. Мария Федоровна редкая женщина. Смелая, преданная. Первая актриса в Художественном, любимица публики, а вот все оставила - и вместе с Горьким к нам. Представляю себе ханжески-презрительные взгляды людей ее прежнего круга. Наверняка знакомые отказывались узнавать, отворачивались. А она с гордо поднятой головой пошла в наш новый мир.
- Вот таких Горький и называет...
- Да, да, Человеком с большой буквы! Радостно, что и такие женщины идут в революцию!
2
Горький открыл дверь в двухместное купе, посторонился:
- Входи, Маруся.
Помог раздеться и, стряхнув капельки от растаявших снежинок, повесил шубку на плечики. Она, позабыв снять горностаевую шапочку, порывисто повернулась, обхватила его шею и поцеловала в губы.
- Вот мы опять вдвоем в купе! Люблю так ездить с тобой!..

- Погоди, нетерпеливая. Пальто мокрое, простудишься.
- Люблю, люблю! - повторяла Мария Федоровна и, задыхаясь от счастья, продолжала целовать.
- А ты?.. Ты счастлив, что мы вместе? Любишь по-прежнему?
- Еще спрашиваешь! - Горький сбросил пальто и прижал жену к груди. Больше, чем раньше! Черт знает как!.. И слов не подберу... Ей-богу, правда!
Мокрые усы щекотали шею, голова Марии Федоровны запрокинулась, и шапочка свалилась на сиденье.
- Верю, верю... Чем дальше, тем больше... Хотя ты так часто продолжаешь писать в Нижний...
- Не надо, Маруся, об этом. Там сын, маленькая Катюшка... Мы же уговаривались...
- Извини, Алеша... Сама не знаю, как вырвалось...
- Я детей люблю. Очень люблю. Буду заботиться...
- И я своих тоже. Будут приезжать к нам.
- Да, да. Обязательно. И непременно. Ты у меня такая сердечная... Необыкновенная...
Горький провел рукой по золотисто-каштановым волнистым волосам Марии, про себя отметил: "Какие пышные! Без всякой завивки! И вся она, Человечинка, красивая! Даже не столько телом, сколько душой. Единомышленница моя!"
Мария знала, что мужу нравится ее длинное платье из черного бархата, и даже в дорогу надела его. На груди сияла бриллиантовая искорка золотого медальона - тоже для него.
Поезд отошел от станции, они сели друг против друга, и Мария Федоровна все так же не умолкала ни на минуту:
- Знаешь, Алеша, почему я так люблю эти наши поездки вдвоем в Питер? Только вдвоем в купе. Когда мы всей труппой ехали на первые гастроли, поезд вот так же мчался сквозь ночь. После ужина все заснули, а я почти до утра не сомкнула глаз - думала о тебе. Вспоминала все, начиная с первой встречи в Севастополе. Помнишь? Я ведь еще тогда...
- И я, Маруся, тогда же... С первого взгляда... Только не решался говорить, чтобы ты не оттолкнулась. Чтобы не нарушилось приятельство... Чтобы видеть тебя...
- Знаю, Алеша... А в ту ночь в поезде мне было больно и обидно, что ты опоздал в Москву, что тебя не было со мной в вагоне. Размечталась тогда. Хотелось, чтобы сказал свое теплое, круглое волжское словечко: "Хо-ро-шо!" И впервые, осмелев, назвал бы Марусей...
Постучал проводник, предложил чаю и печенья. Они не отказались. Только пожалели, что разговор прервался.
С тех пор, как они стали невенчаными мужем и женой, Мария Федоровна пережила немало горьких минут. Многие знакомые, в особенности из так называемого света, отвернулись от нее, не подавали руки, не узнавали при случайных встречах. По-мещански оскорбляли. Она говорила себе: "Ну и черт с ними!.. Зачем они мне?.. И не виновата я, что так сложилась моя судьба... Я сожгла все корабли... Благо, детей взяла к себе сестра. Как-то Алеша, чудачок, подчеркнул, что я жена писателя Горького! Он еще не понимал, что у меня было свое имя. Все бросила, чтобы жить для него. Быть прежде всего верным другом. И всюду пойду за ним, буду оберегать его, сделаю для него все, что в моих силах. Когда потребуется, то и поведу за собой. В малом и большом. В чем сумею. Однажды это уже случилось, когда нужно было решить, с кем ему идти дальше. Конечно, не с эсерами, куда его пытались залучить, и не с меньшевиками..."
Они уже несколько раз вот так ездили в Питер, но ей, Марусе, всегда казалось, что едут впервые. А сегодня поездка особенная. Накопились дела по газете. Прежде всего там надо убрать номинального редактора, поэта Минского, и его декадентское окружение. А самое главное и наиважнейшее первое свидание Алеши с Лениным.
Ради этого стоило в Москве бросить все.
Владимир Ильич уже давненько спрашивал у общих знакомых о Горьком: как его здоровье? что написал новенького? какое у него настроение? Всякий раз благодарил за денежную помощь газете "Вперед". Без его поддержки - кто знает - могла ли газета существовать. Ленин был уверен, что Горький, настоящий вдохновенный революционный писатель, придет, непременно придет к большевизму.
А Алеша все медлил и медлил. Не говорил о желании вступить в партию ни Красину, ни покойному Бауману. Летом, отправляй свое первое коротенькое письмо Ленину, даже подчеркнул, что не является членом партии, но Владимира Ильича назвал ее главой. Было это уже накануне решительного шага. Вскоре Алеша сказал:

- Не надо, Маруся, больше убеждать меня. В душе я давно большевик. С твоей легкой руки. Можно сказать, с тех первых номеров "Искры", которые ты давала мне. И ты знаешь, дело за вступлением в одну из организаций.
Такой организацией и оказалась редакция "Новой жизни". Хотя Алеша и мало бывал там, но уже идейно близко сошелся с Воровским и Луначарским, с Бонч-Бруевичем и Ольминским, с Красиным и Литвиновым. А завтра, она не сомневается, подружится с самим Лениным.
Они уже давно без слов понимали друг друга... Но, отодвигая пустой стакан, Мария напомнила:
- Надо хорошо выспаться. Завтра день будет сверхзанятой. И как праздник!
- Я уже волнуюсь. Со многими знаменитыми деятелями встречался ничего, а тут... Вождь, рыцарь революции!
- Он, Алеша, не рыцарь - Человек. С большой буквы, как пишешь ты. На редкость простой человек.
- Давно ли приехал, а уже столько статей в нашей "Новой жизни"! И каких статей! "Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать ч а с т ь ю, - он подчеркивает, - общепролетарского дела..." Хо-ро-шо!
- Запомнил!
- Такое не забывается. Удар по либералам, последышам народников и декадентам!.. И когда он только успевает...
Проводник принес белье, хотел застелить постели, но Мария Федоровна, поблагодарив его, сказала:
- Я привыкла сама...
3
На вокзале их встретили родные - Екатерина Крит, сестра Марии Федоровны, и семнадцатилетний сын Юрий Желябужский. Встретил также Константин Петрович Пятницкий, директор-распорядитель книгоиздательства "Знание", в просторной квартире которого две комнаты снимал Горький. Отправив вещи, Мария Федоровна и Алексей Максимович поехали по Невскому прямо в редакцию газеты "Новая жизнь".
Едва они появились там, как, заслышав басовитый волжский говор, из редакторского кабинета, распахнув дверь, вышел Ленин. Незастегнутые полы коричневого пиджака развевались, на лице искрилась горячая улыбка. Руку подал сначала Андреевой.
- Большущее спасибо, Мария Федоровна, что наконец-то привезли к нам Алексея Максимовича! Горького взял за руки чуть пониже плеч, кинув жаркий взгляд в его синие глаза.
- Здравствуйте, Алексей Максимович! Дорогой наш товарищ Горький! Читаю вас второе десятилетие, пути-дороги наши были близкими, а видеться как-то не доводилось. По вине охранных чертей! - Рассмеялся, на секунду откинув голову, и тут же обеими руками сжал пальцы Горького. - Душевно рад!
- Я тоже! Даже слов нет... Знакомых расспрашивал о вас... - Смущенно покашливая, Горький всматривался в скуластое лицо Ленина. - Теперь сам вижу, какой вы!
- Какой же?
- Да как сказать?.. Наш, волжский! - Горький со всей силой сжал руку Ленина. - Хо-ро-шо. - Левую ладонь приложил к груди. - Вот как на сердце хо-ро-шо! В такое время встретились.
"Рука у него почему-то горячая? - тревожно спросил себя Владимир Ильич. - Здоров ли он? Говорят, у него легкие... Проклятая Петропавловская крепость, видать, оставила свои следы... А он теперь так нужен нам. Больше, чем когда-либо. Народу нужен его голос".
Мария Федоровна спросила о Надежде Константиновне - скоро ли она приедет? - и вспомнила, как гостила у них в девятьсот третьем в Женеве.
- Денька через три явится. Будет рада повидаться с вами, - ответил Ленин, приветливым жестом пригласил в кабинет. - Входите, входите, хозяйка. - Алексея Максимовича взял под локоть - Поговорить нам есть о чем.
- Да, о многом, - подхватил Горький. - Я, Владимир Ильич, с превеликим удовольствием прочел вашу статью о литературе. Там, говорю без всякого преувеличения, чудесные слова! Наизусть помню. Свободная литература будет служить "десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность". Ей-богу, лучше этого сказать невозможно!
- Ну, это вы, батенька мой, по-писательски преувеличиваете... А мне, - Ленин коснулся указательным пальцем груди Горького, - доставило большую радость дать в том же номере продолжение ваших "Заметок о мещанстве". Вы, конечно, не можете не восхищаться

гениальностью Толстого-художника, но Толстому-проповеднику вы отлично возразили, хотя ваш совет и был адресован читателю: "Умей в себе самом развить сопротивление насилию". Правда, сегодня этого уже мало. Завтра мы ответим сокрушением самодержавного насилия. Не так ли? По глазам вижу - мы единомышленники во всем. И в политике, и в оценке роли художественной литературы.

Горький разгладил усы. Ленин указал на стулья возле круглого столика, сам сел по другую сторону и приготовился расспрашивать о последних московских новостях, о настроении в рабочих районах, о готовности к решительной схватке. Горький, рассказывая, сунул правую руку в карман пиджака, где у него лежал портсигар из карельской березы, но Мария Федоровна предупредила его чуть заметным толчком локтя: Ленин не курит, и нельзя без разрешения. И Горький, прикрывая рот широкой ладонью, глухо кашлянул. Еще и еще раз.

"Кашель больного", - снова отметил про себя Владимир Ильич, тут же переспросил:

- Итак, говорите, создаются боевые дружины? Очень своевременно! И, знаете, ссыльные - подумать только! - в далеком Якутске показали пример в известном смысле баррикадных боев. Помните по прессе? С охотничьими ружьями да топорами засели в доме якута Романова! И держались больше двух недель, пока не кончились припасы. Вот подлинные герои! Я по сибирской ссылке знаю одного из тех баррикадистов. Курнатовский. Чудесный товарищ! Вот бы кого вам повидать.

- Хороших людей на Руси много.

- Этот особенный. Чистейший. Честнейший. Непоколебимый. С такими, как он, да еще с такими рабочими, как Бабушкин, революция не может не победить. Вот о каких людях надобно писать романы. Хотя что я говорю? У вас же есть более близкий пример - Петр Заломов.

- Я думаю об этом, Владимир Ильич. Народ ждет от литераторов героических образов. И у меня, ей-богу, руки чешутся, хочется писать. Как только смогу надолго привязать себя к письменному столу.

- Вот это хорошо! Это ваш долг! И я думаю, - в глазах Ленина блеснула теплая улыбка, - Мария Федоровна при первой возможности поможет нам привязать вас к столу. Не так ли?

- Как смогу... - улыбнулась Андреева.

- А вы по-женски, настойчивее. Партии нужны такие книги... Но мы с вами отвлеклись в сторону. - Ленин подался грудью поближе к Горькому. Так где же московские рабочие создают боевые дружины? Нам нужно знать все.

- На Пресне. А в подпольной мастерской Московского комитета мастерят бомбы!

- Даже у нас в квартире ящики с запалами да бикфордовы шнуры, сказала Мария Федоровна, гордясь смелостью и решительностью мужа. - У Алексея в столе патроны.

- А не рискованно ли сие? - насторожился Владимир Ильич. - Для вас обоих.

- Ничуть не рискованно. Право слово. - Горький, подергав усы, улыбнулся. - Нас охраняют такие молодцы! Не люди - богатыри!

- Кавказская боевая дружина! - пояснила Мария Федоровна.

- Двенадцать... Не апостолов, понятно, а, так сказать, мушкетеров. Во главе с Чертом!

- Это кто ж такой? Самый отважный?

- Смелей его не сыскать. Нас от Кремля отделяют только Моховая улица да Александровский сад. И наши молодцы дежурят в квартире. Ночами спят поочередно. Кто на диване, кто на шкуре белого медведя в моем кабинете.

- Похвально, что Московский комитет позаботился! Но и сами будьте всегда начеку. Говорю об этом только потому, что каждый из нас должен помнить об ужасной гибели Баумана. Ох, как нам недостает его! Расскажите-ка о похоронах.

...В свой последний день Николай Эрнестович, освобожденный из Таганки, по взбудораженным улицам Москвы спешил привезти демонстрантам красное знамя. И тут из какой-то подворотни выбежал черносотенец, подосланный охранкой, ударом обломка водопроводной трубы свалил его насмерть.

Хоронила Баумана вся рабочая, вся прогрессивная Москва. Улицы были переполнены небывалым людским потоком: более трехсот тысяч москвичей отдавали последний долг отважному Грачу. Впереди и по бокам колонны шли, крепко взявшись за руки, дружинники с красными повязками на рукавах. Так они охраняли похоронную процессию в течение девятичасового пути до самого кладбища. Оробевшие перед грозой, черносотенцы попрятались в подворотни.

Впереди красного гроба - полторы сотни венков. Рассказывая об этом, Горький умолчал, что на одном из них алела траурная лента: "От М. Горького и М. Андреевой - товарищу, погибшему на боевом посту".
Скорбно звучало тысячеголосое "Вы жертвою пали...". Реяли на ветру триста знамен. На одном из полотнищ жгучей молнией сверкали слова: "Долой самодержавие".
Поравнялись с Художественным. Там в этот час репетировали пьесу. Вдруг на сцену вошел рабочий с ружьем, закинутым на веревке за плечо.
- Что же это вы, граждане? - спросил с укором. - Народ хоронит Баумана, а вы тут игрой занимаетесь!
Репетиция прекратилась. Актеры, поспешно одевшись, выбежали и, отыскав Качалова, шедшего за гробом, влились в колонну...
- Рабочий, говорите, с ружьем? - переспросил Ленин. - Это знаменательно! Рабочие провожали своего трибуна с оружием в руках! Завтра они будут сражаться на баррикадах.
- Москва готовится, - снова подтвердил Горький.
- Бомбами да гранатами запасается - это отлично! А вот своей большевистской газеты там у вас до сих пор нет. Как же это так, а?
- Будет газета! - сказала Мария Федоровна. - Со дня на день начнет выходить "Борьба".
- Жаль, Саввушки нет, - вздохнул Горький. - Уж теперь-то пригодились бы его тысячи.
- Как же это он? - прищурился Ленин. - Понятно, между двух стульев пытался сидеть, но... Отчего же этот выстрел?
- Затравили родственники, - снова вздохнул Горький. - Умный был человек. Высокообразованный. Понимал, что капитализм - перед закатом. Ленина читал.
- Даже так? - Владимир Ильич сдержал усмешку. - И что же он?
- Говорил: "Довольно убедительно. Неизбежно все". Называл зорким. Об эсерах же не мог слышать - ругался. А для нашей партии давал по две тысячи в месяц. Так, Маруся?
- Это только через меня. А через Красина, Баумана...
- Воистину белая ворона в черной стае! - сказал Ленин.
- А жена да компаньоны-родственники считали, что сыплет миллионами, продолжал Горький. - Навалилась на него этакая анафемская свора купцов и фабрикантов. Затравили до смерти!
- Отстранили от дел, объявили недееспособным, - уточнила Мария Федоровна. - Саввушка и не вынес позора. Не смог вырваться из проклятого круга.
- О нем уже сказки складывают! Ей-богу. Сам слышал. Говорят: "Ушел в революционеры". Вот как!
Андреева вспомнила о страховом полисе на сто тысяч. Покойника она в свое время предупредила, что передаст в кассу партии. Полис на предъявителя. Кажется, просто было бы получить. Но каким-то путем прознала вдова. Без суда, видимо, не обойтись.
- Найдите опытного и, главное, честного адвоката. - Ленин, на секунду задумавшись, прошелся по комнате. - А с нашей стороны поручим вашему приятелю - Красину. Не возражаете? Хотя вы наш давнишний финансовый агент, а Леониду Борисовичу все же сподручнее. Но судебная процедура отнимет немало времени...
- На первые номера деньги есть, - поспешила Мария Федоровна обрадовать Владимира Ильича.
- Десять тысяч дал Скирмунт, Алешин приятель.
- Скирмунт? - переспросил Ленин. - Приметная фамилия. Книжный магазин "Труд"? Да? Помнится, мы ему посылали "Искру".
- Присылали. И неоднократно, - подтвердил Горький. - Вовремя, знаете, вернулся мой друг из ссылки. А скуповатым оказался. От богатого наследства мог бы прибавить.
- Но он согласился стать официальным редактором "Борьбы", - напомнила Мария Федоровна. - Это большое одолжение. И смелость с его стороны.
- Да, это очень важно, что и редактора уже нашли, - похвалил Ленин. Молодцы, москвичи!
- А вот в сотрудники, Владимир Ильич, хотелось бы записать вас, сказал Горький. - Это наша общая просьба.
- В ближайшие сотрудники, - подчеркнула Андреева.
- От сотрудничества не отказываюсь. Записать можете, но только в порядке алфавита. Не иначе. А в первую очередь, - по лицу Ленина промелькнула теплая улыбка, - Алексея Максимовича. Договорились? Вот и хорошо. И не забудьте Луначарского. Этот успеет и в "Новую жизнь", и в "Борьбу":

Горький, кивая головой, опять сунул руку в карман. Мария Федоровна бросила на мужа укоризненный взгляд.
Ленин рассмеялся:
- Не надо больше останавливать. Теперь можно курить. - Достал часы. Да, сколько угодно. Я скоро уйду отсюда. Пепел можно - на газету. А лучше - вон на рукопись Бальмонта: все равно его стихи нам уже не ко времени. Да и не к лицу "Новой жизни".
Опираясь руками о кромку стола, он встал, наклонился к собеседникам и доверительно прошептал:
- Нам нужно срочно провести совещание Цека. Сегодня вечером. Нет ли у вас надежной квартиры?
Горький и Андреева переглянулись, враз ответили:
- Можно у нас...
- Где это у вас?
- Вообще-то хозяин квартиры Пятницкий, - сказала Мария Федоровна.
- Надежный человек, - добавил Горький. - Могу поручиться.
- Да, - спохватился Ленин, - вы ведь уже большевик, а я до сих пор не поздравил. Извините. - Со всей силой сжал руку Алексея Максимовича, опять как бы раскаленную огнем. - От всей души! От Центрального Комитета!.. И большущее спасибо за былую поддержку наших нелегальных газет "Вперед" и "Пролетарий"! Без вашей помощи нам было бы трудновато.
- Какая моя помощь... Больше вот она, Маруся...
- А Марию Федоровну мы уже благодарили в свое время. Так, говорите, можно у Пятницкого?
- У нас, - поправил Горький. - Две комнаты там наши. И нам есть куда удалиться.
- Зачем же удаляться членам партии? - Ленин, обойдя стол, тронул за плечо Горького. - Нет, батенька мой, принимайте участие наравне с членами Цека. И вы, Феномен. Неплохой псевдоним мы в свое время для вас придумали?.. Вот и хорошо, что нравится. А скоро псевдонимы нам и не понадобятся. Да, да, по секрету, - опять понизил голос до шепота, - скажу: будет практически обсуждаться вопрос о вооруженном восстании. Теперь каждый день, каждый час дорог. Да. У нас, друзья мои, все впереди. И бои, и победы. Впереди наша окончательная победа!
Станция Издревая
1967 - 1977